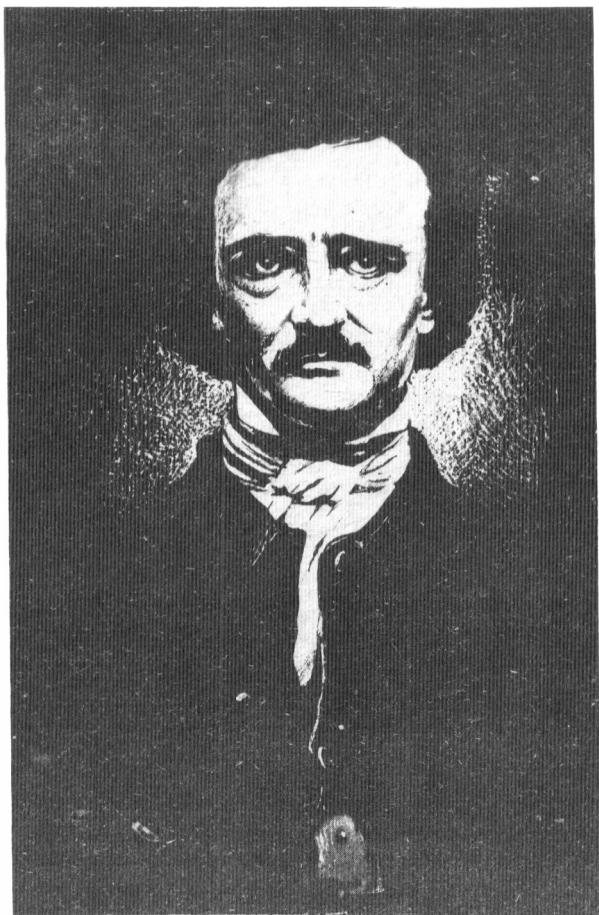




ЭДГЯР
ЛЮ
ДЛЛАН

ПОЛИГРАФ

ЭДГЯР
Ю
ДЛЛАН



Edgar A Poe

ЭДГАР **ДЮ** АЛЛАН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ДВУХ ТОМАХ



ТОМ



полиграф

ВОРОНЕЖ
1995

ББК 84.США

П 41

ISBN 5-869372005-1

Переводы с английского

Составление В.Демитриенко

Художник Ю.Поснов

© Составление, оформление и иллюстрации,
АО «Полиграф», 1995.



**РАССКАЗЫ
ПОВЕСТИ
СТИХИ
ПОЭМЫ**







ЗОЛОТОЙ ЖУК

Глядите! Хо! Он пляшет, как
безумный.

Тарантул укусил его...

«Все не правы»

Много лет тому назад мне довелось близко познакомиться с неким Вильямом Леграном. Он происходил из старинной гугенотской семьи и был прежде богат, но неудачи, следовавшие одна за другой, довели его до нищеты. Чтобы избежать унижений, связанных с потерей богатства, он покинул Новый Орлеан, город своих предков, и поселился на Сэлливановом острове, поблизости от Чарлстона в Южной Каролине.

Это очень странный остров. Он тянется в длину мили на три и состоит почти что из одного морского песка. Ширина его нигде не превышает четверти мили. От материка он отделен едва заметным проливом, вода в котором с трудом пробивает себе путь сквозь тину и густой камыш — убежище болотных курочек. Деревьев на острове мало, и растут они плохо. Настоящего дерева не встретишь совсем. На западной оконечности острова, где возвышается форт Моултри и стоит несколько жалких строений, заселенных в летние месяцы городскими жителями, спасающимися от лихорадки и чарлстонской пыли, — можно увидеть колючую карликовую пальму. Зато весь остров, если не считать этого мыса на западе и белой, твердой, как камень, песчаной каймы на взморье, покрыт частой зарослью душистого мирта, столь высоко ценимого английскими садоводами. Кусты его достигают нередко пятнадцати — двадцати футов и образуют сплошную чащу, наполняющую воздух тяжким благоуханием и почти непроходимую для человека.

В сокровенных глубинах миртовой чащи, ближе к восточной, удаленной от материка оконечности острова, Легран соорудил себе хижину, где и обитал, когда я, по воле случая, с ним познакомился. Знакомство вскоре перешло в дружбу. Много в характере отшельника внушало интерес и уважение. Я видел, что он отлично образован и наделен недюжинными способностями, но вместе с тем заражен мизантропией и страдает от болезненного состояния ума, впадая попеременно то в восторженность, то в угрюмость. У Леграна было немало книг, но он редко к ним обращался. Он предпочитал охотиться и ловить рыбу или же бродить по прибрежному песку и миртовым зарослям в поисках раковин и насекомых. Его коллекции насекомых позавидовал бы Сваммердам. В этих странствиях Леграна обычно сопровождал старый негр Юпитер. Он был отпущен на волю еще до разорения семьи; однако ни угрозами, ни посулами Юпитера нельзя было убедить, что он лишился неотъемлемого, как он полагал, права следовать повсюду за своим «масса Виллом». Возможно, впрочем, что родные Леграна, обеспокоенные его психической неуравновешенностью, поддерживали это упорство в Юпитере, чтобы не оставить беглеца без всякого попечения.

Зимы на широте Сэлливанова острова редко бывают очень суровыми, и в осеннее время почти никогда не приходится разводить огонь в помещении. В средних числах октября 18.. года выдался, однако, необычайно холодный день. Перед самым заходом солнца я пробрался сквозь вечнозеленые заросли к хижине моего друга, которого не видел уже несколько недель. Я жил в Чарлстоне, в девяти милях от острова, и удобства сообщения в те дни далеко отставали от нынешних. Добравшись до хижины, я постучал, как обычно, и, не получив ответа, разыскал в тайном месте ключ, отомкнул замок и вошел. В камине пылал славный огонь. Это было неожиданно и весьма кстати. Я сбросил пальто, опустился в кресло поближе к потрескивавшим поленьям и стал терпеливо ждать возвращения хозяев.

Они пришли вскоре после наступления темноты и сердечно меня приветствовали. Юпитер, улыбаясь до ушей,

стал хлопотать по хозяйству, приготовляя на ужин болотных курочек. У Леграна был очередной приступ восторженности — не знаю, как точнее именовать его состояние. Он нашел двустворчатую раковину, какой не встречал ранее, и, что еще более радовало его, выследил и с помощью Юпитера поймал жука, неизвестного, по его словам, доселе науке. Он сказал, что завтра хочет услышать мое суждение об этом жуке.

— А почему не сегодня? — спросил я, потирая руки у огня и мысленно посылая к чертям всех жуков на свете.

— Если бы я знал, что вы здесь! — воскликнул Легран.— Но ведь мы так давно не виделись. Как я мог угадать, что именно сегодня вечером вы к нам пожалуете? Когда мы с Юпитером шли домой, то повстречали лейтенанта Дж. из форта, и я по какой-то глупости отдал ему на время жука. Так что сейчас жука не достанешь. Переночуйте, и мы пошлем за ним Юпа, как только взойдет солнце. Это просто восторг.

— Что? Восход солнца?

— К черту солнце! Я — о жуке! Он ослепительно золотой, величиной с крупный лесной орех, и на спине у него три пятнышка, черных как смоль. Два круглых повыше и одно продолговатое книзу. А усики и голову...

— Где же там олово, масса Вилл, послушайте-ка меня,— вмешался Юпитер,— жук весь золотой, чистое золото, внутри и снаружи; только вот пятна на спинке. Такого тяжелого жука я еще в жизни не видел.

— Допустим, что все это так, и жук из чистого золота,— сказал Легран, как мне показалось, более серьезным тоном, чем того требовали обстоятельства,— но почему же, Юп, мы должны из-за этого есть пережаренный ужин? Действительно, жук таков,— продолжал он, обращаясь ко мне,— что я почти готов согласиться с Юпитером. Надкрылья излучают яркий металлический блеск — в этом вы сами сможете завтра же убедиться. Пока что я покажу вам, каков он на вид.

Легран сел за столик, где были перо и чернильница. Бумаги не оказалось. Он поискал в ящике, но и там ничего не нашел.

— Не беда,— промолвил он наконец,— обойдусь этим.— Он вытащил из жилетного кармана очень грязный клочок бумаги и, взяв перо, стал бегло набрасывать свой рисунок. Пока он был этим занят, я продолжал греться; озноб мой еще не прошел. Легран закончил рисунок и протянул его мне, не поднимаясь со стула. В эту минуту послышались громкий лай и царапанье у входной двери. Юпитер распахнул ее, и огромный ньюфаундленд Леграна ворвался в комнату и бурно меня приветствовал, положив свои лапы мне прямо на плечи; я подружился с ним еще в прежние посещения. Когда пес утих, я взглянул на бумагу, которую все это время держал в руке, и, по правде сказать, был немало озадачен рисунком моего друга.

— Что же,— сказал я, наглядевшись на него вдовсталь,— это действительно странный жук. Признаюсь, совершеннейшая новинка, никогда ничего подобного не видывал. По-моему, больше всего этот жук походит на череп, каким его принято изображать на эмблемах. Да что там походит!.. Форменный череп!

— Череп? — отозвался Легран. — Пожалуй, что так, в особенности на моем рисунке. Общая форма овальная. Два черных пятнышка сверху напоминают глазницы, не так ли? А нижнее удлиненное пятнышко можно счесть за оскал черепа.

— Может быть, что и так, Легран,— сказал я ему,— но рисовальщик вы слабый. Я подожду судить о жуке, пока не увижу его собственными глазами.

— Как вам угодно,— отозвался он с некоторой досадой,— но, по-моему, я рисую недурно, по крайней мере я привык так считать. У меня были отличные учителя, и, позволю себе заметить, чему-то я должен был у них научиться.

— В таком случае вы дурачите меня, милый друг, — сказал я ему.— Вы нарисовали довольно порядочный череп, готов допустить даже, хотя я и полный профан в остеологии, что вы нарисовали *замечательный череп*, и, если ваш жук на самом деле похож на него, это самый поразительный жук на свете. Жук с такой внешностью

должен вызывать суеверное чувство. Я не сомневаюсь, что вы назовете его *Scarabaeus caput hominis*¹ или как-нибудь еще в этом роде; естественная история полна подобных наименований. Хорошо, а где же у него усики?

— Усики? — повторил Легран, которого наш спор почему-то привел в дурное расположение духа. — Разве вы их не видите? Я нарисовал их в точности, как в натуре. Думаю, что большего вы от меня не потребуете.

— Не стоит волноваться, — сказал я, — может быть, вы их и нарисовали, Легран, но я их не вижу. — И я отдал ему рисунок без дальнейших замечаний, не желая сердить его. Я был удивлен странным оборотом, который приняла эта история. Раздражение Леграна было мне непонятно. На его рисунке не было никаких усиков, и жук как две капли воды *походил на череп*.

Он с недовольным видом взял у меня бумагу и уже скомкал ее, намереваясь, видимо, бросить в огонь, когда что-то в рисунке вдруг завладело его вниманием. Легран сперва залился яркой краской, потом стал белее мела. Некоторое время он разглядывал свой рисунок, словно изучая его. Потом встал и, забрав свечу со стола, пересел на сундук в другом конце комнаты. Там он снова устался на бумагу, поворачивая ее то так, то эдак, однако хранил молчание. Хотя его поведение было довольно странным, я счел за лучшее тоже молчать; как видно, он погружался в свое угрюмое настроение. Легран достал из кармана бумажник, тщательно спрятал туда рисунок, затем положил бумажник в бюро и замкнул его там на ключ. Он как будто очнулся, но прежнее оживление уже не вернулось к нему. Он не был мрачен, но его мысли где-то блуждали. Рассеянность Леграна все возрастала, и мои попытки развлечь его не имели успеха. Я думал сперва заночевать в гостях, как бывало уже не раз, но, считаясь с настроением хозяина, решил вернуться домой. Легран меня не удерживал; однако, прощаясь, пожал мне руку сердечнее обыкновенного.

По прошествии месяца, в течение которого я не имел ни малейших сведений о Легране, меня посетил в Чар-

¹ Жук — человеческая голова (лат.).

лстоне Юпитер. Я никогда не видел старого добряка негра таким удрученным, и меня охватила тревога: уж не случилось ли чего с моим другом?

— Ну, Юп,— сказал я,— что там у вас? Как поживает твой господин?

— По чести говоря, масса, он нездоров.

— Нездоров? Ты пугаешь меня! На что он жалуется?

— В том-то и штука! Ни на что он не жалуется. Но он очень болен.

— *Очень* болен, Юпитер? Что же ты сразу мне не сказал? Лежит в постели?

— Где там лежит! Его и с собаками не догонишь! В том-то и горе! Ох, болит у меня душа! Бедный мой масса Вилл!..

— Юпитер, я хочу все-таки знать, в чем у вас дело. Ты сказал, что хозяин твой болен. Не говорил он тебе, что у него болит?

— Вы не сердчайте, масса. Не знаю, что с ним стряслось. А я вот спрошу вас, почему масса Вилл ходит весь день, уставившись в землю, а сам белый, как гусь? И почему он все время считает?

— Что он делает?

— Считает да цифры пишет, таких чудных цифр я отроду не видал. Страх за него берет. Смотрю за ним в оба, глаз не спускаю. А вчера проворонил, он убежал, солнце еще не вставало, и пропадал до ночи. Я вырезал толстую палку, хотел отлупить его, когда он придет, да пожалел, старый дурак, уж очень он грустный вернулся..

— Как? Что? Отлупить его?.. Нет, Юпитер, не будь слишком суров с беднягой, не бей его, он этого не перенесет. Скажи лучше вот что: как ты считаешь, что послужило причиной болезни твоего господина или, вернее, этого странного поведения? Не приключилось ли с ним что дурное после того, как я приходил к вам?

— После того, как вы приходили, масса, ничего такого не приключилось. А вот до того приключилось. В тот самый день приключилось.

— Что? О чем ты толкуешь?

— Известно, масса, о чем! О жуке!

— О чем?

— О жуке. Я так думаю, что золотой жук укусил масса Вилла в голову.

— Золотой жук укусил его? Эка напасть!

— Вот-вот, масса, очень большая пасть, и когти тоже здоровые. В жизни не видел такого жука, бьет ногами, как лошадь, и кусает все, что ему подвернется. Масса Вилл схватил его, да и выронил, тут же выронил, вот тогда жук, наверно, и укусил его. А мне морда этого жука не понравилась, и я сразу решил — голыми руками брать его ни за что не стану. Поднял я клочок бумаги, да в бумагу и завернул его, а край бумаги в пасть ему сунул, вот что я сделал!

— Значит, ты действительно думаешь, что твоего хозяина укусил жук и это причина его болезни?

— Ничего я не думаю — точно вам говорю. Если бы его не укусил золотой жук, разве ему снилось бы золото? Я много кое-чего слышал про таких золотых жуков.

— А откуда ты знаешь, что ему снится золото?

— Откуда я знаю? Да он говорит про это во сне. Вот откуда я знаю.

— Хорошо, Юп, может быть, ты и прав. Ну а каким же счастливым обстоятельствам я обязан чести твоего сегодняшнего визита?

— О чем это вы толкуете, масса?

— Ты привез мне какое-нибудь послание от господина Леграна?

— Нет, масса. Но он приказал передать вам вот это.

И Юпитер вручил мне записку следующего содержания:

«Дорогой N!

Почему вы совсем перестали бывать у нас? Неужели вы приняли близко к сердцу какую-нибудь очередную мою brusquerie¹? Нет, это, конечно, не так.

За время, что мы не виделись с вами, у меня появилась забота. Хочу рассказать вам о ней, но не знаю, как братья за это, да и рассказывать ли вообще.

¹ Резкость (фр.).

Последние дни я был не совсем здоров и старина Юп вконец извел меня своим непрошеным попечением. Вчера, представьте, он приготовил огромнейшую дубину, чтобы побить меня за то, что я ускользнул от него и прогулял весь день *solus*¹ в горах на материке. Кажется, только нездоровье спасло меня от неожиданной взбучки.

Со времени нашей встречи ничего нового в моей коллекции не прибавилось.

Если у вас есть хоть какая-нибудь возможность, приезжайте вместе с Юпитером. *Очень* прошу вас. Мне нужно увидеться с вами сегодня же вечером по важному делу. Поверьте, что это дело *великой важности*. Ваш, как всегда,
Вильям Легран».

Что-то в тоне этой записки сразу вселило в меня тревогу. Весь ее стиль был так непохож на Леграна. Что взбрело ему в голову? Какая новая блажь завладела его необузданным воображением? Что за «дело великой важности» могло быть *у него*, у Леграна? Рассказ Юпитера не предвещал ничего доброго. Я опасался, что неотвязные мысли о постигшем его несчастье надломили рассудок моего друга. Не колеблясь, я решил тотчас же ехать вместе с негром.

Когда мы пришли к пристани, я увидел на дне лодки, на которой нам предстояло плыть, косу и лопаты, как видно, совсем новые.

— Это что, Юп? — спросил я.

— Коса и еще две лопаты, масса.

— Ты совершенно прав. Но откуда они взялись?

— Масса Вилл приказал мне купить их в городе, и я отдал за них чертову уйму денег.

— Во имя всего, что есть таинственного на свете, зачем твоему «масса Виллу» коса и лопаты?

— Зачем — я не знаю, и черт меня побери, если он сам знает. Все дело в жуке!

Видя, что от Юпитера толку сейчас не добьешься и что все его мыслительные способности парализованы этим жуком, я вскочил в лодку и поднял парус. Сильный по-

¹ Один (*лат.*).

путный ветер быстро пригнал нас в опоясанную скалами бухточку к северу от форта Моултри, откуда нам оставалось до хижины около двух миль. Мы пришли в три часа пополудни. Легран ожидал нас с видимым нетерпением. Здороваясь, он крепко стиснул мне руку, и эта нервическая горячность вновь пробудила и усилила мои недавние опасения. В лице Леграна сквозила какая-то мертвенная бледность, запавшие глаза сверкали лихорадочным блеском. Осведомившись о его самочувствии и не зная, о чем еще говорить, я спросил, получил ли он от лейтенанта Дж. своего золотого жука.

— О да! — ответил он, заливаясь ярким румянцем. — На другое же утро! Ничто не разлучит меня теперь с этим жуком. Знаете ли вы, что Юпитер был прав?

— В чем Юпитер был прав? — спросил я, и меня охватило горестное предчувствие.

— Жук — из чистого золота!

Он произнес эти слова с полной серьезностью: Я был глубоко потрясен.

— Этот жук принесет мне счастье, — продолжал Легран, торжествующе усмехаясь, — он вернет мне утраченное родовое богатство. Что ж удивительного, что я его так ценю? Он ниспослан самой судьбой и вернет мне богатство, если только я правильно пойму его указания. Юпитер, пойдя принеси жука!

— Что? Жука, масса? Не буду я связываться с этим жуком. Несите его сами.

Легран поднялся с важным видом и вынул жука из застекленного ящика, где он хранил его.

Жук был действительно великолепен. В научной ценности находки Леграна не могло быть сомнений — натуралисты в то время еще не знали таких жуков. На спинке виднелись с одной стороны два черных округлых пятнышка и ниже с другой еще одно, подлиннее. Надкрылья были удивительно твердыми и блестели действительно как полированное золото. Тяжесть жука была тоже весьма необычной. Учитывая все это, можно было не так уж строго судить Юпитера. Но как мог Легран разделять суждение Юпитера, оставалось для меня неразрешимой загадкой.

— Я послал за вами,— начал Легран торжественным тоном, когда я кончил осмотр,— я послал за вами, чтобы испросить совета и вашей помощи для уяснения воли Судьбы и жука...

— Дорогой Легран,— воскликнул я, прерывая его, — вы совсем больны, вам надо лечиться. Ложитесь сейчас же в постель, и я буду с вами несколько дней, пока вам не станет полегче. Вас лихорадит.

— Пощупайте мне пульс,— сказал он.

Я пощупал ему пульс и вынужден был признать, что никакой лихорадки у него не было.

— Бывают болезни и без лихорадки. Послушайтесь на этот раз моего совета. Прежде всего в постель. А затем...

— Вы заблуждаетесь, — прервал он меня. — Я совершенно здоров, но меня терзает волнение. Если вы действительно желаете мне добра, помогите мне успокоиться.

— А как это сделать?

— Очень просто. Мы с Юпитером собираемся в экспедицию на материк, в горы, и нам нужен верный помощник. Вы единственный, кому мы полностью доверяем. Ждет нас там успех или же неудача, все равно это волнение во мне сразу утихнет.

— Я буду счастлив, если смогу быть полезным,— ответил я,— но, скажите, этот дурацкий жук имеет какое-нибудь отношение к вашей экспедиции в горы?

— Да!

— Если так, Легран, я отказываюсь принимать участие в вашей нелепой затее.

— Жаль! Очень жаль! Нам придется идти одним.

Идти одним! Он действительно сумасшедший!

— Погодите! Сколько времени вы намереваетесь пробыть там?

— Должно быть, всю ночь. Мы выйдем сию же минуту и к восходу солнца вернемся домой, что бы там ни было.

— А вы поклянетесь честью, что, когда ваша прихоть будет исполнена и вся эта затея с жуком (Боже правый!) благополучно закончится, вы вернетесь домой и станете

слушаться меня, как если бы я был вашим домашним врачом?

— Да. Обещаю. Скорее в путь! Время не ждет!

С тяжелым сердцем решил я сопровождать моего друга. Было около четырех часов дня, когда мы пустились в путь — Легран, Юпитер, собака и я. Юпитер нес косу и лопаты; он настоял на этом не от избытка любезности или же прилежания, но, как я полагаю, из страха доверить эти орудия своему господину. Вид у него был преупрямый. «Чертов жук!» — вот единственное, что я услышал от него за все путешествие. Мне поручили два потайных фонаря. Легран нес жука. Жук был привязан к концу шнура, и Легран крутил его на ходу, как заклинатель. Когда я заметил это новое явное доказательство безумия моего друга, я с трудом удержался от слез. Тем не менее я пока решил ни в чем не перечить Леграну и ждать случая, когда я смогу предпринять какие-либо энергичные меры. Я попытался несколько раз завязать беседу о целях похода, но безуспешно. Уговорив меня идти вместе с ним и довольный этим, Легран, видимо, не хотел больше вести никаких разговоров и на все мои расспросы отвечал односложно: «Увидим!»

Дойдя до мыса, мы сели в ялик и переправились на материк. Потом взобрались по высокому берегу и, взяв направление на северо-запад, углубились в дикий, пустынный край, где, казалось, никогда не ступала нога человека. Легран уверенно вел нас вперед, лишь изредка останавливаясь и сверяясь с ориентирами, которые, видимо, заметил, посещая эти места до того.

Так мы шли часа два, и на закате перед нами открылась угрюмая местность, еще более мрачная, чем все, что мы видели до сих пор. Это был род плато, раскинувшегося у подножия почти неприступного склона и поросшего лесом от низу до самого верха. Склон был усеян громадными валунами, которые, казалось, не падали вниз в долину лишь потому, что деревья преграждали им путь. Глубокие расселины пересекали плато во всех направлениях и придавали пейзажу еще большую дикость.

Плоскогорье, по которому мы поднимались, сплошь поросло ежевикой. Вскоре стало ясно, что без косы нам

сквозь заросли не пробраться. По приказу Леграна Юпитер стал выкашивать для нас тропинку к тюльпановому дереву необыкновенной высоты, которое стояло окруженное десятком дубов и далеко превосходило и эти дубы, и вообще все деревья, какие мне приходилось когда-либо видеть, раскидистой кроной, величавой красотой листвы и царственностью общих очертаний. Когда мы пришли наконец к цели, Легран обернулся к Юпитеру и спросил, сможет ли он взобраться на это дерево. Старик был сперва озадачен вопросом и ничего не ответил. Потом, подойдя к лесному гиганту, он обошел ствол кругом, внимательно вглядываясь. Когда осмотр был закончен, Юпитер сказал просто:

— Да, масса! Еще не выросло такого дерева, чтобы Юпитер не смог на него взобраться.

— Тогда не мешкай и лезь, потому что скоро станет темно и мы ничего не успеем сделать.

— Высоко залезть, масса? — спросил Юпитер.

— Взбирайся вверх по стволу, пока я не крикну... Эй, погоди. Возьми и жука!

— Жука, масса Вилл? Золотого жука? — закричал негр, отшатываясь в испуге. — Что делать жуку на дереве? Будь я проклят, если его возьму.

— Слушай, Юпитер, если ты, здоровенный рослый негр, боишься тронуть это безвредное мертвое насекомое, тогда держи его так, на шнурке, но если ты вовсе откажешься взять жука, мне придется, как это ни грустно, проломить тебе голову вот этой лопатой.

— Совсем ни к чему шуметь, масса, — сказал Юпитер, как видно, пристыженный и ставший более сговорчивым. — Что, я боюсь жука? Подумаешь, жук!

И, осторожно взявшись за самый конец шнура, чтобы быть от жука подальше, он приготовился лезть на дерево.

Тюльпановое дерево, или *Liriodendron Tulipiferum*, — великолепнейшее из деревьев, произрастающих в американских лесах. В юном возрасте оно отличается необыкновенно гладким стволом и выгоняет ветви лишь на большой высоте. Однако, по мере того как оно стареет, кора на стволе становится неровной и узловатой, а вместе с

тем появляются короткие сучья. Так что задача, стоявшая перед Юпитером, казалась невыполнимой только на первый взгляд. Крепко обняв огромный ствол коленями и руками, нащупывая пальцами босых ног неровности коры для упора и раза два счастливо избежав падения, Юпитер добрался до первой развилины ствола и, видимо, считал свою миссию выполненной. Главная опасность действительно была позади, но Юпитер находился на высоте в шестьдесят или семьдесят футов.

— Куда мне лезть дальше, масса Вилл? — спросил он.

— По толстому суку вверх, вон с той стороны, — ответил Легран.

Негр тотчас повиновался, лезть было, должно быть, нетрудно. Он подымался все выше, и скоро его коренастая фигура исчезла из виду, потерявшись в густой листве. Потом послышался голос как будто издали:

— Сколько еще лезть?

— Где ты сейчас? — спросил Легран.

— Высоко, высоко! — ответил негр. — Вижу верхушку дерева, а дальше — небо.

— Поменьше гляди на небо и слушай внимательно, что я тебе скажу. Посмотри теперь вниз и сочти, сколько всего ветвей на суку, на который ты влез. Сколько ветвей ты миновал?

— Одна, две, три, четыре, пять. Подо мной пять ветвей, масса.

— Поднимись еще на одну.

Вскоре Юпитер заверил нас, что он добрался до седьмой ветви.

— А теперь, Юп, — закричал Легран, вне себя от волнения, — ты полезешь по этой ветви, пока она будет тебя держать! А найдешь что-нибудь, крикни.

Если у меня еще оставались какие-либо сомнения по поводу помешательства моего друга, то теперь их не стало. Увы, он был сумасшедший! Следовало подумать о том, как доставить его домой. Пока я терялся в мыслях, опять послышался голос Юпитера:

— По этой ветви я боюсь дальше лезть. Она почти вся сухая.

— Ты говоришь, что она сухая, Юпитер? — закричал Легран прерывающимся голосом.

— Да, масса, мертвая, готова для того света.

— Боже мой, что же делать? — воскликнул Легран, как видно, в отчаянии.

— Что делать? — откликнулся я, обрадованный, что наступил мой черед сказать свое слово.— Вернуться домой и сразу в постель. Будьте умницей, уже поздно, и к тому же вы мне обещали.

— Юпитер! — закричал он, не обращая на мои слова никакого внимания.— Ты слышишь меня?

— Слышу, масса Вилл, как не слышать!

— Возьми нож. Постругай эту ветвь. Может быть, она не очень гнилая.

— Она, конечно, гнилая,— ответил негр немного спустя,— да не такая гнилая. Пожалуй, я немного продвинусь вперед. Но только один.

— Что это значит? Разве ты и так не один?

— Я про жука. Жук очень, очень тяжелый. Если я брошу его вниз, я думаю, одного старого негра этот сук выдержит.

— Старый плут! — закричал Легран с видимым облегчением. — Не городи вздора! Если ты бросишь жука, я сверну тебе шею. Эй, Юпитер, ты слышишь меня?

— Как не слышать, масса? Нехорошо так ругать бедного негра.

— Так вот, послушай! Если ты проберешься еще немного вперед, осторожно, конечно, чтобы не грохнутья вниз, и если ты будешь держать жука, я подарю тебе серебряный доллар, сразу, как только ты спустишься.

— Хорошо, масса Вилл, лезу,— очень быстро ответил Юпитер,— а вот уже и конец.

— Конец ветви? — вскричал Легран.— Ты правду мне говоришь, ты на конце ветви?

— Не совсем на конце, масса... Ой-ой-ой! Господи Боже мой! Что это здесь на дереве?

— Ну? — крикнул Легран, очень довольный.— Что ты там видишь?

— Да ничего, просто череп. Кто-то забыл свою голову здесь на дереве, и вороны склевали все мясо.

— Ты говоришь — череп?! Отлично! А как он там держится? Почему он не падает?

— А верно ведь, масса! Сейчас погляжу. Что за притча такая! Большой длинный гвоздь. Череп прибит гвоздем,

— Теперь, Юпитер, делай в точности, что я скажу. Слышишь меня?

— Слышу, масса.

— Слушай меня внимательно! Найди левый глаз у черепа.

— Угу! Да! А где же у черепа левый глаз, если он вовсе безглазый?

— Ох, какой ты болван, Юпитер! Знаешь ты, где у тебя правая рука и где левая?

— Знаю, как же не знать, левой рукой я колю дрова.

— Правильно. Ты левша. Так вот, левый глаз у тебя с той стороны, что и рука. Ну, сумеешь теперь отыскать левый глаз у черепа, то место, где был левый глаз?

Юпитер долго молчал, потом он сказал:

— Левый глаз у черепа с той стороны, что и рука у черепа? Но у черепа нет левой руки... Что ж, на нет и суда нет! Вот я нашел левый глаз. Что мне с ним делать?

— Пропусти сквозь него жука и спусти его вниз, сколько хватит шнура. Только не урони.

— Пропустил, масса Вилл. Это самое плевое дело — пропустить жука через дырку. Смотрите-ка!

Во время этого диалога Юпитер был скрыт листвой дерева. Но жук, которого он спустил вниз, виднелся теперь на конце шнура. Заходящее солнце еще освещало возвышенность, где мы стояли, и в последних его лучах жук сверкнул, как полированный золотой шарик. Он свободно свисал между ветвей дерева, и если б Юпитер сейчас отпустил шнурок, тот упал бы прямо к нашим ногам. Легран быстро схватил косу и расчистил участок диаметром в девять — двенадцать футов, после чего он велел Юпитеру отпустить шнурок и слезать поскорее вниз.

Забив кольшечек точно в том месте, куда упал жук, мой друг выгацил из кармана землемерную ленту. Прикрепив ее за конец к стволу дерева, как раз напротив забитого кольшечка, он протянул ее прямо, до кольшечка, после чего, продолжая разматывать ленту и отступая назад,

отмерил еще пятьдесят футов. Юпитер с косою в руках шел перед ним, срезая кусты ежевики. Дойдя до нужного места, Легран забил еще один колышек и, принимая его за центр, очистил круг диаметром примерно в четыре фута. Потом он дал по лопате мне и Юпитеру, сам взял лопату и приказал нам копать.

Откровенно скажу, я не питаю склонности к такого рода забавам даже при свете дня; теперь же спускалась ночь, а я и так изрядно устал от нашей прогулки. Всего охотнее я отказался бы. Но мне не хотелось противоречить моему бедному другу и тем усугублять его душевное беспокойство. Так что выхода не было. Если бы я мог рассчитывать на помощь Юпитера, то, ничуть не колеблясь, применил бы сейчас силу и увел бы безумца домой. Но я слишком хорошо знал старого негра и понимал, что ни при каких обстоятельствах он не поддержит меня против своего господина. Что до Леграна, мне стало теперь ясно, что он заразился столь обычной у нас на Юге манией кладоискательства и что его и без того пылкое воображение было подстегнуто находкой жука и еще, наверно, упрямством Юпитера, затвердившего, что найденный жук «из чистого золота».

Такие мании могут легко подтолкнуть к помешательству неустойчивый разум, особенно если они находят себе пищу в тайных стремлениях души. Я вспомнил слова моего бедного друга о том, что жук вернет ему родовое богатство. Я был раздосадован и вместе с тем глубоко огорчен. В конце концов я решил проявить добрую волю (поскольку не видел иного выхода) и принять участие в поисках клада, чтобы быстрее и самым наглядным образом убедить моего фантазера в беспочвенности его выдумок.

Мы зажгли фонари и принялись рыть с усердием, которое заслуживало лучшего применения. Свет струился по нашим лицам, и я подумал, что мы втроем образуем весьма живописную группу и что случайный путник, который наткнется на нас, должен будет преисполниться странных мыслей и подозрений.

Так мы копали не менее двух часов. Мы сохраняли молчание, и нас смущал только лай собаки, которая выказывала необычайный интерес к нашей работе. Этот лай

становился все более настойчивым, и мы начали опасаться, как бы он не привлек какого-нибудь бродягу, расположившегося по соседству на отдых. Точнее, боялся Легран; я был бы только доволен, если бы смог при содействии постороннего человека вернуть домой моего путешественника. Разбушевавшегося пса утихомирил Юпитер, проявив при этом немалую изобретательность. Он вылез из ямы с решительным видом и стянул ему пасть своими подтяжками, после чего, хмуро посмеиваясь, снова взялся за лопату.

После двухчасовых трудов мы вырыли яму глубиной в пять футов, однако никаких признаков клада не было видно. Мы приостановились, и я стал надеяться, что комедия подходит к концу. Однако Легран, хотя и расстроенный, как я мог заметить, отер пот со лба и снова взялся за работу. Яма уже имела четыре фута в диаметре и занимала всю площадь очерченного Леграном круга. Теперь мы расширили этот круг, потом углубили яму еще на два фута. Результаты остались все теми же. Мой золотоискатель, которого мне было жаль от души, наконец вылез из ямы и принялся медленно и неохотно натягивать свой сюртук, который сбросил перед началом работы. В каждой черточке его лица сквозило горькое разочарование. Я молчал, Юпитер по знаку своего господина стал собирать инструменты. Потом он снял с собаки свой самодельный намордник, и мы двинулись в путь, домой, не произнеся ни слова.

Не успели пройти мы и десятка шагов, как Легран с громким проклятием повернулся к негру и крепко схватил его за ворот. Пораженный Юпитер разинул рот, выпучил глаза и, уронив лопаты, упал на колени.

— Каналья,— с трудом промолвил Легран сквозь сжатые зубы,— проклятый черный негодяй, отвечай мне немедленно, отвечай без уверток, где у тебя левый глаз?

— Помилуй Бог, масса Вилл, вот у меня левый глаз, вот он! — ревел перепуганный Юпитер, кладя руку на правый глаз и прижимая его из всей мочи, словно страшась, что его господин вырвет ему этот глаз.

— Так я и думал! Я знал! Ура! — закричал Легран, отпуская негра. Он исполнил несколько сложных танцевальных фигур, поразивших его слугу, который, поднявшись на ноги и словно окаменев, переводил взгляд с хозяина на меня и с меня опять на хозяина.

— За дело! — сказал Легран.— Вернемся! Мы еще сыграем эту игру! — И он повел нас обратно к тюльпановому дереву.

— Ну, Юпитер,— сказал Легран, когда мы снова стояли втроем у подножия дерева,— говори: как был прибит этот череп к ветке, лицом или наружу?

— Наружу, масса, так чтоб вороны могли клевать глаза без хлопот.

— Теперь говори мне, в какой ты глаз опустил жука — в тот или этот? — И Легран тронул пальцем сперва один глаз Юпитера, потом другой.

— В этот самый, масса, в левый, как вы велели! — Юпитер указывал пальцем на *правый* глаз.

— Отлично, начнем все сначала!

С этими словами мой друг, в безумии которого, как мне показалось, появилась теперь некоторая система, выгацил колышек, вбитый им ранее на месте падения жука, и переставил его на три дюйма к западу. Снова связав землемерной лентой колышек со стволом дерева, он отмерил еще пятьдесят футов до новой точки, отстоявшей от нашей ямы на несколько ярдов.

Мы очертили еще раз круг, несколько большего диаметра, чем предыдущий, и снова взялись за лопаты.

Я смертельно устал, но, хотя и сам еще не отдавал себе в том отчета, прежнее отвращение к работе у меня почему-то исчезло. Каким-то неясным образом я стал испытывать к ней интерес, более того, меня охватило волнение. В нелепом поведении Леграна сквозило что-то похожее на предвидение, на продуманный план, и это, вероятно, оказало на меня свое действие. Продолжая усердно копать, я ловил себя несколько раз на том, что и сам со вниманием гляжу себе под ноги, в яму, словно тоже ищу на дне ее мифическое сокровище, мечта о котором свела с ума моего бедного друга. Мы трудились уже часа полтора, и эти странные прихоти мысли овладевали мной

все настойчивее, когда нас опять всполошил отчаянный лай нашего пса. Если раньше он лаял из озорства или же из каприза, то теперь его беспокойство было нешуточным. Он не дался Юпитеру, когда тот опять хотел напаять ему намордник, и, прыгнув в яму, стал яростно разгребать лапами землю. Через пять-шесть секунд он отрыл два человеческих скелета, а вернее, груды костей, перемешанных с обрывками полуистлевшей шерстяной материи и металлическими пуговицами. Еще два удара лопатой — и мы увидели широкое лезвие испанского ножа и несколько монет, золотых и серебряных.

При виде монет Юпитер предался необузданной радости, но на лице его господина выразилось сильнейшее разочарование. Он умолял нас, однако, не прекращать работу. Не успел он вымолвить эту просьбу, как я оступился и тут же упал ничком, зацепившись ногой за большое железное кольцо, прикрытое рыхлой землей.

Теперь работа пошла уже не на шутку. Лихорадочное напряжение, испытанное за эти десять минут, я не решусь сравнить ни с чем в своей жизни. Мы отрыли продолговатый деревянный сундук, прекрасно сохранившийся. Необыкновенная твердость досок, из которых он был сколочен, наводила на мысль, что дерево подверглось химической обработке, вероятно, было пропитано двухлористой ртутью. Сундук был длиною в три с половиной фута, шириной в три фута и высотой в два с половиной. Он был надежно окован железными полосами и обит заклепками. Перекрещиваясь, железные полосы покрывали сундук, образуя как бы решетку. С боков сундука под самую крышку было ввинчено по три железных кольца, всего шесть колец, так что за него могли взяться разом шесть человек. Взявшись втроем, мы сумели только что сдвинуть сундук с места. Стало ясно, что унести такой груз нам не под силу. По счастью, крышка держалась лишь на двух выдвигных болтах. Дрожащими руками, не дыша от волнения, мы выдернули болты. Мгновение, и перед нами предстало сокровище. Когда пламя фонарей осветило яму, от груды золота и драгоценных камней взметнулся блеск такой силы, что мы были просто ослеплены.

Чувства, с которыми я взирал на сокровища, не передать словами. Прежде всего я, конечно, был изумлен. Легран, казалось, изнемогал от волнения и почти не разговаривал с нами. Лицо Юпитера на минуту стало смертельно бледным, если можно говорить о бледности применительно к черноте негра. Он был словно поражен громом. Потом он упал на колени и, погрузив по локоть в сокровища свои голые руки, блаженно застыл в этой позе, словно был в теплой ванне. Наконец, глубоко вздохнув, он произнес примерно такую речь:

— И все это сделал золотой жук! Милый золотой жук, бедный золотой жучок. А я-то его обижал, я бранил его! И не стыдно тебе, старый негр! Отвечай!..

Я оказался вынужденным призвать их обоих — и слугу, и господина — к порядку; нужно было забрать сокровище. Спускалась ночь, до рассвета нам предстояло доставить его домой. Мы не знали, как взяться за дело, голова шла кругом, и много времени ушло на раздумья. Наконец мы извлекли из сундука две трети его содержимого, после чего, тоже не без труда, вытащили сундук из ямы. Вынутые сокровища мы спрятали в ежевичных кустах и оставили под охраной нашего пса, которому Юпитер строго-настрого приказал ни под каким видом не двигаться с места и не разевать пасти до нашего возвращения. Затем мы подняли сундук и поспешно двинулись в путь. Дорога была нелегкой, но к часу ночи мы благополучно пришли домой. Слишком измученные, чтобы идти обратно, — ведь и человеческая выносливость имеет предел, — мы закусили и дали себе отдых до двух часов; после чего, захватив три больших мешка, отыскавшихся, к нашему счастью, тут же на месте, мы поспешили назад. Около четырех часов, — ночь уже шла на убыль, — мы подошли к тюльпановому дереву, разделили остатки добычи на три примерно равные части, бросили ямы как есть, незасыпанными, снова пустились в путь и сложили драгоценную ношу в хижине у Леграна, когда первый слабый проблеск зари осветил восток над кромкою леса.

Мы изнемогали от тяжелой усталости, но внутреннее волнение не оставляло нас. Проспав три-четыре часа беспокойным сном, мы, словно уговорившись заранее, поднялись и стали рассматривать наши сокровища.

Сундук был наполнен до самых краев, и мы потратили весь этот день и большую часть ночи, перебирая сокровища. Они были свалены как попало. Видно было, что их бросали в сундук не глядя. После тщательной разборки выяснилось, что доставшееся нам богатство даже значительнее, чем нам показалось с первого взгляда. Одних золотых монет, исчисляя стоимость золота по тогдашнему курсу, было не менее чем на четыреста пятьдесят тысяч долларов. Серебра там не было вовсе, одно только золото, иностранного происхождения и старинной чеканки — французское, испанское и немецкое, несколько английских гиней и еще какие-то монеты, нам совсем незнакомые. Попадались тяжелые большие монеты, стертые до того, что нельзя было прочесть на них надписи. Американских не было ни одной. Определить стоимость драгоценностей было труднее. Бриллианты изумили нас своим размером и красотой. Всего было сто десять бриллиантов, и среди них ни одного мелкого. Мы нашли восемнадцать рубинов удивительного блеска, триста десять превосходных изумрудов, двадцать один сапфир и один опал. Все камни были, как видно, вынуты из оправ и брошены в сундук небрежной рукой. Оправы же, перемешанные с другими золотыми вещами, были сплюснены молотком, видимо, для того, чтобы нельзя было опознать драгоценности. Кроме того, что я перечислил, в сундуке было множество золотых украшений, около двухсот массивных колец и серег; золотые цепочки, всего тридцать штук, если не ошибаюсь; восемьдесят три тяжелых больших распятия; пять золотых кадилниц огромной ценности; большая золотая чаша для пунша, изукрашенная виноградными листьями и вакхическими фигурами искусной ювелирной работы; две рукоятки от шпаг с изящными чеканными украшениями и еще много мелких вещей, которые я не в силах сейчас припомнить. Общий вес драгоценностей превышал триста пятьдесят английских фунтов. Я уж не говорю о часах, их было сто девяносто семь штук, и трое из них стоили не менее чем по пятьсот долларов. Часы были старинной системы, и ржавчина разрушила механизмы, но украшенные драгоценными камнями золотые крышки были в сохранности. В эту ночь мы оцени-

ли содержимое нашего сундука в полтора миллиона долларов. В дальнейшем, когда мы продали драгоценные камни и золотые изделия (некоторые безделушки мы сохранили на память), оказалось, что наша оценка клада была слишком скромной.

Когда наконец мы завершили осмотр и владевшее нами необычайное волнение чуть-чуть поутихло, Легран, который видел, что я сгораю от нетерпения и жажду получить разгадку этой поразительной тайны, принялся за рассказ, не упуская ни малейшей подробности.

— Вы помните,— сказал он,— тот вечер, когда я показал вам свой беглый набросок жука. Вспомните также, как я был раздосадован, когда вы сказали, что мой рисунок походит на череп. Вначале я думал, что вы просто шутите; потом я припомнил, как характерно расположены пятнышки на спинке жука, и решил, что ваше замечание не столь уж нелепо. Все же насмешка ваша задела меня — я считаюсь недурным рисовальщиком. Потому, когда вы вернули мне этот клочок пергамента, я вспылил и хотел скомкать его и швырнуть в огонь.

— Клочок бумаги, вы хотите сказать,— заметил я.

— Нет! Я сам так думал вначале, но как только стал рисовать, обнаружилось, что это тонкий-претонкий пергамент. Как вы помните, он был очень грязен. Так вот, комкая его, я ненароком взглянул на рисунок, о котором шла речь. Представьте мое изумление, когда я тоже увидел изображение черепа на том самом месте, где только что нарисовал вам жука. В первую минуту я растерялся. Я ведь отлично знал, что сделанный мною рисунок не был похож на тот, который я увидел сейчас, хотя в их общих чертах и можно было усмотреть нечто сходное. Я взял свечу и, усевшись в другом конце комнаты, стал исследовать пергамент более тщательно. Перевернув его, я тотчас нашел свой рисунок, совершенно такой, каким он вышел из-под моего пера. Близость этих изображений на двух сторонах пергамента была поистине странной. На обороте пергамента, в точности под моим рисунком жука, был нарисован череп, который напоминал моего жука и размером и очертаниями! Невероятное совпадение на минуту ошеломило меня. Это обычное следствие такого

рода случайностей. Рассудок силится установить причинную связь явлений и, потерпев неудачу, оказывается на время как бы парализованным. Когда я пришел в себя, меня осенила вдруг мысль, которая была еще удивительнее, чем то совпадение, о котором я говорю. Я совершенно ясно, отчетливо помнил, что, когда я рисовал своего жука, на пергаменте не было *никакого другого рисунка*. Я был в этом совершенно уверен потому, что, отыскивая для рисунка местечко почище, поворачивал пергамент то одной, то другой стороной. Если бы череп там был, я бы, конечно, его заметил. Здесь таилась загадка, которую я не мог объяснить. Впрочем, скажу вам, уже тогда, в этот первый момент, где-то в далеких тайниках моего мозга чуть мерцало, подобное светлячку, то предчувствие, которое столь блистательно подтвердила вчера наша ночная прогулка. Я встал, спрятал пергамент в укромное место и отложил все дальнейшие размышления до того, как останусь один.

Когда вы ушли и Юпитер крепко уснул, я приступил к более методическому исследованию стоявшей передо мною задачи. Прежде всего я постарался восстановить обстоятельства, при которых пергамент попал ко мне в руки. Мы нашли жука на материке, в миле к востоку от острова и поблизости от линии прилива. Когда я схватил жука, он меня укусил, и я его сразу выронил. Юпитер, прежде чем взять упавшего возле него жука, стал с обычной своей осторожностью искать листок или еще что-нибудь, чем защитит свои пальцы. В ту же минуту и он, и я, одновременно, увидели этот пергамент; мне показалось тогда, что это бумага. Пергамент лежал полузарытый в песке, только один уголок его торчал на поверхности. Поблизости я заметил остов корабельной шлюпки. Видно, он пролежал здесь немалый срок, потому что от деревянной обшивки почти ничего не осталось.

Итак, Юпитер поднял пергамент, завернул в него золотого жука и передал его мне. Вскоре мы собрались домой. По дороге мы встретили лейтенанта Дж., я показал ему нашу находку, и он попросил у меня позволения взять жука с собой в форт. Я согласился, он быстро сунул жука в жилетный карман, оставив пергамент мне. Лейтенант поспешил воспользоваться моим разрешением и спрятал

жука, быть может, боясь, что я передумаю; вы ведь знаете, как горячо он относится ко всему, что связано с естествознанием. Я, в свою очередь, сунул пергамент в карман совсем машинально.

Вы помните, когда я подсел к столу, чтобы нарисовать жука, у меня не оказалось бумаги. Я заглянул в ящик, но и там ничего не нашел. Я стал рыться в карманах, рассчитывая отыскать какой-нибудь старый конверт, и нащупал пергамент. Я описываю с наивозможнейшей точностью, как пергамент попал ко мне: эти обстоятельства имеют большое значение.

Можете, если хотите, считать меня фантазером, но должен сказать, что уже в ту минуту я установил некоторую связь событий. Я соединил два звена длинной логической цепи. На морском побережье лежала шляпка, неподалеку от шляпки пергамент — *не бумага*, заметьте, пергамент, на котором был нарисован череп. Вы, конечно, спросите, где же здесь связь? Я отвечу, что череп — всем известная эмблема пиратов. Пираты, вступая в бой, поднимали на мачте флаг с изображением черепа.

Итак, я уже сказал, то была не бумага, пергамент. Пергамент сохраняется очень долго, то, что называется вечно. Его редко используют для обычных записей уже потому, что писать или рисовать на бумаге гораздо легче. Это рождало мысль, что череп на нашем пергаменте был неспроста, а с каким-то особым значением. Я обратил внимание и на *формат* пергамента. Один уголок листа был по какой-то причине оборван, но первоначально пергамент был удлиненным. Это был лист пергамента, предназначенный для памятной записи, которую следует тщательно, долго хранить.

— Все это так, — прервал я Леграна, — но вы ведь сами сказали, что, когда рисовали жука на пергаменте, там *не было* черепа. Как же вы утверждаете, что существует некая связь между шляпкой и черепом, когда вы сами свидетель, что этот череп был нарисован (один только Бог знает, кем!) уже после того, как вы нарисовали жука?

— А! Здесь-то и начинается тайна. Хотя должен сказать, что разгадка ее в этой части не составила для меня большого труда. Я не давал своим мыслям сбиться с пути,

логика же допускала только одно решение. Рассуждал я примерно так. Когда я стал рисовать жука, на пергаменте не было никаких признаков черепа. Я кончил рисунок, передал его вам и пристально за вами следил, пока вы мне не вернули пергамент. Следовательно, не вы нарисовали там череп. Однако, помимо вас, нарисовать его было некому. Значит, череп вообще нарисован не был. Откуда же он взялся?

Тут я постарался припомнить с полной отчетливостью решительно все, что случилось в тот вечер. Стояла холодная погода (о, редкий, счастливый случай!), в камине пылал огонь. Я разогрелся от быстрой ходьбы и присел у стола. Ну, а вы пододвинули свое кресло еще ближе к камину. В ту же минуту, как я передал вам пергамент и вы стали его разглядывать, вбежал Волк, наш ньюфаундленд, и бросился вас обнимать.левой рукой вы гладили пса, стараясь его отстранить, а правую руку с пергаментом опустили между колен, совсем близко к огню. Я побоялся даже, как бы пергамент не вспыхнул, и хотел уже вам об этом сказать, но не успел, потому что вы тут же подняли руку и стали снова его разглядывать. Когда я представил в памяти всю картину, то сразу уверился, что череп возник на пергаменте *под влиянием тепла*.

Вы, конечно, слыхали, что с давних времен существуют химические составы, при посредстве которых можно тайно писать и на бумаге и на пергаменте. Запись становится видимой под влиянием тепла. Растворите цафру в «царской водке» и разведите потом в четырехкратном объеме воды, чернила будут зелеными. Растворите кобальтовый королек в нашатырном спирте — они будут красными. Ваша запись вскоре исчезнет, но появится вновь, если вы прогреете бумагу или пергамент вторично.

Я стал тщательно рассматривать изображение черепа на пергаменте. Наружный контур рисунка — я имею в виду очертания его, близкие к краю пергаamenta, — *выделлся отчетливо*. Значит, действие тепла было либо малым, либо неравномерным. Я тотчас разжег огонь и стал нагревать пергамент над пылающим жаром. Вскоре очертания черепа проступили более явственно; когда же я продолжил свой опыт, то по диагонали от черепа в про-

тивоположном углу пергамента стала обозначаться фигура, которую я сперва принял за изображение козы. Более внимательное изучение рисунка убедило меня, что это козленок.

— Ха-ха-ха! — рассмеялся я. — Конечно, Легран, я не вправе смеяться над вами, полтора миллиона долларов не тема для шуток, но прибавить еще звено к вашей логической цепи вам здесь не удастся. Пират и коза несовместны. Пираты не занимаются скотоводством; это — прерогатива фермеров.

— Но я же сказал вам, что это была не коза.

— Не коза, так козленок, не вижу большой разницы.

— Большой я тоже не вижу, но разница есть, — ответил Легран, — сопоставьте два слова kid (козленок) и Kidd! Доводилось ли вам читать или слышать о капитане Кидде? Я сразу воспринял изображение животного как иероглифическую подпись, наподобие рисунка в ребусе. Подпись, я говорю, потому что козленок был нарисован на нашем пергаменте именно в том самом месте, где ставится подпись. А изображение черепа в противоположном по диагонали углу, в свою очередь, наводило на мысль о печати или гербе. Но меня обескураживало отсутствие главного — текста моего воображаемого документа.

— Значит, вы полагали, что между печатью и подписью будет письмо?

— Да, в этом роде. Сказать по правде, мною уже овладевало непобедимое предчувствие огромной удачи. Почему, сам не знаю. Это было, быть может, не столько предчувствие, сколько самовнушение. Представьте, глупая шутка Юпитера, что жук из чистого золота, сильно подействовала на меня. К тому же эта удивительны цепь случайностей и совпадений!.. Ведь все события пришились на тот самый день, выпадающий, может быть, раз в году, когда мы топим камин. А ведь без камина и без участия нашего пса, который явился как раз в нужный момент, я никогда не узнал бы о черепае и никогда не стал бы владельцем сокровищ.

— Хорошо, что же дальше?

— Вы, конечно, знаете, что есть множество смутных преданий о кладях, зарытых Киддом и его сообщниками

где-то на атлантическом побережье. В основе этих преданий, конечно, лежат факты. Предания живут с давних пор и не теряют своей живучести; на мой взгляд, это значит, что клад до сих пор не найден. Если бы Кидд сперва спрятал сокровище, а потом пришел и забрал его, едва ли предания дошли бы до нас все в той же устойчивой форме. Заметьте, предания рассказывают лишь о поисках клада, о находке в них нет ни слова. Но если бы пират открыл сокровище, толки о нем затихли бы. Мне всегда казалось, что какая-нибудь случайность, скажем, потеря карты, где было обозначено местонахождение клада, помешала Кидду найти его и забрать. О несчастье Кидда разведали другие пираты, без того никогда не узнавшие бы о зарытом сокровище, и их бесплодные поиски, предпринятые наудачу, и породили все эти предания и толки, которые разошлись по свету и дожили до нашего времени. Доводилось вам слышать хоть раз, чтобы в наших местах кто-нибудь отыскал действительно ценный клад?

— Нет, никогда.

— А ведь всякий знает, что Кидд владел несметным богатством. Итак, я сделал вывод, что клад остался в земле. Не удивляйтесь же, что во мне родилась надежда, граничившая с уверенностью, что столь необычным путем попавший ко мне пергамент укажет мне путь к сокровищу Кидда.

— Что вы предприняли дальше?

— Я снова стал нагревать пергамент, постепенно усиливая огонь, но это не дало мне ничего нового. Тогда я решил, что, быть может, мешают грязь, наросшая на пергаменте. Я осторожно обмыл его теплой водой. Затем положил его на железную сковороду, повернув вниз той стороной, где был нарисован череп, и поставил сковороду на уголья. Через несколько минут, когда сковорода накалилась, я вынул пергамент и с невыразимым восторгом увидел, что кое-где на нем появились знаки, напоминавшие цифры и расположенные в строку. Я снова положил пергамент на сковороду и подержал еще над огнем. Тут надпись выступила вся целиком — сейчас я вам покажу.

Легран разогрел пергамент и дал его мне. Между черепом и козленком, грубо начертанные чем-то красным, стояли такие знаки.

53# # + 305)) 6*; 4826) 4#.) 4#.); 806*,48 + 8|| 60)), 85;;] 8*;;# *8 + 83(88)5*+; 46(; 88*96*?; 8)*# (;485); 5* + 2:* # (; 4956* 2(5*=4) 8// 8*; 4069285); 6 +8) 4# #; 1(#9; 4 8081; 8:8# 1; 48 + 85; 4) 485 + 528806*81 (#9; 48; (88; 4(#? 34; 48) 4 #; 161;; 188#?;

— Что ж! — сказал я, возвращая Леграну пергамент. — Меня это не подвинуло бы ни на шаг. За все алмазы Голконды я не возьмусь решать подобную головоломку.

— И все же,— сказал Легран,— она не столь трудна, как может сперва показаться. Эти знаки, конечно, — шифр; иными словами, они скрывают словесную запись. Кидд, насколько мы можем о нем судить, не сумел бы составить истинно сложную криптограмму. И я сразу решил, что передо мной примитивный шифр, но притом такой, который незатейливой фантазии моряка должен был показаться совершенно непостижимым.

— И что же, вы сумели найти решение?

— С легкостью! В моей практике встречались шифры в тысячу раз сложнее. Я стал заниматься подобными головоломками благодаря обстоятельствам моей жизни и особым природным склонностям и пришел к заключению, что едва ли разуму человека дано загадать такую загадку, какую разум другого его собрата, направленный должным образом, не смог бы раскрыть. Прямо скажу, если текст зашифрован без грубых ошибок и документ в приличной сохранности, я больше ни в чем не нуждаюсь; последующие трудности для меня просто не существуют.

Прежде всего, как всегда в таких случаях, возникает вопрос о языке криптограммы. Принцип решения (в особенности это относится к шифрам простейшего типа) в значительной мере зависит от языка. Выяснить этот вопрос можно только одним путем, испытывая один язык за другим и постепенно их исключая, пока не найдешь решение. С нашим пергаментом такой трудности не было; подпись давала разгадку. Игра словами kid и Kidd возможна лишь по-английски. Если б не это, я начал бы поиски с других языков. Пират испанских морей скорее всего

избрал бы для тайной записи французский или испанский язык. Но я уже знал, что криптограмма написана по-английски.

Как видите, текст криптограммы идет в сплошную строку. Задача намного была бы проще, если б отдельные слова были выделены просветами. Я начал тогда бы с анализа и сличения более коротких слов, и как только нашел бы слово из одной буквы (например, местоимение *я* или союз *и*), я почел бы задачу решенной. Но просветов в строке не было, и я принялся подсчитывать однотипные знаки, чтобы узнать, какие из них чаще, какие реже встречаются в криптограмме. Закончив подсчет, я составил такую таблицу:

Знак	8	встречается	34	раза
»	;	»	27	раз
»	4	»	19	»
»)	»	16	»
»	#	»	15	»
»	*	»	14	»
»	5	»	12	»
»	6	»	11	»
»	+	»	8	»
»	1	»	7	»
»	0	»	6	»
»	9 и 2	»	5	»
»	: и 3	»	4	»
»	?	»	3	»
»	//	»	2	»
»	= и]	»	1	раз.

В английской письменной речи самая частая буква — *e*. Далее идут в нисходящем порядке *a, o, i; d, b, n, r, s, t, u, y, c; f, g, l, m, w, v, k, p, q, x, z*. Буква *a*, однако, настолько часто встречается, что трудно построить фразу, в которой она не занимала бы господствующего положения.

Итак, уже сразу у нас в руках путеводная нить. Составленная таблица, вообще говоря, может быть очень полезна, но в данном случае она нам понадобится лишь в

начале работы. Поскольку знак 8 встречается в криптограмме чаще других, мы примем его за букву с английского алфавита. Для проверки нашей гипотезы взглянем, встречается ли этот знак дважды подряд, потому что в английском, как вам известно, буква с очень часто удваивается, например, в словах meet или fleet, speed или seed, seen, been, апогее и так далее. Хотя криптограмма невелика, знак 8 стоит в ней дважды подряд не менее пяти раз.

Итак, будем считать, что 8 — это с. Самое частое слово в английском — определенный артикль the. Посмотрим, не повторяется ли у нас сочетание из трех знаков, расположенных в той же последовательности, и оканчивающееся знаком 8. Если такое найдется, это будет, по всей вероятности, определенный артикль. Приглядевшись, находим не менее семи раз сочетание из трех знаков ; 4 8. Итак, мы имеем право предположить, что знак ; — это буква t, а 4 — h; вместе с тем подтверждается, что 8 действительно с. Мы сделали важный шаг вперед.

То, что мы расшифровали целое слово, потому так существенно, что позволяет найти границы других слов. Для примера возьмем предпоследнее из сочетаний этого рода ; 4 8. Идущий сразу за 8 знак ; будет, как видно, начальной буквой нового слова. Выписываем, начиная с него, шесть знаков подряд. Только один из них нам неизвестен. Обозначим теперь знаки буквами и оставим свободное место для неизвестного знака:

t.eeth

Ни одно слово, начинающееся на t и состоящее из шести букв, не имеет в английском языке окончания th, в этом легко убедиться, подставляя на свободное место все буквы по очереди. Потому мы отбрасываем две последние буквы как посторонние и получаем:

t.ee

Для заполнения свободного места можно снова взяться за алфавит. Единственным верным прочтением этого слова будет:

tree (дерево).

Итак, мы узнали еще одну букву — *r*, она обозначена знаком (, и мы можем теперь прочитать два слова подряд:

the tree

Немного дальше находим уже знакомое нам сочетание ; 4 8. Примем его опять за границу нового слова и выпишем целый отрывок, начиная с двух расшифрованных нами слов. Получаем такую запись:

the tree; 4 (#? 3 4 the

Заменим уже известные знаки буквами:

the tree thr#?3h the

А неизвестные знаки точками:

the tree thr...h the

Нет никакого сомнения, что неясное слово — *through* (через). Это открытие дает нам еще три буквы — *o*, *u* и *g*, обозначенные в криптограмме знаками # ? и 3.

Внимательно вглядываясь в криптограмму, находим вблизи от ее начала группу знакомых нам знаков:

83(88

которое читается так: *egree*. Это, конечно, слово *degree* (градус) без первой буквы. Теперь мы знаем, что буква *d* обозначена знаком +.

Вслед за словом *egree*, через четыре знака, встречаем такую группу:

; 4 6 (; 8 8*

Заменим, как уже делали раз, известные знаки буквами, а неизвестные точками:

th. rtee.

Сомнения нет, перед нами слово *thirteen* (тринадцать). К известным нам буквам прибавились *i* и *n*, обозначенные в криптограмме знаками 6 и *.

Криптограмма начинается так:

5 3 # # +

Подставляя по-прежнему буквы и точки, получаем:

.good.

Недостающая буква, конечно, *a*, и, значит, два первые слова будут читаться так:

A good (хороший).

Чтобы теперь не сбиться, расположим знаки в виде такой таблицы.

5	означает	a
+	«	d
8	«	e
3	«	g
4	«	h
6	«	i
*	«	n
#	«	o
(«	r
;	«	t

Здесь ключ к десяти главным буквам. Я думаю, нет нужды рассказывать вам, как я распознал остальные. Я познакомил вас с общей структурой шифра и надеюсь, что убедил, что он поддается разгадке. Повторяю, впрочем, что криптограмма — из самых простейших. Теперь я даю вам полный текст записи. Вот она в расшифрованном виде:

«A good glass in the bishop's hostel in the devil's seat twenty one degrees and thirteen minutes northeast and by north main branch seventh limb east side shoot from the left eye of the death's head a bee line from the tree through the shot fifty feet out». [Хорошее стекло в трактире епископа на чертовом стуле двадцать один градус и тринадцать минут северо — северо-восток главный сук седьмая ветвь восточная сторона стреляй из левого глаза мертвой головы прямая от дерева через выстрел на пятьдесят футов.]

— Что же, — сказал я, — загадка осталась загадкой. Как перевести на человеческий язык всю эту тарбарщину: «трактир епископа», «мертвую голову», «чертов стул»?

— Согласен, — сказал Легран, — текст еще смутен, особенно с первого взгляда. Мне пришлось расчленить эту запись по смыслу.

— Расставить точки и запятые?

— Да, в этом роде.

— И как же вы сделали это?

— Я исходил из того, что автор намеренно писал криптограмму в сплошную строку, чтобы затруднить тем разгадку. Причем человек не слишком угонченный, задавшись такой целью, легко ударяется в крайность. Там, где в тек-

сте по смыслу нужен просвет, он будет ставить буквы еще теснее. Взгляните на запись, и вы сразу увидите пять таких мест. По этому признаку я разделил криптограмму на несколько фраз:

«Хорошее стекло в доме епископа на чертовом стуле — двадцать один градус и тринадцать минут — северо-северо-восток — главный сук седьмая ветвь восточная сторона — стреляй из левого глаза мертвой головы — прямая от дерева через выстрел на пятьдесят футов».

— Запятые и точки расставлены,— сказал я,— но смысла не стало больше.

— И мне так казалось первое время,— сказал Лергран.— Сперва я расспрашивал всех, кого ни встречал, нет ли где по соседству с островом Сэлливановым какого-нибудь строения, известного под названием «трактир епископа». Никто ничего не знал, и я уже принял решение расширить мои поиски и повести их систематичнее, как вдруг однажды утром мне пришло в голову, что, быть может, это название «трактир епископа» (bishop's hostel) нужно связать со старинной фамилией Бессопов (Bessop), владевшей в давние времена усадьбой в четырех милях к северу от нашего острова. Я пошел на плантацию и обратился там к неграм, старожилам этого края. После многих расспросов самая дряхлая из старушек сказала, что действительно знает место, которое называлось «трактиром епископа», и думает, что найдет его, но что это совсем не трактир и даже не таверна, а высокий скалистый утес.

Я обещал ей хорошо заплатить за труды, и после некоторых колебаний она согласилась пойти туда вместе со мной. Мы добрались до места без каких-либо приключений. Отпустив ее, я осмотрелся кругом. «Трактир» оказался нагромождением скал и утесов. Одна скала, стоявшая особняком, выделялась своей высотой и странностью формы, напоминая искусственное сооружение. Я добрался до самой ее вершины и стал там в смущении, не зная, что делать дальше.

Пока я раздумывал, взор мой упал на узкий выступ в скале, на восточном ее склоне, примерно в ярде от места, где я стоял. Выступ имел в ширину около фута и выда-

вался наружу дюймов на восемнадцать. За ним в скале была ниша, и вместе они походили на кресло с полой спинкой, какие стояли в домах наших прадедов. Я сразу понял, что это и есть «чертов стул» и что я проник в тайну записи на пергаменте.

«Хорошее стекло» могло означать только одно — подзорную трубу; моряки часто пользуются словом «стекло» в этом смысле. Нужно было смотреть отсюда в трубу, причем с заранее определенной позиции, не допускающей никаких отклонений. Слова «двадцать один градус и тринадцать минут» и «северо — северо-восток» указывали направление подзорной трубы. Сильно взволнованный своими открытиями, я поспешил домой, взял трубу и вернулся в «трактир епископа».

Спустившись на «чертов стул», я убедился, что сидеть на нем можно только в одном положении. Догадка моя таким образом подтверждалась. Я поднял трубу. Направление по горизонтали было указано — «северо — северо-восток. Следовательно, «двадцать один градус и тринадцать минут» значили высоту над видимым горизонтом. Сориентировавшись по карманному компасу, я направил трубу приблизительно под углом в двадцать один градус и стал осторожно передвигать ее вверх, пока взор мой не задержался на круглом отверстии или просвете в листе громадного дерева, поднявшего высоко свою крону над окружающим лесом. В центре просвета я приметил белое пятнышко, но не мог сперва распознать, что это такое. Отрегулировав лучше трубу, я взглянул еще раз и ясно увидел человеческий череп.

Открытие окрылило меня, и я счел загадку решенной. Было ясно, что «главный сук, седьмая ветвь, восточная сторона» означают место, где надо искать череп на дереве, а приказ «стреляй из левого глаза мертвой головы» допускает тоже лишь одно толкование и указывает местонахождение клада. Надо было спустить пулю в левую глазницу черепа и потом провести «прямую», то есть прямую линию от ближайшей точки ствола через «выстрел» (место падения пули) на пятьдесят футов вперед. Там, по всей вероятности, и было зарыто сокровище.

— Все это выглядит убедительно,— сказал я,— и при некоторой фантастичности все же логично и просто. Что же вы сделали, покинув «трактир епископа»?

— Хорошенько приметив дерево, я решил возвращаться домой. В ту же минуту, как я поднялся с «чертова стула», круглый просвет исчез и, сколько я ни старался, я его больше не видел. В том-то и состояло все остроумие замысла, что просвет в листве дерева (как я убедился, несколько раз вставая и снова садясь) открывался зрителю с одной лишь единственной точки, с узкого выступа в этой скале.

К «трактиру епископа» мы ходили вместе с Юпитером, который, конечно, заметил за эти дни, что я веду себя как-то странно, и потому не отставал от меня ни на шаг. Но назавтра я встал чуть свет, ускользнул от его надзора и ушел один в горы разыскивать дерево. Разыскал я его с немалым трудом. Когда я вернулся вечером, Юпитер, как вы уже знаете, хотел отдубасить меня. О дальнейших событиях я могу не рассказывать. Они вам известны.

— Значит,— сказал я,— первый раз вы ошиблись местом из-за Юпитера: он опустил жука в правую глазницу черепа вместо левой?

— Разумеется! Разница в «выстреле», иными словами, в положении колышка не превышала двух с половиной дюймов, и если бы сокровище было зарыто под деревом, ошибка была бы пустячной. Но ведь линия через «выстрел» лишь указывала нам направление, по которому надо идти. По мере того как я удалялся от дерева, отклонение все возрастало, и когда я прошел пятьдесят футов, клад остался совсем в стороне. Не будь я так свято уверен, что сокровище здесь, наши труды пропали бы даром.

— Не пиратский ли флаг внушил Кидду эту странную выдумку с черепом, в пустую глазницу которого он велит опускать пулю? Обрести драгоценный клад через посредство зловещей эмблемы пиратов — в этом чувствуется некий поэтический замысел.

— Быть может, вы правы, хотя я лично думаю, что практический смысл играл здесь не меньшую роль, чем

поэтическая фантазия. Увидеть с «чертова стула» столь малый предмет можно только в единственном случае — если он будет белым. А что тут сравнится с черепом? Череп ведь не темнеет от бурь и дождей. Напротив, становится все белее...

— Ну, а ваши высокопарные речи и верчение жука на шнурке?! Что за странное это было чудачество! Я решил, что вы не в себе. И почему вам вдруг вздумалось опускать в глазницу жука вместо пули?

— Что же, не скрою! Ваши намеки на то, что я не в себе, рассердили меня, и я решил отплатить вам маленькой мистификацией в моем вкусе. Сперва я вертел жука на шнурке, а потом решил, что спущу его с дерева. Кстати, сама эта мысль воспользоваться жуком вместо пули пришла мне на ум, когда вы сказали, что поражены его тяжестью.

— Теперь все ясно. Ответьте еще на последний вопрос. Откуда взялись эти скелеты в яме?

— Об этом я знаю не больше вашего. Тут допустима, по-видимому, только одна догадка, но она предполагает дьявольскую жестокость. Понятно, что Кидд — если именно он владелец сокровища, в чем я лично не сомневаюсь, — не мог обойтись без подручных. Когда они сделали свое дело и осталось засыпать яму, он рассудил, что не нуждается в лишних свидетелях. Два-три удара ломом тут же решили дело. А быть может, требовался целый десяток — кто скажет?



УБИЙСТВА НА УЛИЦЕ МОРГ

Что за песню пели сирены или каким именем назывался Ахилл, скрываясь среди женщин,— уж на что это, кажется, мудреные вопросы, а какая-то догадка и здесь возможна.

Сэр Томас Браун.
Затворения в урнах

Так называемые аналитические способности нашего ума сами по себе малодоступны анализу. Мы судим о них только по результатам. Среди прочего нам известно, что для человека, особенно одаренного в этом смысле, дар анализа служит источником живейшего наслаждения. Подобно тому как атлет гордится своей силой и ловкостью и находит удовольствие в упражнениях, заставляющих его мышцы работать, так аналитик радуется любой возможности что-то *пронснить или распутать*. Всякая, хотя бы и нехитрая задача, высекающая искры из его таланта, ему приятна. Он обожает загадки, ребусы и криптограммы, обнаруживая в их решении проницательность, которая уму заурядному представляется чуть ли не сверхъестественной. Его решения, рожденные существом и душой метода, и в самом деле кажутся чудесами интуиции. Эта способность решения, возможно, выигрывает от занятий математикой, особенно тем высшим ее разделом, который неправомерно и только в силу обратного характера своих действий именуется анализом, так сказать анализом *par excellence*¹. Между тем рассчитывать, вычислять — само по себе еще не значит анализировать. Шахматист, например, рассчитывает, но отнюдь не анализирует. А отсюда следует, что представление о шахма-

¹ По преимуществу (фр.).

тах как об игре, исключительно полезной для ума, основано на чистейшем недоразумении. И так как перед вами, читатель, не трактат, а лишь несколько случайных соображений, которые должны послужить предисловием к моему не совсем обычному рассказу, то я пользуюсь случаем заявить, что непритязательная игра в шашки требует куда более высокого умения размышлять и задает уму больше полезных задач, чем мнимая изощренность шахмат. В шахматах, где фигуры неравноценны и где им присвоены самые разнообразные и причудливые ходы, сложность (как это нередко бывает) ошибочно принимается за глубину. Между тем здесь *решает* внимание. Стоит ему ослабеть, и вы совершаете оплошность, которая приводит к просчету или поражению. А поскольку шахматные ходы не только многообразны, но и многозначны, то шансы на оплошность соответственно растут, и в девяти случаях из десяти выигрывает не более способный, а более сосредоточенный игрок. Другое дело шашки, где допускается один только ход с незначительными вариантами; здесь шансов на недосмотр куда меньше, внимание не играет особой роли и успех зависит главным образом от сметливости. Представим себе для ясности партию в шашки, где остались только четыре дамки и, значит, ни о каком недосмотре не может быть и речи. Очевидно, здесь (при равных силах) победа зависит от удачного хода, от неожиданного и остроумного решения. За отсутствием других возможностей, аналитик старается проникнуть в мысли противника, ставит себя на его место и нередко с одного взгляда замечает ту единственную (и порой до очевидности простую) комбинацию, которая может вовлечь его в просчет или сбить с толку.

Вист давно известен как прекрасная школа для того, что именуется искусством расчета; известно также, что многие выдающиеся умы питали, казалось бы, необъяснимую слабость к висту, пренебрегая шахматами, как пустым занятием. В самом деле, никакая другая игра не требует такой способности к анализу. Лучший в мире шахматист — шахматист, и только, тогда как мастерская игра в вист сопряжена с умением добиваться победы и в тех более важных областях человеческой предприимчи-

вости, в которых ум соревнуется с умом. Говоря «мастерская игра», я имею в виду ту степень совершенства, при которой игрок владеет всеми средствами, приводящими к законной победе. Эти средства не только многочисленны, но и многообразны и часто предполагают такое знание человеческой души, какое недоступно игроку средних способностей. Кто внимательно наблюдает, тот отчетливо и помнит, а следовательно, всякий сосредоточенно играющий шахматист может рассчитывать на успех в висте, поскольку руководство Хойла (основанное на простой механике игры) общепонятно и общедоступно. Чтобы хорошо играть в вист, достаточно, по распространенному мнению, соблюдать «правила» и обладать хорошей памятью. Однако искусство аналитика проявляется как раз в том, что правилами игры не предусмотрено. Каких он только не делает про себя выводов и наблюдений! Его партнер, быть может, тоже; но перевес в этой обоюдной разведке зависит не столько от надежности выводов, сколько от качества наблюдения. Важно, конечно, знать, на что обращать внимание. Но наш игрок ничем себя не ограничивает. И хотя прямая его цель — игра, он не пренебрегает и самыми отдаленными указаниями. Он изучает лицо своего партнера и сравнивает его с лицом каждого из противников, подмечает, как они распределяют карты в обеих руках, и нередко угадывает козырь за козырем и онер за онером по взглядам, какие они на них бросают. Следит по ходу игры за мимикой игроков и делает уйму заключений, подмечая все оттенки уверенности, удивления, торжества или досады, сменяющиеся на их физиономиях. Судя по тому, как человек сгреб взятку, он заключает, последует ли за ней другая. По тому, как карта брошена, догадывается, что противник финтит, что ход сделан для отвода глаз. Невзначай или необдуманно оброненное слово; случайно упавшая или открывшаяся карта и как ее прячут — с опаской или спокойно; подсчет взяток и их расположение; растерянность, колебания, нетерпение или боязнь — ничто не ускользает от якобы безразличного взгляда аналитика. С двух-трех ходов ему уже ясно, что у кого на руках, и он выбрасывает карту с такой уверенностью, словно все игроки раскрылись.

Способность к анализу не следует смешивать с простой изобретательностью, ибо аналитик всегда изобретателен, тогда как не всякий изобретательный человек способен к анализу. Умение придумывать и комбинировать, в котором обычно проявляется изобретательность и для которого френологи (совершенно напрасно, по-моему) отводят особый орган, считая эту способность первичной, нередко наблюдается даже у тех, чей умственный уровень в остальном граничит с кретинизмом, что не раз отмечалось писателями, живописующими быт и нравы. Между умом изобретательным и аналитическим существует куда большее различие, чем между фантазией и воображением, но это различие того же порядка. В самом деле, нетрудно заметить, что люди изобретательные — большие фантазеры и что человек с подлинно богатым воображением, как правило, склонен к анализу.

Дальнейший рассказ послужит для читателя своего рода иллюстрацией к приведенным соображениям.

Весну и часть лета 18.. года я прожил в Париже, где свел знакомство с неким мсье С.-Огюстом Дюпенем. Еще молодой человек, потомок знатного и даже прославленного рода, он испытал превратности судьбы и оказался в обстоятельствах столь плачевных, что утратил всю свою природную энергию, ничего не добивался в жизни и меньше всего помышлял о возвращении прежнего богатства. Любезность кредиторов сохранила Дюпену небольшую часть отцовского наследства, и, живя на ренту и придерживаясь строжайшей экономии, он кое-как сводил концы с концами, равнодушный к приманкам жизни. Единственная роскошь, какую он себе позволял, — книги, — вполне доступна в Париже.

Впервые мы встретились в плохонькой библиотеке на улице Монмартр, и так как оба случайно искали одну и ту же книгу, чрезвычайно редкое и примечательное издание, то, естественно, разговорились. Потом мы не раз встречались. Я заинтересовался семейной историей Дюпена, и он поведал ее мне с обычной чистосердечностью француза, рассказывающего вам о себе. Поразила меня и обширная начитанность Дюпена, а главное — я не мог не восхищаться неудержимым жаром и свежестью его воображения.

Я жил тогда в Париже совершенно особыми интересами и, чувствуя, что общество такого человека неопценимая для меня находка, не замедлил ему в этом признаться. Вскоре у нас возникло решение на время моего пребывания в Париже поселиться вместе; а поскольку обстоятельства мои были чуть получше, чем у Дюпена, то я снял с его согласия и оставил в духе столь милой нам обоим романтической меланхолии сильно пострадавший от времени дом причудливой архитектуры в уединенном уголке Сен-Жерменского предместья; давно покинутый хозяевами из-за каких-то суеверных преданий, в суть которых мы не стали вдаваться, он клонился к упадку.

Если бы наш образ жизни в этой обители стал известен миру, нас сочли бы маньяками, хоть и безобидными маньяками. Наше уединение было полным. Мы никого не хотели видеть. Я скрыл от друзей свой новый адрес, а Дюпен давно порвал с Парижем, да и Париж не вспоминал о нем. Мы жили только в себе и для себя.

Одной из фантастических причуд моего друга — ибо как еще это назвать? — была влюбленность в ночь, в ее особое очарование; и я покорно принял эту *bisarrerie*¹, как принимал и все другие, самозабвенно отдаваясь прихотям друга. Темноликая богиня то и дело покидала нас, и, чтобы не лишаться ее милостей, мы прибегали к бутафории: при первом проблеске зари захлопывали тяжелые ставни старого дома и зажигали два-три светильника, которые, курясь благовониями, изливали тусклое, призрачное сияние. В их бледном свете мы предавались грезам, читали, писали, беседовали, пока звон часов не возвещал нам приход истинной Тьмы. И тогда мы рука об руку выходили на улицу, продолжая дневной разговор, или бесцельно бродили до поздней ночи, находя в мелькающих огнях и тенях большого города ту неисчерпаемую пищу для умственных восторгов, какую дарит тихое созерцание.

В такие минуты я не мог не восхищаться аналитическим дарованием Дюпена, хотя и понимал, что это лишь неотъемлемое следствие ярко выраженной умозритель-

¹ Странность, чудачество (фр.).

ности его мышления. Да и Дюпену, видимо, нравилось упражнять эти способности, если не блистать ими, и он, не чинясь, признавался мне, сколько радости это ему доставляет. Не раз хвалился он с довольным смешком, что люди в большинстве для него — открытая книга, и тут же приводил ошеломляющие доказательства того, как ясно он читает в моей душе. В подобных случаях мне чудилась в нем какая-то холодность и отрешенность; пустой, ничего не выражающий взгляд его был устремлен куда-то вдаль, а голос, сочный тенор, срывался на фальцет и звучал бы раздраженно, если бы не четкая дикция и спокойный тон. Наблюдая его в эти минуты, я часто вспоминал старинное учение о двойственности души и забавлялся мыслью о двух Дюпенах: созидающем и расчленяющем.

Из сказанного отнюдь не следует, что разговор здесь пойдет о неких чудесах; также не намерен романтизировать своего героя. Описанные черты моего приятеля-француза были только следствием перевозбужденного, а может быть, и больного ума. Но о характере его замечаний вам лучше поведаст живой пример.

Как-то вечером гуляли мы по необычайно длинной грязной улице в окрестностях Пале-Рояля. Каждый думал, по-видимому, о своем, и в течение четверти часа никто из нас не проронил ни слова. Как вдруг Дюпен, словно невзначай, сказал:

— Куда ему, такому заморышу! Лучше б он попытал счастья в театре «Варьете».

— Вот именно, — ответил я машинально.

Я так задумался, что не сразу сообразил, как удачно слова Дюпена совпали с моими мыслями. Но тут же опомнился, и удивлению моему не было границ.

— Дюпен, — сказал я серьезно, — это выше моего понимания. Сказать по чести, я поражен, я просто ушам своим не верю. Как вы догадались, что я думал о... — Тут я остановился, чтобы увериться, точно ли он знает, о ком я думал.

— ...о Шангильи, — закончил он. — Почему же вы загнулись? Вы говорили себе, что при его тщедушном сложении нечего ему было соваться в трагики.

Да, это и составляло предмет моих размышлений. Шантильи, *quondam*¹ сапожник с улицы Сен-Дени, помещавшийся на театре, недавно дебютировал в роли Ксеркса в одноименной трагедии Кребийона и был за все свои старания жестоко освистан.

— Объясните мне, ради Бога, свой метод,— настаивал я,— если он у вас есть и если вы с его помощью так безошибочно прочли мои мысли.— Признаться, я даже старался не показать всей меры своего удивления.

— Не кто иной, как зеленщик,— ответил мой друг,— навел вас на мысль, что сей врачеватель подметок не дорос до Ксеркса *et id genus omne*².

— Зеленщик? Да Бог с вами! Я знать не знаю никакого зеленщика!

— Ну, тот увалень, что налетел на вас, когда мы свернули сюда с четверть часа назад.

Тут я вспомнил, что зеленщик с большой корзиной яблок на голове по нечаянности чуть не сбил меня с ног, когда мы из переулка вышли на людную улицу. Но какое отношение имеет к этому Шантильи, я так и не мог понять.

Однако у Дюпена ни на волос не было того, что французы называют *charlatanerie*³.

— Извольте, я объясню вам,— вызвался он.— А чтобы вы лучше меня поняли, давайте восстановим весь ход ваших мыслей с нашего последнего разговора и до встречи с пресловутым зеленщиком. Основные вехи — Шантильи, Орион, доктор Никольс, Эпикур, стереотомия, булыжник и — зеленщик.

Вряд ли найдется человек, которому ни разу не приходило в голову проследить забавы ради шаг за шагом все, что привело его к известному выводу. Это — преувлекательное подчас занятие, и кто впервые к нему обратится, будет поражен, какое неизмеримое на первый взгляд расстояние отделяет исходный пункт от конечного вывода и как мало они друг другу соответствуют. С удив-

¹ Некогда (*лат.*).

² И ему подобных (*лат.*).

³ Очковтирательство (*фр.*).

лением выслушал я Дюпена и не мог не признать справедливости его слов.

Мой друг между тем продолжал:

— До того как свернуть, мы, помнится, говорили о лошадях. На этом разговор наш оборвался. Когда же мы вышли сюда, на эту улицу, выскочивший откуда-то зеленщик с большой корзиной яблок на голове пробежал мимо и второпях толкнул вас на грудь булыжника, сваленного там, где каменщики чинили мостовую. Вы споткнулись о камень, поскользнулись, слегка растянули связку, рассердились, во всяком случае насупились, пробормотали что-то, еще раз оглянулись на грудь булыжника и молча зашагали дальше. Я не то чтобы следил за вами: просто наблюдательность стала за последнее время моей второй натурой.

Вы упорно не поднимали глаз и только косились на выбоины и трещины в панели (из чего я заключил, что вы все еще думаете о булыжнике), пока мы не поравнялись с переулком, который носит имя Ламартина и вымощен на новый лад — плотно пригнанными плитками, уложенными в шахматном порядке. Вы заметно повеселели, и по движению ваших губ я угадал слово «стереотомия» — термин, которым для пушей важности окрестили такое мощение. Я понимал, что слово «стереотомия» должно навести вас на мысль об атомах и, кстати, об учении Эпикура; а поскольку это было темой нашего недавнего разговора — я еще доказывал вам, как разительно смутные догадки благородного грека подтверждаются выводами современной космогонии по части небесных туманностей, в чем никто еще не отдал ему должного, — то я так и ждал, что вы устремите глаза на огромную туманность в созвездии Ориона. И вы действительно посмотрели вверх, чем показали, что я безошибочно иду по вашему следу. Кстати, в злобном выпаде против Шантильи во вчерашней «Musee» некий зоил, весьма недостойно пройдясь насчет того, что сапожник, взобравшийся на котурны, постарался изменить самое имя свое, процитировал строчку латинского автора, к которой мы не раз обращались в наших беседах. Я разумею стих:

Я как-то пояснил вам, что здесь разумеется Орион — когда-то он писался Урион,— мы с вами еще пошутили на этот счет, так что случай, можно сказать, памятный. Я понимал, что Орион наведет вас на мысль о Шантильи, и улыбка ваша это мне подтвердила. Вы вздохнули о бедной жертве, отданной на заклятие. Все время вы шагали сутулясь, а тут выпрямились во весь рост, и я решил, что вы подумали о тщедушном сапожнике. Тогда-то я и прервал ваши размышления, заметив, что он в самом деле не вышел ростом, наш Шантильи, и лучше бы ему попытаться счастья в театре «Варьете».

Вскоре затем, просматривая вечерний выпуск «Gazette des Tribunaux»², наткнулись мы на следующую заметку:

«НЕСЛЫХАННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ»

Сегодня, часов около трех утра, мирный сон обитателей квартала Сен-Рок был нарушен душераздирающими криками. Следуя один за другим без перерыва, они доносились, по-видимому, с пятого этажа дома на улице Морг, где, как известно местным обывателям, проживала единственно некая мадам Л'Эспанэ с незамужней дочерью мадемуазель Камиллой Л'Эспанэ. После небольшой заминки у запертых дверей при безуспешной попытке проникнуть в подъезд обычным путем пришлось прибегнуть к лому, и с десятков соседей, в сопровождении двух жандармов, ворвались в здание. Крики уже стихли; но едва лишь кучка смельчаков поднялась по первому маршу, как сверху послышалась перебранка двух, а возможно, и трех голосов, звучавших отрывисто и сердито. Покуда добрались до третьего этажа, стихли и эти звуки, и водворилась полная тишина. Люди рассыпались по всему дому, перебегая из одной комнаты в другую. Когда же очередь дошла до большой угловой спальни на пятом этаже (дверь,

¹ Утратила былое звучание первая буква (лат.).

² «Судебная газета» (фр.).

запертую изнутри, тоже взломали), — толпа отступила перед открывшимся зрелищем, охваченная ужасом и изумлением.

Здесь все было вверх дном, повсюду раскидана поломанная мебель. В комнате стояла одна только кровать, но без постели, подушки и одеяло валялись на полу. На стуле лежала бритва с окровавленным лезвием. Две-три густые пряди длинных седых волос, вырванных, видимо, с корнем и слипшихся от крови, пристали к каминной решетке. На полу, под ногами, найдены четыре наполеондора, одна серьга с топазом, три столовые серебряные и три чайные мельхиоровые ложки и два мешочка с золотыми монетами — общим счетом без малого четыре тысячи франков. Ящики комода в углу были выдвинуты наружу, грабители, очевидно, рылись в них, хотя всего не унесли. Железная укладка обнаружена под постелью (а не под кроватью). Она была открыта, ключ еще торчал в замке, но в ней ничего не осталось, кроме пожелтевших писем и других заваливавшихся бумажек.

И никаких следов мадам Л'Эспанэ! Кто-то заметил в камине большую грудку золы, стали шарить в дымоходе и — о ужас! — выгнали за голову труп дочери: его вверх ногами, и притом довольно далеко, затолкали в узкую печную трубу. Тело было еще теплым. Кожа, как выяснилось при осмотре, во многих местах содрана — явное следствие усилий, с какими труп заталкивали в дымоход, а потом выволакивали оттуда. Лицо страшно исцарапано, на щеке сине-багровые подтеки и глубокие следы ногтей, словно человека душили.

После того как сверху донизу обшарили весь дом, обнаружив ничего нового, все кинулись вниз, на мощный дворик, и там наткнулись на мертвую старуху — ее так хватили бритвой, что при попытке поднять труп голова отвалилась. И тело и лицо были изуродованы, особенно тело, в нем не сохранилось ничего человеческого.

Таково это поистине ужасное преступление, пока еще окутанное непроницаемой тайной».

Назавтра газета принесла следующие дополнительные сообщения:

Неслыханное по жестокости убийство всколыхнуло весь Париж, допрошен ряд свидетелей, но ничего нового, проясняющего тайну, пока не обнаружено. Ниже приведены вкратце наиболее существенные показания:

Полина Дюбур, прачка, показывает, что знала покойниц последние три года, стирала на них. Старая дама с дочкой, видно, жили дружно, душа в душу. Платили исправно. Насчет их образа жизни и средств ничего сказать не может. Полагает, что мадам Л'Эспанэ была гадалкой, этим и кормились. Поговаривали, что у нее есть деньги. Свидетельница никого не встречала в доме, когда приходила за бельем или приносила его после стирки. Знает наверняка, что служанки они не держали. Насколько ей известно, мебелью был обставлен только пятый этаж.

Пьер Моро, владелец табачной лавки, показывает, что в течение четырех лет отпускал мадам Л'Эспанэ нюхательный и курительный табак небольшими пачками. Он местный уроженец и коренной житель. Покойница с дочерью уже больше шести лет как поселились в доме, где их нашли убитыми. До этого здесь квартировал ювелир, сдававший верхние комнаты жильцам. Дом принадлежал мадам Л'Эспанэ. Старуха всякое терпение потеряла с квартирантом, который пускал к себе жильцов, и переехала сама на верхний этаж, а от сдачи внаем свободных помещений и вовсе отказалась. Не иначе как впала в детство. За все эти годы свидетель только пять-шесть раз видел дочь. Обе женщины жили уединенно, по слухам, у них имелись деньги. Болтали, будто мадам Л. промышляет гаданием, но он этому не верил. Ни разу не видел, чтобы кто-либо входил в дом, кроме самой и дочери да кое-когда привратника, да раз восемь — десять навещался доктор.

Примерно то же свидетельствовали и другие соседи. Никто не замечал, чтобы к покойницам кто-либо заходил. Были ли у них где-нибудь друзья или родственники, тоже никому слышать не приходилось. Ставни по фасаду открывались редко, а со двора их и вовсе заколотили, за исключением большой комнаты на пятом этаже. Дом еще не старый, крепкий.

Изидор Мюзс, жандарм, показывает, что за ним пришли около трех утра. Застал у дома толпу, человек в двадцать — тридцать, осаждавшую дверь. Замок взломал он, и не ломом, а штыком. Дверь поддалась легко, она двустворчатая, ни сверху, ни снизу не закреплена. Крики доносились все время, пока не открыли дверь, — и вдруг оборвались. Кричали (не разберешь — один или двое) как будто в смертной тоске, крики были протяжные и громкие, а не отрывистые и хриплые. Наверх свидетель поднимался первым. Взойдя на второй этаж, услышал, как двое сердито и громко переругиваются — один глухим, а другой вроде как визгливым голосом, и голос какой-то чудной. Отдельные слова первого разобрал. Это был француз. Нет, ни в коем случае не женщина. Он разобрал слова «sacre» и «diable»¹, визгливым голосом говорил иностранец. Не поймешь, мужчина или женщина. Не разобрать, что говорил, а только скорее всего язык испанский. Рассказывая, в каком виде нашли комнату и трупы, свидетель не добавил ничего нового к нашему вчерашнему сообщению.

Анри Дюваль, сосед, по профессии серебряник, показывает, что с первой же группой вошел в дом. В целом подтверждает показания Мюзс. Едва проникнув в подъезд, они заперли за собой дверь, чтобы задержать толпу, которая все прибывала, хотя стояла глухая ночь. Визгливый голос, по впечатлению свидетеля, принадлежал итальянцу. Уверен, что не француз. По голосу не сказал бы, что непременно мужчина. Возможно, что женщина. Итальянского не знает, слов не разобрал, но, судя по интонации, полагает, что итальянец. С мадам Л. и дочерью был лично знаком. Не раз беседовал с обеими. Уверен, что ни та, ни другая не говорила визгливым голосом.

Оденгеймер, ресторатор. Свидетель сам вызвался дать показания. По-французски не говорит, допрашивается через переводчика. Уроженец Амстердама. Проходил мимо дома, когда оттуда раздались крики. Кричали долго, несколько минут, пожалуй что и десять. Крики протяжные, громкие, хватающие за душу, леденящие кровь. Одним

¹ «Проклятие» и «черт» (фр.).

из первых вошел в дом. Подтверждает предыдущие показания по всем пунктам, кроме одного: уверен, что визгливый голос принадлежал мужчине, и притом французу. Нет, слов не разобрал, говорили очень громко и часто-часто, будто захлебываясь, не то от гнева, не то от страха. Голос резкий — скорее резкий, чем визгливый. Нет, визгливым его не назовешь. Хриплый голос все время повторял «sacre» и «diable», а однажды сказал: «Mon Dieu»¹.

Жуль Миньо, банкир, фирма «Миньо и сыновья» на улице Делорен. Он — Миньо-старший. У мадам Л'Эспанэ имелся кое-какой капиталец. Весною такого-то года (восемь лет назад) вдова открыла у них счет. Часто делала новые вклады — небольшими суммами. Чеков не выписывала, но всего за три дня до смерти лично забрала со счета четыре тысячи франков. Деньги были выплачены золотом и доставлены на дом конторщиком банка.

Адольф Лебон, конторщик фирмы «Миньо и сыновья», показывает, что в означенный день, часу в двенадцатом, проводил мадам Л'Эспанэ до самого дома, отнес ей четыре тысячи франков, сложенных в два мешочка. Дверь открыла мадемуазель Л'Эспанэ; она взяла у него один мешочек, а старуха другой. После чего он откланялся и ушел. Никого на улице он в тот раз не видел. Улица тихая, безлюдная.

Уильям Берд, портной, показывает, что вместе с другими вошел в дом. Англичанин. В Париже живет два года. Одним из первых поднялся по лестнице. Слышал, как двое спорили. Хриплый голос принадлежал французу. Отдельные слова можно было разобрать, но всего он не помнит. Ясно слышал «sacre» и «mon Dieu!». Слова сопровождались шумом борьбы, топотом и возней, как будто дрались несколько человек. Пронзительный голос звучал очень громко, куда громче, чем хриплый. Уверен, что не англичанин. Скорее, немец. Может быть, и женщина. Сам он по-немецки не говорит.

Четверо из числа означенных свидетелей на вторичном допросе показали, что дверь спальни, где нашли труп мадемуазель Л., была заперта изнутри. Тишина стояла

¹ Боже мой! (фр.).

мертвая, ни стопа, ни малейшего шороха. Когда дверь взломали, там уже никого не было. Окна спальни и смежной комнаты, что на улицу, были опущены и наглухо заперты изнутри, дверь между ними притворена, но не заперта. Дверь из передней комнаты в коридор была заперта изнутри. Небольшая комнатка окнами на улицу, в дальнем конце коридора, на том же пятом этаже, была не заперта, дверь притворена. Здесь были свалены старые кровати, ящики и прочая рухлядь. Вещи вынесли и тщательно осмотрели. Дом обшарили сверху донизу. Дымоходы обследованы трубочистами. В доме пять этажей, не считая чердачных помещений (*mansardes*). На крышу ведет люк, он забит гвоздями и, видимо, давно бездействует. Время, истекшее между тем, как свидетели услышали перебранку и как взломали входную дверь в спальню, оценивается по-разному: от трех до пяти минут. Взломать ее стоило немалых усилий.

Альфонсо Гарсио, гробовщик, показал, что проживает на улице Морг. Испанец по рождению. Вместе с другими побывал в доме. Наверх не подымался. У него нервы слабые, ему нельзя волноваться. Слышал, как двое спорили, хриплый голос — несомненно француза. О чем спорили, не уловил. Визгливым голосом говорил англичанин. Сам он по-английски не понимает, судит по интонации.

Альберто Монтани, владелец магазина готового платья, показывает, что одним из первых избежал наверх. Голоса слышал. Хрипло говорил француз. Кое-что понять можно было. Говоривший в чем-то упрекал другого. Слов второго не разобрал. Второй говорил часто-часто, заплетающимся языком. Похоже, что по-русски. В остальном свидетель подтверждает предыдущие показания. Сам он итальянец. С русскими говорить ему не приходилось.

Кое-кто из свидетелей на вторичном допросе подтвердил, что дымоходы на четвертом этаже слишком узкие и человеку в них не пролезть. Под «трубочистами» они разумели цилиндрической формы щетки, какие употребляют при чистке труб. В доме нет черной лестницы, по которой злодеи могли бы убежать, пока их преследователи поднимались наверх. Труп мадемуазель Л'Эспанэ был так плотно затиснут в дымоход, что только общими уси-

лиями четырех или пяти человек удалось его вытащить.

Поль Дюма, врач, показывает, что утром, чуть рас-
свело, его позвали освидетельствовать тела убитых жен-
щин. Оба трупа лежали на старом матраце, снятом с
кровати в спальне, где найдена мадемуазель Л. Тело до-
чери все в кровоподтеках и ссадинах. Это вполне объяс-
няется тем, что его заталкивали в тесный дымоход.
Особенно пострадала шея. Под самым подбородком не-
сколько глубоких ссадин и сине-багровых подтеков —
очевидно, отпечатки пальцев. Лицо в страшных синяках,
глаза вылезли из орбит. Язык чуть ли не насквозь проку-
шен. Большой кровоподтек на нижней части живота по-
казывает, что здесь надавливали коленом. По мнению мсье
Дюма, мадемуазель Л'Эспанэ задушена, — убийца был,
возможно, не один. Тело матери чудовищно изувечено.
Все кости правой руки и ноги переломаны и частично
раздроблены. Расщеплена левая *tibia*¹, равно как и ребра
с левой стороны. Все тело в синяках и ссадинах. Трудно
сказать, чем нанесены повреждения. Увесистая дубинка
или железный лом, ножка кресла — да, собственно, лю-
бое тяжелое орудие в руках необычайно сильного чело-
века могло это сделать. Женщина была бы не в силах
нанести такие увечья. Голова убитой, когда ее увидел врач,
была отделена от тела и тоже сильно изуродована. Горло
перерезано острым лезвием, возможно, бритвой.

Александр Этъенн, хирург, был вместе с мсье Дюма
приглашен освидетельствовать трупы. Полностью присо-
единяется к показаниям и заключению мсье Дюма.

Ничего существенного больше установить не удалось,
хотя к дознанию были привлечены и другие лица. В Па-
риже не запомнят убийства, совершенного при столь ту-
манных и во всех отношениях загадочных обстоятельствах.
Да и убийство ли это? Полиция сбита с толку. Ни малей-
шей путеводной нити, ни намек на возможную разгад-
ку».

В вечернем выпуске сообщалось, что в квартале Сен-
Рок по-прежнему сильнейший переполох, но ни новый

¹ Берцовая кость (*лат.*).

обыск в доме, ни повторные допросы свидетелей ни к чему не привели. Дополнительно сообщалось, что арестован и посажен в тюрьму Адольф Лебон, хотя никаких новых отягчающих улик, кроме уже известных фактов, не обнаружено.

Я видел, что Дюпен крайне заинтересован ходом следствия, но от комментариев он воздерживался. И только когда появилось сообщение об аресте Лебона, он пожелал узнать, что я думаю об этом убийстве.

Я мог лишь вместе со всем Парижем объявить его неразрешимой загадкой. Я не видел ни малейшей возможности напасть на след убийцы.

— А вы не судите по этой пародии на следствие,— возразил Дюпен.— Парижская полиция берет только хитростью, ее хваленая догадливость — чистейшая басня. В ее действиях нет системы, если не считать системой обыкновение хвататься за первое, что подскажет минута. Они кричат о своих мероприятиях, но эти мероприятия так часто бьют мимо цели, что невольно вспомнишь Журдена: «pour mieux entendre la musique», он требовал подать себе свой «robe de chambre»¹. Если они кое-чего и достигают, то исключительно усердием и трудом. Там же, где этих качеств недостаточно, усилия их терпят крах. У Видока, например, была догадка и упорство, при полном неумении систематически мыслить; самая горячность его поисков подводила его, и он часто попадал впросак. Он так близко вглядывался в свой объект, что это искажало перспективу. Пусть он ясно различал то или другое, зато целое от него ускользало. В глубокомыслии легко перемудрить. Истина не всегда обитает на дне колодца. В насущных вопросах она, по-моему, скорее лежит на поверхности. Мы ищем ее на дне ущелий, а она поджидает нас на горных вершинах. Чтобы уразуметь характер подобных ошибок и их причину, обратимся к наблюдению над небесными телами. Бросьте на звезду быстрый взгляд, посмотрите на нее краешком сетчатки (более чувствительным к слабым световым раздражениям, нежели центр), и вы увидите светило со всей ясностью и сможете

¹ Чтобы лучше слышать музыку... халат (фр.).

оценить его блеск, который тускнеет, по мере того как вы поворачиваетесь, чтобы посмотреть на него в упор. В последнем случае на глаз упадет больше лучей, зато в первом восприимчивость куда острее. Чрезмерная глубина лишь путает и затуманивает мысль. Слишком сосредоточенный, настойчивый и упорный взгляд может и Венеру согнать с небес.

Что касается убийства, то давайте учиним самостоятельный розыск, а потом уже вынесем суждение. Такое расследование нас позабавит (у меня мелькнуло, что «позабавит» не то слово, но я промолчал), к тому же Лебон когда-то оказал мне услугу, за которую я поныне ему обязан. Пойдемте же поглядим на все своими глазами. Полицейский префект Г.— мой старый знакомый — не откажет нам в разрешении.

Разрешение было получено, и мы не мешкая отправились на улицу Морг. Это одна из тихих, неказистых улочек, соединяющих улицу Ришелье с улицей Сен-Рок. Мы жили на другом конце города и только часам к трем добрались до места. Дом сразу бросился нам в глаза, так как немало зевак все еще бесцельно глазело с противоположного тротуара на закрытые ставни. Это был обычный парижский особняк с подворотней, сбоку прилепилась стеклянная сторожка с подъемным оконцем, так называемая *loge de concierge*¹. Не заходя, мы проследовали дальше по улице, свернули в переулок, опять свернули и вышли к задам дома. Дюпен так внимательно оглядывал усадьбу и соседние строения, что я только диву давался, не находя в них ничего достойного внимания.

Вернувшись к входу, мы позвонили. Наши верительные грамоты произвели впечатление, и дежурные полицейские впустили нас. Мы поднялись по лестнице в спальню, где была найдена мадемуазель Л'Эспанэ и где все еще лежали оба трупа. Здесь, как и полагается, все осталось в неприкосновенности и по-прежнему царил хаос. Я видел перед собой картину, описанную в «*Gasette des Tribunaux*», — и ничего больше. Однако Дюпен все подверг самому тщательному осмотру, в том числе и трупы.

¹ Привратничья (фр.).

Мы обошли и остальные комнаты и спустились во двор, все это под бдительным оком сопровождавшего нас полицейского. Осмотр затянулся до вечера; наконец мы попрощались. На обратном пути мой спутник еще наведалься в редакцию одной из утренних газет.

Я уже рассказал здесь о многообразных причудах моего друга и о том, как *je les menageais*¹, — соответствующее английское выражение не приходит мне в голову. Сейчас он был явно не в настроении обсуждать убийство и заговорил о нем только назавтра, в полдень. Начав без предисловий, он огорошил меня вопросом: не заметил ли я чего-то особенного в этой картине зверской жестокости?

«Особенного» он сказал таким тоном, что я невольно содрогнулся.

— Нет, ничего особенного, — сказал я, — по сравнению с тем, конечно, что мы читали в газете.

— Боюсь, что в газетном отчете отсутствует главное, — возразил Дюпен, — то чувство невыразимого ужаса, которым веет от этого происшествия. Но Бог с ним, с этим дурацким листком и его праздными домыслами. Мне думается, загадку объявили неразрешимой как раз на том основании, которое помогает ее решить: я имею в виду то чудовищное, что наблюдается здесь во всем. Полицейских смущает кажущееся отсутствие побудительных мотивов, и не столько самого убийства, сколько его жестокости. К тому же они не могут справиться с таким будто бы непримиримым противоречием: свидетели слышали спорящие голоса, а между тем наверху, кроме убитой мадемуазель Л'Эспанэ, никого не оказалось. Но и бежать убийцы не могли — другого выхода нет, свидетели непременно увидели бы их, поднимаясь по лестнице. Невообразимый хаос в спальне; труп, который кто-то ухитрился затолкать в дымоход, да еще вверх ногами; фантастические истязания старухи — этих обстоятельств вместе с вышеупомянутыми, да и многими другими, которых я не стану здесь перечислять, оказалось достаточно, чтобы выбить у наших властей почву из-под ног,

¹ Я им потакал (*фр.*).

парировать их хваленую догадливость. Они впали в грубую, хоть и весьма распространенную ошибку, смешав необычайное с необъяснимым. А ведь именно отклонение от простого и обычного освещает дорогу разуму в поисках истины. В таком расследовании, как наше с вами, надо спрашивать не «Что случилось?», а «Что случилось такого, чего еще никогда не бывало?». И в самом деле, легкость, с какой я прихожу — пришел, если хотите, — к решению этой загадки, не прямо ли пропорциональна тем трудностям, какие возникают перед полицией?

Я смотрел на Дюпена в немом изумлении.

— Сейчас я жду, — продолжал Дюпен, поглядывая на дверь, — жду человека, который, не будучи прямым виновником этих зверств, должно быть, в какой-то мере способствовал тому, что случилось. В самой страшной части содеянных преступлений он, очевидно, не повинен. Надеюсь, я прав в своем предположении, так как на нем строится мое решение всей задачи в целом. Я жду этого человека сюда, к нам, с минуты на минуту. Разумеется, он может и не прийти, но, по всей вероятности, придет. И тогда необходимо задержать его. Вот пистолеты. Оба мы сумеем, если нужно будет, распорядиться ими.

Я машинально взял пистолеты, почти не сознавая, что делаю, не веря ушам своим, а Дюпен продолжал, словно изливаясь в монолог. Я уже упоминал о присущей ему временами отрешенности. Он адресовался ко мне и, следовательно, говорил негромко, но что-то в его интонации звучало так, точно он обращается к кому-то вдалеке. Пустой, ничего не выражающий взгляд его упирался в стену.

— Показаниями установлено, — продолжал Дюпен, — что спорящие голоса, которые свидетели слышали на лестнице, не принадлежали обеим женщинам. А значит, отпадает версия, будто мадам Л'Эспанэ убила дочь, а потом лишила себя жизни. Я говорю об этом, лишь чтобы показать ход своих рассуждений: у мадам Л'Эспанэ не хватило бы, конечно, сил засунуть труп дочери в дымоход, где он был найден, а истязания, которым подверглась она сама, исключают всякую мысль о самоубийстве. Отсюда следует, что убийство совершено какой-то третьей стороной, и спорящие голоса с полной очевидностью при-

надлежали этой третьей стороне. А теперь обратимся не ко всей части показаний, касающихся обоих голосов, а только к известной их особенности. Скажите, вас ничто не удивило?

— Все свидетели, — отвечал я, — согласны в том, что хриплый голос принадлежал французу, тогда как насчет визгливого или резкого, как кто-то выразился, мнения разошлись.

— Вы говорите о показаниях вообще, — возразил Дюпен, — а не об их отличительной особенности. Вы не заметили самого характерного. А следовало бы заметить! Свидетели, как вы правильно указали, все одного мнения относительно хриплого голоса; тут полное единодушие. Что же до визгливого голоса, то удивительно не то, что мнения разошлись, а что итальянец, англичанин, испанец, голландец и француз — все характеризуют его как голос иностранца. Никто в интонациях визгливого голоса не признал речи соотечественника. При этом каждый отсылает нас не к нации, язык которой ему знаком, а как раз наоборот. Французу слышится речь испанца: «Не поймешь, что говорил, а только, скорее всего, язык испанский». Для голландца это был француз; впрочем, как записано в протоколе, «свидетель по-французски не говорит, допрашивается через переводчика». Для англичанина это звучит как речь немца; кстати, он «по-немецки не понимает». Испанец «уверен», что это англичанин, причем сам он «по-английски не знает ни слова» и судит только по интонации, — «английский для него чужой язык». Итальянцу мерещится русская речь — правда, «с русскими говорить ему не приходилось». Мало того, второй француз, в отличие от первого, «уверен, что говорил итальянец», не владея этим языком, он, как и испанец, ссылается «на интонацию». Поистине, странно должна была звучать речь, вызвавшая подобные суждения, речь, в звуках которой ни один из представителей пяти крупнейших европейских стран не узнал ничего знакомого, родного! Вы скажете, что то мог быть азиат или африканец. Правда, выходцы из Азии или Африки нечасто встречаются в Париже; но, даже не отрицая такой возможности, я хочу обратить ваше внимание на три обстоятельства.

Одному из свидетелей голос неизвестного показался «скорее резким, чем визгливым». Двое других характеризуют его речь как торопливую и неровную. И никому не удалось разобрать ни одного членораздельного слова или хотя бы отчетливого звука.

Не знаю, — продолжал Дюпен, — какое на вас впечатление производят мои доводы, но осмелюсь утверждать, что уже из этой части показаний — насчет хриплого и визгливого голоса — вытекают законные выводы и догадки, предопределяющие весь дальнейший ход нашего расследования. Сказав «законные выводы», я не совсем точно выразился. Я хотел сказать, что это единственно возможные выводы и что они неизбежно ведут к моей догадке, как к единственному результату. Что за догадка, я пока умолчу. Прошу лишь запомнить, что для меня она столь убедительна, что придала определенное направление и даже известную цель моим розыскам в старухиной спальне.

Перенесемся мысленно в эту спальню. Чего мы прежде всего станем в ней искать? Конечно, выхода, которым воспользовались убийцы. Мы с вами, естественно, в чудеса не верим. Не злые же духи, в самом деле, расправились с мадам и мадемуазель Л'Эспанэ! Преступники — заведомо существа материального мира, и бежали они согласно его законам. Но как? Тут, к счастью, требуются самые несложные рассуждения, и они должны привести нас к прямому и точному ответу. Рассмотрим же последовательно все наличные выходы. Ясно, что, когда люди поднимались по лестнице, убийцы находились в старухиной спальне либо в крайнем случае в смежной комнате, — а значит, и выход нужно искать в этих пределах. Полицейские добросовестно обследовали пол, стены и потолок. Ни одна потайная дверь не укрылась бы от их взгляда. Но, не полагаясь на них, я все проверил. Обе двери из комнат в коридор были надежно заперты изнутри. Обратимся к дымоходам. Хотя в нижней части, футов на восемь — десять от выхода в камин, они обычной ширины, но выше настолько сужаются, что в них не пролезть и упитанной кошке. Итак, эти возможности бегства отпадают. Остаются окна. Окна в комнате на улицу в счет не

идут, так как собравшаяся толпа увидела бы беглецов. Следовательно, убийцы должны были скрыться через окна спальни. Придя к такому логическому выводу, мы, как разумные люди, не должны отказываться от него на том основании, что это, мол, явно невозможно. Наоборот, мы постараемся доказать, что «невозможность» здесь не явная, а мнимая.

В спальне два окна. Одно из них ничем не заставлено и видно сверху донизу. Другое снизу закрыто спинкой громоздкой кровати. Первое окно закреплено изнутри. Все усилия поднять его оказались безуспешными. Слева в оконной раме проделано отверстие, и в нем глубоко, чуть ли не по самую шляпку, сидит большой гвоздь. Когда обратились к другому окну, то и там в раме нашли такой же гвоздь. И это окно тоже не поддавалось попыткам открыть его. Указанные обстоятельства убедили полицию, что преступники не могли бежать этим путем. А положившись на это, полицейские не сочли нужным вытащить оба гвоздя и открыть окна.

Я не ограничился поверхностным осмотром, я уже объяснил вам почему. Ведь мне надлежало доказать, что «невозможность» здесь не явная, а мнимая.

Я стал рассуждать *a posteriori*¹. Убийцы, несомненно, бежали в одно из этих окон. Но тогда они не могли бы снова закрепить раму изнутри, а ведь окна оказались наглухо запертыми, и это соображение своей очевидностью давило на полицейских и пресекало их поиски в этом направлении. Да, окна были заперты. Значит, они запираются автоматически. Такое решение напрашивалось само собой. Я подошел к свободному окну, с трудом вытащил гвоздь и попробовал поднять раму. Как я и думал, она не поддалась. Тут я понял, что где-то есть потайная пружина. Такая догадка по крайней мере оставляла в силе мое исходное положение, как ни загадочно обстояло дело с гвоздями. При внимательном осмотре я действительно обнаружил скрытую пружину. Я нажал на нее и, удовлетворясь этой находкой, не стал поднимать раму.

¹ В обратном порядке (*q. p.*).

Я снова вставил гвоздь в отверстие и стал внимательно его разглядывать. Человек, вылезший в окно, может снаружи опустить раму, и затвор сам собой защелкнется — но ведь гвоздь сам по себе на место не станет. Отсюда напрашивался вывод, еще более ограничивший поле моих изысканий. Убийцы должны были бежать через другое окно. Но если, как и следовало ожидать, затвор в обоих окнах одинаковый, то разница должна быть в гвозде или по крайней мере в том, как он вставляется на место. Забравшись на матрац и перегнувшись через спинку кровати, я тщательно осмотрел раму второго окна; потом, просунув руку, нащупал и нажал пружину, во всех отношениях схожую с соседкой. Затем я занялся гвоздем. Он был такой же крепыш, как его товарищ, и тоже входил в отверстие чуть ли не по самую шляпку.

Вы, конечно, решите, что я был озадачен. Плохо же вы себе представляете индуктивный метод мышления — умозаключение от факта к его причине. Выражаясь языком спортсменов, я бил по мячу без промаха. Я шел по верному следу. В цепочке моих рассуждений не было ни одного порочного звена, я проследил ее всю до конечной точки — и этой точкой оказался гвоздь. Я уже говорил, что он во всем походил на своего собрата в соседнем окне, но что значит этот довод (при всей его убедительности) по сравнению с моей уверенностью, что именно к этой конечной точке и ведет путеводная нить. «Значит, гвоздь не в порядке», — подумал я. И действительно, чуть я до него дотронулся, как шляпка вместе с обломком шпеныка осталась у меня в руке. Большая часть гвоздя продолжала сидеть в отверстии, где он, должно быть, и сломался. Излом был старый; об этом говорила покрывавшая его ржавчина; я заметил также, что молоток, вогнавший гвоздь, частично вогнал в раму края шляпки. Когда я аккуратно вставил обломок на место, получилось впечатление, будто гвоздь целый. Ни малейшей трещинки не было заметно. Нажав на пружинку, я приподнял окно. Вместе с рамой поднялась и шляпка, плотно сидевшая в отверстии. Я опустил окно, опять впечатление целого гвоздя.

Итак, в этой части загадка была разгадана: убийца бежал в окно, заставленное кроватью. Когда рама опу-

калась — сама по себе или с чьей-нибудь помощью, — пружина закрепляла ее на месте; полицейские же действие пружины приняли за действие гвоздя и отказались от дальнейших расследований.

Встает вопрос, как преступник спустился вниз. Тут меня вполне удовлетворила наша с вами прогулка вокруг дома. Футах в пяти с половиной от проема окна, о котором идет речь, проходит громоотвод. Добраться отсюда до окна, а тем более влезть в него нет никакой возможности. Однако я заметил, что ставни на пятом этаже принадлежат к разряду ferrades, как называют их парижские плотники; они давно вышли из моды, но вы еще частенько встретите их в старых особняках где-нибудь в Лионе или Бордо. Такой ставень напоминает обычную дверь — одностворчатую, — с той, однако, разницей, что верхняя половина у него сквозная, наподобие кованой решетки или шпалеры, за нее удобно ухватиться руками. Ставни в доме мадам Л'Эспанэ шириной в три с половиной фута. Когда мы увидели их с задворок, они были полуоткрыты, то есть стояли под прямым углом к стене. Полицейские, как и я, возможно, осматривали дом с тылу. Но, увидев ставни в поперечном разрезе, не заметили их необычайной ширины, во всяком случае — не обратили должного внимания. Уверенные, что преступники не могли ускользнуть таким путем, они, естественно, ограничились беглым осмотром окон. Мне же сразу стало ясно, что, если до конца распахнуть ставень над изголовьем кровати, он окажется не более чем в двух футах от громоотвода. При исключительной смелости и ловкости вполне можно перебраться с громоотвода в окно. Протянув руку фута на два с половиной (при условии, что ставень открыт настежь), грабитель мог ухватиться за решетку. Отпустив затем громоотвод и упершись в стену ногами, он мог с силой оттолкнуться и захлопнуть ставень, а там, если предположить, что окно открыто, махнуть через подоконник прямо в комнату.

Итак, запомните: речь идет о совершенно особой, из ряда вон выходящей ловкости, ибо только с ее помощью можно совершить столь рискованный акробатический номер. Я намерен вам доказать, во-первых, что такой

прыжок возможен, а во-вторых,— и это главное,— хочу, чтобы вы представили себе, какое необычайное, почти сверхъестественное проворство требуется для такого прыжка.

Вы, конечно, скажете, что «в моих интересах», как выражаются адвокаты, скорее скрыть, чем признать в полной мере, какая здесь нужна ловкость. Но если таковы нравы юристов, то не таково обыкновение разума. Истина — вот моя конечная цель. Ближайшая же моя задача в том, чтобы вызвать в вашем сознании следующее сопоставление: с одной стороны, изумительная ловкость, о какой я уже говорил; с другой — крайне своеобразный, пронзительный, а по другой версии — резкий голос, относительно национальной принадлежности которого мнения расходятся; и при этом невнятное лопотание, в котором нельзя различить ни одного членораздельного слога...

Под влиянием этих слов какая-то смутная догадка забрезжила в моем мозгу. Казалось, еще усилие, и я схвачу мысль Дюпена: так иной тщетно напрягает память, стараясь что-то вспомнить. Мой друг между тем продолжал:

— Заметьте, от вопроса, как грабитель скрылся, я свернул на то, как он проник в помещение. Я хотел показать вам, что то и другое произошло в одном и том же месте и одинаковым образом. А теперь вернемся к помещению. Что мы здесь застали? Из ящиков комода, где и сейчас лежат носильные вещи, многое, как нас уверяют, было похищено. Ну не абсурд ли? Предположение, явно взятое с потолка и не сказать чтобы умное. Почему знать, может быть, в комод и не было ничего, кроме найденных вещей? Мадам Л'Эспанз и ее дочь жили затворницами, никого не принимали и мало где бывали,— зачем же им, казалось бы, нужен был богатый гардероб? Найденные платья по своему качеству явно не худшие из того, что могли носить эти дамы. И если грабитель польстился на женские платья, то почему он оставил как раз лучшие, почему, наконец, не захватил все? А главное, почему ради каких-то тряпок отказался от четырех тысяч золотых?

А ведь денег-то он и не взял. Чуть ли не все золото, о котором сообщил мсье Миньо, осталось в целости и валя-

лось в мешочках на полу. А потому выбросьте из головы всякую мысль о побудительных мотивах — дурацкую мысль, возникшую в голове у полицейских под влиянием той части показаний, которая говорит о золоте, доставленном на дом. Совпадения вдесятеро более разительные, чем доставка денег на дом и последовавшее спустя три дня убийство получателя, происходят ежечасно у нас на глазах, а мы их даже не замечаем. Совпадения — это обычно величайший подвох для известного сорта мыслителей, и слыхом не слыхавших ни о какой теории вероятности, — а ведь именно этой теории обязаны наши важнейшие отрасли знания наиболее славными своими открытиями. Разумеется, если бы денег недосчитались, тот факт, что их принесли чуть ли не накануне убийства, означал бы нечто большее, чем простое совпадение. С полным правом возник бы вопрос о побудительных мотивах. В данном же случае счесть мотивом преступления деньги означало бы прийти к выводу, что преступник — совершеннейшая разиня и болван, ибо о деньгах, а значит, о своем побудительном мотиве, он как раз и позабыл.

А теперь, твердо помня о трех обстоятельствах, на которые я обратил ваше внимание, — своеобразный голос, необычайная ловкость и поражающее отсутствие мотивов в таком исключительном по своей жестокости убийстве, — обратимся к самой картине преступления. Вот жертва, которую задушили голыми руками, а потом вверх ногами засунули в дымоход. Обычные преступники так не убивают. И уж, во всяком случае, не прячут таким образом трупы своих жертв. Представьте себе, как мертвое тело заталкивали в трубу, и вы согласитесь, что в этом есть что-то чудовищное, что-то несовместимое с нашими представлениями о человеческих поступках, даже считая, что здесь орудовало последнее отребье. Представьте также, какая требуется невероятная сила, чтобы затолкать тело в трубу — *снизу вверх*, когда лишь совместными усилиями нескольких человек удалось извлечь его оттуда — *сверху вниз*...

И, наконец, другие проявления этой страшной силы! На каминной решетке были найдены космы волос, необыкновенно густых седых волос. Они были вырваны с

корнем. Вы знаете, какая нужна сила, чтобы вырвать сразу даже двадцать — тридцать волосков! Вы, так же как и я, видели эти космы. На корнях — страшно сказать! — запеклись окровавленные клочки мяса, содранные со скальпа, — красноречивое свидетельство того, каких усилий стоило вырвать одним махом до полумиллиона волос. Горло старухи было не просто перерезано — голова начисто отделена от шеи; а ведь орудием убийце послужила простая бритва. Вдумайтесь также в звериную жестокость этих злодеяний. Я не говорю уже о синяках на теле мадам Л'Эспаэ. Мсье Дюма и его достойный коллега мсье Этьенн считают, что побои нанесены каким-то тупым орудием, — и в этом почтенные эскулапы не ошиблись. Тупым орудием в данном случае явилась булыжная мостовая, куда тело выбросили из окна, заставленного кроватью. Ведь это же проще простого! Но полицейские и это проморгали, как проморгали ширину ставней, ибо в их герметически закупоренных мозгах не могла возникнуть мысль, что окна все же отворяются.

Если присоединить к этому картину хаотического беспорядка в спальне, вам останется только сопоставить неимоверную прыть, сверхчеловеческую силу, лютую кровожадность и чудовищную жестокость, превосходящую всякое понимание, с голосом и интонациями, которые кажутся чуждыми представителям самых различных национальностей, а также с речью, лишенной всякой членораздельности. Какой же напрашивается вывод? Какой образ возникает перед вами?

Меня прямо-таки в жар бросило от этого вопроса.

— Безумец, совершивший это злодеяние, — сказал я, — бесноватый маньяк, сбежавший из ближайшего сумасшедшего дома.

— Что ж, не так плохо, — одобрительно заметил Дюпен, — в вашем предположении кое-что есть. И все же выкрики сумасшедшего, даже в припадке неукротимого буйства, не отвечают описанию того своеобразного голоса, который слышали поднимавшиеся по лестнице. У сумасшедшего есть все же национальность, есть родной язык, а речи его, хоть и темны по смыслу, звучат членораздельно. К тому же и волосы сумасшедшего не похожи

на эти у меня в руке. Я едва вытащил их из судорожно сжатых пальцев мадам Л'Эспанэ. Что вы о них скажете?

— Дюпен,— воскликнул я, вконец обескураженный,— это более чем странные волосы — они не принадлежат человеку!

— Я этого и не утверждаю,— возразил Дюпен.— Но прежде чем прийти к какому-нибудь выводу, взгляните на рисунок на этом листке. Я точно воспроизвел здесь то, что частью показаний определяется как «темные кровоподтеки и следы ногтей» на шее у мадемуазель Л'Эспанэ, а в заключении господ Дюма и Этьенна фигурирует как «ряд сине-багровых пятен — по-видимому, отпечатки пальцев».

— Рисунок, как вы можете судить,— продолжал мой друг, кладя перед собой на стол листок бумаги,— дает представление о крепкой и цепкой хватке. Эти пальцы держали намертво. Каждый из них сохранял, очевидно, до последнего дыхания жертвы ту чудовищную силу, с какой он впился в живое тело. А теперь попробуйте одновременно вложить пальцы обеих рук в изображенные здесь отпечатки.

Тщетные попытки! Мои пальцы не совпадали с отпечатками.

— Нет, постойте, сделаем уж все как следует,— остановил меня Дюпен.— Листок лежит на плоской поверхности, а человеческая шея округлой формы. Вот полотенце примерно такого же радиуса, как шея. Наложите на него рисунок и попробуйте еще раз.

Я повиновался, но стало не легче, а труднее.

— Похоже,— сказал я наконец,— что это отпечаток не человеческой руки.

— А теперь,— сказал Дюпен,— прочтите этот абзац из Кювье.

То было подробное анатомическое и общее описание исполинского бурого орангутанга, который водится на Ост-Индских островах. Огромный рост, неимоверная сила и ловкость, неукротимая злоба и необычайная способность к подражанию у этих млекопитающих общеизвестны.

— Описание пальцев,— сказал я, закончив чтение,— в точности совпадает с тем, что мы видим на вашем ри-

сунке. Теперь я понимаю, что только описанный здесь орангутанг мог оставить эти отпечатки. Шерстинки ржаво-бурого цвета подтверждают сходство. Однако как объяснить все обстоятельства катастрофы? Ведь свидетели слышали два голоса, и один из них бесспорно принадлежал французу.

— Совершенно справедливо! И вам, конечно, запомнилось восклицание, которое чуть ли не все приписывают французу: «mon Dieu!» Восклицание это, применительно к данному случаю, было удачно истолковано одним из свидетелей (Монтани, владельцем магазина) как выражение протеста или недовольства. На этих двух словах и основаны мои надежды полностью решить эту загадку. Какой-то француз был очевидцем убийства. Возможно, и даже вероятно, что он не причастен к зверской расправе. Обезьяна, должно быть, сбежала от него. Француз, должно быть, выследил ее до места преступления. Поймать ее при всем том, что здесь разыгралось, он, конечно, был бессилен. Обезьяна и сейчас на свободе. Не стану распространяться о своих догадках, ибо это всего лишь догадки, и те зыбкие соображения, на которых они основаны, столь легковесны, что недостаточно убеждают даже меня и тем более не убедят других. Итак, назовем это догадками и будем соответственно их расценивать. Но если наш француз, как я предполагаю, непричастен к убийству, то объявление, которое я по дороге сдал в редакцию «Монд» — газеты, представляющей интересы нашего судоходства и очень популярной среди моряков, — это объявление наверняка приведет его сюда.

Дюпен вручил мне газетный лист. Я прочел:

«ПОЙМАН в Булонском лесу — ранним утром — такого-то числа сего месяца (в утро, когда произошло убийство) огромных размеров бурый орангутанг, разновидности, встречающейся на острове Борнео. Будет возвращен владельцу (по слухам, матросу мальтийского судна) при условии удостоверения им своих прав и возмещения расходов, связанных с поимкой и содержанием животного. Обращаться по адресу: дом №... на улице... в Сен-Жерменском предместье; справиться на пятом этаже».

— Как же вы узнали,— спросил я,— что человек этот матрос с мальтийского корабля?

— Я этого не знаю,— возразил Дюпен.— И далеко не уверен в этом. Но вот обрывок ленты, посмотрите, как она засалена, да и с виду напоминает те, какими матросы завязывают волосы,— вы знаете эти излюбленные моряками queues¹. К тому же таким узлом мог завязать ее только моряк, скорее всего мальтиец. Я нашел эту ленту под громоотводом. Вряд ли она принадлежала одной из убитых женщин. Но даже если я ошибаюсь и хозяин ленты не мальтийский моряк, то нет большой беды в том, что я сослался на это в своем объявлении. Если я ошибся, матрос подумает, что кто-то ввел меня в заблуждение, и особенно задумываться тут не станет. Если же я прав — это козырь в моих руках. Как очевидец, хоть и не соучастник убийства, француз, конечно, не раз подумает, прежде чем пойдет по объявлению. Вот как он станет рассуждать: «Я не виновен; к тому же человек я бедный; орангутанг и вообще-то в большой цене, а для меня это целое состояние, зачем же терять его из-за пустой мнительности. Вот он рядом, только руку протянуть. Его нашли в Булонском лесу, далеко от места, где произошло убийство. Никому и в голову не придет, что такие страсти мог натворить дикий зверь. Полиции вовек не догадаться, как это случилось. Но хотя бы обезьяну и выследили — попробуй докажи, что я что-то знаю; а хоть бы и знал, я не виноват. Главное, кому-то я уже известен. В объявлении меня так и называют владельцем этой твари. Кто знает, что этому человеку еще про меня порассказали. Если я не приду за моей собственностью, а ведь она больших денег стоит, да известно, что хозяин — я, на обезьяну падет подозрение. А мне ни к чему навлекать подозрение что на себя, что на эту бестию. Лучше уж явлюсь по объявлению, заберу орангутанга и спрячу, пока все не порастет травой».

На лестнице послышались шаги.

— Держите пистолеты наготове,— предупредил меня Дюпен,— только не показывайте и не стреляйте — ждите сигнала.

¹ Здесь: косицы; буквально: хвосты (*фр.*).

Парадное внизу было открыто; посетитель вошел, не позвонив, и стал подниматься по ступенькам. Однако он, должно быть, колебался, с минуту постоял на месте и начал спускаться вниз. Дюпен бросился к двери, но тут мы услышали, что незнакомец опять поднимается. Больше он не делал попыток повернуть. Мы слышали; как он решительно топает по лестнице, затем в дверь постучали.

— Войдите! — весело и приветливо отозвался Дюпен.

Вошел мужчина, судя по всему матрос, — высокий, плотный, мускулистый, с таким видом, словно сам черт ему не брат, а в общем, приятный малый. Лихие бачки и *mustachio*¹ больше чем наполовину скрывали его загорелое лицо. Он держал в руке увесистую дубинку, по-видимому, единственное свое оружие. Матрос неловко поклонился и пожелал нам доброго вечера; говорил он по-французски чисто, разве что с легким невшательским акцентом; но по всему было видно, что это коренной парижанин.

— Садитесь, приятель, — приветствовал его Дюпен. — Вы, конечно, за орангутангом? По правде говоря, вам позавидуешь: великолепный экземпляр и, должно быть, ценный. Сколько ему лет, как вы считаете?

Матрос вздохнул с облегчением. Видно, у него гора свалилась с плеч.

— Вот уж не знаю, — ответил он развязным тоном. — Годика четыре-пять — не больше. Он здесь, в доме?

— Где там, у нас не нашлось такого помещения. Мы сдали его на извозничий двор на улице Дюбур, совсем рядом. Приходите за ним завтра. Вам, конечно, нетрудно будет удостоверить свои права?

— За этим дело не станет, мсье!

— Прямо жалко расстаться с ним, — продолжал Дюпен.

— Не думайте, мсье, что вы хлопотали задаром, — заверил его матрос. — У меня тоже совесть есть. Я охотно уплачу вам за труды, по силе возможности, конечно. Столкуемся!

¹ Усы (ит.).

— Что ж, — сказал мой друг, — очень порядочно с вашей стороны. Дайте-ка я соображу, сколько с вас взять. А впрочем, не нужно мне денег; расскажите нам лучше, что вам известно об убийстве на улице Морг.

Последнее он сказал негромко, но очень спокойно. Так же спокойно подошел к двери, запер ее и положил ключ в карман; потом достал из бокового кармана пистолет и без шума и волнения положил на стол.

Лицо матроса побагровело, казалось, он борется с удушьем. Инстинктивно он вскочил и схватился за дубинку, но тут же рухнул на стул, дрожа всем телом, смертельно бледный. Он не произнес ни слова. Мне было от души его жаль.

— Зря пугаетесь, приятель, — успокоил его Дюпен. — Мы ничего плохого вам не сделаем, поверьте. Даю вам слово француза и порядочного человека: у нас самые добрые намерения. Мне хорошо известно, что вы не виновны в этих ужасах на улице Морг. Но не станете же вы утверждать, будто вы здесь совершенно ни при чем. Как видите, многое мне уже известно, при этом из источника, о котором вы не подозреваете. В общем, положение мне ясно. Вы не сделали ничего такого, в чем могли бы себя упрекнуть или за что вас можно было бы привлечь к ответу. Вы даже не польстились на чужие деньги, хоть это могло сойти вам с рук. Вам нечего скрывать, и у вас нет оснований скрываться. Однако совесть обязывает вас рассказать все, что вы знаете по этому делу. Арестован невинный человек; над ним тяготеет подозрение в убийстве, истинный виновник которого вам известен.

Слова Дюпена возымели действие: матрос овладел собой, но куда девалась его развязность!

— Будь что будет, — сказал он, помолчав. — Рассажу вам все, что знаю. И да поможет мне Бог! Вы, конечно, не поверите — я был бы дураком, если б надеялся, что вы мне поверите. Но все равно моей вины тут нет! И пусть меня казнят, а я расскажу вам все как на духу.

Рассказ его, в общем, свелся к следующему. Недавно пришлось ему побывать на островах Индонезийского архипелага. С компанией моряков он высадился на Борнео и отправился на прогулку в глубь острова. Им с товари-

щем удалось поймать орангутанга. Компаньон вскоре умер, и единственным владельцем обезьяны оказался матрос. Чего только не натерпелся он на обратном пути из-за свирепого нрава обезьяны, пока не доставил ее домой в Париж и не посадил под замок, опасаясь назойливого любопытства соседей, а также в ожидании, чтобы у орангутанга зажила нога, которую он занозил на пароходе. Матрос рассчитывал выгодно его продать.

Вернувшись недавно домой с веселой пирушки,— это было в ту ночь, вернее, в то утро, когда произошло убийство,— он застал орангутанга у себя в спальне. Оказалось, что пленник сломал перегородку в смежном чулане, куда его засадили для верности, чтобы не убежал. Вооружившись бритвой и намылившись по всем правилам, обезьяна сидела перед зеркалом и собиралась бриться в подражание хозяину, за которым не раз наблюдала в замочную скважину. Увидев опасное оружие в руках у свирепого хищника и зная, что тот сумеет им распорядиться, матрос в первую минуту растерялся. Однако он привык справляться со своим узником и с помощью бича укрощал даже самые буйные вспышки его ярости. Сейчас он тоже схватился за бич. Заметив это, орангутанг кинулся к двери и вниз по лестнице, где было, по несчастью, открыто окно,— а там на улицу.

Француз в ужасе побежал за ним. Обезьяна, не бросая бритвы, то и дело останавливалась, корчила рожи своему преследователю и, подпустив совсем близко, снова от него убегала. Долго гнался он за ней. Было около трех часов утра, на улицах стояла мертвая тишина. В переулке позади улицы Морг внимание беглянки привлек свет, мерцавший в окне спальни мадам Л'Эспанэ, на пятом этаже ее дома. Подбежав ближе и увидев громоотвод, обезьяна с непостижимой быстротой вскарабкалась наверх, схватилась за открытый настежь ставень и с его помощью перемахнула на спинку кровати. Весь этот акробатический номер не потребовал и минуты. Оказавшись в комнате, обезьяна опять пинком распахнула ставень.

Матрос не знал, радоваться или горевать. Он надеялся вернуть беглянку, угодившую в ловушку, бежать она могла только по громоотводу, а тут ему легко было ее

поймать. Но как бы она чего не натворила в доме! Последнее соображение перевесило и заставило его последовать за своей питомицей. Вскарabкаться по громоотводу не представляет труда, особенно для матроса, но, поравнявшись с окном, которое приходилось слева, в отдалении, он вынужден был остановиться. Единственное, что он мог сделать, это, дотянувшись до ставня, заглянуть в окно. От ужаса он чуть не свалился вниз. В эту минуту и раздались душераздирающие крики, всполошившие обитателей улицы Морг.

Мадам Л'Эспанэ и ее дочь, обе в ночных одеяниях, очевидно, разбирали бумаги в упомянутой железной укладке, выдвинутой на середину комнаты. Сундучок был раскрыт, его содержимое лежало на полу рядом. Обе женщины, должно быть, сидели спиной к окну и не сразу увидели ночного гостя. Судя по тому, что между его появлением и их криками прошло некоторое время, они, очевидно, решили, что ставнем хлопнул ветер.

Когда матрос заглянул в комнату, огромный орангутанг держал мадам Л'Эспанэ за волосы, распущенные по плечам (она расчесывала их на ночь), и, в подражание парикмахеру, поигрывал бритвой перед самым ее носом. Дочь лежала на полу без движения, в глубоком обмороке. Крики и сопротивление старухи, стоившие ей вырванных волос, изменили, быть может, и мирные поначалу намерения орангутанга, разбудив в нем ярость. Сильным взмахом мускулистой руки он чуть не снес ей голову. При виде крови гнев зверя перешел в неистовство. Глаза его пылали, как раскаленные угли. Скрежеща зубами, набросился он на девушку, вцепился ей страшными когтями в горло и душил, пока та не испустила дух. Озираясь в бешенстве, обезьяна увидела маячившее в глубине над изголовьем кровати помертвелое от ужаса лицо хозяина. Остервенение зверя, видимо, не забывшего о грозном хлысте, мгновенно сменилось страхом. Чувствуя себя виноватым и боясь наказания, орангутанг, верно, решил скрыть свои кровавые проделки и панически заметался по комнате, ломая и опрокидывая мебель, сбрасывая с кровати подушки и одеяла. Наконец он схватил труп девушки и затолкал его в дымоход камина, где его потом и

обнаружили, а труп старухи, не долго думая, швырнул за окно.

Когда обезьяна со своей истерзанной ношей оказалась в окне, матрос так и обмер и не столько спустился, сколько съехал вниз по громоотводу и бросился бежать домой, страшаясь последствий кровавой бойни и отложив до лучших времен попечение о дальнейшей судьбе своей питомицы. Испуганные восклицания потрясенного француза и злобное бормотание разъяренной твари и были теми голосами, которые слышали поднимавшиеся по лестнице люди.

Вот, пожалуй, и все. Еще до того, как взломали дверь, орангутанг, по-видимому, бежал из старухиной спальни по громоотводу. Должно быть, он и опустил за собой окно.

Спустя некоторое время сам хозяин поймал его и за большие деньги продал в *Gardine des Plantes*¹. Лебона сразу же освободили, как только мы с Дюпенем явились к префекту и обо всем ему рассказали (Дюпен не удержался и от кое-каких комментариев). При всей благосклонности к моему другу, сей чинуша не скрыл своего разочарования по случаю такого конфуза и даже отпустил в наш адрес две-три шпильки насчет того, что не худо бы каждому заниматься своим делом.

— Пусть ворчит,— сказал мне потом Дюпен, не удостоивший префекта ответом.— Пусть утешается. Надо же человеку душу отвести. С меня довольно того, что я побил противника на его территории. Впрочем, напрасно наш префект удивляется, что загадка ему не далась. По правде сказать, он слишком хитер, чтобы смотреть в корень. Вся его наука — сплошное верхоглядство. У нее одна лишь голова, без тела, как изображают богиню Лаверну, или в лучшем случае — голова и плечи, как у трески. Но, что ни говори, он добрый малый; в особенности восхищает меня та ловкость, которая стяжала ему репутацию великого умника. Я говорю о его манере «*de nier ce qui est, et d'expliquer ce qui n'est pas*»².

¹ Ботанический сад (фр.).

² «отрицать то, что есть, и распространяться о том, чего не существует» (фр.).



ТАЙНА МАРИ РОЖЕ¹

(Дополнение к «Убийствам на улице Морг»)

Параллельно с реальными событиями существует идеальная их последовательность. Они редко полностью совпадают. Люди и обстоятельства обычно изменяют идеальную цепь событий, а потому она кажется несовершенной, и следствия ее равно несовершенны. Так было с реформацией — взамен протестантизма явилось лютеранство.

Н о в а л и с. Взгляд на мораль

Мало какому даже самому рассудочному человеку не случалось порой со смутным волнением почти уверовать в сверхъестественное, столкнувшись с совпадением на-

¹ «Мари Роже» впервые была опубликована без примечаний, поскольку тогда они казались излишними; однако со времени трагедии, которая легла в основу этой истории, прошли годы, а потому появилась нужда и в примечаниях, и в небольшом вступлении, объясняющем суть дела. В окрестностях Нью-Йорка была убита молодая девушка Мэри Сесилия Роджерс, и, хотя это убийство вызвало большое волнение и очень долго оставалось в центре внимания публики, его тайна еще не была раскрыта в тот момент, когда был написан и опубликован настоящий рассказ (в ноябре 1842 г.). Автор, якобы описывая судьбу французской гризетки, на самом деле точно и со всеми подробностями воспроизвел основные факты убийства Мэри Роджерс, ограничиваясь параллелизмами в менее существенных деталях.

«Тайна Мари Роже» писалась вдали от сцены зверского убийства, и, расследуя его, автор мог пользоваться только сведениями, опубликованными в газетах. В результате от него ускользнуло многое из того, чем он мог бы воспользоваться, если бы лично побывал на месте происшествия. Тем не менее будет, пожалуй, нелишним указать, что признания двух лиц (одно из них выведено в рассказе под именем мадам Дюлюк), сделанные независимо друг от друга и много времени спустя после опубликования рассказа, полностью подтвердили не только общий вывод, но и абсолютно все основные предположения, на которых был этот вывод построен. — *Примеч. автора.*

столько поразительным, что разум отказывается признать его всего лишь игрой случая. Подобные ощущения (ибо смутная вера, о которой я говорю, никогда полностью не претворяется в мысль) редко удается до конца подавить иначе, как прибегнув к доктрине случайности или — воспользуемся специальным ее наименованием — к теории вероятности. Теория же эта является по самой своей сути чисто математической; и, таким образом, возникает парадокс — наиболее строгое и точное из всего, что дает нам наука, прилагается к теням и призракам наиболее неуловимого в области мысленных предположений.

Невероятные подробности, которые я призван теперь сделать достоянием гласности, будучи взяты в хронологической их последовательности, складываются в первую ветвь необычайных совпадений, а во второй и заключительной их ветви все читатели, несомненно, узнают недавнее убийство в Нью-Йорке Мэри Сесилии Роджерс.

* * *

Когда в статье, озаглавленной «Убийства на улице Морг», я год назад попытался описать некоторые примечательные особенности мышления моего друга шевалье С.-Огюста Дюпена, мне и в голову не приходило, что я когда-нибудь вновь вернусь к этой теме. Именно это описание было моей целью, и она нашла свое полное осуществление в рассказе о прихотливой цепи происшествий, которые позволили раскрыться особому таланту Дюпена. Я мог бы привести и другие примеры, но они не доказали бы ничего, кроме уже доказанного. Однако удивительный поворот недавних событий неожиданно открыл мне новые подробности, которые облекаются в подобие вынужденной исповеди. После того, что мне довелось услышать совсем недавно, было бы странно, если бы я продолжал хранить молчание относительно того, что я слышал и видел задолго перед этим.

Раскрыв тайну трагической гибели мадам Л'Эспанэ и ее дочери, шевалье тотчас выбросил все это дело из головы и возвратился к привычным меланхолическим раздумьям. Его настроение вполне отвечало моему неизменному тяготению к отрешенности, и, как прежде

замкнувшись в нашем тихом приюте в предместье Сен-Жермен, мы оставили Будущее на волю судьбы и предались безмятежному спокойствию Настоящего, творя грезы из окружающего нас скучного мира.

Но эти грезы время от времени нарушались. Нетрудно догадаться, что роль моего друга в драме, разыгравшейся на улице Морг, не могла не произвести значительного впечатления на парижскую полицию. У ее агентов имя Дюпена превратилось в присловье. Того простого хода рассуждений, который помог ему раскрыть тайну, он, кроме меня, не сообщил никому — даже префекту, — а потому неудивительно, что непосвященным эти история представлялась истинным чудом, и аналитический талант шеваляе принес ему славу провидца. Если бы он отвечал на любопытные расспросы с достаточной откровенностью, это заблуждение скоро рассеялось бы, но душевная леность делала для него невозможным какое бы то ни было возвращение к теме, которая давно уже перестала интересовать его самого. Вот почему взгляды полицейских постоянно устремлялись к нему и префектура вновь и вновь пыталась прибегнуть к его услугам. Одна из наиболее примечательных таких попыток была вызвана убийством молоденькой девушки по имени Мари Роже.

Это случилось года через два после жуткого события на улице Морг. Мари (поразительное совпадение ее имени и фамилии с именем и фамилией злополучной продавщицы сигар сразу бросается в глаза) была единственной дочерью вдовы Эстеллы Роже. Ее отец умер, когда она была еще младенцем, и вплоть до последних полутора лет перед убийством, о котором пойдет речь в этом повествовании, мать и дочь жили вместе на улице Паве-Сент-Андре¹. Мадам Роже содержала пансион, а Мари ей помогала. Так продолжалось до тех пор, пока Мари не исполнилось двадцать два года — а тогда ее редкая красота привлекла внимание парфюмера, снимавшего лавку в нижнем этаже Пале-Рояля и числившего среди своих клиентов почти одних только отчаянных искателей легкой наживы, которыми кишит этот квартал. Мсье Леб-

¹ Нассау-стрит. — *Примеч. автора.*

лан¹ отлично понимал, что присутствие красавицы Мари в его лавке может принести ему немалые выгоды, и его щедрые посулы сразу же прельстили девушку, хотя ее маменька выказала гораздо больше нерешительности.

Надежды парфюмера вполне сбылись, и его заведение благодаря чарам бойкой гризетки скоро приобрело значительную популярность. Мари уже служила у мсье Леблана около года, когда она внезапно исчезла из его лавки, повергнув своих поклонников в большое смятение. Мсье Леблан не знал, чем объяснить ее отсутствие, а мадам Роже была вне себя от тревоги и страшных опасений. Происшествие попало в газеты, и полиция уже собиралась начать серьезное расследование, как вдруг в одно прекрасное утро ровно через неделю Мари вновь появилась на своем обычном месте за прилавком, живая и здоровая, хотя как будто и погрузневшая. Официальное расследование было, конечно, немедленно прекращено, а на все расспросы мсье Леблан по-прежнему отговаривался полным неведением, мадам же Роже и Мари отвечали, что прошлую неделю она гостила у родственницы в деревне. На том дело и кончилось, а затем и вовсе изгладилось из памяти публики, тем более что девушка, желая, по-видимому, избежать назойливого внимания любопытных, вскоре навсегда покинула парфюмера и вернулась в материнский дом на улице Паве-Сент-Андре.

Примерно через три года после возвращения Мари к матери ее друзья были встревожены новым внезапным исчезновением девушки. Три дня о ней ничего не было известно. На четвертый день ее труп обнаружили в Сене² — у берега, противоположного тому, на котором находится квартал Сент-Андре, в пустынных окрестностях заставы Дюруль³.

Столь зверское убийство (в том, что это — убийство, никаких сомнений быть не могло), молодость и красота жертвы, а главное, ее недавняя известность пробудили живейший интерес падких до сенсаций парижан. Я не

¹ Андерсон.— *Примеч. автора.*

² В Гудзонс.— *Примеч. автора.*

³ Уихокен.— *Примеч. автора.*

припомню никакого другого происшествия, которое вызвало бы столь всеобщее и сильное волнение. В течение нескольких недель эта тема была злобой дня, заслонившей даже важнейшие политические события. Префект усердствовал больше обыкновенного, и парижская полиция, разумеется, совсем сбилась с ног.

Когда труп нашли, все были убеждены, что немедленно предпринятые поиски убийцы увенчаются самым скорым результатом. И только через неделю наконец сочли нужным предложить награду за его поимку, но даже и тогда сумма была ограничена всего лишь тысячью франков. Следствие тем временем велось весьма энергично, если не всегда разумно, очень много разных людей подверглись ни к чему не приведшим допросам, и отсутствие даже самых слабых намеков на разгадку тайны все больше и больше подогревало интерес к ней. На десятый день пришлось удвоить обещанную награду, а когда по истечении второй недели дело не сдвинулось с места и недовольство полицией, никогда не угасающее в Париже, успело несколько раз привести к уличным беспорядкам, префект лично предложил награду в двадцать тысяч франков «за изобличение убийцы» или же, если бы участников преступления оказалось несколько, «за изобличение кого-либо из убийц». В объявлении об этой награде, кроме того, содержалось обещание полного помилования любому сообщнику, который донес бы на своих соучастников; и к нему, где бы оно ни вывешивалось, присовокуплялось объявление комитета частных граждан, обещавшего добавить десять тысяч франков к сумме, назначенной префектом. Таким образом, в целом награда составляла тридцать тысяч франков: сумма неслыханная, если вспомнить более чем скромное положение девушки и то обстоятельство, что в больших городах подобные возмутительные преступления — отнюдь не редкость.

Теперь уже никто не сомневался, что тайна этого убийства будет немедленно раскрыта. И правда, были произведены два-три ареста, однако никаких улик против подозреваемых обнаружить не удалось, и их пришлось тут же освободить.

Как ни удивительно, мы с Дюпенем впервые услышали об этом событии, столь взволновавшем общественное мнение, только когда миновала третья неделя после обнаружения трупа — неделя, также не бросившая никакого света на происшедшее. Мы были всецело поглощены одним исследованием и более месяца не выходили из дома, не принимали посетителей и едва проглядывали политические статьи в ежедневно доставлявшейся нам газете. И первое известие об убийстве Мари Роже нам принес сам Г. Он зашел к нам днем 13 июля 18.. года и просидел у нас до поздней ночи. Ему было крайне досадно, что все его усилия разыскать убийц ни к чему не привели. На карту поставлена, заявил он с чисто парижским жестом, его репутация. Более того — его честь! К нему прикованы глаза всего общества, и нет жертвы, которую он не принес бы ради раскрытия тайны. Свою несколько витиеватую речь он заключил комплиментом касательно того, что соизволил назвать «тактом» Дюпена, и обратился к моему другу с прямым и, бесспорно, щедрым предложением, о котором я не считаю себя вправе сообщить что-либо, но которое не имеет ни малейшего отношения к непосредственной теме моего повествования.

Комплимент мой друг по мере сил отклонил, но на предложение тотчас согласился, хотя его выгоды оставались пока условными. Покончив с этим, префект немедленно принялся излагать свою собственную точку зрения, уснащая объяснение многочисленными рассуждениями, касавшимися обстоятельств дела, о которых мы еще ничего не знали. Он говорил долго, проявляя, без сомнения, немалую осведомленность, я иногда осмеливался высказать скромное предположение, а дремотные часы ночи проходили один за другим. Дюпен неподвижно сидел в своем кресле, как истое воплощение почтительного внимания. На нем были очки, и, исподтишка заглядывая под их зеленые стекла, я вновь и вновь убеждался, что мой друг крепко спит, — ничем себя не выдав, он так и проспал все семь свинцово-медлительных часов, по истечении которых префект наконец удалился.

Утром я получил в префектуре полное изложение всех собранных фактов, а в газетных редакциях — экземпля-

ры всех газет, в которых были опубликованы какие бы то ни было сведения об этой трагедии. Очищенная от всех безусловно опровергнутых выдумок, история выглядела следующим образом:

Мари Роже вышла из дома своей матери на улице Паве-Сент-Андре около девяти часов утра в воскресенье 22 июня 18.. года. Уходя, она сообщила некоему мсье Жаку Сент-Эсташу¹ — и только ему, — что намерена провести день у своей тетки, которая живет на улице Дром. Узенькая, короткая, но оживленная улица Дром находится неподалеку от берега Сены, и от пансиона мадам Роже ее отделяют две с лишним мили, даже если идти кратчайшим путем. Сент-Эсташ был официальным женихом Мари и не только столовался, но и жил в пансионе. Он должен был зайти за своей невестой под вечер и проводить ее домой. Однако во второй половине дня полил сильный дождь, и, полагая, что Мари предпочтет переночевать у тетки (как она уже не раз делала при подобных обстоятельствах), он не счел нужным сдержать свое обещание. Вечером мадам Роже (больная семидесятилетняя старуха) выразила опасение, что она «уже больше никогда не увидит Мари», но тогда никто не обратил на ее слова особого внимания.

В понедельник выяснилось, что Мари вообще не заходила к тетке, и, когда к вечеру она не вернулась, ее с большим запозданием принялись искать в тех местах города и окрестностей, где она могла бы оказаться. Однако узнать о ней что-то определенное удалось только на четвертый день с момента ее исчезновения. В этот день (в среду 25 июня) некий мсье Бове², который вместе с приятелем наводил справки о Мари и в окрестностях заставы Дюруль на противоположном берегу Сены, услышал, что рыбаки только что доставили на берег труп, который плыл по реке. Увидев тело, Бове после некоторых колебаний опознал бывшую продавщицу из парфюмерной лавки. Его приятель опознал ее сразу же.

Лицо мертвой было налито темной кровью, которая сочилась изо рта. Пены, какая бывает у обыкновенных

¹ Пейну.— *Примеч. автора.*

² Кроммелин.— *Примеч. автора.*

утопленников, заметно не было. На горле виднелись синяки и следы пальцев. Согнутые в локтях и скрещенные на груди руки окостенели. Пальцы правой были сжаты в кулак, пальцы левой полусогнуты. На левой кисти имелись два кольцевых рубца, как будто оставленные веревками или одной веревкой, но обвитой вокруг руки несколько раз. На правой кисти имелись ссадины, так же как и на всей спине,— особенно в области лопаток. Чтобы доставить труп на берег, рыбаки захлестнули его веревкой, но она никаких рубцов не оставила. Шея была сильно вздута. На теле не было заметно ни порезов, ни синяков, причиненных ударами. Шея была перехвачена обрывком кружев, затянутым так туго, что складки кожи совершенно скрывали его от взгляда. Он был завязан узлом, находившимся под левым ухом. Одного этого было достаточно, чтобы вызвать смерть. Протокол медицинского осмотра не оставлял ни малейших сомнений в целомудрии покойной. Она, указывалось в нем, подверглась грубому насилию. Состояние трупа в момент его обнаружения позволяло легко опознать его.

Одежда была сильно изорвана и приведена в полнейший беспорядок. Из верхней юбки от подола к талии была вырвана полоса дюймов в двенадцать шириной, но не оторвана совсем, а трижды обернута вокруг талии и закреплена на спине скользящим узлом. Вторая юбка была из тонкого муслина, и от нее была оторвана полоса шириной дюймов в восемнадцать — оторвана полностью и очень аккуратно. Эта полоса муслина была свободно обернута вокруг шеи и завязана неподвижным узлом. Поверх этой муслиновой полосы и обрывка кружев проходили ленты шляпки. Эти ленты были завязаны не бантом, как их завязывают женщины, а морским узлом.

После опознания труп против обыкновения не был увезен в морг (это сочли излишней формальностью), а поспешно погребен неподалеку от того места, где его вытаскили на берег. Благодаря усилиям Бове дело, насколько это было возможно, замяли, и прошло несколько дней, прежде чем оно привлекло внимание публики. Затем, однако, им занялась еженедельная газета¹, труп был эксгу-

¹ Нью-йоркская «Меркюри». — *Примеч. автора.*

мирован и вновь подвергнут осмотру, но ничего, помимо вышеописанного, обнаружено не было. Правда, на этот раз платье, шляпку и прочее предъявили матери и знакомым покойной, и они без колебаний опознали в них одежду, в которой девушка ушла из дома в то утро.

Тем временем возбуждение публики росло с каждым часом. Несколько человек были арестованы, но отпущены. Главное подозрение падало на Сент-Эсташа, и вначале он не сумел достаточно убедительно объяснить, как он провел роковое воскресенье. Однако вскоре он представил мсье Г. в письменном виде точные сведения о том, где и когда он был в этот день, подкрепленные надежными свидетельскими показаниями. По мере того как дни проходили, не принося никаких новых открытий, по городу начали распространяться тысячи противоречивых слухов, а журналисты принялись строить всевозможные догадки и предположения. Среди этих последних наибольший интерес вызвало утверждение, будто Мари Роже жива, а из Сены был извлечен труп какой-то другой несчастной девушки. Я считаю своим долгом познакомить читателя с отрывками из статьи, содержавшей вышеуказанное предположение и опубликованной в «Этуаль»¹ — газете достаточно солидной.

«Мадемуазель Роже ушла из материнского дома утром в воскресенье 22 июня 18.. года, объявив, что намерена навестить тетку или какую-то другую родственницу, проживающую на улице Дром. С этого момента, насколько удалось установить, ее никто не видел. Она исчезла бесследно, и ее судьба остается неизвестной... До сих пор не нашлось ни одного свидетеля, который видел бы ее в тот день после того, как за ней закрылась дверь материнского дома... Итак, хотя мы не можем утверждать, что Мари Роже пребывала в мире живых после девяти часов утра воскресенья 22 июня, у нас есть неопровержимые доказательства, что до этого часа она была жива и здорова. В среду в двенадцать часов дня в Сене у заставы Дюруль был обнаружен женский труп. Это произошло —

¹ Нью-йоркская «Бразер Джонатан», выходящая под редакцией Х. Хастингса Уэлда, эсквайра.— *Примеч. автора.*

даже если предположить, что Мари Роже бросили в реку не позже чем через три часа после того, как она ушла из дому, — всего лишь через трое суток после ее ухода, через трое суток час в час. Однако было бы чистойшей нелепостью считать, будто убийство (если она действительно была убита) могло совершиться настолько быстро после ее ухода, что убийцы успели бросить тело в реку до полуночи. Те, кто творит столь гнусные преступления, предпочитают ночной мрак свету дня... Другими словами, если тело, найденное в реке, это действительно тело Мари Роже, оно могло пробыть в воде не более двух с половиной или — с большой натяжкой — ровно трех суток. Как показывает весь прошлый опыт, тела утопленников или тела жертв убийства, брошенные в реку вскоре после наступления смерти, всплывают, только когда процесс разложения пойдет достаточно далеко, то есть не ранее, чем через шесть — десять дней. Даже в тех случаях, когда такой труп всплывает ранее пяти-шести дней, так как над ним выстрелили из пушки, он вскоре вновь опускается на дно, если его не успеют извлечь из воды. Итак, мы должны задать себе вопрос, что в этом случае вызвало отклонение от обычных законов природы? ..Если же изуродованное тело пролежало на берегу до ночи со вторника на среду, в этом месте должны были бы отыскаться какие-нибудь следы убийц. Кроме того, представляется сомнительным, чтобы труп всплыл так скоро, даже если его бросили в реку через два дня после убийства. И далее, весьма маловероятно, чтобы злодеи, совершившие убийство, вроде предполагающегося здесь, бросили тело в воду, не привязав к нему предварительно какого-нибудь груза, когда принять подобную предосторожность не составило бы ни малейшего труда».

По мнению автора статьи, этот труп должен был пробыть в воде «не каких-то трое суток, а впятеро дольше», поскольку разложение зашло так далеко, что Бове не сразу его опознал. Однако этот довод был полностью опровергнут. Затем в статье говорилось:

«Так каковы же факты, ссылаясь на которые мсье Бове утверждает, будто убитая — без сомнения, Мари Роже? Он разорвал рукав платья убитой и теперь заявляет, что

видел особые приметы, вполне его удовлетворившие. Широкой публике, конечно, представляется, что под этими особыми приметами подразумеваются шрамы или родинки. На самом же деле он потерял руку и обнаружил — волоски! На наш взгляд, трудно найти менее определенную примету, и убедительна она не более, чем ссылка на то, что в рукаве обнаружилась рука! В этот вечер мсье Бове не вернулся в пансион, а в семь часов послал мадам Роже известие, что расследование касательно ее дочери все еще продолжается. Если даже допустить, что преклонный возраст и горе мадам Роже не позволяли ей самой побывать там (а допустить это очень нелегко!), то, несомненно, должен был найтись кто-то, кто счел бы необходимым поспешить туда и принять участие в расследовании, если они были уверены, что это действительно тело Мари. Но никто туда не отправился. Обитателям дома на улице Паве-Сент-Андре вообще ничего не было сказано, и они даже не слышали о том, что произошло. Мсье Сент-Эсташ, поклонник и жених Мари, живший в пансионе ее матери, показал под присягой, что про обнаружение тела своей нареченной он узнал только на следующее утро, когда к нему в спальню вошел мсье Бове и рассказал ему о событиях прошлого вечера. Нам кажется, что, учитывая характер новости, она была принята весьма спокойно и хладнокровно».

Вот так газета стремилась создать впечатление, что близкие Мари оставались равнодушными и бездеятельными — картина, не совместимая с предположением, будто они верили, что найден действительно ее труп. Эти инсинуации вкратце сводились к следующему: Мари при пособничестве своих друзей покинула город по причинам, бросающим тень на ее добродетель, и когда из Сены был извлечен труп, имевший некоторое сходство с исчезнувшей девушкой, указанные друзья воспользовались этим, чтобы внушить всем мысль, будто она мертва. Однако «Этуаль» опять излишне поторопилась. Выяснилось, что равнодушие и бездеятельность целиком относятся к области вымыслов, что старушка действительно была очень слаба и волнение лишило ее последних сил, что Сент-Эсташ не только не выслушал это известие с полным хлад-

нокровием, но совсем обезумел от горя, и мсье Бове, увидя его отчаяние, убедил кого-то из его родственников остаться с ним и помешать ему отправиться на эксгумацию. Более того, хотя «Этуаль» объявила, что труп был вторично погребен на общественный счет, что близкие Мари Роже наотрез отказались оплатить даже очень дешевые похороны и что никто из них не присутствовал на церемонии,— хотя, повторяю, «Этуаль» утверждала все это для подкрепления впечатления, которое она стремилась создать у своих читателей, каждое из перечисленных утверждений было решительным образом опровергнуто. В одном из последующих номеров этой газеты была предпринята попытка бросить подозрение на самого Бове. Редактор в своей статье заявил:

«И вот все изменяется. Нам сообщают, что однажды, когда в доме мадам Роже находилась мадам Б., мсье Бове, собиравшийся уходить, сообщил ей, что они ждут жандарма и что она, мадам Б., не должна ничего говорить жандарму до его возвращения, а предоставить все объяснения ему... В настоящий момент, насколько можно заключить, мсье Бове хранит в своей голове все обстоятельства дела. Без мсье Бове буквально нельзя и шагу ступить, ибо, куда ни поворачиваешь, обязательно натыкаешься на него... По какой-то причине он твердо решил не позволять никому другому принимать участие в расследовании, и, как утверждают родственники мужского пола, он оттер их в сторону самым странным образом. Он, как кажется, всячески старался воспрепятствовать тому, чтобы родственники увидели труп».

Нижеследующий факт как будто подтверждает подозрения, брошенные на Бове этой статьей. За несколько дней до исчезновения девушки какой-то посетитель, оставшись один в конторе Бове, заметил в замочной скважине розу, а на висевшей поблизости грифельной доске было написано «Мари».

Общее мнение, однако, насколько мы могли судить по газетам, склонялось к тому, что Мари стала жертвой шайки бандитов, которые увезли ее на тот берег реки,

надругались над ней и убили. Однако «Коммерсьель»¹, газета весьма влиятельная, всячески оспаривала это предположение. Я приведу несколько абзацев с ее страниц.

«Мы убеждены, что следствие все это время в той мере, в какой оно занималось заставой Дюруль, шло по ложному следу. Невозможно предположить, чтобы кто-нибудь столь известный публике, как эта молодая особа, мог пройти незамеченным три квартала, а увидевшие ее люди не забыли бы об этом, так как ею интересовались все, кому она была известна. И вышла она из дома в час, когда улицы были полны народа... Прежде чем она достигла бы заставы Дюруль или улицы Дром, ее неизбежно узнали бы два десятка прохожих, и все же не нашлось ни одного свидетеля, который видел бы ее после ухода из дому, и, кроме сообщения о выраженных ею намерениях, мы не располагаем никакими доказательствами того, что она действительно покинула материнский дом именно тогда. Ее платье было разорвано, полоса материи была обмотана вокруг ее тела и завязана так, что труп можно было нести, точно узел. Если убийство произошло возле заставы Дюруль, не было бы никаких причин проделывать все это. То обстоятельство, что тело было обнаружено в реке неподалеку от заставы, вовсе не показывает, где именно оно было брошено в воду... От одной из нижних юбок злосчастной девушки был оторван кусок длиной в два фута и шириной в фут, и из него была устроена повязка, проходившая под ее подбородком и затянутая узлом у затылка. Прделано это, возможно, было для того, чтобы помешать ей кричать, и сделали это субъекты, не располагающие носовыми платками».

Однако за день-два до появления у нас префекта полиция получила важные сведения, которые, по-видимому, опровергли большую часть рассуждений «Коммерсьель». Два мальчика, сыновья некоей мадам Дюлюк, гуляя в лесу неподалеку от заставы Дюруль, обнаружили в густом кустарнике сооруженное из трех-четырех больших

¹ Нью-йоркская «Джорнел оф коммерс». — *Примеч. автора.*

каменной сиденье со спинкой и приступкой для ног. На верхнем камне лежала белая нижняя юбка, на втором — шелковый шарф. Поблизости были затем найдены зонтик, перчатки и носовой платок. На носовом платке была вышита метка «Мари Роже». На ветвях колючих кустов висели лоскуты материи. Земля была утоптана, кусты поломаны — все там свидетельствовало об отчаянной борьбе. Далее, в изгородях, находящихся между этой чащей и рекой, были обнаружены проломы, а следы на почве показывали, что тут волочили что-то тяжелое.

Еженедельник «Le Soleil»¹, повторяя мнение всей парижской прессы, оценил эти находки следующим образом:

«Все эти вещи, несомненно, пролежали там не менее трех-четырех недель; под действием дождя они проплесневели насквозь и слиплись от плесени. Вокруг выросла трава, а кое-где стебли проросли и сквозь них. Шелк на зонтике был толстым, но складки его склеились, а верхняя сложенная часть настолько проплесневела и сгнила, что, когда его раскрыли, он весь расползся... Лоскутки, вырванные из платья колючками, имели в ширину примерно три дюйма, а в длину — шесть. Один оказался куском нижней оборки со штопкой, а другой был вырван из юбки гораздо выше оборки. Они выглядели так, словно были оторваны, и висели на терновнике в футе над землей... Не может быть никаких сомнений, что место, где совершилось это гнусное преступление, наконец найдено».

Это открытие помогло получить новые сведения. Мадам Дюлюк показала, что она содержит небольшой трактир на берегу Сены неподалеку от заставы Дюруль. Места вокруг пустынные, можно даже сказать — глухие. Добраться туда от Парижа можно только на лодке. Их облюбовало для воскресных развлечений городское отребье. В роковое воскресенье примерно в три часа дня в трак-

¹ Филадельфийская «Сатердей ивнинг пост», редактируемая Ч. Питерсоном, эсквайром.— *Примеч. автора.*

тир зашла молодая девушка, которую сопровождал смуглый молодой человек. Они пробыли там некоторое время, а потом ушли, направившись к расположенному по соседству густому лесу. Мадам Дюлюк хорошо заметила платье девушки, потому что оно напомнило ей платье одной ее недавно скончавшейся родственницы. Особенно хорошо она рассмотрела шарф. Вскоре после ухода молодой пары в трактир ввалилась компания хулиганов, которые вели себя очень буйно, не заплатили за то, что съели и выпили, ушли в том же направлении, какое избрали молодой человек и девушка, вернулись в трактир, когда начало смеркаться, и переправились на другой берег как будто в большой спешке.

В тот же вечер, вскоре после того как совсем стемнело, мадам Дюлюк и ее старший сын слышали женские крики неподалеку от трактира. Крики были очень громкими, но вскоре оборвались. Мадам Д. опознала не только шарф, но и платье, которое было на трупе. Кучер омнибуса, по фамилии Валанс¹, теперь также показал, что видел в это воскресенье, как Мари переправлялась через Сену в обществе смуглого молодого человека. Он, Валанс, знал Мари и ошибиться не мог. Предметы, найденные в чаще, все были опознаны родственниками Мари.

Сведения, которые я таким образом извлек по просьбе Дюпена из газетных статей, включали, кроме вышеперечисленных, только один факт — но факт этот представлялся весьма многозначительным. После того как в чаще были обнаружены шарф и прочие вещи, неподалеку от того места, которое теперь все считали местом убийства, было обнаружено безжизненное или почти безжизненное тело Сент-Эсташа, жениха Мари. Возле валялся пустой флакон — на ярлычке было написано «опиум». Дыхание Сент-Эсташа указывало, что он действительно принял этот яд. Он умер, не приходя в сознание. В кармане у него была найдена записка: коротко упомянув о своей любви к Мари, он сообщал, что намерен наложить на себя руки.

¹ Адам. — Примеч. автора.

— Мне, разумеется, незачем говорить вам,— сказал Дюпен, внимательно прочитав мои заметки,— что это куда более запуганное дело, чем убийства на улице Морг, от которого оно отличается в одном очень важном отношении, так как представляет собой хотя и зверски-жестокое, но ординарное преступление. В нем нет ничего выходящего за рамки обычного. Заметьте, что по этой причине все полагали, будто раскрыть его окажется нетрудно, тогда как именно его заурядность и составляет главный камень преткновения. Вначале ведь даже не сочли нужным назначить награду. Мирмидоняне префекта сразу же представили себе, как и почему могло быть совершено это гнусное преступление. Их воображение было способно нарисовать способ — много способов — его совершения, а также и побудительный мотив — много мотивов. И потому, что какие-то из этих способов и этих мотивов могли оказаться подлинными, им представилось само собой разумеющимся, что один из них и окажется подлинным. Однако легкость, с какой возникали эти различные предположения, и их правдоподобность свидетельствовали о том, что правильное решение найти будет не только не просто, но, наоборот, очень трудно. Я не раз замечал, что в поисках истины логика нащупывает свой путь по отклонениям от обычного и заурядного и что в случаях, подобных этому, следует спрашивать не «что произошло?», а «что произошло необыкновенного, такого, чего не случалось прежде?». Ведя следствие в доме мадам Л'Эспанэ¹, агенты Г. растерялись из-за необычности случившегося, в то время как верно направленный интеллект именно в этой необычности усмотрел бы залог успеха; и тот же самый интеллект с глубоким отчаянием убедился бы в видимой заурядности обстоятельств исчезновения продавщицы парфюмерных товаров, хотя подчиненные префекта как раз в ней увидели обещание легкой победы.

В деле мадам Л'Эспанэ и ее дочери мы с самого начала твердо знали, что речь идет об убийстве. Возможность самоубийства исключалась безусловно. Здесь самоубий-

¹ См.: «Убийства на улице Морг». — *Примеч. автора.*

ство также исключается. Вид трупа, обнаруженного неподалеку от заставы Дюруль, не оставляет никаких сомнений в этом важном вопросе. Однако высказывается предположение, что труп этот — не труп Мари Роже, за поимку убийцы или убийц которой назначена награда и которой касается наш уговор с префектом. Мы оба прекрасно знаем этого господина. И знаем, что слишком доверять ему не следует. Если мы начнем наше расследование с трупа и, отыскав убийцу, тем не менее установим, что это труп какой-то другой женщины, а не Мари, или если мы сразу предположим, что Мари жива и отыщем ее — отыщем целой и невредимой, — то в обоих случаях наши труды пропадут даром, поелику мы имеем дело с мсье Г. Поэтому в наших собственных интересах, если не в интересах правосудия, мы должны с самого начала удостовериться, что найденный в Сене труп — это действительно труп пропавшей Мари Роже.

Доводы «Этуаль» произвели впечатление на публику, да и сама газета убеждена в их неопровержимости, о чем свидетельствует первая строка одной из напечатанных в ней заметок, посвященных делу Мари Роже. «Несколько утренних газет, — начинается эта заметка, — обсуждают исчерпывающую статью в номере «Этуаль» от понедельника». На мой взгляд, эта статья исчерпывающе доказывает только рвение ее автора. Вообще следует помнить, что наши газеты думают главным образом о том, как создать сенсацию, а не о том, как способствовать обнаружению истины. Последнее становится их задачей, только если это способствует достижению первой и главной их цели. Когда печать всего лишь следует общему мнению (каким бы обоснованным оно ни было), она не обеспечивает себе успеха у толпы. Большинство людей считает мудрецом только того, кто высказывает предположение, идущее вразрез с принятыми представлениями. В логических рассуждениях, не менее чем в литературе, наибольшим и незамедлительным успехом пользуется эпиграмма, и в обоих случаях она стоит меньше всего.

Я хочу сказать, что предположение, будто Мари Роже еще жива, было подсказано «Этуаль» неожиданностью и мелодраматичностью подобной идеи, а вовсе не ее прав-

доподобием — и по той же причине она нашла столь благосклонный прием у публики. Давайте разберем по пунктам рассуждения этой газеты, освободив их от той бессвязности и непоследовательности, с какой они изложены в статье.

Прежде всего ее автор стремится доказать, что между исчезновением Мари и обнаружением в реке плывущего трупа прошло слишком мало времени, а потому это не мог быть ее труп. Для достижения своей цели он стремится елико возможно сократить этот интервал. Такое опрометчивое стремление заставляет его сразу же пустить в ход абсолютно безосновательное предположение. «Было бы чистейшей нелепостью считать,— утверждает он,— будто убийство (если она действительно была убита) могло совершиться настолько быстро после ее ухода, что убийцы успели бросить тело в реку до полуночи». Мы немедленно задаем естественный вопрос: почему? Почему было бы нелепостью предположить, что девушку убили через пять минут после того, как она вышла из дома? Убийства случались во всякое время суток. Но если бы это убийство произошло в течение воскресенья в любую минуту между девятью часами утра и до без четверти двенадцать ночи, убийцы все-таки успели бы «бросить тело в реку до полуночи». Следовательно, произвольная предпосылка автора статьи, в сущности, сводится к тому, что убийство вообще в воскресенье не произошло, а если мы позволим «Этуаль» исходить из такой предпосылки, то должны будем прощать ей любые вольности. Фраза, начинающаяся словами: «Было бы чистейшей нелепостью считать...» — и т. д., независимо от того, в каком виде она появилась на страницах «Этуаль», была порождена следующей мыслью своего творца: «Было бы чистейшей нелепостью считать, будто убийство (если речь действительно идет об убийстве) могло совершиться настолько быстро после ухода девушки из дома, что убийцы успели бросить тело в реку до полуночи; было бы нелепостью, утверждаем мы, предположить все это и в то же время предположить (как мы твердо решили сделать), что тело было брошено в реку только после полуночи», — фраза достаточно непоследовательная, но далеко не столь абсурдная, как та, которая появилась в статье.

— Если бы, — продолжал Дюпен, — я хотел просто опровергнуть именно это место в рассуждениях «Этуаль», то мог бы спокойно ограничиться уже сказанным. Однако нас интересует не «Этуаль», а истина. Рассматриваемая фраза в ее настоящем виде имеет лишь одно содержание, и это содержание я изложил с полной беспристрастностью, но нам важно, не ограничиваясь только словами, проникнуть в мысль, которую эти слова явно должны были выразить, хотя и не выразили. Журналист хотел сказать, что, независимо от того, утром, днем или вечером в воскресенье было совершено это убийство, убийцы вряд ли осмелились бы доставить труп к реке раньше полуночи. А именно в этих словах прячется та произвольная предпосылка, которую я ставлю ему в упрек. Он без каких-либо оснований исходит из предположения, будто убийство было совершено в таком месте и при таких обстоятельствах, что труп обязательно надо было доставлять к реке. А ведь оно могло произойти на берегу или даже на самой реке — тогда труп мог быть брошен в воду в любое время суток, так как это был бы наиболее легкий и естественный способ избавиться от него. Вы, конечно, понимаете, что я вовсе не считаю наиболее вероятной именно эту возможность и не высказываю своего мнения. Пока еще я не касаюсь реальных фактов дела, а только хочу предостеречь вас против самого тона предположения «Этуаль», обратив ваше внимание на то, что они с самого начала носят характер *ex-parte*¹.

И вот, предписав ограничение, удобное для ее собственных предвзятых идей, предположив, что этот труп, если он был трупом Мари, мог пробыть в воде лишь очень незначительное время, газета заявляет:

«Как показывает весь прошлый опыт, тела утопленников или тела жертв убийства, брошенные в воду вскоре после наступления смерти, всплывают, только когда процесс разложения зайдет достаточно далеко, то есть не ранее, чем через шесть — десять дней. Даже в тех случаях, когда такой труп всплывает ранее пяти-шести

¹ Односторонний, предвзятый (*лат.*).

дней, так как над ним выстрелили из пушки, он вскоре вновь опускается на дно, если его не успеют извлечь из воды».

С этими утверждениями безмолвно согласились все парижские газеты, за исключением «Le Moniteur»¹, которая пытается опровергнуть лишь то место, которое относится к «утопленникам», ссылаясь на пять-шесть случаев, когда тела заведомых утопленников всплывали до истечения срока, указанного «Этуаль». Однако в этой попытке «Le Moniteur» опровергнуть общее утверждение «Этуаль» ссылками на конкретные противоречащие ему примеры есть что-то глубоко нефилософское. Сошлись «Le Moniteur» не на пять, а на пятьдесят трупов, всплывших через двое-трое суток, все равно эти пятьдесят примеров следовало бы считать лишь исключением из правила, установленного «Этуаль», до тех пор пока не было бы доказано, что само это правило неверно. А если признавать правило («Le Moniteur» же его не отрицает и только указывает на исключения), то рассуждения «Этуаль» сохраняют полную силу, поскольку они касаются всего лишь вероятности того, что труп всплывет до истечения трех суток; и эта вероятность будет свидетельствовать в пользу «Этуаль» до тех пор, пока количество примеров, на которые по-детски ссылаются противники ее выводов, не возрастет до той степени, когда уже можно будет говорить о противоположном правиле.

Как вы могли заметить, все рассуждения касательно этого пункта должны строиться так, чтобы опровергнуть указанное правило, а для этой цели нам следует рассмотреть его рациональную основу. Начнем с того, что в среднем человеческое тело немногим тяжелее или легче воды Сены; другими словами, удельный вес человеческого тела в обычных условиях примерно равен удельному весу пресной воды, которую вытесняет это тело. Тела тучных, дородных людей с тонкими костями и тела подавляющего большинства женщин легче, чем тела худощавых круп-

¹ Нью-йоркская «Коммерциал адвертайзер» под редакцией полковника Стоуна.— *Примеч. автора.*

нокостных мужчин; а на удельный вес речной воды оказывает влияние наличие морской воды, поступающей в реки с приливной волной. Но даже отбросив это наличие морской воды, все-таки можно утверждать, что даже в пресной воде при отсутствии дополнительных причин тонут лишь немногие человеческие тела. Упавший в реку человек почти никогда не пойдет ко дну, если он позволит весу своего тела прийти в соответствие с весом вытесненной им воды — другими словами, если он погрузится в воду почти целиком. Для людей, не умеющих плавать, наиболее правильной будет вертикальная позиция идущего человека, причем голову следует откинуть и погрузить в воду так, чтобы над ней оставались только рот и нос. Приняв подобную позу, вы обнаружите, что без всяких усилий и труда держитесь у самой поверхности. Однако совершенно очевидно, что вес человеческого тела и воды, которую оно вытесняет, находится лишь в весьма хрупком равновесии, так что достаточно ничтожного пустяка, чтобы оно нарушилось в ту или иную сторону. Например, рука, поднятая над водой и тем самым лишенная ее поддержки, представляет собой добавочный вес, которого достаточно, чтобы голова ушла под воду целиком, тогда как случайно схваченный даже небольшой кусок дерева позволит вам приподнять голову и оглядеться. Человек, не умеющий плавать, обычно начинает биться в воде, скидывает руки и старается держать голову, как всегда, прямо. В результате рот и ноздри оказываются под водой, которая при попытке вздохнуть проникает в легкие. Кроме того, большое ее количество попадает в желудок, и все тело становится тяжелее настолько, насколько вода тяжелее воздуха, наполнявшего эти полости прежде. Как правило, этой разницы достаточно для того, чтобы человек пошел ко дну, но только не в тех случаях, когда речь идет о людях с тонкими костями и излишком жира на теле. Такие люди, и утонув, продолжают держаться на поверхности.

Труп, опустившийся на дно реки, останется там до тех пор, пока по какой-то причине его вес опять не станет меньше веса вытесняемой им воды. Это может быть связано с разложением или с чем-либо еще. В процессе

разложения образуется газ, расширяющий клетки в тканях и все полости, что придает мертвым телам ту вздутость, которая производит столь жуткое впечатление. Когда такое расширение приводит к заметному увеличению объема трупа без соответствующего увеличения его массы или веса, он становится легче вытесняемой им воды и всплывает. Однако процесс разложения определяется множеством факторов, он убыстряется или замедляется по множеству причин — тут могут играть роль жара и холод, количество растворенных в воде минеральных веществ, большая или меньшая глубина, наличие или отсутствие течения, температура тела, а также и состояние здоровья человека перед смертью. Таким образом, совершенно очевидно, что мы не можем даже приблизительно указать срок всплытия трупа в результате разложения. В некоторых условиях это произойдет менее чем через час, а в других — не произойдет вовсе. Есть химикалии, способные полностью и навсегда предохранить животные ткани от гниения, — к ним, например, принадлежит двухлористая ртуть. Однако и помимо разложения в желудке в результате брожения растительной массы (или же в других полостях, по другим причинам) может образовываться — и обычно образуется — газ, который вызывает расширение тела, достаточное для того, чтобы оно всплыло на поверхность. Пушечный выстрел просто производит сильную вибрацию, которая либо высвобождает труп из ила и он всплывает, потому что был уже почти готов всплыть, либо разрушает какую-то часть уже сгнившей клеточной ткани, препятствовавшей расширению полостей под воздействием газа.

Итак, ознакомившись с философской основой этого предмета, мы с ее помощью легко можем проверить справедливость утверждения «Этуаль». «Как показывает весь прошлый опыт, — заявляет эта газета, — тела утопленников или тела жертв убийства, брошенные в реку вскоре после наступления смерти, всплывают, только когда процесс разложения зайдет достаточно далеко, то есть не ранее, чем через шесть — десять дней. Даже в тех случаях, когда такой труп всплывает ранее пяти-шести дней, так как над ним выстрелили из пушки, он вскоре вновь опускается на дно, если его не успевают извлечь из воды».

Теперь весь этот абзац выглядит мешаниной натяжек и несуразностей. Весь прошлый опыт отнюдь не показывает, что телу утопленника обязательно требуется шесть — десять дней, прежде чем оно разложится настолько, чтобы всплыть. И наука, и практический опыт свидетельствуют, что период, предшествующий всплытию, должен быть самым неопределенным — каковым он и является. Если же труп всплывет в результате выстрела из пушки, то он «опускается вновь на дно, если его не успеют извлечь из воды» не «вскоре», а только тогда, когда разложение продвинется настолько далеко, что образовавшийся в теле газ найдет выход наружу. Но я хотел бы обратить ваше внимание на различие, сделанное между «телами утопленников» и «телами жертв убийства, брошенных в реку вскоре после наступления смерти». Хотя автор признает это различие, он тем не менее относит и те и другие тела к одной категории. Я уже объяснил, как именно тело тонущего приобретает больший удельный вес, чем вода, показал вам, что такой человек не утонул бы, если бы не начал бить руками, высовывая их из воды, и не захлебывался бы, пытаясь вздохнуть, в результате чего в его легкие вместо воздуха попадает вода. Но тело, «брошенное в реку вскоре после наступления смерти», рук не скидывает и не захлебывается. Следовательно, в этом случае труп, как правило, вообще не утонет — факт, о котором «Этуаль», по-видимому, не осведомлена. Только когда разложение пойдет очень далеко, когда в значительной мере обнажатся кости, только тогда, но не ранее, он скроется под водой.

Так как же должны мы теперь оценивать довод, что найденный труп — это не труп Мари Роже, ибо он плыл по реке, хотя со времени исчезновения девушки прошло всего три дня? Если бы она утонула, то, будучи женщиной, могла вообще не пойти ко дну, а если и пошла, то ее тело могло всплыть меньше чем через сутки. Но ведь никто не высказывает предположения, будто она утонула, а раз ее бросили в воду уже мертвой, тот факт, что тело плыло по реке, ни о каком сроке не говорит: оно и не должно было опускаться на дно.

Но, утверждает «Этуаль», «если изуродованное тело пролежало на берегу до ночи со вторника на среду, в этом месте должны были бы отыскаться какие-нибудь следы убийц». Здесь в первый момент трудно распознать, куда клонит автор. На самом же деле он хочет предвосхитить возможное возражение против его теории — а именно, что тело оставили лежать двое суток на берегу, где оно разлагалось быстро, быстрее, чем под водой. Он предполагает, что в этом случае оно могло бы всплыть уже в среду, и считает, что всплыть оно могло только при подобных обстоятельствах. А поэтому он торопится показать, что на берегу его не оставляли, ибо тогда «в этом месте должны были бы отыскаться какие-нибудь следы убийц». Полагаю, ваша улыбка вызвана столь неожиданной причинной связью. Вам непонятно, каким образом одна лишь длительность пребывания трупа на берегу могла способствовать умножению следов, оставленных убийцами. Непонятно это и мне.

«И далее, весьма маловероятно, — продолжает наша газета, — чтобы злодеи, совершившие убийство вроде предполагающегося здесь, бросили тело в воду, не привязав к нему предварительно какого-нибудь груза, когда принять подобную предосторожность не составило бы никакого труда». Заметьте, какая смехотворная путаница мыслей! Никто — ни даже «Этуаль» — не оспаривает, что женщина, чей труп был извлечен из Сены, была убита. Признаки насильственной смерти слишком уж очевидны. Наш автор ставит себе всего лишь одну цель: убедить читателей, что эта убитая — не Мари. Он стремится доказать не то, что не была убита женщина, чей труп найден, а что не была убита Мари. Однако этот его довод может служить только доказательством первого. Перед нами труп, к которому не привязано никакого груза. Убийцы, бросая его в воду, обязательно привязали бы к нему груз. Отсюда следует, что убийцы его в воду не бросали. Больше ничего подобный аргумент не доказывает — если он вообще что-либо доказывает. Вопрос о личности убитой даже не затрагивается, а «Этуаль» пускается тут в сложные рассуждения всего лишь для того, чтобы опровергнуть собственное признание, которое было сде-

лано несколькими строчками выше: «Мы твердо убеждены, — говорится в них, — что найденное тело — несомненно, труп убитой женщины».

И это — отнюдь не единственный случай, когда наш автор невольно опровергает сам себя даже только в этой части своих рассуждений. Он, как я уже говорил, несомненно, ставит себе целью елико возможно сократить промежуток между исчезновением Мари и обнаружением трупа. Тем не менее он настойчиво подчеркивает, что с той минуты, когда девушка вышла из материнского дома, ее никто не видел. «Итак, — говорит он, — мы не можем утверждать, что Мари Роже пребывала в мире живых после девяти часов утра воскресенья 22 июня». Поскольку его довод явно *ex parte*, ему следовало бы по меньшей мере вовсе не упоминать об этом обстоятельстве, так как вышеупомянутый промежуток заметно сократился бы, если бы кто-нибудь видел Мари в понедельник или, например, во вторник, и, согласно его собственным рассуждениям, вероятность того, что был найден труп именно красавицы гризетки, заметно уменьшилась бы. Очень забавно наблюдать, как «Этуаль» настойчиво обращает внимание своих читателей на эту подробность в глубокой уверенности, что таким образом она подкрепляет общий ход своих рассуждений.

Теперь перечитайте ту часть статьи, где рассказывается о том, как труп был опознан Бове. В вопросе о волосках «Этуаль» проявила большую неуклюжесть. Мсье Бове, не будучи идиотом, при опознании трупа вряд ли привел бы в качестве доказательства просто волоски на руке. Волоски есть на любой руке. Неопределенность выражения, употребленного «Этуаль», искажает слова свидетеля. Он, без сомнения, указал на какое-то своеобразие этих волосков — особый цвет, густоту, длину или расположение.

«Ее нога, — пишет газета, — была маленькой, как и тысячи других женских ног. Ее подвязка не может служить серьезным доказательством, как и ботинки — ведь ботинки и подвязки продаются тысячами одинаковых пар. То же можно сказать о цветах на ее шляпе. Мсье Бове особенно упирает на то, что застежка на подвязке пере-

ставлена. Это просто ничего не значит, так как женщины почти всегда предпочитают, купив подвязки, затем подогнать их дома, нежели примерять подвязки в лавке перед покупкой». Трудно предположить, что автор утверждает это серьезно. Если бы мсье Бове, разыскивая Мари, нашел труп женщины, сложением и внешностью схожей с исчезнувшей девушкой, он имел бы все основания (вообще не рассматривая одежды) счесть, что его поиски увенчались успехом. А если, кроме общего сходства, он обнаружил бы на руке умершей те своеобразные волоски, которые видел на руке Мари, его уверенность с полным правом могла бы возрасти в степени, прямо пропорциональной необычности этой приметы. Если ноги Мари были маленькими и ноги трупа — тоже, уверенность в том, что это труп именно Мари, возросла бы не в арифметической, но в геометрической прогрессии. Добавьте ко всему этому ботинки, такие же, какие были на ней в день исчезновения, и пусть даже эти ботинки «продаются тысячами одинаковых пар», вы доведете вероятность уже почти до степени абсолютной несомненности. То, что само по себе не является точной приметой, теперь благодаря своему месту в целом ряду других признаков становится почти неопровержимым доказательством. Добавьте еще цветы на шляпе, такие же, какие носила исчезнувшая девушка, и опознание можно считать полным. Достаточно было бы и одного цветка. Но что, если их два, или три, или больше? Каждый из них не просто дополняет нашу уверенность, но стократ ее умножает. А теперь обнаружим на покойнице такие же подвязки, какие носила живая девушка,— и всякие дальнейшие поиски станут просто нелепыми. Но оказывается, застежки на этих подвязках были переставлены, чтобы подогнать их по ноге,— точно так, как Мари затянула свои подвязки незадолго до ухода. После этого сомневаться может только сумасшедший или лицемер. Эластичная природа подвязок уже указывает на необычность такой перестановки застежки. Если предмет способен укорачиваться сам, то дополнительное его укорачивание по необходимости не может не быть редким. То, что подвязки Мари потребовали такой переделки, было случайностью в самом стро-

гом смысле слова. Одних этих подвязок было бы вполне достаточно, чтобы точно установить ее личность. Но ведь на трупе не просто нашли подвязки исчезнувшей девушки, или ее ботинки, или ее шляпку, или цветы с ее шляпки, не просто оказалось, что ноги убитой такие же маленькие, или что у нее такие же волоски на руке, или что она напоминает Мари сложением и внешностью,— нет, труп имел все эти приметы до единой. Если бы удалось доказать, что редактор «Этуаль» при таких обстоятельствах все же продолжает искренне сомневаться в личности убитой, его можно было бы объявить сумасшедшим и без заключения медицинской комиссии. Он решил, что будет очень хитро с его стороны прибегнуть к профессиональному языку адвокатов, которые по большей части удовлетворяются повторением прямолинейных юридических понятий. Кстати, многое из того, что суды отказываются считать доказательствами, является для острого ума наиболее убедительным доказательством. Ибо суд руководствуется общими принципами, определяющими, что составляет доказательство, а что — нет, то есть руководствуется признанными, записанными в кодексах принципами и не склонен отступать от них в конкретных случаях. Несомненно, такое неуклонное следование принципу и полное игнорирование противоречащих ему исключений в конечном счете представляет собой верный способ обнаружения максимума поддающейся обнаружению истины. Следовательно, в целом такая практика вполне философически оправдана, однако верно и то, что она приводит ко множеству индивидуальных ошибок¹.

Что касается инсинуаций, направленных против Бове, вы, конечно, отбросите их без долгих размышлений. Истинный характер этого господина вам, разумеется, уже

¹ «Теория, опирающаяся на качества какого-либо предмета, препятствует тому, чтобы он раскрывался согласно его целям; а тот, кто располагает явлениями, исходя из их причин, перестает оценивать их согласно их результатам. Посему юриспруденция любой страны показывает, что закон, едва он становится наукой и системой, перестает быть правосудием. Нетрудно убедиться в ошибках, к которым слепая преданность принципу классификации приводила обычное право, проследив, как часто законодательным органам приходилось вмешиваться и восстанавливать справедливость, которую оно успевало утратить».
Лендор. — Примеч. автора.

ясен. Это романтический и не очень умный любитель совать нос в чужие дела. Каждый человек подобного типа в действительно серьезных случаях обычно ведет себя так, что вызывает подозрение у излишне проницательных или не расположенных к нему людей. Мсье Бове (как вытекает из ваших заметок) имел личную беседу с редактором «Этуаль» и задел его самолюбие, настаивая на том, что труп, вопреки теории редактора, все-таки и без всяких сомнений труп Мари Роже. «Он,— говорит газета,— прямо утверждает, что это — труп Мари, но не может сослаться в подтверждение ни на какие более убедительные для других приметы, кроме тех, которые мы уже обсудили». Не возвращаясь к вопросу о том, что «более убедительные для других приметы» найти вообще невозможно, надо указать на следующее: в подобного рода делах человек вполне может быть твердо убежден сам и в то же время не располагать никакими доводами, убедительными для других. Впечатление, которое вы храните о личности того или иного человека, очень трудно поддается определению. Каждый человек узнает своих знакомых, но весьма редко кто бывает способен логически объяснить, каким образом он их узнает. Редактор «Этуаль» не имеет права обижаться на мсье Бове за его нерассуждающую уверенность.

Связанные с ним подозрительные обстоятельства куда легче объяснить, исходя из моего представления о нем как о романтическом любителе совать нос в чужие дела, чем из виновности, которую обвиняком пытается ему приписать автор статьи. Если мы будем исходить из более милосердного предположения, то легко пойдем и розу в замочной скважине, и «Мари» на грифельной доске, и «оттирание в сторону родственников мужского пола», и нежелание, чтобы они увидели труп, и предостережение, с которым он обратился к мадам Б., указывая, что ей не следует ничего говорить жандарму до его (Бове) возвращения, и, наконец, его твердую решимость «не позволять никому другому принимать участие в расследовании». Мне представляется безусловным, что Бове был поклонником Мари, что она с ним кокетничала и что он стремился внушить всем, будто пользуется ее особым доверием и рас-

положением. Больше я ничего об этом говорить не стану, а поскольку факты полностью опровергают утверждение «Этуаль» относительно равнодушия матери Мари и других ее родственников — равнодушия, которое ставило бы под сомнение искренность их убеждения, что найден действительно труп Мари,— мы будем далее исходить из того, что вопрос об установлении личности убитой разрешен к полному нашему удовлетворению.

— А что вы думаете,— спросил я,— о предположениях «Коммерсьель»?

— Я думаю, что по своему духу они заслуживают значительно большего внимания, чем все прочие мнения, высказанные об этом деле. Выводы из предпосылок философски верны и остроумны, однако по меньшей мере в двух случаях предпосылки опираются на неточные наблюдения. «Коммерсьель» дает понять, что Мари неподалеку от дома ее матери схватила шайка негодяев. «Невозможно предположить, — настаивает газета, — чтобы кто-нибудь, столь известный публике, как эта молодая особа, мог пройти незамеченным три квартала». Такую мысль мог высказать лишь мужчина, коренной парижанин, видный член общества, который, как правило, ходит только по определенным улицам в деловой части города. Он по опыту знает, что ему редко удастся пройти пять кварталов от своей конторы без того, чтобы его кто-нибудь не узнал и не заговорил с ним. Он знает обширность своих знакомств и, сравнивая собственную известность с известностью продавщицы из парфюмерной лавки, не обнаруживает существенной разницы, а потому тут же приходит к заключению, что и ее на улице должны узнавать не реже, чем его. Но так могло бы быть только, если бы она, подобно ему, ходила одним и тем же неизменным путем в пределах четко ограниченной части города. Он проходит туда и обратно в определенные часы, и его маршрут пролегает по улицам, где ему на каждом шагу встречаются люди, интересующиеся им из-за общности их занятий. Мари же в своих прогулках вряд ли придерживалась какого-либо определенного маршрута. А в данном случае наиболее вероятным будет предположение, что она избрала путь, как можно более отличавшийся от обыч-

ных. Сопоставление, которое, как мы полагаем, подразумевала «Коммерсьель», оказалось бы справедливым, только если бы два сопоставляемых индивида прошли через весь город. В этом случае, при условии равной обширности круга их знакомств, были бы равны и их шансы на равное число встреч со знающими их людьми. Я же считаю не только возможным, но и гораздо более вероятным, что Мари могла в любое заданное время проследовать по какому-либо из многочисленных путей, соединяющих ее жилище и жилище ее тетки, не встретив ни единого человека, который был бы ей известен или которому была бы известна она. Рассматривая этот вопрос наиболее полно и правильно, мы должны все время помнить о колоссальном несоответствии между кругом знакомств даже самого известного парижанина и всем населением Парижа.

Если предположение «Коммерсьель» тем не менее еще сохраняет некоторую силу, нам следует вспомнить час, в который Мари вышла из дома. «И она вышла из дома в час,— утверждает «Коммерсьель»,— когда улицы были полны народа». Однако дело обстояло по-другому. Это произошло в девять часов утра. Действительно, в девять часов утра улицы бывают полны народа в любой день недели, кроме воскресенья. В воскресенье же в девять часов утра горожане обычно бывают дома, собираясь идти в церковь. Любой наблюдательный человек, несомненно, замечал особую пустынность городских улиц в воскресное утро с восьми до десяти часов. Между десятью и одиннадцатью часами их действительно заполняют прохожие, но не ранее, не в час, о котором идет речь.

Наблюдательность изменила «Коммерсьель» и в другом случае. «От одной из нижних юбок злосчастной девушки,— указывает газета,— был оторван кусок длиной в два фута и шириной в фут. Из него была устроена повязка, проходившая под ее подбородком и затянутая узлом у затылка. Проделано это, возможно, было для того, чтобы помешать ей кричать, и сделали это субъекты, не располагающие носовыми платками». Насколько это предположение основательно само по себе, мы рассмотрим позже, но, во всяком случае, под «субъектами, не распо-

лагающими носовыми плитками», автор подразумевает бродяг самого низшего разбора. Однако именно у них всегда бывают платки, даже у тех, у кого и рубашки нет. Вероятно, вы заметили, что за последние годы платки превратились в обязательную принадлежность всего городского отребья.

— А как следует оценить статью в «Le Soleil»? — спросил я.

— Очень жаль, что ее сочинитель не родился попугаем — в этом случае он, несомненно, стал бы самым знаменитым попугаем на свете. Он всего-навсего повторяет отдельные положения из того, что уже было высказано кем-то другим, разыскивая их с похвальным трудолюбием на страницах чужих газет. «Все эти вещи, несомненно, пролежали там не менее трех-четырех недель, и не может быть никаких сомнений, что место, где совершилось это гнусное преступление, наконец найдено». Факты, которые тут вновь перечисляет «Le Soleil», моих сомнений отнюдь не рассеивают, и подробнее мы о них поговорим позднее, в связи с еще одним аспектом этой темы.

А пока нам следует заняться другими вопросами. Вы, несомненно, обратили внимание на чрезвычайную небрежность осмотра трупа. Да, конечно, личность убитой была установлена достаточно быстро, но многое осталось невыясненным. Был ли труп ограблен? Надела ли убитая, выходя из дому, какие-нибудь дорогие украшения? А если да, то были ли они найдены на ее теле? На эти весьма важные вопросы материалы расследования не дают никакого ответа, без внимания остались и другие, столь же существенные моменты. Мы должны попробовать сами восполнить эти пробелы. Необходимо заново рассмотреть роль Сент-Эсташа. У меня нет против него никаких подозрений, но нам следует действовать систематически. Мы придирчиво проверим его письменное показание о том, где и когда он был в то воскресенье. Такого рода показания нередко оказываются весьма ненадежными. Но если мы не обнаружим в них никаких противоречий, то больше Сент-Эсташем заниматься не будем. Однако его самоубийство, хотя оно и усугубило бы подозрения против

него в случае, если бы нам удалось доказать лживость этих показаний, вполне объяснимо, если они верны, а потому из-за него нам незачем изменять обычные методы анализа.

Я предлагаю пока не заниматься непосредственно самим трагическим событием, а сосредоточить наше внимание на предшествовавших и сопутствовавших ему обстоятельствах. Одна из частых и отнюдь не наименьших ошибок подобного рода расследований заключается в том, что расследуется только самый факт, а все опосредствованно или косвенно с ним связанное полностью игнорируется. Суды совершают значительный промах, ограничивая рассмотрение улик и свидетельских показаний лишь теми, связь которых с делом представляется непосредственной и очевидной. Однако, как не раз показывал прошлый опыт и как всегда покажет истинная философия, значительная, если не подавляющая часть истины раскрывается через обстоятельства, на первый взгляд совершенно посторонние. Именно дух, если не буква этого принципа, лежит в основе решимости современной науки опираться на непредвиденное. Но, возможно, вам непонятны мои слова. История накопления человеческих знаний непрерывно доказывает одно: наибольшим числом самых ценных открытий мы обязаны сопутствующим, случайным или непредвиденным обстоятельствам, а потому в конце концов при обзоре перспектив на будущее стало необходимым отводить не просто большое, но самое большое место будущим изобретениям, которые возникают благодаря случайности и вне пределов предполагаемого и ожидаемого. Теперь стало не совместимым с философией строить прогнозы грядущего, исходя только из того, что уже было. Случай составляет признанную часть таких построений. Мы превращаем случайность в предмет точных исчислений. Мы подчиняем непредвиденное и невообразимое научным математическим формулам.

Как я уже говорил, наибольшая часть истины была открыта благодаря побочным обстоятельствам; и в соответствии с духом принципа, стоящего за этим фактом, я в данном случае перенесу расследование с истоптанной и

до сей поры неплодородной почвы самого события на обстоятельства, ему сопутствовавшие. Вы будете проверять истинность показаний, подтверждающих, где и когда был в то воскресенье Сент-Эташ, а я тем временем проштудирую газеты не столь целенаправленно, как сделали это вы. Пока мы лишь произвели предварительную разведку, но будет весьма странно, если широкое ознакомление с прессой, которое я намерен предпринять, не откроет какие-нибудь второстепенные подробности, которые, в свою очередь, подскажут нам, в каком направлении надо вести расследование.

Выполняя поручение Дюпена, я скрупулезно изучил вышеупомянутые показания и убедился в их истинности, а следовательно, и в невинности Сент-Эташа. Тем временем мой друг с тщанием, которое представлялось мне совершенно излишним, просматривал одну газетную подшивку за другой. Через неделю он положил передо мной следующие выдержки:

«Примерно три с половиной года назад волнение, весьма напоминающее нынешнее, было вызвано исчезновением той же самой Мари Роже из парфюмерной лавки мсье Леблана в Пале-Рояль. Однако неделю спустя она вновь появилась за своим прилавком, живая и невредимая, хотя, правда, чуть более бледная, чем прежде. Мсье Леблан и ее мать заявили, что она просто уезжала к какой-то подруге в деревню, и дело быстро замяли. Мы полагаем, что и нынешнее исчезновение вызвано сходной причиной и что по истечении недели или, быть может, месяца мы снова увидим ее среди нас».

(«Вечерняя газета»¹, понедельник 23 июня.)

«Одна из вечерних газет сослалась вчера на первое таинственное исчезновение мадемуазель Роже. Известно, что ту неделю, пока ее не было в лавке мсье Леблана, она провела в обществе молодого морского офицера, имеющего репутацию кутилы и повесы. Полагают, что вследствие ссоры она, к счастью, вернулась домой вовремя.

¹ Нью-йоркская «Экспресс». — Примеч. автора.

Нам известно имя этого Лотарио, находящегося в настоящее время в Париже, но по понятным причинам мы не предаем его гласности».

(«Меркюри»¹, вторник 24 июня, утренний выпуск.)

«Позавчера в окрестностях нашего города было совершено возмутительнейшее преступление. Некий господин в сумерках нанял шестерых молодых людей, которые катались на лодке по Сене, перевезти его с женой и дочерью через реку. Когда лодка причалила к противоположному берегу, трое пассажиров высадились и успели отойти на такое расстояние, что река скрылась из виду, но тут дочь заметила, что забыла в лодке зонтик. Она вернулась за ним, но негодяи схватили ее, заткнули ей рот кляпом, вывезли на середину реки, учинили над ней зверское насилие и в конце концов высадили на берег примерно там же, где она вошла в лодку со своими родителями. Преступники скрылись, но полиция напала на их след, и кое-кто из них скоро будет арестован».

(«Утренняя газета»², 25 июня.)

«Мы получили несколько писем, цель которых — доказать, что виновником недавнего зверского преступления был Менз³, но, поскольку после официального расследования он был полностью оправдан, а доводы этих наших корреспондентов продиктованы более желанием обнаружить преступника, нежели фактами, мы не считаем возможным опубликовать их».

(«Утренняя газета», 28 июня.)

«Мы получили несколько гневных писем, по-видимому, принадлежащих перу разных лиц, которые дышат уверенностью, что злополучная Мари Роже стала жертвой одной из многочисленных бандитских шаяк, которые по воскресеньям наводняют окрестности города. Это предположение полностью соответствует нашему собственно-

¹ Нью-йоркская «Геральд». — *Примеч. автора.*

² Нью-йоркская «Курьер энд Инквайрер». — *Примеч. автора.*

³ Менз был одним из тех, кого вначале арестовали по подозрению, но затем отпустили за полным отсутствием улик. — *Примеч. автора.*

му мнению. Несколько позже мы попробуем найти место для некоторых из этих писем на наших страницах».

(«Вечерняя газета»¹, 30 июня.)

«В понедельник один из лодочников, служащих в налоговом управлении, заметил пустую лодку, плывущую вниз по Сене. Паруса лежали свернутыми на дне лодки. Лодочник отбуксировал ее к своей пристани. На следующее утро ее забрали оттуда без ведома местного начальства. Ее руль находится в конторе пристани».

(«Дилижанс»², 26 июня.)

Я прочел эти разнообразные выдержки, и они не только показались мне совершенно не связанными между собой, но я не мог вообразить, какое отношение они имели к делу, которым мы занимались. И я стал ждать объяснений Дюпена.

— Пока,— сказал он,— я не намерен останавливаться на первой и второй вырезках. Я дал их вам главным образом для того, чтобы показать всю степень непростительной небрежности нашей полиции, которая, насколько я понял из слов префекта, даже не потрудилась хотя бы навести справки об этом морском офицере. А ведь утверждать, что между первым и вторым исчезновением Мари невозможно хотя бы предположительно усмотреть никакой связи, по меньшей мере глупо. Допустим, что первое бегство из дома закончилось ссорой и обманутая девушка вернулась к матери. Теперь мы готовы рассмотреть второе бегство (если нам известно, что это именно бегство) скорее как свидетельство того, что обманщик возобновил свои ухаживания, чем как результат новых предложений кого-то еще,— нам легче счесть его возобновлением старого романа после примирения, чем началом нового. Десять шансов против одного, что прежний возлюбленный, однажды уже уговоривший Мари бежать с ним, уговорил ее снова, а не нашелся кто-то другой, кто обратился к ней с таким же предложением. И тут разрешите мне привлечь ваше внимание к тому факту, что время, мино-

¹ «Нью-Йорк ивнинг пост».— *Примеч. автора.*

² Нью-йоркская «Стандарт».— *Примеч. автора.*

вавшее между первым, несомненным, бегством и вторым, предполагаемым, лишь на несколько месяцев превышает обычный срок дальнего плавания наших военных кораблей. Быть может, соблазнитель в первый раз не сумел привести в исполнение свое низкое намерение, так как должен был уйти в море, и, едва вернувшись, вновь приступил к осуществлению своего незавершенного гнусного плана — во всяком случае, не завершенного им самим? Об этом нам ничего не известно.

Однако вы возразите, что во втором случае бегства с любовником не было. Безусловно так — но возьмемся ли мы утверждать, что оно и не предполагалось? Кроме Сент-Эсташа и, быть может, Бове, у Мари, насколько нам известно, не было признанных поклонников, ухаживавших за ней открыто и с честными намерениями. Ни о ком другом мы не находим никаких упоминаний. Так кто же этот тайный возлюбленный, о котором родственники (во всяком случае, большинство из них) не знают ничего, но с которым Мари встречается утром в воскресенье и которому она так доверяет, что без опасения остается в его обществе до тех пор, пока вечерний сумрак не окутывает пустынные рощи неподалеку от заставы Дюруль? Кто этот тайный возлюбленный, спрашиваю я, о ком, во всяком случае, большинство родственников ничего не знает? И что означает странное пророчество мадам Роже, произнесенное утром в воскресенье после ухода Мари? Это ее «боюсь, я уже больше никогда не увижу Мари»?

Но если мы не можем вообразить, что мадам Роже знала о предполагаемом бегстве, то разве непозволительно будет допустить, что сама девушка такие планы строила? Уходя, она сказала, что идет навестить тетку, и попросила Сент-Эсташа зайти за ней вечером на улицу Дром. На первый взгляд это обстоятельство как будто опровергает мое предположение. Однако поразмыслим. Точно известно, что она с кем-то встретилась и что она отправилась с этим человеком за реку, оказавшись в окрестностях заставы Дюруль в три часа дня, то есть через несколько часов после ухода из дома. Но, согласившись отправиться туда с этим неизвестным (не важно, ради какой цели, с ведома или без ведома матери), Мари не

могла не подумать о том, как она объяснит свой уход, а также об удивлении ее нареченного, Сент-Эсташа, и о подозрениях, которые его охватят, когда, явившись за ней в назначенный час на улицу Дром, он узнает, что она там даже не появлялась, а затем, воротившись в пансион с этой тревожной вестью, не найдет ее и там. Конечно, она не могла не подумать обо всем этом. Она должна была предвидеть отчаяние Сент-Эсташа и подозрения, которые ее исчезновение вызовет у всех. После такой эскапеды ей было бы трудно вернуться домой, но мысль об этом не стала бы ее смущать, если, допустим, она с самого начала не собиралась возвращаться в дом матери.

Мы можем предположить, что она рассуждала примерно так: «Я должна встретиться с таким-то человеком, чтобы бежать с ним — или ради какой-то другой цели, известной мне одной. Надо устроить так, чтобы мне не помешали, надо выиграть время, чтобы избежать погони, а потому я скажу, что собираюсь провести день у тетушки на улице Дром, и попрошу Сент-Эсташа, чтобы он не заходил за мной, пока не стемнеет. Таким образом, до начала вечера мое отсутствие ни у кого не вызовет ни беспокойства, ни подозрений, и я выиграю времени больше, чем любым другим способом. Если я попрошу Сент-Эсташа зайти за мной, когда стемнеет, он раньше туда не явится, но если я не скажу ему ничего, то выиграю времени гораздо меньше, так как меня будут ждать дома в более ранний час и мое отсутствие скорее вызовет тревогу. Если бы я собиралась вернуться — если бы я хотела только прогуляться с тем человеком, — то я не попросила бы Сент-Эсташа зайти за мной, поскольку в этом случае он наверняка узнал бы, что я его обманула, тогда как мне ничего не стоило бы скрыть от него это, если бы я ничего ему не сказала, вернулась бы домой до сумерек, а потом объявила бы, что была в гостях у тетушки на улице Дром. Но раз я вообще не намерена возвращаться — во всяком случае, не ранее чем через несколько недель или же только после принятия некоторых мер предосторожности, — мне следует думать лишь о том, как выиграть побольше времени, и ни о чем другом».

Как вы указываете в своих заметках, с самого начала общее мнение касательно этого печального происшествия склонялось к тому, что Мари Роже стала жертвой шайки хулиганов. Ну, а при определенных обстоятельствах общее мнение не следует игнорировать. Когда оно возникает само собой — когда оно появляется строго самопроизвольно, — его следует рассматривать как аналогию той интуиции, которой бывают наделены гениальные люди. И в девяноста девяти случаях из ста я соглашусь с ним. Но необходимо твердо знать, что оно никем и ничем не подсказано. Это мнение должно быть строго мнением самого общества, но такое различие часто бывает довольно трудно уловить и объяснить. В данном случае я вижу, что это «общее мнение» о шайке возникло из-за сходного случая, который подробно описан в третьем из моих извлечений. Весь Париж неистовствует из-за того, что найден труп Мари — молодой, красивой девушки, уже привлекавшей к себе внимание публики. На трупе обнаружены следы насилия, и он был выгашен из реки. Но тут же становится известно, что тогда же или примерно тогда же, когда была убита Мари Роже, другая девушка подверглась такому же надругательству, как и покойная, хотя и с менее трагическими последствиями, попав в лапы шайки молодых негодяев. Стоит ли удивляться, что достоверные сведения о возмутительном преступлении поддействовали на общественное мнение и в связи с другим преступлением, о котором ничего достоверного пока не известно? Общественное мнение искало виновных, и они были услужливо подсказаны ему обстоятельствами другой драмы! Ведь Мари нашли в реке — в той же самой, на которой разыгралась эта вторая драма. Связь этих двух событий на первый взгляд представляется абсолютно очевидной, и было бы поразительно, если бы публика не заметила этого сходства и не ухватилась за него. Однако в действительности подобное преступление скорее доказывает, что второе, совершенное примерно в то же время, носило совсем иной характер. Если бы оказалось, что пока одна шайка мерзавцев в таком-то месте совершала чрезвычайно редкое по гнусности преступление, еще одна такая же шайка в тех же окрестностях того же го-

рода при таких же обстоятельствах, прибегнув к таким же ухищрениям, творила точно такую же гнусность точно в то же время, — это вышло бы за пределы вероятного и могло бы называться чудом! А ведь общественное мнение, сложившееся под воздействием внушения, требует, чтобы мы поверили именно в эту невероятную цепь совпадений.

Прежде чем идти дальше, поговорим о предполагаемом месте убийства — о чаще неподалеку от заставы Дюруль. Эта чаща, хотя и густая, находится возле проезжей дороги. В ее глубине были найдены три-четыре больших камня, сложенные в виде сиденья со спинкой и подножкой. На верхнем камне была найдена белая нижняя юбка, на втором — шелковый шарф. Там же были обнаружены зонтик, перчатки и носовой платок. На носовом платке была метка «Мари Роже». На ветках вокруг висели лоскутки платья. Земля была истоптана, кусты переломаны, и повсюду виднелись признаки отчаянной борьбы.

Какую бы важность ни придавали газеты этим находкам, с каким бы единодушием ни было решено, что место преступления наконец обнаружено, тем не менее есть немало веских причин для сомнения. Я могу верить или не верить, что преступление было совершено именно там, но существуют весьма веские причины для сомнения. Если бы, как предположила «Коммерсьель», преступление совершилось где-то неподалеку от улицы Паве-Сент-Андре, его участники, если они остались в Париже, естественно, пришли бы в ужас оттого, что внимание публики оказалось направленным в верную сторону, и у людей определенного умственного склада немедленно возникло бы стремление что-то предпринять, чтобы отвлечь это внимание. А поскольку чаща у заставы Дюруль уже вызывала некоторые подозрения, это могло подсказать им мысль подбросить вещи девушки в то место, где они и были затем найдены. Вопреки убеждению «Le Soleil» нет никаких реальных доказательств того, что вещи пролежали в чаще более трех-четырёх дней, тогда как многие косвенные данные свидетельствуют, что они не могли бы остаться там незамеченными в течение тех двад-

цати суток, которые протекли между роковым воскресеньем и вечером, когда их обнаружили мальчики. «Под действием дождя,— утверждает «Le Soleil», повторяя другие газеты,— они проплесневели насквозь и слиплись от плесени. Вокруг них выросла трава, а кое-где стебли проросли и сквозь них. Шелк зонтика был толстым, но складки его склеились, а верхняя, сложенная часть настолько проплесневела и сгнила, что, когда ее раскрыли, он весь расплозся». Что касается травы, которая «выросла вокруг них», и стеблей, «кое-где проросших и сквозь них», то эти факты могли быть почерпнуты только из рассказа, а следовательно, из впечатлений двух маленьких мальчиков, так как эти мальчики унесли все найденные ими вещи домой и никто третий в чаще их не видел. Однако в такую теплую и влажную погоду, какая стояла со времени убийства, трава порой вырастает на два-три дюйма в сутки. Зонтик, положенный среди молодой травки, через неделю может быть уже полностью скрыт от взгляда ее вытянувшимися стеблями. Ну, а плесень, на которую редактор «Le Soleil» ссылается с таким упорством, что в двух-трех фразах, процитированных мной, он трижды ее упоминает,— неужели этот господин и правда не знает, какова ее природа? Неужели ему надо объяснять, что это одна из разновидностей грибов, а грибам свойственно вырастать и гнить на протяжении двадцати четырех часов?

Таким образом, мы сразу видим, что наиболее торжественно преподносимое свидетельство пребывания этих вещей в чаще «не менее трех-четырёх недель» абсолютно ничем этого факта не доказывает. С другой стороны, очень трудно поверить, что эти вещи могли пролежать в указанной чаще дольше недели, то есть дольше, чем от одного воскресенья до другого. Людям, знакомым с окрестностями Парижа, хорошо известно, насколько трудно отыскать там укромное местечко — разве только в большом отдалении от предместий. В этих лесках и рощах просто нельзя вообразить не только уединенного уголка, но даже такого, который посещался бы не очень часто. Пусть-ка любитель природы, прикованный своими обязанностями к пыли и жаре этой огромной столицы, пусть-

ка такой человек попробует даже в будний день утолить свою жажду одиночества среди окружающих ее прелестных естественных пейзажей. Их очарование ежеминутно будет нарушаться голосом, а то и появлением какого-нибудь бродяги или же веселящейся компании городских оборванцев. И он тщетно будет искать уединения в гуще деревьев и кустов. Именно там собираются неумытые в наибольшем числе, именно эти храмы подвергаются наибольшему поруганию. И с тоской в сердце такой скиталец устремится назад в оскверненный Париж, ибо в этом средоточии скверны она все же менее бросается в глаза. Но если окрестности города столь многолюдны в будние дни, насколько больше переполнены они народом в воскресенье! Именно тогда, освободившись на день от необходимости трудиться или же на тот же срок лишившись возможности совершать обычные преступления, подонки города устремляются за его черту не из любви к сельской природе, которую они в глубине души презирают, но чтобы освободиться от уз и запретов, налагаемых на них обществом. Их манят не столько чистый воздух и зелень деревьев, сколько отсутствие какого-либо надзора. Где-нибудь в придорожном трактире или под пологом лесной листвы, вдали от чужих глаз, они в компании собутыльников предаются тому, что сходит у них за веселье — дикому разгулу, порождению безнаказанности и спиртных напитков. И, повторяя, что в любой чаще под Парижем означенные вещи могли бы пролежать никем не замеченные дольше, чем от воскресенья до воскресенья, только если бы произошло чудо, я утверждаю лишь то, с чем не может не согласиться любой непредубежденный наблюдатель.

К тому же существует достаточно других оснований подозревать, что вещи эти были подброшены в чашу у заставы с целью отвлечь внимание от настоящего места преступления. И в первую очередь я хотел бы, чтобы вы заметили, какого числа были найдены вещи. Сопоставьте это число с числом, которым помечено мое пятое извлечение из газет. Вы обнаружите, что открытие это последовало почти немедленно за сообщением вечерней газеты о полученных ею «гневных письмах». Эти письма, разли-

чавшиеся по содержанию и, по-видимому, исходившие от разных лиц, все клонили к одному и тому же, а именно — называли виновниками преступления шайку негодяев и указывали на заставу Дюруль как на место, где оно было совершено. Разумеется, никак нельзя считать, что мальчики отправились в чащу и отыскивали там вещи Мари Роже вследствие этих писем и того внимания, которое они к себе привлекли; однако может представляться и представляется вполне вероятным, что мальчики не отыскивали этих вещей раньше, так как раньше этих вещей в чаще не было, и что их оставили там, только когда газета сообщила о письмах (или же незадолго до этого), сами же виновные — авторы указанных писем.

Эта чаща — очень своеобразная чаща, весьма и весьма своеобразная. Она чрезвычайно густа. А внутри между стенами кустов находятся необычные камни, образующие сиденье со спинкой и подножкой. И эта-то чаща, такая необычная, находится совсем рядом, всего в нескольких сотнях шагов от жилища мадам Дюлюк, чьи сыновья имели обыкновение обшаривать все соседние кусты, собирая кору сасафрасса. Можно ли будет назвать неразумным пари, если я поставлю тысячу франков против одного, что не пройдет дня, чтобы хотя бы один из этих мальчуганов не забирался в тенистую естественную беседку и не восседал на каменном троне? Те, кто откажется предложить такое пари, либо никогда сами не были мальчиками, либо забыли свое детство. И я повторяю: почти невозможно понять, как эти вещи могли бы пролежать в чаще больше двух дней и остаться незамеченными; а поэтому есть достаточно оснований заподозрить, что, вопреки дидактичному невежеству «Le Soleil», они были подброшены туда, где их нашли, относительно недавно.

Однако существуют еще более веские основания полагать, что их именно подбросили, — куда более веские, чем все, о чем я упоминал до сих пор. Позвольте мне теперь указать вам на чрезвычайно искусственное расположение вещей. На верхнем камне лежала белая нижняя юбка, на втором — шелковый шарф, а вокруг были разбросаны зонтик, перчатки и носовой платок с меткой «Мари Роже». Именно такое расположение им, естествен-

но, придал бы не слишком умный человек, желая разбросать эти вещи естественно. На самом же деле это выглядит далеко не естественно. Было бы уместнее, если бы все они валялись на земле и были бы истоптаны. В тесноте этой полянки юбка и шарф едва ли остались бы лежать на камнях, если там шла какая-то борьба — их обязательно смахнули бы на землю. «Земля была утоптана, кусты поломаны — все там свидетельствовало об отчаянной борьбе», — утверждает газета, однако юбка и шарф были аккуратно разложены, словно на полках. «Лоскутки, вырванные из платья колючками, имели в ширину примерно три дюйма, а в длину — шесть. Один оказался куском нижней оборки со штопкой. Они выглядели так, словно были оторваны». Здесь «Le Soleil» случайно употребила весьма подозрительный глагол. Действительно, судя по описанию, эти лоскутки кажутся оторванными — но сознательно, человеческой рукой. Лишь в чрезвычайно редких случаях колючка «отрывает» лоскут от подобной одежды. Эти ткани по самой своей природе таковы, что колючка или гвоздь, запутавшиеся в них, рвут их под прямым углом, образуя две перпендикулярные друг к другу прорехи, сходящиеся там, где колючка вонзилась в ткань, но трудно вообразить «оторванный» таким способом лоскуток. Мне этого видеть не приходилось. Да и вам тоже. Для того чтобы оторвать лоскуток такой ткани, необходимо почти в любом случае приложить две отдельные силы, действующие в разных направлениях. Если ткань имеет два края — если, например, вы захотите оторвать полоску от носового платка, — тогда и только тогда достаточно будет приложения одной силы. Но в данном случае речь идет о платье, имеющем один край. Чтобы колючки вырвали лоскут где-то выше, где нет краев, необходимо чудо, а одна колючка вообще этого сделать не может. Но даже и у нижнего края для этого требуется не меньше двух колючек, причем они должны действовать в двух сильно различающихся направлениях. Но и это относится лишь к неподрубленному краю ткани. Если же он подрублен, то опять-таки ничего подобного произойти не может. Итак, мы видим, сколько существует серьезных, почти непреодолимых препятствий к тому, чтобы

лоскуток был «вырван» просто «колючками», а нас просят поверить, что было вырвано несколько лоскутков! Причем «один оказался куском нижней оборки»! А второй «был вырван из юбки гораздо выше оборки», то есть колючки не оторвали его от края, а вырвали из внутренней части ткани! Да, человека, отказывающегося поверить в это, вполне можно извинить, но, взятые в целом, эти улики все же дают, пожалуй, меньше оснований для подозрения, чем одно-единственное поразительное обстоятельство, а именно — тот факт, что вещи вообще были оставлены среди кустов убийцами, у которых хватило хладнокровия унести труп. Однако вы поймете меня неверно, если предположите, будто моя цель — доказать, что преступление не было совершено в этой чаще. Оно могло произойти там, или же, что вероятнее, какая-то несчастная случайность привела к нему под кровлей мадам Дюлюк, но этот факт имеет второстепенное значение. Мы пытаемся установить, не где было совершено убийство, а кто его совершил. Мои рассуждения, несмотря на их обстоятельность, имели только целью, во-первых, показать всю нелепость решительных и опрометчивых выводов «Le Soleil» и, во-вторых, что гораздо важнее, наиболее естественным путем подвести вас к вопросу о том, было ли убийство совершено шайкой или нет.

Мы возобновим рассмотрение этого вопроса, кратко коснувшись отвратительных подробностей, сообщенных полицейским врачом на следствии. Достаточно сказать, что его опубликованное заключение, касающееся числа преступников, вызвало заслуженные насмешки всех видных анатомов Парижа, как неверное и абсолютно безосновательное. Конечно, он не предположил ничего невозможного, но никаких реальных оснований для такого предположения у него не было. Однако нельзя ли найти достаточных оснований для какого-нибудь другого предположения?

Займемся теперь «следами отчаянной борьбы». Позвольте мне спросить, свидетельством чего были сочтены эти следы? Свидетельством присутствия шайки. Но разве на самом деле они не свидетельствуют совсем об обратном? Какая борьба могла завязаться — какая борьба,

настолько яростная и длительная, что она оставила «следы» повсюду,— между слабой беззащитной девушкой и предполагаемой шайкой негодяев? Да они просто схватили бы ее, и все было бы кончено в одно мгновение и без всякого шума. У жертвы не хватило бы сил вырваться из их грубых рук, и она оказалась бы в полной их власти. Но помните одно: доводы против того, что местом преступления является именно эта чаща, в подавляющем большинстве справедливы, только если считать, что преступников было несколько. Если же предположить, что насильник был один, то тогда — и только тогда — можно представить себе такую яростную и упорную борьбу, которая оставила бы пресловутые «следы».

И еще одно. Я уже упомянул, насколько подозрительным представляется тот факт, что вещи вообще были оставлены там, где их нашли. Почти невозможно вообразить, что их случайно забыли в чаще. У преступников достало хладнокровия (так по крайней мере считается) унести труп, и тем не менее улики куда более очевидные, чем сам труп (который мог вскоре быть изуродован разложением до неузнаваемости), оставляются на месте преступления — я имею в виду носовой платок с именем и фамилией убитой. Если это произошло случайно, то такая случайность исключает шайку. Она могла произойти, только если преступник был один. Будем рассуждать. Человек совершил убийство. Он стоит один перед трупом своей жертвы. Он испытывает глубокий ужас, глядя на неподвижное тело. Бурная вспышка страстей угасла, и его сердцем овладевает естественный страх перед содеянным. Его не подбадривает присутствие сообщников. Он здесь один с убитой. Он трепещет и не знает, как поступить. Но труп необходимо как-то скрыть. Он тащит мертвое тело к реке и оставляет в чаще другие свидетельства своей вины, так как унести все сразу было бы очень трудно или даже вообще невозможно, но он полагает, что вернуться за остальным будет легко. Однако, пока он пробирается к реке, его страх удесятерится. Со всех сторон до него доносятся звуки, свидетельствующие о близости людей. Много раз он слышит — или ему чудится, что он слышит,— шаги непрошеного свидетеля. Даже огни горо-

да пугают его. Но вот после долгих, исполненных ужаса остановок он достигает реки и избавляется от своей жуткой ноши — быть может, воспользовавшись для этого лодкой. Но какой страх перед воздаянием может понудить одинокого убийцу вернуться теперь по трудной и опасной тропе в чащу, полную ужасных воспоминаний? Ни за какие сокровища мира он не решится пойти туда еще раз, чем бы это ему ни грозило. Он не мог бы вернуться, даже если бы хотел. Сейчас он думает только об одном: бежать отсюда, бежать как можно скорее. Он навсегда поворачивается спиной к этим страшным кустам и обращается в паническое бегство.

Ну, а если бы там действовала шайка? Их многочисленность придала бы им уверенности — закоренелым негодьям ее вообще не занимать стать. Подобные же шайки состояются именно из закоренелых негодяев. Их многочисленность, повторяю я, избавила бы их от растерянности и слепого ужаса, парализующего рассудок одинокого убийцы, о котором я говорил. Если бы не спохватился первый, второй, даже третий из них, четвертый исправил бы их промах. Они ничего не оставили бы в кустах, потому что легко могли бы унести все сразу. Возвращаться им не было бы нужды.

Теперь вспомните, что из верхней юбки, надетой на трупе, была вырвана от подола к талии «полоса дюймов в двенадцать шириной, но не оторвана совсем, а трижды обернута вокруг талии и закреплена на спине скользящим узлом». Сделано это было несомненно для того, чтобы облегчить переноску трупа. Но зачем нескольким мужчинам могло понадобиться такое приспособление? Троим-четверым было бы проще и удобнее нести тело за руки и за ноги. Такая «ручка» могла понадобиться только человеку, которому предстояло перетаскивать тело одному, а это подводит нас к тому обстоятельству, что «в изгородях, находившихся между этой чащей и рекой, были обнаружены проломы, а следы на почве указывали, что тут волочили что-то тяжелое». Но неужели несколько мужчин стали бы ломать изгородь, чтобы протащить сквозь нее труп, когда им ничего не стоило бы в одно мгновение перекинуть его через любую ограду? Неужели

несколько мужчин стали бы волочить тело по земле, оставляя следы-улики?

И тут нам следует обратиться к одному из замечаний «Коммерсьель», о котором я уже говорил. «От одной из нижних юбок злосчастной девушки был оторван кусок длиной в два фута и шириной в фут, и из него была устроена повязка, проходившая под подбородком и затянутая узлом у затылка. Прodelано это, возможно, было для того, чтобы помешать ей кричать, и сделали это субъекты, не располагающие носовыми платками».

Я уже указывал, что бродяги, воры и другие темные личности всегда имеют при себе носовой платок. Но теперь меня интересует другое. Платок, брошенный в чащу, неопровержимо доказывает, что не отсутствие носового платка побудило преступника воспользоваться этой повязкой для цели, которую ему приписала «Коммерсьель»; и предназначалась повязка отнюдь не для того, чтобы «помешать ей кричать» — для этого ведь он располагал гораздо более надежным средством. Однако в протоколе осмотра трупа говорится о полосе муслина, «свободно обернутой вокруг шеи и завязанной неподвижным узлом». Это — довольно неопределенное описание, но оно существенно отличается от того, что мы находим в «Коммерсьель». Полоса шириной в восемнадцать дюймов, пусть даже муслиновая, представляет собой довольно крепкую веревку, если скрутить ее в продольном направлении. А она была скручена именно так. Я делаю из этого следующий вывод: одинокий убийца протащил труп несколько десятков шагов (в чаще у заставы или в другом месте — значения не имеет), держа его на весу за повязку, закрепленную скользящим узлом на талии жертвы, но обнаружил, что такая ноша слишком тяжела для него. Он решил дальше волочить ее — следы на земле свидетельствуют, что труп именно волочили. Для этого необходимо привязать веревку к шее жертвы или к ее ногам. Шея представляется ему более удобной, так как подбородок не даст веревке соскользнуть. Тут убийца, несомненно, подумал о повязке, уже охватывающей пояс жертвы. Но чтобы воспользоваться ею, надо распутать скользящий узел, размотать ее и оторвать от корсажа. Проще ото-

рвать еще одну такую полосу ткани от нижней юбки. Он отрывает такую полосу, завязывает ее на шее мертвой девушки и волочит свою жертву к реке. Тот факт, что была использована «повязка», которую можно было изготовить только ценой определенных усилий и задержки, причем она довольно плохо отвечала своему назначению, ясно показывает, что прибегнуть к ней пришлось под давлением каких-то обстоятельств в тот момент, когда носового платка рядом уже не было, то есть, как мы уже предположили, когда убийца выбрался из чащи (если все произошло именно там) и находился на полпути между чащей и рекой.

Однако, скажете вы, показания мадам Дюлюк (!) не оставляют никаких сомнений, что в час, когда было совершено убийство, или примерно в этот час неподалеку от чащи бродила какая-то шайка. Да, конечно. Вполне возможно, что в момент трагедии или примерно в то же время неподалеку от заставы Дюруль шлялось даже полдюжину шаек вроде описанной мадам Дюлюк. Но шайка, привлекающая к себе особое внимание благодаря довольно запоздалым и весьма подозрительным показаниям мадам Дюлюк,— это единственная шайка, которая, по словам этой честной и щепетильной дамы, ела ее пироги и пила ее пиво, не побеспокоившись заплатить за них. *Et hinc illae irae!*¹

Но что именно показала мадам Дюлюк? «В трактир ввалилась компания хулиганов, которые вели себя очень буйно, не заплатили за то, что съели и выпили, ушли в том же направлении, какое избрали молодой человек и девушка, вернулись в трактир, когда начинало смеркаться, и переправились на другой берег как будто в большой спешке».

Эта «большая спешка» могла представиться мадам Дюлюк особенно большой потому, что она оплакивала судьбу своих пирогов и пива и, возможно, все еще таила слабую надежду получить причитающиеся ей деньги. Иначе почему она с такой настойчивостью указывает на их «большую спешку», хотя уже начинало смеркаться? Неужели

¹ Не отсюда ли этот гнев? (лат.)

следует удивляться, что даже эта буйная компания спешила вернуться домой? Ведь собиралась гроза, приближалась ночь, а им еще предстояло переправиться через широкую реку в маленьких лодках.

Я говорю — «приближалась ночь», так как еще не стемнело. Ведь неприличная торопливость этих «хулиганов» оскорбила трезвый взор мадам Дюлюк, когда только-только начинало смеркаться. Однако нам сообщают, что в тот же самый вечер мадам Дюлюк и ее старший сын «слышали женские крики неподалеку от трактира». Какими же словами мадам Дюлюк обозначила тот час вечера, когда раздались эти крики? Она их услышала «после того, как совсем стемнело». Но «совсем стемнело» означает полную темноту, а «начинало смеркаться» подразумевает дневной свет. Следовательно, шайка покинула окрестности заставы Дюруль до того, как мадам Дюлюк услышала(?) крики. Но, хотя во всех сообщениях о показаниях мадам Дюлюк эти обозначения времени неизменно приводятся именно в тех словах, которые я повторил сейчас в беседе с вами, пока еще ни газеты, ни полицейские агенты не обратили внимания на грубое противоречие, которое в них содержится.

Я приведу еще только один довод прогив предположения, что в деле замешана шайка, но этот один довод, на мой взгляд, неопровержим. Раз за поимку преступников предложена большая награда и обещано полное прощение тому, кто их выдаст, среди членов такой шайки уж непременно нашелся бы предатель. Каждый член шайки, оказавшись в подобном положении, не столько думает о награде или о возможности избежать кары, сколько опасается предательства со стороны своих сообщников. Он торопится донести на них первым, чтобы другой не успел домести на него. И то, что тайна остается нераскрытой, вернее всего свидетельствует о том, что это — действительно тайна. Подробности этого гнусного преступления известны только одному человеку — или в крайнем случае двум людям — и Богу.

Теперь подведем итоги скудных, но, во всяком случае, верных выводов из нашего долгого анализа. Он показал нам, что либо в трактире мадам Дюлюк произошел

несчастный случай, либо в чаще у заставы Дюруль было совершено убийство, причем совершил его любовник покойной девушки или, во всяком случае, ее близкий и тайный знакомый. Про него мы знаем, что он — «смуглый молодой человек». Эта смуглота, пресловутый «скользящий узел», а также «морской узел», которым были завязаны ленты шляпки, указывают на моряка. Его отношения с покойной — разбитной, но разборчивой девушкой — позволяют сделать вывод, что он не мог быть простым матросом. Это подтверждается и хорошо написанными гневными письмами, адресованными в газеты. Обстоятельства первого бегства, упомянутые «Меркюри», заставляют связать этого моряка с тем «морским офицером», который, как известно, один раз уже увлек несчастную девушку на гибельный путь.

И здесь весьма уместно вспомнить о том, что этот смуглый молодой человек до сих пор никак не заявил о себе. Я немного отвлекусь и замечу, что он смугл до черноты — эта смуглость настолько необычна, что и Валанс, и мадам Дюлюк обратили внимание только на нее и никаких других его примет не указали. Но почему этот молодой человек исчез? Может быть, шайка его убила? Но в этом случае почему сохранились только следы убийства девушки? Естественно предположить, что убить их должны были бы в одном и том же месте. И где его труп? Убийцы скорее всего избавились бы от них обоим одинаковым способом. Но можно предположить, что он жив и не хочет обнаружить себя, опасаясь обвинения в убийстве. Такое соображение имеет определенный вес сейчас, на этом позднем этапе, поскольку свидетели видели его с Мари, но в то время, когда произошло убийство, оно не имело никакой силы. Ни в чем не повинный человек поспешил бы сообщить о случившемся и помог бы розыску преступника. Такое поведение было бы самым разумным. Его видели в обществе убитой. Он переехал с ней через реку на открытом пароме. Даже идиот понял бы, что обличение убийц было бы наиболее верным и к тому же единственным способом очистить себя от подозрений. А предположить, что вечером в воскресенье он был и не повинен в совершенном преступлении, и ничего о нем не

знал, невозможно. Однако только в этом случае он, если он остался жив, мог бы не объявить об убийстве и не обличить убийц.

А какими средствами мы располагаем, чтобы узнать истину? Мы обнаружим, что средства эти умножаются и становятся все более верными по мере того, как мы будем продвигаться в нужном направлении. Давайте до конца выясним все подробности первого побега. Давайте познакомимся со всеми обстоятельствами жизни этого «офицера», узнаем, где он сейчас и где находился в час убийства. Давайте тщательно сравним все письма, присланные в вечернюю газету с целью обвинить в преступлении шайку. Затем сравним эти письма — их стиль и почерк — с письмами, которые ранее присылались в утреннюю газету и содержали столь настойчивые обвинения по адресу Менэ. После чего сравним все эти письма с какими-нибудь письмами «офицера». Попробуем вновь допросить мадам Дюлюк, ее сыновей и кучера омнибуса, чтобы узнать другие приметы «смуглого молодого человека». Искусно составленные вопросы непременно помогут кому-нибудь из вышеперечисленных свидетелей вспомнить такую приметку (или еще что-нибудь), хотя сейчас он даже не отдает себе отчета, что ему что-то известно. И давайте проследим лодку, которая утром в понедельник была найдена плывущей вниз по Сене, а затем еще до обнаружения трупа кем-то забрана — без ведома начальника пристани и без руля. Соблюдая необходимые предосторожности и действуя настойчиво, мы, без всяких сомнений, разыщем эту лодку, потому что ее не только может опознать лодочник, доставивший ее к пристани, но еще и потому, что в наших руках находится ее руль. Человек, которому нечего опасаться, не оставит на произвол судьбы руль от парусной лодки. И тут я кстати задам вопрос. О найденной лодке не было дано никакого объявления. Она была отбуксирована к пристани и на следующее утро уже исчезла. Но каким образом ее владелец или наниматель к утру вторника без помощи объявления уже узнал, куда отогнали лодку, найденную в понедельник? Этого нельзя объяснить, не предположив какой-нибудь связи с соответствующим ведомством, ка-

кого-нибудь обмена мелкими новостями на основе общих интересов.

Когда я описывал, как убийца один волок свою жертву к реке, я уже упоминал, что затем он, возможно, воспользовался лодкой. Теперь мы можем считать, что тело Мари Роже действительно было брошено в реку с лодки. Произойти иначе это не могло. Кто рискнул бы оставить труп на мелководье у берега? Странные рубцы на спине и плечах жертвы заставляют вспомнить о шпангоутах на дне лодки. Подтверждается это предположение еще и тем, что труп был брошен в воду без груза. Если бы его бросали в воду с берега, к нему обязательно привязали бы груз. Такой недосмотр убийцы мы можем объяснить, только предположив, что второпях он забыл захватить с собой в лодку что-нибудь подходящее. Когда он выбрасывал тело за борт, то, конечно, обнаружил свой недосмотр, но уже не мог его исправить. Он готов был пойти на любой риск, лишь бы не возвращаться к этому проклятому берегу. Избавившись от своего жуткого балласта, убийца, без сомнения, поспешил к городу. Там он выпрыгнул на какую-нибудь темную пристань. Но лодка? Привязал ли он ее? Нет, он слишком торопился, чтобы тратить время на привязывание лодки. Кроме того, он почувствовал бы, что, привязывая ее к пристани, тем самым оставляет там страшную улику против себя. Ему, естественно, хотелось избавиться от всего, что было связано с его преступлением. Он не только сам бежал без оглядки от этой пристани, но никак не мог оставить там лодку. Конечно же, он пустил ее плыть по течению. Последуем и дальше за игрой нашего воображения. Утром негодяй с ужасом узнает, что лодку поймали и отвели туда, где он имеет обыкновение бывать чуть ли не ежедневно, туда, где он, возможно, обязан бывать по долгу службы. В эту же ночь, не посмеяв взять из конторы руль, он забирает лодку. Итак, где теперь находится эта лодка, лишенная руля? Вот что нам надо узнать прежде всего. Первые сведения о ней будут нашим первым шагом к верному успеху. Эта лодка с быстротой, которая удивит даже нас самих, приведет нас к тому, кто плыл на ней в полночь этого рокового воскресенья. Одно подтверждение последует за другим, и убийца будет обнаружен.

(По причинам, которые мы не будем называть, но которые многие наши читатели поймут без всяких объяснений, мы взяли на себя смелость изъять из врученной нам рукописи подробности того, как были использованы немногочисленные улики, обнаруженные Дюпеном. Мы считаем необходимым лишь вкратце сообщить, что цель была достигнута и что префект добросовестно, хотя и с большой неохотой, выполнил условия своего договора с шеваляе. Статья мистера По завершается следующим образом.— *Ред.*¹⁾)

Само собой разумеется, что я говорю тут только о совпадениях и ни о чем другом. Того, что я сказал об этом выше, должно быть достаточно. В моем собственном сердце нет веры в сверхъестественное. Ни один мыслящий человек не станет отрицать двоицы — Природы и ее Бога. Бесспорно и то, что последний, творя первую, может по своей воле управлять ею и изменять ее. Я говорю — «по своей воле», ибо речь здесь идет о воле, а не о власти, как это предполагает безумие логики. Конечно, Всевышний может менять свои законы, но мы оскорбляем его, выдумывая необходимость такого изменения. Эти законы с самого начала были созданы так, чтобы объять любые возможности, какие только таило в себе будущее. Для Бога все — только ТЕПЕРЬ.

И я повторяю, что рассматриваю все, о чем здесь шла речь, только как совпадения. И далее: вдумываясь в мой рассказ, нетрудно усмотреть, что между судьбой злополучной Мэри Сесилии Роджерс — насколько эта судьба известна — и историей некой Мари Роже вплоть до определенного момента существует параллелизм, поразительная точность которого приводит в смущение рассудок. Да, усмотреть это нетрудно. Но не следует полагать, будто я продолжил грустную историю Мари после упомянутого выше момента и проследил весь путь раскрытия тайны ее смерти с задней мыслью, желая намекнуть на дальнейшие совпадения или даже давая понять, что меры, принятые в Париже для обнаружения убийцы хорошенькой гризетки, или меры, опирающиеся на сходный анализ, привели бы и здесь к таким же результатам.

¹ Из журнала, в котором впервые была напечатана эта статья.—
Примеч. автора.

Ведь следует помнить, что при таком ходе рассуждений даже самое крохотное различие в фактах того и другого случая могло бы привести к колоссальному просчету, потому что тут обе цепи событий начали бы расходиться. Точно так же в арифметике ошибка, сама по себе ничтожнейшая, в ходе вычислений после ряда умножений может дать результат, чрезвычайно далекий от истинного. К тому же не следует забывать, что та самая теория вероятности, на которую я ссылался, налагает запрет на всякую мысль о продолжении такого параллелизма — налагает с решительностью, находящейся в прямой зависимости от длительности и точности уже установленного параллелизма. Это — одна из тех аномалий, которые хотя и чаруют умы, далекие от математики, тем не менее полностью постижимы только для математиков. Например, обычного читателя почти невозможно убедить, что при игре в кости двукратное выпадение шестерки делает почти невероятным выпадение ее в третий раз и дает все основания поставить против этого любую сумму. Заурядный интеллект не может этого воспринять, он не может усмотреть, каким образом два броска, принадлежащие уже прошлому, могут повлиять на бросок, существующий еще пока только в будущем. Возможность выпадения шестерки кажется точно такой же, как и в любом случае,— то есть зависящей только от того, как именно будет брошена кость. И это представляется настолько очевидным, что всякое возражение обычно встречается насмешливой улыбкой, а отнюдь не выслушивается с почтительным вниманием. Суть скрытой тут ошибки — грубейшей ошибки — я не могу объяснить в пределах места, предоставленного мне здесь, а людям, искушенным в философии, никакого объяснения и не потребуется. Тут достаточно будет сказать, что она принадлежит к бесконечному ряду ошибок, которые возникают на пути Разума из-за его склонности искать истины в частностях.



ПОХИЩЕННОЕ ПИСЬМО

Nil sapientiae odiosius acumine nimio.

*Seneca*¹

Как-то в Париже, в ветреный вечер осенью 18... года, когда уже совсем смерклось, я предавался двойному наслаждению, которое дарит нам сочетание размышлений с пенковой трубкой, в обществе моего друга С.-Огюста Дюпена в его маленькой библиотеке, а вернее, кабинете au troisieme, №33 Rue Dunot, Faubourg St. Germain². Более часа мы просидели, храня нерушимое молчание, и стороннему наблюдателю могло бы показаться, что и я, и мой друг всего лишь сосредоточенно и бездумно следим за клубами табачного дыма, заполнившего комнату. Однако я продолжал мысленно обсуждать события, служившие темой беседы, которую мы вели в начале вечера, — я имею в виду происшествие на улице Морг и тайну, связанную с убийством Мари Роже. Вот почему, когда дверь распахнулась и в библиотеку вошел наш старый знакомый, мсье Г., префект парижской полиции, это представилось мне любопытным совпадением.

Мы сердечно его приветствовали, потому что дурные качества этого человека почти уравновешивались многими занятыми чертами, а к тому же мы не виделись с ним уже несколько лет. Перед его приходом мы сумерничали, и теперь Дюпен встал, намереваясь зажечь лампу, но он тут же вновь опустился в свое кресло, когда Г. сказал, что пришел посоветоваться с нами — а вернее, с моим другом — о деле государственной важности, которое уже доставило ему много неприятных хлопот.

¹ Для мудрости нет ничего ненавистнее хитрости. *Сенека* (лат.)

² На четвертом этаже дома 33, улица Дюно в предместье Сен-Жермен (фр.).

— Если оно требует обдумывания,— пояснил Дюпен, отнимая руку, уже протянутую к фитилю лампы,— то предпочтительнее будет ознакомиться с ним в темноте.

— Еще одна из ваших причуд!*— сказал префект, имевший манеру называть «причудами» все, что превосходило его понимание, а потому живший поистине среди легиона «причудливостей».

— Совершенно справедливо,— ответил Дюпен, предлагая гостю трубку и придвигая ему удобное кресло.

— Но какая беда случилась на сей раз? — спросил я.— Надеюсь, это не еще одно убийство?

— О нет! Ничего подобного. Собственно говоря, дело это чрезвычайно простое, и я не сомневаюсь, что мы и сами с ним превосходно справимся, но мне пришло в голову, что Дюпену, пожалуй, будет любопытно выслушать его подробности — ведь оно такое причудливое.

— Простое и причудливое,— сказал Дюпен.

— Э... да. Впрочем, не совсем. Собственно говоря, мы все в большом недоумении, потому что дело это на редкость просто, и тем не менее оно ставит нас в совершенный тупик.

— Быть может, именно простота случившегося и сбивает вас с толку,— сказал мой друг.

— Ну, какой вздор вы изволите говорить! — ответил префект, смеясь от души.

— Быть может, тайна чуть-чуть слишком прозрачна,— сказал Дюпен.

— Бог мой! Что за идея!

— Чуть-чуть слишком очевидна.

— Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Хо-хо-хо! — загремел наш гость, которого эти слова чрезвычайно позабавили.— Ах, Дюпен, вы меня когда-нибудь уморите!

— Но все-таки что это за дело? — спросил я.

— Я сейчас вам расскажу,— ответил префект, задумчиво выпуская изо рта длинную ровную струю дыма, и устроился в кресле поудобнее.— Я изложу его вам в нескольких словах, но прежде я хотел бы предупредить вас, что это дело необходимо хранить в строжайшем секрете и что я почти, наверное, лишусь своей нынешней должности, если станет известно, что я кому-либо о нем рассказывал.

— Продолжайте, — сказал я.

— Или не продолжайте, — сказал Дюпен.

— Ну так вот: мне было сообщено из весьма высоких сфер, что из королевских апартаментов был похищен некий документ величайшей важности. Похититель известен. Тут не может быть ни малейшего сомнения: видели, как он брал документ. Кроме того, известно, что документ все еще находится у него.

— Откуда это известно? — спросил Дюпен.

— Это вытекает, — ответил префект, — из самой природы документа и из отсутствия неких последствий, которые неминуемо возникли бы, если бы он больше не находился у похитителя — то есть если бы похититель воспользовался им так, как он, несомненно, намерен им в конце концов воспользоваться.

— Говорите пояснее, — попросил я.

— Ну, я рискну сказать, что документ наделяет того, кто им владеет, определенной властью по отношению к определенным сферам, каковая власть просто не имеет цены. — Префект обожал дипломатическую высокопарность.

— Но я все-таки не вполне понял, — сказал Дюпен.

— Да? Ну, хорошо: передача этого документа третьему лицу, которое останется неназванным, поставит под угрозу честь весьма высокой особы, и благодаря этому обстоятельству тот, в чьих руках находится документ, может диктовать условия той весьма знатной особе, чья честь и благополучие оказались в опасности.

— Но ведь эта власть, — перебил я, — возникает только в том случае, если похититель знает, что лицу, им ограбленному, известно, кто похититель. Кто же дерзнет...

— Вот, — сказал Г., — это министр Д., чья дерзость не останавливается ни перед чем — ни перед тем, что достойно мужчины, ни перед тем, что его недостойно. Уловка, к которой прибег вор, столь же хитроумна, сколь и смела. Документ, о котором идет речь (сказать искренно, это — письмо), был получен ограбленной особой, когда она пребывала в одиночестве в королевском будуаре. Она его еще читала, когда в будуар вошло высочайшее лицо, от какового она особенно хотела скрыть письмо.

Поспешно и тщетно попытавшись спрятать письмо в ящик, она была вынуждена положить его вскрытым на столик. Однако оно лежало адресом вверх и, так как его содержание было скрыто, не привлекло к себе внимания. Но тут входит министр Д. Его рысий взгляд немедленно замечает письмо, он узнает почерк, которым написан адрес, замечает смущение особы, которой оно адресовано, и догадывается о ее тайне. После доклада о каких-то делах, сделанного с его обычной быстротой, он достает письмо, несколько похожее на то, о котором идет речь, вскрывает его, притворяется, будто читает, после чего кладет рядом с первым. Потом он снова около пятнадцати минут ведет беседу о государственных делах. И наконец, кланяясь, перед тем как уйти, берет со стола не принадлежащее ему письмо. Истинная владелица письма видит это, но, разумеется, не смеет воспрепятствовать ему из-за присутствия третьего лица, стоящего рядом с ней. Министр удаляется, оставив на столе свое письмо, не имеющее никакой важности.

— И вот,— сказал Дюпен, обращаясь ко мне,— налицо то условие, которое, по вашему мнению, было необходимо для полноты власти похитителя: похититель знает, что лицу, им ограбленному, известно, кто похититель.

— Да,— сказал префект.— И в течение последних месяцев полученной таким способом властью пользуются ради политических целей, и притом не зная никакой меры. С каждым днем ограбленная особа все более убеждается в необходимости получить назад свое письмо. Но, разумеется, открыто потребовать его возвращения она не может. И вот в отчаянии она доверилась мне.

— Помощнику, мудрее которого, — сказал Дюпен сквозь настоящий смерч дыма,— я полагаю, не только найти, но и вообразить невозможно.

— Вы мне льстите,— ответил префект,— но, пожалуй, кое-кто и придерживается такого мнения.

— Во всяком случае, совершенно очевидно,— сказал я,— что письмо, как вы и говорили, все еще находится у министра, поскольку власть дает именно обладание письмом, а не какое-либо его использование. Если его использовать, то власть исчезнет.

— Вы правы,— ответил Г.— И я начал действовать, исходя именно из этого предположения. Первой моей задачей было обыскать особняк министра, и главная трудность заключалась в том, чтобы сделать это втайне от него. Мне настоятельно указывали на необходимость устроить все дело так, чтобы он ничего не заподозрил, ибо это могло бы привести к самым роковым последствиям.

— Но,— сказал я,— вы же вполне *au fait*¹ в такого рода вещах. Парижская полиция достаточно часто принимала подобные обыски.

— О, разумеется. Вот потому-то я и не отчаивался. К тому же привычки министра весьма благоприятствовали моим намерениям. Он частенько не возвращается домой до утра. Слуг у него немного, и они спят вдали от комнат своего хозяина, а к тому же их нетрудно напоить, так как почти все они — неаполитанцы. Вам известно, что у меня есть ключи, которыми я могу отпереть любую комнату и любой шкаф в Париже. В течение трех месяцев я чуть ли не еженощно сам обыскивал особняк министра Д. На карту поставлена моя честь, и, говоря между нами, награда обещана колоссальная. И я прекратил поиски, только когда окончательно убедился, что вор более хитер, чем я. Смее вас заверить, я осмотрел все закоулки и тайники, в которых можно было бы спрятать письмо.

— Хотя письмо, без сомнения, находится у министра,— заметил я,— но не мог ли он скрыть его не у себя в доме, а где-нибудь еще?

— Навряд ли,— сказал Дюпен.— Нынешнее положение дел при дворе и особенно те политические интриги, в которых, как известно, замешан Д., требуют, чтобы письмо всегда находилось у него под рукой — возможность предъявить его без промедления почти так же важна, как и самый факт обладания им.

— Возможность предъявить его без промедления? — переспросил я.

— Другими словами, возможность немедленно его уничтожить,— ответил Дюпен.

¹ Сведущи (*фр.*).

— Совершенно верно, — согласился я. — Следовательно, письмо спрятано где-то в его особняке. Предположение о том, что министр носит его при себе, вероятно, следует сразу же отбросить.

— О да, — сказал префект. — Его дважды останавливали псевдограбители и под моим личным наблюдением обыскивали самым тщательным образом.

— Вы могли бы и не затрудняться, — заметил Дюпен. — Д., насколько я могу судить, не совсем дурак, а раз так, то он, конечно, прекрасно понимал, что нападения подобных грабителей ему не избежать.

— Не совсем дурак... — повторил Г. — Но ведь он поэт, а, по-моему, от поэта до дурака всего один шаг.

— Совершенно верно, — сказал Дюпен, задумчиво затянувшись трубкой, — хотя мне и самому случалось грешить стихами.

— Может быть, — сказал я, — вы расскажете о своих поисках в его доме более подробно.

— Ну, по правде говоря, мы не спешили и обыскали решительно все. У меня в таких делах большой опыт. Я осмотрел здание сверху донизу, комнату за комнатой, посвящая каждой все ночи целой недели. Начинали мы с мебели. Мы открывали все ящики до единого, а вы, я полагаю, знаете, что для опытного полицейского агента никаких «потайных» ящиков не существует. Только болван, ведя подобный обыск, умудрится пропустить «потайной» ящик. Это же так просто! Каждое бюро имеет такие-то размеры — занимает такое-то пространство. А линейки у нас точные. Мы заметим разницу даже в пятисотую долю дюйма. После бюро мы брались за стулья. Сиденья мы прокалывали длинными тонкими иглами — вы ведь видели, как я ими пользовался. Со столов мы снимали столешницы.

— Зачем?

— Иногда человек, желающий что-либо спрятать, снимает столешницу или верхнюю крышку какого-нибудь сходного предмета мебелировки, выдалбливает ножку, прячет то, что ему нужно, в углубление и водворяет столешницу на место. Таким же образом используются ножки и спинки кроватей.

— Но нельзя ли обнаружить пустогу выстукиванием? — осведомился я.

— Это невозможно, если, спрятав предмет, углубление плотно забить ватой. К тому же во время этого обыска мы были вынуждены действовать бесшумно.

— Но ведь вы не могли снять... вы же не могли разобрать на части всю мебель, в которой возможно устроить тайник вроде описанного вами. Письмо можно скрутить в тонкую трубочку, не толще большой вязальной спицы, и в таком виде вложить его, например, в перекладину стула. Вы же не разбирали на части все стулья?

— Конечно, нет. У нас есть способ получше: мы исследовали перекладины всех стульев в особняке, да, собственно говоря, и места соединений всей мебели Д., с помощью самой сильной лупы. Любой мельчайший след недавних повреждений мы обнаружили бы сразу. Крохотные опилки, оставленные буравчиком, были бы заметнее яблоч. Достаточно было бы трещинки в клее, малейшей неровности — и мы обнаружили бы тайник.

— Полагаю, вы проверили и зеркала — место соединения стекла с рамой, а также кровати и постельное белье, ковры и занавеси?

— Безусловно; а когда мы закончили с мебелью, то занялись самим зданием. Мы разделили всю его поверхность на квадраты и перенумеровали их, чтобы не пропустить ни одного. Затем мы исследовали каждый дюйм по всему особняку, а также стены двух примыкающих к нему домов — опять-таки с помощью лупы.

— Двух соседних домов! — воскликнул я. — У вас было немало хлопот.

— О да. Но ведь и предложенная награда огромна.

— Вы осмотрели также и дворы?

— Дворы вымощены кирпичом, и осмотреть их было относительно просто. Мы обследовали мох между кирпичами и убедились, что он нигде не поврежден.

— Вы, конечно, искали в бумагах Д. и среди книг его библиотеки?

— Разумеется. Мы заглянули во все пакеты и свертки, мы не только открыли каждую книгу, но и пролистали их все до единой, а не просто встряхнули, как делают

некоторые наши полицейские. Мы, кроме того, самым тщательным образом измерили толщину каждого переплета и осмотрели его в лупу. Если бы в них были какие-нибудь недавние повреждения, они не укрылись бы от нашего взгляда. Пять-шесть томов, только что полученных от переплетчика, мы аккуратно проверили иглами.

— Полы под коврами вы осмотрели?

— Ну конечно. Мы снимали каждый ковер и обследовали паркет с помощью лупы.

— И обои на стенах?

— Да.

— В подвалах вы искали?

— Конечно.

— В таком случае,— сказал я,— вы исходили из неверной предпосылки: письмо не спрятано в особняке, как вы полагали.

— Боюсь, вы правы,— ответил префект.— Итак, Дюпен, что бы вы посоветовали мне предпринять?

— Еще раз как следует обыскать особняк.

— Бесплезно! — ответил Г.— Я совершенно убежден, что письмо находится не там. Это так же верно, как то, что я дышу воздухом.

— Ничего лучше я вам посоветовать не могу,— сказал Дюпен.— Вы, несомненно, получили самое точное описание внешнего вида письма?

— О да!

И, вытащив записную книжку, префект прочел нам подробнейшее описание того, как выглядел исчезнувший документ в развернутом виде, и особенно как он выглядел снаружи. Вскоре после этого он распрощался с нами и ушел, совсем упав духом,— я никогда еще не видел этого достойного джентльмена в таком унынии.

Приблизительно через месяц он снова посетил нас и застал Дюпена и меня примерно за тем же занятием, как и в прошлый свой визит. Он взял трубку, опустился в предложенное кресло и заговорил о каких-то пустяках. Наконец я не выдержал:

— Но послушайте, Г., как обстоят дела с похищенным письмом? По-видимому, вы пришли к выводу, что перехитрить министра вам не удастся?

— Совершенно верно, будь он проклят! Я последовал совету Дюпена и произвел вторичный обыск, но, как я и предполагал, все наши усилия пропали даром.

— Как велика награда, о которой вы упоминали? — спросил Дюпен.

— Очень велика... это весьма щедрая награда, хотя называть точную цифру мне не хотелось бы. Впрочем, одно я могу сказать: тому, кто доставил бы мне это письмо, я был бы рад вручить мой собственный чек на пятьдесят тысяч франков. Дело в том, что с каждым днем его значение возрастает, и обещанная награда недавно была удвоена. Однако, будь она даже утроена, я не мог бы сделать больше, чем сделал.

— О, — протянул Дюпен между затылками, — мне, право... кажется, Г., что вы приложили усилий... меньше, чем могли бы. И вам следовало бы... на мой взгляд, сделать еще кое-что, э?

— Но как? Каким образом?

— Ну... пых-пых-пых!.. вы могли бы... пых-пых!.. заручиться помощью специалиста, э? Пых-пых-пых!.. Вы помните анекдот, который рассказывают об Абернети?

— Нет. Черт бы его взял, этого вашего Абернети.

— О да, пусть его возьмет черт. И на здоровье. Но как бы то ни было, однажды некий богатый скупец задумал получить от Абернети врачебный совет, ничего за него не заплатив. И вот, заведя с Абернети в обществе светский разговор, он описал ему свою болезнь, излагая якобы гипотетический случай. («Предположим,— сказал скупец,— что симптомы этого недуга были такими-то и такими-то; что бы вы рекомендовали сделать больному, доктор?» — «Что сделать? — повторил Абернети.— Обратиться за советом к врачу, что же еще?»)

— Но, — сказал префект, — несколько смутившись, — я был бы очень рад получить совет и заплатить за него. Я действительно готов дать пятьдесят тысяч франков тому, кто поможет мне в этом деле.

— В таком случае,— сказал Дюпен, открывая ящик и доставая из него чековую книжку,— выпишите мне чек на вышеупомянутую сумму. Когда вы поставите на нем свою подпись, я вручу вам письмо.

Я был ошеломлен. Префект же сидел словно пораженный громом. На несколько мгновений он как будто онемел и был не в силах сделать ни одного движения — он только недоверчиво глядел на моего друга, разинув рот, и казалось, что его глаза вот-вот вылезут на лоб; затем, немного оправившись, он схватил перо и начал заполнять чек, но раза два прерывал это занятие и недоуменно глядел в пустоту. Однако в конце концов чек на пятьдесят тысяч франков был выписан и префект передал его через стол Дюпену. Тот внимательно прочитал чек и спрятал его к себе в бумажник; затем отпер замок бювара, достал какое-то письмо и протянул его префекту. Этот достойный чиновник схватил письмо в настоящем пароксизме радости, дрожащей рукой развернул его, быстро прочел несколько строк, потом, спотыкаясь от нетерпения, кинулся к двери и бесцеремонно выбежал из комнаты и из дома, так и не произнеся ни единого слова с той самой минуты, когда Дюпен попросил его заполнить чек.

После того как префект исчез, мой друг дал мне кое-какие объяснения.

— Парижская полиция, — сказал он, — по-своему весьма талантлива. Ее агенты настойчивы, изобретательны, хитры и обладают всеми познаниями, необходимыми для наилучшего выполнения их обязанностей. Вот почему, когда Г. описал нам, как именно он обыскивал особняк Д., я проникся непоколебимой уверенностью, что он действительно исчерпал все возможности — в том направлении, в каком он действовал.

— В том направлении, в каком он действовал? — переспросил я.

— Да, — сказал Дюпен. — Принятые им меры были не только наилучшими в своем роде, но и приводились в исполнение самым безупречным образом. Если бы письмо было спрятано так, как он предполагал, его неминуемо обнаружили бы.

Я весело засмеялся, однако мой друг, по-видимому, говорил вполне серьезно.

— Итак, — продолжал он, — принятые меры были по-своему хороши и приведены в исполнение наилучшим

образом. Единственный их недостаток заключался в том, что к данному случаю и к данному человеку они никак не подходили. Определенная система весьма хитроумных методов сыска стала для префекта поистине прокрустовым ложем, к которому он насильственно подгоняет все свои планы. Но он постоянно ошибается, каждый раз воспринимая стоящую перед ним задачу либо слишком глубоко, либо слишком поверхностно; найдется немало школьников, которые умеют рассуждать гораздо последовательнее, чем он. Мне знаком восьмилетний мальчуган, чья способность верно угадывать в игре «чет и нечет» снискала ему всеобщее восхищение. Это очень простая игра: один из играющих зажимает в кулаке несколько камешков и спрашивает у другого, четное ли их количество он держит или нечетное. Если второй играющий угадает правильно, то он выигрывает камешек, если же неправильно, то проигрывает камешек. Мальчик, о котором я упомянул, обыграл всех своих школьных товарищей. Разумеется, он строил свои догадки на каких-то принципах, и эти последние заключались лишь в том, что он внимательно следил за своим противником и правильно оценивал степень его хитрости. Например, его заведомо глупый противник поднимает кулак и спрашивает: «Чет или нечет?» Наш школьник отвечает «нечет» и проигрывает. Однако в следующей попытке он выигрывает, потому что говорит себе: «Этот дурак взял в прошлый раз четное количество камешков и, конечно, думает, что отлично схитрит, если теперь возьмет нечетное количество. Поэтому я опять скажу — нечет!» Он говорит «нечет!» и выигрывает. С противником чуть поумнее он рассуждал бы так: «Этот мальчик заметил, что я сейчас сказал «нечет», и теперь он сначала захочет изменить четное число камешков на нечетное, но тут же спохватится, что это слишком просто, и оставит их количество прежним. Поэтому я скажу — чет!» Он говорит «чет!» и выигрывает. Вот ход логических рассуждений маленького мальчика, которого его товарищи окрестили «счастливым». Но, в сущности говоря, что это такое?

— Всего только, — ответил я, — умение полностью отождествить свой интеллект с интеллектом противника.

— Вот именно,— сказал Дюпен.— А когда я спросил у мальчика, каким способом он достигает столь полного отождествления, обеспечивающего ему постоянный успех, он ответил следующее: «Когда я хочу узнать, насколько умен, или глуп, или добр, или зол вот этот мальчик или о чем он сейчас думает, я стараюсь придать своему лицу точно такое же выражение, которое вижу на его лице, а потом жду, чтобы узнать, какие мысли или чувства возникнут у меня в соответствии с этим выражением». Этот ответ маленького школьника заключает в себе все, что скрывается под мнимой глубиной, которую усматривали у Ларошфуко, Лабрюйера, Макиавелли и Кампанеллы.

— А отождествление интеллекта того, кто рассуждает, с интеллектом его противника,— сказал я,— зависит, если я правильно вас понял, от точности, с какой оценен интеллект этого последнего.

— Практически говоря, оно зависит именно от этого,— ответил Дюпен,— а префект и его присные столь часто терпят неудачи именно потому, что не ищут подобного отождествления, и потому, что неверно оценивают интеллект своего противника, а вернее, никак его не оценивают. Они рассуждают, исходя только из собственных представлений о хитроумии, и когда разыскивают спрятанные вещи, то ищут их только там, где сами могли бы их спрятать. В одном отношении они правы: их хитроумие вполне соответствует хитроумию большинства людей; но в тех случаях, когда хитрость преступника по своей природе не сходна с их собственной, такой преступник, разумеется, берет над ними верх. Так бывает всегда, когда его хитрость превосходит их хитрость, и весьма часто — когда она ей уступает. Они ведут свои расследования, исходя из одних и тех же неизменных принципов. В лучшем случае, когда их подстегивает исключительная важность случившегося или необыкновенно большая награда, они могут расширить сферу применения своих практических приемов или усложнить их, но вышеупомянутых принципов не меняют. Например, был ли хоть как-то изменен принцип их действий в деле Д.? Они сверлили, кололи иглами, выстукивали, исследовали поверхности с помощью сильной лупы, делили стены зда-

ния на пронумерованные квадратные дюймы: но что все это, как не преувеличенное применение того же принципа — а вернее, ряда принципов, которые опираются на ряд представлений о человеческом хитроумии, выработавшихся у префекта за долгие годы его службы? Неужели вы не видите, насколько он считал само собой разумеющимся, что все люди обязательно будут прятать письмо если и не в дырке, высверленной буравчиком в ножке стула, то, во всяком случае, в каком-то столь же неожиданном тайнике, подсказанном тем же ходом мысли, который заставляет человека высверливать буравчиком дырку в ножке стула и прятать туда письмо? И неужели вы не видите, что тайники столь *recherches*¹ годятся только для заурядных случаев и что к ним прибегают только заурядные умы? Ведь когда речь идет о спрятанном предмете, способ его сокрытия — способ *recherche* — предопределен заранее и тем самым всегда поддается определению. И обнаружение такого предмета зависит вовсе не от проницательности ищущих, а только от их тщательности, терпения и настойчивости. И до сих пор, когда речь шла о чем-то очень важном или (что, на взгляд человека, причастного к политике, одно и то же) о большой награде, вышеперечисленные качества неизменно обеспечивали успешное завершение розысков. Теперь вы понимаете, что именно я подразумевал, когда сказал, что, будь похищенное письмо спрятано там, где его искал префект, — другими словами, будь принцип его сокрытия соотносим с принципами, согласно которым действует префект, — оно обязательно было бы найдено. Однако этот ревностный сыщик был совсем сбит с толку, и первоначальный источник его неудачи заключается в предположении, что министр должен быть дураком, поскольку он известен как поэт. Все дураки — поэты, — по крайней мере так кажется префекту, и он повинен всего лишь в *non distributio medii*², поскольку выводит отсюда, что все поэты — дураки.

¹ Вычурные (*фр.*).

² Буквально: нераспределение среднего (*лат.*) — одна из классических ошибок в формальной логике.

— Но действительно ли речь идет о поэте? — спросил я.— Насколько мне известно, у министра есть брат, и оба они приобрели определенную известность в литературном мире. Однако министр, если не ошибаюсь, писал о дифференциальном исчислении. Он математик, а вовсе не поэт.

— Вы ошибаетесь. Я хорошо его знаю — он и то и другое. Как поэт и математик, он должен обладать способностью к логическим рассуждениям, а будь он всего только математиком, он вовсе не умел бы рассуждать логически, и в результате префект легко справился бы с ним.

— Меня поражают,— сказал я,— эти ваши суждения, против которых восстанет голос всего света. Ведь не хотите же вы опровергнуть представление, проверенное веками! Математическая логика издавна считалась логикой *Par excellence*.

— «Il y a á parier,— возразил Дюпен, цитируя Шамфора,— que toute idee publique, toute convention reçue est une sottise, car elle a convenue au plus grand nombre»¹. Не спорю: математики сделали все, от них зависевшее, чтобы укрепить свет в заблуждении, на которое вы ссылаетесь и которое остается заблуждением, как бы его ни выдавали за истину. Они, например, с искусством, заслуживающим лучшего применения, исподтишка ввели термин «анализ» в алгебре. В данном обмане повинны французы, но если термин имеет хоть какое-то значение, если слова обретают ценность благодаря своей точности, то «анализ» столь же мало означает «алгебра», как латинское «ambitus»² — «амбицию», а «religio»³ — «религию».

— Я предвижу, что вам не избежать ссоры с некоторыми парижскими алгебраистами,— сказал я.— Однако продолжайте.

¹ «Можно побиться об заклад, что всякая широко распространенная идея, всякая общепринятая условность есть глупость, ибо она принята наибольшим числом людей» (*фр.*).

² Круговое движение (*лат.*).

³ Добросовестность (*лат.*).

— Я оспариваю универсальность, а тем самым и ценность любой логики, которая культивируется в какой-либо иной форме, кроме абстрактной. И в частности, я оспариваю логику, выводимую из изучения математики. Математика — это наука о форме и количестве, и математическая логика — это всего лишь логика, прилагаемая к наблюдениям над формой и количеством. Предположение, будто истины даже того, что зовется «чистой» алгеброй, являются абстрактными или всеобщими истинами, представляет собой великую ошибку. И эта ошибка настолько груба, что мне остается только изумляться тому единодушию, с каким ее никто не замечает. Математические аксиомы — это отнюдь не аксиомы всеобщей истины. То, что справедливо для взаимоотношений формы и количества, часто оказывается вопиюще ложным в применении, например, к морали. В этой последней положение, что сумма частей равна целому, чаще всего оказывается неверным. Эта аксиома не подходит и для химии. При рассмотрении мотивов она также оказывается неверной, ибо два мотива, из которых каждый имеет какое-то значение, соединившись, вовсе не обязательно будут иметь значение, равное сумме их значений, взятых в отдельности. Существует еще много математических истин, которые остаются истинами только в пределах взаимоотношений формы и количества. Однако математик, рассуждая, по привычке исходит из своих частных мыслей так, словно они обладают абсолютно универсальным характером — какими их, бесспорно, привык считать свет. Брайант в своей весьма ученой «Мифологии» упоминает аналогичный источник ошибок, когда он говорит: «Хотя мы не верим в языческие басни, однако мы постоянно забываемся и делаем из них выводы, как из чего-то действительно существующего». Тем не менее алгебраисты, сами язычники, неколебимо верят в «языческие басни» и выводят из них заключения не столько по причине провалов памяти, сколько благодаря непостижимому затмению мыслей. Короче говоря, мне еще не доводилось встречать математика, которому можно было бы доверять в чем-либо, кроме равенства корней, и который втайне не лелеял бы кредо, будто $x^2 + px$ всегда

абсолютно и безусловно равняется у. Если хотите, то попробуйте в качестве опыта сказать кому-нибудь из этих господ, что, по вашему мнению, бывают случаи, когда $x^2 + px$ не вполне равняется у, но, втолковав ему, что вы имеете в виду, поторопитесь отойти от него подальше, иначе он, без всякого сомнения, набросится на вас с кулаками.

Я хочу сказать,— продолжал Дюпен, так как я только засмеялся в ответ на его последние слова, — что, будь министр всего лишь математиком, префекту не пришлось бы давать мне этот чек. Однако я знал, что он не только математик, но и поэт, а потому оценивал случившееся, исходя из его способностей и учитывая особенности его положения. Я знал, кроме того, что он искушен в делах двора и смелый интриган. Такой человек, рассуждал я, не может не быть осведомлен об обычных полицейских методах. Он не мог не предвидеть нападения псевдограбителей — и события показали, что он его предвидел. Он обязательно должен был предположить, рассуждал я, что его дом будет подвергнут тайным обыскам. Его частые ночные отлучки, в которых префект с радостью усматривал залог своего успеха, мне представлялись хитростью: он давал полиции возможность провести самый тщательный обыск для того, чтобы заставить ее прийти к заключению, к которому Г. в конце концов и пришел,— к заключению, что письмо находится не в его доме, а где-то еще. Я только что подробно изложил вам ход мысли касательно неизменных принципов, лежащих в основе действий полицейских агентов, когда они ищут спрятанные предметы,— и я чувствовал, что тот же ход мысли неминуемо приведет министра к таким же выводам, что и меня. И заставит его пренебречь всеми обычными тайниками. Не мог же он быть столь слабоумен, рассуждал я, чтобы не видеть, что самые скрытые и недоступные недра его дома будут столь же достижимы для глаз, игл, буравчиков и сильных луп префекта, как и стоящие на виду незапертые шкафы. Короче говоря, я понял, что он будет вынужден прибегнуть к какой-то очень простой выдумке, если не предпочтет ее по доброй воле с самого начала. Возможно, вы не забыли, как хохотал префект, когда во

время нашего первого разговора я высказал предположение, что эта загадка причиняет ему столько хлопот как раз из-за очевидности ее разгадки.

— Да,— сказал я.— Я отлично помню, как он веселился. Мне даже показалось, что с ним вот-вот случится родимчик.

— Материальный мир,— продолжал Дюпен,— изобилует аналогиями с миром нематериальным, а потому не так уж далеко от истины то правило риторики, которое утверждает, что метафору или уподобление можно использовать не только для украшения описания, но и для усиления аргументации. Например, принцип *vis inertiae*¹, по-видимому, одинаков и в физике и в метафизике. Если для первой верно, что большое тело труднее привести в движение, нежели малое, и что полученный им момент инерции прямо пропорционален этой трудности, то и для второй не менее верно, что более могучие интеллекты, хотя они сильнее, постояннее и плодотворнее в своем движении, чем интеллекты малые, тем не менее начинают это движение с меньшей легкостью и более смущаются и колеблются на первых шагах. И еще: вы когда-нибудь замечали, какие уличные вывески привлекают наибольшее внимание?

— Никогда об этом не задумывался,— ответил я.

— Существует салонная игра,— продолжал Дюпен,— в которую играют с помощью географической карты. Один играющий предлагает другому найти задуманное слово — название города, реки, государства или империи — среди массы надписей, которыми пестрит карта. Новичок обычно пытается перехитрить своего противника, задумывая название, напечатанное наиболее мелким шрифтом, но опытный игрок выбирает слова, простирающиеся через всю карту и напечатанные самыми крупными буквами. Такие названия, как и чересчур большие вывески, ускользают от внимания из-за того, что они слишком уж очевидны. Эта физическая особенность нашего зрения представляет собой полную аналогию мыслительной тупости, с какой интеллект обходит те соображения, кото-

¹ Сила инерции (лат.).

рые слишком уж навязчиво самоочевидны. Но, по-видимому, эта особенность несколько выше или несколько ниже понимания нашего префекта. Ему ни на секунду не пришло в голову, что министр мог положить письмо на самом видном месте на обозрение всему свету — именно для того, чтобы помешать кому-либо его увидеть.

Но чем больше я размышлял о дерзком, блистательном и тонком хитроумии Д., о том, что документ этот должен был всегда находиться у него под рукой, а в противном случае утратил бы свою силу, и о том, что письмо, совершенно несомненно, не было спрятано там, где считал нужным искать его префект, тем больше я убеждался, что, желая спрятать письмо, министр прибег к наиболее логичной и мудрой уловке и вовсе не стал его прятать.

Вот с какими мыслями я как-то утром водрузил себе на нос зеленые очки и во время прогулки заглянул к Д. Я застал его дома — он позевывал, изображал хандру, как всегда, притворяясь, будто ему все давно приелось и наскучило. В мире вряд ли сыщется другой столь же деятельный человек — но таким он бывает, только когда его никто не видит.

Чтобы не отстать от него, я пожаловался на слабость зрения и, оплакивая необходимость носить темные очки, под их защитой подробно и осторожно оглядел комнату, хотя со стороны показалось бы, что я смотрю только на моего собеседника.

Особенно внимательно я изучал большой письменный стол, возле которого сидел мой хозяин. На этом столе в беспорядке лежали различные бумаги, письма, два-три музыкальных инструмента и несколько книг. Однако, тщательно и долго оглядывая стол, я так и не обнаружил ничего подозрительного.

В конце концов мой взгляд, шаривший по комнате, упал на ажурную картонную сумочку для визитных карточек, которая на грязной голубой ленте свисала с маленькой медной шишечки на самой середине каминной полки. У сумочки были три кармашка, расположенные один над другим, и из них торчало пять-шесть визитных карточек и одно письмо. Оно было замусоленное, смятое

и надорванное посредине, точно его намеревались разорвать, как не заслуживающее внимания, но затем передумали. В глаза бросалась большая черная печать с монограммой Д. Адрес был написан мелким женским почерком: «Д. министру, в собственные руки». Оно было небрежно и даже как-то презрительно засунуто в верхний карманчик сумки.

Едва я увидел это письмо, как тотчас же пришел к заключению, что передо мной — предмет моих поисков. Да, конечно, оно во всех отношениях разительно не подходило под то подробнейшее описание, которое прочел нам префект. Печать на этом была большая, черная, с монограммой Д., на том — маленькая, красная, с гербом герцогского рода С. Это было адресовано министру мелким женским почерком, на том титул некоей королевской особы был начертан решительной и смелой рукой. Сходилась только величина. Но, с другой стороны, именно разительность этих отличий, превосходившая всякое вероятие, грязь, замусоленная надорванная бумага, столь мало вязавшаяся с тайной аккуратностью Д. и столь явно указывавшая на желание внушить всем и каждому, будто документ, который он видит, не имеет ни малейшей важности, — все это, вкуче со слишком уж заметным местом, выбранным для его хранения, где он бросался в глаза всякому посетителю, что точно соответствовало выводам, к которым я успел прийти, — все это, повторяю я, не могло не вызвать подозрений у того, кто явился туда с намерением подозревать.

Я продлил свой визит, насколько это было возможно, и все время, пока поддерживал горячий спор на тему, которая, как мне было известно, всегда живо интересовала и волновала Д., мое внимание было приковано к письму. Я хорошо разглядел его, запомнил его внешний вид и положение в кармашке, а кроме того, в конце концов заметил еще одну мелочь, которая рассеяла бы последние сомнения, если бы они у меня были. Изучая края письма, я обнаружил, что они казались более неровными, чем можно было бы ожидать. Они выглядели надломленными, как бывает всегда, когда плотную бумагу, уже сложенную и прижатую пресс-папье, складывают по прежним

сгибам, но в другую сторону. Заметив это, я уже ни в чем не сомневался. Мне стало ясно, что письмо в сумочке под каминной полкой было вывернуто наизнанку, как перчатка, после чего его снабдили новым адресом и новой печатью. Тогда я распрощался с министром и отправился восвояси, оставив на столе золотую табакерку.

На следующее утро я зашел за табакеркой, и мы с большим увлечением возобновили беседу, которую вели накануне. Пока мы разговаривали, под окнами министра раздался громкий, словно бы пистолетный выстрел, а вслед за ним послышались ужасные вопли и крики испуганной толпы. Д. бросился к окну, распахнул его и выглянул наружу. Я же сделал шаг к сумочке, вынул письмо, сунул его в карман, а на его место положил довольно точную его копию (то есть по внешности), которую я старательно изготовил дома, без труда подделав монограмму Д. с помощью печати, слепленной из хлебного мякиша.

Суматоха на улице была вызвана отчаянной выходкой какого-то человека, державшего в руке мушкет. Он выстрелил из своего мушкета в толпе женщин и детей. Однако выяснилось, что заряд в мушкете был холостой, и стрелка отпустили, решив, что это либо сумасшедший, либо пьяница. Когда он скрылся из виду, Д. отошел от окна, возле которого встал и я сразу после того, как завладел письмом. Вскоре я откланялся. Человек, притворившийся сумасшедшим, был нанят мной.

— Но зачем вам понадобилось, — спросил я, — заменять письмо копией? Не проще ли было бы в первый же ваш визит схватить его на глазах у Д. и уйти?

— Д., — ответил Дюпен, — человек отчаянно смелый и находчивый. Кроме того, его слуги ему преданны. Если бы я решился на безумный поступок, о котором вы говорите, я вряд ли покинул бы особняк министра живым. И добрые парижане больше ничего обо мне не услышали бы. Однако меня остановили не только эти соображения. Вам известны мои политические симпатии. И тут я действовал, как сторонник дамы, у которой было похищено письмо. Полтора года Д. держал ее в своей власти. А теперь он сам у нее в руках — ведь, не подозревая, что письма у него больше нет, он будет и далее множить свои

требования. И тем самым неотвратимо обречет свою политическую карьеру на гибель. К тому же его падение будет не только стремительным, но и весьма неприятным. Хоть и говорится, что *facilis descensus Avernî*¹, однако, когда речь идет о взлетах и падениях, то, как заметила Каталани о пении, куда легче идти вверх, чем вниз. И в данном случае я не питаю никакого сочувствия — во всяком случае, никакой жалости — к тому, кому угрожает падение. Ведь он — пресловутое *monstrum horrendum*², человек талантливый, но беспринципный. Однако, признаюсь, мне очень хотелось бы узнать, какой оборот примут его мысли, когда, получив резкий отказ от той, кого префект называет «некоей высокопоставленной особой», он вынужден будет развернуть письмо, которое я оставил для него в сумочке для визитных карточек.

— Как так? Вы что-нибудь в него вложили?

— Видите ли, я не счел себя вправе оставить внутреннюю сторону чистой — это было бы оскорблением. Давным-давно в Вене Д. однажды поступил со мной очень скверно, и я тогда сказал ему — без всякой злобы, — что я этого не забуду. А потому, понимая, что ему будет любопытно узнать, кто же его перехитрил, я рассудил, что следует дать ему какой-нибудь ключ к разгадке. Ему известен мой почерк, и я просто написал на середине листка следующие слова:

«...Un dessein si funeste
S'il n'est digne d'Atree, est digne de Thyeste»³.

Вы можете найти их в «Атрее» Кребийона.

¹ Легок спуск в Аверн (*лат.*).

² Отвратительное чудовище (*лат.*).

³ «...план такой зловецкий

Достоин если не Атрея, то Фисеста» (*фр.*).



ЧЕЛОВЕК ТОЛПЫ

Ce grand malheur de ne
pouvoir être seul.

*La Bruyère*¹

По поводу одной немецкой книги было хорошо сказано, что она «langst sich nicht lesen» — не позволяет себя прочесть. Есть секреты, которые не позволяют себя рассказывать. Ежегодно люди умирают в своих постелях, цепляясь за руки своих духовников и жалобно заглядывая им в глаза, умирают с отчаянием в сердце и со спазмой в горле — и все из-за потрясающих тайн, которые никоим образом не дают себя раскрыть. Увы — порою совесть человеческая возлагает на себя бремя ужасов столь тяжкое, что сбросить его можно лишь в могилу, — и, таким образом, сущность всякого преступления остается неразгаданной.

Как-то раз, поздним осенним вечером, я сидел у большого окна кофейни Д. в Лондоне. В течение нескольких месяцев я хворал, но теперь поправлялся, и вместе со здоровьем ко мне вернулось то счастливое расположение духа, которое представляет собою полную противоположность *επιπνί*², — состояние острейшей восприимчивости, когда спадает завеса с умственного взора — *'αγλος η πριν σπην*³ и наэлектризованный интеллект превосходит свои обычные возможности настолько же, насколько неожиданные, но точные определения Лейбница превосходят причудливую риторику Горгия. Просто дышать — и то

¹ Ужасное несчастье — не иметь возможности остаться наедине с самим собой. *Лабрюйер (фр.)*.

² Тоска, скука (фр.).

³ Пелена, нависшая прежде (греч.).

казалось наслаждением, и я извлекал удовольствие даже из того, что обыкновенно считается источником страданий. У меня появился спокойный и в то же время пыгливый интерес ко всему окружающему. С сигарой во рту и газетой на коленях я большую часть вечера развлекался тем, что просматривал объявления, наблюдал разношерстную публику, собравшуюся в зале, или выглядывал на улицу сквозь закопченные стекла.

Это была одна из главных улиц города, и весь день на ней толпилось множество народу. Однако по мере того, как темнота сгущалась, толпа все увеличивалась, а к тому времени, когда зажгли фонари, мимо входа в кофейню с шумом неслись два густых, бесконечных потока прохожих. В столь поздний вечерний час мне еще ни разу не приходилось занимать подобную позицию, и потому бушующее море людских голов пленяло меня новизною ощущений. В конце концов я перестал обращать внимание на то, что происходило вокруг меня, и всецело погрузился в созерцание улицы.

Вначале наблюдения мои приняли отвлеченный, обобщающий характер. Я рассматривал толпу в целом и думал обо всех прохожих в совокупности. Вскоре, однако, перешел к отдельным подробностям и с живым интересом принялся изучать бесчисленные разновидности фигур, одежды и манеры держаться, походку и выражение лиц.

У большей части прохожих вид был самодовольный и озабоченный. Казалось, они думали лишь о том, как бы пробраться сквозь толпу. Они шагали, нахмутив брови, и глаза их перебегали с одного предмета на другой. Если кто-нибудь нечаянно их толкал, они не выказывали ни малейшего раздражения и, пригладив одежду, торопливо шли дальше. Другие — таких было тоже немало — отличались беспокойными движениями и ярким румянцем. Энергично жестикулируя, они разговаривали сами с собой, словно чувствовали себя одинокими именно потому, что кругом было столько народу. Встречая помеху на своем пути, люди эти внезапно умолкали, но продолжали с удвоенной энергией жестикулировать и, растерянно улыбаясь, с преувеличенной любезностью кланялись тому,

кто им помешал, ожидая, пока он не уйдет с дороги. В остальном эти две большие разновидности прохожих ничем особенным не выделялись. Одеты они были что называется прилично. Без сомнения, это были дворяне, коммерсанты, стряпчие, торговцы, биржевые маклеры — эвпатриды и обыватели, — люди либо праздные, либо, напротив, деловитые владельцы самостоятельных предприятий. Они меня не очень интересовали.

В племени клерков, которое сразу бросалось в глаза, я различил две характерные категории. Это были прежде всего младшие писаря сомнительных фирм — надменно улыбающиеся молодые люди с обильно напомаженными волосами, в узких сюртуках и начищенной до блеска обуви. Если отбросить некоторую рисовку, которую, за неимением более подходящего слова, можно назвать канцелярским снобизмом, то манеры этих молодчиков казались точной копией того, что считалось хорошим тоном год или полтора назад. Они ходили как бы в обносках с барского плеча, что, по моему мнению, лучше всего характеризует всю их корпорацию.

Старших клерков солидных фирм невозможно было спутать ни с кем. Эти степенные господа красовались в свободных сюртуках, в коричневых или черных панталонах, в белых галстуках и жилетах, в крепких широких башмаках и толстых гетрах. У каждого намечалась небольшая лысина, а правое ухо, за которое они имели привычку закладывать перо, презабавно оттопыривалось. Я заметил, что они всегда снимали и надевали шляпу обеими руками и носили свои часы на короткой золотой цепочке добротного старинного образца. Они кичились своею респектабельностью — если вообще можно кичиться чем-либо столь благонамеренным.

Среди прохожих попадалось множество щеголей — они, я это сразу понял, принадлежали к разряду карманников, которыми кишат все большие города. С пристальным любопытством наблюдая этих индивидуумов, я терялся в догадках, каким образом настоящие джентльмены могут принимать их за себе подобных — ведь чрезмерно пышные манжеты в сочетании с необыкновенно искренним выражением на физиономии должны были бы тотчас же их выдать.

Еще легче было распознать игроков, которых я тоже увидел немало. Одежда их отличалась невероятным разнообразием — начиная с костюма шулера, состоящего из бархатного жилета, затейливого шейного платка, позолоченных цепочек и филигранных пуговиц, и кончая подчеркнуто скромным одеянием духовного лица, менее всего могущего дать повод для подозрений. Но у всех были землистые, испитые лица, тусклые глаза и бледные, плотно сжатые губы. Кроме того, они отличались еще двумя признаками: нарочито тихим голосом и более чем удивительной способностью большого пальца отклоняться под прямым углом от остальных. В обществе этих мошенников я часто замечал другую разновидность людей — обладая несколько иными привычками, они тем не менее были птицами того же полета. Их можно назвать джентльменами удачи. Они, так сказать, подстерегают публику, выстроив в боевой порядок оба своих батальона — батальон денди и батальон военных. Отличительными чертами первых следует считать длинные кудри и улыбки, а вторых — мундиры с галунами и насупленные брови.

Спускаясь по ступеням того, что принято называть порядочным обществом, я обнаружил более мрачные и глубокие темы для размышления. Здесь были разносчики-евреи со сверкающим ястребиным взором и печатью робкого смирения на лице; дюжие профессиональные попрошайки, бросившие грозные взгляды на честных бедняков, которых одно лишь отчаяние могло выгнать ночью на улицу просить милостыню; жалкие, ослабевшие калеки, на которых смерть наложила свою беспощадную руку, — неверным шагом пробирались они сквозь толпу, жалобно заглядывая в лицо каждому встречному, словно стараясь найти в нем случайное утешение или утраченную надежду; скромные девушки, возвращавшиеся в свои неуютные жилища после тяжелой и долгой работы, — они скорее со слезами, чем с негодованием, отшатывались от наглецов, дерзких взглядов которых, однако, избежать невозможно; уличные женщины всех сортов и возрастов; стройные красавицы в расцвете женственности, напоминающие статую, описанную Лукианом, — снаружи паросский мрамор, внутри нечистоты; безвозвратно погибшая

отвратительная прокаженная в рубище; морщинистая, размалеванная, увешанная драгоценностями молодящаяся старуха; девочка с еще незрелыми формами, но вследствие продолжительного опыта уже искушенная в гнусном жеманстве своего ремесла и снедаемая жаждой сравняться в пороке со старшими; всевозможные пьяницы — некоторые, в лохмотьях, с мутными, подбитыми глазами, брели пошатываясь и бормотали что-то невнятное, другие — в целой, хотя и грязной одежде, с толстыми чувственными губами и добродушными красными рожам, шли неуверенной поступью, третьи — в костюмах из дорогой ткани, даже теперь тщательно вычищенных, люди с неестественно твердой и упругой походкой, со страшной бледностью на лице и жутким блеском в воспаленных глазах, пробирались сквозь толпу и дрожащими пальцами цеплялись за все, что попадалось им под руку. Кроме того, в толпе мелькали торговцы пирогами; носильщики, угольщики, трубочисты, шарманщики, дрессировщики обезьян, продавцы и исполнители песенок, оборванные ремесленники и истощенные рабочие всякого рода. Шумное и неумеренное веселье всей этой толпы неприятно резало слух и до боли раздражало взгляд.

С приближением ночи мой интерес к этому зрелищу еще более усилился, стал еще глубже, ибо теперь не только существенно изменился общий облик толпы (более благородные ее элементы постепенно отходили на задний план, по мере того как порядочные люди удалялись, тогда как более грубые начинали выделяться рельефнее — ведь в поздний час все виды порока выползают из своих нор), но и лучи газовых фонарей, вначале с трудом борющиеся со светом угасающего дня, теперь сделались ярче и озаряли все предметы своим неверным сиянием. Все вокруг было мрачно, но сверкало подобно черному дереву, с которым сравнивают слог Тертуллиана.

Причудливая игра света привлекла мой взор к отдельным лицам и, несмотря на то что быстрота, с которой этот мир ярких призраков проносился мимо окна, мешала пристально всмотреться в те или иные черты, мне, в моем тогдашнем странном душевном состоянии, казалось, будто даже этот мимолетный взгляд нередко позволяет

прочесть историю долгих лет.

Прижавшись лбом к стеклу, я внимательно изучал людской поток, как вдруг мне бросился в глаза дряхлый старик лет шестидесяти пяти или семидесяти. Удивительное выражение его лица сразу же приковало к себе и поглотило все мое внимание. Я никогда еще не видел ничего, что хотя бы отдаленно напоминало это выражение. Хорошо помню: при виде его у меня мелькнула мысль, что Ретц, увидев подобную физиономию, без сомнения, предпочел бы ее собственным рисункам, в которых пытался воплотить образ дьявола. Когда я в тот первый короткий миг попытался подвергнуть анализу его сущность, в мозгу моем возникли смутные и противоречивые мысли о громадной силе ума, об осторожности, скупости, алчности, хладнокровии, о коварстве, кровожадности, торжестве радости, о невероятном ужасе и бесконечном отчаянии. Меня охватили странное возбуждение, любопытство, страх. «Какая жуткая повесть запечатлелась в этом сердце!» — сказал я себе. Мне захотелось не выпускать этого человека из виду, узнать о нем как можно больше. Торопливо накинув пальто, схватив шляпу и трость, я вышел на улицу и, пробиваясь сквозь толпу, двинулся вслед за стариком, который уже успел скрыться. С некоторым трудом мне наконец удалось догнать его, и, приблизившись к нему, я осторожно, стараясь не привлекать его внимания, пошел за ним по пятам.

Теперь я мог хорошенько изучить его наружность. Он был невысокого роста, очень худой и на вид совсем дряхлый. Одежда на нем была грязная и рваная, однако в те короткие мгновения, когда на него падал яркий свет фонаря, я успел заметить, что белье у него хоть и грязное, но сшито из дорогой ткани, и, если зрение меня не обмануло, сквозь прореху в наглухо застегнутом и, без сомнения, купленном у старьевщика *goquelaine*¹ сверкнули алмаз и кинжал. Эти наблюдения еще больше усилили мое любопытство, и я решил следовать за незнакомцем всюду, куда бы он ни пошел.

¹ Длинный сюртук, застегивающийся сверху донизу (фр.).

Спустилась ночь; над городом навис влажный густой туман, вскоре сменившийся упорным проливным дождем. Перемена погоды оказала странное действие на толпу — все кругом засуеилось, и над головами вырос лес зонтиков. Давка, толкотня и гул удесятерились. Что до меня — я не обращал особого внимания на дождь, ибо для застарелой лихорадки, гнездившейся в моем организме, сырость была хоть и опасной, но приятною услугой. Завязав рот носовым платком, я продолжал свой путь. С полчаса старик пробирался по главной улице, и я, боясь потерять его из виду, неотступно следовал за ним. Он не оборачивался и поэтому меня не замечал. Через некоторое время он свернул в одну из боковых улиц, где было хотя и полно народу, но все же менеелюдно, чем на главной улице. Тут поведение старика совершенно изменилось. Он пошел медленнее и как-то неуверенно, словно сам не зная куда. Несколько раз он без всякой видимой причины переходил через дорогу, а толчея все еще была такой сильной, что при каждом повороте я приближался к нему почти вплотную. Пока он брел по этой узкой и длинной улице, прошло около часу, толпа постепенно стала редеть, и наконец народу осталось не больше, чем бывает в полдень на Бродвее возле парка — настолько велика разница между обитателями Лондона и самого многолюдного американского города. Еще один поворот — и мы вышли на ярко освещенную, полную жизни площадь. Здесь к незнакомцу вернулась его прежняя манера. Опустив подбородок на грудь и нахмурившись, он бросал яростные взгляды на теснивших его со всех сторон прохожих, упорно пробивая себе дорогу в толпе. Я очень удивился, когда, обойдя всю площадь, он повернулся и пошел обратно. Но еще больше удивило меня то, что этот маневр он проделал несколько раз, причем однажды, резко обернувшись, чуть не наткнулся на меня.

Таким образом он провел еще час, к концу которого прохожие уже не мешали нам так, как прежде. Дождь все еще лил, стало холодно, и люди начали расходиться по домам. Старик, раздраженно махнув рукой, свернул в одну из сравнительно пустынных боковых улиц и пробежал примерно четверть мили с проворством, какого не-

возможно было ожидать от человека, столь обремененного годами. Я с трудом поспевал за ним. Через несколько минут мы вышли к большому многолюдному рынку, расположение которого незнакомец, по-видимому, хорошо знал, и здесь, бесцельно бродя в толпе покупателей и продавцов, он вновь обрел свой прежний облик.

В течение тех полутора часов, что мы провели на этой площади, мне пришлось соблюдать крайнюю осторожность, чтобы, не отставая от незнакомца, в то же время не привлечь его внимания. К счастью, благодаря резиновым калошам я мог двигаться совершенно бесшумно, так что он ни разу меня не заметил. Он заходил во все лавки подряд, ни к чему не приценивался, не произносил ни слова и диким, отсутствующим взором глядел на все окружающее. Теперь недоумение мое достигло чрезвычайной степени, и я твердо решил не выпускать его из виду, пока хоть сколько-нибудь не удовлетворю свое любопытство.

Часы грозно пробили одиннадцать; толпа начала быстро расходиться. Какой-то лавочник, закрывая ставни, толкнул старика, и тут я увидел, как по всему его телу пробежала дрожь. Он торопливо вышел из лавки, беспокойно огляделся и с невероятной быстротой помчался по извилистым пустынным переулкам. Наконец мы снова очутились на той улице, где расположена гостиница Д. и откуда мы начали свой путь. Теперь, однако, улица казалась совершенно иной. Она все еще была ярко освещена газом, но дождь лил немилосердно, и прохожие попадались только изредка. Незнакомец побледнел. С унылым видом прошел он несколько шагов по этой недавно еще столь людной улице, а затем с тяжелым вздохом повернул к реке и окольными путями вышел к театру. Там только что окончилось представление, и публика густой толпой валила из дверей. Я увидел, как старик, задыхаясь, бросился в толпу, но мне показалось, что напряженное страдание, выражавшееся на его лице, несколько смягчилось. Голова его снова упала на грудь, и он опять стал таким же, каким я увидел его в первый раз. Я заметил, что он двинулся в ту же сторону, куда шла большая часть зрителей, но разобраться в его причудливых порывах никак не мог.

По мере того как он шел вперед, толпа редела, и к нему снова вернулись прежнее беспокойство и нерешительность. Некоторое время он следовал по пятам за какой-то компанией, состоявшей из десятка гуляк, но они один за другим разошлись, и наконец в узком темном переулке их осталось только трое. Незнакомец остановился и, казалось, на минуту погрузился в раздумье, потом в крайнем волнении быстро пошел дорогой, которая привела нас на окраину города, в кварталы, совершенно непохожие на те, по которым мы до сих пор проходили. Это была самая отвратительная часть Лондона, где все отмечено печатью безысходной нищеты и закоренелой преступности. В тусклом свете редких фонарей перед нами предстали высокие, ветхие, источенные жучком деревянные дома, готовые каждую минуту обрушиться и разбросанные в таком хаотическом беспорядке, что между ними едва виднелись проходы. Под ногами торчали булыжники, вытесненные из мостовой густо разросшимися сорняками. В сточных канавах гнили зловонные нечистоты. Повсюду царили бедность и запустение. Однако постепенно до нас стали доноситься звуки, свидетельствовавшие о присутствии людей, и в конце концов мы увидели толпы самых последних подонков лондонского населения. Старик снова воспрянул духом, подобно лампе, которая ярко вспыхивает перед тем, как окончательно угаснуть, и упругой походкой устремился вперед. Вдруг при повороте нас ослепил яркий свет, и перед нами предстал огромный загородный храм Пьянства — один из дворцов дьявола Джина.

Близился рассвет, но несчастные пропойцы все еще теснились в ярко освещенных дверях. Издав радостный вопль, старик протолкался внутрь и, снова обретя свой прежний вид, принялся метаться среди посетителей. Вскоре, однако, все бросились к выходу: хозяин закрывал свое заведение. На лице непонятого существа, за которым я так упорно следил, изобразилось теперь чувство более сильное, нежели простое отчаяние. Но, ни минуты не медля, он с бешеною энергией снова устремился к самому центру исполина-Лондона. Он бежал долго и быстро, а я в изумлении следовал за ним, решив во что бы то ни

стало продолжать свои наблюдения, которые теперь захватили меня всецело. Пока мы шли, поднялось солнце, и когда мы снова добрались до самой людной части этого густонаселенного города — до улицы, где расположена гостиница Д., суета и давка снова были такими же, как накануне вечером. И здесь, в ежеминутно возрастающей толчее, я еще долго следовал за странным незнакомцем. Но он, как и прежде, бесцельно бродил среди толпы, весь день не выходя из самой гущи уличного водоворота. А когда вечерние тени снова стали спускаться на город, я, смертельно усталый, остановился прямо перед скитальцем и пристально посмотрел ему в лицо. Он не заметил меня и продолжал невозмутимо шествовать дальше, я же, прекратив погоню, погрузился в раздумье. «Этот старик, — произнес я наконец, — прообраз и воплощение тягчайших преступлений. Он не может остаться наедине с самим собой. Это человек толпы. Бесполезно следовать за ним, ибо я все равно ничего не узнаю ни о нем, ни об его деяниях. Сердце самого закоренелого злодея в мире — книга более гнусная, нежели «Hortulus Animaе...»¹, и, быть может, одно из величайших благодеяний Господа состоит в том, что она «не позволяет себя прочесть».

¹. «Садик души...» (лат.).



БОЧОНОК АМОНТИЛЬЯДО

Тысячу обид я безропотно вытерпел от Фортунато, но, когда он нанес мне оскорбление, я поклялся отомстить. Вы, так хорошо знающий природу моей души, не думаете, конечно, что я вслух произнес угрозу. В конце концов я буду отомщен: это было твердо решено; но самая твердость решения обязывала меня избегать риска. Я должен был не только покарать, но покарать безнаказанно. Обида не отомщена, если мстителя настигает расплата. Она не отомщена и в том случае, если обидчик не узнает, чья рука обрушила на него кару.

Ни словом, ни поступком я не дал Фортунато повода усомниться в моем наилучшем к нему расположении. По-прежнему я улыбался ему в лицо, и он не знал, что теперь я улыбаюсь при мысли о его неминуемой гибели.

У него была одна слабость, у этого Фортунато, хотя в других отношениях он был человеком, которого должно было уважать и даже бояться. Он считал себя знатоком вин и немало этим гордился. Итальянцы редко бывают истинными ценителями. Их энтузиазм почти всегда лишь маска, которую они надевают на время и по мере надобности,— для того, чтобы удобнее надуть английских и австрийских миллионеров. Во всем, что касается старинных картин и старинных драгоценностей, Фортунато, как и прочие его соотечественники, был шарлатаном; но в старых винах он в самом деле понимал толк. Я разделял его вкусы: я сам высоко ценил итальянские вина и всякий раз, как представлялся случай, покупал их помногу.

Однажды вечером, в сумерки, когда в городе бушевало безумие карнавала, я повстречал моего друга. Он приветствовал меня с чрезмерным жаром,— как видно, он успел уже в этот день изрядно выпить; он был одет арле-

кином: яркое разноцветное трико, на голове остроконечный колпак с бубенчиками. Я так ему обрадовался, что долго не мог выпустить его руку из своих, горячо ее пожимая.

Я сказал ему:

— Дорогой Фортунато, как я рад, что вас встретил. Какой у вас цветущий вид. А мне сегодня прислали бочонок амонтильядо; по крайней мере продавец утверждает, что это амонтильядо, но у меня есть сомнения.

— Что? — сказал он. — Амонтильядо? Целый бочонок? Не может быть! И еще в самый разгар карнавала!

— У меня есть сомнения, — ответил я, — и я, конечно, поступил опрометчиво, заплатив за это вино, как за амонтильядо, не посоветовавшись сперва с вами. Вас нигде нельзя было отыскать, а я боялся упустить случай.

— Амонтильядо!

— У меня сомнения.

— Амонтильядо!

— И я должен их рассеять.

— Амонтильядо!

— Вы заняты, поэтому я иду к Лукрези. Если кто может мне дать совет, то только он. Он мне скажет...

— Лукрези не отличит амонтильядо от хереса.

— А есть глупцы, которые утверждают, будто у него не менее тонкий вкус, чем у вас.

— Идемте.

— Куда?

— В ваши погреба.

— Нет, мой друг. Я не могу злоупотреблять вашей добротой. Я вижу, вы заняты. Лукрези...

— Я не занят. Идем.

— Друг мой, ни в коем случае. Пусть даже вы свободны, но я вижу, что вы жестоко простужены. В погребах невыносимо сыро. Стены там сплошь покрыты селитрой.

— Все равно, идем. Простуда — это вздор. Амонтильядо! Вас бессовестно обманули. А что до Лукрези — он не отличит хереса от амонтильядо.

Говоря так, Фортунато схватил меня под руку, и я, надев черную шелковую маску и плотней запахнув домино, позволил ему увлечь меня по дороге к моему палаццо.

Никто из слуг нас не встретил. Все они тайком улизнули из дому, чтобы принять участие в карнавальном веселье. Уходя, я предупредил их, что вернусь не раньше утра, и строго наказал ни на минуту не отлучаться из дому. Я знал, что достаточно отдать такое приказание, чтобы они все до единого разбежались, едва я повернусь к ним спиной.

Я снял с подставки два факела, подал один Фортунато и с поклоном пригласил его следовать за мной через анфиладу комнат к низкому своду, откуда начинался спуск в подвалы. Я спускался по длинной лестнице, делавшей множество поворотов; Фортунато шел за мной, и я умолял его ступать осторожней. Наконец мы достигли конца лестницы. Теперь мы оба стояли на влажных каменных плитах в усыпальнице Монгрезоров.

Мой друг шел нетвердой походкой, бубенчики на его колпаке позванивали при каждом шаге.

— Где же бочонок? — сказал он.

— Там, подалее, — ответил я. — Но поглядите, какая белая паутина покрывает стены этого подземелья. Как она сверкает!

Он повернулся и обратил ко мне тусклый взор, затуманенный слезами опьянения.

— Селитра? — спросил он после молчания.

— Селитра, — подтвердил я. — Давно ли у вас этот кашель?

— Кха, кха, кха! Кха, кха, кха! Кха, кха, кха!

В течение нескольких минут мой бедный друг был не в силах ответить.

— Это пустяки, — выговорил он наконец.

— Нет, — решительно сказал я, — вернемся. Ваше здоровье слишком драгоценно. Вы богаты, уважаемы, вами восхищаются, вас любят. Вы счастливы, как я был когда-то. Ваша смерть была бы невознаградивой утратой. Другое дело я — обо мне некому горевать. Вернемся. Вы заболете, я не могу взять на себя ответственность. Кроме того, Лукрези...

— Довольно! — воскликнул он. — Кашель — это вздор, он меня не убьет! Не умру же я от кашля.

— Конечно, конечно,— сказал я,— и я совсем не хотел внушать вам напрасную тревогу. Однако следует принять меры предосторожности. Глоток вот этого меда защитит нас от вредного действия сырости.

Я взял бутылку, одну из длинного ряда лежавших посреди плесени, и отбил горлышко.

— Выпейте,— сказал я, подавая ему вино.

Он поднес бутылку к губам с цинической усмешкой. Затем приостановился и развязно кивнул мне, бубенчики его зазвенели.

— Я пью,— сказал он,— за мертвецов, которые покоятся во круг нас.

— А я — за вашу долгую жизнь.

Он снова взял меня под руку, и мы пошли дальше.

— Эти склепы,— сказал он,— весьма обширны.

— Монрезоры — старинный и плодовитый род,— сказал я.

— Я забыл, какой у вас герб?

— Большая человеческая нога, золотая, на лазоревом поле. Она попирает извивающуюся змею, которая жалит ее в пятку.

— А ваш девиз?

— *Nemo me impune lacessit!*¹

— Недурно! — сказал он.

Глаза его блестели от выпитого вина, бубенчики звенели. Медок разогрел и мое воображение. Мы шли вдоль бесконечных стен, где в нишах сложены были скелеты вперемешку с бочонками и большими бочками. Наконец мы достигли самых дальних тайников подземелья. Я вновь остановился и на этот раз позволил себе схватить Фортунато за руку повыше локтя.

— Селитра! — сказал я. — Посмотрите, ее становится все больше. Она, как мох, свисает со сводов. Мы сейчас находимся под самым руслом реки. Вода просачивается сверху и каплет на эти мертвые кости. Лучше уйдем, пока не поздно. Ваш кашель...

— Кашель — это вздор, — сказал он. — Идем дальше. Но сперва еще глоток меда.

¹ Никто не оскорбит меня безнаказанно! (лат.)

Я взял бутылку деграва, отбил горлышко и подал ему. Он осушил ее одним духом. Глаза его загорелись диким огнем. Он захохотал и подбросил бутылку кверху странным жестом, которого я не понял.

Я удивленно взглянул на него. Он повторил жест, который показался мне нелепым.

— Вы не понимаете? — спросил он.

— Нет, — ответил я.

— Значит, вы не принадлежите к братству.

— Какому?

— Вольных каменщиков.

— Нет, я каменщик, — сказал я.

— Вы? Не может быть! Вы вольный каменщик?

— Да, да, — ответил я. — Да, да.

— Знак, — сказал он, — дайте знак.

— Вот он, — ответил я, распахнув домино и показывая ему лопатку.

— Вы шутите, — сказал он, отступая на шаг. — Однако где же амонтильядо? Идемте дальше.

— Пусть будет так, — сказал я, пряча лопатку в складках плаща и снова подавая ему руку. Он тяжело оперся на нее. Мы продолжали путь в поисках амонтильядо. Мы прошли под низкими арками, спустились по ступеням, снова прошли под аркой, снова спустились и наконец достигли глубокого подземелья, воздух в котором был настолько сперт, что факелы здесь тускло тлели, вместо того чтобы гореть ярким пламенем.

В дальнем углу этого подземелья открывался вход в другое, менее поместительное. Вдоль его стен, от пола до сводчатого потолка, были сложены человеческие кости, точно так, как это можно видеть в обширных катакомбах, проходящих под Парижем. Три стены были украшены таким образом; с четвертой кости были сброшены вниз и в беспорядке валялись на земле, образуя в одном углу довольно большую грудку. Стена благодаря этому обнажилась, и в ней стал виден еще более глубокий тайник, или ниша, размером в четыре фута в глубину, три в ширину, шесть или семь в высоту. Ниша эта, по-видимому, не имела никакого особенного назначения; то был просто закоулок между двумя огромными столбами, поддержи-

вавшими свод, а задней ее стеной была массивная гранитная стена подземелья.

Напрасно Фортунато, подняв свой тусклый факел, пытался заглянуть в-глубь тайника. Слабый свет не проникал далеко.

— Войдите,— сказал я.— Амонтильядо там. А что до Лукрезии...

— Лукрезии невежда,— прервал меня мой друг и нетвердо шагнул вперед. Я следовал за ним по пятам. Еще шаг — и он достиг конца ниши. Чувствуя, что каменная стена преграждает ему путь, он остановился в тупом изумлении. Еще миг — и я приковал его к граниту. В стену были вделаны два кольца, на расстоянии двух футов одно от другого. С одного свисала короткая цепь, с другого — замок. Несколько секунд мне было достаточно, чтобы обвить цепь вокруг его талии и запереть замок. Он был так ошеломлен, что не сопротивлялся. Вынув ключ из замка, я отступил назад и покинул нишу.

— Проведите рукой по стене,— сказал я.— Вы чувствуете, какой на ней слой селитры? Здесь в самом деле очень сыро. Еще раз умоляю вас — вернемся. Нет? Вы не хотите? В таком случае я вынужден вас покинуть. Но сперва разрешите мне оказать вам те мелкие услуги, которые еще в моей власти.

— Амонтильядо! — вскричал мой друг, все еще не пришедший в себя от изумления.

— Да,— сказал я,— амонтильядо.

С этими словами я повернулся к груде костей, о которой уже упоминал. Я разбросал их, и под ними обнаружился порядочный запас обтесанных камней и известки. С помощью этих материалов, действуя моей лопаткой, я принялся поспешно замуровывать вход в нишу.

Я не успел еще уложить и один ряд, как мне стало ясно, что опьянение Фортунато наполовину уже рассеялось. Первым указанием был слабый стон, донесшийся из глубины тайника. То не был стон пьяного человека. Затем наступило долгое, упорное молчание. Я выложил второй ряд, и третий, и четвертый; и тут я услышал яростный лязг цепи. Звук этот продолжался несколько минут, и я, чтобы полнее им насладиться, отложил лопатку и присел

на грудю костей. Когда лязг наконец прекратился, я снова взял лопатку и без помех закончил пятый, шестой и седьмой ряд. Теперь стена доходила мне почти до груди. Я вновь приостановился и, подняв факел над кладкой, уронил слабый луч на темную фигуру в тайнике.

Громкий пронзительный крик, целый залп криков, вырвавшихся внезапно из горла скованного узника, казалось, с силой отбросил меня назад. На миг я смутился, я задрожал. Выхватив шпагу из ножен, я начал шарить ее концом в нише, но секунда размышления вернула мне спокойствие. Я тронул рукой массивную стену катакомбы и ощутил глубокое удовлетворение. Я вновь приблизился к стенке и ответил воплем на вопль узника. Я помогал его крикам, я вторил им, я превосходил их силой и яростью. Так я сделал, и кричавший умолк.

Была уже полночь, и труд мой близился к окончанию. Я выложил восьмой, девятый и десятый ряд. Я довел почти до конца одиннадцатый и последний, оставалось вложить всего один лишь камень и заделать его. Я поднял его с трудом; я уже наполовину вдвинул его на предназначенное место. Внезапно из ниши раздался тихий смех, от которого волосы у меня встали дыбом. Затем заговорил жалкий голос, в котором я едва узнал голос благородного Фортунато.

— Ха-ха-ха! Хи-хи-хи! Отличная шутка, честное слово, превосходная шутка! Как мы посмеемся над ней, когда вернемся в палаццо, — хи-хи-хи! — за бокалом вина — хи-хи-хи!

— Амонтильядо! — сказал я.

— Хи-хи-хи! Хи-хи-хи! Да, да, амонтильядо. Но не кажется ли вам, что уже очень поздно? Нас, наверное, давно ждут в палаццо... и синьора Фортунато и гости?.. Пойдемте.

— Да,— сказал я.— Пойдемте.

— Ради всего святого, Монтрезор!

— Да, — сказал я. — Ради всего святого.

Но я напрасно ждал ответа на эти слова. Я потерял терпение. Я громко позвал:

— Фортунато!

Молчание. Я позвал снова.

— Фортунато!

По-прежнему молчание. Я просунул факел в незаделанное еще отверстие и бросил его в тайник. В ответ донесся только звон бубенчиков. Сердце у меня упало: конечно, только сырость подzemелья вызвала это болезненное чувство. Я поспешил закончить свою работу. Я вдвинул последний камень на место, я заделал его. Вдоль новой кладки я восстановил прежнее ограждение из костей. Полстолетия прошло с тех пор, и рука смертного к ним не прикасалась. In pace requiescat!¹

¹ Да почист в мире! (лат.)



ЛЯГУШОНОК

Король был величайшим любителем шуток, другого такого я никогда не встречал. Казалось, он только ради шуток и живет. Рассказать какую-нибудь забавную историю, и рассказать по-настоящему забавно — таков был самый верный способ заслужить его милость. Вот потому-то и все семеро его министров были известные шутники. И не только тем они походили на короля, что были неподражаемыми шутниками, а еще и сложением: все, как на подбор, огромные, толстые, жирные. Уж не знаю, оттого ли люди толстеют, что много шутят, или, напротив, есть в самой толщине что-то располагающее к шуткам; несомненно одно: тощий шутник — *gaga avis in terris*¹.

Утонченное или, как сам он выражался, «призрачное» остроумие не занимало короля. Он особенно восхищался шуткой, если в ней была широта, и ради этого готов был терпеть, если она оказывалась длинной. Изощренность его утомляла. Вольтерову «Задигу» он предпочел бы «Гаргантюа» Рабле, и грубая потеха приходилась ему более по вкусу, нежели забавная игра слов.

В ту пору, о которой я веду речь, еще не вовсе вышли из моды придворные шуты. На Европейском континенте кое-кто из властителей еще держал при себе «дурака» в шутовском наряде и в колпаке с бубенцами, — «дураку» полагалось безотказно острить и потешать, а за это ему перепали крохи с королевского стола.

Разумеется, и наш король имел при себе «дурака». В самом деле, ему непременно требовалась толика глупости, ведь надо было как-то уравновесить груз мудрости семерых премудрых министров, не говоря уже о его собственной.

¹ Редкая птица (лат.).

Однако дурак, то бишь придворный шут нашего короля, был не только дураком. Король ценил его втрое за то, что он в придачу был еще и карлик и калека. В те времена при дворах владык карлики были в ходу не меньше, чем дураки; многие монархи просто не знали бы, как скоротать день (а при дворе дни тянутся дольше, чем где-либо в другом месте), не будь у них шута, чтобы смеяться его шуткам, и карлика, чтобы смеяться над ним. Но, как я уже упомянул, из сотни шутов девяносто девять — толсты, жирны и неуклюжи. А потому нашего короля весьма радовало, что его Лягушонок (так звали дурака) — тройное сокровище.

Как я полагаю, карлика нарекли Лягушонком не при крещении — скорее это прозвище дружно пожаловали ему семеро министров за то, что он не умел ходить, как все люди. Походка у него была странная, судорожная — он то ли прыгал, то ли извивался, и это несказанно забавляло короля, а также, разумеется, и утешало, ибо (несмотря на обширное брюхо и от природы непомерно большую, словно распухшую голову его величества) придворные все, как один, восхищались королевской стройностью и статностью.

На полу или на ровной дороге каждый шаг стоил Лягушонку острой боли и немалого труда, зато, словно в возмещение за искалеченные ноги, природа наделила его на диво мощными мускулистыми руками, и когда нужно было влезть на дерево, взобраться по канату или еще куда-нибудь вскарабкаться, он поистине совершал чудеса и всех поражал своей ловкостью. В таких случаях он больше походил не на лягушку, а на белку или мартышку.

Не умею сказать с полной достоверностью, из какой страны родом был Лягушонок. Но то был какой-то дикий край, о котором никто и не слыхивал, за тридевять земель от владений нашего короля. Там, в двух соседних провинциях, нашел Лягушонка и молоденькую девушку чуть побольше его ростом (однако на редкость изящную и стройную и притом замечательную танцовщицу) один из победоносных генералов нашего короля, силою оторвал обоих от родного дома и послал в дар своему повелителю.

Надо ли удивляться, что между двумя маленькими пленниками возникла душевная близость? Вскоре они сделались неразлучными друзьями. Лягушонок, хотя и развлекал всех, служа посмешищем, любовью окружающих отнюдь не пользовался и не часто мог оказать Трипетте какую-либо услугу; она же, хоть и карлица, отличалась столь милым нравом и совершенной красотой, что все ею восхищались, баловали ее, а потому она стала при дворе влиятельной особой — и, когда только могла, посредством этого влияния старалась облегчить участь Лягушонка.

По случаю одного торжественного события — уж не припомню, какого именно, — король решил устроить маскарад; а всякий раз, когда при нашем дворе затевался маскарад или иное празднество, никак не обойтись было без талантов Лягушонка и Трипетты. В особенности Лягушонок был уж такой выдумщик, такие сочинял представления, такие изобретал новые маски и наряды, что без его помощи казалось просто невысказанным устроить какое-либо пышное зрелище или костюмированный бал.

Настал вечер, на который назначен был *fete*¹. Под наблюдением Трипетты разубрали и разукрасили роскошную залу, пустив в ход всевозможные ухищрения, какие только могли придать *eclat*² маскараду. Весь двор охватило лихорадочное нетерпение. Разумеется, каждый должен был избрать себе подходящую маску и наряд. Очень многие заранее — за неделю или даже за месяц до празднества — определили свои роли, так что не оставалось ни малейшей неясности; ничего не было решено только у короля и семерых министров. Отчего все они колебались, сказать не умею, разве что в шутку. А вернее, они затруднялись на чем-либо остановиться оттого, что были все такие толстые. Но время не ждало, оставалась последняя надежда: послали за Трипеттой и Лягушонком.

Маленькие друзья послушно явились на зов короля, который в это время сидел, окруженный всеми семью советниками, и пил вино; оказалось, однако, что монарх

¹ Праздник (фр.).

² Блеск (фр.).

пребывает в самом дурном расположении духа. Он знал, что Лягушонок не выносит вина: оно возбуждало несчастного калеку, доводило чуть ли не до безумия, а чувствовать себя безумным не слишком приятно. Но король был любитель пошутить и, чтобы развлечься, принудил Лягушонка пить и (как выразился его величество) «веселиться».

— Поди сюда, Лягушонок,— сказал король, когда шут и его подруга переступили порог.— Осуши этот бокал за здоровье своих далеких друзей (тут Лягушонок вздохнул), а потом порадууй нас своей выдумкой. Нам нужны маски — настоящие маски, приятель, совсем новые, необычные. Нам прискучило вечное однообразие. На, выпей! Вино прояснит твой ум.

Лягушонок пытался, как всегда, ответить королю шуткой, но ему это не удалось. По несчастному совпадению день этот был днем рождения бедняги, и от приказания пить «за далеких друзей» на глаза его навернулись слезы. Крупные, горькие, они закапали в кубок, который он смиренно принял из рук тирана.

А тот громко захохотал, глядя на карлика, который скрепя сердце выпил все до дна.

— Ха-ха-ха! Поглядите-ка, что делает чарка доброго вина! Вот у тебя уже и глаза заблестели!

Несчастный! Большие глаза его не заблестели, а скорее, засверкали: действие вина на его легко возбудимый мозг было мгновенным и неодолимым. Дрожащей рукой поставил он кубок на стол и обвел присутствующих полубезумным взором. Всех, как видно, очень позабавила столь удачная королевская «шутка».

— А теперь поговорим о деле,— сказал премьер-министр, человек толщины необычайной.

— Да,— сказал король,— помоги-ка нам, Лягушонок. Кто мы такие, приятель, нам надо знать, кто мы все такие — ха-ха-ха!

Король всерьез воображал, что это очень остроумно, и к его смеху присоединились все семеро министров.

Засмеялся и Лягушонок, но каким-то жалким и растерянным смехом.

— Ну-ну,— торопил король.— Придумай же что-нибудь!

— Я стараюсь придумать что-нибудь новенькое,— рассеянно сказал карлик: от вина у него совсем помутилось в голове.

— Стараешься?! — злобно вскричал тиран.— Только и всего? А, понимаю. Ты обиделся, что я дал тебе мало вина. Вот, получай!

Он снова налил полный кубок и протянул калеке, а тот лишь тупо смотрел на вино, с трудом переводя дух.

— Пей, говорят! — заорало чудовище.— Не то, кланусь всеми демонами преисподней...

Карлик все мешкал. Король побагровел от ярости. Придворные пересмеивались. Трипетта, бледная как смерть, приблизилась к трону, упала на колени и стала умолять короля пощадить ее друга.

Минуту-другую тиран смотрел на нее, явно удивленный такой дерзостью. Казалось, он недоумевает — что тут сделать и что сказать, как самым подходящим способом выразить свое негодование. Наконец, без единого слова, он с силой оттолкнул Трипетту и выплеснул вино из полного до краев кубка ей прямо в лицо.

Бедная девушка кое-как поднялась на ноги и, не смея даже вздохнуть, возвратилась на свое место в конце стола.

Полминуты длилась гробовая тишина — упали сухой лист или перышко, и то было бы слышно. Тишину эту нарушил негромкий, но резкий и протяжный скрежет, который словно исходил из всех углов разом.

— Что... что... что такое? Зачем ты это делаешь? — в бешенстве спросил король, обернувшись к карлику.

Тот, казалось, почти оправился от вызванного вином оцепенения и, пристально, но спокойно глядя в лицо тирану, вымолвил только:

— Я? Помилуйте, разве это я?

— Звук как будто шел снаружи,— заметил кто-то из придворных.— По-моему, это попугай в клетке за окном точил клюв о прутья.

— Да, наверно,— отвечал властитель, словно бы успокоенный.— А я, вот честное слово, готов был поклясться, что это скрипел зубами наш бездельник.

Тут карлик засмеялся (король ведь был известный шутник и никому не возбранял смеяться) и выставил напоказ все свои большие, крепкие, на редкость безобразные зубы. Более того, он изъявил совершенную готовность выпить столько вина, сколько пожелают ему поднести. Тогда монарх сменил гнев на милость; Лягушонок без видимых дурных последствий осушил еще один кубок и тотчас с живостью заговорил о том, что придумал он для маскарада.

— Уж не знаю, какой тут был ход мысли,— начал он очень спокойно и так, словно даже и не пробовал вина,— но тотчас же после того, как ваше величество изволили ударить девушку и выплеснуть вино ей в лицо... тотчас после этого...когда попугай за окном еще скрипел так странно клювом, мне пришла на ум отменная забава... у меня на родине это одна из самых любимых игр, мы часто тешимся ею на наших маскарадах; но здесь она будет в новинку. Только вот беда, тут требуется сразу восемь человек и...

— Так вот же мы! — со смехом вскричал король, очень довольный тем, что так быстро подметил удачное совпадение.— Нас как раз восемь: я и мои министры. Говори же! Что это за игра?

— У нас она зовется «восемь скованных орангутангов», — отвечал карлик.— Если хорошо ее разыграть, это — превосходное развлечение. .

— Вот мы и разыграем,— сказал король, напыжился и надменно прищурился.

— Прелесть этой потехи в том, что она страшно пугает женщин,— заметил Лягушонок.

— Великолепно! — с хохотом закричали король и его министры.

— Я наряжу вас всех орангутангами, — продолжал карлик.— Я все сделаю сам. Сходство будет разительное, так что все остальные маски примут вас за настоящих зверей — и, конечно, не только изумятся, но и перепугаются.

— Превосходно! — воскликнул король.— Лягушонок, за это я сделаю тебя человеком.

— Цепи нужны для того, чтобы звоном и лязгом еще усилить переполох. Подумают, что вы en masse удрали от сторожей. Ваше величество не представляете себе, как это будет замечательно: в разгар маскарада восьмерка скованных орангутангов, которых почти все гости сочтут настоящими, с дикими воплями врывается в толпу изысканных кавалеров и нарядных дам. Контраст невообразимый!

— Да уж смотри! — сказал король.

Совещание тотчас закончили (ведь время было уже позднее) и поспешно взялись приводить в исполнение затею Лягушонка.

Чтобы обратить восьмерых толстяков в орангутангов, Лягушонок избрал способ очень простой, но вполне пригодный для его замысла. В ту пору, о которой повествует мой рассказ, обезьян этих в странах просвещенных почти не выдывали; карлик же обрядил всю компанию так, что выглядели толстяки вполне звероподобно и поистине пререзко, а потому едва ли кто мог бы заподозрить подделку.

Прежде всего король и семеро министров натянули на себя плотно облегающие рубашки и панталоны тонкой вязки. Потом их обмазали дегтем. Тут кто-то из них предложил вывалиться в перьях, но карлик отверг эту мысль, наглядно доказав всей восьмерке, что на шерсть чудовищной обезьяны куда больше похожа пенька. И вот слой дегтя покрыли толстым слоем пеньки. Затем добыли длинную цепь. Первым делом ею прочно опоясали короля, потом так же накрепко обернули цепью одного из министров и тем же манером, одного за другим, обвязали и соединили всю восьмерку. Когда дело было сделано, восемь толстяков разошлись как можно дальше друг от друга, образовался круг — и Лягушонок для пущего правдоподобия протянул остаток цепи крест-накрест через самую середину круга: так делают и в наши дни ловцы шимпанзе и других больших обезьян на острове Борнео.

Маскарад должен был состояться в огромной зале, совершенно круглой и очень высокой; солнечный свет проникал туда только через стеклянный потолок. По вечерам же (а зала эта предназначалась именно для вече-

ров) ее освещала исполинская люстра, свисавшая на цепи из люка в стеклянной крыше; люстру поднимали и опускали, как это обычно делается, при помощи противовеса, но он выведен был через купол наружу, чтобы не бросался в глаза.

Ведать убранством залы поручили Трипетте; но в иных частностях она, видно, следовала рассудительным советам своего друга-карлика. По его-то подсказке в этот вечер люстру убрали совсем. Ведь в такую жару свечи неизбежно будут ронять капли воска, это нанесло бы немалый урон богатым нарядам гостей, а гостей великое множество, и не смогут же все они держаться подальше от середины залы, что приходится под самой люстрой. В зале там и сям, в сторонке, чтобы никому не мешать, прибавили канделябров, да еще и каждой подпиравшей стену кариатиде (всего их насчитывалось пять или шесть десятков) в правую руку вставили факел, курившийся благовониями.

По совету Лягушонка, восемь орангутангов терпеливо ждали полуночи, чтобы появиться на маскараде, когда уже соберутся все приглашенные. И вот, едва отзвучал бой часов, они вбежали, вернее, комом вкатились в залу — ведь цепи мешали им, они спотыкались и мало кто удержался на ногах.

Смятение среди гостей поднялось невообразимое, и король возликовал. Как и предполагалось, почти все приняли неожиданно появившуюся свирепого вида ораву если и не за орангутангов, то, уж конечно, за доподлинных диких зверей. Многие женщины от страха лишились чувств; и, не запрети король являться во дворец с оружием, восьмерым весельчакам, пожалуй, пришлось бы кровью расплатиться за свою шалость. Теперь же гости в испуге кинулись к выходу, но король заранее распорядился, как только он войдет в залу, запретить все двери; а ключи переданы были карлику — по его же подсказке.

Сумятица достигла предела, каждый только и думал, как бы спастись самому (а опасаться и вправду было чего, такая давка началась в обезумевшей толпе), — и тут цепь, на которой обычно висела люстра и которую сегодня за ненадобностью подтянули кверху, начала медленно, пос-

тепенно опускаться, покуда крюк на конце ее не оказался в каких-нибудь трех футах от пола.

Вскоре после этого король и семеро его советников, которые без толку метались и кружили по зале, очутились на самой ее середине, совсем рядом со свисавшей с потолка цепью. И тут карлик (он все время неслышно следовал за ними по пятам, подбодряя их и подстрекая, чтоб не давали улечься суматохе) подхватил соединяющую их цепь в том месте, где пересекались ее концы. С быстротою мысли он продел в это перекрестие крюк, на котором подвешивали люстру; и мигом какая-то невидимая сила подтянула цепь кверху настолько, что до крюка уже нельзя было достать, а орангутанги, естественно, очутились в воздухе, совсем близко друг к другу, лицом к лицу.

Тем временем гости несколько оправились от испуга, догадались, что весь этот переполох — просто хитроумная шутка, — и затруднительное положение, в какое попали обезьяны, вызвало взрыв веселого смеха.

— Предоставьте их мне! — закричал тут Лягушонок, и, не смотря на шум и гам, все услышали его пронзительный голос.— Предоставьте их мне! Кажется, я их знаю. Дайте только взглянуть поближе, и я скажу вам, кто они такие!

С этими словами, карабкаясь чуть ли не по головам теснившихся гостей, он добрался до стены, выхватил у одной из кариатид факел, тем же способом вернулся на середину залы, с ловкостью мартышки прыгнул на голову королю, затем вскарабкался на несколько футов вверх по цепи — и стал при свете факела разглядывать висящих под ним орангутангов; при этом он снова и снова кричал:

— Сейчас я узнаю, кто они такие!

Все, кто был в зале, в том числе и сами обезьяны, корчились от смеха, как вдруг шут пронзительно свистнул; цепь рывком поднялась на добрых тридцать футов, вздернув кверху отчаянно трепыхавшихся орангутангов, и они беспомощно повисли на полпути между полом и стеклянной крышей. Лягушонок по-прежнему держался за цепь выше их и, как ни в чем не бывало, совал под нос

то одному, то другому факел, будто силился их разглядеть.

Всех так ошеломил этот неожиданный взлет, что на долгую минуту водворилось молчание. И в тишине раздался негромкий, резкий звук — тот самый, что еще недавно поразил слух короля и его советников, когда король плеснул вином в лицо Трипетте. Но теперь уже не оставалось сомнений в том, откуда исходил странный скрежет. Это с пеной у рта скрипел и скрежетал своими ужасными зубами карлик, свирепо, с яростью безумца смотрел он в запрокинутые кверху лица короля и семерых министров.

— Ага! — промолвил наконец взбешенный шут. — Ага, теперь мне ясней видно, что это за люди!

Прикидываясь, будто хочет получше рассмотреть короля, он поднес факел к косматой «шкуре» из пеньки, и та мигом воспламенилась. Не прошло и полминуты, как пламя охватило всех восьмерых орангутангов под вопли пораженной ужасом толпы, которая глядела на них снизу, не в силах хоть чем-нибудь помочь.

Пламя вдруг вспыхнуло еще жарче, и шуту пришлось вскарабкаться выше по цепи, чтобы его не настигли огненные языки; следя за ним, толпа на минуту притихла. Карлик воспользовался случаем и вновь заговорил.

— Вот теперь я вижу ясно, что за люди эти ряженные, — сказал он. — Это великий король и семеро его ближайших советников... король, который без зазрения совести ударил беззащитную девушку, и семеро его приближенных, которых только веселило это надругательство. А я — я просто Лягушонок, я шут — и это моя последняя шутка!

И пенька и деготь горят превосходно, так что, едва карлик закончил свою краткую речь, завершилась и его месть. На цепях зловонными, почерневшими, отвратительными комьями повисли восемь безжизненных тел. Калекка швырнул в них факелом, не спеша вскарабкался под самый потолок, пролез в люк и скрылся.

Полагают, что Трипетта, спрятавшись на стеклянной кровле, помогла другу свершить огненное мщение и что они вместе бежали в родные края, ибо никто их больше не видел.



«ТЫ ЕСИ МУЖ, СОТВОРИВЫЙ СИЕ...»

Мне предстоит сейчас исполнить роль Эдипа — разгадать загадку Рэттлборо. Я намерен открыть вам (потому что, кроме меня, никто в мире этого не сделает) секрет титроумной выдумки, без которой не бывать бы чуду в Рэттлборо — чуду единственному в своем роде, истинному, общепризнанному, бесспорному и неоспоримому чуду; оно обратило к старушечьей набожности всех, кто прежде, не заботясь о спасении души, отваживался щеголять своим неверием.

Это случилось (я должен заранее просить извинения за неуместно легкомысленный тон моего рассказа) летом 18... года. Мистер Барнабас Челноук, один из наиболее состоятельных и уважаемых жителей городка, вот уже несколько дней как не появлялся, исчезнув при обстоятельствах, которые давали повод для самых мрачных подозрений. Мистер Челноук выехал из Рэттлборо верхом рано утром в субботу; он направлялся в ..., что лежит в милях пятнадцати от Рэттлборо, и рассчитывал возвратиться в тот же день к вечеру. Два часа спустя лошадь вернулась назад без всадника и без вьюков, которые мистер Челноук приторочил к седлу перед отъездом. Вдобавок животное было ранено и покрыто грязью. Все это, вместе взятое, разумеется, весьма встревожило друзей пропавшего; а когда в воскресенье утром стало известно, что мистер Челноук все еще не объявился, весь город поднялся и en masse¹ отправился на розыски тела.

Застрельщиком и самым энергичным организатором этих поисков был близкий друг мистера Челноука, некий мистер Чарлз Душкинз, или, как все кругом его называ-

¹ Сообща, толпой (франц.).

ли, — «Чарли Душкинз», или еще проще — «старина Чарли Душкинз». Есть ли тут некое чудесное совпадение или само имя незаметно оказывает влияние на характер — этого я никогда толком не мог понять; но факт остается фактом: никогда еще не бывало на свете человека по имени Чарлз, который не был бы храбрым, честным и откровенным малым, душа нараспашку; голос у него мягкий, внятный и ласкающий слух, а глаза всегда глядят вам прямо в лицо и словно говорят: «У меня совесть чиста, бояться мне некого, и, уж во всяком случае, ни в каких грязных делишках я не замешан». Вот почему любого из приветливых и беззаботных театральных статистов почти наверняка зовут Чарлз.

Итак, «старине Чарли Душкинзу», — хоть он и появился в городке всего месяцев шесть назад или что-то около того и хотя прежде никто и никогда о нем не слышал, — не стоило ни малейшего труда завязать знакомства со всеми уважаемыми гражданами Рэттлборо. Любой из них, не задумываясь, ссудил бы ему под честное слово тысячу монет, а что касается женщин, то просто невозможно придумать, чего бы они только ни сделали, лишь бы угодить «старине Чарли». И все потому, что при крещении его нарекли Чарлзом — и, следовательно, он уже не мог не обладать тем открытым лицом, которое, как говорится в пословице, само по себе — лучшее рекомендательное письмо.

Я уже упомянул, что мистер Челноук был одним из самых уважаемых и, несомненно, самым состоятельным человеком в Рэттлборо, а «старина Чарли Душкинз» был с ним в такой тесной дружбе, точно брат родной. Оба старых джентльмена жили рядом, дверь в дверь, и хотя мистер Челноук едва ли хоть раз побывал в гостях у «старины Чарли» и, насколько известно, никогда не садился к столу в его доме, все же, как я только что заметил, это нисколько не мешало теснейшей близости двух друзей: дня не проходило без того, чтобы «старина Чарли» раза три-четыре не забежал к соседу справиться, как дела, весьма часто оставаясь к завтраку или к чаю и почти ежедневно — к обеду; а уж сколько стаканчиков пропускали приятели за один присест, подсчитать и в самом

деле не так-то просто. Любимым напитком «старины Чарли» было Chateau-Margaux¹, и глядя, как оно исчезает, кварта за квартикой, в глотке у этого достойного джентльмена, мистер Челноук радовался, казалось, от всей души. Однажды, когда винные пары, изгоняя здравый смысл, наполнили головы, а бутылки соответственно опустели, мистер Челноук, хлопая своего закадычного друга со всего размаху по спине, объявил ему: «Вот что я тебе скажу, старина Чарли, ты решительно самый славный малый, какого мне только доводилось встречать на своем веку, и раз тебе нравится хлестать вино вот этаким вот манером, так будь я проклят, если не подарю тебе здоровенного ящика Шато-Марго! Разрази меня бог (у мистера Челноука была прискорбная привычка божиться, хоть он и редко заходил дальше «Разрази меня Бог», или «Ей-же-ей», или «Чтоб мне пропасть»), разрази меня Бог,— продолжал он,— если я сегодня же после обеда не отправлю в город заказ на двойной ящик самого лучшего Шато, какое только удастся сыскать, и я подарю его тебе, да, подарю! Молчи, не возражай мне — непременно подарю, слышишь? Вот так! Запомни — на днях тебе его доставят,— как раз тогда, когда ты и ждать-то совсем не будешь!» Я вспомнил об этом ничего не значащем проявлении щедрости со стороны мистера Челноука лишь для того, чтобы показать вам, какими близкими были отношения двух друзей.

Так вот, в то воскресное утро, о котором идет речь, когда стало уже совершенно ясно, что с мистером Челноуком приключилось что-то неладное, никто, по-моему, не был потрясен глубже, чем «старина Чарли Душкинз». В первую минуту, услышав, что лошадь вернулась домой одна, без хозяина и без хозяйских седельных вьюков, вся залитая кровью, струившейся из раны,— пистолетная пуля насквозь пробила грудь несчастного животного, но не смогла уложить его на месте,— услышав об этом, он весь побелел, будто пропавший был его любимым братом или отцом, и задрожал всем телом, словно в тяжком пароксизме лихорадки.

¹ Шато-Марго (фр.).

Сначала он был слишком поглощен своим горем для того, чтобы как-то начать действовать или обдумывать какой-нибудь план, и даже довольно долго пытался уговорить остальных друзей мистера Челноука не принимать пока никаких мер: лучше всего, дескать, немного выждать — скажем, неделю, или две, или месяц-другой, — вдруг что-то выяснится или, глядишь, появится сам мистер Челноук, собственной персоной, и объяснит, почему ему вздумалось отправить лошадь вперед. Я полагаю, вам не раз случалось замечать это желание повременить, помешкать у людей, которых гложет нестерпимая, мучительная скорбь. Душа их обессилела и словно оцепенела, они испытывают ужас перед всяким подобием действия и ни на что в мире не променяют возможности лежать неподвижно в постели и, как выражаются пожилые леди, «лелеять свое горе», иными словами — снова и снова оплакивать случившееся несчастье.

Жители Рэттлборо были столь высокого мнения об уме и рассудительности «старины Чарли», что большею частью склонялись к мысли согласиться с ним и не трогаться с места, «пока что-нибудь не выяснится», — как выразился этот почтенный старый джентльмен; и я полагаю, что в конце концов на том бы все и порешили, если бы не крайне подозрительное вмешательство племянника мистера Челноука, молодого человека весьма беспорядочного образа жизни и к тому же с отвратительным характером. Этот племянник, по фамилии Шелопайн, и слушать не хотел ни о каких доводах вроде того, что «нужно-де сидеть спокойно», и настоятельно требовал немедленных поисков «тела убитого». Именно так он и сказал, и мистер Душкинз тогда же справедливо заметил, что «выражение это — по меньшей мере странное». Последнее замечание «старины Чарли» также произвело большое впечатление на собравшихся, и слышали даже, как кто-то весьма внушительно вопрошал: «Что же это получается? Молодой мистер Шелопайн так хорошо знаком со всеми обстоятельствами исчезновения своего богатого дяди, что чувствует себя вправе ясно и недвусмысленно утверждать, будто дядя его «убит»?» После этого некоторые из числа присутствовавших обменялись колкостями и резкими сло-

вами, а в особенности — «старина Чарли» и мистер Шелопайн; последнее, впрочем, никого особенно не удивило, ибо вот уже три или четыре месяца, как между ними не было и намека на приязнь и доброжелательство, а однажды дошло до того, что мистер Шелопайн ударом кулака сбил с ног друга своего дяди, якобы за какую-то чрезмерную вольность, которую тот позволил себе в доме дяди, где проживал и племянник. Говорят, что в ту минуту «старина Чарли» явил собою образец выдержки и христианского смирения. Он поднялся на ноги, привел в порядок свое платье и даже не попытался воздать обидчику злом за зло. Он только пробормотал несколько слов, что, мол, «за все расквитается с ним при первом удобном случае» — естественное и вполне понятное излияние гнева, ничего, впрочем, не значившее и, вне всякого сомнения, тут же забытое.

Как бы там ни было (случай этот не имеет ни малейшего касательства к тому, о чем идет речь здесь), известно, что граждане Рэттлборо, послушавшись уговоров мистера Шелопайна, решили наконец разойтись по окрестностям и приступить к розыскам исчезнувшего мистера Челноука. Я хочу сказать, что к такому решению они пришли в первую минуту. Когда никто уже более не сомневался, надо ли начинать розыски, было высказано мнение, что участники поисков должны, разумеется, разойтись в разные стороны, иными словами — разбиться на группы для более тщательного обследования местности вблизи города. Но «старина Чарли» с помощью цепи остроумных рассуждений (я уж теперь не помню, каких именно) убедил собравшихся, что этот план — самый неразумный из всех возможных. Да, убедил — всех, кроме мистера Шелопайна. Итак, условились, что поиски, упорные и весьма обстоятельные, будут вести горожане en masse, во главе с самим «старинию Чарли».

Что касается заключительной части этого решения, то лучшего предводителя, чем «старина Чарли», найти было невозможно: каждый знал, что взор у него острее, чем у рыси. Но хоть он и заглядывал со своим отрядом во всевозможные ямы и скрытые от человеческих взоров уголки, хоть он и водил его по дорогам, о существовании

которых никто и не подозревал, и хотя поиски продолжались непрерывно, днем и ночью, почти целую неделю, все же никаких следов мистера Челноука обнаружить не удалось. Впрочем, когда я говорю «никаких следов», не нужно понимать меня буквально, потому что кое-какие следы, конечно, были. Путь несчастного джентльмена удалось проследить по отпечаткам подков его лошади (на этих подковах была особая метка) до известного пункта, примерно в трех милях к востоку от городка, на большой дороге, ведущей в соседний город. Здесь следы сворачивали на глухую тропинку; она шла прямо через лес и снова выходила на большую дорогу, сокращая путь примерно на полмили. Отпечатки подков на тропе привели наконец к заболоченному озерку, скрывавшемуся в зарослях ежевики справа от тропинки, и напротив этого озерка все следы терялись. Заметно было, однако, что здесь происходила какая-то схватка и, по-видимому, с тропинки в воду тянули волоком какое-то большое и тяжелое тело, гораздо больше и тяжелее человеческого. Дно озерка тщательно обшарили дважды, но ничего не нашли, и горожане, разочаровавшись и не веря в успех дела, готовы были уже отправиться дальше, когда провидение внушило мистеру Душкинзу счастливую мысль спустить воду совсем. Этот план встретили возгласами одобрения и восторженными похвалами проничательности и уму «старшины Чарли». Так как многие запаслись лопатами на случай, если придется выкапывать труп, воду отвели легко и быстро; и едва лишь показалось покрытое илом дно, как на самой середине был обнаружен черный бархатный жилет, в котором почти все присутствовавшие немедленно опознали собственность мистера Шелопайна. Жилет был весь изодран и испачкан кровью, и сразу же объявились люди, которые отчетливо помнили, что он был на своем владельце в то самое утро, когда мистер Челноук отправился в город. Объявились и другие, готовые, в случае надобности, присягнуть, что в течение всей остальной части столь памятного дня той одежды, о которой идет речь, на мистере Ш. не было; но не нашлось никого, кто стал бы утверждать, что хоть раз видел ее на мистере Ш. после исчезновения мистера Челноука.

Дело принимало серьезный для мистера Шелопайна оборот, и в качестве доказательства, неоспоримо подтверждающего возникшие против него подозрения, было отмечено, что он побелел как стена, а на вопрос, может ли он что-нибудь сказать в свое оправдание, не сумел ответить ни слова. Вслед за тем немногие друзья, которых еще не успел оттолкнуть его разгульный образ жизни, покинули его, бежали все до одного и даже ухитрились перекричать старых и откровенных врагов, требуя немедленного ареста преступника. Но тем ярче засияло на этом фоне великодушие мистера Душкинза. Он выступил с горячей и чрезвычайно красноречивой защитой мистера Шелопайна и на протяжении своей речи неоднократно намекал, что от чистого сердца простил этому несдержанному юному джентльмену — «наследнику достопочтенного мистера Челноука» — оскорбление, которое он (юный джентльмен), бесспорно в пылу гнева, счел возможным нанести ему (мистеру Душкинзу). Да, он прощает его от всей души; и что до него (мистера Душкинза), то он никак не намерен обострять до предела подозрения, которые — увы, этого нельзя отрицать — возникли против мистера Шелопайна; он (мистер Душкинз) сделает все, что в его силах, употребит весь скромный запас красноречия, которым он располагает, для того чтобы... для того чтобы... ну, скажем, сгладить — насколько позволит ему совесть — наиболее сомнительные обстоятельства этого и впрямь до крайности запутанного дела.

Мистер Душкинз продолжал в том же духе еще с полчаса, которые послужили к вящему прославлению как его ума, так и сердца. Но вы ведь сами знаете этих добряков — словам их так редко удается достигнуть цели; охваченные самым горячим желанием помочь другу, они теряют голову и окончательно запутываются во всевозможных *contretemps*¹ и *mala proposisms*² и таким образом — часто с наилучшими намерениями — приносят делу несравненно больше вреда, чем пользы.

¹ Здесь: неблагоприятных деталей (*франц.*).

² Неуместных оговорок (*франц.*).

Так получилось и теперь — невзирая на все красноречие «старины Чарли». Хоть он и не щадил своих сил, действуя в интересах заподозренного, все же, по какой-то необъяснимой причине, любой звук, слетавший с уст мистера Душкинза и непреднамеренно, но вполне очевидно направленный к тому, чтобы вознести оратора в глазах его слушателей, лишь укреплял подозрения, уже возникшие против того, чьим адвокатом он выступал, и разжигал ярость толпы.

Одним из самых досадных промахов, допущенных оратором, было упоминание о том, что заподозренный — «наследник достопочтенного мистера Челноука». И в самом деле, раньше никому это и в голову не приходило. Помнили только, что год или два назад дядя, у которого не было никаких других родственников, кроме племянника, грозился лишить его наследства, а потому все и всегда считали эту потерю наследства делом решенным — очень уж простодушны были граждане Рэттлборо. Но замечание, оброненное «старинной Чарли», сразу же заставило их призадуматься и помогло увидеть, что иногда угрозы могут оказаться только угрозами, не больше. И сразу же встал вполне естественный вопрос, — *cui bono*? — вопрос, который еще более упрямо, чем жилет, возлагал бремя страшного обвинения на плечи молодого человека. Здесь, — так как я опасаясь, что меня могут понять неправильно, — разрешите мне отвлечься на мгновение: я хотел бы лишь отметить, что чрезвычайно лаконичная и простая латинская фраза, которую я употребил, неизменно переводится и истолковывается неверно. «*Cui bono?*» во всех модных романах и вообще в романах — например, у миссис Гор (автора «Сесил»), леди, которая приводит цитаты на всех языках, от халдейского до наречия племени чикасау, и в своих систематических «насуточно необходимых» занятиях пользуется услугами мистера Бекфорда, — во всех, повторяю, модных романах, от Булвера и Диккенса до Зашибигроша и Эйнсворта, два коротких латинских слова «*cui bono?*» переводятся «с какой целью?» или (будто это *quo bono*) — «чего ради?». А между тем подлинное их значение — «в чью пользу?» *Cui* — «кому», *bono* — «на благо». Это чисто юридическая фор-

мула, и применяется она как раз в делах вроде нашего, нынешнего — когда вероятный субъект деяния устанавливается в зависимости от вероятной выгоды, которую может принести тому или иному лицу совершение деяния. И вот, в данном случае, вопрос *сui bono?* бросал весьма густую тень на мистера Шелопайна. Его дядя, составив завещание в его пользу, позже грозил ему лишением наследства. Но угроза не была исполнена: старое завещание, по-видимому, изменено не было. Если бы оно было изменено, единственным возможным мотивом для убийства могла бы оказаться обычная жажда мести; однако в этом случае злomu чувству могла бы противостоять надежда вновь снискать благосклонность дяди. Но коль скоро завещание осталось неизменным, а угроза изменить его продолжала висеть над головою племянника, — тут уже сразу становится очевидным самый сильный из всех возможных стимулов к зверской расправе. Именно так и решили, обнаруживая глубочайшую проницательность, достойные граждане Рэттлборо.

В соответствии с этим решением мистер Шелопайн был немедленно арестован, и толпа, еще немного поискав и порыскав, отправилась домой, держа под стражей своего пленника. По пути, однако, открылось новое обстоятельство, подкрепившее прежние подозрения. Кто-то заметил, как мистер Душкинз, который, в силу ревностного своего усердия, все время немного обгонял остальных, вдруг бросился вперед, пробежал несколько шагов, а потом нагнулся и, по-видимому, поднял какой-то небольшой предмет, лежавший в траве. Заметили также, что, быстро осмотрев этот предмет, он попытался, правда довольно неуверенно, потихоньку сунуть его в карман сюртука; но эта попытка была, как я уже сказал, обнаружена и, разумеется, предупреждена. Тут-то и выяснилось, что находка мистера Душкинза — не что иное, как испанский нож, в котором не меньше дюжины свидетелей сразу же опознали вещь, принадлежавшую мистеру Шелопайну. Более того: на рукоятке были выгравированы его инициалы. Лезвие было обнажено и испачкано кровью.

Теперь виновность племянника не вызывала больше сомнений, и, немедленно по прибытии а Рэттлборо, он был доставлен к следователю для допроса.

Здесь положение мистера Шелопайна еще ухудшилось и стало неблагоприятным до крайности. В ответ на вопрос, где он находился в то утро, когда исчез мистер Челноук, арестованный имел дерзость подтвердить, что в то самое утро он охотился с ружьем на оленей совсем рядом с озерком, на дне которого, благодаря сообразительности мистера Душкинза, был обнаружен запятнанный кровью жилет.

Тут вышеозначенный джентльмен выступил вперед и, со слезами на глазах, просил разрешить ему дать показания. Он заявил, что непреклонное чувство долга, которое он питает по отношению к своему Творцу, а равно и по отношению к своим братьям здесь, на земле, не позволяет ему дольше хранить молчание. До сих пор глубочайшая привязанность к молодому человеку (несмотря на последнюю его резкую выходку, направленную против него, мистера Душкинза) заставляла его строить всевозможные гипотезы, какие только могло подсказать воображение, чтобы как-то объяснить то, что представлялось подозрительным в обстоятельствах, столь решительно и серьезно говоривших против мистера Шелопайна; но эти обстоятельства становятся теперь слишком убедительными... слишком уличающими; он не станет больше колебаться, он расскажет все, что знает, хотя его (мистера Душкинза) сердце готово, от страшного напряжения, разорваться на куски. Итак, он поведал, что во второй половине дня, накануне отъезда мистера Челноука в город, этот достойный старый джентльмен, в его (мистера Душкинза) присутствии, намекнул своему племяннику, что завтрашнюю поездку он предпринимает для того, чтобы положить в Сельскохозяйственный и промышленный банк чрезвычайно крупную сумму; при этом упомянутый мистер Челноук прямо и недвусмысленно объявил упомянутому племяннику о своем бесповоротном решении уничтожить прежнее завещание и лишить его наследства. Он (свидетель) далее торжественно призвал обвиняемого ответить, являются или не являются его (свидетеля)

показания, которые он только что дал, истиной во всех своих существенных подробностях. К великому удивлению всех присутствующих, мистер Шелопайн открыто признал, что все это — истина.

Тогда следователь счел своим долгом отправить двух констеблей с наказом обыскать комнату, которую занимал обвиняемый в доме своего дяди. Посланные обернулись почти молниеносно и принесли знакомый многим коричневый кожаный бумажник, оправленный стальной полоской, с которым старый джентльмен не расставался вот уже много лет. Однако его драгоценное содержимое исчезло, и следователь безуспешно старался выпытать у арестованного, на что он употребил деньги или куда он их спрятал,— мистер Шелопайн упорно утверждал, что знать ничего не знает. Констебли обнаружили также, под матрацем несчастного, рубашку и шейный платок — оба помеченные его инициалами и оба ужасающе перепачканные кровью жертвы.

При таком-то стечении обстоятельств было доставлено известие, что лошадь убитого только что пала в своем стойле от раны, которую она получила в памятный для всех день, и мистер Душкинз высказался в том смысле, что необходимо немедленно произвести обследование *post mortem*¹ и выяснить, не удастся ли обнаружить пулю. Так и поступили; и вот, словно для того, чтобы развеять последние сомнения в виновности арестованного, мистру Душкинзу, после долгого и тщательного осмотра грудной полости лошади, удалось найти и извлечь пулю весьма необычных размеров, которые, как было установлено экспертизой, в точности совпадали с калибром ружья мистера Шелопайна; с другой стороны, ни у кого в городке и его окрестностях не было второго ружья с таким же стволом. Но и это еще не все: на пуле заметили что-то вроде трещинки или бороздки, проходившей под прямым углом к обычному шву; расследование показало, что бороздка эта как раз соответствует случайной неровности или выступу в литейной форме, принадлежавшей — по его же собственному признанию — обвиняемому. Осмот-

¹ Здесь: мертвого тела (*лат.*).

рев найденную пулю, следовательно отказался выслушивать дальнейшие показания и тут же объявил, что арестованный будет предан суду. Он решительно отклонил просьбу выпустить мистера Шелопайна на поруки, хотя мистер Душкинз весьма горячо протестовал против такой суровости и вызывался внести в залог любую сумму, какую только потребуют власти. Впрочем, великодушные «старшины Чарли» никого не удивило: оно было в полном соответствии с общим характером его поведения, с доброжелательством и рыцарской любезностью, от которых он ни разу не отступил за все время своего пребывания в Рэттлборо. В данный момент этот достойный человек был до такой степени увлечен порывом чрезмерно горячего сострадания, что, изъявляя намерение взять на поруки своего юного друга, совсем забыл, по-видимому, что сам он (мистер Душкинз) гроша за душой не имеет.

Дальнейшее развитие событий предугадать нетрудно. Когда мистер Шелопайн, сопровождаемый громогласными проклятиями всего Рэттлборо, предстал перед судом во время ближайшей сессии, цепь косвенных улик (ставшая еще крепче благодаря некоторым дополнительным порочающим фактам, утаить каковые от блюстителей правосудия мистеру Душкинзу помешала его на редкость чуткая совесть) была признана до такой степени очевидной и нерасторжимой, что присяжные, не покидая своих мест, немедленно вынесли вердикт: «Виновен в убийстве при отягчающих вину обстоятельствах». Вскоре вслед за тем несчастный выслушал смертный приговор и был препровожден в окружную тюрьму, где ему предстояло ожидать неумолимого возмездия закона.

А тем временем «старина Чарли Душкинз» за благородное свое поведение сделался вдвойне дорог честным гражданам Рэттлборо. Он стал в десять раз более популярен, чем когда бы то ни было. И — вполне естественно — в ответ на гостеприимство, которым пользовался он сам, ему, волей-неволей, пришлось смягчить режим строжайшей экономии, на каковой до сей поры его обрекала бедность: в доме мистера Душкинза стали весьма часты маленькие reunions¹, шутка и веселье царили на них без-

¹ Сборы (франц.).

раздельно... разумеется, слегка омраченные мелькавшим временем от времени воспоминанием о тяжелой и печальной участи, которая угрожала племяннику незабвенного усопшего, приходившегося столь близким другом хлебосольному хозяину.

В один прекрасный день этот великодушный старый джентльмен был приятно изумлен, получив письмо следующего содержания:

«Чарлзу Душкинзу, эсквайру.

Дорогой сэръ! В соответствии с заказом, сделанным нашей фирме около двух месяцев назад нашим уважаемым клиентом мистером Барнабасом Челноуком, имеем честь отгрузить сегодня утром на Ваш адрес двойной ящик Шато-Марго марки «Антилопа» с лиловой печатью. Номер и маркировку ящика см. на полях.

*Остаемся, сэръ,
готовые к услугам*

Суиноу, Тиноу, Глиноу и К°

*Город **, 21 июня, 18...*

P.S. Ящик будет доставлен Вам фугоном на следующий день после получения настоящего письма. Просим засвидетельствовать наше почтение мистеру Челноуку.

С., Т, Г. и К™

Шат.Мар. А - №1. -
6 дюж. бутылоч (1/2 гросса)
Чарлзу Душкинзу, эскв., Рэттлборо

В самом деле, мистер Душкинз после смерти мистера Челноука оставил всякую надежду когда-нибудь получить обещанное Шато-Марго, а потому теперь усмотрел в этом своего рода дар, ниспосланный ему провидением. Разумеется, он был в восторге и, не в силах совладать с переполнявшей его радостью, пригласил на завтра, к *re-tit souper*¹, большую компанию друзей, чтобы вместе распробовать подарок старого доброго мистера Челноука. Не то чтобы он упомянул «старого доброго мистера Челноу-

¹ Скромному ужину (франц.).

ка», приглашая к себе гостей,— нет, он долго думал и решил вовсе о нем не упоминать. Если память мне не изменяет, он и словом не обмолвился о том, что получил Шато-Марго в подарок. Он просто попросил друзей помочь ему распить замечательное, с тончайшим букетом вино, которое он выписал из города месяца два назад и которое завтра должно прибыть. Я часто недоумевал, почему «старина Чарли» решил скрыть, что это вино — подарок его старого друга, но никогда не мог понять толком соображений, заставивших его хранить молчание, хотя какие-то прекрасные и весьма великодушные соображения у него, несомненно, были.

Наконец наступило завтра, и в доме мистера Душкинза собралось весьма многочисленное и в высшей степени респектабельное общество. И правда — тут было чуть не полгородка (и я в том числе), но, к великому огорчению хозяина, час шел за часом, гости уже успели в самых широких пределах воздать должное роскошному угощению, выставленному «старинной Чарли», а Шато-Марго все не появлялось. Впрочем, в конце концов, оно все-таки прибыло,— чудовищных размеров ящик, смею вас заверить! — и, так как настроение у всех присутствовавших было преотличное, *pet. con.*¹ решили водрузить ящик на стол и вскрыть немедленно.

Сказано — сделано. Я тоже приложил руку, и в мгновение ока мы действительно водрузили ящик на стол, посреди всех бутылок и стаканов, немалое число коих было разбито в ходе этой операции. Тут «старина Чарли», здорово захмелевший и порядком раскрасневшийся, с комически важным видом занял место во главе стола и принялся неистово колотить по нему графином, призывая гостей соблюдать порядок «во время церемонии вскрытия сокровища».

После нескольких громогласных призывов спокойствие было наконец восстановлено полностью, и, как нередко случается в подобных случаях, воцарилась глубокая и многозначительная тишина. Меня попросили приподнять крышку, и я, разумеется, согласился «с величайшей охо-

¹ *Nemine contrdicente* - единогласно (лат.).

той». Я всунул в щель долото и несколько раз слегка ударил по нему молотком, как вдруг доски отскочили, и в тот же миг из ящика приподнялся и, резко выпрямившись, сел прямо перед хозяином весь покрытый синяками, окровавленный и уже полуразложившийся труп убитого мистера Челноука. Секунду-другую он пристально и скорбно глядел своими потухшими, тронутыми тлением глазами в лицо мистеру Душкинзу, потом медленно, отчетливо и с потрясающей силою вымолвил: «Ты еси муж, сотворивый сие!»— и перевалился через край ящика, словно до конца удовлетворенный, разметав по столу трепещущие руки.

То, что за этим последовало, не поддается никакому описанию. Свалка у дверей и окон была умопомрачительная, и немало дюжих мужчин в комнате буквально попадали в обморок от ужаса. Но после того, как первый, безумный, истерический припадок страха миновал, все взоры обратились к мистеру Душкинзу. Проживи я и тысячу лет, мне никогда не забыть выражения смертной муки, начертанного на этом белом как мел лице, еще так недавно рдевшем от вина и от упоения своим торжеством. Несколько минут он сидел неподвижно, будто мраморная статуя; его глаза, в предельной отрешенности пристального их взгляда, были словно бы обращены внутрь и погружены в созерцание обитающей в этом теле ничтожной и преступной души. Наконец, точно возвращаясь к жизни, они сверкнули внезапным блеском; содрогнувшись, мистер Душкинз вскочил со стула, тяжело уронил голову и плечи на стол, так что они коснулись трупа, и с уст его быстро и бурно полилось подробное признание в гнусном злодействе, за которое мистер Шелопайн был заключен в тюрьму и приговорен к смерти.

То, что он рассказал, сводилось приблизительно к следующему: он следовал за своей жертвой почти до самого озера, выстрелил из пистолета в грудь лошади, всадника уложил ударом рукояти, а затем завладел бумажником и, полагая, что лошадь мертва, с большим трудом оттащил ее в заросли ежевики на берегу. Труп мистера Челноука он взвалил на спину собственной лошади и спрыгнул далеко в лесу, в надежном месте.

Жилет, бумажник, нож и пулю подбросил он — чтобы отомстить мистеру Шелопайну. находку окровавленного шейного платка и рубашки тоже подстроил он.

По мере того, как это леденящее кровь повествование близилось к концу, слова злодея звучали все более глухо и невнятно. Когда же показания его были исчерпаны полностью, он выпрямился, отшатнулся от стола и упал — мертвый.

Способ, посредством которого удалось вырвать это своевременное признание, был, несмотря на свою действительность, весьма прост. Чрезмерное чистосердечие мистера Душкинза неприятно поразило меня и с самого начала вызвало подозрения. Я был рядом, когда мистер Шелопайн ударил его, и выражение сатанинской злобы, промелькнувшее тогда в его лице, не ускользнуло от моего внимания и убедило меня, что он исполнит свои угрозы неукоснительно и отомстит при первой же возможности. Я был уже, следовательно, подготовлен к тому, чтобы взглянуть на маневры «старинны Чарли» совсем по-другому, чем смотрели на них добрые граждане Рэттлборо. Я сразу же заметил, что все изобличительные находки связаны с ним — прямо или косвенно. Но событием, которое до конца открыло мне глаза на истинное положение вещей, был эпизод с пулей, найденной мистером Душкинзом в теле лошади. Я-то не забыл,— хоть горожане и забыли,— что кроме отверстия, через которое пуля вошла, было еще и другое, через которое она вышла. Если ее нашли в туше, уже после того, как животное испустило дух, значит, ясно: пулю подложил тот, кто ее нашел. Окровавленная рубашка и шейный платок подтвердили мысль, подсказанную мне пулей, потому что кровь, при ближайшем рассмотрении, оказалась превосходным красным вином — не более того. Когда я начал обдумывать все эти факты и сопоставил их с возросшей за последнее время щедростью и возросшими расходами мистера Душкинза, я утвердился в своих подозрениях, которые не стали слабее оттого, что я никому их не открывал.

Одновременно я приступил к систематическим тайным поискам трупа мистера Челноука, ведя их — по достаточно веским соображениям — как можно дальше от

тех мест, куда водил своих приверженцев мистер Душкинз. В результате через несколько дней я набрел на заброшенный высохший колодец, прятавшийся в зарослях ежевики, и тут на дне я обнаружил то, что искал.

Случилось так, что я был невольным свидетелем того разговора, когда мистер Душкинз ухитрился вырвать у своего щедрого друга обещание подарить ему ящик Шато-Марго. На этом неопределенном обещании я и сыграл. Я раздобыл кусок тугого китового уса, протолкнул его в глотку трупа и дальше вниз, а самый труп уложил в старый ящик из-под вина, постаравшись при этом так согнуть тело, чтобы вместе с ним согнулся и китовый ус. Понятно, что мне пришлось сильно нажать на крышку, чтобы удерживать ее, пока я заколачивал гвозди. И, разумеется, я предвидел, что стоит лишь выдернуть гвозди — и крышка отлетит, а тело выпрямится.

Запаковав указанным образом ящик, я маркировал его, проставил номер и надписал адрес — так, как об этом рассказывалось выше; а затем, отправив письмо от имени винооторговцев, клиентом которых был мистер Челноук, наказал своему слуге по условному знаку подвезти ящик на тачке к дверям мистера Душкинза. Что касается слов, которые, по моим расчетам, должен был произнести мертвец, то здесь я с уверенностью полагался на свой дар чревоуещателя. Да, именно на этот дар я и рассчитывал, ожидая признания злодея.

Вот, кажется, и все, больше объяснять нечего. Мистер Шелопайн был немедленно освобожден из-под стражи, получил состояние покойного дяди, извлек полезные уроки из выпавших на его долю испытаний, открыл новую страницу жизни и с тех пор был неизменно счастлив.



ПОВЕСТЬ О ПРИКЛЮЧЕНИЯХ АРТУРА ГОРДОНА ПИМА

ПРЕДИСЛОВИЕ

Несколько месяцев тому назад, по возвращении в Соединенные Штаты после ряда удивительнейших приключений в Южном океане, изложение которых предлагается ниже, обстоятельства свели меня с несколькими джентльменами из Ричмонда, штат Виргиния, каковые обнаружили глубокий интерес ко всему, что касалось мест, где я побывал, и посчитали моим неременным долгом опубликовать мой рассказ. У меня, однако, были причины для отказа, и сугубо частного характера, затрагивающие только меня одного, и не совсем частного. Одно из соображений, которое удерживало меня, заключалось в опасении, что поскольку большую часть моего путешествия дневника я не вел, то я не сумею воспроизвести по памяти события достаточно подробно и связно, дабы они и казались такими же правдивыми, какими были в действительности — не считая разве что естественных преувеличений, в которые все мы неизбежно впадаем, рассказывая о происшествиях, глубоко поразивших наше воображение.

Кроме того, события, которые мне предстояло изложить, были столь необыкновенного свойства и притом никто в силу обстоятельств не мог их подтвердить (если не считать единственного свидетеля, да и тот индеец-полукровка), — что я мог рассчитывать лишь на благосклонное внимание моей семьи и тех моих друзей, которые, зная меня всю жизнь, не имели оснований сомневаться в моей правдивости, в то время как широкая публика, по всей вероятности, сочла бы написанное мною беззастен-

чивой, хотя и искусной выдумкой. Тем не менее одной из главных причин того, почему я не последовал советам своих знакомых, было неверие в свои сочинительские способности.

Среди виргинских джентльменов, проявивших глубокий интерес к моим рассказам, особенно той их части, которая относится к Антарктическому океану, был мистер По, незадолго до того ставший редактором «Южного литературного вестника», ежемесячного журнала, издаваемого мистером Томасом У. Уайтом в Ричмонде. Как и прочие, мистер По настоятельно рекомендовал мне, не откладывая, написать обо всем, что я видел и пережил, и положиться на проницательность и здравый смысл читающей публики; при этом он убедительно доказывал, что, какой бы неумелой ни получилась книга, сами шероховатости стиля, если таковые будут, обеспечат ей большую вероятность быть принятой как правдивое изложение действительных событий.

Несмотря на эти доводы, я не решился последовать его совету. Тогда он предложил (видя, что я непоколебим), чтобы я позволил ему самому описать, основываясь на изложенных мною фактах, мои ранние приключения и напечатать это в «Южном вестнике» под видом вымышленной повести. Не видя никаких тому препятствий, я согласился, поставив единственным условием, чтобы в повествовании фигурировало мое настоящее имя. В результате две части, написанные мистером По, появились в «Вестнике» в январском и февральском выпусках (1837г.), и для того, чтобы они воспринимались именно как беллетристика, в содержании журнала значилось его имя.

То, как была принята эта литературная хитрость, побудило меня в конце концов взяться за систематическое изложение моих приключений и публикацию записей, ибо, несмотря на видимость вымысла, в которую так искусно была облечена появившаяся в журнале часть моего рассказа (причем ни единый факт не был изменен или искажен), я обнаружил, что читатели все-таки не склонны воспринимать ее как вымысел; напротив, на имя мистера По поступило несколько писем, определенно высказывающих убежденность в обратном. Отсюда я заключил, что

факты моего повествования сами по себе содержат достаточно свидетельств их подлинности и мне, следовательно, нечего особенно опасаться недоверия публики.

После этого *expose*¹ всякий увидит, сколь велика та доля нижеизложенного, которая принадлежит мне; необходимо также еще раз оговорить, что ни единый факт не подвергся искажению на нескольких первых страницах, которые написаны мистером По. Даже тем читателям, кому не попался на глаза «Вестник», нет необходимости указывать, где кончается его часть и начинается моя: они без труда почувствуют разницу в стиле.

А.-Г. Пим

Нью-Йорк, июль, 1838 г.

¹ Изложение, отчет (фр.).

ГЛАВА I

Меня зовут Артур Гордон Пим. Отец мой был почтенный торговец морскими товарами в Нантакете, где я и родился. Мой дед по материнской линии был стряпчим и имел хорошую практику. Ему всегда везло, и он успешно вкладывал деньги в акции Эдгартаунского нового банка, как он тогда назывался. На этих и других делах ему удалось отложить немалую сумму. Думаю, что он был привязан ко мне больше, чем к кому бы то ни было, так что я рассчитывал после его смерти унаследовать большую часть его состояния. Когда мне исполнилось шесть лет, он послал меня в школу старого мистера Рикетса, однорукого джентльмена с эксцентрическими манерами — его хорошо знает почти всякий, кто бывал в Нью-Бедфорде. Я проучился в его школе до шестнадцати лет, а затем перешел в школу мистера Э. Рональда, расположенную на холме. Здесь я сблизился с сыном капитана Барнарда, который обычно плавал на судах Ллойда и Реденбэрга, — мистер Барнард также очень хорошо известен в Нью-Бедфорде, и я уверен, что в Эдгартауне у него множество родственников. Сына его звали Август, он был почти на два года старше меня. Он уже ходил с отцом за китами на «Джоне Дональдсоне» и постоянно рассказывал мне о своих приключениях в южной части Тихого океана. Я часто бывал у него дома, оставаясь там на целый день, а то и на ночь. Мы забирались в кровать, и я не спал почти до рассвета, слушая его истории о дикарях с Тиниана и других островов, где он побывал во время своих путешествий. Меня поневоле увлекали его рассказы, и я постепенно начал ощущать жгучее желание самому пуститься в море. У меня была парусная лодка «Ариэль» стоимостью примерно семьдесят пять долларов, с небольшой каютой, ос-

нащенная как шлюп. Я забыл ее грузоподъемность, но десятерых она держала без труда. Мы имели обыкновенные совершать на этой посудине безрассуднейшие вылазки, и, когда я сейчас вспоминаю о них, мне кажется неслыханным чудом, что я остался жив.

Прежде чем приступить к основной части повествования, я и расскажу об одном из этих приключений. Както у Барнардов собрались гости, и к исходу дня мы с Августом изрядно захмелели. Как обычно в таких случаях, я предпочел занять часть его кровати, а не тащиться домой. Я полагал, что он мирно заснул, не обронив ни полслова на свою излюбленную тему (было уже около часу ночи, когда гости разошлись). Прошло, должно быть, полчаса, как мы улеглись, и я начал было засыпать, как вдруг он поднялся и, разразившись страшными проклятиями, заявил, что лично он не собирается дрыхнуть, когда с юго-запада дует такой славный бриз,— что бы ни думали на этот счет все Гордоны Пимы в христианском мире, вместе взятые. Я был поражен, как никогда в жизни, ибо не знал, что он затеял, и решил, что Август просто не в себе от поглощенного вина и прочих напитков. Изъяснялся он, однако, вполне здраво и заявил, что я, конечно, считаю его пьяным, но на самом деле он трезв как стеклышко. Ему просто надоело, добавил он, валяться, словно ленивому псу, в постели в такую ночь, и сейчас он встанет, оденется и отправится покататься на лодке. Я не знаю, что на меня нашло, но едва он сказал это, как я почувствовал глубочайшее волнение и восторг, и его безрассудная затея показалась мне чуть ли не самой великолепной и остроумной на свете. Поднялся почти штормовой ветер, было очень холодно: дело происходило в конце октября. Тем не менее я спрыгнул в каком-то экстазе с кровати и заявил, что я тоже не робкого десятка, что мне тоже надоело валяться, словно ленивому псу, в постели и что я тоже готов, чтобы развлечься, на любую выходку, как и какой-то там Август Барнард из Нантакета.

Не теряя времени, мы оделись и поспешили к лодке. Она стояла у старого полусгнившего причала на лесном складе «Пэнки и Компания», почти стучаясь бортом о

разбитые бревна. Август прыгнул в лодку, которая была наполовину полна воды, и принялся вычерпывать воду. Покончив с этим, мы подняли стаксель и грот и смело пустились в открытое море.

С юго-запада, как я уже сказал, дул сильный ветер. Ночь была ясная и холодная. Август сел у руля, а я расположился на палубе около мачты. Мы неслись на огромной скорости, причем ни один из нас не проронил ни слова с того момента, как мы отошли от причала. Я спросил моего товарища, куда он держит курс и когда, по его мнению, нам стоит возвращаться. Несколько минут он насвистывал, потом язвительно заметил: «Я иду в море, а ты можешь отправляться домой, если угодно». Повернувшись к нему, я сразу понял, что, несмотря на кажущееся безразличие, он сильно возбужден. При свете луны мне было хорошо видно, что лицо его блее мрамора, а руки дрожат так, что он едва удерживает румпель. Я понял, что с ним что-то стряслось, и не на шутку встревожился. В ту пору я не умел как следует управлять лодкой и полностью зависел от мореходного искусства моего друга.

Ветер внезапно стал крепчать, мы быстро отдалялись от берега, и все-таки мне было стыдно выдать свою боязнь, и почти полчаса я решительно хранил молчание. Потом я не выдержал и спросил Августа, не лучше ли нам повернуть назад. Как и в тот раз, он чуть ли не с минуту молчал и вообще, казалось, не слышал меня. «Потихоньку, полегоньку,— пробормотал он наконец.— Время еще есть... Домой потихоньку, полегоньку». Другого ответа я не ожидал, но в тоне, каким были произнесены эти слова, было что-то такое, что наполнило меня неопишимым страхом. Я еще раз внимательно посмотрел на спутника. Губы его были мертвенно-бледны, и колени тряслись так, что он, казалось, не может двинуться с места. «Ради Бога, Август! — вскричал я, напуганный до глубины души.— Что случилось?.. Тебе плохо?.. Что ты задумал?» «Что случилось?..— выдавил он в полнейшем как будто удивлении и в тот же миг, выпустив из рук румпель, осел на дно лодки.— Н-ничего... ничего не случилось... поворачиваю назад... разве не видишь?» Только теперь меня осенило и я понял, в чем дело.

Бросившись вперед, я приподнял друга. Он был пьян, пьян до бесчувствия, так что не мог держаться на ногах, ничего не слышал и не видел вокруг. Глаза его совсем остекленели; в крайнем отчаянии я выпустил его из рук, и он, как бревно, скатился обратно в воду на дно лодки. Было ясно, что во время пирушки он выпил гораздо больше, чем я думал, и его странное поведение в постели было результатом последней степени опьянения,— в таком состоянии, как и в припадке безумия, жертва часто способна сохранять вид человека, вполне владеющего собой. Однако холодный ночной воздух сделал свое дело, нервное возбуждение под его воздействием начало спадать, и то обстоятельство, что Август, несомненно, весьма смутно сознавал опасность положения, в каком мы находились, приблизило катастрофу. Сейчас мой друг совсем лишился чувств, и никакой надежды на то, что в ближайшие часы он придет в себя, решительно не было.

Трудно представить меру моего ужаса. Винные пары успели улетучиться, я чувствовал себя вдвойне нерешительным и беспомощным. Я понимал, что не справлюсь с лодкой, что яростный ветер и сильный отлив гонят нас навстречу гибели. Где-то позади собирался шторм, у нас не было ни компаса, ни пищи, и я знал, что если не изменить курс, то еще до рассвета мы потеряем землю из виду. Эти мысли наряду с массой других, столь же пугающих, с поразительной быстротой промелькнули у меня в сознании и на несколько мгновений парализовали мою волю к действию.

Наша лодка, то и дело зарываясь носом в кипящую пену, летела с чудовищной скоростью, полным ветром — ни на стакселе, ни на гроте рифы не были взяты. Чудо из чудес, что волны не проломили борта, — ведь Август, как уже говорилось, бросил румпель, а я сам был настолько взволнован, что мне не пришло в голову сесть к рулю. К счастью, лодка продолжала идти прямо, и постепенно я в какой-то мере обрел присутствие духа. Ветер угрожающе крепчал, и всякий раз, когда нас возносило на гребень, волны разбивались о подзор кормы и обдавали нас водой. Но я почти ничего не ощущал: все члены моего тела словно одеревенели. Наконец я собрал последние силы

и, с отчаянной решимостью кинувшись вперед, сорвал грот. Как и следовало ожидать, парус перекинуло ветром через нос, он намок в воде и потащил за собой мачту, которая, сломавшись, обрушилась в воду, едва не повредив борт. Только благодаря этому происшествию я избежал неминуемой гибели. Оставшись под одним стакселем, лодка продолжала нестись по ветру, то и дело захлестываемая тяжелыми волнами, но непосредственная угроза все-таки миновала. Я взял руль и вздохнул свободнее, видя, что у нас еще есть какая-то возможность в конце концов спастись. Август по-прежнему лежал без чувств на дне лодки, и я начал опасаться, что он захлебнется (в том месте, где он упал, воды набралось почти на целый фут). Я ухитрился приподнять товарища и, обвязав вокруг его пояса веревку, которую прикрепил к рым-болту на палубе, оставил в сидячем положении. Сделав, таким образом, все, что мог, дрожа от волнения, я целиком поверил себя Всевышнему и, собравшись с силами, решил достойно встретить любую опасность.

Едва я пришел к этому решению, как вдруг неистовый протяжный вопль, словно взревела тьма демонов, наполнил воздух. Никогда, покуда я жив, мне не забыть сильнейшего приступа ужаса, что овладел мною в тот миг. Волосы у меня встали дыбом, кровь застыла в жилах. Сердце остановилось, и, не поднимая глаз, так и не узнав причины катастрофы, я покачнулся и упал без сознания на тело моего неподвижного спутника.

Очнувшись, я обнаружил, что нахожусь в каюте большого китобойного судна «Пингвин», держащего курс на Нантакет. Около меня стояло несколько человек, а бледный как смерть Август усердно растирал мне руки. Возгласы благодарения и радости, которые он издал, увидя, что я открыл глаза, вызвали улыбки облегчения и слезы на суровых лицах присутствующих. Вскоре разъяснилась и загадка того, как мы остались живы. На нас наскочило китобойное судно, которое, держась круто к ветру, направлялось к Нантакету на всех парусах, какие только рискнули поднять, и, следовательно, шло почти под прямым углом к нашему курсу. На вахте было несколько впередсмотрящих, но они не замечали нашу лодку до того

мгновения, когда избежать столкновения было уже невозможно,— крики, которыми они пытались предупредить нас, увидев лодку, и повергли меня в ужас. Огромный корабль, как мне рассказывали, подмял нас с такой же легкостью, с какой наше угловое суденышко переехало бы соломинку, и без малейшего, хоть скольконибудь заметного замедления хода. Ни единого возгласа не донеслось с лодки, терпевшей крушение, был слышен лишь слабый, заглушаемый ревом ветра и волн, скребущий звук, пока нашу хрупкую скорлупу, которую уже поглотила вода, не протащило вдоль киля наскочившего на нас китобоя, и это все.

Приняв нашу лодку за какую-то брошенную за бесполезностью посудину (напомню, что у нас сорвало мачту), командир корабля (капитан Э.-Т.-В. Блок из Нью-Лондона) решил не обращать внимания на происшествие и следовать своим курсом. К счастью, двое из стоявших на вахте побожились, что у руля определенно кто-то находился и что человека можно еще спасти. Вспыхнул спор, Блок вышел из себя и заявил, что «только у него и дел, чтобы заботиться о какой-то яичной скорлупе, что он не станет поворачивать корабль из-за всякой чепухи, что если там человек, то в этом нет ничьей вины, кроме его собственной,— он может идти ко дну и будь он проклят» или что-то в этом роде. В спор вступил Хендерсон, первый помощник капитана, справедливо возмущенный, как и вся остальная команда, его словами, выдающими крайнее бессердечие и жестокость. Видя поддержку матросов, он решительно сказал капитану, что тот заслуживает виселицы и что он не подчинится его распоряжениям, даже если его повесят, едва он ступит на сушу. Оттолкнув Блока в сторону (который побледнел, но не сказал ни слова), он зашагал к корме и, схватившись за штурвал, твердым голосом крикнул: «К повороту!» Матросы кинулись по своим местам, и судно совершило искусный поворот. Маневр занял почти пять минут, и трудно было предположить, что можно успеть прийти кому-то на выручку, если вообще в лодке кто-то был. И все-таки, как уже знает читатель, Август и я были спасены; мы избавились от смерти благодаря почти не-

постижимой двойной удаче, которую мудрые и благочестивые люди приписывают особому вмешательству Провидения.

Пока судно еще не забрало ветер, помощник капитана приказал спустить ял и спрыгнул в него с двумя матросами, теми самыми, как я понимаю, которые утверждали, что видели меня у руля. Едва они отгребли от кормы, — луна сияла по-прежнему ярко, — как судно сильно накренило под ветер, и в тот же миг Хендерсон, привстав с кормового сиденья, закричал гребцам, чтобы те *табанили*. Он ничего не объяснял, только нетерпеливо повторял: «*Табань! Табань!*» Люди принялись грести изо всех сил в обратную сторону, но к этому времени судно уже завершило поворот и устремилось вперед, хотя команда на борту прилагала все усилия, чтобы убраться паруса.

Как только ял поравнялся с грот-мачтой, помощник капитана, презирая опасность, ухватился за ван-путенсы на борту судна. Тут судно опять резко накренилось, обнажив правый борт почти до киля, тогда-то и стала очевидной причина его беспокойства. На гладком блестящем днище («Пингвин» ниже ватерлинии был обшит медью, и его набор крепился медными болтами) каким-то необыкновеннейшим образом повисло человеческое тело, которое колотилось об обшивку при малейшем движении корабля. После нескольких безуспешных попыток, когда каждый толчок судна грозил поглотить шлюпку, меня — ибо это было мое тело — наконец вызволили из опасности и подняли на борт. Оказалось, что какой-то болт сдвинулся с места, пропорол обшивку, и, когда нас протаскивало под днищем, я зацепился за него и повис там в совершенно невообразимом положении. Конец болта прошел через воротник надетой на мне зеленой суконной куртки, сквозь заднюю часть шеи и вышел наружу между двумя мышцами чуть ниже правого уха. Меня немедленно уложили в постель, хотя я не подавал ни малейших признаков жизни. Хирурга на борту не было. Правда, капитан старался помочь мне, как мог, чтобы оправдать, как мне кажется, в глазах команды свое чудовищное поведение в начале происшествия.

Тем временем Хендерсон на шлюпке снова отошел от судна, хотя ветер уже достигал почти ураганной силы. Не прошло и нескольких минут, как ему стали попадаться обломки нашей лодки, и вскоре один из матросов, которые были с ним, стал уверять, что сквозь рев бури он слышит крики о помощи. Это заставило отважных моряков упорно продолжать поиски, несмотря на то, что капитан Блок то и дело подавал им сигналы вернуться и каждый миг пребывания на воде в такой хрупкой шлюпке был чреват смертельной опасностью. В самом деле, почти невозможно себе представить, как крохотная шлюпка избежала крушения в первую же секунду. Шлюпка, однако, была сработана на славу, специально для китобойного промысла, и была снабжена воздушными ящиками, в чем я потом имел возможность убедиться, — на манер некоторых спасательных ботов, которыми пользуются у побережья Уэльса.

После тщетных поисков в течение упомянутого времени было решено вернуться на судно. Едва они пришли к этому заключению, как с какого-то темного предмета, быстро проплывавшего неподалеку, послышался слабый крик. Они пустились вдогонку и скоро настигли неизвестный предмет. Это был палубный настил «Ариэля». Около него из последних сил боролся с волнами Август. Когда его поднимали на борт шлюпки, оказалось, что он привязан веревкой к плавающему дереву. Напомню, что это была та самая веревка, которой я обвязал Августа вокруг пояса, а конец прикрепил к рым-болту, чтобы удержать его в сидячем положении; вышло так, что эта моя предосторожность в конечном счете сохранила ему жизнь. «Ариэль» был сколочен без особого тщания, и, когда на нас наскочил «Пингвин», остов его развалился на куски, а палубный настил оторвало от корпуса водой, хлынувшей в лодку, и он, вместе с другими обломками, выплыл на поверхность; благодаря этому Август тоже удержался на поверхности и избежал таким образом ужасной гибели.

Прошло более часа с того момента, как Августа подняли на борт, прежде чем он мог уяснить, что же, собственно, произошло с нашей лодкой, и рассказать о себе. Наконец он полностью очнулся от беспамятства и под-

робно рассказал о том, что он испытал, оказавшись за бортом. Едва придя в себя, он обнаружил, что его с немислимой быстротой крутит под водою, а вокруг его шеи туго, в три-четыре раза обвязана веревка. В следующее мгновение он почувствовал, что быстро поднимается на поверхность и, сильно стукнувшись головой обо что-то твердое, опять теряет сознание. Когда он снова пришел в себя, он мог уже кое-что соображать, хотя рассудок его был еще затемнен и мысли путались. Он понял, что лодка потерпела крушение, он в воде, хотя и на поверхности, и может более или менее свободно дышать. Вероятно, в это время лодка быстро неслась по ветру и тащила его, лежащего на спине, за собой. Само собой разумеется, он мог не опасаться, что пойдет ко дну, пока сумеет удержаться в том же положении. Вскоре волна кинула его на самый настил, и он судорожно вцепился в доски, время от времени призывая на помощь. Как раз перед тем, как его услышали со шлюпки мистера Хендерсона, он, обессиленный, разжал пальцы, соскользнул в воду и решил, что погиб. Пока он боролся за свою жизнь, ему ни разу не пришла в голову мысль ни об «Ариэле», ни о том, что же, собственно, с ним случилось. Им целиком завладело смутное ощущение ужаса и отчаяния. Когда его наконец подобрала, он был без памяти и, как уже говорилось, прошел добрый час, прежде чем он вполне осознал, в какую попал переделку. Что до меня, то я был возвращен к жизни из состояния, граничащего со смертью (после того как в течение трех с половиной часов перепробовали всевозможные средства), в результате энергичного растирания фланелью, смоченной в горячем масле,— эта мера была предложена Августом. Рана в шее, хотя и имела отвратительный вид, оказалась неопасной, и я скоро от нее оправился.

Выдержав один из самых жестоких штормов, какие случались у берегов Нантакета, «Пингвин» около девяти часов утра вошел в порт. Мы с Августом успели появиться у него дома как раз к завтраку, который, по счастью, запоздал из-за вчерашней попойки. За столом никто не обратил внимания на наш измученный вид, думаю — потому, что все были чересчур утомлены, хотя, разуме-

ется, это не ускользнуло бы от более пристального взгляда. Когда школьники хотят обмануть старших, они способны творить чудеса, и я убежден, что ни у кого из наших друзей в Нантакете не закралось подозрение, что потрясающая история, рассказанная матросами в городе, о том, как они пустили ко дну какое-то судно с тридцатью или сорока беднягами на борту, имела касательство к «Ариэлю», моему товарищу или ко мне. Мы с Августом неоднократно обсуждали происшествие и всякий раз содрогались от ужаса.

Во время одного такого разговора Август честно признался, что ни разу в жизни не испытывал столь мучительного смятения, как в тот момент, когда на борту нашего углового суденышка вдруг осознал, до какой степени он пьян, и почувствовал, как под воздействием винных паров погружается куда-то в небытие.

ГЛАВА II

В силу наших пристрастий или предубеждений мы не способны извлекать урок даже из самых очевидных вещей. Можно было бы предположить, что происшествие, подобное тому, о котором я рассказал, значительно охладит мою зарождающуюся страсть к морю. Но, напротив, я никогда не испытывал более жгучей жажды безумных приключений, сопутствующих жизни мореплавателя, чем по прошествии недели с момента нашего чудесного избавления. Этого короткого промежутка времени оказалось вполне достаточно, чтобы из моей памяти изгладились мрачные краски недавнего опасного происшествия и в ярком свете предстали все его волнующие мазки, вся его живописность. Наши беседы с Августом день ото дня становились все более частыми и захватывающими. Его манера рассказывать о своих приключениях в океане (более половины которых, как я теперь подозреваю, были просто-напросто выдуманы) вполне отвечала моему экзальтированному характеру, и они находили отклик в моем пылком, хотя несколько болезненном воображении. Странно также, что мое влечение к морс-

кой жизни более всего подогревалось тогда, когда он рисовал случаи самых невероятных страданий и отчаяния.

Меня не пленяли светлые тона в его картинах. Мне виделись кораблекрушения и голод, смерть или плен у варварских орд, жизнь в терзаниях и слезах на какой-нибудь седой необитаемой скале, посреди недоступного и непостижимого океана. Впоследствии меня уверяли, что подобные видения или вожделения — ибо они действительно превращались в таковые — обычны среди всего людского племени меланхоликов; в то же время, о котором идет речь, я усматривал в них пророческие проблески высшего предназначения, которому я в какой-то мере обязан следовать. Август целиком проникся моим умонастроением. Не исключено даже, что наш сокровенный союз имел следствием частичное взаимопроникновение характеров.

Спустя около полутора лет после гибели «Ариэля» компания «Ллойд и Реденбэрг» (каким-то образом связанная, как я предполагаю, с господами Эндерби из Ливерпуля) занялась починкой брига «Дельфин» и снаряжением его для охоты на китов. Это была старая посудина, которая даже после того, как с ней сделали все, что можно было сделать, едва ли стала мореходной. Мне трудно сказать, почему «Дельфин» предпочли другим, хорошим судам, принадлежащим тем же владельцам, но дело обстояло именно так. Мистера Барнарда назначили капитаном, и Август собирался отправиться с ним. Пока бриг готовили к плаванию, он постоянно распространялся о том, какие отличные сейчас представляются возможности для осуществления моей мечты пуститься в путешествие. Он нашел во мне вполне благосклонного слушателя. Но устроить все оказалось не так-то просто. Если мой отец отнюдь не противодействовал мне, то с матерью случалась истерика при одном упоминании о моей затее; однако неприятнее всего было то, что мой дед, от которого я многого ожидал, поклялся лишить меня наследства, если я еще хоть раз заведу разговор на эту тему. Эти препятствия, однако, не только не погасили мое желание, но даже подлили масла в огонь. Я решил идти в море во что бы то ни стало и, сообщив свое решение Августу,

вместе с ним принялся разрабатывать план действий. Все это время я ни с кем из своих родственников не заговаривал о плавании и поскольку был поглощен по видимости обычными занятиями, то все предположили, что я отказался от своих намерений. Впоследствии я не раз вспоминал мое поведение в те дни, испытывая смешанное чувство неудовольствия и удивления. Отъявленное лицемерие, с помощью которого я добивался достижения своего замысла и которым было отмечено каждое мое слово и каждый поступок на протяжении столь длительного срока, оказалось мне по плечу лишь благодаря пылким и необузданным надеждам, с какими я ожидал исполнения моей давно лелеемой мечты о путешествиях.

Дабы не навлечь на нас подозрений, я по необходимости вынужден был много дел оставить на попечение Августа, который каждый день большую часть времени был занят на борту «Дельфина», присматривая за кое-какими работами в каюте отца и трюме. Вечерами, однако, мы непременно встречались и обменивались новостями.

Так пролетел без малого месяц, а мы не сумели остановиться на каком-нибудь определенном плане, который обеспечил бы нам успех, пока наконец Август не придумал, что необходимо предпринять. В Нью-Бедфорде у меня жил родственник, мистер Росс, и время от времени я гостил у него в доме по две-три недели. Бриг должен был выйти в море около середины июня (1827 г.), и было решено, что за день или два до отплытия «Дельфина» мой отец получит, как повелось, письмо от мистера Росса с приглашением для меня приехать и провести две недели с его сыновьями Робертом и Эмметом. Август взялся сочинить письмо и доставить его по назначению. Отправившись как будто в Нью-Бедфорд, я должен был встретиться с моим товарищем, который обеспечит мне убежище на борту «Дельфина». Он уверил меня, что устроит это убежище достаточно удобным для длительного пребывания, в течение которого я не должен обнаруживать себя. Когда бриг, следуя своим курсом, уйдет далеко в море, так что никто не решится поворачивать его назад, меня, по словам Августа, как положено, водворят со всеми удобствами в каюту; что до его отца, то он лишь от души

посмеется над нашей проделкой. По пути, разумеется, попадутся суда, с которыми можно будет отправить домой письмо и объяснить моим родителям случившееся.

Наконец наступила середина июня, все было готово. Август написал письмо, вручил его моему отцу, и в понедельник утром я поспешил, как считали дома, на пакет-бот, отправляющийся в Нью-Бедфорд. Вместо этого я отправился прямо к Августу, который ждал меня за углом. Согласно первоначальному плану, я должен был дожждаться в укромном месте темноты, а затем проникнуть на судно, но поскольку, на счастье, стоял густой туман, то было решено не терять времени. Август направился к пристани, а на отдалении последовал за ним я, закутанный, дабы меня не узнали, в толстый морской плащ, который он прихватил с собой. Едва мы прошли мимо колодца мистера Эдмунда и еще раз свернули за угол, как прямо передо мной собственной персоной предстал, глядя мне в лицо, не кто иной, как мой дед мистер Петерсон. «Гордон, да ты ли это? — воскликнул он, оправившись от удивления.— Что с тобой?.. Зачем ты напялил на себя это старое тряпье?» «Сэр! — отвечал я что ни на есть хриплым голосом и стараясь изо всех сил, как того требовала чрезвычайность момента, напустить на себя оскорбленный недоумевающий вид.— Сэр! Вы ошибаетесь. Во-первых, мое имя вовсе не какой-то там Гордон, а во-вторых, я не позволю всякому проходимцу называть мой новый плащ тряпьем». Ей-ей, я едва мог удержаться от хохота, видя, как повел себя почтенный джентльмен, получив этот достойный отпор. Он отступил на два-три шага, побледнел, затем побагровел, сдвинул на лоб очки, потом снова опустил их на переносицу и в бешенстве кинулся на меня, подняв зонтик. Однако он тут же остановился как вкопанный, словно что-то внезапно сообразил, и, повернув, заковылял, прихрамывая, по улице, трясясь от ярости и бормоча сквозь зубы: «Никуда не годится... нужны новые очки... принял чужого человека за Гордона... Будь он неладен, этот долговязый Том, бездельник, ржавая селедка!»

После этой рискованной встречи мы продвигались с большей осторожностью и без приключений добрались

до пристани. На борту «Дельфина» находилось два или три матроса, да и те что-то делали у комингса люка на баке. Что до капитана Барнарда, то он, как мы знали, был занят в конторе «Ллойд и Реденбэрг» и останется там допоздна, так что мы могли не опасаться его появления. Август первый подошел к трапу, и вскоре, не замеченный работающими матросами, за ним последовал и я. Мы быстро пробрались в кают-компанию. Там никого не было. Кают-компания оказалась оборудованной с большим комфортом и вкусом, что весьма редко на китобойных судах. В нее выходили четыре отличные отдельные каюты с широкими удобными койками. Я обратил внимание на большую печь и на удивительно толстый дорогой ковер, который был постлан на пол в салоне и каютах. Высота подволока достигала добрых семи футов, словом, здесь сверх ожидания было просторно и уютно. Мне удалось лишь бегло осмотреть обстановку, так как Август торопил меня, считая, что я должен как можно скорее укрыться в моем убежище. Он провел меня в свою каюту, которая помещалась по правому борту, сразу за переборкой. Когда мы вошли, он закрыл дверь на засов. Я подумал, что никогда не видел более приятной комнатки, чем та, где мы оказались. Она имела в длину около десяти футов и только одну широкую, удобную койку, как и те, о которых я уже упомянул. В той части каюты, что примыкала к переборке, было свободное пространство площадью фута четыре, где стоял стол со стулом, а над ним были навешены полки, полные книг, главным образом о плаваниях и путешествиях. Тут были и другие небольшие предметы, придающие комнате уют, и среди них некое устройство, вроде ледника или рефрижератора, где, как показал мне Август, находилось множество вкусных вещей — в продуктивном и в винном отделении.

Затем он надавил пальцами на одно место в углу и сказал, что часть настила, размером около шестнадцати квадратных дюймов, здесь аккуратно вырезана и снова прилажена по месту. Когда он нажал рукой на край выпиленной части, тот чуть приподнялся, и он подsunул под него пальцы. Таким образом он поднял крышку люка (ковер держался на ней благодаря мебельным гвоздям), и я

увидел, что он ведет в кормовой трюм. Затем Август фосфорной спичкой зажег маленькую свечу и, поместив ее в потайной фонарь, спустился в люк, позвав меня за собой. После того как я последовал его указанию, он с помощью гвоздя, вбитого с внутренней стороны, опустил крышку, причем ковер, как легко догадаться, занял прежнее положение, скрыв какие бы то ни было следы отверстия.

Фонарь со свечой бросал такой слабый свет, что каждый шаг посреди наваленной кое-как кладки давался нам с величайшим трудом, мы шли чуть ли не ощупью. Постепенно, однако, глаза мои привыкли к мраку, и, держась за товарища, я продвигался вперед более уверенно. Бесчисленное множество раз нам приходилось пригибаться, пролезать через какие-то узкие проходы, но наконец он привел меня к окованному листовым железом ящику, наподобие тех, в каких иногда перевозят фарнс. В высоту он имел почти четыре фута, в длину полных шесть, но был очень узок. На ящике стояли две больших порожних бочки из-под масла, а сверху, поднимаясь до палубы каюты, было уложено огромное количество соломенных циновок. Кругом, куда ни ступи, в полнейшем беспорядке теснились, громоздясь до самого верха, всевозможнейшие предметы корабельного хозяйства и груды различных ящиков, корзин, бочонков, тюков, так что казалось чуть ли не чудом, что мы вообще сумели пробраться к ящику. Впоследствии я узнал, что Август намеренно набил трюм до отказа, чтобы наилучшим образом скрыть мое местопребывание, причем работал он с помощью только одного человека, не идущего в плавание.

Мой спутник сказал, что при желании одну торцовую стенку ящика можно снять. Он отодвинул ее в сторону и показал мне внутренность ящика. Я был приятно поражен: на дне ящика во всю длину был постелен матрац, снятый с каютной койки, тут же находились почти все предметы первой необходимости, какие только можно было разместить в таком малом пространстве, оставив в то же время достаточно места, чтобы я мог расположиться — сидя или вытянувшись во весь рост. Среди вещей было несколько книг, перо, чернила и бумага, три одеяла, большой кувшин, наполненный водой, бочонок морских суха-

рей, три или четыре болонские колбасы, громадный окорок, зажаренная баранья нога и полдюжины бутылок горячительных напитков и ликера. Я немедленно вступил во владение своим крохотным жилищем, причем убежден, что испытал при этом удовольствие большее, нежели то, какое когда-либо доводилось испытать монарху, вступающему во дворец. Август научил меня, как закреплять открывающуюся стенку ящика, а затем, опустив свечу к настилу, показал мне кусок темной бечевки на полу. Эта бечевка, объяснил он, протянута от моего убежища через все необходимые повороты и проходы между грузом к люку, ведущему в его каюту, и привязана к гвоздю, вколоченному в трюмную палубу как раз под ним. Следуя вдоль веревки, я могу легко выбраться отсюда без его помощи, если какое-нибудь непредвиденное обстоятельство вызовет такую необходимость. Затем он попросился со мной, оставив мне фонарь с обильным запасом свечей и спичек, и обещал наведываться всякий раз, когда удастся проскользнуть сюда незамеченным. Это произошло семнадцатого июня.

Насколько можно судить, я провел в своем убежище три дня и три ночи, почти не вылезая из ящика, и лишь дважды, чтобы размять мускулы, выпрямился во весь рост между ящиками, как раз напротив открывающейся стенки. Все это время Август не показывался, но это не сильно беспокоило меня, поскольку я знал, что бриг должен вот-вот выйти в море и что в предотъездной суете ему нелегко выбрать случай спуститься ко мне. Наконец я услышал, как поднялась, а затем опустилась крышка люка, и вскорости тихим голосом Август спросил, все ли у меня в порядке и не нужно ли мне чего-нибудь. «Нет, — сказал я. — Удобнее не устроишься. Когда отплываем?» «Судно снимается с якоря меньше чем через полчаса, — ответил он. — Я пришел сказать тебе об этом, чтобы ты не волновался из-за моего отсутствия. Я не смогу снова спуститься сюда какое-то время, может быть, дня три-четыре. Наверху все в порядке. Когда я вылезу и закрою крышку, пожалуйста, пройди вдоль бечевки сюда, где торчит гвоздь. Я оставляю здесь часы — они могут тебе пригодиться, чтобы узнавать время, ведь дневного света здесь

нет. Ты, наверное, не знаешь, сколько ты тут просидел... всего три дня... сегодня двадцатое. Я принес бы часы сам, да боюсь, что меня хватятся». С этими словами он исчез.

Приблизительно через час после того, как Август ушел, я отчетливо почувствовал наконец, что судно движется, и поздравил себя с благополучным началом плавания. Вполне довольный, я решил по возможности ни о чем больше не думать и спокойно ожидать естественной развязки событий, когда мне разрешат сменить мой ящик на более просторное, хотя вряд ли намного более удобное каютное помещение. Первым делом надо было достать часы. Оставив свечу зажженной, я стал пробираться в полумраке вдоль бечевки, через бесконечный лабиринт переходов, так что иногда, одолев довольно большое расстояние, я снова оказывался в футе или двух от исходной точки. В конце концов я добрался до гвоздя и, взяв часы, целым и невредимым вернулся назад.

Затем я просмотрел книги, которые заботливо подобрал для меня Август, и остановился на экспедиции Льюиса и Кларка к устью Колумбии. Некоторое время я с интересом читал, потом почувствовал, что меня одолевает дремота, осторожно погасил свечу и вскоре уснул здоровым сном.

Проснувшись, я почувствовал, что никак не могу справиться с мыслями, и прошел какой-то срок, прежде чем мне удалось припомнить все обстоятельства моего положения. Постепенно я припомнил все. Я зажег свечу и посмотрел на часы, но они остановились, и я, следовательно, был лишен возможности узнать, как долго я спал. Члены мои совсем онемели, и я был вынужден размять мускулы, выпрямившись между ящиками. Почувствовав вскоре волчий аппетит, я вспомнил о холодной баранине, которой отведал перед тем, как уснуть, и нашел превосходной. Каково же было мое удивление, когда я обнаружил, что она совершенно испортилась! Это обстоятельство вызвало у меня сильное беспокойство, ибо, связав его с беспорядочным состоянием ума после пробуждения, я подумал, что спал, должно быть, необыкновенно долго. Одной из причин тому мог быть спертый воздух в трюме, что имело бы в конечном счете пренеприятные последст-

вия. Сильно болела голова, казалось, что трудно дышать, и вообще меня обуревали самые мрачные предчувствия. И все же я не осмеливался дать о себе знать, открыв люк или как-нибудь иначе, а потому, заведя часы, решил, насколько возможно, запастись терпением.

На протяжении следующих двадцати четырех тягостных часов никто не явился избавить меня, и я не мог не винить Августа в явном невнимании к другу.

Но больше всего меня беспокоило то, что воды в моем кувшине поубавилось до полупинты, а я мучился жаждой, изрядно поев копченой колбасы, когда обнаружил, что моя баранина пропала. Мне было явно не по себе, читать решительно не хотелось. Кроме того, меня постоянно клонило ко сну, но я трепетал при мысли, что, поддавшись искушению, окажусь в удушливой атмосфере трюма под каким-нибудь губительным воздействием, например, угарного газа. Между тем бортовая качка подсказывала мне, что мы вышли в океан, а непрерывное гудение, доносившееся словно бы с огромного расстояния, убеждало, что разыгралась исключительной силы буря.

Августа все не было, и я терялся в догадках. Мы наверняка отошли достаточно далеко, и я мог бы уже подняться наверх. Конечно, с ним могло что-нибудь стрястись, но мне не приходило в голову ничего такого, что объяснило бы, почему он не вызволит меня из моего плена,— разве что он скоропостижно скончался или упал за борт. Но думать об этом было нестерпимо. Возможно, что нас задержал противный ветер и мы все еще находились в непосредственной близости от Нантакета. Это предположение, однако, тоже отпадало, ибо в таком случае судну пришлось бы часто делать поворот оверштаг, но оно постоянно кренилось на левый борт, из чего я с удовлетворением заключил, что благодаря устойчивому бризу с кормы справа мы не сходили с курса. Кроме того, если мы по-прежнему были поблизости от нашего острова, то почему бы Августу не спуститься и не сообщить мне об этом?

Размышляя таким образом о тягостях моего беспроектного одиночества, я решил выждать еще сутки, и если не придет помощь, то пробраться к люку и либо погово-

речь с другом, либо на худой конец глотнуть свежего воздуха через отверстие и запастись водой в его каюте. Так, занятый этими мыслями, я забылся глубоким сном, вернее впал в состояние какого-то оцепенения, хотя всячески противился этому. Мои сновидения поистине были страшны. Какие только бедствия и ужасы не обрушивались на меня! То какие-то демоны свирепого обличья душили меня огромными подушками. То громадные змеи заключали меня в свои объятия, впиваясь в лицо своими зловеще поблескивающими глазами. То передо мной возникали бескрайние, пугающие своей безжизненностью пустыни. Бесконечно, насколько хватал глаз, вздымались гигантские стволы серых голых деревьев. Корнями они уходили в обширные зыбучие болота с густо-черной мертвой отвратительной водой. Казалось, в этих невиданных деревьях было что-то человеческое, и, раскачивая свои костистые ветви, они резкими, пронзительными голосами, полными нестерпимых мук и безнадежности, зывали к молчаливым водам о милосердии. Затем картина переменилась: я стоял один, обнаженный, посреди жгучих песков Сахары. У самых моих ног распластался на земле свирепый лев. Внезапно глаза его открылись, и на меня упал бешеный взгляд. Изогнувшись всем туловищем, он вскочил и оскалил свои страшные клыки. В следующее мгновение его кроваво-красный зев исторг рыкание, подобное грому с небесного свода. Я стремительно бросился на землю. Задыхаясь от страха, я наконец понял, что очнулся ото сна. Нет, мой сон был вовсе не сном. Теперь я уже был в состоянии что-то соображать. У меня на груди тяжело лежали лапы какого-то огромного живого чудовища... Я слышал его горячее дыхание на своем лице... его страшные белые клыки сверкали в полумраке.

Даже если бы мне даровали тысячу жизней за то, что я пошевелю пальцем, выдавлю хоть единый звук, то и тогда я не смог бы ни двинуться, ни заговорить. Неизвестный зверь оставался в том же положении, не предпринимая пока попытки растерзать меня, а я лежал под ним совершенно беспомощный и, как мне казалось, умирающий. Я чувствовал, как быстро покидают меня душевные и физические силы, я кончался, кончался единственно от

страха. В голове у меня закружилось... я почувствовал отвратительную тошноту... глаза перестали видеть... даже сверкающие зрачки надо мной словно бы затуманились. Собрав остатки сил, я почти одними губами помянул имя Господне и покорился неизбежному. Звук моего голоса, видимо, пробудил у зверя затаенную ярость. Он бросился на меня всей своей тушей; но каково же было мое удивление, когда он тихо, протяжно заскулил и начал лизать мне лицо и руки со всей пылкостью и самыми неожиданными проявлениями привязанности и восторга! Я был поражен, совершенно сбит с толку, разве я мог забыть, как по-особому подвывал мой ньюфаундленд Тигр, его странную манеру ласкаться. Да, это был он! Кровь застучала у меня в висках, то была внезапная, до головокружения острая радость спасения и возврата к жизни. Я поспешно поднялся с матраца, на котором лежал, и, кинувшись на шею моему верному спутнику и другу, облегчил мою отчаявшуюся душу бурными горячими рыданиями.

Поднявшись с матраца, я обнаружил, что мысли мои, как и в тот раз, находятся в полном помрачении и сумятице.

Долгое время я был почти не в силах сообразить, что к чему; лишь мало-помалу ко мне вернулась способность рассуждать трезво, и я припомнил кое-какие обстоятельства, связанные с моим состоянием. Правда, я тщетно пытался объяснить появление Тигра, строил сотни догадок на этот счет, но в конце концов был вынужден довольствоваться утешительной мыслью, что он здесь и будет делить со мной тягостное одиночество и утешать своими ласками. Большинство людей любит собак, но к Тигру я питал пристрастие более пылкое, чем обыкновенно, и, конечно же, ни одно животное так не заслуживало этого, как он. Семь лет он был моим неразлучным спутником и неоднократно имел случай показать всевозможные благородные качества, за которые мы так ценим собак. Когда он был еще щенком, я выручил его из лап какого-то зловередного мальчишки, тащившего его на веревке в воду, а три года спустя, будучи взрослым псом, он отплатил мне тем же,— спас от дубинки уличного грабителя.

Нащупав часы и приложив их к уху, я обнаружил, что они снова остановились. Но меня это ничуть не удивило, потому что по своему болезненному состоянию я знал, что, как и прежде, проспал очень долго, правда, узнать, сколько именно, было невозможно. У меня начался жар, нестерпимо хотелось пить. Я стал шарить, ища кувшин, где оставался еще небольшой запас воды,— света у меня не было, так как свеча догорела до самого гнезда в фонаре, а коробка со спичками не попадалась под руку. Наконец я наткнулся на кувшин, но он был пуст; Тигр, очевидно, не удержался и вылакал воду и сожрал остатки баранины: у самого отверстия ящика валялась хорошо обглоданная кость. Испорченное мясо мне было ни к чему, но при мысли о том, что я лишился воды, я совсем пал духом. Я испытывал такую слабость, что меня трясло, как в лихорадке, при малейшем движении.

Вдобавок к моим бедам, бриг бешено кидало из стороны в сторону, и бочки из-под масла, которые стояли на ящике, грозили ежеминутно свалиться и загородить доступ в мое убежище. Кроме того, я ужасно страдал от приступов морской болезни. Эти соображения заставляли меня рискнуть во что бы то ни стало добраться до люка и просить помощи до того, как я окажусь не в силах вообще что-либо сделать. Утвердившись в этом решении, я принялся ощупью искать коробку со спичками и свечи. Коробку я нашел без особого труда, но свечей не оказалось там, где я думал (хотя я хорошо запомнил место, куда я их положил), и посему, отказавшись пока от поисков, я приказал Тигру лежать тихо и немедленно двинулся в путь к люку.

Во время этого путешествия моя слабость стала очевидной, как никогда. Каких трудов мне стоило ползти, руки и колени у меня то и дело подгибались, и тогда, в полном изнеможении упав лицом на пол, я лежал по нескольку минут почти без чувств. И все-таки я продвигался мало-помалу, думая лишь о том, как бы не потерять сознания в этих узких, запутанных проходах между грудами клади, в результате чего меня неминуемо ждала смерть. Собрав все силы, я рванулся вперед и больно стукнулся головой об острый угол обитой железом клетки. Удар

лишь оглушил меня на несколько мгновений, но, к своему невыразимому огорчению, я увидел, что сильная порывистая качка сбросила клеть поперек прохода и она совершенно загородила мне дорогу. Как я ни старался, я не мог сдвинуть ее ни на дюйм, поскольку она оказалась зажата среди всяких ящиков и предметов корабельного хозяйства. Поэтому, несмотря на слабость, мне оставалось либо, отойдя от бечевки, искать новый проход, либо перелезть через препятствие и возобновить путь по другую сторону клетки. Первая возможность таила такое множество опасностей и трудностей, что о ней нельзя было даже помыслить без содрогания. Ослабевший телом и духом, я неизбежно заблужусь, если сделаю такую попытку, и обреку себя на гибель в мрачных лабиринтах трюма. Поэтому я без колебаний решил призвать на помощь остатки сил и воли и попробовать по мере возможности перелезть через клеть.

Я встал, чтобы осуществить свой план, но тут же увидел, что он потребует еще больших трудов, чем подсказывали мои опасения. В проходе по обе стороны клетки громоздилась целая стена разной кладки, и при малейшей моей оплошности она могла обрушиться мне на голову; если это и не случится сейчас, не исключено, что она завалит проход потом, когда я буду возвращаться, и образует такую же преграду, перед которой я стоял. Что до клетки, то она была высокой, неудобной и решительно некуда было даже поставить ногу. Тщетно, чего-чего не пробуя, старался я достать до верха, в надежде затем подтянуться на руках. Впрочем, и к лучшему, ибо, дотянись я до верха, у меня все равно не хватило бы никаких сил перебраться через клеть. Наконец, отчаянно пытаюсь хоть немного сдвинуть ее с места, я услышал, как на боковой ее стороне что-то дребезжит. Я нетерпеливо оцупал рукой края досок и почувствовал, что одна из них, весьма широкая, оторвалась от стойки. Орудую перочинным ножом, который, к счастью, был при мне, я ухитрился после немалых трудов оторвать ее совсем; протиснувшись сквозь отверстие, я, к чрезвычайной своей радости, не обнаружил на противоположной стороне досок — другими словами, клеть была открыта, и я, следовательно,

пролез через днище. Затем я без особых задержек прошел вдоль бечевки и достиг гвоздя. С бьющимся сердцем я выпрямился и легонько нажал на крышку люка. Она, против ожидания, не поддавалась, тогда я нажал более решительно, все еще опасаясь, что в каюте Августа находится кто-нибудь посторонний. Крышка, однако, оставалась неподвижной, и я встревожился, помня, как легко она открывалась раньше. Тогда я толкнул крышку сильнее — она сидела так же плотно, затем надавил со всей силой — она не сдвинулась с места, наконец, налег на нее в гневе, ярости, отчаянии — она не поддавалась никак. Крышка сидела совершенно неподвижно, значит, люк либо обнаружили и забили гвоздями, либо завалили каким-то тяжелым грузом, сдвинуть который я не мог.

Крайний ужас и смятение овладели мною. Напрасно пытался я рассуждать о вероятной причине моего заточения. Я не мог придумать сколько-нибудь связного объяснения и безвольно опустил на пол: мое мрачное воображение начало рисовать множество бедствий, ожидающих меня, и наиболее отчетливо — смерть от жажды, голода, удушья и погребение заживо.

В конце концов присутствие духа отчасти возвратилось ко мне. Я встал и ощупью стал искать щель или трещину в крышке люка. Таковые обнаружились, и я тщательно обследовал, не пропускают ли они свет из каюты, но света не было видно. Я просунул лезвие ножа в одну щель, в другую, и всюду оно натыкалось на что-то твердое. Я поцарапал кончиком ножа — похоже на массивный кусок железа, причем с особой, неровной поверхностью, из чего я заключил, что это якорная цепь. Единственное, что мне оставалось, — это вернуться к себе в ящик и либо смириться с моим печальным уделом, либо успокоиться и самому разработать план спасения. Я немедленно отправился в обратный путь и после невероятных трудностей добрался до места. Когда я в изнеможении упал на матрац, Тигр растянулся подле меня и стал ласкаться — казалось, он хочет утешить меня в моих бедах и страданиях и убеждает крепиться.

Необыкновенное его поведение в конце концов заставило обратить на себя внимание. Он то несколько минут

подряд лизал мне лицо и руки, то вдруг переставал и тихонько взвизгивал. Протягивая к нему руку, я каждый раз находил, что он лежит на спине, с поднятыми кверху лапами. Это повторялось неоднократно и потому показалось мне странным, хотя я никак не мог понять, в чем дело. Собаку, видимо, что-то мучило, и я решил, что Тигр получил какое-нибудь повреждение; беря его лапы в руки, я внимательно осмотрел их одну за другой, но не нашел ни единой царапины. Я подумал, что он голоден, и дал ему большой кусок окорока, который он с жадностью проглотил, но потом возобновил свои непонятные действия. Тогда я предположил, что он, как и я сам, страдает от жажды, и посчитал было, что так оно и есть, но тут мне пришло в голову, что осмотрел-то я лишь его лапы, а рана могла быть где-нибудь на теле или на голове. Я осторожно ощупал его голову, но ничего не нашел. Зато когда я провел рукой по спине, то почувствовал, что в одном месте шерсть слегка взъерошена на всем полукружье. Потом я дотронулся до какого-то шнурка и, проведя по нему пальцами, убедился, что им обвязано все туловище собаки.

Осторожно ощупывая шнурок, я наткнулся, судя по всему, на листок почтовой бумаги, сквозь который он и был продернут, причем таким образом, что записка находилась как раз под левым плечом животного.

ГЛАВА III

Да, у меня тут же промелькнула мысль, что листок бумаги — записка от Августа, что случилось что-то непредвиденное, помешавшее ему вызволить меня из заточения, и он прибегнул к этому способу, чтобы уведомить меня об истинном положении дел. Дрожая от нетерпения, я возобновил поиски фосфорных спичек и свечей. Я смутно помнил, что тщательно припрятал их перед тем, как заснуть, да и до последней моей вылазки к люку я в точности знал, куда я их положил. Однако сейчас я тщетно пытался припомнить место и убил целый час на бесплодные и нервные поиски пропажи — наверное, никогда я

так не мучился от тревожного нетерпения. Но вот, высунувшись из ящика и принявшись шарить подле балласта, я вдруг заметил слабое свечение в той стороне, где находится руль. Я был поражен: оно казалось всего лишь в нескольких футах от меня, и я решительно двинулся вперед. Едва я тронулся с места, как свет пропал из виду, и мне пришлось возвращаться, ощупывая ящик, обратно, пока я не принял прежнее положение и не увидел свет снова. Осторожно наклоняя голову из стороны в сторону, я понял, что, если медленно, тщательно следя за светом, пробираться в направлении, противоположном тому, куда я было направился, можно приблизиться к нему, не теряя из виду. Протиснувшись сквозь множество узких поворотов, я вскоре достиг источника света — на опрокинутом бочонке валялись обломки моих спичек. Я удивился, как они сюда попали, и в ту же секунду моя рука нащупала два-три куска воска, побывавших, очевидно, в пасти Тигра. Я сразу понял, что он сожрал все мои свечи и теперь я вообще не сумею прочесть записку. Несколько мелких комков воска смешались с мусором в бочонке, так что я отчаялся извлечь из них пользу. Однако я как можно бережнее собрал крупички фосфора и с большим трудом вернулся к своему ящику, где меня все это время ждал Тигр.

Я решительно не знал, что предпринять дальше. В трюме было так темно, что я не видел собственной руки, даже поднося ее к самым глазам. Ключок белой бумаги был едва различим, да и то лишь тогда, когда я смотрел на него не прямо, а немного скосив глаза. Можно представить, какой мрак царил в моей темнице и как записка, написанная моим другом, если это в самом деле была записка, лишь причинила мне еще больше огорчений, бесцельно беспокоив мой и без того ослабленный и смятенный ум. Тщетно перебирал я в воспаленном мозгу самые нелепые средства раздобыть огонь, — такие в точности привиделись бы в лихорадочном сне курильщику опиума, — каждое из которых само по себе и все вместе казались то необыкновенно резонными, то ни с чем несообразными, равно как попеременно брала верх склонность к фантазии или способность рассуждать здраво.

Наконец мне пришла в голову мысль, которая представлялась вполне разумной, и я справедливо удивился, почему не напал на нее раньше. Я положил листок бумаги на переплет книги и бережно ссыпал остатки фосфорных спичек, которые я собрал с бочонка, на записку. Затем я принялся быстро, с нажимом растирать их ладонью. Немедленно по всей поверхности бумаги распространилось яское свечение, и, если бы на ней было что-нибудь написано, я наверняка без малейшего труда прочитал бы это. Однако на листке не было ни слова — я видел только мучительную, пугающую белизну: через несколько секунд свечение померкло, наступила тьма, и сердце у меня замерло.

Я уже не раз говорил о том, что последнее время мой разум находился в состоянии, близком к помешательству. Были, разумеется, недолгие периоды абсолютного здравомыслия, иногда даже подъема, но не часто. Не нужно забывать, что на протяжении многих дней я дышал затхлым воздухом трюма на китобойном судне и большую часть этого времени испытывал недостаток воды. Последние четырнадцать или пятнадцать часов во рту у меня не было ни капли и я ни на минуту не сомкнул глаз. Если не считать галет, то мои запасы пищи состояли преимущественно — а после пропажи баранины единственно — из копченостей, вызывающих нестерпимую жажду, что до галет, я никак не мог их есть, ибо они были как камень и не лезли в пересохшее и распухшее горло. Сейчас меня трясло, как в лихорадке, и вообще я был совершенно разбит. Это объяснит то обстоятельство, что после неудачи со спичками я провел несколько часов в полнейшей безнадежности, прежде чем сообразил, что осмотрел-то я лишь одну сторону листка! Не берусь описывать свою ярость (именно это чувство владело мной более всего), когда меня внезапно осенило, какой дурацкий промах я совершил.

Сама по себе неудача не имела бы особого значения, если бы я по глупости не поддался первому побуждению: увидев, что на листке ничего не написано, я с досады порбячьи порвал его в клочки и бросил неизвестно куда.

Наиболее трудную часть этой задачи решила сообразительность моего Тигра. Разыскав после долгих поисков какой-то клочок записки, я дал понюхать бумагу псу, пытаюсь заставить его понять, что он должен принести остальные куски. К моему удивлению (ибо я не обучал его разным штукам, какими славится его порода), Тигр как будто бы сразу же постиг, чего я добиваюсь от него, кинулся искать и через несколько секунд притащил другую, немалую часть записки. Затем он принялся тереться носом о мою руку, очевидно ожидая похвалы за выполнение приказа. Я ласково похлопал его по шее, и он бросился искать снова. На этот раз прошло несколько минут, зато, вернувшись, он притащил в зубах большой клочок бумаги, благодаря которому записка составлялась целиком: как оказалось, я порвал ее всего лишь на три части. К счастью, мне не доставило труда найти оставшиеся обломки фосфора, поскольку две-три крупницы испускали тусклый свет. Неудачи научили меня быть в высшей степени осторожным, и поэтому я медлил, еще раз обдумывая то, что собирался предпринять. Весьма вероятно, рассуждал я, на той стороне бумаги, которую я не видал, что-то написано,— но которая это сторона? Да, я сложил клочки вместе, но это не давало ответа, хотя и убеждало, что слова (если таковые имеются) находятся все на одной стороне, представляя собой связный текст, как он и был написан. На этот счет не должно быть ни тени сомнения, поскольку оставшегося фосфора явно не хватит для третьей попытки, если та, которую я собирался предпринять, тоже окончится неудачей. Как и в прошлый раз, я сложил вместе клочки записки на переплете книги и сидел несколько минут, еще и еще взвешивая свой план. Не исключено, подумал я наконец, что исписанная сторона бумаги имеет на поверхности некоторую неровность, которую, по-видимому, можно ощутить, обладая тонким осязанием. Я решил попробовать и осторожно провел пальцем по записке, но ничего не почувствовал. Тогда я перевернул клочки другой стороной, сложил их на переплете и снова стал вести указательным пальцем вдоль записки. И здесь я различил тусклое мерцание, которое двигалось за моим пальцем. Я понял, что оно исходит от мельчай-

ших частиц фосфора, которые остались на бумаге. Значит, надпись, если в конце концов окажется, что она все-таки существует, находится на другой, то есть нижней, стороне бумаги. Я опять перевернул записку и проделал ту же операцию, что и при первой попытке. Я быстро растер крупички фосфора, появилось свечение, и на этот раз я отчетливо увидел несколько строчек, написанных крупным почерком и, очевидно, красными чернилами. Свет был достаточно яркий, но тут же погас. И все же, уйми я свое чрезмерное волнение, я успел бы прочитать все три фразы — а их было именно три, это я заметил. Однако горячее желание схватить весь текст сразу помешало мне, и я сумел прочитать лишь семь последних слов: «... кровью... Хочешь жить, не выходи из убежища».

Знай я даже полное содержание записки, сообщающей о каких-то неслыханных несчастьях, уясни я весь смысл увещания, переданного моим другом, то и тогда — я твердо убежден в этом — я не испытал бы и десятой доли того мучительного и непонятного ужаса, какой вселило в меня это отрывочное предупреждение. И это слово — «кровь»... сколько тайн, страданий, страха несло оно во все времена... какая утроенная сила заключалась сейчас в нем (хотя и оторванном от предыдущих слов и потому неясном и неопределенном)... как холодно и тяжело, посреди глухого мрака моей темницы, падали его звуки в отдаленнейшие уголки моей души!

У Августа, без сомнения, были веские причины предупредить, чтобы я оставался в убежище, и я строил тысячи предположений на этот счет, но ни одно не давало удовлетворительного объяснения тайне. Сразу же после последней вылазки к люку и до того, как мое внимание переключилось на странное поведение Тигра, я пришел к решению сделать так, чтобы меня во что бы то ни стало слышали наверху, или, если это не удастся, попытаться прорезать ход наверх через нижнюю палубу. Доля уверенности в том, что в случае крайней необходимости я сумею осуществить одно из этих намерений, придавала мне мужество вынести все беды (в противном случае оно покинуло бы меня). Однако несколько слов, которые я успел прочитать, окончательно отрезали мне оба пути к

отступлению, и сейчас я в первый раз вполне постиг безвыходность моего положения. В припадке отчаяния я упал на матрац и пролежал пластом около суток в каком-то оцепенении, лишь на короткие промежутки приходя в себя.

В конце концов я снова очнулся и задумался над своим ужасным положением. Ближайшие двадцать четыре часа я еще смогу кое-как продержаться без воды, но дальше меня не хватит. В первые дни моего заключения я довольно часто потреблял горячительные напитки, которыми снабдил меня Август, но они только возбуждали нервы и ни в какой мере не утоляли жажду. Теперь у меня оставалось всего лишь с четверть пинты крепкого персикового ликера, которого решительно не принимал мой желудок. Колбасы я все съел, от окорока сохранился только небольшой кусок кожи, а сухари сожрал Тигр, за исключением одного-единственного, да и от того осталось только несколько крошечных кусочков. В довершение к моим бедам с каждым часом усиливалась головная боль и повышался лихорадочный жар, который мучил меня в большей или меньшей мере с того момента, когда я в первый раз забылся сном. Последние несколько часов мне было трудно дышать, и сейчас каждый вдох сопровождался болезненными спазмами в груди. Но было еще одно обстоятельство, причинявшее мне беспокойство, обстоятельство особого рода, и именно его тревожные последствия и заставили меня побороть оцепенение и подняться с матраца. Я имею в виду поведение моего Тигра.

Какую-то перемену в нем я заметил еще тогда, когда в последний раз растирал крупички фосфора на бумаге. Он сунул морду к моей движущейся руке и негромко зарычал, но я был слишком взволнован в тот момент, чтобы обращать на него внимание. Напомню, что вскоре после этого я бросился на матрац и впал в своего рода летаргический сон. Через некоторое время, однако, я услышал у себя над ухом свистящий звук — это был Тигр. Он весь дергался в каком-то крайнем возбуждении, дыхание со свистом вырывалось у него из пасти, зрачки яростно сверкали во тьме. Я что-то сказал ему, он тихонько заскулил и затих. Я снова забылся и снова был разбужен таким же манером. Это повторялось раза три или четыре, пока на-

конец поведение Тигра не внушило мне такой страх, что я окончательно проснулся. Он лежал у выхода ящика, угрожающе, хотя и негромко рыча и щелкая зубами, как будто его били судороги. У меня не оставалось сомнения, что он взбесился из-за недостатка воды и спертого воздуха трюма, и я положительно не знал, как мне быть. Мысль о том, чтобы убить его, была нестерпима, и все же это казалось абсолютно необходимым для собственной безопасности. Я отчетливо различал его глаза, устремленные на меня с выражением смертельной враждебности, и каждое мгновение ожидал, что он кинется на меня. В конце концов я не выдержал чудовищного напряжения и решил выйти из ящика во что бы то ни стало; если же Тигр воспрепятствует мне, я буду вынужден покончить с ним. Для того чтобы выбраться наружу, я должен был перешагнуть через него, а он как будто уже разгадал мои намерения: поднялся, опираясь на передние лапы (я заметил это по тому, как изменилось положение его глаз), и оскалил белые клыки, которые легко можно было разглядеть во тьме. Я сунул в карманы остаток кожи от окорока, бутылку с ликером, взял большой охотничий нож, который оставил мне Август, и, как можно плотнее запахнувшись в плащ, шагнул было к выходу. Едва я двинулся с места, как собака с громким рычанием кинулась вперед, чтобы вцепиться мне в горло. Всем весом своего тела она ударила меня в правое плечо, я опрокинулся на левый бок, и разъяренное животное перескочило через меня. Я упал на колени и зарылся головой в одеяла — это и спасло меня. Последовало второе бешеное нападение, я чувствовал, как плотно сжимались челюсти на шерстяном одеяле, которое окутывало мою шею, и все же, к счастью, его острые клыки не прокусили складки насквозь. Пес навалился на меня, — через несколько секунд я буду в его власти. Отчаяние придало мне энергии, и, собрав последние силы, я скинул с себя собаку и поднялся на ноги. Одновременно я быстро стянул с матраца одеяла, накинул их на пса, и, прежде чем он успел выпутаться, я выскочил из ящика и плотно захлопнул за собой дверцу, избежав таким образом преследования. В момент схватки я выронил кожу от окорока, и теперь все мои запасы

свелись к четверти пинты ликера. Как только эта мысль промелькнула у меня в сознании, на меня вдруг что-то нашло; как избалованному ребенку, мне захотелось во что бы то ни стало осуществить свою вздорную затею, и, поднеся бутылку ко рту, я осушил ее до капли и со злостью швырнул на пол.

Едва замер треск разбившейся бутылки, как я услышал свое имя, произнесенное со стороны помещения для команды настойчивым, но приглушенным голосом. Настолько неожиданно было что-либо подобное, так напряглись все мои чувства при этом звуке, что я не смог отозваться. Я лишился дара речи, и в мучительном опасении, что мой друг уверится в моей смерти и вернется на палубу, бросив поиски, я выпрямился между клетями близ входа в мой ящик, содрогаясь всем телом, лоя ртом воздух и силясь выдавить хоть слово. Даже если бы мне обещали тысячу жизней за один звук, то и тогда я не смог бы произнести его. Где-то впереди между досками послышалось движение. Вскоре звук стал слабее, потом еще слабее и еще. Разве можно когда-нибудь забыть, что я почувствовал в тот миг? Он уходил... мой друг... мой спутник, от которого я вправе ожидать помощи... он уходил... неужели он покинет меня?.. Ушел!.. Ушел, оставив меня умирать медленной смертью, оставил угасать в этой ужасной и отвратительной темнице... а ведь одно-единственное слово... едва слышимый шепот спас бы меня... но я не мог произнести ни звука! Я испытывал муки в тысячу раз страшнее самой смерти. Сознание у меня помутилось, мне стало дурно, и я упал на край ящика.

Когда я падал, из-за пояса у меня выскользнул нож и со звоном стукнулся об пол. Самая волшебная мелодия не показалась бы столь сладостной! Весь сжавшись от напряжения, я ждал, услышал ли Август шум. Поначалу все было тихо. Потом раздался негромкий неуверенный шепот: «Артур?.. Это ты?..» Возродившаяся надежда вернула мне дар речи, и я закричал во всю силу моих легких: «Август! Август!» «Тише! Молчи ты, ради Бога,— ответил он дрожащим от волнения голосом.— Сейчас я приду... Вот только проберусь здесь». Я слышал, как он медленно двигался между грудями клади, и каждая се-

кунда казалась мне вечностью. Наконец я почувствовал у себя на плече его руку, и он тотчас поднес к моим губам бутылку с водой. Лишь тот, кто стоял на краю могилы или познал нестерпимые муки жажды, усугублявшиеся такими обстоятельствами, в каких находился я в этой мрачной темнице,— лишь тот способен представить себе неземное блаженство, которое я испытал от одного большого глотка самой чудесной жидкости на свете.

Когда я отчасти утолил жажду, Август вытащил из кармана три или четыре вареных картофелины, которые я тут же с жадностью проглотил. Он принес с собой также летучий фонарь, и его теплый свет доставил мне, пожалуй, не меньшее наслаждение, чем еда и вода. Однако же мне не терпелось узнать причину затянувшегося отсутствия моего друга, и он приступил к рассказу о том, что произошло на судне во время моего заточения.

ГЛАВА IV

Как я и думал, бриг снялся с якоря приблизительно через час после того, как Август принес мне часы. Это было 20 июня. Напомню, что к тому моменту я находился в трюме уже три дня; все это время на борту царил суматоха, люди бегали взад и вперед, особенно в салоне и каютах, так что Август не имел никакой возможности навестить меня, не рискуя раскрыть тайну нашего люка. А когда мой друг наконец спустился в трюм, я заверил его, что все обстоит наилучшим образом, и потому следующие два дня он почти не беспокоился за меня, ища тем не менее случай заглянуть в убежище. Такой случай выпал лишь на четвертый день. Все это время он неоднократно порывался рассказать отцу о нашем предприятии и вызволить меня, но мы сравнительно недалеко отошли от Нантакета, и по некоторым замечаниям, оброненным капитаном Барнардом, вряд ли можно было заключить, что он не повернет судно, как только обнаружит меня на борту. Кроме того, у Августа — как он говорил — не возникло предположения, что я в чем-нибудь нуждаюсь, и он знал, что в случае крайней необходимости я тут же

дам о себе знать. Поэтому по зрелом размышлении он заключил, что мне лучше остаться здесь до тех пор, пока у него не появится возможность навестить меня незамеченным. Я уже сообщил, что такая возможность появилась только на четвертый день после того, как он оставил мне часы, или на седьмой — после того, как я укрылся в трюме. Он не взял ни воды, ни провизии, намереваясь просто позвать меня к люку, а уж затем передать мне из каюты запасы. Когда он сошел вниз, то по громкому храпу понял, что я сплю. Из соответствующих сопоставлений я пришел к выводу, что как раз в это время я забылся тяжелым сном после моей вылазки к люку за часами и что, следовательно, мой сон длился по меньшей мере целых три дня и три ночи. Из собственного недавнего опыта и рассказов других я имел основания убедиться в том, какое сильное усыпляющее действие оказывает зловоние, распространяемое рыбьим жиром в закрытом помещении; и когда я думаю о жутких условиях, в которых я пребывал, и длительности срока, в течение которого бриг использовался в качестве китобойного судна, я склонен скорее удивляться тому, что, однажды заснув, я вообще проснулся, нежели тому, что проспал без перерыва указанное выше время.

Сперва Август позвал меня шепотом, не закрывая люк, однако я не ответил. Тогда он опустил крышку и позвал меня громче, потом полным голосом — но я продолжал храпеть. Он не знал, что ему делать. Пробираться к моему ящику сквозь завалы в трюме отняло бы довольно много времени, а между тем его отсутствие могло быть замечено капитаном Барнардом, который имел обыкновение поминутно пользоваться услугами сына для сортировки и переписывания деловых бумаг, связанных с рейсом. Поэтому он подумал, что лучше вернуться и подождать другого случая. Он шел на это с тем более легким сердцем, что спал я, по видимости, как нельзя более безмятежно, и он не мог предположить, что я испытываю особые неудобства от заключения. Как только он принял это решение, внимание его привлекло какое-то движение и шум, доносившийся, очевидно, из салона. Он быстро выскользнул из люка, закрыл крышку и распахнул дверь

своей каюты. Едва он переступил порог, как чуть ли не в лицо ему грянул выстрел, и в то же мгновение его свалил с ног удар вымбовкой.

Чья-то сильная рука прижала его к полу, крепко стиснув ему горло, и все же он мог разглядеть, что происходит вокруг. Связанный по рукам и ногам, на ступеньках трапа лежал вниз головой его отец, и из глубокой раны на лбу непрерывной струей лилась кровь. Из груди его не вырывалось ни звука, он, очевидно, кончался. Над капитаном со злорадной усмешкой наклонился первый помощник и, хладнокровно вывернув ему карманы, достал большой бумажник и хронометр. Семь человек экипажа (среди них был кок-негр) рыскали по каютам вдоль левого борта и скоро вооружились ружьями и патронами. Кроме Августа и капитана Барнарда, в салоне находилось всего девять человек, причем из числа самых отъявленных головорезов на судне. Затем негодяи стали подниматься на палубу и повели с собой моего друга, предварительно связав ему за спиной руки. Они направились прямо на бак, который был захвачен бунтовщиками: у закрытого входа стояли двое с топорами, и еще двое дежурили у главного люка. Помощник капитана крикнул: «Эй, вы, там, внизу! Слышите?.. А ну, вылезайте поодиночке... И чтоб никаких штучек!» Прошло несколько минут, затем показался англичанин, который записался на корабль необученным матросом, — он хныкал и униженно умолял помощника капитана пощадить его. В ответ последовал удар топором по голове. Бедняга без единого сто-на упал на палубу, а кок-негр легко, точно ребенка, поднял его на руки и рассчитанным движением выбросил за борт. Матросы, оставшиеся внизу, слышали удар и всплеск воды; теперь ни угрозами, ни посулами невозможно было заставить их подняться на палубу, и кто-то предложил выкурить их оттуда. Тогда несколько человек разом выскочили наверх, и в какой-то момент казалось, что они одолевают бунтовщиков. Последним, однако, удалось плотно закрыть дверь кубрика, так что оттуда успели выбежать только шесть матросов. Поскольку у этих шестерых не было оружия и противник превосходил их числом, то после короткой схватки они вынуждены были уступить

силе. Помощник капитана обещал их помиловать, рассчитывая, разумеется, побудить оставшихся внизу тоже сдаться, ибо они слышали каждое слово, сказанное на палубе. Результат подтвердил его хитрость, равно как и дьявольскую жестокость. Вскоре все, находившиеся в кубрике, изъявили готовность сдаться и стали один за другим подниматься наверх; их тут же связывали и опрокидывали на пол рядом с первыми шестью матросами — оказалось, что двадцать семь человек в бунте не замешаны.

Затем началась поистине чудовищная бойня. Связанных матросов волочили к трапу. Здесь кок топором методически ударял каждого по голове, а другие бунтовщики скидывали несчастную жертву за борт. Таким образом было убито двадцать два человека, и Август уже считал себя погибшим, каждую минуту ожидая своей очереди. Но негодяи то ли устали, то ли пресытились кровавым зрелищем, во всяком случае, расправа над четырьмя пленниками и моим другом, которые тоже лежали связанными на палубе, была временно отложена, а помощник капитана послал вниз за ромом, и вся эта компания убийц начала попойку, которая длилась до захода солнца. Между ними разгорелся спор о том, что делать с оставшимися в живых, которые находились тут же, шагах в пяти, и слышали каждое слово. Изрядно выпив, некоторые бунтовщики, казалось, подобрели. Стали даже раздаваться голоса о том, чтобы освободить пленников при условии, если они примкнут к ним и будут участвовать в дележе добычи. Однако чернокожий кок (который во всех отношениях был сущим дьяволом и который, очевидно, имел такое же влияние на других, как и сам помощник капитана, если даже не большее) не желал ничего слышать и неоднократно порывался возобновить побоище у трапа. По счастью, он был настолько пьян, что его без труда удерживали менее кровожадные собутыльники, среди которых был и лотовой, известный под именем Дирка Петерса. Этот человек был сыном индианки из племени упшароков, которое обитает среди недоступных Скалистых гор, неподалеку от верховий Миссури. Отец его, кажется, торговал пушниной или, во всяком случае, каким-то

образом был связан с индейскими факториями на реке Льюиса. Сам Петерс имел такую свирепую внешность, какой я, пожалуй, никогда не видел. Он был невысокого роста, не более четырех футов восьми дюймов, но сложен как Геркулес. Бросались в глаза кисти его рук, такие громадные, что совсем не походили на человеческие руки. Его конечности были как-то странно искривлены и, казалось, совсем не сгибались. Голова тоже выглядела какой-то несообразной: огромная, со вдавленным теменем (как у большинства негров) и совершенно плешивая. Чтобы скрыть этот недостаток, вызванный отнюдь не старческим возрастом, он обычно носил парик, сделанный из любой шкуры, какая попадалась под руку, — будь то шкура спаниеля или американского медведя-гризли. В то время, о котором идет речь, на голове у него был кусок медвежьей шкуры, который сообщал еще большую свирепость его облику, выдававшему его происхождение от упшароков. Рот у Петерса растянулся от уха до уха, губы были узкие и казались, как и другие части физиономии, неподвижными, так что лицо его совершенно независимо от владеющих им чувств сохраняло постоянное выражение. Чтобы представить себе это выражение, надо вдобавок принять во внимание необыкновенно длинные, торчащие зубы, никогда, даже частично, не прикрываемые губами. При мимолетном взгляде на этого человека можно было подумать, что он содрогается от хохота, но если взглядеться более пристально, то с ужасом обнаружишь, что если это и веселье, то какое-то бесовское. Об этом необыкновеннейшем существе среди моряков Нантакета ходило множество историй. Некоторые касались его удивительной силы, которую он проявлял, будучи в раздраженном состоянии, а иные вообще сомневались, в здравом ли он уме. Но на борту «Дельфина» в момент бунта он, по-видимому, был всего лишь предметом всеобщего зубоскальства. Я так подробно остановился на Дирке Петерсе потому, что, несмотря на кажущуюся свирепость, именно он помог Августу спастись от смерти, а также и потому, что я буду часто упоминать о нем в ходе моего повествования, которое — позволю себе заметить — в последних своих частях будет содержать про-

исшествия, настолько несовместимые с областью человеческого опыта и в силу этого настолько выходящие за границы достоверности, что я продолжаю свой рассказ без малейшей надежды на то, что мне поверят, однако в стойком убеждении, что время и развивающиеся науки подтвердят наиболее важные и наименее вероятные из моих наблюдений.

После долгих колебаний и двух-трех яростных ссор было решено усадить всех пленников (за исключением Августа, которого Петерс словно бы в шутку настоятельно пожелал иметь при себе в качестве клерка) в какой-нибудь малый вельбот и пустить по воле волн. Помощник капитана сошел в салон посмотреть, жив ли капитан Барнард: его, как вы помните, бунтовщики бросили там, когда поднялись на палубу. Вскоре появились оба, капитан бледный как смерть, но немного оправившийся от раны. Едва слышным голосом он обратился к матросам, убеждая их не бросать его в море и вернуться к исполнению своих обязанностей, а также обещая высадить их на сушу, где пожелают, и не передавать дело в руки правосудия. Но то был глас вопиющего в пустыне. Двое негодяев подхватили его под руки и столкнули через борт в лодку, которую успели опустить на воду, пока помощник капитана ходил в кают-компанию. Четырем матросам, лежавшим на палубе, развязали руки и приказали следовать за капитаном, что они и сделали без малейшей попытки к сопротивлению, но Августа по-прежнему оставили крепко связанным, хотя он бился и молил только об одном — чтобы ему разрешили попрощаться с отцом. В лодку передали горсть морских сухарей и кувшин с водой, но пленники не получили ни мачты, ни паруса, ни весел, ни компаса. Несколько минут, пока бунтовщики о чем-то совещались, лодка шла за кормой на буксире, затем веревку обрубили. Тем временем спустилась ночь, на небе не было ни луны, ни звезд, шла опасная короткая волна, хотя ветер был умеренный. Лодка мгновенно пропала из виду, и вряд ли можно было питать надежду на спасение несчастных, находившихся в ней.

Это произошло на 35°30' северной широты и 61°20' западной долготы, то есть сравнительно недалеко от Бер-

мудских островов. Поэтому Август старался утешить себя мыслью, что лодке удастся достичь суши или подойти достаточно близко к островам и встретить какое-нибудь судно.

Затем на бриге поставили все паруса, и он лег на прежний курс на юго-запад: бунтовщики, очевидно, задумали разбойничью экспедицию, намереваясь, наверное, захватить какое-то судно, идущее с островов Зеленого Мыса в Порто-Рико. Никто не обращал никакого внимания на Августа — ему развязали руки и разрешили находиться на передней части корабля, но не подходить, однако, близко к салону. Дирк Петерс обращался с ним довольно мягко, а однажды даже спас его от жестокого кока. И все же положение Августа было отнюдь не безопасным, ибо бунтовщики пребывали в состоянии постоянного опьянения и полагаться на их хорошее настроение или безразличие было нельзя. Однако более всего Августа, как он сам рассказывал, мучило беспокойство обо мне, и я не имею оснований сомневаться в его дружеской верности. Он не раз порывался раскрыть смутьянам тайну моего пребывания на борту, но его удерживала отчасти мысль о зверствах, свидетелем которых он имел несчастье быть, а отчасти надежда на то, что ему как-нибудь удастся в скором времени облегчить мое положение. Он был ежеминутно начеку, но, несмотря на постоянное бдение, минуло целых три дня, как бунтовщики бросили в открытом море вельбот, прежде чем выпал удобный случай. В ночь на четвертый день с востока налетел жестокий шторм, и все матросы были вызваны наверх убирать паруса. Воспользовавшись замешательством, Август незаметно спустился вниз и проник в свою каюту. Каково же было его горе и смятение, когда он обнаружил, что ее превратили в склад съестных припасов и корабельного хозяйства и что огромную, в несколько саженей якорную цепь, которая была сложена под сходным трапом в кают-компанию, перетасили сюда, чтобы освободить место для какого-то сундука, и теперь она лежала как раз на крышке люка! Сдвинуть ее, не обнаружив себя, было решительно невозможно, и он поспешил вернуться на палубу. Когда он появился наверху, помощник капитана схватил его за

горло, потребовав отвечать, что он делал в каюте, и хотел перекинуть его через поручни, но вмешательство Дирка Петерса снова спасло Августу жизнь. Ему надели наручники (каковых на судне было несколько пар) и крепко связали ноги. Затем моего друга отвели на нижнюю палубу и заперли в каюту для команды, примыкающую к переборке бака, со словами, что нога его не ступит на палубу, «пока бриг называется бригом». Так выразился кок, швырнув его на койку,— трудно угадать, что именно он хотел сказать. Однако это происшествие, как вскоре станет очевидным, в конечном счете способствовало моему освобождению.

ГЛАВА V

Какое-то время после ухода кока Август предавался отчаянию, окончательно оставив надежду выйти из этой дыры живым. Он пришел к решению, что первому человеку, который спустится сюда, он скажет, где я нахожусь, считая, что мне лучше пойти на риск и оказаться пленником у бунтовщиков, нежели погибнуть от жажды в трюме, ибо со дня моего заключения прошло уже десять дней, а запас воды в моем кувшине был рассчитан от силы на четыре. Покуда он размышлял, его внезапно осенила мысль, нельзя ли попробовать снестись со мной через главный трюм. В других обстоятельствах трудности и риск, связанные с этим предприятием, заставили бы его отступить, но сейчас — что бы ни случилось — у него у самого было немного шансов выжить, следовательно, терять было нечего, и он твердо решил осуществить свой замысел.

Первой заботой были наручники. Сперва ему показалось, что их не снять, и он расстроился, что с самого начала возникло непреодолимое препятствие, однако при ближайшем рассмотрении обнаружилось, что, с некоторым усилием протискивая сложенные ладони сквозь браслеты, последние можно безболезненно снять с руки и надеть при желании снова,— очевидно, этот вид наручников был не приспособлен для подростков, ввиду тон-

кости и гибкости их костяка. Затем он ослабил веревку на ногах, оставив на ней петлю, чтобы быстро затянуть ее снова в случае чьего-либо появления, и принялся осматривать переборку, у которой находилась койка. В этом месте она была составлена из мягких сосновых досок толщиной в дюйм, и он убедился, что без особого труда проделает в ней отверстие. В этот момент с трапа, ведущего на бак, раздался голос, и едва он успел протиснуть правую руку в браслет (левый он не снимал) и затянуть веревку скользящим узлом вокруг лодыжек, как спустился Дирк Петерс в сопровождении Тигра, который тут же вспрыгнул на койку и улегся на ней. Собаку привел на судно Август, который знал мою привязанность к животному и решил, что мне будет приятно иметь его при себе во время путешествия. Он пошел ко мне домой за собакой сразу же после того, как спрятал меня в трюме, но забыл сказать мне об этом, когда принес часы. С того момента, как вспыхнул бунт, Август не видел Тигра и решил, что его вышвырнул за борт какой-нибудь негодяй из числа дружков помощника капитана. Впоследствии выяснилось, что собака забилась под вельбот, но не могла вылезти назад без посторонней помощи. Петерс выпустил его и с каким-то доброжелательством, которое мой друг вполне оценил, привел к нему в кубрик для компании; оставив, кроме того, кусок солонины, несколько картофелин и кружку с водой, он поднялся наверх, обещав прийти на следующий день и принести что-нибудь поесть.

Когда тот ушел, Август стянул с рук браслеты и освободил от веревки ноги. Затем он откинул изголовье матраца, на котором лежал, и перочинным ножом (негодяи не сочли нужным обыскать моего друга) принялся усиленно резать поперек одну из досок в переборке как можно ближе к настилу. Он выбрал именно это место потому, что в случае внезапной помехи он мог быстро скрыть свою работу, опустив матрац на прежнее место. Остаток дня его, однако, никто не тревожил, и к вечеру он полностью перерезал доску. Здесь следует заметить, что никто из команды не использовал кубрик для сна, ибо с момента мятежа все постоянно находились в кают-компании, попивая вина и пируя за счет запасов капитана Барнарда и

не забоясь, более чем это было абсолютно необходимо, о том, чтобы вести корабль. Это обстоятельство оказалось исключительно благоприятным как для меня, так и для Августа: в противном случае он не смог бы до меня добраться. Но дело обстояло именно так, и Август с рвением продолжал работу. Однако лишь незадолго до рассвета он закончил вторую прорезь в доске (находившуюся выше первой примерно на фут), проделав, таким образом, отверстие, которое было достаточно велико, чтобы с легкостью пролезть на нижнюю палубу. Он прополз сквозь отверстие и без особого труда добрался до главного нижнего люка, хотя для этого ему пришлось карабкаться на бочки для ворвани, которые ярусами возвышались чуть ли не до верхней палубы, так что там едва оставалось пространство, чтобы двигаться вперед. Он достиг люка и увидел, что Тигр следовал за ним понизу, протискиваясь между двумя рядами бочек. Было, однако, уже слишком поздно, он не успел бы пройти ко мне до зари, ибо главная трудность заключалась в том, чтобы пробраться сквозь тесно уложенную кладь в нижнем трюме. Он решил поэтому вернуться и дожидаться следующей ночи, но предварительно попробовал приоткрыть люк, чтобы не терять времени, когда он придет сюда. Едва он приподнял крышку, как Тигр бросился к щели, принялся нюхать и протяжно заскулил, одновременно скребя лапами и как бы пытаясь сдвинуть доски. Собака, без сомнения, почувствовала мое присутствие в трюме, и Август подумал, что она наверняка разыщет меня, если спустится вниз. Тогда-то Августу и пришла мысль послать мне записку с предупреждением, чтобы я не пытался выбраться наверх, во всяком случае, при нынешних обстоятельствах, а полной уверенности, что сумеет повидать меня завтра, как он предполагал, у него не было. Последующие события показали, какой счастливой была эта мысль: не получи я записки, я неизбежно выискал бы какое-нибудь, пусть самое отчаянное, средство поднять на ноги всю команду, в результате чего и его и моя жизнь оказались бы, вероятнее всего, под угрозой.

Решение о записке было принято, но чем и на чем писать? Старая зубочистка была тотчас переделана в перо,

причем на ощупь, потому что между палубами царил крошечный мрак. Бумага тоже нашлась — вторая страница письма мистера Росса, вернее дубликат подделки. Это был первоначальный вариант, не удовлетворивший Августа из-за недостаточного сходства почерков, и он написал другой, а первый по счастливой случайности сунул в карман, где он сейчас весьма кстати и обнаружился. Теперь доставало только чернил, но и здесь нашлась замена: Август перочинным ножом уколол палец как раз над ногтем, и из пореза, как это обычно и бывает от повреждений в этом месте, обильно выступила кровь. Итак, записка была написана, насколько это вообще можно было сделать в темноте и в этих условиях. В ней коротко говорилось, что на бриге вспыхнул мятеж, что капитан Барнард оставлен в море, что я могу рассчитывать на помощь по части съестного, но никоим образом не должен обнаруживать свое присутствие. Записка заканчивалась словами:

«Пишу кровью... Хочешь жить, не выходи из убежища».

Привязав листок бумаги к собаке и спустив ее по ступенькам в трюм, Август поспешил обратно в кубрик и никаких признаков того, что кто-нибудь из экипажа заходил сюда в его отсутствие, там не обнаружил. Чтобы скрыть отверстие в перегородке, он вогнал в доску над ним нож и повесил куртку, валявшуюся в каюте. Затем он надел наручники и обвязал веревкой ноги.

Едва он успел закончить эти приготовления, как в кубрик спустился Дирк Петерс, совершенно пьяный, но в отличнейшем настроении, и принес моему другу дневной паек. Он состоял из дюжины больших печеных картофелин и кувшина воды. Он уселся на ящик возле койки и принялся разглагольствовать о помощнике капитана и вообще о делах на судне. Держался он как-то неровно и непонятно. Один раз Августа даже смутило его странное поведение. Наконец он ушел, пробормотав, что завтра принесет пленнику хороший обед. Днем пришли еще два члена команды — гарпунщики — в сопровождении кока, причем все трое в состоянии совершенного опьянения. Как

и Петерс, они, не таясь, говорили о своих намерениях. Оказалось, что среди бунтовщиков возникли серьезные разногласия относительно конечной цели путешествия и что они пришли к единодушному мнению лишь в одном пункте — напасть на судно, идущее с островов Зеленого Мыса, которое они ожидали встретить с часу на час. Насколько можно было понять, бунт вспыхнул не только из-за добычи — главным подстрекателем был первый помощник капитана, затаивший личную обиду на капитана Барнарда. Теперь, как явствовало, команда разделилась на две основные группы: одну возглавлял помощник капитана, другую кок. Те, что были с помощником капитана, предлагали захватить первый подходящий корабль и, снарядив его где-нибудь на островах Вест-Индии, пуститься в разбойничье плавание. Вторая группа, более многочисленная и включавшая Дирка Петерса, стояла на том, чтобы следовать первоначальному маршруту в южную часть Тихого океана, а там либо заняться китобойным промыслом, либо предпринять что-нибудь еще, смотря по обстоятельствам. Рассказы Петерса, который часто ходил в эти широты, очевидно, имели успех у бунтовщиков, колебавшихся между смутными представлениями о наживе и жаждой развлечений. Он распространялся о том, какой новый и увлекательный мир откроется перед ними на бесчисленных островах Тихого океана, как они будут наслаждаться полной безопасностью и свободой от всех ограничений, и особенно восхвалял благодатную природу, богатую и легкую жизнь и чудную красоту женщин. И все же к согласному решению на судне пока не пришли, хотя картины, нарисованные полукровкой, завладели разгоряченным воображением моряков, и, по всей вероятности, его рассказы в конце концов могли возыметь действие.

Троица убралась примерно через час, и больше в тот день на баке никто не появлялся. Август лежал без звука почти до самой ночи. Потом он освободился от наручников и веревки на ногах и начал приготовления к вылазке. Около какой-то койки он нашел бутылку и наполнил ее из кувшина, оставленного Петерсом, в карманы засунул холодные картофелины. К его величайшей радости, ему

попался также фонарь с сальным огарком. Фонарь он мог зажечь в любую минуту, поскольку в его распоряжении была коробка фосфорных спичек. Когда совсем стемнело, он из предосторожности так сложил одеяло, что создавалось впечатление, будто на койке лежит укрывшийся им человек, и пролез сквозь отверстие. Оказавшись по ту сторону переборки, он, как и прежде, повесил куртку на нож, чтобы скрыть отверстие, а затем вставил выпиленный кусок доски на место. Теперь он находился на нижней палубе и стал пробираться, как и в первый раз, между настилом верхней палубы и бочками для китового жира к главному люку. Там он зажег фонарь и спустился в трюм, осторожно нащупывая путь среди плотно установленного груза. Через несколько секунд он почувствовал невыносимую духоту и зловоние. Он не представлял себе, как я мог так долго дышать таким тяжелым воздухом. Он несколько раз позвал меня, но никто не отвечал; казалось, что самые худшие его предположения подтвердились. Бриг бешено швыряло из стороны в сторону, и стоял такой шум, что различить в нем дыхание или храп было совершенно немислимо.

Он открыл крышку фонаря и, когда была возможность, поднимал его как можно выше, чтобы я — если я еще был жив — заметил свет и знал, что мне идут на выручку. Однако я не издавал ни звука, и предположение, что я погиб, постепенно превращалось в уверенность. Тем не менее он решил пройти, если удастся, к ящику и хотя бы убедиться в истинности своих подозрений. Какое-то время, совершенно подавленный, он еще продвигался вперед, пока не увидел, что проход совершенно загроможден и он не сможет сделать дальше ни шага тем путем, каким шел. Будучи не в силах сдержаться, он в отчаянии бросился на бревна и зарыдал, как ребенок. Как раз в этот момент он услышал треск бугылки, которую я швырнул на пол. Поистине счастливой оказалась эта случайность, ибо при всей незначительности от нее зависела моя висевшая на волоске жизнь. Врожденная застенчивость и сожаление о своей слабости и нерешительности помешали Августу сразу признаться в том, в чем более тесное и откровенное общение побудило его поделиться со мной впоследствии.

Видя, что он не может пробраться вперед из-за непреодолимых препятствий, Август решил отказаться от намерения повидать меня и немедленно вернуться в кубрик. Прежде чем порицать его за это, необходимо принять во внимание чрезвычайные обстоятельства, которые крайне осложняли его положение. Приближалось утро, и его отсутствие могло быть обнаружено — вернее, так оно и должно было случиться, если он не успеет до рассвета вернуться в кубрик. В фонаре догорала свеча, а возвращаться к люку в темноте было необыкновенно трудно. Нужно учитывать также, что у него имелись все основания считать меня погибшим, и в этом случае он уже ничем не мог мне помочь, даже если бы достиг ящика, а по пути ему пришлось бы встретиться с множеством опасностей. Он несколько раз звал меня, но я не отвечал. На протяжении одиннадцати дней и ночей у меня было ровно столько воды, сколько помещалось в оставленном им кувшине, причем маловероятно, что я сэкономил ее в начале заключения, поскольку имел веские резоны ожидать благополучного разрешения дела. Кроме того, для него, дышавшего сравнительно свежим воздухом жилых помещений, атмосфера в трюме была отвратительна и куда более невыносима, чем показалось мне, когда я впервые устраивался в ящике, — ведь к тому времени люки оставались открытыми в течение многих месяцев. Добавьте к этим соображениям сцену страшного кровопролития, свидетелем которой совсем недавно был мой друг, его собственный плен, лишения, добавьте, что он сам едва избежал смерти и сейчас еще находился в каком-то двусмысленном и опасном положении, добавьте, словом, все так несчастливо сложившиеся обстоятельства, способные вконец истощить духовные силы, и тогда вы, читатель, вслед за мной отнесетесь к его очевидной неустойчивости в дружбе и вере скорее с чувством глубокой печали, нежели гнева.

Итак, Август отчетливо слышал треск разбившейся бутылки, но он не был уверен, что звук донесся из трюма. Однако и искры надежды было достаточно, чтобы продолжать поиски. Он вскарабкался по грузу почти до средней палубы, а затем, выждав момент, когда качка стихла,

стал изо всех сил звать меня, пренебрегая на этот раз опасностью быть услышанным членами команды. Напомню, что как раз в это время я услышал его голос, но не смог превозмочь волнения и отозваться. Убежденный, что сбылись худшие его предположения, он спустился на палубу, чтобы, не теряя времени, вернуться в кубрик. В спешке он столкнул несколько небольших ящиков, и я слышал, если помните, шум от падения. Он уже проделал значительный путь назад, когда стук ножа снова заставил его заколебаться. Он немедленно возвратился и, вторично забравшись на грузы и дождавшись затишья, так же громко стал звать меня. На этот раз я обрел дар речи. Вне себя от радости, что я жив, он решил пройти ко мне, невзирая ни на что. Кое-как выбравшись из лабиринта, образованного наваленным грузом, он наткнулся на подходящую как будто щель и после невероятных усилий, вконец изнемогая, очутился у ящика.

ГЛАВА VI

Этот рассказ в общих чертах Август успел сообщить в момент нашей встречи подле ящика, и лишь позднее он поведал свои приключения во всех подробностях. Он опасался, что его хватятся, да и я сгорал от нетерпения избавиться от ненавистного плена. Мы решили немедленно добраться до его отсека, где я должен был выждать за перегородкой, пока он разведает, что творится наверху. Ни он, ни я положительно не знали, что делать с Тигром, хотя и помыслить не могли о том, чтобы оставить его здесь. Пес совсем затих, и, даже приложив ухо к стенке ящика, мы не различали его дыхания. Я уже подумал, что он окошел, и открыл дверцу ящика. Тигр лежал совершенно неподвижно, вытянувшись во всю длину, но еще дышал. Нельзя было терять ни минуты, и все-таки я не мог заставить себя бросить на верную смерть животное, которое дважды спасло мне жизнь. С огромным трудом, изнемогая от усталости, мы кое-как потащили его с собой, причем Августу неоднократно приходилось брать собаку на руки и перелезть с ней через всевозможные

препятствия — подвиг, на который я из-за крайней слабости был совершенно неспособен. Наконец мы достигли отверстия в перегородке, Август пролез внутрь, туда же мы протолкнули и Тигра. Все было в порядке, и мы не преминули вознести благодарственные молитвы Господу за избавление от неминуемой гибели. Мы условились, что я пока останусь подле отверстия, чтобы мой друг имел возможность делиться со мной своим дневным пайком, а я — дышать сравнительно свежим воздухом.

Некоторые части моего рассказа, те, где я касался корабельного груза, могут показаться сомнительными иным читателям, которым доводилось наблюдать, как обычно загружают судно, и поэтому я должен определенно заметить, что в этом важнейшем деле капитан Барнард допустил позорную небрежность и не показал себя ни предусмотрительным, ни многоопытным моряком, как того, очевидно, требовал опасный служебный долг. Погрузку нельзя вести кое-как, и даже на собственном небольшом опыте я убедился, что небрежение или невежество в этой части ведет к губительным последствиям. Чаще других терпят кораблекрушение каботажные суда, на которых из-за обычной суматохи во время погрузочных и разгрузочных работ плохо следят за правильным размещением грузов. Самое главное состоит в том, чтобы исключить возможность малейшего перемещения груза или балласта даже в моменты наисильнейшей качки. Для этого надо принимать в расчет не только количество груза, но и характер его, а также степень заполненности трюма. В большинстве случаев правильная укладка груза достигается уплотнением. Так, при перевозке табака или муки тюки и мешки настолько уплотняют в трюме, что при разгрузке они оказываются совершенно сплюснутыми и лишь через некоторое время приобретают свою первоначальную форму. К уплотнению, однако, прибегают преимущественно в тех случаях, когда необходимо выгадать место в трюме, ибо при полной его загрузке такими товарами, как мука или табак, опасности перемещения нет вовсе или оно таково, что не причинит вреда. Бывало даже, что чрезмерное уплотнение приводило к весьма печальным последствиям, но по причинам, совер-

шенно отличным от опасности, возникающей из-за сдвига груза. Известен, например, случай, когда плотно уложенная при определенных атмосферных условиях партия хлопка затем раздалась в объеме и разорвала в море корпус корабля. Нет сомнения, что то же самое могло бы произойти с табаком, в котором происходит обычный процесс ферментации, если бы не промежутки между тюками из-за их округлой формы.

Когда же трюм загружен не полностью, тогда и может возникнуть опасность сдвига груза, против чего и требуется принять соответствующие меры предосторожности. Только те, кто встречался со штормом, вернее, кто испытал бортовую качку в момент внезапно наступившего затем штиля, могут представить себе, с какой мощью накреняется судно и какая чудовищная движущая сила сообщается в результате всем свободным предметам на борту. Тогда-то и становится очевидной необходимость самой тщательной укладки груза в неполном трюме. Когда судно с неудачной конструкцией носа лежит в дрейфе (особенно с небольшим числом парусов на носу), его часто кренит набок; это случается в среднем каждые пятнадцать—двадцать минут и при условии правильной укладки груза не влечет за собой никаких серьезных последствий. Если же за нею не следили самым строжайшим образом, то при первом же сильном броске весь груз перекачивается на один борт, и, поскольку судно не может выпрямиться, вода за несколько секунд проникает в трюм, и оно идет ко дну. Не будет преувеличением сказать, что по крайней мере половина кораблекрушений во время тяжелых штормов объясняется перемещением груза или балласта.

При перевозке на судне штучного товара груз размещается как можно плотнее и покрывается слоем толстых досок длиной от борта до борта. На эти доски устанавливают прочные временные стойки, упирающиеся в бимсы, и таким образом достигается надежное крепление. При погрузке зерна и других подобных материалов требуются особые предохранительные меры. Трюм, при отплытии загруженный зерном доверху, в пункте назначения окажется заполненным лишь на три четверти, хотя если гру-

зополучатель замерит зерно бушель за бушелем, то количество его — несмотря на то, что судно зафрахтовано специально для данной партии, — значительно увеличится из-за разбухания. Эта мнимая убыль вызвана *утряской* зерна за время плавания, и она тем более ощутима, чем хуже была погода. Сколь хорошо ни закреплять досками и стойками свободно засыпанное в трюм зерно, все равно во время долгого перехода оно сдвинется, и это приведет к губительнейшим последствиям. Чтобы избежать их, перед отплытием следует как можно лучше утрясти груз; для этого существует множество способов, среди которых можно упомянуть вколачивание в зерно клиньев. Но и после всех этих приготовлений, после необыкновенно тяжелой работы по закреплению досок ни один моряк, даже знающий свое дело, не будет чувствовать себя в безопасности при сколько-нибудь сильном шторме, имея на борту груз зерна и тем паче неполный трюм со штучным товаром. Несмотря на это, сотни наших каботажных судов и еще больше европейских каждодневно уходят в плавание со штучным грузом, причем самым опасным, без каких-либо предосторожностей. Удивительно, что кораблекрушения не бывают еще чаще. Печальным примером такой беззаботности в моей памяти остался случай с Джоелем Райсом, капитаном шхуны «Светляк», который шел с партией кукурузы из Ричмонда, штат Виргиния, на остров Мадейра в 1825 году. Капитан совершил много плаваний без значительных происшествий; и обычно он не обращал внимания на укладку груза, разве что следил, чтобы он был закреплен как следует. До того ему не приходилось ходить с зерном, и на этот раз кукурузу просто ссыпали в трюм, загрузив его едва больше половины. Первую часть пути дул лишь свежий бриз, но когда до Мадейры оставался день ходу, налетел сильный норд-норд-ост, который заставил его лечь в дрейф. Капитан развернул шхуну в бейдевинд, оставив только фок, взятый на второй риф, и она шла, как и положено, не зачерпнув ни капли воды. К ночи шторм поутих, и хотя качка была порядочная, все же шхуна держалась хорошо до тех пор, пока тяжелый вал не опрокинул ее на правый борт. В тот же миг зерно всей своей

массой с шумом сдвинулось с места и прорвало крышку главного люка. Судно тут же пошло ко дну. Это произошло на расстоянии слышимости голоса от небольшого шлюпа с Мадейры, который подобрал одного-единственного спасшегося члена команды и вышел из шторма невредимым, как вышла бы при умелом управлении и любая шлюпка-четверка.

Что до «Дельфина», то груз у него на борту был уложен кое-как, если вообще можно считать укладкой, когда чуть ли не без разбора сваливают в одну грудку бочки для жира¹ и предметы корабельного хозяйства. Я уже говорил о том, в каком беспорядке был навален груз в трюме. Между бочками для жира, установленными на нижней палубе, и верхней палубой оставался просвет, где я мог проползти; много свободного пространства было у главного люка; и кое-где еще имелись большие промежутки между грузами. А возле самого отверстия, которое проделал в перегородке Август, я нашел место, где вполне поместилась бы бочка и где я пока с удобством расположился.

Когда мой друг благополучно пролез в свой отсек, снова натянул наручники и обвязал веревкой ноги, уже совсем рассвело. Мы успели как раз вовремя: едва он покончил с этим, как в кубрик спустился первый помощник капитана с Дирком Петерсом и коком. Разговор их касался судна с островов Мыса Верде, появления которого они ждали с часу на час. Потом кок зашел в отсек, где лежал Август, и присел у его изголовья. Я слышал каждое слово и видел каждое движение из своего убежища, ибо мой друг не вставил назад выпиленную часть доски, и я ожидал, что вот-вот негра качнет, он зацепит повешенную куртку, скрывавшую отверстие, все обнаружится, и нам, конечно, несдобровать. Фортуна, однако, была благосклонна к нам, и хотя он то и дело задевал куртку, но не настолько сильно, чтобы обнаружить лаз. Сама же куртка не качалась и не могла открыть отверстие, так как полы ее

¹ Китобойные суда обычно снабжены металлическими баками для жира, и я до сих пор не знаю, почему их не было на «Дельфине». — *Примеч. автора.*

были тщательно прикреплены к перегородке. Все это время Тигр лежал в ногах у Августа и, казалось, постепенно приходил в себя; я заметил, что иногда он открывал глаза и тяжело вздыхал.

Через несколько минут помощник капитана и кок поднялись наверх, а Дирк Петерс тотчас же подошел к Августу и сел там, где только что сидел кок. Он начал весьма дружески разговаривать с Августом, и мы заметили, что он совсем не так пьян, каким прикидывался в присутствии тех двоих. Он, не таясь, отвечал на вопросы моего друга, высказал уверенность, что его отца подобрали в море, потому что как раз перед заходом солнца в тот день, когда капитана бросили в лодке, он видел на горизонте никак не меньше пяти парусников, и вообще всячески утешал Августа, что столь же удивило меня, сколь и обрадовало. Я даже начал лелеять надежду, что с помощью Петерса мы в конце концов сумеем захватить бриг в свои руки, о чем я и сказал Августу, как только выпала возможность. Он счел это вполне вероятным, но оговорил, что в любой попытке такого рода необходимо соблюдать строжайшую осторожность, поскольку поведение полукровки могло быть следствием единственно причуды или случайного порыва, да и вообще никто не знал, действовал ли он когда-нибудь по трезвом размышлении. Через час Петерс поднялся на палубу и вернулся лишь после полудня с порядочным куском солонины и пудингом. Когда мы остались одни, я, не возвращаясь за перегородку, с удовольствием отведал того и другого. До конца дня на баке никто больше не появлялся, и под вечер я забрался к Августу в койку, где мирно проспал почти до рассвета, когда он поднял меня, услышав на палубе какое-то движение, и я как можно быстрее вернулся в свое убежище. Когда совсем рассвело, мы увидели, что Тигр почти окончательно оправился и, не обнаруживая никаких признаков водобоязни, жадно вылакал миску воды. В течение дня к нему вернулись силы и аппетит. Его странное поведение было вызвано, конечно же, тлетворной атмосферой трюма и не имело никакого отношения к бешенству. Я не мог нарадоваться тому, что решил во что бы то ни стало взять его с собой, когда мы покидали трюм. Это было 30

июня, на тринадцатый день с момента нашего отплытия из Нантакета.

Второго июля в кубрик спустился помощник капитана, по обыкновению пьяный и в чрезвычайно хорошем настроении. Он подошел к Августу и, фамильярно хлопнув его по плечу, спросил, будет ли он послушным, если ему предоставят свободу, и обещает ли он не заходить в кают-компанию. Мой друг, разумеется, сказал «да», и тогда негодая, вытащив из кармана флягу, угостил его ромом, снял наручники и веревку. Они поднялись на палубу, и часа три Август не возвращался. Затем он вернулся с хорошими новостями: ему разрешили свободно ходить по всей передней части судна вплоть до грот-мачты, а спать приказали, как и прежде, в кубрике. Кроме того, он принес хороший обед и изрядный запас воды. Бриг держался прежнего курса, ожидая судна с островов Зеленого Мыса, и, когда вдали показался парус, все сошлись на том, что это оно и есть. Поскольку события последующих восьми дней ничем особо не примечательны и не имеют прямого отношения к моему повествованию, я изложу их в форме дневника, так как опускать их вовсе мне не хочется.

Июль, третьего дня. Август раздобыл для меня три одеяла, и я соорудил себе отличную постель в моем убежище. В течение всего дня никто, за исключением моего друга, не спускался в кубрик. Тигр расположился у переборки и все время спал, словно не вполне оправившись от последствий своей болезни. На исходе дня налетел шквал, и так неожиданно, что не успели убрать паруса и судно чуть было не опрокинулось. Ветер, однако же, сразу стих, не причинив нам никакого вреда, кроме того, что сорвал парус на фок-мачте. Весь день Дирк Петерс был чрезвычайно добр с Августом, завел с ним долгий разговор о Тихом океане и островах, где он бывал. Он спросил, не хотел ли бы Август вместе с ними отправиться в увлекательное путешествие по тем широтам, и сообщил, что команда все больше склоняется на сторону помощника капитана. Август благоразумно ответил, что будет рад участвовать в плавании, поскольку ничего другого не оставалось и любое предложение было предпочтительнее пиратской жизни.

Июль, четвертого дня. Судно, увиденное на горизонте, оказалось небольшим бригом из Ливерпуля, и ему дали возможность беспрепятственно проследовать своим курсом. Большую часть времени Август проводил на палубе, по мере сил стараясь разузнать планы бунтовщиков. Среди них то и дело вспыхивали бурные ссоры, и во время одной из них сбросили за борт гарпунщика Джима Боннера. Число сторонников помощника капитана растет. Джим Боннер принадлежал к партии кока, к которой примыкает и Петерс.

Июль, пятого дня. На рассвете с запада подул сильный бриз, который после полудня перешел в штормовой ветер, так что пришлось убрать все паруса, кроме триселя и фока. Во время маневра сорвался с мачты матрос Симмс, входивший в группу кока, и, будучи сильно пьяным, утонул, причем никто даже пальцем не пошевелил, чтобы спасти его. Теперь на борту, вместе с Августом и мною, насчитывается тринадцать человек, а именно: в числе сторонников чернокожего кока Сеймура, кроме него самого, — Дирк Петерс, Джонс, Грили, Харгман Роджерс и Уильям Аллен; в группу помощника капитана — я так и не узнал его имени — входит он сам, Авессалом Хикс, Уилсон, Джон Хант и Ричард Паркер.

Июль, шестого дня. Весь день штормило, то и дело налетали шквалы с дождем. Сквозь пазы в трюм набралось порядочно воды, которую безостановочно откачивали одним насосом, причем Августа тоже заставили работать у рукоятки. Как только спустились сумерки, совсем близко от нас прошел большой корабль, — его увидели лишь тогда, когда он был на расстоянии слышимости голоса. Очевидно, это было то самое судно, которое поджидали бунтовщики. Помощник капитана окликнул проходящих мимо, но ответ потонул в реве ветра. В одиннадцать часов волна накрыла среднюю часть судна, смыла большую часть левого фальшборта и нанесла кое-какие мелкие повреждения. К утру распогодилось, и на рассвете ветер почти стих.

Июль, седьмого дня. Весь день на море было сильное волнение, наш легкий бриг изрядно качало, и я слышал из своего убежища, что многие предметы в трюме сорва-

лись со своих мест. Меня мучила морская болезнь. Петерс долго беседовал с Августом, сообщив, что двое из его группы, Грили и Аллен, переметнулись на сторону помощника капитана и решили сделаться пиратами. Он задал Августу несколько вопросов, смысл которых мой друг в тот момент не вполне уловил. Вечером судно дало течь, с которой мы никак не могли справиться, так как она была вызвана большими напряжениями в корпусе и просачиванием воды сквозь швы. Пришлось отрезать кусок парусины и подвести его под нос; в какой-то мере это помогло, и течь уменьшилась.

Июль, восьмого дня. На восходе солнца, когда с востока поднялся легкий бриз, помощник капитана, осуществляя свои пиратские планы, взял курс на юго-запад, намереваясь достичь какого-нибудь острова в Вест-Индии. Ни Петерс, ни кок, насколько удалось узнать Августу, не стали противиться. От мысли захватить корабль, идущий с островов Зеленого Мыса, отказались. Насос свободно откачивал воду, проникавшую в щели, если мы, работая поочередно, отдыхали пятнадцать минут каждый час. Парус из-под носовой части за ненадобностью подняли.

На протяжении дня обменялись приветствиями с двумя небольшими встречными шхунами.

Июль, десятого дня. Погода чудесная. Матросы заняты починкой фальшборта. У Петерса снова был обстоятельный разговор с Августом, причем высказывался полукровка с большей прямоотой, чем прежде. Он заявил, что ни под каким видом не разделяет намерений помощника капитана, и даже намекнул, что собирается взять у него власть. Он спросил, может ли он при таком обороте дел рассчитывать на помощь моего друга, на что тот без малейших колебаний ответил «да!». Пообещав осторожно выспросить мнение своих сторонников на этот счет, Петерс ушел. В тот день Августу больше не выпал случай поговорить с ним наедине.

ГЛАВА VII

Июль, десятого дня. Окликнули бриг, идущий из Рио-де-Жанейро в Норфолк. На море небольшой туман, с востока дует легкий встречный ветер. Сегодня умер Хартман Роджерс, которого восьмого числа после стакана грога схватили судороги. Роджерс был сторонником кока, причем именно на него Петерс полагался более всего. Он поделился с Августом подозрением, что помощник капитана отравил беднягу и что вскорости придет и его черед, если он не будет настороже. Теперь в его группе оставались только он, Джонс и кок, тогда как в другой группе было пятеро. Он заговорил было с Джонсоном о возможности отстранить помощника от командования судном, но, поскольку план был встречен холодно, не стал распространяться на эту тему и, уж конечно, не обратился к коку. Хорошо, что он был так благоразумен, ибо после полудня кок объявил о решении примкнуть к группе помощника и окончательно взял его сторону, а Джонс, поссорившись из-за чего-то с Петерсом, в пылу пригрозил, что расскажет о его намерениях помощнику. Теперь мы не могли терять ни часа, и Петерс решительно предложил во что бы то ни стало попытаться захватить судно, если, конечно, Август поддержит его. Мой друг тут же заверил его, что ради этого готов участвовать в любом предприятии, и, посчитав, что настал удобный момент, сообщил о моем пребывании на судне. Полукровка скорее был обрадован, нежели удивлен этим открытием, потому что совершенно не полагался на Джонса, которого считал уже сторонником помощника капитана. Они сразу сошли вниз. Август позвал меня и познакомил с Петерсом. Мы решили, что, не посвящая Джонса в наши замыслы, попытаемся при первой возможности захватить судно. В случае успеха мы направимся в ближайший порт и сдадим бриг властям. Измена сторонников Петерса нарушила его планы отправиться в Тихий океан, поскольку это путешествие невозможно предпринять без команды, и он рассчитывал либо на оправдание в суде по причине невменяемости (которое, как клятвенно утверждал, и побудило его примкнуть к бунтовщикам), либо, если его все-таки сочтут

виновным, на прощение, надеясь на наше с Августом ходатайство. Наши переговоры были прерваны командой: «Все наверх, паруса убрать!» — и Август с Петерсом выскочили на палубу.

Команда, по обыкновению, была почти вся пьяна, и прежде чем успели как следует убрать паруса, бешеный шквал опрокинул бриг набок. Затем, однако, судно выпрямилось, хотя и зачерпнув немало воды. Едва на борту привели все в порядок, как обрушился еще один шквал и за ним тут же еще, не причинив, правда, никакого вреда. Похоже было, что надвигается буря, которая и в самом деле скоро налетела с яростной силой с севера и запада. Паруса были прилажены наилучшим образом, и судно легло, как положено, в дрейф под глухо зарифленным фоком. По мере приближения ночи ветер еще более усилился, вызвав огромную волну. Петерс с Августом пришли на бак, и мы возобновили наши переговоры.

Мы решили, что настал самый удобный момент осуществить наши планы, потому что сейчас никому не придет в голову ожидать нападения. Бриг уверенно лежал в дрейфе, и до наступления хорошей погоды не возникнет необходимости маневрирования, а затем, если наша попытка увенчается успехом, мы могли бы освободить одного-двух матросов и с их помощью добраться до суши. Главное затруднение заключалось в большой несоразмерности сил. Нас было только трое, тогда как в кают-компании — девять человек. Все оружие на судне также находилось в их распоряжении, за исключением пары небольших пистолетов, которые Петерс спрятал на себе, да огромного морского тесака, который он носил на поясе. Кроме того, судя по некоторым признакам, таким, например, как отсутствие на обычных местах топора или гандшпуга, мы имели основание опасаться, что помощник капитана питал кое-какие подозрения, по крайней мере по отношению к Петерсу, и он не упустит возможности так или иначе отделаться от него. Словом, наше решение не должно быть чересчур поспешным. Шансы были слишком неравны, так что мы не могли приступить к осуществлению наших планов, не соблюдая величайшей осторожности.

Петерс предложил следующее: он выйдет на палубу, вступит в разговор с вахтенным, Алленом, и, улучив момент, без особого труда и не вызывая переполоха, сбросит его за борт; после наверх поднимаемся мы, чтобы раздобыть на палубе какое-нибудь оружие, а затем мы все трое блокируем дверь кают-компании, прежде чем нам окажут сопротивление. Я возражал против этого предложения, ибо не допускал мысли, что помощник, человек весьма хитроумный во всем, что не касалось его нелепых суеверий, так легко попадет в ловушку. То обстоятельство, что на палубе вообще был вахтенный, само по себе убедительно свидетельствовало, что он настороже, поскольку обычно во время штормового дрейфа вахтенного на палубе не ставят, если, конечно, не иметь в виду суда, где соблюдается поистине железная дисциплина. Так как мой рассказ адресован преимущественно, если не полностью, людям, которые никогда не ходили в море, очевидно, полезно описать, что происходит с судном при таких условиях. Ложатся в дрейф — или, как говорят моряки, «дрейфуют» — для разных надобностей, и осуществляется это разными способами. В умеренную погоду в дрейф ложатся часто только для того, чтобы остановить судно или дождаться другого судна или чего-нибудь в этом роде. Если при этом судно несет все паруса, то часть их поворачивают другой стороной, то есть обстенивают, и судно останавливается. Но сейчас речь идет о необходимости лечь в дрейф во время шторма. Это делается при сильном противном ветре, когда нельзя поднять паруса без риска опрокинуться, а иногда даже при нормальном ветре, когда волнение слишком велико, чтобы идти по ветру. Если идти по ветру при тяжелой волне, то на судне неизбежны повреждения из-за того, что валы захлестывают корму, а нос глубоко зарывается в воду. К этому маневру прибегают лишь в случаях крайней необходимости. Когда судно дало течь, то его, напротив, часто пускают по ветру, даже при большой волне, ибо при дрейфе корпус испытывает такое давление, что пазы расходятся еще больше. Кроме того, необходимость поставить судно на фордевинд нередко возникает в тех случаях, когда порывы ветра настолько сильны, что рвут в клочья парус, пос-

тавленнный для поворота против ветра, или когда нельзя совершить этот важнейший маневр из-за огрехов при постройке с дна и по каким-нибудь иным причинам.

Суда ложатся в дрейф по-разному, в зависимости от конструкции. Некоторые лучше всего осуществляют этот маневр под фоком, и, на мой взгляд, этим парусом чаще всего и пользуются. Большие суда с прямым парусным вооружением имеют для этой цели особые паруса — штормовые стаксели. В зависимости от обстоятельств ставят только кливер, иногда кливер и фок или фок, взятый на два рифа, а нередко и кормовые паруса. Иные считают, что наилучшим образом подходят для дрейфа фор-марселя. «Дельфин» обычно ложился в дрейф под глухо зарифленным фоком.

Когда судно ложится в дрейф, то нос его приводят к ветру лишь настолько, чтобы парус, под которым совершается маневр, забрал ветер, затем его обстенивают, то есть ставят диагонально к ветру. После этого нос ставится в нескольких градусах от направления, откуда дует ветер, и наветренная скула судна принимает на себя главный напор волн. В таком положении хорошее судно благополучно выдержит любой шторм, не зачерпнув ни капли воды и не требуя дальнейших усилий команды. Руль в таких случаях обычно закрепляют, хотя это не обязательно (если не обращать внимания на шум, который он производит в свободном состоянии), ибо никакого влияния на судно, лежащее в дрейфе, он не оказывает. Лучше даже вообще не крепить штурвал, дабы руль имел возможность «играть», и тогда его не сорвет под ударами сильных волн. И пока парус держит, хорошо рассчитанное судно, как живое разумное существо, сохранит устойчивость при любом шторме. Опасность возникает лишь в том случае, если ветер все же разорвет парус на куски (что в нормальных условиях может произойти при настоящем урагане). Тогда судно отваливает от ветра и, встав бортом к волнам, оказывается во власти стихии, и единственный выход — потихоньку развернуть судно на фордевинд и тем временем поставить дополнительный парус. Некоторые суда могут лежать в дрейфе вообще без парусов, но полагаться на такие суда в море не следует.

Вернемся, однако, к нашему рассказу.

Итак, помощник капитана не имел обыкновения ставить на палубу вахтенного во время штормового дрейфа, и отступление от этого правила, в совокупности с фактом исчезновения топоров и гандшпугов, убеждало, что бунтовщики были настороже и нам не удастся захватить их врасплох, как предлагал Петерс. И все же что-то надо было предпринимать, причем не откладывая: коль скоро против Петерса возникло подозрение, то с ним не замедлят расправиться при первом же удобном случае, а такойвой наверняка найдут, как только стихнет шторм.

Август высказал предположение, что если бы Петерсу удалось под каким-нибудь благовидным предлогом сдвинуть якорную цепь с крышки люка в кают-компании, то мы могли бы через трюм проникнуть внутрь и неожиданно напасть на противника; однако, подумав, мы пришли к убеждению, что при сильной качке попытка такого рода обречена на неудачу.

Наконец, мне по счастью пришла в голову мысль сыграть на предрассудках и нечистой совести помощника капитана. Напомню, что два дня назад одного из матросов, Хартмана Роджерса, схватили судороги — это случилось после того, как он выпил стакан грога, — и нынче утром он умер. Петерс уверял, что Роджерса отравил помощник капитана и что у него есть на этот счет неопровержимые доказательства, которые он, однако, несмотря на уговоры, отказался сообщить нам; впрочем, этот своевольный отказ вполне соответствовал особенностям его характера. Трудно сказать, имел он действительно основания подозревать помощника капитана или нет, но мы с готовностью присоединились к его мнению и решили действовать соответствующим образом.

Роджерс скончался в страшных мучениях около одиннадцати часов утра, и через несколько минут после смерти труп его являл такое ужасное и отвратительное зрелище, какого я, пожалуй, вообще никогда не видел. Живот у него вздулся, как у утопленника, несколько недель пробывшего в воде. На руки тоже было страшно смотреть, а уменьшившееся в размерах, сморщившееся лицо было бело, как мел, и поэтому особенно выделялись

на нем два или три багрово-красных пятна, подобные тем, какие бывают при рожистом воспалении; одно из них тянулось наискось по всему лицу, полностью прикрыв глаз точно повязкой из темно-красного бархата. В таком состоянии в полдень труп вынесли на палубу, чтобы выбросить за борт, однако тут он попался на глаза помощнику капитана (он увидел мертвого Роджерса в первый раз), и тот, либо почувствовав угрызения совести, либо подавленный ужасом от такого страшного зрелища, приказал защитить тело в парусиновую койку и совершить обычный ритуал погребения в море. Отдав распоряжения, он спустился вниз, словно желая избежать вида своей жертвы. Пока матросы делали то, что им было приказано, налетел яростный шторм, и они отложили погребение. Брошенный труп смыло к шпигатам у левого борта, где он и провалялся до того времени, о котором я говорю, перекатываясь с места на место при каждом сильном крене.

Договорившись, как действовать, мы, не теряя времени, принялись за осуществление нашего плана. Петерс вышел на палубу, где его, как мы и ожидали, остановил Аллен, которого, по всей очевидности, и поставили здесь, единственно, чтобы следить за тем, что происходит на полубаке. Судьба негодяя решилась мгновенно и безо всякого шума: беспечно, словно бы в намерении поболтать, приблизившись к Аллену, Петерс схватил его за горло и, прежде чем тот успел вымолвить хоть слово, перекинул за борт. Потом Петерс позвал нас с Августом, и мы присоединились к нему. Первейшей нашей заботой было чем-нибудь вооружиться, хотя действовать приходилось с величайшей осмотрительностью, ибо, не ухватившись за что-нибудь, на палубе нельзя было находиться и секунды, а всякий раз, когда нос судна зарывался в воду, по палубе перекатывались огромные волны. Кроме того, мы должны были спешить, ибо каждую минуту сюда мог подняться помощник капитана и поставить людей к помпам, поскольку бриг, должно быть, быстро набирал воду. После тщательных поисков мы, однако, не смогли обнаружить ничего более подходящего, чем две рукоятки от помпы. Одной рукояткой вооружился Август, другой — я, после чего мы сорвали с Роджерса рубашку, а труп

столкнули в воду. Затем мы с Петерсом сошли вниз, а Август встал на страже на том самом месте, где находился Аллен, повернувшись спиной к трапу, ведущему в кают-компанию, и, если кто-нибудь из бандитов поднялся бы на палубу, он легко принял бы его за вахтенного.

Оказавшись в каюте, я стал преображаться в мертвого Роджерса. Весьма помогла в этом рубашка, снятая с трупа, так как это была какого-то особого покроя, ни на что не похожая блуза из синей трикотажной ткани с широкими поперечными белыми полосами, которую погибший носил поверх другой одежды. Облачившись в нее, я засунул под низ простыню и таким образом соорудил себе фальшивый живот, вполне смахивающий на отвратительное вздутие трупа. Распухшие конечности я сделал, натянув на руки пару белых шерстяных перчаток и набив их случайно валявшимся здесь тряпьем. Затем Петерс натер мне лицо мелом и намазал кровью, взятой из пореза на пальце. Кровавая полоса, закрывавшая глаз, довершала грим и придавала мне ужасающий вид.

ГЛАВА VIII

При тусклом свете переносного фонаря я посмотрел на себя в осколок зеркала, висевший в каюте, и почувствовал такой страх при виде своей внешности и воспоминании об ужасном покойнике, которого я изображал, что меня стала бить дрожь, в голове помутилось, и я едва мог собраться с силами, чтобы сыграть свою роль. Обстоятельства, однако, требовали решительных действий, и мы с Петерсом вышли на палубу.

Наверху все было спокойно, и, держась ближе к борту, мы втроем прокрались к кают-компанин. Дверь была чуть приоткрыта, и на ступеньке под нее были подложены деревянные чурбаки, которые не позволяли закрыть ее плотно. Сквозь щели у дверных петель мы имели полную возможность увидеть все, что делается внутри. Какое счастье, что мы отказались от мысли напасть на бунтовщиков врасплох, ибо они были, по всей видимости, настороже. Лишь один спал внизу у сходного трапа, дер-

жа подле себя ружье. Остальные же, сидя на матрацах, принесенных из других кают и разбросанных по палубе, о чем-то серьезно совещались. Пара пустых кувшинов и оловянные кружки, раскиданные то тут, то там, свидетельствовали о том, что негодяи только что отпировали, хотя и не были пьяны, как обычно. Все были вооружены ножами, кое у кого торчали за поясом пистолеты, а совсем рядом в парусиновой койке лежало множество ружей.

Мы напряженно вслушивались в их разговор, прежде чем окончательно решить, как действовать, договорившись заранее лишь о том, что при нападении на бунтовщиков попытаемся напугать их призраком Роджерса. Они обсуждали сейчас свои разбойничьи планы, и мы отчетливо слышали лишь то, что они намереваются соединиться с командой какой-то шхуны «Шершень», а если удастся, то захватить и шхуну, дабы впоследствии предпринять какую-то крупную авантюру, подробности которой никто из нас не разобрал.

Кто-то заговорил о Петерсе, помощник капитана ответил ему, но мы не расслышали, что именно, а потом он добавил громче, что «никак не возьмет в толк, зачем Петерс нянчится с этим капитановым отродьем на баке, и чем скорее оба окажутся за бортом, тем лучше». Слова эти были встречены молчанием, но нетрудно было понять, что их выслушали с готовностью все присутствующие, и особенно Джонс. Я был взволнован до крайности, тем более что ни Август, ни Петерс, насколько я мог заметить, не знали, что делать. Что до меня, то я решил не поддаваться минутной слабости и отдать свою жизнь как можно дороже.

Вой ветра в снастях и грохот волн, перекатывающих через палубу, заглушал голоса, и мы слышали, о чем шла речь в салоне, лишь в моменты кратковременного затишья. Один раз нам удалось разобрать, как помощник капитана приказал кому-то пойти на бак и приказать «этим паршивым салагам пожаловать сюда, где за ними можно приглядывать, ибо он не потерпит никаких темных дел на борту». К нашей удаче, яростная качка помешала выполнить распоряжение в ту же минуту. Едва кок поднял-

ся с места, чтобы пойти за нами, как судно внезапно накренилось, причем так резко, что я подумал, выдержат ли мачты, и его швырнуло и стукнуло прямо головой в какую-то дверь напротив, так что та распахнулась и вообще поднялась суматоха. К счастью, нам троим удалось удержаться на месте, и у нас оставалось еще время, чтобы стремительно отступить к баку и поспешно разработать план дальнейших действий до того, как кок появился наверху, или, точнее, высунулся из люка, поскольку на палубу он так и не вышел. Со своего места он не мог заметить отсутствия Аллена и потому крикнул ему о приказе помощника капитана. «Есть!» — ответил Петерс, изменив голос, и кок тут же спустился вниз, не заподозрив неладное.

Оба моих товарища смело отправились вперед и сошли по трапу в кают-компанию, причем Петерс прикрыл за собой дверь точно так же, как она была. Помощник капитана встретил их с наигранным радушием и разрешил Августу, ввиду его хорошего поведения последнее время, располагаться в салоне и вообще считать себя в будущем членом экипажа. Он налил ему полкружки рому и заставил выпить. Все это я преотлично видел и слышал, так как проследовал за своими друзьями, едва за ними закрылась дверь, и снова занял свой прежний наблюдательный пункт. Я захватил с собой обе рукоятки от помп и одну из них спрятал у сходного трапа, чтобы пустить в дело при первой же надобности.

Сохраняя, поелику возможно, равновесие, чтобы хорошо видеть все, что происходит внутри, я старался собраться с духом, готовясь появиться перед бунтовщиками, как только Петерс подаст условленный знак. Вскоре ему удалось перевести разговор на кровопролитие во время мятежа, и постепенно речь зашла о всяческих суевериях, которые повсеместно бытуют среди матросов. Я не слышал всего, что говорилось, но хорошо видел, как действует эта тема на присутствующих. Помощнику капитана было явно не по себе, и, когда кто-то сказал, как ужасно выглядел труп Роджерса, я подумал, что с ним вот-вот случится обморок. Петерс спросил его, не лучше ли было бы сбросить труп в море, потому что страшно смотреть,

как он перекачивается с места на место. При этих словах у негодя перехватило дыхание, и он медленно обвел взглядом своих сообщников, словно умоляя, чтобы кто-нибудь вызвался сделать это. Никто, однако, не шевельнулся, и было очевидно, что вся банда доведена до крайней степени нервного возбуждения. И вот тут-то Петерс подал мне знак. Я распахнул настежь дверь в кают-компанию, без единого звука сошел вниз и, выпрямившись, застыл посреди сборища.

Если принять во внимание совокупность многочисленных обстоятельств, не удивителен тот необыкновенный эффект, какой был вызван этим неожиданным появлением. Обычно в случаях подобного рода в воображении зрителя остается какое-то сомнение в реальности возникшего перед ним видения, какая-то, пусть самая слабая, надежда на то, что он — жертва обмана и призрак отнюдь не пришелец из мира теней. Не будет преувеличением сказать, что такие крупницы сомнения и служат причиной всяческих наваждений, что возникающий при этом страх, даже в случаях наиболее очевидных и вызывающих наибольшие терзания, должно отнести скорее за счет ужасного опасения, как бы видение и в самом деле не оказалось реальностью, нежели непоколебимой веры в его реальность. Однако в данном случае в воспаленных умах бунтовщиков не было и тени сомнения в том, что явившаяся фигура — это действительно оживший омерзительный труп Роджерса или по крайней мере его бесплотный образ. Совершенно обособленное местоположение брига и абсолютная его недоступность в такой шторм ограничили возможности обмана до таких узких и определенных пределов, что они могли мгновенно окинуть их мысленным взглядом. Двадцать четыре дня они находились в открытом море, не поддерживая ни с кем никакой связи, и лишь переключались со встречными судами. Команда в полном составе, точнее все те, кто, по их твердому убеждению, находился на борту, была собрана в салоне — за исключением Аллена, стоявшего на вахте, однако он там выделялся своим гигантским ростом (шесть футов и шесть дюймов), что они ни на секунду не могли предположить, будто он и есть явившийся им призрак. Добавьте к этим

соображениям бурю, вызывающую благоговейный трепет, разговоры, начатые Петерсом, отвратительный труп, который произвел утром такое отталкивающее впечатление, отлично сыгранную мною роль призрака, тусклый, неверный свет от раскачивающегося взад и вперед фонаря, который то освещал меня, то оставлял во мраке, добавьте все это, и тогда не придется удивляться, что наша хитрость возымела даже большее действие, нежели мы рассчитывали. Помощник капитана вскочил было с матраца, на котором лежал, но тут же, не проронив ни звука, упал замертво на ходившую ходуном палубу, и тело его, точно бревно, откатилось к левой переборке. Из оставшихся семи человек только трое в какой-то степени сохранили присутствие духа. Другие четверо на время точно приросли к полу — я ни разу не видел таких жалких жертв безрассудного страха. И лишь со стороны кока, Джона Ханта и Ричарда Паркера мы встретили сопротивление, да и они из-за растерянности могли только кое-как защищаться. Первых двух Петерс застрелил на месте, а я свалил Паркера, ударив его по голове прихваченной с собой рукояткой. Тем временем Август схватил с пола ружье и выстрелил другому бунтовщику (по фамилии Уилсон) прямо в грудь. Теперь их оставалось только трое, но к этому моменту они очнулись и, наверное, догадывались, какую злую шутку с ними сыграли, ибо сражались с такой отчаянной решимостью, что в конце концов могли бы и одолеть нас, если бы не огромная физическая сила Петерса. Эти трое были Джонс, Грили и Авессалом Хикс. Джонс опрокинул Августа на пол, ударил несколько раз ножом в правую руку и наверняка скоро прикончил бы его (поскольку ни я, ни Петерс не могли в эту минуту освободиться от своих собственных противников), если бы не своевременная помощь друга, на которого мы, разумеется, никак не рассчитывали. Этим другом оказался не кто иной как Тигр. В самый критический для Августа момент он с глухим ворчаньем ворвался в кают-компанию и, кинувшись на Джонса, в один миг свалил его на пол. Август, однако, не мог снова вступить в схватку из-за ранений, а мне так мешало мое одеяние, что я едва поворачивался. Тигр вцепился Джонсу в горло и не от-

пускал. Впрочем, Петерс был гораздо сильнее тех двоих и давно покончил бы с ними, если бы не теснота помещения и мощные толчки от качки. Вскоре ему удалось схватить тяжелый табурет — из тех, что валялись в каюте, — и он разможил Грили голову как раз в тот момент, когда тот собирался выстрелить в меня из ружья, после чего судно резко накренилось — и его швырнуло на Хикса, которого он тут же задушил голыми руками. Итак, мы завладели бригом, и нам потребовалось меньше времени, чем мне сейчас рассказывать об этом.

Из наших соперников остался в живых только Ричард Паркер, тот самый, которого в самом начале боя я свалил ударом рукоятки от насоса. Он лежал неподвижно у двери каюты, но, когда Петерс толкнул его ногой, очнулся и запросил пощады. Его просто оглушило ударом, и, если не считать небольшой раны на голове, он был цел и невредим. Мы заставили Паркера встать и на всякий случай связали ему за спиной руки. Тигр по-прежнему глухо ворчал над лежащим Джонсом, но, присмотревшись, мы увидели струящуюся кровь и глубокую рану на горле от острых клыков животного, — он был мертв.

Было около часу ночи, ветер не стихал. Шторм изрядно потрепал наш бриг, и надо было что-то предпринять, чтобы облегчить ему борьбу со стихией. Всякий раз, когда судно кренилось в подветренную сторону, волны захлестывали палубу, и вода проникла даже в салон, потому что, спускаясь, я не задраил люк. Весь фальшборт с левой стороны снесло начисто, равно как и камбуз, и рабочую шлюпку с кормового подзора. Грот-мачта так скрипела и ходила, что, казалось, вот-вот даст трещину. Чтобы выгадать в трюме место под груз (что иногда практикуется невежественными и своекорыстными корабельщиками), шпор грот-мачты на «Дельфине» был укреплен между палубами, и теперь возникла опасность, что сильным шквалом его вырвет из степса. Однако верхом наших бед оказались семь футов воды в трюме.

Мы оставили трупы как есть в кают-компании и принялись усиленно откачивать помпами воду, предварительно развязав, разумеется, руки Паркеру, чтобы он принял

участие в работе. Хотя рана у Августа была тщательнейшим образом перевязана и он делал, что мог, помощь от него была небольшая. Тем не менее мы убедились, что, если постоянно качать хоть одну помпу, то вода не прибывает. Поскольку нас осталось только четверо, это было нелегким делом, но мы не падали духом и считали минуты, когда рассветет и мы облегчим бриг, срубив грот-мачту.

Так прошла ночь, полная тревоги и изнурительного труда, но и на рассвете шторм не стих и вообще ничто не предвещало перемены погоды к лучшему. Мы вытащили трупы из кают-компания и сбросили их в море. Теперь надо было избавиться от грот-мачты. Сделав все необходимое, Петерс стал рубить мачту (топоры мы нашли в кают-компания), а мы стояли наготове у штагов и вант. В нужный момент, когда бриг сильно накренился в подветренную сторону, он крикнул, чтобы мы рубили наветренные ванты, и вся эта масса дерева и такелажа рухнула в воду, почти не задев бриг. Судно приобрело большую устойчивость, хотя наше положение оставалось весьма ненадежным, так как, несмотря на все усилия, мы не успевали откачивать прибывающую воду одной помпой. Август же не мог работать в полную силу. На нашу беду, в наветренный борт ударил тяжелый вал, сдвинув судно на несколько румбов, и, прежде чем оно вернулось в прежнее положение, другая волна повалила его набок. Балласт всей своей массой переместился к подветренному борту (груз еще раньше сорвало с места), и мы уже ждали, что «Дельфин» вот-вот опрокинется. Вскоре мы немного выровнялись, но, поскольку балласт оставался у левого борта, все же крен был довольно значительный, так что откачивать воду не имело никакого смысла, да мы и не смогли бы это делать, потому что выбились из сил и так натрудили руки, что они буквально кровоточили.

Хотя Паркер пытался отговорить нас, мы принялись рубить фок-мачту. Из-за большого крена дело подвигалось медленно. Падая в воду, она снесла бушприт, и от нашего «Дельфина» остался только корпус.

До сих пор мы тешили себя надеждой, что на худой конец спасемся на баркасе, который чудом не получил никаких повреждений. Наша успокоенность, однако, была

преждевременной, ибо, как только мы лишились фок-мачты и фока, который удерживал бриг в относительной устойчивости, волны, не перекатываясь, начали разбиваться прямо на корабле, и через пять минут они гуляли по всей палубе от носа до кормы, сорвав и баркас, и правый фальшборт, и даже разбив вдребезги брашпиль. Более критическое положение трудно было себе представить.

В полдень шторм начал как будто понемногу стихать, но, к величайшему нашему разочарованию, затишье длилось всего несколько минут, после чего ветер подул с удвоенной силой. Около четырех часов пополудни его яростные порывы уже валили с ног, а когда спустилась ночь, у меня не оставалось ни проблеска надежды на то, что мы продержимся до утра.

К полночи «Дельфин» погрузился настолько, что вода доходила до нижней палубы. Потом мы потеряли руль, причем сорвавшая его волна необыкновенно высоко вскинула корму, и она опустилась на воду с таким ударом, какой бывает, когда судно выкидывает на берег. Мы рассчитывали, что руль выдержит любой шторм, потому что ни до, ни после мне не приходилось видеть такой прочной конструкции. Сверху вниз вдоль его главного бруса шел ряд массивных металлических скоб; таким же манером подобные скобы были установлены на ахтерштевне. Сквозь оба ряда скоб был продет толстый кованый стержень, на котором поворачивался руль. О чудовищной силе волны, сорвавшей его, можно судить по тому, что скобы, концы которых были прошиты сквозь тело ахтерштевня и загнуты изнутри, все как одна оказались вырванными из твердой древесины.

Едва мы перевели дух от этого удара, как нас накрыл гигантский, невиданный мною до того вал — он начисто снес сходный трап, сорвал крышки от люков, заполнил водой каждую щель.

ГЛАВА IX

К счастью, как раз перед наступлением темноты мы крепко привязали себя к разбитому брашпилю и лежали на палубе плашмя. Только это и спасло нас от неминуемой гибели. Как бы то ни было, каждый из нас был в той

или иной степени оглушен чудовищной волной, которая всем своим весом обрушилась на нас, так что мы едва не захлебнулись. Переведя дух, я окликнул моих товарищей. Отозвался один Август. «Все кончено, да пощадит Господь наши души!» — пробормотал он. Потом очнулись Петерс и Паркер; оба призывали мужаться и не терять надежды: груз наш был такого рода, что бриг ни за что не затонет, а буря к утру, возможно, стихнет. Услышав это, я воодушевился: будучи в крайнем смятении, я, как ни странно, совершенно упустил из виду, что судно, загруженное пустыми бочками для китового жира, не может пойти ко дну, а именно этого я более всего опасался последние часы. Во мне снова ожила надежда, и я использовал каждый удобный момент, чтобы еще крепче привязать себя веревками к брашпилю — тем же самым вскоре занялись и мои товарищи. Кромешная тьма и адский грохот вокруг не поддаются описанию. Палуба находилась вровень с поверхностью моря, вернее, с вздымающимися гребнями пены, то и дело захлестывающей нас. Без всякого преувеличения скажу, что едва ли одну секунду из трех мы не были погружены с головой в воду. Хотя мы лежали совсем рядом, ни один из нас не видел другого, как не видел вообще ничего на судне, которое швыряло, как скорлупку. По временам мы перекликались, чтобы поддержать друг друга, утешить и приободрить того, кто в этом более всего нуждался.

Предметом особой нашей заботы был ослабевший Август; мы опасались, как бы его не смыло за борт, потому что из-за раненой руки он, конечно, не мог привязать себя как следует, однако помочь ему было решительно невозможно. К счастью, он лежал в самом безопасном месте: его голова и плечи были скрыты за обломками брашпиля, и набегающие волны, разбиваясь о него, значительно теряли в силе. Не будь Август под прикрытием брашпиля (куда его прибило водой после того, как он привязался на открытом месте), ему не избежать бы гибели. Вообще благодаря тому, что судно лежало на боку, мы сейчас были менее достижимы для волн, нежели при любом другом его положении. Крен, как я уже сказал, был на левый борт, так что добрая половина палубы постоянно находи-

лась под водой. Поэтому волны, набегавшие справа, разбивались о корпус судна и накрывали нас, прижавшихся всем телом к палубе, лишь частично, а те, которые докатывались с левого борта, уже не могли причинить нам особого вреда.

Так мы провели ночь, а когда настало утро, мы воочию убедились, в каком ужасном положении находимся. Бриг превратился в обыкновенное бревно, словно пущенное по воле волн, шторм усиливался, переходя в настоящий ураган, и вообще ничто не обещало перемен к лучшему. Мы молча держались еще несколько часов, безучастно ожидая, что вот-вот лопнут наши веревки, или вконец разобьет брашпиль, или один из тех гигантских валов, что с ревом вздымались отовсюду, так глубоко погрузит судно под воду, что мы захлебнемся, прежде чем оно всплывет на поверхность. Но милость Господня избавила нас от этой участи, и около полудня нас приободрили робкие лучи благодатного солнца. Потом заметно стал стихать ветер, и Август, не подававший всю ночь никаких признаков жизни, вдруг спросил у Петерса, найдя ли ближе других, есть ли, по его мнению, какая-нибудь возможность спастись. Ответа не последовало, и мы уже решили было, что полукровка захлебнулся, но затем, к великому нашему облегчению, он заговорил слабым голосом, жалуясь на невыносимую боль от веревок, врезавшихся ему в живот: надо найти способ ослабить их, либо он погибнет, ибо не в силах вынести эту адскую боль. Мы слушали его с сокрушением, но решительно ничем не могли помочь: волны окатывали нас с головы до ног. Мы убеждали его крепиться, обещая при первой же возможности облегчить его страдания. Он сказал, что будет поздно, что, пока мы сумеем оказать ему помощь, с ним будет все кончено, затем застонал и затих, из чего мы заключили, что он скончался.

Ближе к вечеру волнение улеглось, так что за целых пять минут, может быть, одна-единственная волна с наветренной стороны захлестнула палубу; отчасти ослаб и ветер, хотя несся по-прежнему с огромной скоростью. Вот уже несколько часов никто из моих товарищей по несчастью не проронил ни слова. Я решил позвать Августа.

Он ответил едва слышным голосом, но я не смог ничего разобрать. Потом я обратился к Петерсу и Паркеру, однако оба молчали.

Именно вскоре после этого я впал в какое-то бесчувствие, и в моем воспаленном мозгу стали возникать удивительно приятные видения: зеленеющая роща, золотистая колыхающаяся нива, хороводы девушек, скачущие кавалькады и другие картины. Теперь, оглядываясь назад, я понимаю, что во всех этих образах, которые проходили перед моим мысленным взором, было нечто общее, а именно — идея движения. Я не припомню, чтобы мне привиделся хоть один неподвижный предмет, такой, как дом, гора или что-нибудь в этом же роде; напротив, бесконечной чередой пронеслись мельницы, корабли, какие-то огромные птицы, воздушные шары, всадники, бешено мчавшиеся экипажи и многое-многое другое, что движется. Когда я очнулся, было, судя по положению солнца, около часу дня. С огромнейшим трудом я соображал, где я и что со мной; какое-то время мне казалось, что я все еще нахожусь в трюме, около своего ящика, и что рядом со мной Тигр, а никак не Паркер.

Когда я окончательно пришел в себя, дул умеренный бриз и море было сравнительно спокойно — лишь редкая волна лениво перекачивалась через середину брига. С левой руки у меня веревка соскочила, оставив порядочную ссадину у локтя, а правая была так натерта тугой перевязью, что совершенно онемела и распухла книзу от предплечья. Другая веревка, та, которой я привязал себя у пояса, причиняла нестерпимую боль, ибо натянулась до предела. Я посмотрел на своих товарищей. Август лежал скорчившись у обломков брашпиля и не подавал признаков жизни. Петерс был жив, несмотря на то, что толстый лить поперек поясницы, казалось, перерезал его надвое, и, увидев, что я задвигался, шевельнул рукой, показывая на веревку, и спросил, хватит ли у меня сил помочь ему развязаться, и тогда мы, может быть, спасемся, а в противном случае погибнем. Я посоветовал ему мужаться, пообещав помочь ему. Нащупав в кармане своих панталон перочинный нож, я после нескольких безуспешных попыток открыл наконец лезвие. Затем левой рукой мне

удалось освободить правую руку и перерезать остальные веревки. Я попытался встать, но ноги совершенно не слушались меня, правая рука тоже не действовала. Я сказал об этом Паркеру, и тот посоветовал несколько минут полежать спокойно, держась левой рукой за брашпиль, чтобы кровь снова начала циркулировать. Онемение постепенно проходило, я пошевелил одной ногой, потом другой; скоро стала частично действовать и правая рука. Не вставая на ноги, я осторожно подполз к Паркеру, перерезал веревки, и через несколько минут он тоже смог двигать конечностями. Теперь мы, не теряя времени, принялись освобождать бедного Петерса. Веревка прорвала пояс шерстяных панталон, две рубашки и так глубоко врезалась ему в поясницу, что, как только мы сняли веревку, из раны обильно потекла кровь. Несмотря на это, Петерсу тут же стало легче, он заговорил и двигался даже с меньшим трудом, чем мы с Паркером,— бесспорно, благодаря вынужденному кровопусканию.

Что до Августа, то он не подавал никаких признаков жизни, и мы почти не надеялись на благополучный исход, однако, приблизившись, убедились, что он без сознания из-за большой потери крови (повязку, которую мы сделали на раненой руке, давно сорвало водой), а веревки, которыми он привязался к брашпилю, ослабились и никак не могли быть причиной смерти. Сняв с Августа веревки и освободив от деревянных обломков брашпиля, мы перенесли его на сухое, продуваемое ветром место, опустив голову чуть пониже туловища, и принялись усиленно растирать ему конечности. Через полчаса он пришел в себя, но лишь на следующее утро стал узнавать нас и мог говорить. Пока мы возились с нашими веревками, совсем стемнело, стали собираться тучи, и нас снова взяло тревожное опасение, что разыграется шторм, и тогда уже ничто не спасет нас, выбившихся из сил, от верной гибели. К счастью, погода всю ночь держалась умеренная, и волнение заметно спадало, что опять вселило в нас надежды на спасение. Ветер по-прежнему дул с северо-запада, но было совсем не холодно. Ввиду крайней слабости Август не мог держаться сам, и мы осторожно привязали его у наветренного борта, чтобы он не скатил-

ся в воду. Что касается нас, то мы ограничились тем, что уселись поближе друг к другу и, держась за обрывки троса на брашпиле, принялись обсуждать, как бы нам выбраться из нынешнего ужасного положения. Кому-то пришла счастливая мысль снять одежду и выжать ее. Обсохнувшая одежда казалась теплой, приятной и придала нам бодрости. Помогли мы раздеться и Августу, сами выжали ему одежду, и он тоже почувствовал облегчение.

Теперь нас более всего мучили голод и жажда; мы боялись подумать о том, что ожидает нас в этом смысле, и даже сожалели, что избежали менее ужасной смерти в морской пучине. Правда, мы утешались мыслью, что нас подберет какое-нибудь судно, и призывали друг друга мужественно встретить испытания, которые могли еще выпасть на нашу долю.

Наконец настало утро четырнадцатого числа; погода была все такая же ясная и теплая, с северо-запада дул устойчивый, но легкий бриз. Море совсем успокоилось, бриг непонятно почему немного выровнялся, на палубе было сравнительно сухо, и мы могли свободно по ней передвигаться. Чувствовали мы себя лучше, чем минувшие три дня и три ночи, которые провели без пищи и воды, и сейчас надо было во что бы то ни стало раздобыть съестного. Поскольку трюмы и каюты были затоплены, мы принимались за дело без особой охоты, почти не рассчитывая достать что-нибудь снизу. Надергав гвоздей из обломков крышки от люка и вколотив их в две доски, связанные крест-накрест, мы соорудили нечто вроде драги и спустили ее на веревке через люк в кают-компанию. Волоча доски взад и вперед, мы пытались зацепить что-нибудь съедобное или какой-нибудь предмет, с помощью которого мы могли бы добыть пищу. Мы занимались этим почти все утро, выудив лишь кое-какое постельное белье, которое легко цеплялось за гвозди. Нет, наше приспособление было слишком примитивно, чтобы всерьез рассчитывать на успех.

Потом мы попробовали нашу драгу в люке на баке, но тоже напрасно, и совсем уже было отчаялись, когда Петерс сказал, что, если мы будем держать его за веревку, он попытается достать что-нибудь из кают-компания,

нырнув в воду. Предложение было встречено с таким восторгом, какой могла вызвать только ожившая надежда. Он немедленно разделся, оставив на себе лишь панталоны, а мы тщательно закрепили у него на поясе прочную веревку, обвязав его через плечо, чтобы она не соскочила. Затея эта была крайне трудной и опасной: поскольку в самой каюот-компании вряд ли чем существенным можно было разжиться, Петерсу нужно было нырнуть вниз, взять вправо, проплыть под водой десять — двенадцать футов, попасть в узкий проход, ведущий в кладовую, а затем вернуться назад.

Когда все было готово, Петерс спустился по сходному трапу, так что вода доходила ему до подбородка, и нырнул головой вперед, стараясь брать вправо, к кладовой. Первая попытка оказалась неудачной. Не прошло и полминуты, как веревка дернулась (мы условились, что этим он даст знать, когда его вытаскивать). Мы тут же стали выбирать веревку, по неосторожности сильно ударив Петерса о трап. Как бы то ни было, вернулся он с пустыми руками, не сумев проникнуть в проход и до половины, так как все его силы ушли на то, чтобы держаться на глубине, не дав воде вытолкнуть его на поверхность, к палубному настилу. Выбрался он весь измученный и вынужден был с четверть часа отдыхать, прежде чем отважился нырнуть снова.

Вторая попытка была еще более неудачной. Он так долго оставался под водой, не подавая знака, что, вконец встревоженные, мы стали вытаскивать его, успев в самый последний момент,— оказалось, что он несколько раз дергал веревку, а она, очевидно, запугалась за поручни в нижней части трапа, и мы ничего не чувствовали. Эти поручни на самом деле так мешали, что, прежде чем продолжать нашу работу, мы решили сломать их. Нам не на что было рассчитывать, кроме собственных мускулов, и потому, спустившись как можно глубже по трапу в воду, мы все вчетвером налегли на них разом и обрушили вниз.

Третья попытка, как и первые две, также не принесла успеха, и мы поняли, что ничего не добьемся, если не раздобудем какой-нибудь груз, который удерживал бы ныряльщика у самой палубы, пока тот занят поисками.

Мы долго не могли найти ничего такого, что могло бы служить грузом, пока наконец не наткнулись, к счастью, на обрывок цепи. Прочно прикрепив ее к лодыжке, Петерс четвертый раз спустился в кают-компанию и даже добрался до двери в помещение стюарда. На беду, дверь была заперта, и он снова вернулся ни с чем, потому что при крайнем напряжении мог пробыть под водой не больше минуты. Теперь наши дела действительно были плохи, и при мысли о неисчислимых бедах, подстерегавших нас на каждом шагу, и о малой вероятности нашего спасения мы с Августом не могли удержаться от рыданий. Но то была минутная слабость. Упав на колени, мы вознесли молитву Господу, прося не оставить нас своей помощью посреди окружавших опасностей, а поднялись уже с новой надеждой и новой решимостью искать, что еще может сделать смертный для своего избавления.

ГЛАВА X

Вскоре после этого случилось происшествие, которое, на мой взгляд, сопровождалось такими глубокими переживаниями, вызвало такие противоположные чувства — от безграничной радости до крайнего ужаса, — какие я не испытал впоследствии ни разу, хотя за девять долгих лет на мою долю выпало немало приключений, насыщенных поразительными, а нередко и вообще непостижимыми событиями.

Мы лежали на палубе подле сходного трапа в кают-компанию и рассуждали о возможности проникнуть в кладовую. Я случайно посмотрел на Августа, обращенного ко мне лицом, и увидел, что он смертельно побледнел, а губы его задрожали самым неестественным образом. Безмерно встревоженный, я спросил, что случилось. Но он не отвечал, и я подумал было, что мой друг внезапно почувствовал себя дурно, однако в тот же момент заметил его горящий взгляд, устремленный на что-то позади меня. Я обернулся. Как мне забыть исступленный восторг, который пронизал каждую клеточку моего существа, когда я увидел милях в двух от «Дельфина» большой

бриг, идущий прямо на нас. Я подпрыгнул, точно в грудь мне ударила пуля, и, простирая руки к судну, замер, не в силах проронить ни слова. Петерс и Паркер были равно возбуждены, хотя каждый по-своему. Первый пустился в какую-то сумасшедшую пляску, издавая немыслимые восклицания вперемешку со стонами и проклятиями, а другой заплакал от радости, как дитя.

Показавшийся корабль был большой бригаantinoй голландской постройки, выкрашен в черное, с какой-то аляповатой позолоченной носовой фигурой. Он, очевидно, немало пострадал от непогоды, а шторм, который оказался гибельным для нас самих, нанес ему изрядные повреждения: фор-стенга была сорвана, равно как и часть правого фальшборта. Когда мы в первый раз заметили бриг, он находился, как я уже сказал, на расстоянии двух миль с наветренной стороны и шел прямо на нас. Бриг был очень слабый, однако, на удивление, на бриге стояли только фок и грот с легучим кливером, так что двигался он очень медленно, а мы буквально обезумели от нетерпения. Несмотря на наше возбуждение, мы, кроме того, заметили, что бриг идет как-то странно. Два или три раза он так значительно отклонялся от курса, что можно было подумать, что на незнакомце вообще не заметили «Дельфина» или, не видя на борту людей, решили повернуть на другой галс и уйти. Тогда мы начинали вопить что есть силы, и корабль снова менял курс и снова направлялся к нам. Так повторялось несколько раз, мы не могли понять, в чем дело, и в конце концов решили, что рулевой просто пьян.

На палубе корабля поначалу не было ни души, но, когда он приблизился к нам на четверть мили, мы увидели трех человек, судя по одежде — голландцев. Двое из них лежали на старой парусине на баке, а третий, взиравший на нас с величайшим любопытством, оперся на правый борт у самого бушприта. Это был высокий крепкий мужчина с очень темной кожей. Всем своим обликом он, казалось, призывал нас запастись терпением, радостно, хотя и несколько странно, кивая нам, и улыбался, обнажая ряд ослепительно-белых зубов. Когда судно подошло еще ближе, мы заметили, как у него с головы

слетела в воду красная фланелевая шапочка, но он не обратил на это внимания, продолжая улыбаться и кивать. Я описываю все происходящее со всеми подробностями, но — следует напомнить — именно так, как нам это казалось.

Медленно, но более уверенно, чем прежде, бриг приближался к нам — нет, я не могу рассказывать об этом событии спокойно. Наши сердца бились все сильнее, и мы излили душу в отчаянных криках и благодарениях Всевышнему за полное, неожиданное чудесное избавление, которое вот-вот должно было свершиться. И вдруг с этого таинственного корабля (он был совсем близко) потянуло каким-то запахом, зловонием, которому в целом мире не найти ни названия, ни подобия... что-то адское, удушающее, невыносимое, непостижимое. Я задышался, мои товарищи побледнели, как мрамор. Для вопросов и догадок времени уже не оставалось: незнакомец был футах в пятидесяти и, казалось, хотел подойти вплотную к нашей корме, чтобы мы, вероятно, могли перебраться на него, не спуская лодки. Мы кинулись на корму, но в этот момент корабль внезапно отвернуло от курса на пять-шесть румбов, и он прошел перед самым нашим носом, футах в двадцати, дав нам возможность увидеть все, что творится на борту. До конца дней моих не изгладится из памяти невыразимейший ужас, охвативший меня при виде того зрелища. Между кормой и камбузом валялись трупы, отгалкивающие, окончательно разложившиеся, двадцать пять или тридцать, среди них и женские. Тогда-то мы и поняли, что на этом проклятом Богом корабле не оставалось ни единого живого существа. И все же... и все же мы взывали к мертвым о помощи! Да, в тот мучительный момент мы умоляли эти безмолвные страшные фигуры, умоляли долго и громко остаться с нами, не покидать нас на произвол судьбы, которая превратит нас в таких же, как они, принять нас в свой смертный круг! Горестное крушение наших надежд повергло нас в форменное безумие, мы неистовствовали от страха и отчаяния.

Едва мы испустили первый крик ужаса, как, словно бы в ответ, раздался звук, который человек даже с самым тонким слухом принял бы за вопль себе подобного. В

эту минуту судно снова сильно отклонилось в сторону, открыв перед нами носовую часть, и мы поняли причину звука. Опираясь на фальшборт, там по-прежнему стоял тот высокий человек и так же кивал головой, хотя лица его не было видно. Руки его свесились за борт, ладони были вывернуты наружу. Колени его упирались в туго натянутый канат между шпором бушприта и крамболом. К нему на плечо, туда, где порванная рубашка обнажила шею, взгромоздилась огромная чайка; глубоко вцепившись когтями в мертвую плоть, она жадно рвала ее клювом и глотала куски. Белое оперение ее было забрызгано кровью. Когда судно, медленно поворачиваясь, приблизило к нам нос, птица как бы с трудом подняла окровавленную голову, точно в опьянении посмотрела на нас и лениво оторвалась от своей жертвы, паря над нашей палубой с куском красновато-коричневой массы в клюве, который затем с глухим ударом шлепнулся у самых ног Паркера. Да простит меня Бог, но именно в этот момент у меня впервые мелькнула мысль, — впрочем, предпочту умолчать о ней; — и я невольно шагнул к кровавой лужице. Подняв глаза, я встретил напряженный и многозначительный взгляд Августа, который немедленно вернул мне самообладание. Кинувшись стремительно вперед, я с отворачиванием выбросил безобразный комок в море.

Итак, терзая свою жертву, хищная птица раскачивала поддерживаемое канатом тело; это движение и заставило нас подумать, что перед нами живой человек. Теперь, когда чайка взлетела в воздух, тело изогнулось и немного сползло вниз, открыв нам лицо человека. Ничего более ужасающего я не видел! На нас смотрели пустые глазницы, от рта остались одни зубы. Так вот какая она, та улыбка, что вселила в нас радостные надежды! Так вот... впрочем, воздержусь от рассуждений.

Бриг, как я уже сказал, прошел перед самым нашим носом и медленно, но уверенно направился в подветренную сторону. С ним, с его фантазмагорическим экипажем уходили наши светлые надежды на спасение. Когда судно неспешно проходило мимо нас, мы, наверное, могли бы каким-нибудь образом перебраться к нему на борт, если б горькое разочарование и ужасающее открытие не ли-

шили бы нас всех мыслительных и телесных способностей. Мы все видели и чувствовали, но не могли ни думать, ни действовать, пока — увы! — не стало слишком поздно. Насколько помрачился наш рассудок от этой встречи, можно судить по тому факту, что кто-то всерьез предложил пуститься вплавь вдогонку за бригам, когда тот был уже едва различим.

С тех пор я не раз пытался приоткрыть завесу неизвестности, которая покрывала судьбу незнакомого брига. Постройка и внешний вид, как я уже сказал, наводили на предположение, что то было голландское торговое судно; о том же говорила одежда команды. Мы с легкостью могли бы прочесть название на борту и вообще заметить что-нибудь характерное, что помогло бы проникнуть в причины катастрофы, но из-за чрезмерного возбуждения решительно ничего не соображали. По шафрановому оттенку кожи на тех трупах, которые не успели окончательно разложиться, мы заключили, что команда погибла от желтой лихорадки или иной, столь же заразной болезни. Если это так (ничего другого я не могу себе представить), то, судя по положению трупов, смерть настигла несчастных внезапно, причем всех сразу, то есть все произошло совершенно иначе, нежели вообще имеет место даже при самых широких эпидемиях, какие известны человечеству. Причиной бедствия, возможно, стал яд, случайно попавший в провиант, или употребление в пищу какой-нибудь неизвестной разновидности ядовитой рыбы, или морского животного, или птицы. Впрочем, бессмысленно строить предположения относительно того, что навсегда окутано ужасающей и непостижимой тайной.

ГЛАВА XI

Остаток дня мы провели в каком-то оцепенении, тупо глядя вслед удаляющемуся судну, пока темнота, скрывшая его из глаз, не вернула нас к действительности. Нас снова стали мучить голод и жажда, заглушив все остальные горести и заботы. До утра, однако, ничего нельзя было сделать, и, привязавшись поплотнее, мы постарались хоть

немного уснуть. Сверх всякого ожидания, мне это удалось, и я проспал до рассвета, когда мои менее удачливые спутники разбудили меня, чтобы возобновить поиски съестного.

Стоял мертвый штиль, поверхность воды казалась удивительно гладкой, было тепло и ясно. Бриг давно скрылся из глаз. Мы начали с того, что выдернули из гнезда, правда, не без труда, еще один кусок цепи и прикрепили оба к ногам Петерсу. Он снова хотел донырнуть до двери кладовой в надежде открыть ее, если у него будет достаточно времени, на что он рассчитывал, поскольку бриг держался более устойчиво, чем прежде.

Ему удалось довольно быстро добраться до двери, и, сняв одну цепь с ноги, он изо всех сил старался с ее помощью открыть ход, однако дверная рама оказалась гораздо крепче, чем он ожидал. Долгое пребывание под водой абсолютно вымотало его, и вместо него должен был спуститься кто-то другой. Немедленно вызвался Паркер, но, нырнув три раза, он не сумел даже приблизиться к злосчастной двери. Августу из-за раненой руки вообще было бесполезно предпринимать такую попытку, потому что он не смог бы открыть дверь, даже если доплыл бы до нее, и соответственно настала моя очередь попытаться счастья.

Как на грех, Петерс где-то у входа в кают-компанию обронил цепь, и, нырнув, я почувствовал, что не могу устойчиво находиться под водой из-за недостаточного груза. Поэтому на первый раз я решил ограничиться тем, что достану цепь. Шаря по полу коридора, я наткнулся на какой-то твердый предмет, схватил его, не успев даже оцупать, и тут же поднялся на поверхность. Моей добычей оказалась бутылка, и можно представить нашу радость, если я скажу, что это была бутылка портвейна. Возблагодарив небо за этот своевременный и приятный дар, мы выгащили моим перочинным ножом пробку и, сделав по умеренному глотку, почувствовали невыразимое облегчение: алкоголь согрел нас и придал нам силы. Затем мы тщательно закупорили бутылку и подвесили на носовом платке, чтобы она никоим образом не разбилась.

Немного отдохнув после этой счастливой находки, я снова нырнул и достал цепь. Привязав ее, я погрузился в воду третий раз, но лишь затем, чтобы полностью убедиться, что никакой силой дверь под водой не открыть. Отчаявшись, я вернулся.

Все наши надежды, казалось, рухнули, и по лицам моих спутников я понял, что они решили безучастно ждать гибели. Очевидно, вино все-таки вызвало опьянение, которого я избежал благодаря тому, что несколько раз погружался в воду. Они же бессвязно говорили о чем-то совершенно невообразимом. Петерс несколько раз спросил меня о Нантакете. Август, как сейчас помню, с серьезным видом приблизился ко мне и попросил одолжить расческу: в волосы ему набилась рыба чешуя, и он хотел счесать ее перед тем, как сойти на берег. На Паркера вино подействовало меньше, и он убеждал меня нырнуть в кают-компанию еще раз и достать, что попадет под руку. Я согласился и с первого же раза, пробыв под водой целую минуту, вытащил небольшой кожаный саквояж, принадлежавший капитану Барнаду. Мы немедленно открыли саквояж в надежде найти что-нибудь съестное, но там были только коробка с бритвами и пара льняных рубашек. Я снова нырнул, но безуспешно. Едва я выплыл на поверхность, как услышан какой-то треск, а поднявшись на палубу, увидел, что мои спутники, неблагодарно воспользовавшись моим отсутствием, выпили остатки вина, но нечаянно разбили бутылку, намереваясь подвесить ее на прежнее место. Я пристыдил их за эгоизм, и Август даже расплакался. Другие двое смеялись, пытаясь свести все к шутке; лица у них при этом так чудовищно искажались, что не приведи Бог мне снова стать свидетелем такого веселья. Выпитое на пустой желудок вино немедленно оказало свое губительное действие — они были совершенно пьяны. С большим трудом я уговорил их лечь, и скоро они погрузились в тяжелый сон, сопровождаемый оглушительным храпом.

Теперь на бриге, можно сказать, я остался совсем один и предался мрачным размышлениям. Я не видел для нас иного исхода, кроме медленной смерти от голода или, в

лучшем случае, гибели в морской пучине при первом же шторме, ибо нам, дошедшим до крайней степени изнеможения, бороться со стихией было не под силу.

Муки голода к этому времени стали просто невыносимы, и я чувствовал, что способен на что угодно, лишь бы только утишить их. Я отрезал ножом немного кожи от саквояжа и попробовал съесть, но не смог проглотить ни кусочка, хотя и вообразил, что чувствуешь некоторое облегчение, если жевать небольшие дольки, а после выплевывать их. Вечером мои спутники пробудились один за другим в состоянии неопишуемой подавленности и слабости, вызванных алкоголем, пары которого, правда, к этому моменту уже улетучились. Их трясло как в лихорадке, и все жалобно просили пить. Их состояние безмерно огорчило меня, и в то же время я порадовался, что благодаря счастливому стечению обстоятельств не злоупотребил вином и теперь не испытываю таких же неприятных ощущений. Своим поведением они, однако, доставили мне немало неприятностей и хлопот и не могли ничего делать для нашего самосохранения до того, как придут в себя. Я отнюдь не отказался от мысли достать что-нибудь в кают-компани, но не мог снова приступить к делу, пока кто-нибудь не будет в состоянии держать веревку. Паркер, казалось, чувствовал себя лучше других, хотя мне пришлось достаточно повозиться, прежде чем я окончательно растолкал его. Подумав, что лучше всего окунуть Паркера в морскую воду, я обвязал его веревкой и, отведя до сходного трапа (все это время он оставался совершенно пассивным), толкнул вниз и тут же выгасил. Я имел право поздравить себя с результатами этого эксперимента, ибо Паркер словно ожил и, выбравшись на палубу, вполне нормально спросил, зачем я это сделал. Я объяснил, а он сказал, что премного обязан мне, ибо в самом деле чувствует себя гораздо лучше. Спокойно обсудив ситуацию, мы решили применить то же самое к Августу и Петерсу, после чего им немедленно стало лучше. На идею внезапного погружения в воду меня натолкнула читанная когда-то медицинская книга, где го-

ворилось о благотворном действии душа в случаях *maņa o potu*¹.

Убедившись, что снова могу доверить своим спутникам держать конец веревки, я нырнул еще несколько раз в кают-компанию, хотя совсем стемнело и с севера пошла слабая, но длинная зыбь и судно стало неустойчивым. Мне удалось достать лишь два ножа в футлярах, пустой кувшин на три галлона и одеяло, но никакой еды не было. Я продолжал поиски, пока не выбился из сил, но ничего не нашел. Ночью Петерс и Паркер поочередно несколько раз спускались под воду, и тоже неудачно, так что в конце концов мы отказались от своих намерений, решив, что понапрасну тратим силы.

Трудно себе представить, в каких душевных и физических страданиях мы провели остаток ночи. Настало утро шестнадцатого числа, мы жадно всматривались в горизонт, мы ждали помощи — но все напрасно! Море было спокойно, только с севера, как и вчера, шла длинная зыбь. Не считая бутылки портвейна, мы шестой день жили без пищи и воды и понимали, что если не раздобудем что-нибудь, то долго не протянем. Ни до, ни после я не видел такой степени истощения, в каком пребывали Петерс и Август. Повстречай я их сейчас на суше, мне и в голову бы не пришло, что я знаю этих людей. Они совершенно изменились в лице, и трудно было поверить, что именно с ними я был вместе всего лишь несколько дней назад. Паркер выглядел немного лучше, хотя отчаянно исхудал и ослаб так, что не поднимал с груди головы. Он переносил страдания с завидным терпением, нисколько не жалуясь и пытаясь хоть как-нибудь приободрить других. Что до меня, то, несмотря на плохое самочувствие в начале путешествия и вообще хрупкое сложение, я не так страдал, как остальные, похудел гораздо меньше, а главное, в удивительной мере сохранял силу ума, тогда как мои товарищи находились в своего рода умственной прострации, казалось, совсем впали в детство и, по-идиотски ухмыляясь, несли какую-то околесицу. Временами, однако, они приходили в себя и сознавали, что с ними творит-

¹ Пристрастие к кубку (*лат.*).

ся, и тогда они энергично вскакивали на ноги и начинали рассуждать вполне разумно, хотя рассуждения эти были полны безнадежности. Очень может быть, что мои товарищи вовсе не считали свое состояние плачевным; равно не исключено, что и я впал во временное умопомешательство и тоже был повинен во всяких экстравагантных выходах,— судить об этом не дано никому.

После полудня Паркер вдруг громогласно заявил, что слева по борту видит землю, и хотел броситься в море, чтобы плыть туда. Мне едва удалось удержать его от этой затеи. Петерс и Август почти не обратили на него внимание — оба, как видно, были погружены в мрачное оцепенение. Я пристально всматривался туда, куда показывал Паркер, но ничего похожего на сушу не видел; впрочем, я хорошо знал, как далеко мы от земли, и не питал никаких иллюзий на этот счет. Мне пришлось, однако, долго убеждать Паркера, что он ошибся. Он разрыдался, как ребенок; крики и слезы продолжались часа два-три, потом он устал и забылся сном.

Петерс и Август безуспешно пытались проглотить кусочки кожи. Хотя я рекомендовал им жевать их и выплевывать, у них не хватало сил внять моему совету. Что до меня, то я неоднократно принимался жевать кожу и чувствовал определенное облегчение; теперь меня более всего мучила жажда, я был готов выпить даже морской воды, но меня останавливала единственно мысль об ужасных последствиях, которые выпадают на долю тех, кто оказывался в подобном положении.

Так тянулся еще один бесконечный день, как вдруг на востоке, левее от нас, впереди, я увидел парус. Какое-то большое судно шло почти перпендикулярным к нам курсом на расстоянии двенадцати — пятнадцати миль. Никто из моих спутников не заметил судно, а я решил пока молчать, чтобы нам снова не обмануться в надеждах. Но судно приближалось, я отчетливо видел, что оно на всех парусах направляется к нам. Я не мог больше сдержаться и показал на него моим товарищам по несчастью. Они тут же повскакали с мест, самыми немислимыми способами выражая свою радость; они рыдали и заливались глупым смехом, прыгали, топали ногами, рвали

на себе волосы и то молились, то исторгали проклятия. На меня так подействовал их бурный восторг, в ту минуту я так уверовал в близость избавления, что не мог более оставаться спокойным и, целиком отдавшись экстазу, в порыве благодарности небесам бросился на палубу и стал кататься по ней, хлопая в ладоши и что-то вскрикивая, как вдруг внезапно опомнился и снова испытал всю бездну человеческого отчаяния и горя, увидев, что судно повернулось к нам кормой и полным ходом идет почти в противоположном от нас направлении, удаляясь от нашего брига.

Потом мне еще долго пришлось убеждать своих спутников, что судьба действительно отвернулась от нас. Каждый своим взглядом и жестом они давали понять, что не желают слушать моих обманных уверений. Особое беспокойство вызвал у меня Август. Несмотря на все мои доводы, он продолжал твердить, что судно быстро приближается, и уже начал собираться, чтобы перейти на его борт. Какие-то водоросли, проплывающие мимо нашего брига, он принял за лодку с того корабля и хотел спрыгнуть в нее, а когда мне пришлось силой удержать его от падения в воду, разразился душераздирающими стонами.

Отчасти примирившись с новым разочарованием, мы провожали неизвестный корабль взглядами, пока горизонт не подернулся дымкой и не подул легкий бриз. Как только он окончательно скрылся из вида, Паркер вдруг повернулся ко мне с таким странным выражением на лице, что я вздрогнул. В облике его была решимость, какую я до того не замечал в нем, и не успел он раскрыть рта, как я чутьем понял, что он хочет сказать. Он заявил, что один из нас должен умереть, чтобы остальные могли жить.

ГЛАВА XII

Не раз и не два я уже задумывался над тем, что мы, возможно, дойдем до последней черты, и про себя решил принять любую смерть, при любых обстоятельствах, но не соглашаться на это. Мою решимость ни в коей мере не

колебал голод, причинявший мне страшные муки. Ни Петерс, ни Август не слышали Паркера, поэтому я поспешил отвести его в сторону и, мысленно попросив у Бога придать мне силы, принялся умолять во имя всего, что для него свято, отказаться от чудовищного замысла, убеждал, приводя всевозможнейшие, как того требовали обстоятельства, аргументы, выбросить это из головы и ничего не говорить двум другим нашим товарищам.

Он выслушал, не перебивая и не оспаривая моих доводов, и я уже начинал надеяться, что добился желаемого результата. Но когда я замолчал, он заявил, что все сказанное мной справедливо и решиться на это — значит сделать самый мучительный выбор, перед каким только может оказаться разумное существо, но что он держался столько, сколько способен человек, что незачем гибнуть всем, если, пожертвовав одним, есть какая-то возможность спастись остальным, что, сколько б я ни убеждал его, он не отступится от своей цели, потому что окончательно решился на все еще до появления корабля и лишь парус на горизонте заставил его повременить и не объявлять пока о своем намерении.

Тогда я стал просить его отложить осуществление этого замысла хотя бы на день, если уж он не хочет отказаться от него вовсе, и подождать, не встретится ли нам еще какое-нибудь судно, снова и снова повторяя все аргументы, которые я мог изыскать и которые, по моему мнению, воздействуют на такую грубую натуру. Он ответил, что молчал до последнего момента, что без пищи не протянет и часа, и поэтому завтра будет поздно — во всяком случае, для него.

Видя, что он не поддается никаким увещаниям, я решил действовать иначе; ему, должно быть, известно, сказал я, что я легче других перенес все бедствия и поэтому мое физическое состояние лучше, чем у него и чем у Петерса или Августа, и что, коротко говоря, я могу в случае необходимости силой настоять на своем и без колебаний выкину его за борт, если он так или иначе вздумает поделиться своими каннибальскими планами с другими. Он тотчас схватил меня за горло и, вытащив нож, несколько раз пытался пырнуть меня в живот, но из-за его

крайней слабости злодеяние не удалось. Не на шутку разгневанный, я тем временем оттеснил его к борту и хотел сбросить в море. От гибели его спасло лишь вмешательство подоспевшего Петерса, который, разняв нас, спросил о причине ссоры. Прежде чем я успел что-либо сделать, Паркер выложил все напрямик.

Слова его произвели еще большее впечатление, чем я ожидал. Оказалось, что и Август, и Петерс втайне уже долго вынашивали эту чудовищную мысль, которую по чистой случайности первым вслух высказал Паркер, и теперь взяли его сторону, настаивая на немедленном осуществлении злодейского замысла. Я же рассчитывал, что по крайней мере у одного из них достанет силы духа вместе со мной воспротивиться этому ужасному намерению, и тогда мы вдвоем, безусловно, предотвратим кровопролитие. Надежды мои не оправдались, и теперь я должен был позаботиться о собственной безопасности, так как мои потерявшие рассудок спутники могли посчитать дальнейшее сопротивление с моей стороны отказом участвовать на равных в трагедии, которая неминуемо разыграется в самом скором времени.

Я сказал, что я согласен на их предложение и единственно прошу отсрочки на час, пока не рассеялся туман, окутывающий нас, и тогда, может быть, мы снова увидим корабль, который мы повстречали. С большим трудом я вырвал обещание подождать; как я и ожидал, быстро поднялся бриз, туман рассеялся, но горизонт был чист. Мы приготовились бросить жребий.

Крайне неохотно останавливаюсь я на последовавшей затем драме; чего только не случилось со мной впоследствии, но эта драма с ее мельчайшими подробностями врезалась в мою память, и до конца дней горькое воспоминание о ней будет омрачать каждый миг моего существования. Читатель не посетует на меня за то, что я изложу эту часть моего рассказа так коротко, как позволят описываемые события. Для роковой лотереи, которая должна была решить судьбу каждого из нас, мы придумали единственный способ — тянуть жребий. Для этого мы нарезали щепочек, и было решено, что держать буду я. Я удалился на один конец судна, а мои товарищи, отвер-

нувшись, молча уселись на другом. Горчайшие муки в ходе этой драмы я пережил тогда, когда принялся раскладывать щепочки. Редко случается, чтобы человек не испытывал горячего желания сохранить себе жизнь, причем это желание тем острее, чем тоньше нить, связывающая его с земным существованием. Но теперь, когда тайное, вполне определенное и мрачное дело, которым я был занят (так непохожее на борьбу с морской стихией или постепенно усиливающимся голодом), давало возможность подумать над тем, каким образом избежать чудовищнейшей смерти, смерти ради чудовищнейшей цели, самообладание, благодаря которому я только и держался, вдруг рассеялось, как дым на ветру, оставив меня беспомощной, жалкой жертвой собственного малодушия. Поначалу я не мог даже обломать и сложить вместе крохотные щепочки — пальцы абсолютно не слушались меня, и колени дрожали от волнения. Я лихорадочно перебирал в уме сотни способов — один невероятнее другого — избежать участия в кровавой игре. Я хотел броситься на колени и просить моих спутников избавить меня от жестокой обязанности, хотел неожиданно кинуться вперед и прикончить одного из них, сделав тем самым жеребьевку бессмысленной, — словом, думал о чем угодно, кроме дела, которым я должен был заниматься. Из этого длительного умопомрачения меня вывел голос Паркера, который требовал положить конец их томительному ожиданию. Но и тогда я не мог заставить себя разложить щепочки, а соображал, какой бы хитростью заставить кого-нибудь из моих товарищей по несчастью вытащить самый короткий жребий, ибо мы условились, что ради сохранения жизни другим умрет тот, кто из четырех щепочек вытянет у меня из руки самую короткую. Пусть те, кто захочет обвинить меня в жестокости, сперва окажутся в моем положении.

Медлить дольше было невозможно, и хотя сердце у меня колотилось так, что, казалось, вот-вот выпрыгнет из груди, я направился к баку, где меня ждали мои спутники. Я протянул руку, и Петерс, не колеблясь, вытянул свой жребий. Смерть миновала его: вытщенная им щепочка была не самой короткой. Вероятность, что я оста-

нись жить, уменьшилась. Собрав все свои силы, я повернулся к Августу. Тот тоже сразу вытащил щепочку — жив! Теперь с Паркером у нас были абсолютно равные шансы. В этот момент мной овладела какая-то звериная ярость, и я внезапно почувствовал безотчетную сатанинскую ненависть к себе подобному. Потом это чувство схлынуло, и, весь содрогаясь, закрыв глаза, я протянул ему две оставшиеся щепочки. Он долго не мог набраться решимости вытянуть свой жребий, и эти напряженнейшие пять минут неизвестности я не открывал глаз. Затем одна из двух палочек была резко выдернута из моих пальцев. Итак, жребий брошен, а я еще не знал, в мою пользу или нет. Все молчали, и я не осмеливался посмотреть на оставшуюся в руке щепочку. Наконец Петерс взял меня за руку, я заставил себя открыть глаза и по лицу Паркера понял, что на смерть обречен он, а я буду жить. Задыхаясь от радости, я без чувств упал на палубу.

Когда я очнулся, то застал кульминацию трагедии — смерть того, кто главным образом и был повинен в ней. Он не оказывал сопротивления; Петерс ударил его ножом в спину, и он упал мертвым. Не буду рассказывать о последовавшем затем кровавом пиршестве. Такие вещи можно вообразить, но нет слов, чтобы донести до сознания весь изощренный ужас их реальности. Достаточно сказать, что, немного утолив мучительную жажду кровью жертвы, мы с обоюдного согласия четвертовали ее, руки, ноги и голову вместе с внутренностями выбросили в море, а остальное с жадностью ели кусок за куском на протяжении четырех недоброй памяти дней — семнадцатого, восемнадцатого, девятнадцатого и двадцатого числа июля.

Девятнадцатого числа, когда пятнадцать — двадцать минут шел сильный ливень, с помощью простыни, которую мы выудили нашей драгой из кают-компании сразу после шторма, нам удалось набрать воды. Ее было не более полгаллона, но и это скудное количество придало нам немного силы и надежды.

Двадцать первого мы снова были вынуждены прибегнуть к последнему средству. Погода по-прежнему теплая и ясная, лишь иногда туманы и легкие бризы, главным образом с севера и запада.

Двадцать второго числа, когда мы сидели, тесно прижавшись друг к другу, и угрюмо размышляли над нашей горестной судьбой, у меня вдруг мелькнула мысль и с ней проблеск надежды. Я вспомнил, что, когда мы срубили фок-мачту, Петерс, который находился у якорного устройства с наветренной стороны, отдал мне топор, попросив припрятать в надежное место, и что за несколько минут до того, как на бриг обрушился последний гигантский вал, залив все водой, я отнес топор на бак и положил в одну из левых кают. И вот сейчас я подумал, что, раздобыв этот топор, мы, наверное, могли бы прорубить палубный настил над кладовой и достать там провизию.

Я изложил этот план своим товарищам, оба вскрикнули от радости, и мы тотчас отправились на бак. Тут спускаться вниз оказалось гораздо труднее, так как проход был уже; кроме того, напомним, что всю надстройку над трапом в салон давно смыло, тогда как спуск в кубрик, представляющий собой простой люк площадью примерно в три квадратных фута, остался неповрежденным. Я, однако, не колебался ни секунды и, обвязавшись, как и раньше, веревкой, смело опустил в воду ногами вперед, быстро добрался до каюты и с первого же раза нашел топор. Мое появление было встречено с восторгом, а легкость, с какой удалось достать топор, сочли добрым знаком, предвещающим конечное избавление.

Надежда воодушевила нас, и мы поочередно с Петерсом принялись рубить палубу — Август не мог помочь нам из-за раненой руки. И все-таки мы могли работать без передышки лишь минуту-другую, потому что едва держались на ногах от слабости, и скоро поняли, что потребуются долгие часы, прежде чем мы сумеем прорубить достаточно широкое отверстие, чтобы свободно спуститься в кладовую. Однако это обстоятельство ничуть не обескуражило нас, и, провозившись всю ночь при свете луны, мы закончили нашу работу к рассвету двадцать третьего числа.

Петерс вызвался попытаться первым; приготовив все необходимое, он спустился вниз и скоро вернулся с небольшой банкой, которая, к нашей неописуемой радости, оказалась полной маслин. Поделив между собой плоды,

мы с жадностью съели их и приготовились спустить Петерса вторично. На сей раз его успех превзошел все наши ожидания: он выбрался на палубу с большим куском окорока и бутылкой мадеры. Мы умеренно отведали вина, по опыту зная о губительных последствиях злоупотребления спиртным. Что до окорока, то, за исключением куска фунта в два у самой кости, он был совершенно попорчен морской водой. Мы разделили съедобную часть, и Петерс с Августом, не в силах удержаться, мгновенно проглотили свою долю; я же остерегся неминуемой жажды и съел лишь крохотный кусочек. Потом мы решили отдохнуть от тяжких трудов.

Немного восстановив силы, мы в полдень снова принялись за добывание еды. Петерс и я до заката поочередно и с переменным успехом ныряли вниз, и нам посчастливилось выгачить еще четыре банки с маслинами, окорок, плетеную бутыл галлона на три с отличной мадерой и, что особенно обрадовало нас, небольшую черепаху из семейства галапагосских: перед отплытием «Дельфина» капитан Барнард взял несколько таких черепах со шхуны «Мэри Питтс», которая ходила в Тихий океан за тюленями и только что вернулась из плавания.

В дальнейшем мне не раз придется упоминать об этом виде черепах. Обитают они, как, очевидно, известно моим читателям, на островах Галапагос, которые и берут свое наименование от названия животного: испанское слово *galapago* означает пресноводную черепаху. Из-за особой формы и необычного поведения этих черепах называют еще слоновыми. Иные из них имеют исполинские размеры. Я сам встречал таких, которые весили от двенадцати до пятнадцати сотен фунтов, хотя не припоминаю, чтобы кто-нибудь из моряков рассказывал, что видел экземпляр весом более одиннадцати сотен. Внешне эти черепахи весьма своеобразны, даже отвратительны. Передвигаются они очень медленно, тяжело и размеренно перебирая лапами и неся туловище в фуге от земли. Шею они имеют чрезвычайно тонкую и длинную, обычно от полутора до двух футов, а однажды я убил особь, у которой от плеча до оконечности головы было не менее трех футов и десяти дюймов. Голова у них удивительно напоми-

нает змеиную. Эти черепахи невероятно долго могут обходиться без пищи; известны случаи, когда их оставляли в трюме безо всякой пищи два года, и по истечении этого времени они были такими же мясистыми, как и прежде, и вообще находились в преотличном состоянии. В одном отношении эти необыкновенные четвероногие имеют сходство с одногорбым верблюдом, или дромадером. У основания шеи у них имеется сумка с постоянным запасом воды. Их иногда убивали после годового голодания, и в этих сумках обнаруживали до трех галлонов совершенно чистой, свежей воды. Питаются они по преимуществу дикой петрушкой и сельдереем, а также портулаком, морскими водорослями и опунцией; особенно на пользу им идет последнее растение, которое обычно в обилии произрастает на склонах прибрежных холмов, именно там, где обитает и само животное.

Их мясо очень вкусно и высокопитательно, и нет сомнения в том, что не одна тысяча мореплавателей, занятых китобойным и другим промыслом в Тихом океане, обязана им жизнью.

Черепаха, которую нам посчастливилось вытащить из кладовой, была небольших размеров и весила, вероятно, шестьдесят пять — семьдесят фунтов. Нам попалась самка, необыкновенно жирная, и в сумке у нее мы нашли четверть галлона чистой, прозрачной воды. Это было настоящее сокровище, и, дружно упав на колени, мы возблагодарили Господа за своевременную помощь.

Мы изрядно потрудились, протаскивая черепаху через люк, потому что она яростно билась, а сила у нее удивительная. Она чуть не вырвалась у Петерса из рук и не упала снова в воду, но Август накинул ей на шею веревочную петлю и держал, пока я не спрыгнул вниз к Петерсу и не помог ему вытащить ее на палубу.

Мы осторожно перелили воду из сумки черепахи в кувшин, который, как вы помните, мы достали из кают-компании. Потом мы отбили горлышко от бутылки, заткнули ее пробкой, и у нас получилось, таким образом, нечто вроде бокала вместимостью в одну восьмую пинты. Каждый затем выпил эту меру, и на будущее было решено ограничиться именно этим количеством в день.

Последние два-три дня стояла сухая ясная погода, постельное белье, которое мы вытащили из кают-компании, и вся наша одежда совершенно просохли, так что эту ночь (на двадцать третье) мы провели в сравнительном комфорте, наслаждаясь безмятежным отдыхом после обильного ужина маслинами и окороком с глотком вина. Опасаясь, как бы не поднялся ветер и не снес наши припасы за борт, мы привязали их веревками к остаткам брашпиля. Черепаху мы решили сохранить живой как можно дольше и потому опрокинули на спину и тоже тщательно привязали.

ГЛАВА XIII

Июль, 24 дня. Это утро мы встретили необыкновенно отдохнувшие и бодрые. Несмотря на тяжелое положение, в котором мы еще пребывали, ибо ничего не знали о нашем местонахождении, хотя, разумеется, были очень далеко от суши, располагали запасами продовольствия, которого при самом скудном рационе едва хватило бы на две недели, почти не имели воды и плыли по воле волн и ветров на самой жалкой в мире посудине,— несмотря на все это, мы склонны были воспринимать нынешние тяготы всего лишь как обычные неприятности по сравнению с куда более ужасными несчастьями и опасностями, которых благодаря Провидению мы совсем недавно избежали,— настолько относительно понятия блага и бедствия.

На рассвете мы приготовились было снова попытать счастья в камбузе, как началась гроза, сопровождаемая молниями, и мы решили набрать воды. Единственное, что мы могли сделать — снова прибегнуть к помощи простыни, которую мы уже использовали для этой цели. Положив на середину простыни юферс, мы растянули ее на руках, и вода, сбегавшая к середине, просачивалась сквозь полотно в кувшин. Таким способом мы почти наполнили нашу посуду, как вдруг с севера налетел свирепый шквал и началась такая бешеная качка, что невозможно было держаться на ногах. Тогда мы добрались до брашпиля и, крепко привязав себя к нему, как и раньше, стали пережидать непогоду с гораздо большим спокойствием, неже-

ли можно вообразить при подобных обстоятельствах. В полдень ветер еще более усилился, а к вечеру разыгралась настоящая буря, подняв на море сильнейшее волнение. Опыт, однако, научил нас в целях самосохранения как можно крепче привязывать себя, и мы провели эту томительную ночь в сравнительной безопасности, хотя каждую минуту палубу обдавали волны, грозившие смыть нас за борт. К счастью, погода была теплая, и вода даже освежала.

Июль, 25 дня. Утром буря стихла до бриза скоростью десять миль в час, волнение тоже немного спало, так что вода не доставала нас. К величайшему нашему огорчению, мы обнаружили, что волны смыли обе банки с маслинами и окорок, несмотря на то что они были привязаны самым тщательным образом. Мы решили пока не забивать черепаху и довольствовались на завтрак несколькими маслинами и порцией воды, которую мы наполовину смешали с вином,— напиток не вызывал неприятного ощущения, как это было после портвейна, а, напротив, придавал нам бодрости и силы. Море оставалось еще бурным, и мы не могли снова заняться добыванием продовольствия в камбузе. На протяжении дня через отверстие люка несколько раз всплывали всякие бесполезные для нас предметы и тут же исчезали за бортом. Наш «Дельфин», как мы заметили, накренился почему-то больше обычного, так что мы не могли стоять на ногах, не привязываясь к чему-нибудь. Так тянулся этот томительный и неудачный день. В полдень солнце встало почти в зените, и это означало, что непрерывные северные и северо-западные ветры снесли нас к самому экватору. Вечером появилось несколько акул, и нас встревожило, что одна громадная хищница самым наглым образом приблизилась к судну. Был даже момент, когда судно сильно накренилось, палуба погрузилась в воду, и чудовище подплыло к нам совсем близко и несколько мгновений стояло над трапом в кают-компанию, сильно ударив Петерса хвостом. Мы облегченно вздохнули, когда волною его отнесло далеко прочь. Наверное, в спокойную погоду убить акулу не составило бы труда.

Июль, 26 дня. Утром ветер порядочно стих, волнение улеглось, и мы решили снова взяться за обследование

кладовой. На протяжении целого дня мы неоднократно спускались вниз, пока не убедились, что рассчитывать больше не на что, ибо ночью волны проломили перегородку и все, что было в кладовой, смыло в трюм. Можно представить, в какое уныние повергло нас это обстоятельство.

Июль, 27 дня. Море почти спокойно, легкий ветерок по-прежнему с запада и северо-запада. В полдень сильно пекло солнце, сушили одежду. Потом купались — это облегчало жажду и вообще приносило облегчение; вынуждены были, однако, соблюдать величайшую осторожность: весь день вокруг судна шныряли акулы.

Июль, 28 дня. Ясная теплая погода. Бриг почему-то накренился до такой степени, что мы опасаемся, как бы он не перевернулся. Насколько смогли, приготовились к самому худшему, привязав нашу черепаху, бутылку с водой и две оставшиеся банки маслин как можно дальше к наветренной стороне, вынеся их за корпус ниже вант-путенсов. Весь день море очень спокойно, ветра почти нет.

Июль, 29 дня. Погода держится. На раненой руке у Августа появились признаки гангрены. Он жалуется на сонливость и мучительную жажду, но не на боль. Единственное, что мы могли сделать, — это помазать рану остатками уксуса из-под маслин, но это, кажется, не помогло. Мы утешали его как могли и увеличили его рацион воды втрое.

Июль, 30 дня. Необыкновенно жаркий день, ни малейшего ветерка. Все утро совсем рядом с судном плыла огромная акула. Несколько раз пытались поймать ее арканом. Августу гораздо хуже, он слабеет, как, очевидно, от недостатка питания, так и от раны. Он умоляет нас избавить его от страданий, уверяя, что хочет умереть. Вечером съели последние маслины, а вода в бутылке настолько испортилась, что не могли хлебнуть ни глотка, не добавив в нее вина. Решено утром забить черепаху.

Июль, 31 дня. После беспокойной и утомительной из-за глубокого крена ночи приготовились забить и разделать черепаху. Она оказалась гораздо меньше, чем мы предполагали, хотя и в отличном состоянии: всего мяса набралось фунтов десять, не больше. Чтобы сохранить

часть мяса как можно дольше, мы нарезали его тонкими кусочками, наполнили ими три банки из-под маслин и винную бутылку (мы не выбросили их), а затем залили остатками уксуса. Таким образом мы сделали трехфунтовый запас черепахового мяса, решив не притрагиваться к нему, пока не съедем остальное. Согласились ограничиться четырьмя унциями на каждого, чтобы растянуть мясо на тринадцать дней. В сумерки разразилась гроза со страшным громом и молниями, но она длилась совсем недолго, и мы успели набрать лишь полпинты воды. С общего согласия, всю эту воду отдали Августу, он чуть не при смерти. Он пил прямо с простыни, которую мы держали над ним, и вода, просачиваясь, стекала ему в рот, — никакой посуды у нас не было. Продлись ливень чуть дольше, мы, разумеется, тогда вылили бы вино из бутылки и опорожнили бы кувшин с остатками протухшей воды.

Но вода, кажется, почти не помогла несчастному. Рука у него от кисти до плеча совсем почернела, и ноги были ледяные. Мы с ужасом ждали, что он вот-вот испустит последний вздох. Исхудал Август страшно; если при отплытии из Нантакета он весил сто двадцать семь фунтов, то сейчас в лучшем случае сорок — пятьдесят. Глаза у него запали, их едва было видно, а щеки ввалились так, что он еле-еле мог жевать и даже пить.

Август, 1 дня. По-прежнему держится все та же ясная погода, изнуряюще жаркое солнце. Вода в кувшине кишит паразитами, мы изнываем от жары. Вынуждены сделать хоть по глотку, предварительно смешав ее с вином, но это не утоляет жажду. Гораздо большее облегчение приносит купание, но купаться вынуждены лишь изредка из-за постоянного присутствия акул. Теперь уже совершенно ясно, что Августа не спасти — он умирает. И мы ничем не можем облегчить его муки, а они, по-видимому, ужасные. Около полудня он скончался в страшных судорогах, не проронив ни слова; последние часы он вообще молчал. Смерть Августа навела нас на самые мрачные мысли, мы были угнетены сверх меры и целый день просидели неподвижно подле его тела, изредка переговариваясь шепотом. И лишь после наступления темноты у нас достало духа подняться и спустить его в море. На

труп нельзя было смотреть без содрогания: он так разложился, что когда Петерс попытался приподнять его, то в руках у него осталась отломившаяся нога. Когда эта гниющая масса соскользнула с палубы в воду, в фосфорическом мерцании, которым она была окружена, мы увидели семь или восемь гигантских акул — они терзали свою жертву, и стук их зубов разносился, должно быть, на целую милю. При этих звуках мы съежились от неопишимо-го ужаса.

Август, 2 дня. Та же знойная безветренная погода. Зарю мы встретили подавленные и изнуренные. Вода в кувшине совершенно непригодна для питья, она превратилась в густую студенистую массу, кишашую отвратительными червями. Мы опорожнили кувшин и, влив туда немного уксуса из бутылки с законсервированным черепашиным мясом, хорошенько промыли морской водой. Будучи не в состоянии выносить более муки жажды, мы попытались облегчить их вином, но оно словно подлило масла в огонь и сильно опьянило нас. Потом мы попробовали смешать вино с морской водой, но нас тут же вырвало, и мы отказались от дальнейших попыток. Весь день мы искали возможности искупаться, но безуспешно: бриг со всех сторон буквально осаждали акулы — нет сомнения, то были такие же хищники, что накануне сожрали нашего несчастного спутника и сейчас ждали подобного пиршества. Это обстоятельство огорчило нас безмерно и повергло в крайнее уныние. Дело в том, что купание приносило нам невыразимое облегчение, и вот теперь чудовища лишили нас такой возможности — это было сверх всяких сил! Кроме того, нам постоянно грозила опасность: поскользнься чуть-чуть, сделай одно неверное движение, и сразу станешь добычей этих прожорливых хищников, которые, подплывая с подветренной стороны, нередко лезли прямо на нас. Ни крики, ни другие попытки отпугнуть их не давали результата. Даже когда Петерс топором сильно поранил одно чудовище, оно продолжало упрямо двигаться на нас. Когда опустились сумерки, надвинулась туча, но, к величайшему огорчению, прошла, не проронив ни капли дождя. Невозможно представить, как страдали мы от жажды в эти дни. Из-за этого, а также из-за акул мы провели ночь без сна.

Август, 3 дня. Никаких надежд на спасение. Бриг накренился еще сильнее, стоять на палубе совершенно невозможно. Занялись тем, чтобы поместить наши запасы черепашого мяса и вина в безопасное место, даже если судно опрокинется. Раздобыли две свайки от вант-путенсов и топором загнали их в обшивку на наветренном борту в двух футах от воды и не так уж далеко от киля, так как бриг почти лежит на боку. К этим костылям мы и привязали наши запасы в надежде, что здесь они будут в большей сохранности, чем на прежнем месте под вант-путенсами. Весь день нестерпимо мучила жажда, и никакой возможности освежиться в воде из-за акул, которые ни на минуту не оставляют нас в покое. Нельзя сомкнуть глаз.

Август, 4 дня. Незадолго до рассвета мы почувствовали, что судно переворачивается и вот-вот опрокинется совсем, и повскакали с мест, чтобы нас не сбросило в воду. Поначалу бриг переворачивался медленно и равномерно, и мы успешно взбирались по наветренному борту с помощью веревок, тех самых, которые были привязаны к свайкам для хранения провизии и предусмотрительно оставленные нами на месте. Но мы не рассчитали ускорения при опрокидывании, и, когда судно стало переворачиваться быстрее, мы уже не могли взбираться с такой же скоростью, и, прежде чем успели сообразить, в чем дело, нас сбросило в воду на глубину нескольких морских саженей как раз под огромным корпусом брига.

При погружении в воду я не удержал в руках веревку и теперь, поняв, что нахожусь под судном и силы мои почти иссякли, почти не пытался выплыть и приготовился к близкой смерти. Но и на этот раз я ошибся, ибо не взял во внимание обратный толчок опрокинувшегося корпуса. Наветренный борт качнулся в противоположную сторону, и вихревые потоки воды вынесли меня на поверхность с еще большей силой, нежели сбросили в глубину. Насколько можно было судить, меня вытолкнуло ярдах в двадцати от брига. Он лежал килем кверху, бешено раскачиваясь из стороны в сторону, а вокруг бились волны и ходили большие водовороты. Петерса нигде не было видно. В нескольких ярдах я заметил бочку изпод жира, кое-где плавали другие предметы с судна.

Теперь более всего приходилось остерегаться акул, которые шныряли поблизости. Чтобы не дать им приблизиться, я поплыл к бригу, отчаянно колотя руками и ногами по воде и поднимая столб брызг. Благодаря этой простой уловке я и спасся; море вокруг нашего корабля буквально кишело этими чудовищами за минуту до того, как он опрокинулся, так что они наверняка задевали меня, пока я плыл. Каким-то чудом я достиг брига целым и невредимым, хотя так выбился из сил, что ни за что не сумел бы забраться на него, если бы вовремя не подоспел Петерс, — к величайшей моей радости, он показался из-за киля (вскарабкавшись туда с другой стороны корпуса) и бросил мне веревку, одну из тех, что были привязаны к костылям.

Едва мы оправились от одной опасности, как наши мысли обратились к другой — неизбежности голодной смерти. Несмотря на все предосторожности, весь наш запас провизии смыло водой; не видя ни малейшей возможности раздобыть еды, мы оба поддались отчаянию; мы плакали, как дети, даже не пытаясь утешить друг друга. Трудно понять такую слабость, и тем, кто не попадал в подобные переделки, она наверняка покажется неестественной; но не нужно забывать, что от длительных лишений, выпавших на нашу долю, и постоянного страха мы почти помешались, и нас вряд ли можно было считать разумными существами. Впоследствии, оказываясь в столь же бедственных — если не хуже — обстоятельствах, я мужественно сносил все удары судьбы, а Петерс, как будет видно, обнаруживал философское спокойствие, столь же невероятное, как и его нынешнее ребячье слабоумие и малодушие, — вот что значит состояние духа.

В сущности, наше положение не сильно ухудшилось от того, что бриг опрокинулся и мы потеряли вино и черепуху (правда, пропала простыня, которой мы собирали дождевую воду, и кувшин, где хранили ее); дело в том, что все днище — на расстоянии двух-трех футов от скул и до киля — было покрыто плотным слоем моллюсков, оказавшихся вкусной, питательной пищей. В результате так страшившее нас кораблекрушение обернулось скорее благом в двух отношениях: у нас был теперь запас продовольствия, который при умеренном питании мы не

исчерпаем и за месяц, и нынешнее наше месторасположение оказалось гораздо более удобным и менее опасным, чем прежде.

Однако неминуемые трудности с водой мешали нам оценить выгоды нашего нового положения. Мы сняли рубашки, чтобы в случае дождя быть готовыми немедленно воспользоваться ими, как раньше простынями, хотя, конечно же, не могли рассчитывать даже при самых благоприятных обстоятельствах набрать больше четверти кварты зараз. Мы страдали от жажды невыразимо, но на протяжении целого дня на небе не появилось ни единого облачка. Ночью Петерс на час забылся беспокойным сном, я же ни на минуту не мог сомкнуть глаз.

Август, 5 дня. Сегодня легкий ветер прибил к нам множество морских водорослей, в которых мы поймали дюжину небольших крабов, послуживших нам настоящим угощением. Мы ели их целиком, вместе с нежной скорлупой, и нашли, что они не так возбуждают жажду, как моллюски. Не видя никаких признаков акул, мы решились искупаться и пробыли в воде несколько часов. Освежило нас, пить хотелось меньше, и мы, немного поспав, провели ночь спокойнее, чем предыдущую.

Август, 6 дня. В этот благословенный день пошел сильный дождь, который длился от полудня до заката. Вот когда мы пожалели, что не сберегли кувшин и бутылку! Мы могли бы, пожалуй, наполнить оба сосуда, как ни примитивен был наш способ собирания воды. Теперь же мы были вынуждены довольствоваться тем, что выжимали намокшие рубашки прямо в рот, ловя каждую каплю волшебной жидкости. В этом занятии мы провели весь день.

Август, 7 дня. Едва рассвело, как мы оба в единое мгновение заметили на востоке парус, очевидно приближавшийся к нам! Мы приветствовали чудесное зрелище долгими восторженными, хотя и слабыми возгласами и тут же принялись подавать кораблю всевозможные знаки: размахивали рубашками, прыгали, насколько позволяли наши слабые силы, вопили во всю мощь легких, хотя корабль находился никак не меньше, чем в пятнадцати милях. Судно постепенно приближалось к нам, и если оно не изменит курс, то в конце концов нас непременно заме-

тят! Примерно через час после того, как на горизонте впервые показался парус, мы уже могли различить людей на палубе. Это была длинная, низко сидящая в воде топсельная шхуна с черным шаром на фор-брамселе и, очевидно, полным экипажем. Трудно было допустить, что нас не видят, и мы уже начали тревожиться, не собирается ли незнакомец пройти мимо, оставив нас на верную смерть. Как ни дико это звучит, такая изуверская жестокость порой совершается на море при схожих обстоятельствах существами, которых причисляют к человеческому роду¹. Однако в данном случае, благодаря милости Божьей, дело, к счастью, обстояло иначе. Вскоре мы заметили движение на палубе незнакомца, который тут же поднял британский флаг и, развернувшись, направился прямо к нам. Через полчаса мы были в каюте шхуны «Джейн Гай» из Ливерпуля, направлявшейся под началом капитана Гая на тюлений промысел и с торговыми целями в Тихий и Южный океаны.

¹ Достаточно показательен в этом смысле случай с бостонским бригом «Полли», судьба которого во многих отношениях так напоминает нашу, что я не могу не упомянуть о нем. 12 декабря 1811 года под командованием капитана Касно это судно грузоподъемностью сто тридцать тонн вышло из Бостона с грузом леса и съестных припасов, взяв курс на Санта-Круза. Помимо капитана, на борту было восемь человек: его помощник, четыре матроса, кок, а также некий мистер Хант с принадлежащей ему молоденькой негритянкой. 15 декабря, благополучно миновав Джорджес-банку, во время палетевшего с юго-запада шторма судно дало течь и в конце концов опрокинулось; к счастью, когда мачты снесло за борт, корабль выпрямился. Находившиеся на борту пробыли без огня и со скудным запасом продовольствия *сто девяносто один день*; двенадцатого июня оставшихся в живых капитана Касно и Сэмюэля Бэджера подобрал «Фэйм», который капитан Фезерстоун вел из Рио-де-Жанейро домой, в Гулль. Когда их снимали с обломков брига, они находились на 20' северной широты и 13' западной долготы, проделав, таким образом, *путь в две тысячи с лишним миль!* Девятого июля «Фэйм» повстречал бриг «Дромсо», и капитан Перкинс высадил двух несчастных в Кеннебеке на сушу. Доклад, из которого мы заимствовали эти подробности, кончается следующими словами:

«Возникает естественный вопрос: как они, проплыв такое огромное расстояние в наиболее судоходной части Атлантики, могли остаться никем не замеченными? Они видели более дюжины судов, причем одно из них подошло так близко, что они отчетливо различили смотревших на них с палубы и мачт людей; но, к невыразимому разочарованию голодных, замерзающих страдальцев и вопреки всем законам человечности, те подняли паруса и бросили их на произвол судьбы». (Примеч. автора.)

ГЛАВА XIV

«Джейн Гай» была красивой топсельной шхуной грузоподъемностью сто восемьдесят тонн. У нее был необыкновенно острый нос, и с ветром при умеренной погоде она ходила с такой скоростью, какой я не наблюдал у других судов. Но для штормовых рейсов она годилась гораздо меньше, и осадка была слишком велика, если иметь в виду ее назначение. Промысел, для которого снарядили шхуну, требует судна большей грузоподъемности, скажем, от трех до трех с половиной сотен тонн, но соответственно меньшей осадки. Ее следовало бы оснастить как барк, да и конструкция ее желательна иная, нежели у кораблей, обычно плавающих в Южных морях. Совершенно необходимо также хорошее вооружение. На судне надо, к примеру, иметь десяток или дюжину двенадцати-фунтовых каронад, две-три длинноствольные пушки с запасом картечи и водонепроницаемыми пороховыми ящиками. Якоря и канаты должны быть гораздо прочнее, нежели те, что надобны для другой службы, а главное, на таком корабле необходим многочисленный и опытный экипаж, пятьдесят — шестьдесят матросов первого класса по меньшей мере. На «Джейн Гай», помимо капитана и его помощника, было всего лишь тридцать пять, правда, знающих свое дело людей, но все-таки ее вооружение и оснастка не удовлетворили бы моряка, знакомого с трудностями и опасностями тюленьего промысла.

Капитан Гай был вполне светский человек, обладавший значительным опытом плавания в этих широтах, чему он отдал многие годы своей жизни. Ему не хватало, правда, энергии и особенно того духа предпринимательства, который здесь совершенно необходим. Он был совладельцем шхуны и имел право по собственному усмотрению совершать рейсы в Южных морях, берясь за перевозку любого выгодного груза.

Как водится в плаваниях такого рода, сейчас он имел на борту запас бус, зеркал, огнив, топоров, тесаков, пил, стругов, зубил, стамесок, буравов, рубанков, рашпилей, напильников, молотков, гвоздей, ножей, ножниц, лезвий, иголок, ниток, глиняной посуды, ситца, всякого рода безделушек и тому подобных товаров.

Шхуна вышла десятого июля из Ливерпуля, двадцать пятого пересекла тропик Рака под двадцатым градусом западной долготы и двадцать девятого достигла Сала, одного из островов Зеленого Мыса, где взяла на борт соль и другие припасы, необходимые для путешествия. 3 августа «Джейн Гай» снялась с якоря и с островов Зеленого Мыса взяла курс на юго-запад, в направлении берегов Бразилии, чтобы пересечь экватор между двадцать восьмым и тридцатым градусом западной долготы. Это обычный маршрут судов, направляющихся из Европы к мысу Доброй Надежды и дальше — в Ост-Индию. Следуя этим путем, можно избежать штилей и сильных встречных течений, господствующих у берегов Гвинеи, а затем с помощью постоянных западных ветров достигнуть мыса Доброй Надежды, так что в конце концов этот путь оказывается кратчайшим. Первую остановку, не знаю даже, для какой надобности, капитан Гай намеревался сделать на Земле Кергелена. В тот день, когда нас подобрали, шхуна только что миновала мыс Сен-Рок на тридцать первом градусе западной долготы, так что мы продрейфовали с севера на юг расстояние не менее чем *градусов в двадцать пять*.

На борту «Джейн Гай» нас окружили таким вниманием, какого и требовало наше плачевное состояние. За две недели, пока судно следовало тем же курсом на юго-запад под мягким бризом и при чудесной погоде, мы с Петтерсом полностью оправились от последствий пережитых недавно лишений и нечеловеческих страданий и теперь вспоминали происшедшее скорее как дурной сон, от которого так счастливо очнулись, нежели как действительные события во всей их беспощадной реальности. С тех пор мне не раз приходилось убедиться, что частичное выпадение памяти, которое я имею в виду, имеет причиной внезапный переход от радости к отчаянию или от отчаяния к радости, причем степень забывчивости пропорциональна степени противоположности наших переживаний. Как бы то ни было, лично я не могу в полной мере осознать бедствия, которые я перенес после кораблекрушения. Я помню цепь событий, но никак не чувства,

владевшие тогда мной. Знаю только, что в тот *момент*, когда происходило то или иное событие, мне казалось, что больших мучений человек вынести не способен.

Несколько недель наше плавание продолжалось без каких-либо происшествий, если не считать разве что встреч с китобойными судами; еще чаще попадались черные, или настоящие, киты, которые называются так в отличие от кашалотов. Правда, главным образом они встречаются южнее двадцать пятой параллели. 16 сентября, находясь в непосредственной близости от мыса Доброй Надежды, шхуна перенесла первую с момента отплытия из Ливерпуля серьезную бурю. В этих местах, а еще чаще южнее и восточнее мыса (мы лежали к западу от него) морякам приходится вступать в схватку с яростными штормами, надвигающимися с севера. Они всегда несут сильнейшее волнение, и одна из их опаснейших особенностей состоит в мгновенной перемене ветра, каковая почти всегда происходит в самый разгар бури. С севера или северо-востока несетя бешеный ураган, и вдруг в один момент ветер совершенно стихает, а затем с утроенной силой начинает дуть с юго-запада. Обыкновенно предвещает эту резкую перемену прояснение в южной части неба, так что на судах успевают принять необходимые меры предосторожности.

Итак, было шесть часов утра, когда на шхуну с севера, при сравнительно чистом небе, обрушился шквал. К восьми утра ветер еще более усилился, подняв такие гигантские волны, каких мне еще не приходилось видеть. Хотя мы убрали все паруса, шхуна держалась не так, как следовало бы океанскому паруснику. Ее кидало, как щепку, она то и дело зарывалась носом, и едва успевала выпрямиться, как накатывалась другая волна и накрывала ее. Мы следили за небом, и к исходу дня в юго-западной его части появилась ясная полоска. Спустя час передний парус безжизненно повис на мачте, а через две минуты, несмотря на все наши приготовления, шхуну точно по волшебству опрокинуло набок, и огромный поток пены окатил палубу. Дело, к счастью, ограничилось только шквалом, и нам удалось выровнять шхуну, не получив никаких повреждений. Поперечное волнение при-

чиняло нам массу беспокойства еще несколько часов, но к утру на шхуне все было почти в том же порядке, как и до бури. Капитан Гай считал, что мы спаслись чуть ли не чудом.

Тринадцатого октября, находясь на 46°53' ю. ш. и 37°46' в. д., мы увидели острова Принс-Эдуард. Два дня спустя мы были у острова Владения, а затем прошли и острова Крозе, 42°59' ю. ш. и 48° в. д. Восемнадцатого числа мы достигли острова Кергелен, или, как его еще называют, острова Запустения, в южной части Индийского океана, и бросили якорь в гавани Рождества на глубине около четырех саженей.

Этот остров, точнее — группа островов расположена к юго-востоку от мыса Доброй Надежды, почти в восьмистах лигах от него. Острова были впервые открыты в 1772 году французом бароном Кергуленом, или Кергеленом, который принял их за выдающуюся часть южного материка, о чем и доложил на родине, вызвав большую сенсацию. Правительство заинтересовалось открытием и на следующий год послало барона исследовать новую землю — тогда-то и обнаружилась ошибка. В 1777 году на эти острова натолкнулся капитан Кук и нарек главный из них островом Запустения, какового названия он вполне заслуживает. Правда, когда впервые приближаешься к острову, этого не подумаешь, ибо с сентября по март склоны холмов одеты как будто пышной зеленью. Это ошибочное впечатление вызвано небольшим растением, напоминающим камнеломку, которая в обилии произрастает среди мха на болотистой почве. Другой растительности почти нет, если не считать высокую жесткую траву у самой гавани, лишайников и какого-то низкорослого кустарника, похожего на семенную капусту, но чрезвычайно горького и кислого на вкус.

Поверхность острова холмистая, хотя холмы отнюдь не высоки. Вершины их постоянно покрыты снегом. На острове есть несколько бухт, но гавань Рождества наиболее удобная из них. Если подходить к острову с северо-востока, то она будет как раз первой бухтой после мыса Франсуа, образующего северную оконечность острова и служащего хорошим ориентиром в силу своей необычной

формы. Его выступающая часть заканчивается высокой скалой с большим естественным проломом, похожим на арку. Координаты горловины бухты — 48°40' ю. ш. и 69°6' в. д. Войдя в бухту, можно найти стоянку под прикрытием нескольких крошечных островов, защищающих судно от восточных ветров. Если двигаться отсюда к востоку, то попадешь в Осиную бухту, в самой глубине гавани. Этот маленький залив глубиной от трех до десяти саженей, к которому ведет проход в четыре сажени, со всех сторон окружен сушей и имеет твердое глинистое дно. Корабль может простоять здесь на якоре круглый год без малейшей опасности. В западной части Осиной бухты, у входа в нее, есть легкодоступный ручеек с отличной пресной водой.

На земле Кергелена и сейчас еще можно встретить и тюленей, и котиков, и множество морских слонов. Что до пернатых, здесь их обитает огромное множество. Особенно многочисленны пингвины, в основном — четырех различных видов. Самый крупный вид — королевские пингвины, которых называют так благодаря величине и яркому оперению. Верхняя часть туловища у королевского пингвина обычно серая, иногда с лиловым оттенком, а нижняя — чистейшего белого цвета. Голова у него глянцева, иссиня-черная, как и лапы. Главную же прелесть оперения составляют две широкие золотистые полосы, идущие от головы до груди. Клюв — длинный, розового цвета или ярко-алый. Ходят они величаво выпрямившись. Головку держат высоко, крылья опущены, точно две руки, а выступающий хвост несут на одной линии с лапами; сходство с человеческой фигурой настолько поразительно, что может обмануть не слишком внимательного наблюдателя и вводит в заблуждение в темноте. Королевские пингвины, которых мы встретили на Земле Кергелена, были гораздо больше гуся.

Кроме королевских пингвинов, бывают хохлатые пингвины, пингвины-глупыши и обыкновенные пингвины. Эти разновидности значительно мельче, не так красивы и вообще отличаются от королевских.

Помимо пингвинов на островах обитает множество других птиц, среди которых можно упомянуть морских

курочек, голубых буревестников, чирков, уток, портэгмондских курочек, бакланов, капских голубков, морских ласточек, крачек, чаек, всякие виды качурок, буревестников, включая исполинских, и, наконец, альбатросов.

Исполинский буревестник — хищная птица, величиной с обычного альбатроса. Иногда его зовут костоломом или скопой. Они нисколько не боятся людей, и их мясо, если умело приготовить, вполне пригодно в пищу. Часто они словно плывут над самой водой, широко раскинув крылья и как будто совсем не шевеля ими.

Альбатрос — одна из самых крупных и хищных птиц среди пернатых обитателей Южного океана. Принадлежат альбатросы к семейству буревестников, добычу терзают на лету, а на сушу летят только для размножения. Между ними и пингвинами существует какая-то странная привязанность. Они сообща строят гнезда, будто согласно некоему плану, совместно разработанному: гнездо альбатроса помещается обыкновенно в середине небольшого квадрата, образованного четырьмя пингвиньими гнездами.

Моряки называют эти гнездовья «птичьим базаром». Описаний этих птичьих базаров имеется множество, но, поскольку мои читатели могут быть незнакомы с ними, а мне придется не раз упоминать о пингвинах и альбатросах, очевидно, нелишне рассказать здесь кое-что об их образе жизни и гнездовании.

Когда наступает период размножения, птицы собираются огромными стаями и несколько дней словно бы раздумывают, как устроить гнездовье, и лишь затем приступают к делу. Прежде всего они находят горизонтальную площадку подходящих размеров, обычно в три-четыре акра, расположенную как можно ближе к воде, но вне досягаемости волн. Место выбирается ровное, предпочтительно без камней. Затем, будто подчиняясь единому побуждению, они все, как один, разом начинают ходить друг за другом, с математической точностью вытаптывая квадрат или четырехугольник (в зависимости от характера почвы) достаточных размеров, чтобы разместиться всем, но никак не больше, ибо птицы исполнены, кажется, решимости не допустить сюда чужаков, не участво-

вавших в устройстве лагеря. Одна сторона выбранной площадки параллельна линии воды и открыта для входа и выхода.

Наметив очертания колонии, пингвины принимают расчищать площадку от всякого сора, таская камешек за камешком и складывая их вдоль границ, так что с трех сторон, обращенных к суше, выстраивается своего рода стенка. С внутренней ее стороны протаптывается гладкая дорожка шириной шесть — восемь футов для общих прогулок.

Затем птицам предстоит разделить всю площадку на небольшие и совершенно одинаковые квадраты. Делается это посредством узких гладких тропинок, пересекающихся друг с другом под прямым углом по всей колонии. На каждом пересечении сооружают свои гнезда альбатросы, а в центре каждого квадрата — пингвины; таким образом, каждый альбатрос окружен четырьмя пингвинами, а каждый пингвин таким же количеством альбатросов. Пингвинье гнездо представляет собой неглубокую ямку, чтобы только не выкатилось единственное яйцо. Самка альбатроса устраивается поудобнее, сооружая из земли, морских водорослей и ракушек холмик в фут высотой и два фута диаметром. На верхушке холмика и делается гнездо.

Птицы крайне осторожны и ни на секунду не оставляют гнездо пустым в период высиживания и даже до того времени, пока птенец не окрепнет и не научится сам заботиться о себе. Пока самец летает в море, добывая пищу, самка исполняет свои обязанности и лишь по возвращении партнера решается ненадолго покинуть гнездо. Яйца вообще никогда не остаются открытыми: когда одна птица снимается с гнезда, другая тут же занимает ее место. Эта мера предосторожности вызвана повсеместным воровством в колонии: обитатели ее не прочь при первом же удобном случае стянуть друг у друга яйца.

Хотя встречаются колонии, где обитают только пингвины и альбатросы, все же в большинстве случаев в них селятся самые разные морские птицы, причем все пользуются равными правами гражданства и устраивают свои гнезда там, где найдется местечко, не посягая, однако, на

те, что заняты более крупными птицами. С расстоянием птичьи базары являют зрелище совершенно необыкновенное. Застилая небо, альбатросы вперемешку со всякой мелкотой постоянно тучами реют над гнездовьем, то отправляясь в море, то возвращаясь назад. В это же самое время можно наблюдать толпы пингвинов — одни спешат взад-вперед по узким тропинкам, другие с характерной, как бы военной, выправкой вышагивают по дорожке вдоль стен, окружающих колонию. Словом, при пристальном наблюдении понимаешь, что нет ничего более поразительного, нежели эта задумчивость пернатых существ, и решительно ничто не заставляет так задуматься любого нормального человека, как это зрелище.

В то самое утро, когда мы бросили якорь в гавани Рождества, первый помощник капитана м-р Паттерсон распорядился спустить шлюпки и — хотя сезон охоты еще не начался — отправился на поиски тюленей, высадив капитана и его юного родственника на голой косе к западу от бухты: им надо было по каким-то делам обратиться в глубь острова.

Капитан Гай имел при себе бутылку с запечатанным письмом и с места высадки направился к самому высокому здесь холму. Он, очевидно, намеревался оставить на вершине письмо для какого-то судна, которое должно прийти за нами. Как только они скрылись из виду, мы (я и Петерс тоже были в шлюпке с помощником капитана) пустились в путь вокруг острова, высматривая лежбище тюленей. Мы провели за этим занятием около трех недель, тщательно исследуя каждую бухточку, каждый укромный уголок не только на Земле Кергелена, но и на соседних островках. Наши труды не увенчались, однако, сколько-нибудь значительным успехом. Мы наткнулись на множество котиков, но они оказались чрезвычайно пугливы, и при всех наших стараниях мы сумели раздобыть лишь триста пятьдесят шкурок. В изобилии было и морских слонов, особенно на западном берегу, однако убили мы всего штук двадцать, да и то с большими трудностями. На островках попадалось немало обыкновенных тюленей, но мы решили их не брать. Одиннадцатого числа мы вернулись на шхуну, где уже находился капитан Гай

с племянником — они вынесли весьма безотрадное впечатление из своей вылазки на остров, который, по их словам, представлял собой одно из самых неприглядных и пустынных мест на земле. Из-за нерасторопности второго помощника, забывшего вовремя послать за ними лодку, они были вынуждены две ночи провести на острове.

ГЛАВА XV

Двенадцатого ноября мы подняли паруса и, покинув гавань Рождества, взяли курс назад, к западу, оставляя по левому борту остров Марион из группы островов Крозе. Затем мы миновали остров Принс-Эдуард, который тоже остался слева, и, держась немного к северу, через пятнадцать дней достигли островов Тристан-да-Кунья под $37^{\circ}8'$ ю. ш. и $12^{\circ}8'$ з. д.

Эта группа, ныне исследованная и состоящая из трех крупных островов, была открыта португальцами; потом, в 1643 году, там побывали голландские моряки, а в 1767 — французы. Три острова образуют как бы треугольник и отстоят друг от друга миль на десять, так что между ними имеются отличные широкие проливы. Местность там возвышенная, особенно на самом Тристан-да-Кунья. Этот самый большой остров из всех имеет в окружности пятнадцать миль и так высок, что в ясную погоду хорошо виден на расстоянии восьмидесяти — девяноста миль. Северная часть острова вздымается более чем на тысячу футов над уровнем моря, образуя высокогорное плато, тянущееся до середины острова, на котором возвышается огромная коническая гора наподобие Тенерифского пика. У подножия горы растут большие деревья, но верхняя половина представляет собой голую скалу, большую часть года покрытую снегом и обычно окутанную облаками. Вокруг острова нет ни мелей, ни рифов, берега очень круты и глубина там порядочная. Только на северо-востоке расположен заливчик с отмелью из черного песка, где при южном ветре легко пристать на лодках. Тут же можно раздобыть отличной пресной воды и наловить трески и другой рыбы.

Второй по величине остров лежит к западу и носит название Недоступного. Его точные географические координаты — 37°17' ю. ш. и 12°24' з. д. Он имеет семь-восемь миль в окружности, и крутые, обрывистые берега придают ему непривлекательный вид. Он увенчан совершенно плоским бесплодным плато, на котором лишь кое-где произрастает низкорослый кустарник.

Соловьиный остров, самый маленький и южный из всей группы, расположен на 37°26' ю. ш. и 12°12' з. д. От южной его оконечности отходит цепь крохотных скалистых островков; несколько похожих островков видны также на северо-востоке. Местность на Соловьином пересеченная и бесплодная, частично перерезанная глубокой долиной.

В соответствующее время года берега островов изобилуют морскими львами, морскими слонами, тюленями, котиками и всякого рода морскими птицами. Немало в этих водах и китов. Первоначально охота здесь была делом весьма легким, благодаря чему, очевидно, на эти острова частенько наведывались суда, особенно голландские и французские. В 1790 году капитан Пэттен из Филадельфии на корабле «Индустрия» достиг острова Тристан-да-Кунья и пробыл здесь семь месяцев (с августа 1790 по апрель 1791 года), занимаясь охотой на тюленей. За это время он добыл не менее пяти тысяч шестисот шкур и уверял, что мог бы без особого труда за три недели загрузить тюленьим жиром большой корабль. Если не считать нескольких диких коз, он не встретил на островах четвероногих; теперь же здесь водится множество ценнейших домашних животных, которых завезли сюда впоследствии.

Вскоре после экспедиции капитана Пэттена, если не ошибаюсь, на Тристан-да-Кунья прибыл для отдыха экипажа и пополнения запасов американский бриг «Бетси» под началом капитана Колкхуна. Они посадили на острове лук, картофель, капусту и другие овощи, которые сейчас там в обилии и произрастают.

В 1811 году на Тристане высадился некий капитан Хейвуд с «Нерея». Он встретил здесь трех американцев, которые жили на острове, занимаясь добычей тюленьих

шкур и жира. Один из них, Джонатан Лэмберт, считал себя правителем острова. Он расчистил порядочный участок, акров в шестьдесят, и принялся выращивать кофейное дерево и сахарный тростник, которыми его снабдил американский консул в Рио-де-Жанейро. Со временем, однако, поселение опустело, и в 1817 году английское правительство, послав туда с мыса Доброй Надежды воинское соединение, объявило острова собственностью британской короны. Англичане, впрочем, недолго удерживали острова, хотя после эвакуации соединения две-три английских семьи поселились здесь как частные лица. 25 марта 1824 года капитан Джеффри, шедший на «Бервике», остановился здесь по пути из Лондона на Землю Вандимена и нашел англичанина Гласса, бывшего капрала британской артиллерии. Он назвал себя губернатором островов и имел под началом двадцать одного мужчину и трех женщин. Он весьма хвалил здешний здоровый климат и плодородную почву. Колонисты занимались преимущественно добычей тюленьих шкур и заготовкой жира морских слонов, сбывая это на небольшой, принадлежащей Глассу шхуне торговцам в Кейптауне. Когда мы прибыли сюда, «губернатор» по-прежнему правил островами, а его колония увеличилась и насчитывала сейчас пятьдесят шесть человек на Тристане и небольшое поселение из семи душ на Соловьином острове. Здесь мы запаслись почти всем необходимым. Глубина, составляющая около восемнадцати саженей, позволила нам подойти почти к самому берегу Тристана и без труда взять на борт овец, свиней, волов, кроликов, домашнюю птицу, коз, множество всякой рыбы и овощей. Кроме того, капитан Гай купил у Гласса пятьсот тюленьих шкур и слоновой кости. Мы пробыли здесь неделю, пока с севера и запада дули сильные ветры и стояла пасмурная погода. 5 ноября мы снялись с якоря и взяли курс на юго-запад, намереваясь провести тщательные поиски группы островов Аврора, относительно существования которых имелись самые разноречивые мнения.

Утверждают, что эти острова были открыты еще в 1762 году капитаном судна «Аврора». По словам капитана Мануэля де Оярвидо, в 1790 году на «Принцессе», при-

надлежащей Королевской Филиппинской компании, он прошел посреди этих островов. В 1794 году, с целью установить точное их расположение, в эти широты отправился испанский корвет «Атревида», и в сообщении Королевского Гидрографического общества в Мадриде, опубликованном в 1809 году, об этой экспедиции говорилось следующее: «В период между двадцать первым и двадцать седьмым января корвет «Атревида», курсируя в этом районе, произвел все необходимые наблюдения и определил с помощью хронометров разницу в долготе между портом Соледад на Мальвинских островах и этими островами. Островов оказалось три, все они расположены примерно на одном меридиане; центральный остров низменный, но два других видны с расстояния девяти лиг». Наблюдения, сделанные на борту «Атревиды», позволили определить точное местоположение каждого острова: северный $52^{\circ}37'24''$ ю. ш. и $47^{\circ}43'15''$ з. д.; центральный — $53^{\circ}2'40''$ ю. ш. и $47^{\circ}55'15''$ з. д.; южный — $53^{\circ}15'22''$ ю. ш. и $47^{\circ}57'15''$ з. д.

Двадцать седьмого января 1820 года капитан британского морского флота Джеймс Уэддел тоже отправился с Земли Стэтена на поиски Авроры. Он заявил, что, тщательно обследовав не только пункты, координаты которых указал командир «Атревиды», но и близлежащие районы, он нигде не обнаружил признаков суши. Эти противоречивые заявления побудили других мореходов пускаться на поиски Авроры, и вот что странно: если некоторые, изборождая каждый дюйм в водах, где должны бы лежать эти острова, так и не наткнулись на них, то немало было и таких, которые положительно уверяли, что видели эту группу и даже подходили к берегам. Поэтому капитан Гай и хотел приложить все усилия, чтобы решить этот необыкновенный спор¹.

При переменной погоде мы продолжали наш путь на юго-запад, пока двадцатого числа не вошли в район, из-за которого разгорелся спор, — на $53^{\circ}15'$ ю. ш. и $47^{\circ}58'$ з. д., то есть оказались в пункте, где, по сведениям, лежит южный из трех островов. Не встретив ничего, мы повер-

¹ Среди судов, чьи экипажи утверждают, что встречали острова Авроры, можно упомянуть «Сан-Мигель» (1769), «Аврору» (1774), бриг «Жемчужина» (1779) и судно «Долорес» (1790). Все сходятся на том, что острова расположены на 53° ю. ш. (Примеч. автора.)

нули на запад и по пятьдесят третьей параллели дошли до пятидесятого меридиана. Затем мы взяли курс на север и, пройдя до пятьдесят второй параллели, поплыли на восток, держась строго заданного курса и сверяя свои координаты утром и вечером с расположением небесных тел. Достигнув меридиана, который проходит через западную оконечность острова Южная Георгия, мы снова повернули на юг и вернулись к исходной точке. Затем мы прошли по диагоналям образованного таким образом четырехугольного участка моря, постоянно держа вахтенного на марсе, и в течение трех недель, пока стояла удивительно приятная ясная погода, снова и снова тщательно повторяли наши наблюдения.

Само собой разумеется, мы были вполне удовлетворены: если какие-либо острова и существовали здесь прежде, то сейчас от них не осталось и следа. Уже после возвращения на родину я узнал, что эти же места с таким же тщанием исследовали в 1822 году капитан Джонсон на американской шхуне «Генри» и капитан Моррел на американской шхуне «Оса», и в обоих случаях выводы совпали с нашими собственными.

ГЛАВА XVI

Первоначально план капитана Гая состоял в том, чтобы, обследовав район предполагаемого архипелага Аврора, пройти Магелланов пролив и подняться вдоль западных берегов Патагонии к северу, но сведения, полученные на Тристан-да-Кунья, побудили его взять курс на юг в расчете обнаружить группу крохотных островов, расположенных будто бы на 60° ю. ш. и 41°20' з. д. В том случае, если островов в указанных координатах не окажется, мы должны были при условии благоприятной погоды двинуться к полюсу. Соответственно 12 декабря мы подняли паруса и пошли к югу. Восемнадцатого числа мы были в районе, который указал Гласс, и трое суток бороздили эти воды, не находя никаких следов островов. Погода была преотличная, и двадцать первого мы снова взяли курс на юг, решив плыть в том направлении как

можно дальше. Прежде чем приступить к этой части моего повествования, нелишне вкратце рассказать о немногочисленных попытках достичь Южного полюса, которые до сих пор предпринимались, имея в виду тех читателей, которые не следили за исследованиями этих районов.

Первую такую попытку, о которой мы знаем что-то достоверное, предпринял капитан Кук. В 1772 году он отправился на корабле «Резольюшн» к югу; его сопровождал лейтенант Фурно на корабле «Адвенчур». В декабре он достиг пятьдесят восьмой параллели под 26°57' западной долготы. Здесь он наткнулся на узкие ледяные поля толщиной восемь — десять дюймов, простиравшиеся к северо-западу и юго-востоку. Льдины громоздились друг на друга, образуя большие торосы, так что корабли с трудом проходили между ними. По обилию птиц и другим признакам капитан Кук тогда заключил, что они находятся недалеко от суши. Несмотря на холода, он продолжал плыть к югу и на 38°14' западной долготы прошел шестьдесят четвертую параллель. Потом значительно потеплело, подули легкие ветры, пять дней термометр показывал тридцать шесть градусов¹. В январе 1773 года суда капитана Кука пересекли Южный полярный круг, но дальше пройти ему не удалось: на шестьдесят седьмой параллели путь преградили сплошные ледяные поля, которые тянулись вдоль всего горизонта, насколько хватал глаз. Лед был самый разнообразный, иные льдины, протяженностью несколько миль, представляли сплошные массивы, возвышавшиеся на восемнадцать — двадцать футов над водой. Ввиду позднего времени года капитан Кук не рассчитывал обойти льды и неохотно повернул обратно, на север.

В ноябре того же года он возобновил свои исследования Антарктики. На 59°40' южной широты он попал в сильное течение, направлявшееся к югу. В декабре, когда экспедиция находилась на 67°31' южной широты и 142°54' западной долготы, наступили жестокие морозы с сильными ветрами и туманами. Тут тоже было множество птиц — альбатросов, пингвинов и особенно буревестников. На 70°23'

¹ По Фаренгейту.

южной широты путешественники встретили несколько больших айсбергов, а несколько позже заметили белоснежные облака на юге, что указывало на близость сплошных ледовых полей. На $71^{\circ}10'$ южной широты и $106^{\circ}54'$ западной долготы мореплавателям, как и в первый раз, преградил путь гигантский ледяной массив, застилавший всю южную часть горизонта. Северный край этого массива на добрую милю вглубь был изрезан крепко спаянными торосами, и пробиться здесь оказалось никак невозможным. За ними на какое-то расстояние тянулась сравнительно ровная поверхность, а совсем вдали виднелись цепи громаздящихся друг на друга ледяных гор. Капитан Кук решил, что эти огромные ледовые поля простираются до самого полюса или примыкают к какому-то матерiku. Мистер Дж.-Н. Рейнольдс, чьи самоотверженные усилия и упорство увенчались наконец подготовкой национальной экспедиции для исследования, в частности, и этих районов, говорит о попытках корабля «Резольюшн»: «Не приходится удивляться, что капитан Кук не сумел пройти дальше $71^{\circ}10'$; поразительно, что ему удалось достичь этого пункта на $106^{\circ}54'$ западной долготы. Земля Палмера лежит южнее Шетландских островов, расположенных на шестьдесят четвертой параллели, и тянется к югу и западу дальше, чем проникал кто-либо из мореплавателей. Кук считал, что достиг земли, когда льды преградили ему путь, что, очевидно, неизбежно в этом районе и в такое раннее время года, как 6 января. Мы не удивимся, если ледяные горы, им описанные, действительно примыкают к Земле Палмера или являются частью суши, лежащей дальше к югу и западу».

В 1803 году русский царь Александр послал капитанов Крузенштерна и Лисянского в кругосветное плавание. Пробираясь к югу, они достигли только $59^{\circ}58'$ на $70^{\circ}15'$ западной долготы. В этом пункте обнаружилось сильное течение на восток. Они встретили множество китов, но льдов не видели. По поводу этой экспедиции мистер Рейнольдс замечает, что, если бы Крузенштерн прибыл сюда в более раннее время года, он непременно наткнулся бы на льды, но он оказался на указанном месте лишь в мар-

те. Господствующие тут южные и западные ветры, а также течения отнесли дрейфующие льдины в район сплошных льдов, ограниченный с севера островом Южная Георгия, с востока Сандвичевыми и Южными Оркнейскими островами, а с запада — Южными Шетландскими.

В 1822 году капитан британского военно-морского флота Джеймс Уэддел на двух небольших суденышках проник к югу дальше всех своих предшественников, причем не испытал при этом особых трудностей. Он утверждает, что хотя во время плавания льды не раз затирали его корабли, но, когда он достиг семьдесят второй параллели, море оказалось совершенно чистым, и до $74^{\circ}15'$ ему попались лишь три ледяных островка. Удивительно, что, несмотря на большие стаи птиц и другие признаки близости земли, несмотря на то, что южнее Шетландских островов его марсовые заметили какие-то полосы суши, тянувшиеся к югу, капитан Уэддел отрицает предположение о существовании материка в южной полярной области.

Одиннадцатого января 1823 года капитан Бенджамин Моррел отплыл на американской шхуне «Оса» с острова Кергелен, намереваясь проникнуть как можно дальше на юг. Первого февраля он был на $64^{\circ}52'$ южной широты и $118^{\circ}27'$ восточной долготы. Вот запись в вахтенном журнале за то число: «Ветер задул со скоростью одиннадцати миль в час, и мы, воспользовавшись этим, поплыли к западу. Будучи, однако, убежденными, что чем дальше мы продвинемся от шестьдесят четвертой параллели к югу, тем менее вероятность встретить льды, мы взяли немного южнее, пересекли Южный полярный круг и достигли $69^{\circ}15'$ южной широты. На этой параллели замечены лишь несколько ледяных островков, но *никакого сплошного льда*».

Я обнаружил также следующую запись, датированную четырнадцатым марта: «Море совершенно свободно ото льда, видели вдали с дюжину ледяных островков. Температура воздуха и воды по крайней мере на тринадцать градусов выше обычной между шестидесятой и шестьдесят второй параллелью. Сейчас мы находимся на

70°14' южной широты, температура воздуха — сорок семь градусов, воды — сорок четыре. В этих условиях магнитное склонение 14°27' восточное... Мне неоднократно доводилось на разных меридианах пересекать Южный полярный круг, и каждый раз я убеждался, что чем дальше я захожу за шестьдесят пятую параллель, тем теплее становится воздух и вода и тем больше соответственно отклонение стрелки. В то же время к северу от этой параллели, скажем, между шестидесятой и шестьдесят пятой, мы часто с трудом находили проход между огромными бесчисленными айсбергами, причем иные были от мили до двух в окружности и возвышались над водой футов на пятьсот, а то и более».

Поскольку топливо и запасы воды были на исходе, поскольку на корабле не имелось хороших инструментов и близилась полярная зима, капитан Моррел был вынужден отказаться от попытки пробиться дальше на юг и повернул назад. Он высказывает убеждение, что достиг бы восемьдесят пятой параллели, а то и полюса, если бы не указанные неблагоприятные обстоятельства, заставившие его отступить от своего намерения. Я пространно излагаю соображения капитана Моррела об этих делах для того, чтобы читатель имел возможность убедиться, в какой степени они подтверждаются моим собственным последующим опытом.

В 1831 году капитан Биско, состоящий на службе у господ Эндерби, лондонских владельцев китобойных судов, отправился на бриге «Лайвли» и кутере «Фуле» в Южный океан. Двадцать восьмого февраля, находясь на 66°30' южной широты и 47°13' восточной долготы, мореплаватели заметили землю и посреди снега отчетливо разглядели черные вершины горной гряды, тянущейся ост-зюйд-ост. Биско пробыл в этих водах весь следующий месяц, но из-за бурного моря так и не подошел к берегу ближе, чем на десять лиг. Убедившись, что продолжать исследования в это время года невозможно, он повернул на север, чтобы перезимовать на Земле Ван-Димена.

В начале 1832 года он снова отправился на юг и четвертого февраля, находясь на 67°15' южной широты и

69°29' западной долготы, увидел на юго-востоке землю. Она оказалась островом, примыкавшим к мысу на материке, который он обнаружил раньше. Двадцать четвертого числа ему удалось высадиться на острове, который он именем короля Вильгельма IV объявил собственностью британской короны и в честь королевы назвал островом Аделейд. Когда обстоятельства путешествия стали известны Королевскому Географическому обществу в Лондоне, ученые мужи пришли к выводу, что «от 47°30' восточной долготы до 69°29' западной долготы вдоль шестьдесят шестой — шестьдесят седьмой параллели тянется сплошная полоса суши».

Мистер Рейнольдс замечает по этому поводу: «Мы никоим образом не можем присоединиться к этому заключению, и открытия Биско не дают к тому никаких оснований. Именно между этими двумя пунктами Уэддел проследовал к югу по меридиану, проходящему к востоку от острова Южная Георгия, от Сандвичевых, Южных Оркнейских и Южных Шетландских островов». Как будет видно, мой собственный опыт доказывает полнейшую несостоятельность вывода, к которому пришло Общество.

Таковы основные экспедиции, которые пытались проникнуть в высокие широты юга, из чего следует, что до плавания «Джейн Гай» ни один корабль не пересекал Южный полярный круг на огромных расстояниях, соответствующих тремстам градусам этой параллели. Перед нами открывалось широкое поле для исследований, и потому я с глубочайшим интересом воспринял решение капитана Гая смело идти на юг.

ГЛАВА XVII

Отказавшись от поисков островов, о которых говорил Гласс, мы четыре дня плыли к югу, не встречая на своем пути никаких льдов. В полдень двадцать шестого, когда мы были на 63°23' южной широты и 41°25' западной долготы, показалось несколько больших айсбергов и ледяное поле, однако небольшой протяженности. С юго-востока и северо-востока дули постоянные, но не сильные ветры.

Когда поднимался западный ветер, а это случалось не часто, то он неизбежно сопровождался порывами дождя. Каждый день выпадает хоть немного снега. Двадцать седьмого термометр показывал тридцать пять градусов.

Январь, 1 дня, 1828 года. Сегодня нас со всех сторон окружили льды, которым, казалось, нет ни конца ни краю, так что перспективы наши были безрадостны. Всю вторую половину дня с северо-востока неся штормовой ветер, и большие дрейфующие льдины с такой силой ударились о подзор кормы и руль, что мы начали опасаться серьезнейших последствий. К вечеру ветер продолжал дуть с прежней яростью, большое ледовое поле впереди нас разошлось, и нам удалось, поставив все паруса, пробиться сквозь льдины к большой полынье. Приближаясь к ней, мы постепенно убрали паруса, а выйдя на чистую воду, оставили лишь зарифленный фок.

Январь, 2 дня. Стоит вполне умеренная погода. Мы пересекли Южный полярный круг и в полдень были на $69^{\circ}10'$ ю. ш. и $42^{\circ}20'$ з. д. К югу льдов почти не видно, хотя за нами расстилаются целые поля. Соорудили что-то вроде лота, используя для этого чугунный котел на двадцать галлонов и канат в двести сажений, и нашли течение, отходящее к северу со скоростью четверть мили в час. Температура воздуха — около тридцати трех градусов. Магнитное склонение — $14^{\circ}28'$ восточное.

Январь, 5 дня. Продолжали путь к югу без особых препятствий. Утром, однако, находясь на $73^{\circ}15'$ ю. ш. и $42^{\circ}10'$ з. д., «Джейн Гай» снова наткнулась на огромное поле спаянного льда. Правда, дальше к югу за ним открывалось большое пространство чистой воды, и мы надеялись, что в конце концов достигнем его. Идя вдоль края ледника к востоку, мы обнаружили проход шириною в милю, который и прошли к заходу солнца. Море, в которое мы вышли, было усеяно ледяными островами, но свободно от полей, так что мы смело продвигались вперед. Холод, кажется, не усиливается, хотя часто идет снег, а иногда порывы ветра приносят град. Сегодня с юга на север пролетели огромные стаи альбатросов.

Январь, 7 дня. Море сравнительно чисто, и мы без труда следуем своим курсом. На западе заметили несколь-

ко айсбергов невероятно больших размеров, а в полдень прошли совсем рядом мимо одного из них, достигающего в высоту не менее четырехсот саженей от поверхности океана. У основания он имел, очевидно, в поперечнике три четверти лиги; по склонам его из расщелин бежали потоки воды. Два дня этот гигантский остров оставался в пределах видимости и лишь затем скрылся в тумане.

Январь, 10 дня. Рано утром случилось несчастье: упал за борт человек. Это был американец по имени Питер Реденбург, уроженец Нью-Йорка, один из самых опытных матросов на шхуне. Взбираясь на нос, он поскользнулся и упал между двумя льдинами — больше мы его не видели.

В полдень мы были на $73^{\circ}30'$ южной широты и $40^{\circ}15'$ западной долготы. Сильный холод, с севера и востока то и дело налетает град. На востоке видели несколько огромных айсбергов, и вообще весь горизонт в той стороне застлан грозоздящимися друг на друга рядами льда. Вечером мимо нас проплыли какие-то деревянные обломки, и снова множество направляющихся к северу птиц — исполинские буревестники, качурки, альбатросы, а также неизвестная большая птица с ярко-синим оперением. Магнитное склонение меньше, чем было до того, как мы пересекли Южный полярный круг.

Январь, 12 дня. Наше продвижение к югу снова вызывает сомнения: впереди не видно ничего, кроме бескрайнего ледяного пространства и гигантских нагромождений льда, угрожающе нависающих одно над другим. Мы повернули на восток и плыли, рассчитывая найти проход, в течение двух дней.

Январь, 14 дня. Утром достигли западной оконечности ледяного поля, преградившего нам путь, и, обойдя ее с наветренной стороны, вышли в открытое, без единой льдинки, море. Опустив наш лот на двести саженей, мы обнаружили, что течение отошло к югу со скоростью полмили в час. Температура воздуха — сорок семь градусов, воды — тридцать четыре. Плыли на юг, не встречая сколько-нибудь значительных препятствий, вплоть до шестнадцатого числа, когда в полдень на 42° зап. долготы достигли восьмидесятой первой параллели с $21'$. Здесь мы снова опус-

тили лот — течение все так же шло на юг, но уже со скоростью три четверти мили в час. Магнитное склонение уменьшилось, воздух мягкий и приятный; термометр поднялся до пятидесяти одного градуса. Льда совершенно нет. Матросы теперь убеждены, что мы достигнем полюса.

Январь, 17 дня. День полон всяких происшествий. С юга летят бесчисленные стаи птиц. Нескольких мы подстрелили, и одна из них, напоминая пеликана, имела отличное мясо. Около полудня с верхушки мачты слева по борту заметили небольшую льдину и на ней какое-то крупное животное. Погода была ясная, безветренная, капитан Гай распорядился спустить две шлюпки, чтобы посмотреть животное вблизи. Мы с Дирком Петерсом отправились вместе с помощником капитана в большой шлюпке. Подплыв к льдине, мы увидели огромного зверя из породы полярных медведей, но гораздо больших размеров, нежели самый крупный из них. Мы были хорошо вооружены и, не колеблясь, напали на животное. Один за другим раздались выстрелы, большинство достигло цели. Пули попали зверю в голову и туловище, но, очевидно, не причинили ему вреда, ибо он бросился с льдины в воду и с раскрытой пастью поплыл к шлюпке, в которой находились мы с Петерсом. Не ожидая такого оборота дела, мы растерялись, никто не был готов сделать второй выстрел и отразить нападение, так что медведю удалось наполовину перевалиться своим огромным туловищем через планшир и схватить одного из матросов за поясицу. Только ловкость и мужество Петерса спасли нас в этих чрезвычайных обстоятельствах от гибели. Вспрыгнув на зверя, он вонзил ему в шею нож, одним ударом повредив спинной мозг. Медведь обмяк и безжизненной тушей скатился в море, увлекая за собой Петерса. Тот вскоре выплыл, ему бросили веревку, которой он перевязал медведя, и сам выбрался из воды. Мы взяли на буксир нашу добычу и с триумфом вернулись на шхуну. Мы измерили тушу медведя — она достигала полных пятнадцати футов. Шерсть его была чистейшего белого цвета, очень жесткой и слегка завивалась. Кроваво-красные глаза были побольше, чем у полярного медведя, морда тоже более

округлая, напоминающая скорее бульдога. Мясо его оказалось нежным, но чересчур жирным и отдавало рыбой, хотя матросы, с аппетитом отведав его, нашли вкусным и питательным.

Едва мы успели подтянуть нашу добычу к борту шхуны, как с марса раздался радостный крик: «Земля по правому борту!» Всех охватило восторженное нетерпение, в этот момент с северо-востока как раз поднялся ветер, и скоро мы приблизились к берегу. Это был низкий скалистый островок около лиги в окружности, совершенно лишенный растительности, если не считать каких-то растений, напоминающих кактусы. Если подходить к острову с севера, то видно, как в море выдается странный утес, по форме сильно напоминающий перевязанную кипу хлопка. За этим утесом к западу есть небольшой заливчик, где наши шлюпки и пристали легко к берегу.

У нас не отняло много времени исследовать остров дюйм за дюймом, но мы не нашли ничего достойного внимания, за одним-единственным исключением. На южном берегу среди груды камней нам попался деревянный обломок, похожий на носовую часть каноэ. На нем сохранились следы резьбы, и капитан Гай уверял даже, что различает изображение черепахи, хотя я не нашел особого сходства. Кроме этого обломка лодки, — если это действительно было так, — мы не обнаружили никаких свидетельств того, что здесь ступала человеческая нога. Вдоль берега виднелось несколько маленьких льдин. Точное расположение этого островка, которому капитан в честь совладельца шхуны дал название острова Беннета, — 82°50' южн. широты и 42°20' зап. долготы.

Итак, мы продвинулись к югу на восемь с лишним градусов дальше, чем кто бы то ни было до нас, а перед нами по-прежнему расстилалось открытое море. По мере продвижения постепенно уменьшалось магнитное склонение и, что еще более удивительно, температура воздуха, а впоследствии и воды неуклонно повышалась. Можно сказать, что погода была даже теплой, и с севера дул устойчивый, но мягкий бриз. Небо, как правило, было безоблачно, и лишь южную часть горизонта иногда, да и то совсем ненадолго застилал легкий туман. Правда, возни-

кли два препятствия, осложняющих наше положение: у нас было на исходе топливо, и среди членов команды появились признаки цинги. Эти обстоятельства заставляли капитана Гая всерьез подумывать о возвращении, о чем он не раз заводил речь. Что до меня, то, будучи убежден, что, следуя избранным курсом, мы вскоре наткнемся на значительную часть суши, а также имея все основания предполагать, что она окажется не голой бесплодной землей, каковая обыкновенно встречается в высоких полярных широтах, я мягко, но настойчиво внушал капитану мысль о целесообразности идти дальше к югу, по крайней мере в течение еще нескольких дней. Никогда еще перед человеком не открывалась такая волнующая возможность разгадать великую тайну Антарктического континента, и, признаюсь, робость и непредприимчивость нашего командира временами вызывали у меня негодование. Я не мог сдержаться и кое-что высказал ему на этот счет, и полагаю, что именно это и побудило его продолжить плавание. Поэтому, хотя я и не могу не скорбеть по поводу крайне горестных событий и кровопролития, которые имеют первопричиной мои настоятельные советы, в то же время я испытываю известное удовлетворение при мысли, что содействовал, пусть косвенно, тому, чтобы открыть науке одну из самых волнующих загадок, которые когда-либо завладевали ее вниманием.

ГЛАВА XVIII

Январь, 18 дня. Утром¹ погода по-прежнему превосходная, и мы продолжаем свой путь к югу. Море совершенно спокойно, с северо-востока дует сравнительно

¹ Понятия «утро» и «вечер», которыми я пользуюсь, чтобы поелику возможно избежать путаницы, не должны быть понимаемы в обычном смысле. В течение уже долгого времени мы не имеем ночи, круглые сутки светит дневной свет. Числа повсюду указаны в соответствии с морским временем, а местонахождение, естественно, определялось по компасу. Хотелось бы также попутно заметить, что я не могу претендовать на безусловную точность дат и координат в первой части изложенного здесь, поскольку я начал вести дневник позже, после событий, о которых идет речь в первой части. Во многих случаях я целиком полагался на память. (Примеч. автора.)

теплый ветерок, температура воды пятьдесят три градуса. Мы снова опустили наш лот и на глубине сто пятьдесят саженей снова обнаружили течение в южном направлении со скоростью одной мили в час. Это постоянное движение воды и ветра к югу вызвало на шхуне разговоры и даже посеяло тревогу, что, как я заметил, произвело впечатление на капитана Гая. Поскольку он был весьма чувствителен к шуткам, мне, однако, удалось в конце концов высмеять его страхи. Склонение компаса совсем незначительно. В течение дня видели несколько больших китов, над судном то и дело проносились альбатросы. Подобрали в море какой-то куст с множеством красных ягод, напоминающих ягоды боярышника, а также труп неизвестного сухопутного животного. В длину оно достигало трех футов, но в высоту было всего лишь шесть дюймов, имело очень короткие ноги и длинные когти на лапах ярко-алого цвета, по виду напоминающие коралл. Туловище его покрыто прямой шелковистой белоснежной шерстью. Хвост фута в полтора длиной суживался к концу, как у крысы. Голова напоминала кошачью, с той только разницей, что уши висели, точно у собаки. Клыки у животного такие же ярко-алые, как и когти.

Январь, 19 дня. Сегодня море приобрело какой-то необыкновенно темный цвет. На 83°20' южн. широты и 43°5' зап. долготы впередсмотрящий снова заметил землю; подойдя поближе, мы увидели, что это — остров, являющийся частью какого-то архипелага. Берега его были обрывистые, а внутренняя часть казалась покрытой лесами, чему мы немало порадовались. Часа четыре спустя мы отдали якорь на глубине десять саженей, на песчаном дне, в лиге от берега, так как высокий прибой и сильная толчея волн то тут, то там вряд ли позволили бы судну подойти ближе к острову. Затем спустили на воду две самые большие шлюпки, и хорошо вооруженный отряд (в котором находились и мы с Петерсом) отправился искать проход в рифах, которые, казалось, опоясывали весь остров. Через некоторое время мы вошли в какой-то залив и тут увидели, как с берега отваливают четыре больших каноэ, наполненные людьми, которые, судя по всему, были вооружены. Мы ждали, пока они подплывут ближе, и так

как каноэ двигались очень быстро, то вскоре они оказались в пределах слышимости. Капитан Гай привязал к веслу белый платок, туземцы тоже остановились и все разом принялись громко тараторить, иногда выкрикивая что-то непонятное. Нам удалось лишь различить восклицания «Анаму-му!» и «Лама-лама!». Туземцы не умолкали по крайней мере полчаса, зато мы получили за это время возможность как следует разглядеть их.

Всего в четырех челнах, которые в длину достигали пятнадцати футов, а в ширину были футов пять, насчитывалось сто десять человек. Ростом дикари не отличались от обычного европейца, но были более крепкого сложения. Кожа у них блестящая, черная, волосы — густые, длинные и курчавые. Одеты они в шкуры неизвестного животного с мягкой и косматой черной шерстью, причем последние прилажены не без умения, мехом внутрь, и лишь у шеи, запястьев и на лодыжках вывернуты наружу. Оружием туземцам служили главным образом дубинки из какого-то темного и, очевидно, тяжелого дерева. Некоторые, правда, имели копья с кремневыми наконечниками, а также пращи. На дне челноков грудой лежали черные камни величиной с большое яйцо.

Когда дикари покончили с приветствиями (было ясно, что их тарабарщина предназначалась именно для этой цели), один из них, по всей видимости вождь, встал на носу своего челна и знаками предложил нам приблизиться. Решив, что осмотрительнее держаться на расстоянии, ибо дикари вчетверо превосходили нас числом, мы сделали вид, что не поняли его знаков. Тогда вождь на своем каноэ двинулся нам навстречу, приказав трем остальным челнам оставаться на месте. Подплывя вплотную к нам, он перепрыгнул на нашу шлюпку и уселся рядом с капитаном Гаем, показывая рукой на шхуну и повторяя: «Анаму-му!» и «Лама-лама!». Мы стали грести к судну, а четыре каноэ на расстоянии следовали за нами.

Едва мы пристали к шхуне, вождь обнаружил все признаки крайнего удивления и восторга: заливаясь бурным смехом, он хлопал в ладоши, ударял себя по ляжкам, стучал в грудь. Его спутники присоединились к веселью, и несколько минут стоял оглушительный гам.

Когда они наконец уgomонились, капитан Гай в качестве меры предосторожности приказал поднять шлюпки наверх и знаками дал понять вождю (его звали, как мы вскоре выяснили, Ту-Уит, то есть Хитроумный), что может принять на борт не более двадцати человек за один раз. Того вполне устроило это условие, и он отдал какие-то распоряжения своим людям, когда приблизилось его каноэ; остальные три держались ярдах в пятидесяти. Два десятка дикарей забрались по трапу на шхуну и принялись шнырять по палубе, с любопытством разглядывая каждый предмет корабельного хозяйства и вообще чувствуя себя как дома.

Не оставалось сомнений, что они никогда не видели белого человека, и наша белая кожа, кажется, вызывала у них отвращение. Шхуну они воспринимали как живое существо и старались держать копыя остриями вверх, судя по всему, чтобы не задеть ее и не причинить боль. Ту-Уит выкинул одну забавную штуку, и матросы немало потешались над ним. Наш кок колот у камбуза дрова и случайно вогнал топор в палубу, оставив порядочную зарубку. Вождь немедленно подбежал к нему, оттолкнул довольно бесцеремонно в сторону и, издавая то ли стоны, то ли вопли, что, очевидно, должно было свидетельствовать о его сочувствии раненой шхуне, принялся гладить зарубку рукой и поливать ее водой из стоявшего поблизости ведра. Мы никак не ожидали такой степени невежества, а я не мог не подумать, что оно отчасти и притворное.

Когда наши гости удовлетворили, насколько возможно, свое любопытство в отношении всего, что находилось на палубе, им позволили спуститься вниз, где их удивление превзошло все границы. Изумление их было слишком глубоко, чтобы выразить его словами, и они бродили в полном молчании, изредка прерываемом негромкими восклицаниями. Затем им показали и разрешили внимательно осмотреть ружья, что, конечно, дало им много пищи для размышлений. Я убежден, что дикари нисколько не догадывались о действительном назначении ружей и принимали их за какие-то священные предметы, видя, как бережно мы обращаемся с ними и как внимательно следим за их движениями, когда они берут их в руки.

При виде пушек изумление их удвоилось. Они приблизились к ним с величайшим почтением и трепетом, но от подробного осмотра отказались. В кают-компании висели два зеркала, и вот тут-то изумление их достигло предела. Ту-Уит первым из них вошел в кают-компанию; он был уже в середине помещения, стоя лицом к одному зеркалу и спиной к другому, прежде чем заметил их. Когда он поднял глаза и увидел свое отражение в зеркале, я подумал, что он сойдет с ума, но когда, резко повернувшись, он бросился вон и тут же вторично увидел себя в зеркале, висящем напротив,— я испугался, что он тут же испустит дух. Никакие уговоры посмотреть еще раз на зеркало не подействовали — он бросился на пол и лежал без движения, закрыв лицо руками, так что мы были вынуждены вынести его на палубу.

Так, группами по двадцать человек, все дикари поочередно побывали на шхуне, и лишь Ту-Уит оставался на борту все это время. Наши гости не предпринимали никаких попыток стянуть что-либо, да и после их отплытия мы не обнаружили ни одной пропажи. Вели они себя вполне дружелюбно. Были, правда, в их поведении кое-какие странности, которые мы никак не могли взять в толк,— например, они ни за что не хотели приближаться к нескольким самым безобидным предметам, таким, как паруса, яйцо, открытая книга или миска с мукой. Мы попытались выяснить, нет ли у них каких-либо предметов для торговли, но они плохо понимали нас. Тем не менее нам удалось узнать, что острова, к большому нашему удивлению, изобилуют большими галапагосскими черепаками, одну из которых мы уже видели в каноэ Ту-Уита. У одного из дикарей в руках было несколько трепангов — он жадно пожирал их в сыром виде. Эти аномалии (если принять во внимание широту, на которой мы находились) вызвали у капитана Гая желание тщательно исследовать остров с целью извлечь выгоду из своих открытий. Что касается меня, то, как мне ни хотелось побольше узнать об этих островах, все же я был настроен без промедления продолжать наше путешествие к югу. Погода стояла чудесная, но сколько она продержится — было неизвестно. Достичь восьмьдесят четвертой параллели, иметь перед

собой и открытое море, и сильное течение к югу, и попутный ветер, и в то же время слышать о намерении остаться здесь дольше, чем это совершенно необходимо для отдыха команды и пополнения запасов топлива и провизии,— было от чего потерять терпение. Я доказывал капитану, что мы можем зайти на острова на обратном пути и даже перезимовать здесь, если нас задержат льды. В конце концов он согласился со мной (я и сам хорошенько не знаю, каким образом приобрел над ним такое влияние), и было решено, что даже если мы обнаружим трепангов, то пробудем здесь неделю, чтобы восстановить силы, а затем, пока есть возможность, двинемся дальше на юг. Мы сделали соответствующие приготовления, провели с помощью Ту-Уита «Джейн» между рифами и встали на якорь в миле от берега у юго-восточной оконечности самого крупного в группе острова, в удобной, окруженной со всех сторон суши бухте глубиной в десять сажений и с черным песчаным дном. В глубине бухты, как нам сообщили, были три источника пресной воды, а кругом стояли леса. Четыре каноэ с туземцами следовали за нами, держась, однако, на почтительном расстоянии. Сам Ту-Уит был на шхуне и, когда мы бросили якорь, пригласил нас спуститься на берег и посетить его деревню в глубине острова. Капитан Гай принял предложение; оставив десяток дикарей в качестве заложников, мы группой из двенадцати человек приготовились сопровождать вождя. Хорошенько вооружившись, мы отнюдь не показывали вида, что не доверяем хозяевам. Во избежание всяких неожиданностей на шхуне выкатили пушки, подняли бордажные сети и приняли другие меры предосторожности. Помощник капитана получил указания не допускать в наше отсутствие ни единого человека на борт шхуны и, если через двенадцать часов мы не вернемся, послать на поиски вокруг острова шлюпку с фальконетом.

Мы шли в глубь острова, и с каждым шагом в нас крепло убеждение, что мы попали в страну, совершенно отличную от тех, где ступала нога цивилизованного человека. Все, что мы видели, было незнакомо и неизвестно нам. Деревья ничем не напоминали растительность тро-

пического, умеренного, суровых полярных поясов и были совершенно не похожи на произрастающие в южных широтах, которые мы уже прошли. Скалы и те по составу, строению и цвету были не такие, как обыкновенно. И, что уж совсем невероятно, даже реки имели так мало общего с реками в других климатических зонах, что мы поначалу не решались отведать здешней воды и вообще не могли поверить, что ее особые свойства — естественного происхождения. Ту-Уит со своими спутниками остановился у небольшого ручейка, пересекавшего нашу тропу,— первого на пути, где мы могли утолить жажду. Вода была какого-то странного вида, и мы не последовали его примеру, предположив, что она загрязнена, и лишь впоследствии мы узнали, что она именно такова на всех островах архипелага. Я затрудняюсь дать точное представление об этой жидкости и уж никак не могу сделать это, не прибегая к пространному описанию. Хотя на наклонных местах она бежала с такой же скоростью, как и простая вода, но не растекалась свободно, как обычно бывает с последней, за исключением тех случаев, когда падала с высоты. И тем не менее остается фактом, что она была столь же мягкая и прозрачная, как и самая чистая известковая вода на свете,— разница была только во внешнем виде. С первого взгляда, и особенно на ровном месте, она по плотности напоминала гуммиарабик, влитый в обычную воду. Но этим далеко не ограничивались ее необыкновенные качества. Она отнюдь не была бесцветна, но не имела и какого-то определенного цвета; она переливалась в движении всеми возможными оттенками пурпура, как переливаются тона у шелка. Это изменение красок так же поразило наше воображение, как и зеркало невежественный ум Ту-Уита. Набрав в посудину воды и дав ей хорошенько отстояться, мы заметили, что она вся расслаивается на множество отчетливо различных струящихся прожилок, причем у каждой был свой определенный оттенок, что они не смешивались и что сила сцепления частиц в той или иной прожилке несравненно больше, чем между отдельными прожилками. Мы провели ножом поперек струй, и они немедленно сомкнулись, как это бывает с обыкновенной водой, а когда вытащили

лезвие, никаких следов не осталось. Если же аккуратно провести ножом между двумя прожилками, то они отделялись друг от друга, и лишь спустя некоторое время сила сцепления сливала их вместе. Это явление было первым звеном в длинной цепи кажущихся чудес, которые волею судеб окружали меня в течение длительного времени.

ГЛАВА XIX

Нам понадобилось почти три часа, чтобы добраться до деревни, ибо располагалась она в добрых девяти милях от моря, а тропа проходила по пересеченной местности. По мере того как мы продвигались в глубь острова, почти у каждого поворота, как бы случайно, к отряду Ту-Уита, состоявшему из ста десяти туземцев, которые находились в челнах, примыкали небольшие группы от двух до шести-семи человек. Мне почудился в этом определенный замысел, который вызвал у меня тревогу, чем я и поделился с капитаном Гаем. Отступать, однако, было поздно, и мы решили, что всего безопаснее делать вид, будто мы вполне доверяемся Ту-Уиту. Поэтому мы продолжали идти плотной группой, не давая дикарям разделить нас и зорко следя за их передвижениями.

Пройдя затем какое-то ущелье с крутыми склонами, мы наконец достигли местности, где, как нам сказали, и располагалось единственное поселение на острове. Когда оно показалось вдали, вождь что-то закричал, повторяя слово «Клок-клок», что означало, очевидно, название деревни или родовое понятие деревни вообще.

Жилища являли собой самое жалкое зрелище и, в отличие от построек даже у самых низших рас, известных человечеству, не имели никакого единообразия. Некоторые, принадлежащие, как мы узнали, «вампу» или «ямпу», то есть старшинам острова, представляли собой дерево, срубленное на высоте фута четыре от земли, с накинутой поверх сучьев большой черной шкурой, свободно свисающей до земли. Под ней и ютились дикари. Другие были устроены из ветвей с засохшей листвой,

прислоненных под углом сорок пять градусов к бесформенным кучам глины, кое-как накиданным до высоты в пять-шесть футов. Третьи были простые ямы, вырытые в земле, также покрытые ветвями, которые туземцы, проникая в жилище, отодвигали в сторону, а потом возвращали на место. Попадались и такие, которые были сооружены на деревьях, среди густых ветвей, причем верхние частично подрубались и пригибались книзу, чтобы сделать лучше укрытие от непогоды. Большинство жилищ представляло собой неглубокие пещеры, выдолбленные в крутых уступах гряды из темного камня, которая с трех сторон окружала деревню. Перед каждой пещерой валялся небольшой валун, которым обитатель, покидая свое жилище, аккуратно заставлял вход,— и я так и не понял, зачем это делается, ибо валун закрывал самое большое лишь треть отверстия.

Деревня — если можно так назвать это жалкое поселение — располагалась в неглубокой долине, попасть в которую можно только с юга, так как доступ с остальных сторон преграждала упомянутая кругая гряда. Посреди долины бежал журчащий ручей с той же волшебной водой, которую я уже описывал. Подле жилищ мы увидели несколько неизвестных животных, по-видимому прирученных. Самые большие из них по строению туловища и головы напоминали обыкновенную нашу свинью, однако имели пушистый хвост и тонкие, как у антилопы, ноги. Передвигались они медленно и неуклюже, и мы ни разу не видели, чтобы они бегали. Были также другие животные, похожие на этих, однако гораздо большей длины и с черной шерстью. Вокруг во множестве копошилась домашняя птица, которая, по всей видимости, и служила туземцам главной пищей. К нашему удивлению мы заметили среди птиц и черных альбатросов, очевидно совершенно одомашненных: временами они летали в море за добычей, но неизменно возвращались, как домой, в деревню. Южный берег острова они использовали для гнездования и размножения. Здесь к ним присоединялись, как это часто случается, их друзья пеликаны, однако последние никоим образом не допускались к жилищам дикарей. В числе другой домашней птицы можно упомянуть

утку, мало чем отличающуюся от той, что водится у нас, черного баклана и какую-то птицу, отдаленно напоминающую сарыча, но не хищную. Остров, по всей видимости, изобиловал рыбой. Во время посещения деревни мы видели много сушеной семги, трески, голубых дельфинов, макрели, скатов, морских угрей, лобанов, морских языков, триглы, мерлузы, камбалы и всяких других разновидностей рыбы. Мы обратили внимание, что большая часть рыбы похожа на ту, что водится у островов Лорда Окленда, то есть на такой низкой широте, как пятьдесят первая параллель. Немало было здесь и галапагосских черепах. Дикие животные нам попадались редко, да и то некрупные и неизвестных пород. Раз или два мы встретили на тропе змей страшного вида, но туземцы не обращали на них никакого внимания, из чего мы заключили, что они не ядовитые.

Когда мы с Ту-Уитом и его отрядом приблизились к деревне, навстречу нам с громкими криками, в которых мы различили неизменные «Анаму-му!» и «Лама-лама!», высыпала огромная толпа. Нас удивило, что, за одним-двумя исключениями, обитатели деревни были совершенно голые, а шкуры носили только те, которые находились в челнах. В их же распоряжении было, очевидно, и все оружие, ибо встречавшие нас были безоружны. В толпе было очень много детей и женщин, причем последние были не лишены своеобразной прелести; высокие, стройные, с хорошей фигурой, с изящной и свободной осанкой, чего не встретишь у женщин в цивилизованном обществе. Внешность их портили губы, толстые и малоподвижные, как и у мужчин, так что зубы не обнажались даже при улыбке. Волосы у них, однако, были мягче, чем у мужчин. В толпе голых обитателей деревни выделялось человек десять, которые были одеты, как и воины Ту-Уита, в черные шкуры и вооружены копьями и увесистыми дубинками. Судя по всему, это были влиятельные люди, к которым неизменно обращались с почтительным титулом «вампу». Они-то и жили в дворцах из черных шкур. Обиталище Ту-Уита располагалось в центре деревни, было просторнее и устроено лучше, чем другие жилища такого же рода. Деревья, служившие опоркой, были срублены на рас-

стоянии футов двенадцати от комля, а пониже оставлено несколько ветвей в качестве распорок для крыши, которая состояла из четырех скрепленных деревянными иглами больших шкур, которые держались внизу кольями, вбитыми в землю. Сухие листья застилали ковром пол.

Нас торжественно провели в эту хижину, а за нами втиснулись в огромном количестве и дикари. Ту-Уит уселся прямо на кучу листьев и знаком предложил последовать его примеру, что мы и вынуждены были сделать, оказавшись в весьма невыгодном, если не критическом, положении. Мы, двенадцать человек, сидели на земле, а вокруг на корточках расположились человек до сорока дикарей, сгрудившись так, что в случае необходимости мы не смогли бы ни пустить в ход оружие, ни даже подняться на ноги. Теснота была невероятная не только в хижине, но и снаружи, где собралось, пожалуй, все население острова, и только сердитые оклики Ту-Уита помешали толпе затоптать нас до смерти. Главным залогом нашей безопасности было присутствие среди нас Ту-Уита, и мы решили держаться как можно ближе к нему, дабы иметь возможность сделать роковой выбор, покончив с ним на месте при первом же проявлении враждебного умысла.

После должной суматохи и шума установилась сравнительная тишина, и вождь обратился к нам с пространной речью, напоминающей произнесенную им с каноэ, с той только разницей, что восклицание «Анаму-му!» повторялось немного чаще и громче, чем «Лама-лама!». Мы выслушали его в глубоком молчании до конца, а затем капитан Гай держал ответную речь, заверив вождя в неизменной преданности и расположении и завершив ее тем, что сделал хозяину презент — несколько ниток голубых бус и нож. При виде бус правитель, нам на удивление, презрительно вздернул голову, зато нож доставил ему истинное удовольствие, и он тут же распорядился насчет обеда. Еду подали в хижину через головы всех собравшихся — она представляла собой еще дымящиеся внутренности неизвестного животного, — быть может, одной из тех тонконогих свиней, которых мы видели, подходя к деревне. Заметив, что мы не знаем, как приступить,

он, подавая нам пример, принялся пожирать ярд за ярдом соблазнительно разложенные кишки,— мы решительно не могли выдержать это зрелище и обнаружили явные позывы к рвоте, каковые вызвали у его величества удивление, почти равное тому, какое он обнаружил, поглядев в зеркало. Как бы то ни было, мы наотрез отказались от предложенных деликатесов, сославшись на отсутствие аппетита, поскольку совсем недавно имели плотный *dejeuner*¹.

Когда правитель покончил с едой, мы начали расспросы самыми хитроумными способами, какие приходили в голову, пытаясь выяснить, какие товары имеются на острове и могли бы мы рассчитывать на выгодную сделку. В конце концов вождь как будто понял, чего мы от него добиваемся, и вызвался сопровождать нас к той части побережья, где, по его уверениям, в изобилии водятся трепанги — туг он показал на них. Мы были рады подвернувшемуся случаю вырваться из толпы и изъявили готовность отправиться немедленно. Мы вышли из хижины и, сопровождаемые всеми обитателями деревни, последовали за вождем на юго-восточную оконечность острова, недалеко от залива, где стояла на якоре наша шхуна. Мы прождали с полчаса, пока дикари не перегнали сюда четверку челнов. Наша группа заняла места в одном из них, и нас повезли вдоль гряды рифов, о которых я упоминал, а потом дальше, к следующей гряде, где мы и увидели такое количество трепангов, какого не видели старейшие среди нас мореходы даже в тех, более низких широтах, какие особенно знамениты этим промыслом. Мы пробыли здесь ровно столько, сколько потребовалось, чтобы убедиться, что при желании этой ценнейшей добычей можно без труда загрузить дюжину судов. Затем поднялись на шхуну и расстались с Ту-Уитом, взяв с него обещание в течение суток доставить нам уток и галапагосских черепах, сколько поднимут его каноэ. Во время вылавки на остров мы не заметили в поведении дикарей ничего такого, что могло бы вызвать

¹ Завтрак (фр.).

подозрения, за единственным, пожалуй, исключением — той систематичности, с какой пополнялся их отряд по пути в деревню.

ГЛАВА XX

Вождь дикарей оказался верным своему слову, и скоро мы имели обильный запас свежей провизии. Черепаха была на редкость вкусна, а утка, с ее нежным и сочным мясом, превосходила все лучшие виды нашей дичи. Кроме того, дикари, когда мы втолковали им, что нам нужно еще, привезли много коричневого сельдерея и лука, а также полный челн свежей и вяленой рыбы. Сельдерей был настоящим лакомством, а лук — незаменимым средством для тех матросов, у которых появились симптомы цинги. В самое короткое время у нас совсем не осталось больных. Запаслись мы вдоволь и другими свежими продуктами, среди которых можно упомянуть какую-то разновидность моллюска, напоминающего формой мидию, но имеющего вкус устрицы, креветки, яйца альбатроса и какой-то другой птицы с темной скорлупой. Помимо всего прочего мы взяли на борт порядочный запас мяса той самой свиньи, о которой я упоминал. Большинству оно показалось вполне съедобным, но лично я решил, что оно отдает рыбой и вообще невкусно. Взамен мы дали туземцам бусы, медные безделушки, гвозди, ножи, куски красной материи, так что они остались вполне довольны сделкой. На берегу под самыми дулами наших пушек мы открыли настоящий рынок, торговля шла, к взаимному удовольствию, бойко и без особого беспорядка, чего мы никак не ожидали, судя по поведению дикарей в деревне Клок-клок.

Итак, несколько дней дела шли вполне любовно, группы туземцев часто бывали на шхуне, а группы наших людей сходили на берег, совершая длинные прогулки в глубь острова и не испытывая ни малейших неприятностей. Капитан Гай понял, что благодаря дружескому расположению островитян и готовности всячески помочь нам в сборе трепангов он без труда загрузит

ими шхуну, и потому решил вступить в переговоры с Ту-Уитом относительно постройки подходящих помещений для заготовления товара, а также найма его самого и его соплеменников для собирания как можно большего количества моллюска, он же тем временем воспользуется хорошей погодой и продолжит плавание к полюсу. Когда он изложил этот план Ту-Уиту, тот, казалось, был готов прийти к соглашению. Стороны, к обоюдному удовольствию, заключили сделку, договорившись, что после необходимой подготовки, то есть выбора и расчистки хорошего участка, возведения части строений и другой работы, в которой потребуются участие всей команды, шхуна проследует по намеченному маршруту, а на острове останутся трое наших людей, которые будут надзирать за постройкой и обучать туземцев сушке трепангов. Вознаграждение дикарям зависело от их старательности в наше отсутствие. За несколько пикулей высушенных трепангов, которые будут готовы к нашему возвращению, им полагалось получить определенное количество бус, ножей, красной материи и тому подобных товаров.

Поскольку читателям, может быть, небезынтересно узнать об этом ценном животном и способе его приготовления для продажи, вполне уместно сообщить здесь соответствующие сведения. Нижеследующее обстоятельное изложение предмета заимствовано из недавнего отчета о пугешествии в Южный океан:

«Этот моллюск, обитающий в Индийском океане, известен под промысловым французским названием *voushe de mer* (морское лакомство). Если я не ошибаюсь, знаменитый Кювье называет его *gasteropoda pulmonifera*. Он в изобилии водится и на побережьях тихоокеанских островов, где его собирают специально для китайских купцов, у которых он идет по очень высокой цене, не уступающей, пожалуй, стоимости съедобных птичьих гнезд, о которых так много нынче говорят и которые, очевидно, как раз и делаются из студенистого вещества, доставляемого некоторыми ласточками из тела этих своеобразных животных. У них нет ни раковины, ни ног, вообще никаких конечностей, а только ротовое и заднепроходное отверстия; посредством гибких колец, как у гусениц или

червей, они заползают в мелководье, где во время отлива их и настигают ласточки; вонзая свой острый клюв в их нежное тельце, они вытягивают клейкое волокнистое вещество, которое, засыхая, образует прочные стенки гнезд. Отсюда и название *gasteropoda pulmonifera*.

Эти моллюски имеют продолговатую форму и бывают самых разных размеров — от трех до восемнадцати дюймов в длину, а я видел несколько особей, которые достигали двух футов. В поперечнике они почти круглые, от одного до восьми дюймов толщиной, но немного приплюснутые с одной стороны, той самой, которая обращена ко дну. Они собираются в неглубоких местах в определенное время года — очевидно, для размножения, так как часто их находят парами. Когда солнце сильно нагревает воду, они движутся к берегу и нередко заползают на такие мелкие места, что при отливе остаются на суше под лучами солнца. Мы ни разу не видели на мелководье потомства этих моллюсков, — наверное, его оставляют на глубине, откуда выползают только взрослые особи. Питаются они преимущественно теми видами зоофитов, из которых образуются кораллы.

Трепангов собирают обычно на глубине трех-четырех футов. На берегу их надрезают с одного конца ножом (величина надреза зависит от размера моллюска) и через это отверстие выдавливают внутренности, которые ничем почти не отличаются от внутренностей других низших обитателей морских глубин. Затем их промывают, проваривают при определенной температуре, которая не должна быть ни слишком высокой, ни слишком низкой, зарывают на четыре часа в землю, снова кипятят в течение недолгого времени, после чего сушат на огне или на солнце. Особенно ценятся те, что проявлены на солнце, но за то время, которое требуется, чтобы приготовить один пикуль ($133\frac{1}{3}$ фунта) на солнце, на огне можно приготовить тридцать пикулей. Хорошо проявленные моллюски могут безболезненно сохраняться в сухом месте два-три года, правда, раз в несколько месяцев, скажем, четырежды в год, необходимо следить, не завелась ли там сырость.

Как я уже сказал, китайцы считают трепангов особым деликатесом, полагая, что он самым чудесным образом придает силы, обновляет организм и восстанавливает энергию при половом истощении. В Кантоне первый сорт продается по девятидесяти долларам за пикуль, второй сорт стоит семьдесят пять долларов, третий сорт — пятьдесят, четвертый — тридцать, пятый — двадцать, шестой — двенадцать, седьмой — восемь и восьмой сорт — четыре доллара за пикуль. Небольшие партии этого товара нередко отправляют в Манилу, Сингапур и Батавию».

Соглашение, таким образом, вступило в силу, и мы немедленно сгрузили на берег все необходимое для расчистки участка и возведения построек. Около восточного берега залива, где было достаточно леса и воды, и на сравнительно небольшом расстоянии от главных рифов, где было намечено собирать трепангов, была выбрана большая ровная площадка. Затем все усердно принялись за работу и вскорости, к величайшему удивлению дикарей, свалили несколько больших деревьев, быстро обтесали бревна для каркасов, и через два-три дня постройки выросли уже настолько, что мы спокойно могли поручить закончить эту работу трем матросам, которые добровольно вызвались остаться на острове. Это были Джон Карсон, Элфред Харрис и Петерсон, все трое, если не ошибаюсь, уроженцы Лондона.

К концу месяца все было готово для отплытия. Мы, правда, согласились нанести прощальный визит в деревню, и Ту-Уит так упорно настаивал на том, чтобы мы сдержали свое обещание, что нам показалось неблагоприятным рисковать, оскорбляя его своим отказом. Убежден, что в те дни ни у кого из нас не было ни тени сомнения в добропорядочности дикарей. Они были неизменно обходительны, охотно помогали нам в работе, предлагали всякую всячину, причем часто бесплатно, и, с другой стороны, не стянули у нас ни единой вещицы, хотя по бурным проявлениям восторга, с каким они принимали наши подарки, можно судить, как высоко они ценили имеющиеся у нас товары. Особой услужливостью во всех отношениях отличались женщины, и вообще мы были бы самыми неблагодарными существами на свете, если бы допустили

мысль о вероломстве людей, которые так хорошо относились к нам. Однако потребовалось совсем немного времени, чтобы понять, что за этим внешне дружеским расположением таился глубоко продуманный план нашего уничтожения и что островитяне, которые столь высоко стояли в нашем мнении, оказались самыми жестокими, коварными и кровожадными негодяями, какие когда-либо окскверняли лик нашей планеты.

Первого февраля мы сошли на берег, чтобы отправиться в деревню. Хотя, как уже было сказано, мы не питали ни малейшего подозрения в отношении туземцев, мы отнюдь не пренебрегли самыми необходимыми мерами предосторожности. На шхуне осталось шесть человек, и им были даны указания не покидать палубы и ни под каким видом не допускать приближения туземцев к судну. Мы подняли абордажные сети, забили в пушки двойные заряды картечи, зарядили фальконеты мушкетными пулями. Шхуна стояла с якорем на панере (якорный канат был выбран до предела) в миле от берега, так что ни единый челн не мог подойти незамеченным и не попасть немедленно в поле обстрела наших фальконетов.

Без шести матросов, оставленных на шхуне, наша партия насчитывала тридцать два человека. Мы были вооружены до зубов ружьями, пистолетами и тесаками, у каждого, кроме того, был длинный морской нож, напоминающий охотничий, столь распространенный у нас в западных и южных штатах. На берегу нас встретили около сотни воинов в черных шкурах, чтобы сопровождать нас в деревню. Мы не без удивления заметили, что они были безоружны, и на наш вопрос Ту-Уит коротко ответил, что «Матти нон уи па пи си», что означало: там, где все братья, зачем оружие. Мы приняли его слова за чистую монету и отправились в путь.

Мы миновали источник и ручей, о которых я упоминал, и вошли в узкое ущелье, ведущее сквозь гряду скал из мыльного камня, окружающую деревню. Ущелье было неровное, каменистое, так что мы с трудом пробрались сквозь него во время нашего первого посещения Клок-клок. Общая его длина — полторы-две мили; очевидно, в стародавние времена это было ложе огромного потока, оно

шло немислимыми изломами между утесами, так что чуть ли не каждые двадцать ярдов тропа круто поворачивала в сторону. Почти отвесные склоны на всем протяжении наверняка достигали семидесяти — восьмидесяти футов по вертикали, а в иных местах вздымались до головокружительной высоты, так заслоняя небо, что на тропу едва проникал дневной свет. Ширина ущелья была около сорока футов, но временами резко уменьшалась, и там могло пройти лишь пять-шесть человек в ряд. Короче говоря, на целом свете не найти было более удобного места для устройства засады, и, входя в ущелье, мы, естественно, тщательно осмотрели наше оружие. Когда я думаю о том, какую чудовищную глупость мы совершили, приходится только удивляться, как мы вообще рискнули отдаться во власть дикарей, позволив им во время продвижения по ущелью идти и впереди и позади нас. Тем не менее мы слепо подчинились этому порядку, доверчиво полагаясь на нашу численность, на то, что Ту-Уит и его люди не были вооружены, на действенность нашего огнестрельного оружия, еще неизвестного дикарям, и главным образом на то, что в течение долгого времени эти гнусные негодяи выставляли себя нашими друзьями. Пятеро или шестеро из них шли впереди, словно показывая дорогу и с нарочитым усердием расчищая тропу от больших камней и веток. Затем следовала наша группа. Мы шли плотным строем, следя за тем, чтобы нас не разъединили. Соблюдая необыкновенный порядок и торжественность, шествие замыкал основной отряд дикарей.

Дирк Петерс, матрос Уилсон Аллен и я шли справа от наших товарищей, рассматривая необычайное залегание пород в нависающем склоне. Наше внимание привлекла какая-то расселина, достаточно широкая, чтобы пробраться одному человеку, и уходившая прямо футов на восемнадцать — двадцать вглубь, а затем поворачивающая налево. Высота ее, насколько мы могли судить со своего места, была, наверное, футов шестьдесят или семьдесят. Из трещин на склонах расселины торчало несколько кустов с плодами, напоминающими наши лесные орехи. Мне захотелось отведать их — я быстро пролез в расселину, сорвал целую горсть, но, повернувшись, увидел, что Пе-

терс и Аллен последовали моему примеру. Я сказал, что им надо вернуться, потому что двоим здесь не разойтись, а орехов хватит, чтобы попробовать всем. Они стали выбираться наружу, Аллен был уже у края расселины, как вдруг я почувствовал сильнейший, ни с чем не сравнимый толчок, внушивший мне смутную мысль, — если я вообще успел о чем-то подумать в тот момент, — что земной шар раскололся и настал конец света.

ГЛАВА XXI

Когда ко мне вернулась способность соображать, я понял, что лежу, задыхаясь, в крошечной тьме, заваленной землей, которая продолжает сыпаться со всех сторон, грозя похоронить меня заживо. Ужаснувшись, я попытался встать на ноги, что мне в конце концов удалось. Я замер на несколько секунд, стараясь сообразить, где я и что со мной произошло. Внезапно поблизости раздалась глухая стона, а затем и едва различимый голос Петерса, молящий о помощи. Я протиснулся на шаг или два вперед и, споткнувшись, свалился прямо на моего спутника, засыпанного землей по пояс, так что он никак не мог выбраться. Собрав все силы, я раскидал землю и помог ему освободиться.

Когда мы оправились от неожиданности и страха и смогли поразмыслить над случившимся, то оба пришли к выводу, что стены расселины, куда мы проникли, обрушились — то ли в результате подземного толчка, то ли под тяжестью собственного веса — и что мы погибли, погребены заживо. Охваченные смертельным ужасом, мы на какое-то время слабовольно поддались отчаянию, которое трудно понять тем, кто не оказывался в подобном положении. Я твердо убежден, что никакое бедствие, выпадающее человеку на его жизненном пути, не причиняет таких безысходных душевных и физических мук, как случай с нами — погребение заживо. Крошечный мрак, окружающий жертву, невозможность вздохнуть полной грудью, удушающие запахи сырой земли в совокупности со страшным сознанием, что находишься за гранью вся-

кой надежды, что ты мертвец, засыпанный в отведенной тебе могиле, — все это вселяет в душу такую жуть, какую не вынести, не постичь умом.

В конце концов Петерс предложил определить размеры катастрофы и исследовать нашу темницу; не исключено, заметил он, что осталось какое-нибудь отверстие, сквозь которое можно выбраться на свободу. Я ухватился за эту ниточку надежды и, напрягая все силы, попытался пробиться сквозь осыпающуюся кругом землю. И действительно, едва я сделал один-единственный шаг, как заметил тусклый свет, означавший, что, уж во всяком случае, мы не погибнем от удушья. Это воодушевило нас и позволило надеяться на лучшее. Когда мы перебрались через груды земли и камней, которая преграждала нам путь к свету, стало легче двигаться и дышать: мы сильно мучились от недостатка воздуха. Скоро мы могли уже кое-как различать все вокруг и обнаружили, что находимся у конца расселины, там, где она поворачивала налево. Еще несколько усилий, и мы, достигнув поворота, увидели, к неопишуемой нашей радости, какую-то трещину, тянущуюся высоко вверх под углом градусов сорок пять, а местами и круче. Мы не могли разглядеть края трещины, но, поскольку сквозь нее проникало достаточно света, мы уже почти не сомневались, что наверху — если мы сумеем туда подняться — имеется выход наружу.

И только теперь я вспомнил, что в расселину мы вошли втроем и ничего не знаем о судьбе Аллена. Мы немедленно вернулись за ним. После долгих поисков, сопряженных с опасностью обвала, Петерс крикнул, что нащупал ногу нашего спутника, но он так завален землей и камнями, что вытащить его невозможно. Я убедился, что так оно и есть и жизнь давно покинула Аллена. Исполненные печали, мы вынуждены были оставить тело нашего товарища и вернуться к повороту.

Трещина была достаточно широка, чтобы протиснуться одному человеку, но вскарабкаться наверх мы не смогли и после нескольких безуспешных попыток опять было поддались отчаянию. Я уже говорил, что скалы, между которыми пролегалo ущелье, были из какой-то мягкой горной породы, напоминающей мыльный камень. Поэто-

му стенки нашей трещины были настолько скользкие, особенно если попадалась сырость, что мы едва могли поставить ногу даже в сравнительно ровных местах; когда же она шла круто, почти вертикально, подъем казался вообще немислимим. Но отчаяние иногда придает мужества, и мы, вспомнив о тесаках, принялись вырубать ими ступени в мягкой скале; с риском для жизни, цепляясь за куски твердого сланца, кое-где торчащие из породы, мы в конце концов вскарабкались на плоский уступ, откуда был виден клочок голубого неба в конце густо заросшей лесом лощины. Оглядываясь назад, теперь уже не без любопытства, на проделанный нами путь, мы увидели, что трещина совсем свежая, и сделали вывод, что она образовалась от того самого толчка, который так неожиданно настиг нас. Поскольку мы совершенно обессилели, так что едва могли стоять или разговаривать, Петерс предложил позвать наших товарищей на помощь выстрелами из пистолетов, которые еще висели у нас за поясом, хотя ружья и сабли мы потеряли в земле на дне пропасти. Последующие события показали, что, прибегни мы тогда к помощи оружия, нам пришлось бы горько раскаяться; к счастью, у меня возникла тень подозрения, что дело нечисто, и мы воздержались от выстрелов, чтобы не выдать дикарям наше местонахождение.

После часового отдыха мы двинулись по лощине и скоро услышали оглушительные крики. Наконец мы выбрались на поверхность — до сих пор наш путь пролегал внизу, под навесом из крутых откосов и свисающей листвы. Мы осторожно прокрались к узкой горловине, откуда вся окружающая местность была видна как на ладони, и в тот же момент буквально с первого взгляда поняли страшную причину обвала.

Площадка, с которой мы вели наблюдения, располагалась неподалеку от самой высокой вершины в горной цепи. Слева от нас, футах в пятидесяти, тянулось ущелье, которым наш отряд шел в деревню. По меньшей мере на добрую сотню ярдов дно его было засыпано гигантской, в миллион тонн, беспорядочной массой земли и камня. Способ, каким дикари устроили этот обвал, был столь же прост, сколь и очевиден, ибо негодяи оставили достовер-

ные следы своего чудовищного злодеяния. В нескольких местах вдоль восточного края пропасти (мы находились на западном) торчали вбитые в землю деревянные колья. В этих местах почва была нетронута, зато на всем протяжении стенки, обнажившейся после обвала, виднелись углубления, как после бура: очевидно, тут были вбиты такие же колья, какие мы видели,— они располагались на расстоянии ярда друг от друга на протяжении трехсот футов и отстояли от края обрыва футов на десять. На оставшихся кольях болтались веревки из виноградной лозы — наверняка такие же были привязаны к другим кольям. Я уже упоминал о необыкновенной структуре этих гор, а приведенное выше описание глубокой и узкой трещины, благодаря которой нам удалось избежать погребения заживо, даст дополнительное понятие о ней. Скалы состояли из множества как бы наложенных друг на друга пластов, которые раскалывались по вертикали при малейшем естественном толчке. Того же можно достичь сравнительно небольшим усилием.

Для осуществления своих коварных целей дикари и воспользовались этой особенностью. Вколовтив цепочку колеев, они частично разрушили несколько слоев почвы, вероятно, на глубину одного-двух футов, а затем у каждого столба поставили по человеку, чтобы по сигналу тащить веревки (привязанные к самым верхушкам и тянущиеся прочь от обрыва); благодаря такому устройству, действующему как рычаг, создалась сила, достаточная, чтобы отколоть верхнюю часть обрыва и сбросить вниз, в ущелье. Судьба наших несчастных спутников была очевидна. Только нам удалось избежать гибельной катастрофы. Мы были единственные белые люди на острове, оставшиеся в живых.

ГЛАВА XXII

Положение наше было едва ли лучше, чем тогда, когда мы думали, что нам не выбраться из-под обвала. Нас ожидала либо смерть от руки дикарей, либо томительный плен. Правда, мы могли какое-то время скрываться

среди труднодоступных гор, а в крайнем случае и в той расселине, из которой только что выбрались, но, когда наступит долгая полярная зима, нам все равно не миновать гибели от холода и голода или в конечном счете нас обнаружат, когда мы попытаемся обеспечить себя самым необходимым.

Равнина буквально кишела дикарями, а с островов, лежащих к югу, на примитивных плотках прибывали все новые и новые толпы, жаждущие, очевидно, участвовать в захвате шхуны и дележе добычи. А «Джейн Гай» спокойно стояла на якоре, и люди на борту, наверное, не подозревали об ожидающей их опасности. Как нам хотелось оказаться в тот момент с ними! Ведь мы могли либо содействовать нашему общему спасению, либо погибнуть в бою, защищаясь от нападения. Но, увы, у нас не было никакой возможности предупредить их, не подвергнув себя немедленной гибели, а польза от нашего предупреждения весьма и весьма сомнительна. Выстрели мы из пистолета, они, разумеется, поняли бы, что случилось что-то неладное, но все равно не узнали бы, что единственная их возможность спастись в том, чтобы тотчас же выйти в открытое море, что они уже не связаны никакими понятиями чести, что их товарищей нет более в живых. Услышав выстрел, они не сумели бы сделать ничего сверх того, что уже сделано, дабы лучше отразить готовящееся нападение врага. Итак, наш выстрел им не принес бы пользы, а нам причинил бы вред, и по зрелом размышлении мы отказались от этой затеи.

Следующим нашим побуждением было пробиться к морю, захватить один из челнов, стоящих в заливе, и плыть к шхуне. Но скоро стала очевидной полная невозможность этого отчаянного предприятия. Окрестности, как я уже сказал, буквально кишели дикарями, которые прятались в кустах и среди скал, чтобы остаться незамеченными с судна. В непосредственной близости от нас, преграждая единственную дорогу, которой мы могли попасть на берег в нужном месте, расположился весь отряд воинов в черных шкурах во главе с самим Ту-Уитом — они, по-видимому, ожидали подкреплений, чтобы начать приступ нашей «Джейн Гай». Да и в каноэ, стоящих у

берега, находились туземцы, правда, безоружные, но оружие наверняка было где-то припрятано. Поэтому мы были вынуждены не покидать наше укрытие, оставаясь простыми наблюдателями бойни, которая вскорости и разыгралась.

Через полчаса с южной стороны залива показалось шестьдесят — семьдесят не то плотов, снабженных веслами, не то больших плоскодонных лодок, набитых дикарями. У них, по-видимому, не было другого оружия, кроме коротких дубинок и запаса камней. Затем немедленно с противоположной стороны появился другой, более многочисленный отряд, с тем же оружием. Одновременно из кустов в глубине залива тоже высыпали дикари, быстро расселись в четырех каноэ и отвалили от берега. Вся операция заняла столько же времени, сколько я писал эти строки, и в мгновение ока «Джейн Гай» оказалась окруженной головорезами, решившими во что бы то ни стало захватить ее.

Не было ни малейшего сомнения, что им удастся это сделать. С какой бы отчаянной решимостью ни защищались те шестеро, они не могли выдержать бой при таком неравном соотношении сил, не успели бы даже управиться с пушками. Я не знал, будут ли они вообще оказывать сопротивление, но ошибся: они быстро выбрали якорную цепь и развернули шхуну правым бортом, чтобы встретить огнем каноэ, которые к этому моменту были уже на расстоянии пистолетного выстрела, а плоты — в четверти мили с наветренной стороны. Неизвестно по какой причине, скорее всего из-за нерешительности наших несчастных товарищей, понявших, в какое безвыходное положение они попали, пушечный залп был совершенно безрезультатным. Ни один челн не был поврежден, ни единый дикарь не ранен: картечь ложилась с недолетом и рикошетом перелетала у них над головами. Их поразил только неожиданный грохот и дым, которого было так много, что я даже подумал, не откажутся ли они от своего намерения и не вернутся ли на берег. Впрочем, островитяне так и поступили бы, если бы на шхуне догадались за бортовым залпом сразу же сделать залп из ружей: поскольку челны были совсем рядом, он наверняка произвел

бы какие-нибудь опустошения в рядах туземцев, достаточные хотя бы для того, чтобы остановить их продвижение, а наши тем временем успели бы дать бортовой залп по плотам. Вместо этого они сразу же кинулись на левый борт, чтобы встретить огнем плоты, дав тем самым туземцам в каноэ возможность оправиться от паники и убедиться, что потеря у них нет.

Пушечный залп с левого борта достиг цели. Семь или восемь плотов были разнесены в щепки и на месте убито три-четыре десятка дикарей, кроме того, более сотни были сброшены в воду, многие из них жестоко изувечены. Остальные, напуганные до потери сознания, начали быстро отступать, нисколько не заботясь о своих раненых, которые барахтались в воде и тут и там, оглашая воздух воплями о помощи. Успех пришел, однако, слишком поздно, наши храбрые товарищи уже не могли спастись. Сотни полторы дикарей из челнов были уже на палубе, причем многим удалось вскарабкаться наверх по цепям и веревочным лестницам еще до того, как матросы успели поднести запал к орудиям на левом борту. Ничто уже не могло противостоять слепой ярости дикарей. В одно мгновение наши люди были сбиты с ног, оглушены, растоптаны, разорваны на куски.

Видя все это, дикари на плотках преодолели свой страх и налетели тучей, чтобы не упустить своей доли добычи. Через пять минут красавица «Джейн Гай» являла из-за неистовых бесчинств поистине жалкое зрелище. Палуба была разворочена, канаты, паруса, предметы корабельного хозяйства — все сгнуло как по волшебству. Затем, подталкивая шхуну с кормы, подтягивая канатами с челнов, тысячами плывя по бокам и подпирая борты, дикари наконец вынесли «Джейн» на берег (якорная цепь давно соскользнула в воду) как дань Ту-Уиту, который во время сражения, как и подобает опытному военачальнику, занял наблюдательный пост на приличном расстоянии в горах, но теперь, когда, к его удовольствию, была одержана полная победа, перестал чиниться и вместе со своими приближенными кинулся бегом вниз за добычей.

Теперь, когда Ту-Уит спустился на берег, мы могли выбраться из нашего убежища и сделать небольшую вы-

лазку. Ярдах в пятидесяти от выхода из расселины бил небольшой родничок, и мы утолили мучившую нас жажду. Неподалеку от родничка росло несколько кустов орешника, о котором я говорил выше. Попробовав орехов, мы нашли их вполне съедобными и напоминающими по вкусу обычный фундук. Мы немедленно наполнили ими наши шляпы, спрятали их в расселине и снова принялись собирать орехи. В этот момент в кустах раздался шорох, едва не заставивший нас отступить к нашему убежищу, и из ветвей медленно, словно бы с усилием, вылетела большая черная птица из породы выпей. Я замер, застигнутый врасплох, но у Петерса хватило сообразительности тут же кинуться вперед и схватить ее за шею. Она отчаянно билась и пронзительно кричала, и мы уже хотели отпустить ее, чтобы не привлечь внимания дикарей, которые могли оказаться поблизости. Последовал, однако, удар тесаком, птица упала на землю, и мы оттащили ее в расселину, поздравляя себя с добычей, которой при всех обстоятельствах могли питаться целую неделю. Затем мы снова отправились на вылазку, рискнув на этот раз отойти на порядочное расстояние вниз по южному склону, но не нашли ничего, что годилось бы в пищу. Тогда мы набрали сухих веток и быстро вернулись в свое убежище, чтобы нас не заметила большая толпа дикарей, которая с награбленным на шхуне добром возвращалась ущельем в деревню. Следующей нашей заботой было как можно лучше скрыть свое убежище, для чего мы прикрыли ветками ту самую дыру, сквозь которую увидели кусок неба, когда выбрались из трещины на уступ, оставив только небольшое отверстие, чтобы наблюдать за заливом без риска быть замеченными снизу. Мы были вполне удовлетворены своей работой: теперь нас никто не увидит, пока мы будем отсиживаться в расселине и не покажемся на склоне горы. Никаких следов, что здесь кто-нибудь бывал раньше, мы не обнаружили. Вместе с тем, когда мы еще раз взвесили предположение, что трещина, по которой мы пролезли наверх, образовалась в результате обвала и другого пути сюда нет, наша радость, что мы находимся в надежном укрытии, была омрачена сомнением, найдем ли мы вообще способ спуститься вниз.

Поэтому при первом удобном случае нужно было тщательно исследовать всю вершину. Пока же мы решили понаблюдать за дикарями через наше отверстие.

Они уже совершенно разбили шхуну и готовились поджечь остов. Через некоторое время из главного люка повалили густые клубы дыма, а затем из бака вырвалось огромное пламя. Сразу же загорелись мачты, оснастка, остатки парусов, и огонь быстро распространился по палубам. Несмотря на это, множество дикарей по-прежнему пытались сбить увесистыми камнями, топорами и пушечными ядрами металлические части с корпуса. Всего же в непосредственной близости от судна — на берегу, в челнах и на плотках — собралось не менее десяти тысяч туземцев, не считая толп, которые, нагрузившись трофеями, отправились в глубь острова или переправились на другие острова. Теперь должна была последовать развязка, и мы не ошиблись. Сначала раздался сильный толчок (который мы ощутили в своем укрытии так отчетливо, как будто через нас пропустили заряд электричества), но иных видимых признаков взрыва не было. Перепуганные дикари прекратили галдеть и суетиться. С минуту они выжидали, но едва только снова приступили было к грабежу, как из палубы выбилось облако дыма, тяжелого и черного, словно грозовая туча, потом из его недр на добрые четверть мили вверх взвился огненный столб, который тут же распространился полукругом, затем в одно мгновение весь воздух вокруг, как по волшебству, усеялся кусками дерева, железа и человеческих тел, и, наконец, раздался такой мощный взрыв, что нас тотчас же сбilo с ног; в горах прокатилось громкое эхо, а с неба посыпал густой дождь мелких обломков.

Взрыв произвел опустошение гораздо большее, чем мы ожидали; дикари по справедливости пожинали плоды своего вероломства. Наверное, целая тысяча погибла при взрыве и столько же было изувечено. Весь залив был буквально усеян утопающими, тем, кто был на берегу, пришлось еще хуже. Дикари пришли в ужас от того, как внезапно и плачевно кончилась их затея, и даже не пытались помочь друг другу. И тут мы заметили какую-то странную перемену в их поведении. После полнейшего

оцепенения их охватило вдруг крайнее возбуждение — они как безумные забегали взад и вперед по берегу с оглушительными криками: «Текели-ли! Текели-ли!» На лицах у них были написаны ужас, ярость, удивление.

Затем группа туземцев кинулась в горы и скоро вернулась с деревянными кольями в руках. Они подошли туда, где собралось больше всего народу, толпа расступилась, и мы могли увидеть то, что вызвало эту неистовую неразбериху. На земле лежало что-то белое, но мы не могли сразу разглядеть, что именно. Наконец мы поняли, что это было чучело того самого неизвестного животного с ярко-алыми клыками и когтями, которое мы подобрали в море 18 января. Тогда капитан Гай распорядился снять с него шкуру, чтобы набить чучело и увезти в Англию. Помню, как он давал какие-то указания на этот счет как раз перед тем, как мы прибыли на остров, и чучело принесли к нему в каюту и положили в сундук. Взрывом чучело выбросило на берег, однако мы не понимали, почему оно вызвало такой переполох среди дикарей. Они окружили чучело со всех сторон, хотя никто не осмеливался подойти поближе. Потом туземцы, бегавшие за кольями, обнесли животное частоколом, после чего вся огромная толпа рванулась в глубь острова, оглашая воздух криками: «Текели-ли! Текели-ли!»

ГЛАВА XXIII

В течение шести-семи последующих дней мы оставались в нашем убежище, выходя лишь изредка, да и то с величайшими предосторожностями, за водой и орехами. Соорудив на площадке шалап, мы настлали туда сухих листьев для постели и вкатили три больших плоских камня, которые служили нам и очагом и столом. Без особого труда, путем трения друг о друга двух кусков дерева (одного — твердого, другого — мягкого) мы раздобыли огонь. У птицы, которую нам посчастливилось поймать, оказалось превосходное мясо, хотя и немного жестковатое. Она не принадлежала к семейству морских птиц, а скорее была разновидностью выпи и имела блестящее

черное с серым оперение и сравнительно небольшие крылья. Потом мы видели в окрестностях еще трех таких же птиц, которые, очевидно, искали ту, что была поймана нами, но они не опускались на землю, и мы не сумели поживиться добычей.

Пока у нас хватало мяса, мы еще мирились со своим положением, но вот мясо кончилось, и надо было срочно позаботиться о пропитании. Орехи отнюдь не утоляли голод, а, напротив, вызывали резь в желудке, а в больших количествах — и приступы жестокой головной боли. К востоку от вершины, у моря, мы видели крупных черепах, и, если бы нам удалось пробраться туда незамеченными, мы могли бы без труда изловить несколько штук. Поэтому было решено рискнуть и спуститься вниз.

Мы начали спуск по южному склону, который представлялся нам самым пологим, но, когда мы прошли едва ли сотню ярдов (если судить по видимости предметов на вершине), путь нам преградило ответвление от того ущелья, где погибли наши товарищи. Мы прошли по краю обрыва с четверть мили и снова наткнулись на глубокую пропасть; края ее осыпались, и мы были вынуждены вернуться.

Тогда мы спустились по восточному склону, но и здесь нас постигла неудача. Рискую сломать шею, мы целый час спускались по каким-то откосам, пока не очутились в огромной впадине со стенками из черного гранита, выбраться из которой можно было только той каменистой тропой, какой мы спустились сюда. Поднявшись по ней назад, мы решили попробовать северный склон. Здесь мы должны были соблюдать особую осторожность, так как малейшая оплошность — и мы могли оказаться на виду у всей деревни. Поэтому мы пробирались на четвереньках, а иногда и ползком, подтягиваясь с помощью ветвей кустарника. Преодолев таким образом некоторое расстояние, мы наткнулись на такую глубокую бездну, какой нам еще не встречалось, — она соединялась с главным ущельем. Итак, наши опасения полностью подтвердились: мы были совершенно отрезаны от долины. Вконец выбившись из сил, мы кратчайшим путем возвратились на площадку и, свалившись на нашу постель из листьев, несколько часов проспали беспробудным сном.

Дни после этой безуспешной вылазки были заняты тем, что мы исследовали каждый дюйм на вершине в поисках чего-нибудь съедобного, но ничего не нашли, если не считать орехов, так дурно действующих на желудок, да клочка земли в двадцать квадратных ярдов, поросшей какой-то кисловатой травой, которой, конечно, не хватит надолго. Если не ошибаюсь, к 15 февраля не осталось ни травинки, да и орехи стали попадаться гораздо реже; дела наши обстояли как нельзя хуже¹. Шестнадцатого мы еще раз осмотрели стены нашей темницы в надежде найти выход, но безрезультатно.

Спустились мы и в расселину, где нас засыпало, надеясь разыскать какой-нибудь проход в главное ущелье. Но и здесь нас постигла неудача, хотя мы подобрали потерянное там наше ружье.

Семнадцатого числа мы решили более тщательно исследовать колодец с черными гранитными стенами, куда мы спускались в первый раз. Нам запомнилось, что в одной стене была трещина, в которую мы едва заглянули, и сейчас нам хотелось осмотреть ее получше, хотя мы и не очень рассчитывали, что обнаружим там какое-нибудь отверстие.

Как и в прошлый раз, мы спустились в колодец без особого труда и принялись внимательно разглядывать, что он собой представляет. Место это было поистине необыкновенное, и мы едва могли поверить в его естественное происхождение. Если учесть все повороты и изломы, длина шахты от восточной до западной оконечности составляла около пятисот ярдов, хотя по прямой, — как я предполагаю, ибо не имел никаких средств для измерения, — было всего ярдов сорок — пятьдесят. В верхней своей части, приблизительно в сотне футов от вершины, склоны шахты совершенно различны: один из мыльного камня, другой из мергеля с зернистыми металлическими вкраплениями, причем они никогда, видимо, не составляли одно целое. Средняя ширина шахты на этом уровне была, вероятно, футов шестьдесят. Ниже, однако, расто-

¹ Этот день запомнился тем, что в южном направлении мы заметили огромные клубы сероватых паров, о которых я как-то упоминал. — *Примеч. автора.*

яние между склонами резко сокращается, и они переходят в две отвесных параллельных стены, хотя и из разного материала и с разной формой поверхности. На расстоянии пятидесяти футов от дна начинается их полное соответствие. Обе стены образованы из черного блестящего гранита, и расстояние между ними, несмотря на горизонтальные изломы; повсюду постоянно — двадцать метров.

Точную форму шахты лучше всего понять из чертежа, сделанного мною на месте, — дело в том, что я имел при себе записную книжку и карандаш, которые бережно хранил во время всех последующих приключений и благодаря которым я записал множество подробностей, в противном случае никак не удержавшихся бы в памяти.

Чертеж (см. рис. 1) дает общие очертания шахты, на нем нет небольших углублений, каждому из которых соответствовал бы выступ на противоположной стене. Дно шахты было покрыто слоем тончайшей, почти неосязаемой пыли толщиной три-четыре дюйма, под которым мы нащупали то же гранитное основание. В правой нижней части чертежа можно заметить нечто вроде отверстия — это была та самая трещина, о которой говорилось выше и которую мы хотели как следует исследовать на этот раз. Мы начали продираться туда сквозь гущу кустарника, ломая ветви, раскидывая по пути груды острых камней,

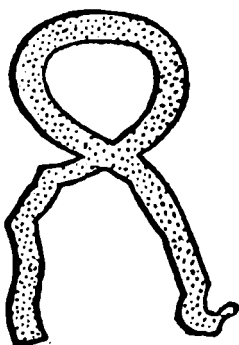


Рис. 1

формой напоминающих наконечники от стрел. Слабый свет в дальнем конце коридора придавал нам бодрости. Протиснувшись футов на тридцать вперед, мы оказались под низкой, правильной формы аркой, — тут под ногами тоже лежал слой пыли. Свет усилился, и за поворотом открылась другая высокая шахта, во всем похожая на первую, но продолговатая. Вот ее очертания (см. рис. 2).

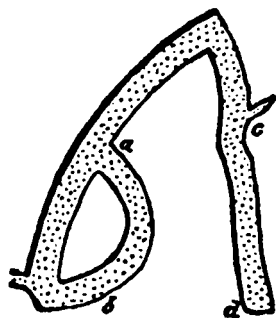


Рис. 2

Общая длина этой шахты, если вести отсчет от точки *a* по дуге *b* до точки *d*, составляет пятьсот пятьдесят ярдов. В точке *c* мы обнаружили небольшое отверстие, похожее на то, которым мы проникли сюда из первой шахты, и оно тоже сплошь заросло кустарником и было засыпано обломками белого камня. Мы одолели и этот проход — он был около сорока футов длиной — и проникли в третью шахту. Она также не отличалась от первой, но была продолговатой формы, как это изображено на рис. 3.

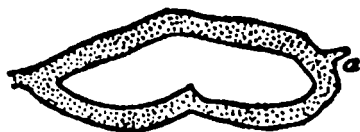


Рис. 3.

Общая длина ее составляла триста двадцать ярдов. В точке *a* был проход шириной футов шесть, тянущийся в глубину на пятнадцать футов и упирившийся в пласты мергеля; другого выхода, как мы надеялись, отсюда не было. Свет сюда еле проникал, и мы уже хотели было возвращаться назад, как Петерс обратил мое внимание на ряд странных знаков, словно бы высеченных в мергеле на задней стене. При некотором усилии воображения левый, по компасу — отстоящий к северу знак можно было принять за изображение человека, хотя и примитивное, стоящего с протянутой рукой. Остальные отдаленно напоминали буквы, и Петерс был склонен считать их таковыми, хотя и не имел особых оснований. Я, однако, убедил его в том, что он ошибается: рядом, на дне, среди пыли, мы подобрали несколько осколков мергеля, которые как раз подходили к впадинам на стене и, очевидно, отвалились во время какого-нибудь сотрясения; таким образом, фигуры имели естественное происхождение. Рис. 4 в точности воспроизводит их целиком.

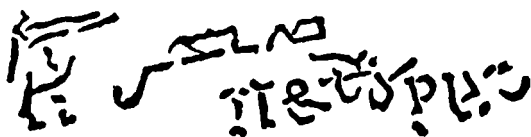


Рис. 4



Рис. 5

Убедившись, что в этих странных галереях нет выхода наружу, мы, удрученные, поднялись на вершину холма. В следующие сутки не произошло ничего знаменательного, если не считать того, что к востоку от третьей шахты мы наткнулись на два глубоких отверстия треугольной формы, тоже имеющих гранитные стенки. Мы решили, что спускаться в них нет смысла, поскольку они представляли собой естественные колодцы и не имели ответвлений. В поперечнике каждый был ярдов по двадцать. Точная форма этих колодцев и их расположение относительно третьей шахты показаны на рис. 5.

ГЛАВА XXIV

Двадцатого февраля мы поняли, что на орехах больше не продержимся, не говоря уже о том, что они вызывали жестокую резь в желудке, и решили предпринять отчаянную попытку спуститься в пропасть на южном склоне, ведущую в главное ущелье. Стены ее в этом месте были из мягкого мыльного камня, но почти отвесны до самого дна (глубина по крайней мере сто пятьдесят футов) и даже нависали, как арка. После долгих поисков мы обнаружили узкий выступ футах в двадцати от края пропасти; я держал связанные друг с другом платки, и Петерсу удалось туда прыгнуть. Когда я, правда с большими трудностями, оказался с ним рядом, мы решили, что спустимся на дно пропасти тем же манером, каким мы выбирались из трещины после обвала, то есть выбивая тесаками ступени в камне. Трудно даже представить риск, на который мы шли, но другого выхода у нас не было, и мы решились.

К счастью, на уступе рос орешник, и мы привязали к кусту нашу сделанную из платков веревку. Другим концом веревки Петерс обвязался вокруг пояса, и я осторожно спустил его на всю ее длину. Он принялся выбивать в стене отверстие глубиной восемь — десять дюймов, стесывая над ним на целый фут кусок скалы клинообразной формы, после чего рукояткой пистолета прочно загнал этот клин в отверстие. Затем я подтянул его фута на четыре кверху, и он сделал еще одну ступеньку и вбил еще один клин, устроив, таким образом, опоры для рук и для ног. Тогда я отвязал веревку от куста и бросил ему конец, который он прикрепил к первому клину. Потом он снова обвязался веревкой и опустился на полную ее длину, оставшись фута на три ниже того места, где он стоял. Здесь он выбил третье отверстие и загнал третий камень. Далее Петерс подтянулся по веревке вверх, упираясь ногами в только что сделанную дыру и держась за второй сверху клин. Теперь ему предстояло отвязать веревку от верхнего клина, чтобы прикрепить ко второму, и тут он понял, какую совершил ошибку, выбивая ступени на таком большом расстоянии друг от друга. После нескольких без-

успешных и опасных попыток дотянуться до узла (а ему в это время приходилось держаться одной левой рукой, так как правой он намеревался развязать его) он перерезал веревку, оставив кусок дюймов в шесть на клине, и, привязав ее ко второму клину, занял удобное положение под третьим отверстием, но не слишком низко. Так с помощью клиньев и веревки (этот способ, который родился благодаря изобретательности и решимости Петерса, никогда не пришел бы мне в голову) мой товарищ, цепляясь помимо всего за каждый попадавшийся выступ, благополучно достиг дна.

Не сразу я мог набраться духу, чтобы последовать его примеру, но в конце концов все-таки решился. Еще до того, как пойти на это рискованное предприятие, Петерс снял рубашку, которую я связал с моей собственной, сделав таким образом необходимую для спуска веревку. Сбросив Петерсу найденное в пропасти ружье, я привязал ее к кустам и начал быстро спускаться вниз, пытаюсь энергичными движениями преодолеть дрожь, которую я не мог унять никак иначе. Меняхватило, однако, на первые пять-шесть шагов; при мысли о бездне, разверзшейся под ногами, и о ненадежных ступенях и клиньях из мягкого мыльного камня, которые служили единственной мне опорой, воображение мое разыгралось необыкновенно. Напрасно я пытался отогнать эти мысли, вперив взгляд в плоскую поверхность стены прямо перед собой. Чем упорнее я старался не думать, тем ужаснее и отчетливее возникали у меня в голове разные видения. Наконец настал тот момент, столь опасный в подобных случаях, когда мы заранее как бы переживаем ощущения, испытываемые при падении, и ясно представляем себе головокружение и пустоту в животе, и последнее отчаянное усилие, и потемнение в глазах, и, наконец, острое сожаление, что все кончено и ты стремительно легишь головой вниз. Мои фантазии, достигнув критической точки, начали создавать свою собственную реальность, и все воображаемые страхи действительно обступили меня со всех сторон. Я чувствовал, как дрожат и слабеют ноги, как медленно, но неумолимо разжимаются пальцы. В ушах у меня зазвенело, и я подумал: «Это по мне звонит колокол!» Теперь

мною овладело неудержимое желание посмотреть вниз. Я не мог, не хотел смотреть больше на стену и с каким-то безумным неизъяснимым чувством, в котором смешался ужас и облегчение, устремил взгляд в пропасть. Тут же мои пальцы судорожно вцепились в клин, и в сознании, как тень, промелькнула едва ощутимая надежда на спасение, но в то же мгновение всю душу мою наполнило желание упасть — даже не желание, а непреодолимая жажда, влечение, страсть. Я разжал пальцы, отвернулся от стены и, раскачиваясь, замер на секунду. Потом сразу помутилось в голове, в ушах раздался резкий, нечеловеческий голос, подо мной возникла какая-то страшная призрачная фигура, и, тяжело вздохнув, я с замирающим сердцем обрушился прямо к ней на руки.

Я потерял сознание, но Петерс поймал меня. Он следил за мной со дна пропасти и, понимая, что я пал духом, всячески старался приободрить меня, хотя состояние мое было таково, что я не различал его слов и вообще ничего не слышал. Видя, что я вот-вот сорвусь, он поспешил подняться мне на помощь и подоспел вовремя. Если бы я обрушился всем своим весом, веревка наверняка бы лопнула и я полетел бы в бездну, но он сумел подхватить меня и осторожно спустил на полную ее длину, так что я без чувств повис над пропастью. Минут через пятнадцать я пришел в себя. Страх мой совершенно пропал, я почувствовал себя новым человеком и с помощью моего товарища благополучно спустился вниз.

Теперь мы были недалеко от ущелья, где погибли наши товарищи, к югу от того места, где произошел обвал. Вокруг расстилалась дикая пустынная местность, вызывающая в памяти нарисованные путешественниками картины запустения там, где некогда находился Древний Вавилон. Не говоря уже об обломках обвалившейся скалы, которые беспорядочной грудой преграждали путь к северу, поверхность земли была усеяна огромными камнями, словно мы находились среди развалин какого-то гигантского сооружения, хотя, конечно, присмотревшись, нельзя было обнаружить никаких следов человеческой деятельности. Повсюду виднелись шлаковые обломки, а также бесформенные гранитные и мергелевые глыбы с

металлическими вкраплениями¹. Почва была совершенно бесплодная, куда ни посмотри, без каких бы то ни было признаков растительности. Мы видели несколько чудовищных скорпионов, попадались и другие пресмыкающиеся, каких не встретишь в высоких широтах.

Поскольку прежде всего надо было раздобыть пищу, мы решили направиться к берегу, который был не далее чем в полумиле, намереваясь поймать черепаху, одну из тех, что мы видели из нашего убежища на вершине горы. Прячась между обломками скал, мы осторожно продвинулись на сотню ярдов, как вдруг из какой-то пещеры выскочили пятеро дикарей, и один ударом дубинки тут же свалил Петерса на землю. Все кинулись, чтобы прикончить жертву, и это дало мне возможность опомниться. У меня было ружье, но ствол его был поврежден при падении в пропасть, поэтому я отбросил его за ненадобностью, выхватил пистолеты, которые держал в полном порядке, и бросился на дикарей, сделав несколько выстрелов подряд. Двое упали, а третий, который уже занес копье над Петерсом, в испуге отскочил в сторону. Мой товарищ был спасен, дальнейшее не представляло никакого труда. Он тоже имел при себе пистолеты, но из осторожности решил не стрелять, вполне полагаясь на свою физическую силу, какой я не встречал ни у кого. Выхватив дубинку у одного из упавших, он уложил всех троих, с одного удара проломив каждому череп. Мы одержали полную победу.

Все произошло так быстро, что мы едва могли поверить, что все случившееся было наяву, и стояли над трупами врагов в каком-то оцепении, пока раздавшиеся вдали крики не вернули нас к действительности. Очевидно, дикари были растревожены выстрелами и вот-вот обнаружат нас. Мы не могли отступить к горе, так как крики доносились именно оттуда, но, если мы и успеем достигнуть ее подножия, все равно нас увидят, когда мы будем карабкаться вверх. Положение складывалось опаснейшее, мы лихорадочно соображали, куда скрыться, и в этот

¹ Мергель тоже был черный, и вообще мы не видели на острове никаких светлых предметов.

момент один из дикарей, в которого я выстрелил и которого считал убитым, вскочил на ноги и хотел бежать прочь. Мы, однако, настигли его через несколько шагов и хотели прикончить, но Петерс решил, что дикарь может пригодиться нам, если мы заставим его бежать с нами. Мы потащили его за собой, дав понять, что при малейшем сопротивлении он будет немедленно убит. Дикарь подчинился, и, скрываясь среди скал, мы бегом направились к берегу.

До сих пор неровная местность почти совсем скрывалась от нас море, и оно полностью открылось перед нами лишь тогда, когда мы оказались ярдах в двухстах от него. Выскочив на берег, мы с ужасом увидели толпы дикарей, которые отовсюду бежали к нам с животными воплями и яростно размахивая руками. Мы хотели уже повернуть назад и отступить под прикрытием складок местности, как вдруг за большой скалой, выступающей в море, я заметил пару челнов. Мы кинулись туда со всех ног — у челнов никого не было, а в них лежали три крупных галапагосских черепахи и обычный запас весел гребцов на шестьдесят. Увлекая за собой нашего пленника, мы вскочили в один из челнов и что было сил принялись грести в открытое море.

Но, отплыв от берега ярдов на пятьдесят и немного успокоившись, мы поняли, какой промах мы допустили, оставив второй челн дикарям, которые к этому времени были лишь вдвое дальше от него, нежели мы, и быстро приближались к желанной цели. Нельзя было терять ни секунды. Надежда опередить была ничтожна, но ничего иного нам не оставалось. Сомнительно, чтобы мы, даже приложив все усилия, сумели подоспеть к челну до них, однако это была единственная возможность спастись. В противном случае нам грозила смерть.

Нос и корма у челна были устроены совершенно одинаково, так что мы не стали его разворачивать, а просто пересели и стали грести в другую сторону. Когда дикари увидели этот нехитрый маневр, их вопли усилились, равно как и скорость, с которой они приближались к челну. Мы отчаянно налегали на весла и прибыли к цели в тот момент, когда ее уже достиг один из туземцев, опередив-

ший остальных. Этот человек дорого поплатился за свое необыкновенное проворство: едва мы коснулись берега, Петерс выстрелил ему прямо в лицо. Когда мы подоспели к челну, бегущие впереди находились, вероятно, в двадцати или тридцати шагах от нас. Сначала мы хотели оттолкнуть его подальше от берега, чтобы он не достался дикарям, но днище глубоко врезалось в песок, времени уже не оставалось, и тогда Петерс ружейным прикладом вышиб дно у носа и проломил борт. Пока мы сами отгаликивались от берега, двое дикарей ухватились за наш челн и упорно держались, так что мы были вынуждены прикончить их ножами. Теперь мы были на плаву и что есть силы гребли в открытое море. Когда дикари толпой подбежали к поврежденному челну, они буквально взвыли от бессильной ярости. Вообще, насколько я могу судить, эти негодяи оказались самыми злобными, коварными, мстительными и кровожадными существами на свете; попади мы им в лапы, пощады нам не было бы. Дикари попытались пуститься за нами вдогонку на дырявом челне, но затея была явно бесполезной, и, снова излив свою ярость в чудовищных воплях, они кинулись в горы.

Итак, мы избежали непосредственной опасности, хотя положение оставалось еще угрожающим. В распоряжении дикарей имелись четыре таких же челна (о том, что два из них разлетелись в щепки при взрыве «Джейн Гай», мы узнали позже от нашего пленника), и мы решили, что преследование возобновится, как только дикари доберутся до входа в залив, где обычно стояли лодки,— расстояние туда было мили три. Поэтому мы прилагали все силы, чтобы отойти как можно дальше от острова, заставив, разумеется, нашего пленника тоже работать веслом.

Через полчаса, когда мы проплыли пять или шесть миль к югу, из залива появилась целая флотилия плоскодонок. Но, отчаявшись догнать нас, они скоро повернули назад.

ГЛАВА XXV

Итак, мы находились в необозримом и пустынном Антарктическом океане, выше восемьдесят четвертой параллели, на утлом челне и без запасов пищи, если не

считать черепах. Не за горами была и долгая полярная зима. Поэтому надо было хорошенько взвесить, куда держать курс. В поле зрения было еще шесть или семь островов, принадлежащих к той же группе, но ни к одному из них мы приставать не хотели. Когда мы шли сюда на «Джейн Гай» с севера, позади нас постепенно оставались наиболее труднопроходимые районы сплошного льда, — как бы этот факт ни расходился с общепринятыми представлениями об Антарктике, мы убедились в нем на собственном опыте. Попытка пробиться назад, особенно в такое время года, была бы чистейшим вздором. Лишь одно направление сулило какие-то надежды, и мы решили смело плыть к югу, где по крайней мере имелась вероятность наткнуться на землю и еще большая вероятность попасть в теплый климат.

До сих пор Антарктический океан, наподобие Арктического, показывал себя с неожиданно хорошей стороны: не было ни жестоких штормов, ни бурных волн, и все-таки наш челн был весьма хрупким, мягко выражаясь, суденышком, несмотря на порядочные размеры, и мы деятельно принялись за работу, намереваясь придать ему как можно большую прочность теми ограниченными средствами, которые были в нашем распоряжении. Корпус челна был сделан из коры неизвестного дерева, а шпангоуты — из крепкой лозы, которая хорошо подходила для этой цели. От носа до кормы челн имел пятьдесят футов, в ширину — четыре — шесть футов, а борта достигали четырех с лишним футов, то есть устройство здешних лодок сильно отличалось от тех, какими пользуются другие обитатели Южного океана, известные цивилизованным нациям. Они никак не могли быть делом рук невежественных островитян, которые владели ими, и несколько дней спустя из расспросов нашего пленника мы узнали, что они сделаны туземцами с островов, лежащих к юго-западу от того, где мы были, и нашим варварам достались случайно. Как могли, мы постарались сделать ее более пригодной для плавания в океане. Разорвав суконную куртку, мы законопатили щели, обнаруженные на носу и на корме. Из лишних весел мы соорудили каркас на носу, чтобы гасить силу волн, накатывающихся с

той стороны. Два весла пошли на мачты — мы поместили их на планшире друг против друга, обойдясь, таким образом, без реи. К этим самодельным мачтам был затем прикреплен парус из наших рубашек, что мы проделали не без труда: наш пленник наотрез отказался помогать нам, хотя охотно участвовал в других работах. Очевидно, белая материя вселяла в него невероятный страх. Он боялся не только взять ее в руки, но даже приблизиться к ней, а когда мы хотели заставить его силой, он задрожал с головы до ног и завопил: «Текели-ли!»

Оснадив по мере возможности наш челн, мы повернули на юго-восток, чтобы обойти с наветренной стороны самый южный остров из видневшейся на горизонте группы, и лишь после этого взяли курс прямо на юг. Погода стояла вполне сносная. С севера почти постоянно дул мягкий ветер, круглые сутки мы имели дневной свет, море было спокойно и совершенно свободно ото льда. Вообще я не видел ни одной льдины после того, как мы пересекли параллель, на которой лежал остров Беннета. Вода была достаточно теплая, и лед таял. Разделав самую крупную черепаху, мы располагали теперь запасом мяса и воды. В течение семи или восьми дней мы плыли на юг без сколько-нибудь значительных происшествий, пройдя за это время, должно быть, огромное расстояние, так как ветер был попутный и нам помогало сильное течение к югу.

*Март, первого дня*¹. Множество необычных явлений говорит о том, что мы входим в какую-то неизвестную, диковинную область океана. На горизонте в южном направлении часто возникает широкая полоса сероватых паров — они то столбами вздымаются кверху, быстро перемещаясь с востока на запад и с запада на восток, то растягиваются в ровную гряду, то есть постоянно меняют очертания и краски, подобно *Aurora Borealis*². С нашего местонахождения пары поднимаются в среднем на высоту двадцать пять градусов. Температура воды с каждым часом повышается, и заметно меняется ее цвет.

¹ По понятным причинам я не могу ручаться за точность дат. Я привожу их по своим карандашным записям главным образом для того, чтобы читателю было легче следить за ходом изложения.

² Северное полярное сияние (*лат.*).

Март, второго дня. Мы долго расспрашивали сегодня нашего пленника и узнали массу подробностей об острове, где была учинена расправа над нашими товарищами, о его обитателях и их обычаях — но могу ли я теперь задерживать ими внимание читателя? Наверное, достаточно сообщить, что, по его словам, архипелаг состоит из восьми островов, которыми правит король Тсалемон или Псалемун, живущий на самом крошечном островке, что черные шкуры, из которых сделана одежда воинов, принадлежат каким-то огромным животным, которые водятся только в долине неподалеку от обиталища короля, что туземцы строят только плоты, вернее плоскодонные лодки, а те четыре челна — единственные, которые у них были, — случайно достались им с какого-то большого острова на юго-западе, что его самого зовут Ну-Ну и он понятия не имеет об острове Беннета и что название деревни — Тсалал. Начало слов «Тсалемон» и «Тсалал» он произносил с длинным свистящим звуком, который мы при всем желании не смогли воспроизвести и который в точности напоминал крик птицы, пойманной нами на вершине горы.

Март, третьего дня. Вода просто теплая и быстро теряет прозрачность, цветом и густотой напоминая молоко. В непосредственной близости море совершенно спокойно, и наш челн не подвергается ни малейшей опасности, но мы с удивлением увидели, что справа и слева на разном расстоянии от нас на поверхности несколько раз внезапно возникало сильное волнение; позже мы заметили, что этому предшествуют бесформенные вспышки паров на юге.

Март, четвертого дня. Ветер с севера заметно стих, и мы решили увеличить площадь нашего паруса. Вытаскивая из кармана большой белый платок, я случайно задел Ну-Ну по лицу, и его тут же схватили судороги. Затем, лишь изредка бормоча: «Текели-ли! Текели-ли!» — он впал в беспамятство.

Март, пятого дня. Ветер прекратился, но мощное течение несет нас все так же к югу. Мы должны были, казалось бы, встревожиться, видя, какой оборот принимают дела, но — ничего подобного. У Петерса на лице не отражалось ни малейшего беспокойства, хотя по временам

выражение его было какое-то загадочное. Приближающаяся полярная зима пока не давала о себе знать. Я чувствовал лишь некоторую скованность, душевную и физическую оцепенелость, но это было все.

Март, шестого дня. Полоса белых паров поднялась над горизонтом значительно выше, постепенно теряя сероватый цвет. Вода стала горячей и приобрела совсем молочную окраску, дотрагиваться до нее неприятно. Сегодня море забурлило в нескольких местах, совсем близко от нашего челна. Это сопровождалось сильной вспышкой наверху, и пары как бы отделились на мгновение от поверхности моря. Когда свечение в парах погасло и волнение на море улеглось, нас и порядочную площадь вокруг осыпало тончайшей белой пылью, вроде пепла, но это был отнюдь не пепел. Ну-Ну бросился на дно лодки, закрыл лицо руками, и никакие уговоры не могли заставить его подняться.

Март, седьмого дня. Сегодня мы расспрашивали Ну-Ну, из-за чего его соплеменники убили наших товарищей, но он охвачен таким ужасом, что мы не сумели добиться от него вразумительного ответа. Он отказывался подняться со дна лодки, а когда мы возобновили расспросы, стал делать какие-то идиотские жесты. В частности, он поднял указательным пальцем верхнюю губу и обнажил зубы — они были черные. До сих пор нам не приходилось видеть зубы обитателей Тсалала.

Март, восьмого дня. Мимо нас проплыло то белое животное, чье чучело вызвало такой переполох среди дикарей на берегу Тсалала. Я мог поймать его, но на меня напала непонятная лень, и я не стал этого делать. Руку в воде держать нельзя — такой она стала горячей. Петерс почти все время погружен в молчание, я не знаю, что и думать. Ну-Ну неподвижно лежит на дне лодки.

Март, девятого дня. Тонкая белая пыль в огромном количестве осыпает нас сверху. Пары на южном горизонте чудовищно вздыбились и приобрели более или менее отчетливую форму. Не знаю, с чем сравнить их, иначе как с гигантским водопадом, бесшумно низвергающимся с какого-то утеса, бесконечно уходящего в высоту. Весь южный горизонт заслан этой необозримой пеленой. Оттуда не доносится ни звука.

Март, двадцать первого дня. Над нами нависает страшный мрак, но из молочно-белых глубин океана поднялось яркое сияние и распространилось вдоль бортов лодки. Нас засыпает дождем из белой пыли, которая, однако, тает, едва коснувшись воды. Верхняя часть пелены пропадает в туманной вышине. Мы приближаемся к ней с чудовищной скоростью. Временами пелена ненадолго разрывается, и тогда из этих зияющих разрывов, за которыми теснятся какие-то мимолетные смутные образы, вырываются могучие бесшумные струи воздуха, вздымая по пути мощные сверкающие валы.

Март, двадцать второго дня. Тьма сгустилась настолько, что мы различаем друг друга только благодаря отражаемому водой свечению белой пелены, вздымающейся перед нами. Оттуда несутся огромные мертвенно-белые птицы и с неизбежным, как рок, криком «те-кели-ли!» исчезают вдали. Услышав их, Ну-Ну шевельнулся на дне лодки и испустил дух. Мы мчимся прямо в обволакивающую мир белизну, перед нами разверзается бездна, будто приглашая нас в свои объятия. И в этот момент нам преграждает путь поднявшаяся из моря высокая, гораздо выше любого обитателя нашей планеты, человеческая фигура в саване.

И кожа ее белее белого.

ОТ ИЗДАТЕЛЯ

Обстоятельства, связанные с последовавшей недавно внезапной и трагической кончиной мистера Пима, уже известны публике из газет. Высказывают опасения, что несколько оставшихся глав, которые, очевидно, заключали повествование, находились у него на переработке — тогда как остальные были уже в наборе — и безвозвратно утеряны во время несчастного случая, ставшего причиной его смерти. Впрочем, дело может обстоять совершенно иначе, и если бумаги в конце концов обнаружатся, они непременно будут опубликованы.

Мы испробовали все средства, чтобы исправить положение. Предполагалось, что джентльмен, чье имя упомянуто в предисловии, мог бы, как явствует отсюда же, восполнить пробел, но он, увы, наотрез отказался от этого предложения, резонно заявив, что не может целиком положиться на представленные ему материалы и вообще сомневается в достоверности последних частей повествования. Дополнительный свет на происшедшие события может, очевидно, пролить Петерс, который благополучно проживает в Иллинойсе, но в настоящее время мы не могли его разыскать. Не исключено, что это удастся впоследствии и он сообщит новые сведения для того, чтобы завершить рассказ мистера Пима.

Утрата двух или трех заключительных глав (вряд ли их было больше) тем более огорчительна, что они, бесспорно, содержат сведения относительно полюса или, по крайней мере, прилегающих к нему районов и что в скором времени они могут быть подтверждены или опровергнуты экспедицией в Южный океан, которую снаряжает наше правительство.

Пока же рискнем сделать несколько замечаний касательно одного места в повествовании, причем автору этих строк доставит неизъяснимое удовольствие, если то, что он имеет сказать, хоть в малейшей степени поможет завоевать доверие читателя к опубликованным страницам, представляющим исключительный интерес. Мы имеем в виду рассказ о галереях на острове Тсалал и рисунки на страницах 354 — 356.

Мистер Пим приводит чертежи шахт без каких-либо пояснений и о знаках, обнаруженных на стене восточной шахты, говорит, что они отдаленно напоминают буквы, то есть решительно заявляет, что они *таковыми не являются*. Это утверждение высказано столь убедительно и подтверждается фактами столь весомыми (например, то, что выступы найденных в пыли осколков точно соответствовали углублениям в стене), что мы вынуждены всерьез доверять автору и ни у одного здравомыслящего читателя не появится и тени сомнения на этот счет. Однако поскольку факты, относящиеся к чертежам, совершенно исключительны (особенно если их рассматривать в связи с определенными подробностями повествования), то нелишне сказать о них несколько слов, нелишне особенно потому, что упомянутые факты, бесспорно, ускользнули от внимания мистера По.

Если сложить вместе рисунки 1, 2, 3 и 5 в том порядке, в каком располагаются сами шахты, и исключить небольшие второстепенные ответвления и дуги (которые служили, как мы помним, только средством сообщения между основными камерами); то они образуют эфиопский глагольный корень **አላቶ**, то есть «быть темным»; отсюда происходят слова, означающие тьму или черноту.

Что касается левого или «самого северного знака» на рис. 4, то более чем вероятно, что Петерс был прав и что он действительно высечен человеком и изображает человеческую фигуру. Чертеж перед читателем, и он сам может судить о степени сходства, зато остальные углубления решительно подтверждают предположение Петерса. Верхний ряд знаков, вероятно, представляет собой арабский глагольный корень **أبيض**, то есть «быть белым», и от-

сюда все слова, означающие яркость и белизну. Нижний ряд не столь очевиден. Линии стерлись, края их пообломались, и все же нет сомнения, что в первоначальном состоянии они образовывали древнеегипетское слово **П&ЧУРНС** — «область юга». Следует заметить, что это толкование подтверждает мнение Петерса относительно «самого северного знака». Рука человека вытянута к югу.

Эти предварительные выводы открывают широкое поле для размышлений и увлекательных догадок. Их можно, видимо, строить в связи с некоторыми наиболее обстоятельно изложенными деталями повествования, хотя на первый взгляд они отнюдь не являют некой единой цепи. «Тскели-ли!» — кричали перепуганные дикари при виде чучела белого животного, подобранного в море. Таков же был испуганный вопль пленного островитянина, когда мистер Пим вытащил из кармана белый платок. Так же кричали огромные белые птицы, стремительно несущиеся из парообразной белой пелены на юге. Ни на острове Тсалал, ни во время последующего путешествия к полюсу не было обнаружено ничего белого. Не исключено, что скрупулезный лингвистический анализ вскрыет связь между самим названием острова «Тсалал», и загадочными пропастями, и таинственными надписями на их стенах.

«Я вырезал это на холмах, и месь мой во прахе скалы».



ФОЛИО КЛУБ

Тут хитрость в духе Макьявелли—
Ее не все понять сумели¹.

Б а т л е р

Должен с сожалением сказать, что Фолио Клуб — не более как скопище скудоумия. Считаю также, что члены его столь же уродливы, сколь глупы. Полагаю, что они твердо решили уничтожить Литературу, испровергнуть Прессу и свергнуть Правительство Имен Собственных и Местоимений. Таково мое личное мнение, которое я сейчас осмеливаюсь огласить.

А между тем, когда я, всего какую-нибудь неделю назад, вступал в это дьявольское объединение, никто не испытывал к нему более глубокого восхищения и уважения, чем я. Отчего в моих чувствах произошла перемена, станет вполне ясно из дальнейшего. Одновременно я намерен реабилитировать собственную личность и достоинство Литературы.

Обратившись к протоколам, я установил, что Фолио Клуб был основан как таковой — дня — месяца — года. Я люблю начинать с начала и питаю особое пристрастие к датам. Согласно одному из пунктов принятого в ту пору Устава, членами Клуба могли быть только лица образованные и остроумные; а признанной целью их союза было «просвещение общества и собственное развлечение». Ради этой последней цели на дому у одного из членов клуба ежемесячно проводится собрание, куда каждый обязан принести сочиненный им самим Короткий Рассказ в Про-

¹ Здесь и далее, кроме особо оговоренных случаев, стихотворные переводы В. В. Рогова.

зе. Каждое такое сочинение читается автором перед собравшимися за стаканом вина, после обеда. Все, разумеется, соперничают друг с другом, тем более что автор «Лучшего Рассказа» становится pro tem¹ Председателем Клуба; должность эта весьма почетна, почти не сопряжена с расходами и сохраняется за занимающим ее лицом, пока его не вытеснит еще лучший рассказчик. И, наоборот, автор рассказа, признанного худшим, обязан оплатить обед и вино на следующем очередном собрании общества. Это оказалось отличным способом привлекать время от времени новых членов вместо какого-нибудь несчастливца, который, проиграв такое угощение два-три раза подряд, натурально отказывался и от «высокой чести» и от членства. Число членов Клуба не должно превышать одиннадцати. На это имеется ряд основательных причин, которые нет надобности излагать, но о которых догадается всякий мыслящий человек. Одна из них состоит в том, что 1 апреля, в год триста пятидесятый перед Потопом, на солнце, как говорят, было ровно одиннадцать пятен. Читатель заметит, что в этом кратком очерке истории Общества я не даю воли своему негодованию и пишу с редким беспристрастием и терпимостью. Для expose², которое я намерен сделать, достаточно привести протокол собрания Клуба от прошлого вторника, когда я дебютировал в качестве члена этого общества, будучи избран вместо достопочтенного Огастеса Зачерктона, вышедшего из его состава.

В пять часов пополудни я, как было условлено, явился к мистеру Руж-э-Нуар, почтителю леди Морган, признанному в предыдущем месяце автором худшего рассказа. Я застал собравшихся уже в столовой и должен признать, что яркий огонь камина, комфортабельная обстановка комнаты и отлично сервированный стол, равно как и достаточная уверенность в своих способностях, настроили меня весьма приятно. Я был встречен с большим радушием и пообедал, крайне довольный вступлением в общество столь знающих людей.

¹ Временно (*лат.*).

² Сообщения (*фр.*).

Членами его были большей частью очень примечательные личности. Это был прежде всего мистер Щелк, председатель, чрезвычайно худой человек с крючковатым косом, бывший сотрудник «Обозрения для глупцов».

Был там также мистер Конволвулус Гондола, молодой человек, объездивший много стран.

Был Де Рерум Натура, эсквайр, носивший какие-то необыкновенные зеленые очки.

Был очень маленький человечек в черном сюртуке, с черными глазами.

Был мистер Соломон Гольфштрем, удивительно похожий на рыбу.

Был мистер Орибиле Дикту, с белыми ресницами и дипломом Геттингенского университета.

Был мистер Блэквуд Блэквуд, написавший ряд статей для иностранных журналов.

Был хозяин дома, мистер Руж-э-Нуар, поклонник леди Морген.

Был некий толстый джентльмен, восхищавшийся Вальтером Скоттом.

Был еще Хронологос Хронолог, почитатель Хорейса Смита, обладатель большого носа, побывавшего в Малой Азии.

Когда убрали со стола, мистер Щелк сказал, обращаясь ко мне: «Полагаю, сэр, что едва ли есть надобность знакомить вас с правилами Клуба. Вам, я думаю, известно, что мы стремимся просвещать общество и развлекать самих себя. Сегодня, однако, мы ставим себе лишь эту вторую цель и ждем, чтобы и вы внесли свой вклад. А сейчас я приступлю к делу». Тут мистер Щелк, отставив от себя бугылку, достал рукопись и прочел следующее:



**ДНЕВНИК ДЖУЛИУСА РОДМЕНА,
ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЙ СОБОЙ ОПИСАНИЕ
ПЕРВОГО ПУТЕШЕСТВИЯ ЧЕРЕЗ СКАЛИСТЫЕ ГОРЫ
СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ,
СОВЕРШЕННОГО ЦИВИЛИЗОВАННЫМИ ЛЮДЬМИ**

Глава I

Вводная

Благодаря редкой удаче, мы имеем возможность предложить читателям под этим заглавием весьма примечательную и несомненно весьма интересную повесть. Публикуемый нами дневник не только содержит описание первой удачной попытки преодолеть гигантскую преграду, какою является высочайшая горная цепь, тянущаяся от Ледовитого Океана на севере до перешейка Дариен на юге и образующая на всем своем протяжении отвесную стену, сверху опущенную снегом; что еще важнее, в нем приведены подробности путешествия по огромной территории, лежащей за этими горами, которая *доныне* считается совершенно неизвестной и на всех картах страны помечена как «*неисследованная*». К тому же это — единственная неисследованная часть северо-американского материка. А поскольку это так, наши друзья простят нам некоторую *восторженность*, с какою мы предлагаем дневник вниманию читателей. Чтение его вызвало и у нас самих больший интерес, чем любое другое повествование такого рода. Мы не считаем, что наше личное знакомство с тем, благодаря кому рукопись станет достоянием читателей, играет при этом сколько-нибудь значительную роль. Мы убеждены, что все наши читатели признают вместе с нами необычайную занимательность и

важность описанных в ней событий. Личные качества человека, бывшего главою и душою экспедиции и одновременно ее летописцем, придали написанному большую долю романтичности, весьма не похожей на статистическую скуку, отличающую большинство подобных описаний. М-р Джеймс Э. Родмен, от которого мы получили рукопись, хорошо известен многим читателям нашего журнала; он частично унаследовал черты, омрачившие молодые годы его деда, м-ра Джулиуса Родмена, автора записок. Мы имеем в виду наследственную ипохондрию. Именно этот недуг был главной причиной, побудившей его предпринять описанное им необычайное путешествие. Охота и трапперство, о которых говорится в начале дневника, были, насколько мы можем судить, лишь предлогами, которыми он оправдывал перед собственным рассудком свою дерзкую и необычную попытку. Нам кажется несомненным (и читатели с нами согласятся), что его влекло единственно стремление найти среди первобытной природы тот душевный покой, которого он в силу особенностей своего характера не мог обрести среди людей. Он бежал в пустыню как бегут к другу. Только при такой точке зрения удастся примирить многие строки его повести с обычными нашими понятиями о мотивах человеческих поступков.

Так как мы решили опустить две страницы рукописи, где м-р Родмен описывает свою жизнь до поездки по Миссури, следует указать, что он родился в Англии, происходил из хорошей семьи, получил отличное образование, а затем, в 1784 году (в возрасте около восемнадцати лет) эмигрировал в нашу страну вместе с отцом и двумя незамужними сестрами. Семья жила сперва в Нью-Йорке; но затем переехала в Кентукки и поселилась весьма уединенно на берегу Миссисипи, там, где сейчас Миллз Пойнт впадает в реку. Здесь осенью 1790 года скончался старый м-р Родмен; а в следующую зиму в течение нескольких недель погибли от оспы обе его дочери. Вскоре затем (весной 1791 года) сын, м-р Джулиус Родмен, отправился в путешествие, о котором рассказывается ниже. Возвратясь из него в 1794 году, как сказано далее, он поселился близ Абингдона в Виргинии; здесь он женил-

ся, имел троих детей и здесь же донныне проживает большинство его потомков.

Мистер Джеймс Родмен сообщил нам, что его дед вел только краткий дневник своего трудного путешествия и что переданная нам рукопись была написана на основе этого дневника лишь много лет спустя, по настоянию г-на Андре Мишо, ботаника, автора трудов *Flora boreali Americana*¹ и *Histoire des Chenes d'Amerigue*². Напомним, что г-н Мишо предложил свои услуги президенту Джефферсону, когда тот впервые задумал послать экспедицию через Скалистые Горы. Предложение его было принято, и он даже доехал до Кентукки, но здесь его догнало распоряжение французского посланника, находившегося в то время в Филадельфии, в котором ему приказывали отказаться от его намерения и избрать другую местность для ботанических исследований, порученных ему его правительством. Руководство задуманной экспедицией досталось м-ру Льюису и м-ру Кларку, которые и завершили ее с успехом.

Но господин Мишо так и не увидел рукописи, написанной специально для него; считалось, что она была утеряна тем юношей, которому была вручена для передачи г-ну Мишо в его временном местожительстве возле Монтичелло. Никто не пытался ее разыскать, ибо м-р Родмен, вследствие особых черт своего характера, мало этим интересовался. Как ни странно, но нам кажется, что он ничего не предпринял бы для опубликования результатов своей необычайной экспедиции и что он переписал и дополнил свой дневник единственно, чтобы сделать приятное г-ну Мишо. Даже проект м-ра Джефферсона, который в ту пору возбуждал всеобщий интерес и считался чем-то совершенно новым, вызвал у героя нашей повести лишь несколько общих замечаний, адресованных членам его семьи. О собственном своем путешествии он никогда не рассказывал и скорее даже избегал этой темы. Он скончался до возвращения Льюиса и Кларка; а рукопись, *врученная посланцу для передачи г-ну Мишо*, была

¹ Флора Северной Америки (лат).

² Описание американских дубов (фр.).

обнаружена лишь около трех месяцев назад в потайном ящике секретера, принадлежавшего м-ру Джулиусу Родмену. Кто положил ее туда — неизвестно; все родственники м-ра Родмена утверждают, что спрятал ее не он; однако мы, при всем нашем уважении к его памяти, а также к м-ру Джеймсу Родмену (которому мы более всего обязаны), считаем, что предположение, будто автор рукописи каким-то образом вернул ее себе и спрятал, как раз весьма правдоподобно и вполне согласуется со свойственной ему болезненной чувствительностью.

Мы ни в коем случае не хотели ничего менять в повествовании м-ра Родмена, и единственная вольность, какую мы допустили в отношении его рукописи, это — некоторые сокращения. Слог ее едва ли нуждался в исправлениях; он прост и весьма выразителен и свидетельствует о глубоком восхищении путешественника величавыми зрелищами, которые день за днем представляли его глазам. Его повесть, даже там, где говорится о жестоких лишениях и опасностях, написана с увлечением, раскрывающим нам все особенности его характера. Он пылко любил Природу и поклонялся мрачным и суровым ее зрелищам пожалуй даже больше, чем когда она представляла светлой и безмятежной. Огромную и зачастую страшную чащу лесов он прошел с восторгом в сердце, вызывающим у нас зависть. Именно *такому человеку* подобало путешествовать среди угрюмого безмолвия, которое он описывает с такой явной охотой. Он обладал подлинной способностью воспринимать и чувствовать. Вот отчего мы считаем его рукопись сокровищем, в своем роде непревзойденным и даже не имеющим себе равных.

То, что повесть эта была до сего времени утеряна, что даже *сам факт*, что м-р Родмен пересек Скалистые Горы до экспедиции Льюиса и Кларка, остался неизвестным и не упоминается ни одним из географов, описавших Америку (таких упоминаний, насколько мы смогли установить, не существует), является чрезвычайно странным. Единственное упоминание об этом путешествии, как нам удалось узнать, содержится в неопубликованном письме г-на Мишо, находящемся в архиве некоего м-ра Уайетта в Шарлотсвилле, штат Виргиния. Там о нем говорится

мимоходом как о «гигантском замысле, блестяще осуществленном». Если существуют другие упоминания об экспедиции, они нам неизвестны.

Прежде чем предоставить слово самому м-ру Родмену, нелишне будет вспомнить о других открытиях в северо-западной части нашего материка. Положив перед собою карту Северной Америки, читатель лучше сможет следить за нашими замечаниями.

Как мы видим, материк простирается от Северного Ледовитого Океана, то есть примерно от 70-й северной параллели до 9-й и от 56-го меридиана к западу от Гринвича до 168-го. На всей этой огромной территории уже побывал цивилизованный человек, и весьма значительная часть ее заселена. Однако большое пространство еще помечено на всех наших картах как «неисследованное» и по сей день считается таковым. С юга оно ограничено 60-й параллелью, с севера — Ледовитым Океаном, с востока — Скалистыми Горами, а с запада — владениями России. *И все же м-ру Родмену принадлежит честь первого прохождения через этот совершенно дикий край; наиболее интересные подробности публикуемой нами повести касаются его приключений и открытий в тех местах.*

Самыми ранними путешествиями белых людей по Северной Америке были экспедиции Эннепена и его спутников в 1698 году; но так как он побывал главным образом в ее южной части, мы не считаем нужным говорить об этом подробнее.

Мистер Ирвинг в своей «Астории» называет капитана Джонатана Карвера первым, кто попытался пересечь материк от Атлантического до Тихого Океана; но тут он, по видимому, ошибается, ибо в одном из дневников сэра Александра Маккензи говорится о двух таких попытках, предпринятых Пушной Компанией Гудзонова залива, — одной в 1758 году, а одной еще в 1749; однако обе оказались, как видно, неудачными, ибо никаких отчетов о них не сохранилось. Капитан Карвер совершил свое путешествие в 1763 г., вскоре после приобретения Канады Великобританией. Он намеревался пересечь материк между 43-м и 46-м градусами северной широты и достичь побережья Тихого Океана. Целью его было установить протя-

женность материка в наиболее широкой части и выбрать на западном побережье место для правительственного поста, который служил бы базой для поисков северо-западного пути, а также связал бы Гудзонов залив с Тихим Океаном. Он полагал, что река Колумбия, носившая тогда название Орегон, впадает в море где-то возле пролива Анниан; и тут он думал устроить пост. Он считал также, что поселение в этой местности откроет новые возможности для торговли и установит более прямое сообщение с Китаем и с британскими владениями в Ост-Индии, нежели прежний путь вокруг Мыса Доброй Надежды. Однако попытка перевалить через горы ему не удалась.

Следующей по времени важной экспедицией в северной части Америки была экспедиция Самюэля Хирна, который в 1769, 1770, 1771 и 1772 годах прошел в северо-западном направлении от форта Принца Уэльского на Гудзоновом заливе до берегов Северного Ледовитого Океана в поисках медных залежей.

Затем надлежит отметить вторую попытку капитана Карвера, предпринятую им в 1774 году совместно с Ричардом Уитвортом, членом парламента и богатым человеком. Мы упоминаем об этом предприятии только из-за широкого размаха, с каким оно было задумано, ибо осуществлено оно не было. Руководители экспедиции предполагали взять с собою пятьдесят — шестьдесят человек моряков и механиков, подняться по одному из рукавов Миссури, поискать в горах истока Орегона и спуститься по этой реке до ее предполагаемого устья возле пролива Анниан. Здесь думали построить форт, а также суда для дальнейших плаваний. Осуществлению этих замыслов помешала американская революция.

Канадские миссионеры уже в 1775 году вели пушную торговлю на берегах Саскачевана, на 53° северной широты и 102° западной долготы; а в начале 1776 года мистер Джозеф Фробишер достиг в том направлении 55° северной широты и 103° восточной долготы.

В 1778 году мистер Питер Бонд на четырех каноэ прошел до Лосиной реки, в 30 милях южнее ее слияния с Горным озером.

Теперь следует упомянуть еще об одной попытке, с самого начала неудачной, пересечь наиболее широкую часть материка от океана до океана. Публике о ней почти ничего не известно; она упоминается одним только мистером Джефферсоном, да и то вскользь. Мистер Джефферсон рассказывает, как его посетил в Париже Ледьярд, жаждавший новых предприятий после своего удачного путешествия с капитаном Куком; и как он (мистер Джефферсон) предложил ему добраться по суше до Камчатки, переправиться на русском судне в Нутку, спуститься до широты, на которой протекает Миссури, а затем, по этой реке — в Соединенные Штаты. Ледьярд согласился при условии, что получит разрешение русского правительства. Этому мистеру Джефферсону удалось добиться, но путешественник прибыл из Парижа в Санкт-Петербург, когда императрица уже уехала на зиму в Москву. Не имея средств, чтобы без крайней надобности задерживаться в Санкт-Петербурге, он продолжал путь, получив паспорт у одного из консулов, но в двухстах милях от Камчатки был задержан чиновником императрицы, которая передумала и решила запретить поездку. Его посадили в закрытую повозку и, погоняя без усталости день и ночь, доставили к границам Польши, где и отпустили. Мистер Джефферсон, говоря о предприятии Ледьярда, ошибочно называет его «первой попыткой исследовать западную часть северо-американского материка».

Следующей важной экспедицией было замечательное путешествие сэра Александра Маккензи, совершенное в 1789 году. Он отправился из Монреаля, прошел по реке Утавас, по озерам Нипписинг и Гурон, вдоль северного берега Озера Верхнего, так называемым Большим Волоком, а оттуда — вдоль реки Дождевой, по озерам Лесному и Боннет, верхней частью озера Собачья Голова, по южному берегу озера Виннипег, по Кедровому Озеру и, мимо устья Саскачевана, к Осетровому Озеру; оттуда он волоком перебрался на Миссисипи и по озерам Черного Медведя, Примо и Бизоньему добрался до высокой горной цепи, идущей с северо-востока на юго-запад; дальше его путь лежал по Лосиной реке к Горному озеру, по Невольничьей реке к озеру Невольничье, вдоль северного

берега этого озера до реки Маккензи, а уж по ней, наконец, в Полярное море. Это было огромное путешествие, во время которого он подвергался бесчисленным опасностям и терпел самые тяжкие лишения. Спустившись по реке Маккензи до ее устья, он прошел вдоль подножия восточного склона Скалистых Гор, однако через горы не перевалил. Правда, весной 1793 года, отправившись из Монреаля и проделав свой прежний путь до устья Унджиги, или реки Мира, он затем поднялся по этой реке, проник в горы на уровне 56-й широты, повернул к югу, достиг реки, которую называл Лососевой (ныне река Фрейзер), и по ней вышел в Тихий океан, примерно на 40-й параллели северной широты.

Памятная экспедиция капитанов Льюиса и Кларка была совершена в 1804 — 1805 и 1806 годах. В 1803 году, в связи с истечением срока договора с индейскими племенами о факториях, мистер Джефферсон, в секретном послании конгрессу от 18 января, рекомендовал некоторые изменения в договоре (распространявшие его на индейские территории на Миссури). Для подготовки путей было предложено послать экспедицию, которая прошла бы Миссури до ее истоков, перевалила через Скалистые Горы, а там искала наиболее удобного водного пути к Тихому океану. Этот план был полностью осуществлен; капитан Льюис исследовал (но не «открыл», как сообщает мистер Ирвинг) верховье реки Колумбия и прошел по ней до ее устья. Верховье Колумбии посетил и Маккензи еще в 1793 году.

Одновременно с экспедицией Льюиса и Кларка вверх по Миссури, майор Зебулон М. Пайк прошел вверх по Миссисипи, проследив течение этой реки вплоть до ее истоков в озере Итаска. Вернувшись оттуда, он, по распоряжению правительства, отправился на запад от Миссисипи и за годы 1805 — 1806 и 1807 побывал в верховье реки Арканзас (за Скалистыми Горами, на 40° северной широты), пройдя по рекам Оседж и Канзас до истоков Платы.

В 1810 году мистер Дэвид Томпсон, пайщик Северо-Западной Пушной компании, отправился из Монреаля с многочисленной группой, чтобы пересечь материк и выйти

к Тихому Океану. Первая половина его пути совпадала с маршрутом Маккензи в 1793 году. Целью его было предвосхитить намерение мистера Джона Джейкоба Астора, а именно, основать факторию в устье реки Колумбия. Большая часть его людей покинула его на восточных склонах гор; однако ему удалось перевалить через них и с оставшимися восемью спутниками достичь северного рукава Колумбии, по которому он спустился, проделав по нему значительно больший путь, чем какой-либо белый человек до него.

В 1811 году осуществил свое замечательное предприятие мистер Астор, во всяком случае, ту его часть, которая относилась к путешествию через материк. Поскольку м-р Ирвинг уже познакомил читателей с подробностями этого путешествия, мы упомянем о нем лишь в немногих словах. О цели его уже только что говорилось. Путь экспедиции (возглавлявшейся м-ром Уилсоном Прайсом Хантом) шел из Монреаля, вверх по Утавас, через озеро Ниписсинг и ряд мелких озер и рек до Мичилимакинака, иначе называемого Мэкинау, оттуда через Зеленую Бухту и реки Лисью и Висконсин до Prairie du Chien¹; оттуда по течению Миссисипи до Сен-Луи; затем вверх по Миссури до поселения индейцев арикара, между 46-м и 47-м градусами северной широты, в 1430 милях выше устья реки; а там, держа на юго-запад, через горы, примерно у верховьев Платы и Иеллоустона, и по южному рукаву Колумбии — к морю. Два маленьких отряда этой экспедиции на обратном пути совершили весьма опасные и богатые приключениями путешествия по матерiku.

Следующим важным этапом были путешествия майора Стивена Х. Лонга. В 1823 г. он добрался до истока реки Сент-Питер, до озера Виннипег, Лесного и многих других. О более недавних экспедициях капитана Бонвиля и других едва ли нужно говорить, ибо они еще свежи у всех в памяти. О приключениях капитана Бонвиля хорошо рассказал мистер Ирвинг. В 1832 году отправившись из Форта Оседж, он перевалил через Скалистые Горы и почти три года провел за ними. На территории

¹ Собачьей Прерии (фр.).

Соединенных Штатов осталось очень мало областей, где в недавние годы не побывал бы ученый или искатель приключений. Но на обширные пустынные земли к северу от наших владений и к западу от реки Маккензи еще не ступала, насколько известно, нога цивилизованного человека, за исключением мистера Родмена и его маленького отряда. Что касается *первенства* в переправе через Скалистые Горы, то из сказанного нами явствует, что его не следовало бы приписывать Льюису и Кларку, поскольку это удалось Маккензи в 1793 году; а самым первым был, в сущности, мистер Родмен, преодолевший этот гигантский барьер еще в 1792 году. Таким образом, мы имеем немало оснований предложить нашу необычайную повесть вниманию читателей.

[Редакторы «Джентлменз мэгезин»]

Глава II

После смерти отца и обеих сестер я утратил всякий интерес к нашей плантации у Пойнга и за бесценок продал ее мсье Жюно. Я и прежде подумывал отправиться траппером вверх по Миссури, а теперь решил снарядить туда экспедицию за пушниной, которую рассчитывал продать в Петит Кот агентам Северо-Западной Пушной компании. Я полагал, что таким образом, имея хоть сколько-нибудь предприимчивости и мужества, можно заработать куда больше денег, чем я мог бы это сделать любым другим способом. Охота и трапперство всегда меня привлекали, хотя прежде я не думал делать из них промысел; мне очень хотелось исследовать запад нашей страны, о котором мне часто рассказывал Пьер Жюно. Он был старшим сыном соседа, купившего мой участок. Это был человек со странностями и несколько эксцентрический, но при всем том — один из добрейших людей на свете и никому не уступавший в мужестве, хотя и не наделенный большой физической силой. Он был родом из Канады, и, побывав раз или два в небольших поездках по поручениям Пушной компании, в качестве *voyageur*¹,

¹ Здесь: разъездного агента (*фр.*).

любил называть себя таковым и рассказывать о своих путешествиях. Отец мой очень любил Пьера, и я тоже был о нем высокого мнения; он пользовался расположением моей младшей сестры Джейн, и я думаю, что они поженились бы, если бы Богу было угодно сохранить ей жизнь.

Когда Пьер узнал, что я еще не решил, чем заняться после смерти отца, он принялся уговаривать меня снарядить небольшую экспедицию по реке и вызвался в ней участвовать; склонить меня к этому ему оказалось нетрудно. Мы решили подняться по Миссури, насколько окажется возможно, занимаясь в пути охотой и трапперством, и не возвращаться, прежде чем не добудем достаточно шкур, чтобы составить себе состояние. Отец Пьера не возражал и дал ему около трехсот долларов, после чего мы отправились в Петит Кот, чтобы приобрести снаряжение и набрать возможно больше людей для экспедиции.

Петит Кот¹ представляет собой маленький поселок на северном берегу Миссури, милях в двадцати от места ее слияния с Миссисипи. Он лежит у подножия невысоких холмов, на уступе, расположенном так высоко над рекой, что туда не достигают июньские паводки. Верхняя часть поселка насчитывает не более пяти-шести домов, притом деревянных; но на другом его конце находится часовня и около двенадцати или пятнадцати добротных домов, которые тянутся вдоль реки. В поселке около сотни жителей, большей частью креолов из Канады. Они весьма ленивы и не пытаются возделывать окружающую их плодородную землю, разве только кое-где разбили сады. Главным их занятием является охота и скупка у индейцев пушнины, которую они перепродают агентам Северо-Западной компании. Мы надеялись без труда найти здесь и спутников и снаряжение, но были разочарованы, ибо поселок оказался во всех отношениях слишком беден, чтобы снабдить нас всем необходимым для удобства и безопасности путешествия.

¹ Настоящий город Сент-Чарльз. [Редакторы «Джентльмена мэгзин»].—
Примеч. автора.

Нам предстояло ехать в самое сердце края, кишевшего индейскими племенами, о которых мы знали лишь понаслышке и которые мы имели все основания считать свирепыми и коварными. Поэтому было особенно важно запастись оружием и боеприпасами, а также иметь достаточно людей; а если мы хотели получить от экспедиции выгоду, надо было взять с собой достаточно вместительные каноэ для шкур, которые мы рассчитывали добыть. Мы приехали в Петит Кот в середине марта, но лишь в конце мая нам удалось подготовиться к путешествию. Пришлось дважды посылать вниз по реке, в Пойнт, за людьми и припасами, причем то и другое обошлось нам крайне дорого. Нам так и не удалось бы достать множества вещей, совершенно необходимых, если бы Пьер не повстречал людей, возвращавшихся из поездки вверх по Миссисипи, из которых он завербовал шестерых самых лучших и, кроме того, раздобыл у них каноэ, или пирогу, и приобрел большую часть излишка их провизии и боеприпасов.

Эта своевременная подмога позволила нам еще до 1 июня приготовиться к путешествию. 3 июня (1791 года) мы простились с нашими друзьями в Петит Кот и отправились в путь. Наша группа насчитывала всего пятнадцать человек. Из них пятеро были канадцами из Петит Кот, которые все уже побывали в поездках вверх по реке. Они были хорошими гребцами и отличными товарищами по части французских песен и выпивки; в этом за ними никто не мог угнаться, хотя они редко напивались так, чтобы быть непригодными к делу. Они были всегда веселы и всегда готовы работать, но охотниками были посредственными, а в бою, как вскоре выяснилось, на них нельзя было положиться. Из этих пятерых канадцев двое взялись служить переводчиками на первые пятьсот — шестьсот миль пути вверх по реке (если только нам удастся пройти так далеко), а затем мы надеялись найти индейца, который в случае надобности мог бы переводить; впрочем, мы решили избегать, насколько возможно, встреч с индейцами и лучше самим заняться трапперством, чем, при нашей малочисленности, идти на столь опасное дело, как торговля. Мы постановили соблюдать осторожность и

попадаться им на глаза только в тех случаях, когда этого невозможно будет избежать.

Те шестеро, которых Пьер набрал на судне, возвращавшемся по Миссисипи, были людьми совсем иного рода, чем канадцы. Пятеро из них были братьями по фамилии Грили (Джон, Роберт, Мередит, Фрэнк и Пойндекстер), и трудно было бы сыскать более отважных и храбрых парней. Джон Грили был самым старшим и слыл первым силачом, а также лучшим стрелком во всем Кентукки, откуда они были родом. Он был шести футов ростом, необычайно крепок и широк в плечах. Подобно большинству людей, наделенных большой физической силой, он был чрезвычайно добродушен и за это очень любим всеми нами. Остальные четверо братьев тоже были сильны и хорошо сложены, хотя и не могли сравниться с Джоном. Пойндекстер был так же высок, но очень тощ и вид имел необычайно свирепый, хотя, подобно своему старшему брату, отличался миролюбивым нравом. Все они были опытными охотниками и отличными стрелками. Братья охотно приняли предложение Пьера ехать с нами, и мы условились, что они получают из прибылей нашего предприятия такую же долю, что и я, и Пьер; то есть мы должны были разделить всю прибыль на три части — одну мне, другую Пьеру, а третью пятерым братьям.

Шестой человек, завербованный нами на судне, также был хорошим приобретением. Это был Александр Уормли, родом виргинец, человек весьма своеобразный. Он был в свое время проповедником, а затем вообразил себя пророком, отпустил длинную бороду и волосы, ходил босой и всюду держал пылкие речи. Теперь у него появилась другая мания, и он мечтал найти золотые россыпи в каких-нибудь неприступных местах. Это было у него несомненным помешательством, но во всем остальном он был удивительно разумен и сообразителен. Он был хорошим гребцом и хорошим охотником, отличался большой храбростью, а кроме того, немалой физической силой и быстрыми ногами. Я очень рассчитывал на его энтузиазм и, как оказалось, не обманулся.

Остальные двое были: негр по имени Тоби, принадлежавший Пьеру Жюно, и незнакомец, который повстре-

чался нам в лесу возле Миллз Пойнт и немедленно присоединился к нам, едва мы упомянули о своих намерениях. Его звали Эндрью Торнтон; он также был виргинцем и, кажется, из очень хорошей семьи — из Торнтонов, проживающих на севере штата. Он уехал из Виргинии около трех лет назад и все это время скитался по Западу в сопровождении одного лишь огромного пса ньюфаундлендской породы. Он не промышлял пушнины и, как видно, не имел иной цели, кроме удовлетворения своей страсти к бродяжничеству и приключениям. У вечернего костра он часто занимал нас рассказами о своих странствиях и о лишениях, какие он терпел в лесах, говоря о них с прямою и серьезностью, не позволявшими усомниться в его правдивости, хотя многое походило на сказку. Впоследствии мы убедились на опыте, что опасности и тяготы, каким подвергается одинокий охотник, навряд ли могут быть преувеличены и что трудно изобразить их слушателям достаточно яркими красками. Я очень полюбил Торнтона с первого же раза, как увидел его.

О Тоби я сказал всего несколько слов, а между тем он был в нашей экспедиции далеко не последним. Он много лет прожил в семье старого м-сье Жюно и показал себя верным слугой. Для такого предприятия, как наше, он был, пожалуй, чересчур стар, но Пьер не захотел его оставить. Впрочем, он сохранил еще силы и выносливость, Пьер был, вероятно, самым слабосильным из всех, но обладал зато большой рассудительностью и несокрушимым мужеством. Он был чудаковат и порою несдержан, что нередко приводило к ссорам, а раза два поставило под угрозу успех всей экспедиции; но это был верный друг, и за одно это я считал его неоценимым спутником.

Я описал всех членов нашей экспедиции, сколько их было при выезде из Петит Кот¹. Для людей и поклажи, а также для доставки обратно пушнины, которую мы ду-

¹ М-р Родмен не описывает себя самого; а между тем без портрета руководителя описание группы было бы неполным. «Ему было около двадцати пяти лет,— сообщает м-р Джеймс Родмен в особой приписке, лежащей сейчас перед нами,— когда он отправился вверх по реке. Это был человек сильный и подвижной, хотя и невысокий ростом — не более пяти футов и пяти-шести дюймов; плотного сложения, с несколько кривыми ногами. Лицо его было еврейского типа, губы тонкие, выражение лица сумрачное». (Редакторы «Джентлменз маэзин»).— *Примеч.автора.*

мали добыть, у нас имелись две большие лодки. Меньшая представляла собой берестяную пирогу, сшитую волокнами из корней ели и проконопаченную сосновой смолой — настолько легкую, что ее без труда несли шесть человек. Она имела двадцать футов в длину и могла идти на веслах — их могло быть от 4-х до 12-ти. При полной нагрузке она погружалась в воду примерно на восемнадцать дюймов, а пустая — не более чем на десять. Вторую лодку, плоскодонную, нам сделали в Петит Кот (пирог была куплена Пьером у компании, встреченной на Миссисипи). Эта была тридцати футов в длину и при полной нагрузке имела осадку в два фута. Переднюю часть ее занимала палуба в двадцать футов, а под ней — каютка с плотно закрывающейся дверью; там, потеснившись, могли уместиться все члены экспедиции, ибо лодка была очень широкой. Эта часть ее была непроницаема для пуль; промежуток между двух слоев дубовых досок был законопачен пенькой; кое-где мы просверлили маленькие отверстия, чтобы в случае нападения стрелять в противника, а также следить за ним; вместе с тем эти отверстия, при закрытой двери, давали доступ воздуху и свету; на случай надобности у нас имелись для них прочные затычки. Остальная, десятифутовая часть палубы была открытой; здесь было место для шести весел, но чаще всего судно двигалось при помощи шестов, которыми мы работали, переходя вдоль палубы. Была у нас также короткая мачта, которая легко ставилась и снималась; она устанавливалась в семи футах от носа; при благоприятном ветре мы подымали на ней большой прямоугольный парус, а при встречном — убирали его вместе с мачтой.

В особом отделении, отгороженном в носовой части, мы везли десять бочонков хорошего пороха и соответственное количество свинца, из десятой части которого уже были отлиты ружейные пули. Здесь мы спрятали также маленькую медную пушку с лафетом, в разобранном виде, чтобы занимала меньше места; ибо мы считали, что она может пригодиться. Эта пушка была одной из трех, привезенных на пироге по Миссури испанцами за два года до того, и вместе с пирогой пошла ко дну в нескольких милях от Петит Кот. Песчаная мель так сильно

изменила русло в том месте, где опрокинулась пирога, что одну из пушек обнаружил какой-то индеец; с несколькими помощниками он доставил ее в поселок, где продал за галлон виски. Тогда жители Петит Кот вытащили и остальные две. Пушки были очень маленькие, но из хорошего металла и искусной работы, с чеканкой, изображавшей змей, которая бывает иногда на французских полевых орудиях. При пушках было пятьдесят железных ядер, и они также достались нам. Я рассказываю о том, как к нам попала пушка, потому что она, как будет сказано ниже, сыграла важную роль в наших делах. Кроме того, у нас имелось пятнадцать запасных винтовок, упакованных в ящики, которые мы тоже поместили на носу, вместе с прочими тяжестями. Это мы сделали для того, чтобы нос глубоко сидел в воде; так лучше, когда в реке много коряг и всякого топляка.

Другого оружия у нас также было достаточно; у каждого был надежный топорик и нож, не говоря о ружье и патронах. В обе лодки положили по походному котелку, по три больших топора, бечеву, по две клеенки, чтобы укрывать, если понадобится, наш товар, и по две большие губки для вычерпывания воды. У пироги также имелась маленькая мачта с парусом (о которой я забыл упомянуть), а для починок — запас смолы, бересты и «ватапе». Там же мы везли и все товары для индейцев, какие сочли нужным захватить и приобрели на том же судне, ходившем по Миссисипи. Мы не собирались торговать с индейцами, но эти товары были нам предложены по дешевке, и мы решили взять их на всякий случай. Они состояли из шелковых и бумажных платков, ниток, лесок и бечевы; шапок, обуви и чулок, мелкого ножевого и скобяного товара; коленкора, пестрых ситцев и других манчестерских изделий; табаку в пачках, валяных одеял, а также стеклянных побрякушек, бус и т. п. Все это было упаковано небольшими частями так, чтобы каждый из нас мог нести по три таких пакета. Провизия также была удобно упакована и распределена на обе лодки. Всего у нас было двести фунтов свинины, шестьсот фунтов галет и шестьсот фунтов пеммикана. Последний мы взяли в Петит Кот у канадцев, которые сказали нам, что его бе-

руг во все большие экспедиции Северо-Западной Пушной компании, когда опасаются, что не добудут достаточно дичи. Он готовится особым образом. Постное мясо крупных животных нарезается тонкими ломтями и вялится на деревянной решетке над небольшим огнем или выставляется на солнце (как в нашем случае), а иногда и на мороз. Когда оно таким образом провялено, его толкут между двумя тяжелыми камнями, и оно может сохраняться несколько лет. Однако при хранении в больших количествах оно весной начинает бродить, и если его хорошенько не проветрить, оно скоро портится. Нутряной жир растапливают вместе с жиром огузка и смешивают в равных частях с толченым мясом; затем его кладут в мешки, и оно готово к употреблению и очень вкусно, даже без соли и овощей. Самый лучший пеммикан делается с добавлением костного мозга и сушеных ягод и является весьма вкусным блюдом¹. Виски мы везли в оплетенных бутылках по пять галлонов в каждом; таких у нас было двадцать, то есть всего сто галлонов.

Когда мы погрузили все припасы и всех пассажиров, включая собаку Торнтонна, оказалось, что свободного места почти не остается, разве что в большой каюте, которую мы не загрузили, чтобы спать в ней в дурную погоду; здесь у нас хранилось только оружие и боеприпасы; да еще несколько бобровых капканов и медвежья шкура. Теснота подсказала нам мысль, которую надо было осуществить в любом случае, а именно: оставить четырех человек, чтобы шли вдоль берега и стреляли для нас дичь, а одновременно вели разведку, предупреждая нас о появлении индейцев. Для этого мы обзавелись двумя хоро-

¹ Пеммикан, описанный м-ром Родменом, представляет для нас нечто совершенно новое и совсем не похож на тот, о котором наши читатели несомненно узнали из записок Перри, Росса, Бака и других северных путешественников. Тот, как мы помним, готовится посредством длительной варки постного мяса (из которого тщательно удален жир), пока оно не уварится в густую массу. К этой массе добавляются в изобилии припосы и соль, так что даже небольшое ее количество считается весьма питательным. Впрочем, один американский хирург, который имел возможность наблюдать процесс пищеварения через открытую рану в желудке пациента, доказал, что для этого процесса важен именно объем и что концентрация питательных веществ является поэтому в значительной степени бессмыслицей. [Редакторы «Джентлменс мэгэзин»].— *Примеч. автора.*

шими лошадьми; одну дали Роберту и Мередиту Грили, которые должны были следовать южным берегом, другую — Фрэнку и Пойндекстеру Грили, которым предстояло идти по северному берегу. Лошади предназначались для перевозки подстреленной дичи.

Это заметно разгрузило наши лодки, где теперь нас оставалось одиннадцать человек. В меньшую лодку сели двое из Петит Кот, а также Тоби и Пьер Жюно. В большой поместился Пророк (как мы его называли), он же Александр Уормли, Джон Грили, Эндрю Торнтон, трое из Петит Кот и я, да, кроме того, собака Торнтона.

Иногда мы шли на веслах, но большей частью подтягивались, держась за ветви деревьев, росших по берегу, или, где позволяла местность, вели лодки на буксире, что было легче всего; одни шли по берегу и тянули, другие оставались в лодках, отпихиваясь от берега баграми. Очень часто мы все работали баграми. В этом способе передвижения (он хорош, когда на дне не слишком много ила или пльвунов, а глубина не слишком велика) канадцы весьма искусны, так же, как и в гребле. Они пользуются длинными, твердыми и легкими баграми с железными наконечниками; вооружившись ими, они идут к носу судна, по равному числу людей с каждого борта; затем становятся лицом к корме и достают баграми дно; крепко упираясь в него, каждый нажимает на конец багра плечом, подложив подушку; идя вдоль судна, они с большой силой толкают его вперед. С такими баграми не нужен рулевой, так как багры направляют судно с удивительной точностью.

Пользуясь всеми этими способами, а иногда, при быстром течении или на мелководье, вынужденные пробираться вброд и тащить наши лодки, мы начали свое богатое событиями путешествие вверх по Миссури. Шкуры, являвшиеся основной целью экспедиции, мы должны были добывать главным образом охотой и трапперством, стараясь оставаться незамеченными и не прибегая к торгу с индейцами, ибо знали их по опыту за коварный народ, с которым столь малочисленной экспедиции, как наша, лучше не иметь дела. Меха, которые добывались в этих местах нашими предшественниками, включали бобра, выдру,

куницу, рысь, норку, ондатру, медведя, обычную лису, лису мелкой породы, росомаху, енота, ласку, волка, бизона, оленя и лося; но мы решили ограничиться наиболее ценными из них.

Великолепная погода в день нашего отъезда из Петит Кот вселила в нас надежду и настроила всех чрезвычайно весело. Лето еще только начиналось, и ветер, который сперва сильно дул нам навстречу, дышал весенней негой. Солнце светило ярко, но еще не жгло. Лед на реке уже сошел, и обильные воды скрыли от глаз илистые наносы, которые при низкой воде так портят вид берегов Миссури. Сейчас река величаво текла мимо одного из берегов, заросшего ивой и канадским тополем, и мощно била в крутые утесы другого берега. Глядя вверх по реке (она здесь уходила прямо на запад, пока вода не сливалась вдали с небом) и размышляя об обширных пространствах, по которым протекли эти воды,— пространствах, еще не известных белому человеку и быть может изобилующих редчайшими творениями Бога,— я почувствовал никогда прежде не испытанное волнение и втайне решил, что только неодолимые препятствия помешают мне плыть по этой величавой реке дальше всех моих предшественников. В эти минуты я ощущал в себе сверхчеловеческие силы и испытывал такой душевный подъем, что лодка показалась мне тесной. Мне хотелось быть на берегу вместе с братьями Грили и вприпрыжку мчаться по прерии, давая волю обуревавшим меня чувствам. Эти чувства полностью разделял со мною Торнтон; его живой интерес к нашему предприятию и восхищение окружавшею нас красотой особенно расположили меня к нему с той минуты. Никогда в жизни я не испытывал так сильно, как тогда, потребность в друге, с которым я мог бы беседовать свободно и не боясь быть неверно понятым. Внезапная потеря всех близких, отнятых у меня смертью, опечалила, но не подавила мой дух, обратившийся за утешением к девственной Природе; но оказалось, что ее созерцанием и навеваемыми ею размышлениями можно насладиться вполне только в обществе человека, способного чувствовать одинаково со мной. Торнтон был именно тем, кому я мог излить переполненную душу и высказать

самые бурные чувства, не опасаясь насмешек и даже с уверенностью, что найду в нем столь же восторженного слушателя. Ни прежде, ни после я не встречал никого, кто бы так понимал мое отношение к природе; уже одного этого было достаточно, чтобы связать меня с ним крепкой дружбой. Все время, пока длилась наша экспедиция, мы были близки, как могут быть близки братья, и я ничего не предпринимал, не посоветовавшись с ним. Я был дружен также и с Пьером, но с ним меня не связывала общность мыслей — эта прочнейшая из всех связей между людьми. Хотя и чувствительный по натуре, Пьер был чересчур легкомысленным, чтобы понять мой благоговейный восторг.

Первый день нашего путешествия не ознаменовался никакими примечательными событиями, не считая того, что к вечеру мы с некоторым трудом прошли мимо устья большой пещеры, находившейся на южном берегу реки. Пещера выглядела очень мрачно; она находилась у подножия огромного, футов в двести, утеса, несколько вдававшегося в реку. Мы не могли ясно разглядеть глубину пещеры, но в высоту она имела футов шестнадцать-семнадцать, а в ширину не менее пятидесяти¹. Течение в том месте весьма быстрое, а так как утес не позволял идти

¹ Упоминасмая здесь пещера известна купцам и речникам под названием «Таверны». На утесах видны причудливые рисунки, которые некогда весьма почитались индейцами. Эта пещера, по словам капитана Льюиса, имеет в ширину 120 ф., в высоту 20, в глубину 40, а высота нависшей над нею скалы составляет почти 300 ф. Мы хотим обратить внимание читателя на то обстоятельство, что данные мистера Родмена неизменно оказываются скромнее данных капитана Льюиса. При всей своей явной восторженности наш путешественник никогда не преувеличивает фактических данных. В этом случае, как во многих других, его указания на размеры (в полном смысле этого слова) нигде не преувеличены, как доказывается позднейшими сведениями. Мы считаем это весьма ценной чертой; и она несомненно внушает полное доверие к его описаниям тех мест, о которых мы знаем только с его слов. Что касается впечатлений, тут мистеру Родмену свойственно сгущать краски. Так, например, описываемую пещеру он называет *очень мрачной*, по эту окраску ей придает его собственное сумрачное настроение в час, когда он плыл мимо. Это следует помнить при чтении его записок. Фактов он никогда не преувеличивает; его впечатления от этих фактов могут показаться преувеличенными. Но в этих преувеличениях нет никакой фальши; все дело в чувстве, вызываемом у него увиденными предметами. Колорит, который может показаться кричащим, для него был единственно верным. [Редакторы «Джентльменз мэгэзин»].— *Примеч. автора.*

бечевой, то миновать его оказалось очень трудно; для этого всем, кроме одного человека, пришлось перебраться в большую лодку. Один из нас остался в пироге и укрепил ее на якоре ниже пещеры. Взявшись все за весла, мы провели большую лодку по трудному месту, а пироге бросили канат, с помощью которого потянули ее за собою, когда прошли достаточно вверх по течению. За этот день мы прошли мимо рек Боном и Оседж Фам, с двумя небольшими притоками и несколькими островками. Несмотря на встречный ветер, мы сделали около двадцати пяти миль и расположились на ночлег на северном берегу, у подножия холма, немного ниже порога, называемого Дьябль.

4 июня. Рано утром Фрэнк и Пойндекстер Грили принесли нам жирного оленя, которым все мы с большим удовольствием позавтракали, а затем бодро продолжали путь. У порога Дьябль течение с большой силой бьет о скалы, вдающиеся в реку с юга и сильно затрудняющие плавание. Немного выше нам повстречалось несколько плывунов, доставивших много хлопот; в этом месте берег все время осыпается и с течением времени сильно изменяет русло. В восемь часов подул свежий ветер с востока, и с его помощью мы поплыли быстрее, так что к вечеру сделали, вероятно, тридцать миль или более. С севера мы миновали реку Дю Буа, приток, называемый Шарите¹, и несколько маленьких островков. Вода в реке быстро прибывала; мы остановились на ночлег под купою канадских тополей, так как на самом берегу не оказалось места, пригодного для лагеря. Погода была отличная, и я был чересчур взволнован, чтобы уснуть; попросив Торнтонна сопровождать меня, я пошел прогуляться по окрестностям и возвратился только перед рассветом. Остальные впервые разместились в каюте, и она оказалась достаточно просторной, чтобы вместить еще пять-шесть человек. Ночью их потревожил странный шум на палубе, причину которого не удалось выяснить, ибо когда некоторые выбежали посмотреть, там никого не было. Судя по их описанию шума, я заключил, что это могла быть ин-

¹ Вероятно, *Ла Шаррет*. Дю Буа — это, несомненно, *Вуд Ривер*. (Редакторы «Джентльменз мэгезин»).

дейская собака, которая учуяла свежее мясо (вчерашнюю оленину) и пыталась унести часть его. Это объяснение вполне меня удовлетворило; однако происшествие показало нам, как опасно не выставлять по ночам часовых; мы решили на будущее держаться этого правила.

[Описав первые два дня пути словами мистера Родмена, мы не последуем за ним до устья Платт, которого он достиг десятого августа. Эта часть реки настолько известна и столько раз описана, что еще одно описание было бы излишним, тем более что эти страницы записок не содержат ничего, кроме общих сведений о местности и обычных подробностей охоты или управления лодками. Экспедиция трижды останавливалась, чтобы заняться трапперством, но без особого успеха; поэтому было решено продвинуться дальше в глубь края, прежде чем всерьез добывать пушнину. За два месяца, описание которых мы опускаем, в записках отмечено всего два сколько-нибудь важных события. Одним из них была гибель одного из канадцев, Жака Лозанн, от укуса гремучей змеи; вторым — появление испанских чиновников, посланных комендантом провинции, чтобы перехватить экспедицию и заставить ее повернуть назад. Однако старший из них так заинтересовался экспедицией и почувствовал такую симпатию к мистеру Родмену, что нашим путешественникам разрешили плыть дальше. Временами появлялись мелкие группы индейцев из племен оседж и канзас, не проявлявшие, впрочем, никакой враждебности. Оставшиеся четырнадцать путешественников десятого августа 1791 года достигли устья реки Платт, где мы их на некоторое время покинем].

Глава III

[Достигнув устья реки Платт, наши путешественники сделали трехдневную остановку, во время которой они сушили и проветривали шкуры и провизию, мастерили новые весла и багры и чинили берестяную пирогу, получившую сильные повреждения. Охотники в изобилии доставляли дичь, которой до краев загрузили лодки. Там

было вдоволь оленей, а также индеек и жирных куропа-ток. Кроме того, путешественники лакомились различными видами рыб, а неподалеку от берега нашелся отличный дикий виноград. Индейцы не показывались уже более двух недель, ибо начался охотничий сезон, и они несомненно ушли в прерию охотиться на бизонов. Прекрасно отдохнув, путешественники снялись с лагеря и поплыли дальше вверх по Миссури. Здесь мы снова приводим подлинный текст дневника].

14 августа. — Идем при отличном юго-восточном ветре, держась южного берега и используя водовороты; идем очень быстро, несмотря на течение, которое на середине чрезвычайно сильно. В полдень мы остановились, чтобы осмотреть любопытные холмы на юго-западном берегу, где почва на пространстве более 300 акров значительно понижается. Поблизости находится большой водоем, который, очевидно, вобрал воду со всей низины. По ней всюду разбросаны курганы различной высоты и формы, из песка и глины; самые высокие находятся ближе всего к реке. Я не мог решить, были ли эти холмы естественными или насыпными. Можно было бы предположить, что они насыпаны индейцами, если бы не общий характер почвы, по которой, видимо, прошли бурные воды¹. Здесь мы провели остаток дня, проделав всего двадцать миль.

15 августа. — Сегодня дул сильный и неприятный встречный ветер, и мы прошли всего пятнадцать миль и то с большим трудом, а на ночь расположились под обрывом на северном берегу — первым обрывом на этом берегу, какой нам встретился от самой реки Нодавэй. Ночью полил проливной дождь; братья Грили пригнали лошадей и укрылись в каюте. Роберт вместе с лошадью переплыл реку с южного берега, а потом отправился в пироге за Мередитом. Эти подвиги он совершил словно шутя, хотя ночь выдалась на редкость темная и бурная, а вода

¹ Сейчас установлено, что эти курганы указывают место древнего поселения некогда могучего племени оттов. Почти истребленные постоянными войнами, отты отделились под покровительство племени поуни и поселились к югу от реки Платт, милях в тридцати от ее устья. [Редакторы «Джентлменз мэгезин»].— *Примеч. автора.*

в реке сильно поднялась. Мы все уютно поместились в каюте, ибо снаружи было довольно холодно, и Торнтон долго занимал нас рассказами о своих приключениях с индейцами на Миссисипи. Его огромный пес, казалось, с величайшим вниманием вслушивался в каждое его слово. Рассказывая что-либо особенно неправдоподобное, Торнтон с полной серьезностью призывал его в свидетели. «Нэп,— говорил он,— помнишь, как было дело?» или: «Нэп может это подтвердить,— верно, Нэп?», и пес при этом таращил глаза, высовывал огромный язык и кивал кудлатой головой, словно говоря: «Верно, как Библия». Зная, что он был нарочно обучен этому фокусу, мы все равно не в силах были удержаться от смеха всякий раз, как Торнтон к нему обращался.

16 августа. — Сегодня рано утром миновали остров и приток шириною около пятнадцати ярдов, а двенадцатью милями дальше — большой остров, расположенный посредине реки. Сейчас по северному берегу все время тянется возвышенность — прерия и лесистые холмы, — а по южному — низина, поросшая канадским тополем. Река крайне извилиста и течет не так быстро, как ниже впадения Платт. Леса стало меньше; если встречается, то большей частью вяз, канадский тополь, гикори и грецкий орех, иногда дуб. Почти весь день дул сильный ветер, и при содействии ветра и течения мы успели до ночи пройти 25 миль. Лагерь разбили на южном берегу, на равнине, заросшей высокой травой, с множеством сливовых деревьев и кустов смородины. Над ней подымался крутой лесистый холм; взойдя на него, мы увидели другую прерию, тянувшуюся примерно на милю, а за ней — еще одну, насколько хватал глаз. С горы над нашей стоянкой открывался один из прекраснейших ландшафтов в мире¹.

17 августа. — Мы остались здесь на весь день и занялись различными делами. Позвав с собою Торнтон с его собакой, я немного прошел к югу и был очарован пышной красотой местности. Эта прерия превосходила все, о чем рассказывается в сказках «Тысячи и одной ночи». По бе-

¹ Утесы Совета [Редакторы «Джентлмена мэгезин»].— *Примеч. автора.*

регам притока в изобилии росли цветы, казавшиеся скорее творениями искусства, нежели природы, — так богато и причудливо сочетались их яркие цвета. От их пьянящего аромата в воздухе было почти душно. Там и сям, среди океана пурпурных, синих, оранжевых и алых цветов, качавшихся под ветром, попадались зеленые островки деревьев. Эти купы состояли из величественных лесных дубов; трава под ними казалась ковром из нежнейшего зеленого бархата, а по могучим стволам взбирались пышные лозы, отягощенные сладкими зрелыми гроздьями. Вдали величаво текла Миссури; многие разбросанные по ней настоящие острова были сплошь покрыты сливовыми и другими деревьями; кое-где острова пересекались в разных направлениях узкими и извилистыми тропами, похожими на аллеи английского парка; на них мы постоянно видели то лося, то антилопу, которые, очевидно, и протоптали их. На закате мы возвратились в лагерь в восхищении от нашей прогулки. Ночь была теплая, и нам сильно досаждали москиты.

18 августа. — Сегодня мы проходили место, где река сужается почти до 200 ярдов, но течет быстро и загромождена древесными стволами. Большая лодка напоролась на корягу и до половины наполнилась водой, прежде чем мы ее вызволили. Из-за этого пришлось остановиться и осмотреть наши вещи. Часть сухарей подмокла, но порох остался сухим. На это ушел весь день, и мы сделали всего пять миль.

19 августа. — Сегодня вышли в путь рано и успели много пройти. Погода была прохладная и облачная, а в полдень нас окатил ливень. По южному берегу миновали приток, устье которого почти загорожено большим песчаным островом причудливой формы. После этого прошли еще пятнадцать миль. Холмы теперь отступают от реки и отстоят друг от друга на 10 — 20 миль. На северном берегу много хорошего леса, на южном — очень мало. Вдоль реки тянется великолепная прерия, а на самом берегу мы собираем виноград четырех или пяти сортов, вкусный и совершенно зрелый, в том числе отличный крупный виноград пурпурного цвета. Наши охотники с обоих берегов пришли на ночь в лагерь и принесли больше дичи, чем

мы могли осилить, — куропаток, индеек, двух оленей, антилопу и множество желтых птиц с черными полосами на крыльях; последние оказались удивительно вкусными. За этот день мы прошли около 20 миль.

20 августа. Сегодня утром река полна песчаных мелей и других преград; однако мы не унывали и к ночи добрались до устья довольно большого притока в 20 милях от предыдущего ночлега. Этот приток расположен на северном берегу; напротив его устья лежит большой остров. Здесь мы разбили лагерь, решив остаться на четыре или пять дней для ловли бобров, так как заметили вокруг много бобровых следов. Этот остров — одно из самых сказочных мест в мире; он преисполнил меня восхитительными и новыми впечатлениями. Все окружающее походило больше на сны, которые я видел в детстве, чем на действительность. Берега полого спускались к воде и были покрыты, точно ковром, мягкой ярко-зеленой травой, видной даже под водой, на некотором расстоянии от берега; особенно с севера, где в реку впадал приток с прозрачной водой. Весь остров, размером примерно в двадцать акров, был окаймлен канадскими тополями; их стволы были увиты виноградными лозами со множеством гроздьев, сплетавшимися так тесно, что это едва позволяло разглядеть реку. Внутри этого круга трава была несколько выше и грубее, в бледно-желтую или белую продольную полоску; она издавала удивительно приятный аромат, напоминавший запах ванили, но гораздо сильнее, так что весь окружающий воздух был им напоен. Очевидно, английская глицерия относится к тому же семейству, но значительно уступает этой по красоте и аромату. Трава повсюду была усеяна бесчисленными яркими цветами, большей частью очень душистыми — голубыми, белыми, ярко-желтыми, пурпурными, малиновыми, ярко-алыми, а иногда — с полосатыми лепестками, подобно тюльпанам. Местами виднелись группы вишневых и сливовых деревьев; по всему берегу острова вились многочисленные узкие тропинки, протоптанные лосями или антилопами. Посреди его, из отвесной скалы, сплошь покрытой мхом и цветущей лозой, пробивался родник с прозрачной и вкусной водой. Все это удивительно походило на искусно разби-

тый сад, но было несравненно красивей, напоминая волшебные сады, о которых можно прочесть в старинных книгах. Мы были в восторге от местности и приготовились разбить свой лагерь среди всего этого безлюдного великолепия.

{Здесь экспедиция провела неделю, в течение которой осмотрела прилегающую местность во многих направлениях и добыла некоторое количество шкур, главным образом на упомянутом выше притоке. Погода стояла отличная, и путешественники предавались в этом земном раю ничем не омраченному блаженству. Однако мистер Родмен не забывал о необходимых предосторожностях и каждую ночь выставлял часовых, пока остальные веселились, собравшись в лагере. Никогда еще они так не пировали и не пили. Канадцы показали себя с самой лучшей стороны, когда требовалось спеть песню или осушить кружку. Они только и делали, что стряпали, ели, плясали и во все горло пели веселые французские песни. Днем им обыкновенно поручали охрану лагеря, пока более солидные участники экспедиции уходили охотиться или ставить капканы. Однажды мистеру Родмену представилась отличная возможность наблюдать повадки бобров; его рассказ об этих своеобразных животных весьма интересен, тем более что в некоторых отношениях значительно отличается от других имеющихся описаний.

Как обычно, его сопровождал Торнтон со своей собакой, и они прошли вдоль небольшого притока к его верховьям на возвышенности, примерно в 10 милях от реки. Наконец они добрались до места, где сооруженная бобрами запруда образовала большое болото. В одном его конце густо росли ивы; некоторые нависали над водой, и в этом месте наши путешественники увидели несколько бобров. Они подкрались к ивам и, приказав Нептуну лежать поодаль, сумели, незамеченные, влезть на толстое дерево, с которого могли вблизи наблюдать все происходящее.

Бобры чинили часть своей запруды, и можно было видеть весь ход работ. Строители по одному подходили к краю болота, держа в зубах небольшие ветки. Каждый шел к плотине и тщательно укладывал ветку в продоль-

ном направлении там, где запруду прорвало. Сделав это, он тут же нырял, а через несколько секунд появлялся на поверхности с комом ила, из которого он сперва выжимал большую часть влаги и которым затем обмазывал только что уложенную ветку, орудуя задними лапами и хвостом (последний служил ему мастерком). После этого он уходил, а за ним быстро следовал второй член общины, прodelывавший то же самое.

Таким образом повреждение в запруде быстро чинилось. Родмен и Торнтон более двух часов наблюдали за этой работой и свидетельствуют о высокой искусности строителей. Но едва бобр отходил от края болота за новой веткой, они теряли его из виду среди ив, к большому своему огорчению, ибо хотели проследить все его действия. Однако, взобравшись несколько выше по дереву, они скоро все увидели. Бобры, как видно, свалили небольшой клен и обгрызли с него почти все тонкие ветки; несколько бобров обгрызали оставшиеся ветки и направлялись с ними к плотине. Тем временем большая группа животных окружила гораздо более толстое и старое дерево и также готовилась его свалить. Вокруг дерева собралось около шестидесяти бобров; шесть-семь из них работало одновременно: если один из них уставал, он отходил и его место занимал другой. Когда наши путешественники увидели этот клен, он был уже сильно подгрызен, но только со стороны, обращенной к болоту, на краю которого он рос. Надрез имел в ширину почти фут и был сделан так чисто, точно его вырубил топором; а земля вокруг была усеяна тонкими, как соломинки, длинными щепками, которые животные выгрызли, но не съели, так как, видимо, едят только кору. Работая, некоторые из них сидели на задних лапах, как часто сидят белки, и грызли ствол, опираясь передними лапами о край выемки и глубоко засунув туда головы; два бобра целиком влезли внутрь и лежа усердно работали зубами; там их часто сменяли другие.

Хотя путешественники сидели в весьма неудобных позах, им так хотелось увидеть, как упадет клен, что они оставались на своем посту до заката, то есть целых восемь часов. Больше всего хлопот им причинил Непгун, ко-

того с трудом удавалось удерживать от того, чтобы он не кинулся в болото за работниками, чинившими запруду. Производимый им шум несколько раз спугивал грызунов, которые все как один настораживались и долго прислушивались. Однако к вечеру пёс прекратил свои выходы и лежал спокойно; а бобры работали без усталости.

На закате среди лесорубов было замечено волнение; все они разом отбежали к той стороне дерева, которая не была повреждена. Спустя мгновение оно начало клониться на подгрызенную сторону, пока не сошлись края надреза, но все еще не падало, поддерживаемое отчасти нетронутой корой. На нее-то и накинuloсь теперь столько работников, сколько могло уместиться, и она очень быстро была перегрызена; тогда огромный ствол, которому уже был искусно придан нужный наклон, упал с громким треском, расстилая свои верхние ветви по поверхности болота. Закончив это дело, артель, очевидно, решила, что заслужила отдых, и, прекратив работу, бобры принялись гоняться друг за другом в воде, ныряя и шлепая хвостами по поверхности.

Приведенное здесь описание порубок, производимых бобрами, является наиболее подробным из всех, какие мы читали, и не содержит сомнений в сознательности всех действий животного. Из него ясно следует, что бобры намеренно валят дерево в направлении к воде. Вспомним, что капитан Бонвиль отрицает эту предполагаемую мудрость животного и считает, что его цель не идет дальше того, чтобы свалить дерево, без каких-либо тонких расчетов относительно того, как это делать. Такие расчеты, по его мнению, приписываются бобрам из-за того, что все деревья, растущие у воды, либо наклонены к ней, либо тянутся туда своими наиболее крупными ветвями, находя именно там больше всего света, простора и воздуха. Он полагает, что бобр, естественно, берется за ближайшие деревья, то есть крайние к воде, а они, будучи подгрызены, падают именно в сторону воды. Мысль эта представляется убедительной, но она отнюдь не исключает сознательного намерения в действиях бобра, который по уму стоит в лучшем случае ниже многих видов низших животных — несравненно ниже муравьиного льва,

пчел и коралловых полипов. Скорее всего бобр, если бы он имел выбор между двумя деревьями, из которых одно тяготеет к воде, а другое — нет, свалил бы первое, не соблюдая описанных предосторожностей, в данном случае излишних, но соблюдал бы их, сваливая второе.

Далее в дневнике сообщаются другие сведения о повадках этого своеобразного зверька и о том, как путешественники на него охотились; ради связности повествования мы приводим их здесь. Основной пищей бобрам служит кора, и они запасают ее на зиму в большом количестве, тщательно выбирая нужный им сорт. За корой отправляется все поселение бобров, насчитывающее иной раз две и три сотни животных; они проходят мимо зарослей по видимости одинаковых деревьев, пока не найдут того, что им нравится. Тогда они валят дерево, отгрызают самые молодые ветки, разгрызают их на куски равной длины и обдирают с них кору, которую сносят к ближайшему ручью, текущему к их поселению, и по нему сплавляют. Иногда они запасают такие отрезки ветвей, не обдирая с них кору; тогда они тщательно убирают из своего жилья эти древесные отходы и, как только кора съедена, относят их на некоторое расстояние. Весной самцы никогда не бывают дома, а кочуют поодиночке или по два и три и тогда теряют обычную осторожность, легко становясь добычей траппера. Летом они возвращаются к своему клану и вместе с самками начинают делать запасы на зиму. Будучи раздражены, они, как говорят, проявляют крайнюю свирепость.

Иногда их можно поймать на суше, особенно весной; когда самцы часто отдаляются от воды в поисках пищи. Застигнутых таким образом, их легко убить ударом палки; но самым верным способом является капкан. Это простое сооружение, куда животное попадает лапой. Траппер обычно помещает его у берега, под самой поверхностью воды, прикрепив короткой цепью к шесту, воткнутому в ил. В отверстие капкана вставляется тонкая веточка; другой ее конец выходит на поверхность воды и пропитывается жидкой приманкой, своим запахом привлекающей бобров. Почуввав этот запах, животное трется носом о ветку и при этом наступая на капкан; тот захлопывается, и

бобр пойман. Капкан делается очень легким, для удобства переноски, и добыча легко могла бы уплыть вместе с ним, не будь он прикреплен к шести цепью; — ничто другое не может устоять против зубов бобра. Опытный траппер легко обнаруживает присутствие бобров в любом пруду или реке по тысяче признаков, ничего не говорящих неопытному наблюдателю.

Многие из бобров-лесорубов, за которыми столь внимательно наблюдали двое из путешественников, попали впоследствии в капкан, и их великолепный мех стал добычей трапперов, порядком опустошивших норы на болоте. В других водах, поблизости, им также удалось немало поживиться; и им надолго запомнился островок в устье одного притока, названный ими Бобровым. Двадцать седьмого числа того же месяца они покинули это райское местечко, очень довольные, и, продолжая свое, пока еще не слишком богатое событиями, плавание вверх по реке, первого сентября без особых приключений достигли устья большой реки, впадающей в Миссури с юга, которую они назвали Смородиновой из-за обилия этих ягод по берегам; но это была, без сомнения, река Кикурр. В дневнике за этот период упоминаются большие стада бизонов, повсюду темневшие среди прерии, а также остатки укреплений на южном берегу реки, почти напротив южной оконечности острова, впоследствии названного Боном Айленд. Подробное описание этих укреплений в основном совпадает с тем, которое дают капитаны Льюис и Кларк. С севера путешественники миновали реки Малая Сиу, Флорид, Большая Сиу, Уайт Стоун и Жак, а с юга — приток Вавандисенш и реку Уайт Пейнт; но нигде долго не задерживались. Они миновали также большое селение племени омаха, о котором дневник даже не упоминает. В то время это селение насчитывало не менее трехсот жилищ и давало приют многочисленному и могучему племени; но оно несколько удалено от берегов Миссури, и лодки, вероятно, прошли мимо него ночью — ибо из опасения наткнуться на индейцев сиу экспедиция стала теперь передвигаться по ночам. Со 2 сентября мы продолжаем рассказ словами мистера Родмена].

2 сентября. Мы достигли мест, где, по слухам, следует опасаться индейцев, и стали продвигаться с величайшей осторожностью. Здешняя местность населена индейцами сиу, племенем воинственным и свирепым, которое не раз проявляло враждебность к белым и, как из вестно, непрестанно воюет со всеми соседними племенами. Канадцы немало говорили об их свирепости, и я очень опасался, как бы эти трусы при случае не сбежали и не вернулись на Миссисипи. Чтобы им было труднее это сделать, я снял одного из них с пироги, а на его место посадил Пойндекстера Грили. Все братья Грили пришли с берега, отпустив лошадей на волю. Теперь мы разместились следующим образом: в пироге — Пойндекстер Грили, Жюно, Тоби и один из канадцев; в большой лодке — я, Торнтон, Уормли, Джон, Фрэнк, Роберт и Мередит Грили, трое канадцев и собака. Мы выехали с наступлением сумерек и благодаря свежему ветру с юга успели пройти немало, хотя в темноте нам сильно мешали мели. Однако мы безостановочно продвигались вперед, а незадолго до рассвета вошли в устье притока и укрыли лодки в кустах.

3 и 4 сентября. Эти два дня лил дождь и бушевал ветер, так что мы не покидали своего укрытия. Дурная погода очень нас угнетала, а рассказы канадцев о свирепых сиу также не улучшали настроения. Мы собрались в каюте большой лодки и стали держать совет относительно дальнейшего пути. Братья Грили высказались за смелый бросок через опасную местность и утверждали, что рассказы путешественников страдают преувеличениями и что сиу будут лишь слегка досаждать нам, не вступая в бой. Однако Уормли и Торнтон, а также Пьер (все — хорошо знакомые с повадками индейцев) считали, что лучше действовать так, как до сих пор, хотя это могло надолго нас задержать. Я был того же мнения; идя, как мы шли до тех пор, мы могли избежать стычки с сиу, а промедление я не считал большой бедой.

5 сентября. Двинулись в путь ночью и проделали около десяти миль, а затем стало светать, и мы, как и раньше, спрятали лодки в узком притоке, весьма удобном для этой цели, ибо его устье было почти целиком перегорожено лесистым островком. Снова начался проливной дождь, и

мы промокли до нитки, прежде чем проделали все необходимое и могли укрыться в каюте. Ненастная погода действовала угнетающе; особенно приуныли канадцы. Мы находились теперь в узкой части реки, с быстрым течением; с обеих сторон над водой нависали утесы, густо поросшие липой, дубом, черным орехом, вязом и каштанами. Мы знали, что в такой теснине трудно оставаться незамеченными, даже ночью, и наши опасения очень усилились. Мы решили не отправляться дальше до поздней ночи и двигаться с большой осторожностью. А тем временем мы выставили часового на берегу и еще одного — в пироге, пока остальные осматривали оружие и боеприпасы, готовясь к худшему.

Около десяти часов мы собрались отплыть, как вдруг наша собака тихо зарычала; это заставило нас всех схватиться за ружья; однако причиной тревоги оказался одинокий индеец племени понка, который, не таясь, подошел к часовому, стоявшему на берегу, и протянул руку. Мы привели его на борт и угостили виски, отчего он сделался весьма общителен и рассказал, что его племя, живущее в нескольких милях ниже по течению, уже не первый день наблюдает наше передвижение; но что понка настроены дружелюбно и не тронут белых людей, а когда мы пойдем в обратный путь, готовы к меновому торгу. Его послали предостеречь белых против сиу, известных грабителей, которые устроили засаду в двадцати милях выше, где река образует излучину. «Их там — три отряда, — сообщил он, — и они намерены убить вас всех, в отместку за оскорбление, много лет назад нанесенное их вождю неким французским траппером».

Глава IV

{Мы покинули наших путешественников 5 сентября, в ожидании нападения сиу. Преувеличенные слухи о свирепости этого племени внушали экспедиции сильное желание избежать встречи; но из сообщения дружественного понки явно следовало, что встреча неизбежна. Путешественники отказались от ночных пе-

редвижений, признав эту тактику неправильной, и постановили действовать решительно и выказывать полное бесстрашие. Остаток ночи прошел в военных приготовлениях. Большую лодку освободили, насколько было возможно, для этой цели, придав ей самый грозный вид, какой сумели. В числе прочих приготовлений к обороне путешественники подняли снизу пушку и установили ее на палубе, над каютой, приготовив и пули для пальбы картечью. Перед восходом солнца путешественники отплыли с вызывающей смелостью, при сильном попутном ветре. Чтобы враг не увидел признаков страха или подозрительности, канадцы запели, а все остальные подхватили удалую походную песню, так что по лесу пошел гул, и бизоны в изумлении глядели им вслед.

Как видно, индейцы *сиу* были для мистера Родмена жупелом *par excellence*¹, и он особо останавливается на их военных подвигах. Из его подробного описания нравов этого племени мы приводим лишь то, что содержит нечто новое или имеет важное значение. Название «*сиу*» дано этим индейцам французами; англичане превратили его в «*сю*». Кажется, их туземное название — *даркоты*. Они жили некогда на Миссисипи, но постепенно расширили свои владения и к тому времени, когда писался дневник, занимали почти всю обширную территорию между Миссисипи, Саскачеваном, Миссури и Красной рекой, впадающей в озеро Виннипег. Они делились на множество кланов. Собственно даркотами были виновакнты, которых французы называли *Gens du Lac*², их было примерно пятьсот воинов, живших по обоим берегам Миссисипи, вблизи водопада Св. Антония. Соседями виновакнтов, жившими к северу от них, на реке Сент-Питер, были вапатоми, насчитывавшие около двухсот воинов. Выше по реке Сент-Питер жила группа в сто человек, которая называла себя ваппитути, а у французов была известна как *Gens des Feuilles*³. Еще выше по реке, в ее верховьях, обитали сисситуни, числом около двухсот. На Миссури

¹ В особенности, по преимуществу (*фр.*).

² Озерные люди (*фр.*).

³ Лиственные люди (*фр.*).

жили янктоны и тетоны. Первые делились на две ветви, северную и южную, из которых первая, насчитывавшая около пятисот человек, кочевала в долине, откуда начинаются реки Красная, Сиу и Жак. Южная ветвь владела землей между рекой Де Мойн и реками Жак и Сиу. Но самыми свирепыми из всех сиу слывут тетоны; а они делятся на четыре племени: саони, миннакенози, окайденди и буа-брюле. Последние, те, что подкарауливали наших путешественников в засаде, были самыми дикими и грозными из всех; их насчитывалось около двухсот, и они жили по обоим берегам Миссури, вблизи рек, которым капитаны Льюис и Кларк дали название реки Белой и реки Тетон. Ниже реки Шайенн жили окайденди, в количестве полутора ста человек. Миннакенози, числом двести пятьдесят, занимали землю между Шайенн и Ватарху; а саони, наиболее крупный из кланов тетонов, насчитывавший до трехсот воинов, жили вблизи Вареконн.

Кроме этих четырех племен — коренных сиу — было еще пять отколовшихся, которые назывались ассинибойны. Из них ассинибойны менатопа, в количестве двухсот, жили на Мышиной реке, между рекой Ассинибойн и Миссури; двести пятьдесят *Gens des Feuilles* занимали оба берега реки Белой; Большие Дьяволы, насчитывавшие четыреста пятьдесят человек, кочевали в верховьях реки Дикобразов и реки Молочной, а еще две группы, названия которых не упомянуты, бродили вдоль Саскачевана, общим числом около семисот. Эти отколовшиеся группы часто воевали с материнским племенем сиу.

Внешний облик сиу обычно уродлив; их конечности, по нашим понятиям о пропорциях тела, слишком коротки по сравнению с туловищем; у них выступающие скулы и выпуклые, тусклые глаза. Мужчины бреют голову, оставляя лишь длинную прядь на макушке, которая спускается им на плечи в виде косы; эту прядь они очень холят, но иногда срезают, по случаю особого торжества или траура. Вождь сиу в полном боевом облачении представляет поразительное зрелище. Все его тело вымазано жиром и углем. Рубаха из шкур достигает талии и подпоясана кушаком примерно в дюйм шириною, из такой же шкуры или материи; к нему прикреплено одеяло или шкура,

продетая между ног. На плечах у него плащ из отбеленной шкуры бизона, которую в хорошую погоду носят мехом внутрь, а в дождь — мехом наружу. Плащ достаточно велик, чтобы можно было завернуться в него целиком, и часто украшен иглами дикобраза (которые гремят при движениях воина), а также множеством грубо нарисованных эмблем, указывающих на воинственность его владельца. На голове вождя укреплено ястребиное перо и иглы дикобраза. Вместо панталон — поножи из выделанной шкуры антилопы, с боковыми швами дюйма в два шириною и украшениями из прядей волос, взятых у какого-нибудь оскальпированного врага. Мокасины сшиты из шкуры лося или бизона мехом внутрь; в торжественных случаях вождь волочит за каждым из мокасин хорьковую шкурку. Сиу питают пристрастие к этому неприятному животному и любят делать из его шкуры кисеты и другие вещи.

Замечательна также одежда жены вождя. Ее длинные волосы разделены пробором и спускаются по спине или собраны в подобие сетки. Мокасины ее не отличаются от мужниных, но поножи достигают только колен, где их прикрывает неуклюжая рубаха из лосиных шкур, которая спускается до лодыжек, а сверху укрепляется веревкой. В талии она обычно подпоясана, а поверх всего накинут плащ из бизоньей шкуры, такой же, как у мужчин. Вигвамы тетонов хорошо построены; они делаются из отбеленных бизоньих шкур и укрепляются на шестах.

Это племя наводняет берега Миссисипи на протяжении более ста пятидесяти миль; по большей части это прерия, на которой местами встречаются холмы. Последние неизменно прорезаны глубокими оврагами и лощинами, которые в середине лета пересыхают, а в период дождей служат руслом мутных и бурных потоков. Их края как сверху, так и внизу заросли густым кустарником, но преобладает открытая ветрам безлесная низина, поросшая буйной травой. Почва сильно насыщена разнообразными минералами, в том числе глауберовой солью, медью, серой и квасцами, которые окрашивают воды реки и сообщают ей отвратительный запах и вкус. Из диких животных чаще всего встречаются бизоны, олени, лоси и

антилопы. Здесь мы опять даем слово автору дневника].

6 сентября. Плыли по открытой местности; погода стояла отличная, так что все мы были настроены довольно бодро, несмотря на ожидание нападения. До сих пор мы еще не видели ни одного индейца и быстро продвигались по их опасным владениям. Я, однако, слишком хорошо знал тактику дикарей, чтобы не понимать, что за нами неустанно наблюдают, и был уверен, что тетоны не преминут оказаться в первой же лощине, где им будет удобно притаиться.

Около полудня один из канадцев заорал: «Сиу! Сиу!» и указал на длинную и узкую расселину, которая пересекала прерию слева от нас и тянулась от берега Миссури к югу, насколько хватал глаз. Это ущелье было руслом притока, но сейчас воды там было мало, и берега представляли собой высокие стены. С помощью подзорной трубы я тотчас обнаружил причину тревоги. По ущелью спускался цепочкой большой отряд конных индейцев, явно намереваясь застигнуть нас врасплох. Их выдали перья головных уборов, которые то и дело показывались над краем ущелья, там где, неровности почвы заставляли их подыматься. Именно по движениям перьев мы увидели, что они едут верхом. Отряд приближался очень быстро, и я велел грести во всю мочь, чтобы пройти устье притока прежде, чем они его достигнут. Увидев, по ускоренному ходу лодок, что мы их заметили, индейцы испустили клич, выскочили из ущелья и помчались на нас; их было около сотни.

Положение наше становилось тревожным. В любом другом месте, пройденном за тот день, я не так опасался бы нападения этих разбойников; но здесь берега были очень высокими и отвесными, какими бывают берега у притоков, так что дикари отлично видели нас сверху, тогда как пушка, на которую мы возлагали такие надежды, не могла быть на них наведена. В довершение наших трудностей течение посредине реки было столь быстрым и сильным, что мы не могли преодолевать его иначе, как бросив оружие и изо всех сил налегая на весла. У северного берега было чересчур мелко даже для пироги, и если мы вообще хотели продвигаться вперед,

необходимо было держаться на расстоянии брошенного камня от левого, то есть южного, берега, где мы были совершенно беззащитны против сию, но зато могли быстро двигаться с помощью шестов и ветра, а также используя водовороты. Если бы дикари напали на нас здесь, не думаю, чтобы мы уцелели. Все они были вооружены луками, стрелами и маленькими круглыми щитами, представляя очень живописное и красивое зрелище. У некоторых из вождей копья были украшены затейливыми вымпелами; вид их был весьма воинственный.

Но то ли наша удача, то ли недогадливость индейцев весьма неожиданно вывела нас из затруднения. Подскакав к краю обрыва над нашей головой, дикари снова завопили и принялись делать жесты, которыми — как мы сразу поняли — предлагали нам высадиться на берег. Этого требования я ожидал и решил, что всего благоразумнее будет не обращать на него внимания и продолжать путь. Мой отказ остановиться имел по крайней мере то хорошее действие, что очень озадачил индейцев, которые ничего не могли понять и когда мы двинулись дальше, не отвечая на сигналы, глядели на нас с самым комическим изумлением. Затем они стали возбужденно переговариваться и, убедившись, что нас не поймешь, ускакали в южном направлении, оставив нас столь же удивленными, как и обрадованными их отступлением.

Мы постарались воспользоваться благоприятным моментом и изо всех сил работали шестами, чтобы до возвращения наших врагов миновать крутые берега. Спустя часа два мы снова увидели их вдалеке, к югу от нас, причем число их значительно увеличилось. Они приближались во весь опор и вскоре были уже у реки; но теперь наша позиция была куда более выгодной, ибо берега были отлогими и на них не было деревьев, которые могли бы укрыть дикарей от наших выстрелов. Да и течение уже не было здесь столь сильным, и мы могли держаться середины реки. Индейцы, как видно, уезжали только затем, чтобы раздобыть переводчика, который появился на крупном сером коне и, заехав в реку, насколько было возможно, на ломаном французском языке предложил нам

остановиться и сойти на берег. На это я, через одного из канадцев, ответил, что ради наших друзей сиу мы охотно остановились бы ненадолго и побеседовали, но не можем, ибо это неуместно нашему великому талисману (тут канадец указал на пушку), который очень спешит и которого мы боимся послушаться.

После этого они снова начали взволнованно совещаться, сопровождая это усиленной жестикуляцией, и, видимо, не знали, что делать. Тем временем лодки стали на якорь в удобном месте, и я решил, если нужно, сразиться немедленно и постараться дать такой отпор разбойникам, чтобы внушить им на будущее спасительный страх. Я считал, что сохранить с сиу дружественные отношения было почти невозможно, ибо в душе они оставались нашими врагами, и только убеждение в нашем мужестве могло удерживать их от грабежа и убийств. Согласиться на их требование сойти на берег и, быть может, даже купить себе, с помощью даров и уступок, временную безопасность, было бы всего только полумерой, а не решительным пресечением зла. Рано или поздно они наверняка захотели бы насладиться мстостью, и если сейчас и отпустили бы нас, то могли напасть потом, когда преимущество было бы на их стороне и когда мы едва сумели бы отбить нападение, а не то что внушить им страх. В нашей теперешней позиции мы могли дать им урок, который запомнится, а такого случая может больше не быть. Поддержанный в своем мнении всеми, за исключением канадцев, я решил держаться дерзко и не избегать столкновения, а скорее вызвать его. Это было самым правильным. У дикарей, видимо, не было огнестрельного оружия, не считая старого карабина одного из вождей; а их стрелы не могли бить метко с того расстояния, какое нас разделяло. Что касается их численности, она нас не слишком заботила. Все они находились сейчас под прицелом нашей пушки.

Когда канадец Жюль окончил речь о нашем великом талисмане, которого мы не хотели беспокоить, а среди дикарей улеглось вызванное этим волнение, переводчик заговорил снова и задал три вопроса. Он желал узнать, во-первых, есть ли у нас табак, виски или ружья; во-

вторых, не нужна ли нам помощь сиу в качестве гребцов на большой лодке, которую они предлагают провести вверх по Миссури до владений племени рикари, больших негодьяев; а в-третьих, не является ли наш великий талисман всего-навсего огромным зеленым кузнечиком.

На эти вопросы, заданные с большой важностью, Жюль, выполняя мои указания, ответил следующим образом. Во-первых, у нас масса виски и табака и неисчерпаемые запасы оружия и пороха; но наш великий талисман только что поведал нам, что тетоны — еще большие негодьяи, чем рикари, — что они нам враги — что они уже много дней поджидают нас, чтоб убить — и чтоб мы им ничего не давали и не вступали с ними в сношения; поэтому мы боимся что-либо им дать, если бы и хотели, чтоб не рассердился великий талисман, с которым шутки плохи. Во-вторых, после такой аттестации тетонов мы не можем и думать взять их гребцами; а в-третьих, их счастье, что великий талисман не расслышал последнего их вопроса насчет «огромного зеленого кузнечика», иначе им (сиу) пришлось бы очень худо. Наш великий талисман совсем не кузнечик, и в этом они скоро *удостоверятся*, на свою же беду, если немедленно не уйдут прочь.

Несмотря на грозившую нам опасность, мы с трудом сохраняли серьезность при виде глубокого изумления и почтения, с каким дикари слушали наш ответ; и я полагаю, что они бы тотчас же поспешили рассеяться, если бы не неудачные слова о том, что они большие негодьяи, чем рикари. Это, очевидно, являлось для них величайшим оскорблением и вызвало ярость. Мы слышали, как они возбужденно повторили «рикари!», «рикари!» и, насколько мы могли судить, разделились во мнениях; одни указывали на могущество великого талисмана, другие не желали стерпеть неслыханно оскорбительного высказывания, в котором они были названы большими негодьяями, чем рикари. Мы между тем продолжали держаться на середине реки, твердо решив вкатить негодьям порцию нашей картечи при первом же проявлении враждебности с их стороны.

Но вот толмач на сером коне снова заехал в воду и сказал, что считает нас за полные ничтожества — что все

бледнолицые, какие до тех пор проплыли вверх по реке, показывали себя друзьями сиу и делали им ценные подарки — что они, тетоны, решили не пускать нас дальше, пока мы не сойдем на берег и не отдадим все наши ружья и виски и половину запасов табака — что мы, несомненно, состоим в союзе с рикари (которые сейчас воюют с сиу) и везем им боевые припасы, а это недопустимо — и, наконец, что они невысокого мнения о нашем великом талисмани, ибо он нам солгал насчет замыслов тетонов и несомненно является просто большим зеленым кузнечиком, хотя мы это и отрицаем. Последние слова о кузнечике были подхвачены всем сборищем и выкрикивались во все горло, чтобы сам великий талисман наверняка слышал это оскорбление. Тут они пришли в настоящее неистовство; пустив лошадей в галоп, они описывали круги, делая, в знак презрения к нам, непристойные жесты, размахивая копьями и прицеливаясь из луков.

Я знал, что за этим последует атака, и решил начать первым, прежде чем кто-либо из нас будет ранен их стрелами — от промедления мы ничего не выигрывали, а быстрыми и решительными действиями могли выиграть все. Я выждал удобный момент и дал команду стрелять, которая была тотчас выполнена. Результат был разительный и вполне отвечал нашим целям. Шестеро индейцев было убито и втрое больше — тяжело ранено. Остальные пришли в величайший ужас и смятение и вскачь умчались по прерии, а мы перезарядили пушку, подняли якоря и смело пошли к берегу. Когда мы его достигли, там не видно было ни одного тетона, кроме раненых.

Я поручил лодки попечению Джона Грили и троих из канадцев, а сам с остальными высадился и, подойдя к одному из дикарей, раненному тяжело, но не опасно, вступил с ним в беседу при посредстве Жюля. Я сказал, что белые хорошо относятся к сиу и ко всем индейским племенам; что единственной целью нашего прихода является ловля бобров и знакомство с прекрасной страной, которую Великий Дух даровал краснокожим людям; что как только мы добудем нужное количество шкур и осмотрим все, что хотели повидать, мы вернемся к себе домой; что, по слухам, сиу, а в особенности тетоны,— большие

забияки, и мы поэтому взяли с собой для защиты наш великий талисман; что он сейчас сильно раздражен против тетонов за оскорбительное отождествление с зеленым кузнечиком (каковым он не был); что я с большим трудом удержал его от погони за убежавшими воинами и от расправы с ранеными; и умиротворил его только тем, что лично поручился за хорошее поведение индейцев. Эту часть моей речи бедняга выслушал с большим облегчением и протянул мне руку в знак дружбы. Я пожал ее и обещал ему и его товарищам свое покровительство, если нас не потревожат, и подкрепил обещание двадцатью свертками табака, несколькими ножами, бусами и красной фланелью для него и остальных раненых.

Все это время мы зорко следили за беглецами. Раздавая подарки, я увидел некоторых из них вдалеке; их наверняка видел и раненый, но я счел за лучшее сделать вид, будто я никого не заметил, и вскоре вернулся к лодкам. Этот эпизод занял не менее трех часов, и только в четвертом часу пополудни мы смогли снова пуститься в путь. Мы спешили изо всех сил, ибо я хотел до наступления темноты уйти как можно дальше от поля боя. Сильный ветер дул нам в спину, а течение все более слабело по мере того, как река становилась шире. Поэтому мы шли очень быстро и к девяти часам вечера достигли большого лесистого острова у северного берега и вблизи устья притока. Здесь мы решили устроить стоянку, и едва ступили на берег, как один из братьев Грили подстрелил отличного бизона, которых тут было множество. Выставив на ночь часовых, мы поужинали бизоньим горбом, запивая его виски в количествах вполне достаточных. Затем мы обсудили события дня, которые большинство моих людей приняло как отличную шутку; мне, однако, было не до веселья. До этого я-еще ни разу не проливал человеческой крови; и хотя разум твердил мне, что я избрал наиболее мудрый, а в конечном итоге несомненно и наиболее милосердный путь, совесть отказывалась прислушаться даже к разуму и упорно шептала: «Ты пролил человеческую кровь». Часы тянулись медленно; заснуть я не мог. Наконец занялась заря, и свежая роса, свежий ветерок и улыбки цветов снова вдохнули в меня мужест-

во и дали мыслям иной ход, позволивший мне более трезво взглянуть на содеянное и правильно оценить его необходимость.

7 сентября. Выехали рано и много успели пройти при сильном и холодном восточном ветре. Около полудня достигли верхнего ущелья так называемой Большой Излучины, где река дает добрых тридцать миль крюку, тогда как напрямик по суше это расстояние составляет не более полутора тысяч ярдов. В шести милях дальше находится приток шириною около 35 ярдов, впадающий в реку с юга. Местность выглядит весьма необычно; оба берега реки на много миль густо усеяны круглыми валунами, смытыми с утесов, и представляют очень своеобразное зрелище. Фарватер здесь очень мелкий и полон плывунов. Из деревьев чаще всего встречается кедр, а прерия покрыта колючей опунцией, среди которой нашим людям нелегко было пробираться в мокасинах.

На закате, стремясь обойти быстрину, мы имели несчастье посадить нашу большую лодку левым бортом на край песчаной мели, причем лодка так накренилась, что, несмотря на все наши усилия, едва не наполнилась водой. Вода успела подмочить порох и почти все товары, предназначенные для индейцев. Едва лишь лодка накренилась, все мы выпрыгнули в воду, чтобы поддержать накренившийся борт. Положение было трудное, ибо наших сил едва хватало на то, чтобы не дать лодке опрокинуться, и у нас не было ни одной пары свободных рук для другой работы. Когда мы уже были готовы отчаяться, песок под лодкой неожиданно осел, и все таким образом выправилось. Русло реки в этих местах изобилует подобными зыбучими песками, которые перемещаются очень быстро и без видимой причины. Это — твердый и мелкий желтый песок, который блестит, как стекло, когда высохнет, и почти неосязаем.

8 сентября. Мы все еще находились в краю тетонов и были постоянно настороже, останавливаясь возможно реже и только на островах, которые изобиловали самой разнообразной дичью — бизонами, лосями, оленями, козами, чернохвостыми оленями и антилопами, а также различными породами ржанок и казарок. Козы совсем не

пугливы и безбороды. Рыба не так обильна, как ниже по течению. В ложине на одном из малых островков Джон Грили подстрелил белого волка. Из-за трудного фарватера и частой необходимости вести лодки на буксире мы в этот день продвинулись мало.

9 сентября. Погода становится заметно холоднее, что заставляет нас спешить и скорее миновать страну сиу, ибо зимовать по соседству с ними было бы весьма опасно. Мы старались всю и плыли очень быстро, под песни и выкрики канадцев. По временам мы видели издали одинокого тетона, но никто нас не тревожил, и мы приободрились. За день мы прошли 28 миль и, настроенные очень весело, заночевали на большом острове, изобиловавшем дичью и густо заросшем канадским тополем.

[Опускаем приключения мистера Родмена вплоть до десятого апреля. В конце октября экспедиция без особых происшествий достигла небольшого притока, который назвали ручьем Выдр; пройдя по нему примерно милю, до подходящего островка, путешественники построили там бревенчатое укрепление, где и зазимовали. Место это расположено чуть выше старых поселений индейцев рикари. Группы этих индейцев несколько раз навестили путешественников и вели себя весьма дружелюбно; они прослышали о стычке с тетонами и были очень довольны ее исходом. Сиу больше не беспокоили путешественников. Зима прошла благополучно и без особых происшествий. Десятого апреля экспедиция снова отправилась в путь.]

Глава V

10 апреля 1792. Погода вновь настала отличная, и это нас чрезвычайно подбодрило. Солнце набирало силу, а река совершенно освободилась ото льда, как заверили нас индейцы, миль на сто вперед. Мы с искренним сожалением простились с Маленькой Змеей [вождем рикари, который в течение зимы оказывал путешественникам много знаков дружбы] и с его людьми и, позавтракав, тронулись в путь. Перрин [агент Пушной Компании Гудзонова

залива, ехавший в Петит Кот), вместе с тремя индейцами, провожал нас первые десять миль, а затем попрощался и вернулся в селение, где (как мы узнали позднее) погиб от руки какой-то сквау, которую он оскорбил. Расставшись с агентом, мы поспешили дальше вверх по реке и прошли немало, несмотря на сильное течение. Под вечер Торнтон, который уже несколько дней жаловался на недомогание, сильно расхворался; настолько, что я хотел вернуться вместе со всеми в нашу хижину и там подождать его выздоровления; но он так энергично этому воспротивился, что я был вынужден уступить. Мы устроили ему удобную постель в каюте и окружили заботой; но у него началась сильная горячка и по временам бред, так что я очень опасался, что мы его потеряем. Однако мы продолжали упорно идти вперед и к ночи прошли двадцать миль — совсем неплохо для одного дня.

11 апреля. Погода все еще отличная. Вышли рано, при благоприятном ветре, очень нам помогавшем; и если бы не болезнь Торнтона, все мы были бы в отличном настроении. Ему становилось все хуже, и я не знал, что предпринять. Мы делали все, чтобы больному было легче. Канадец Жюль приготовил питье из местных трав, которое вызвало у больного пот и заметно снизило жар. На ночь мы причалили к северному берегу; трое охотников вышли в прерию при луне и вернулись в час пополуночи, без ружей, но с жирной антилопой.

Они рассказали, что, пройдя много миль в глубь местности, достигли берегов красивейшего ручья, где с тревогой увидели большой отряд сиу саони, которые тут же взяли их в плен и привели на другой берег потока, поместив за загородкой из сучьев и глины, где находилось целое стадо антилоп. Животные продолжали входить в этот загон, устроенный так, чтоб из него нельзя было выбраться. Индейцы проделывают это ежегодно. Осенью антилопы, в поисках пищи и укрытия, уходят из прерии в гористую местность к югу от реки. Весной они снова переходят ее целыми стадами, и тогда их легко заманить в загоны, подобные только что описанному.

Охотники (Джон Грили, Пророк и один из канадцев) почти не надеялись вырваться из рук индейцев (которых

было не менее пятидесяти) и приготовились к смерти. Грили и Пророка обезоружили и связали по рукам и ногам; но канадца, по какой-то не вполне понятной причине, не связали; у него только отобрали ружье, но оставили ему охотничий нож (который дикари, вероятно, не заметили, ибо он носил его в футляре, прикрепленном к краге) и вообще обращались с ним совершенно иначе, чем с остальными. Это и дало им всем возможность спастись.

Когда их схватили, было, вероятно, часов девять вечера. Луна ярко светила, но так как погода для этого времени года была необычно прохладной, индейцы зажгли два больших костра, на достаточном расстоянии от загона, чтобы не пугать антилоп, которые продолжали туда входить. На этих кострах они жарили дичь, когда охотники неожиданно наткнулись на них, выйдя из-за деревьев. Грили и Пророка, обезоруженных и связанных крепкими ремнями из бизоньей кожи, бросили под деревом, неподалеку от огня; а канадцу, под охраной двух дикарей, позволили сесть у одного из костров, в то время как остальные индейцы собрались вокруг другого, большего. Время тянулось медленно, и охотники ежеминутно ожидали смерти; ремни были затянуты так туго, что причиняли связанным нестерпимые муки. Канадец пытался заговорить со своей охраной, в надежде ее подкупить и освободиться, но его не понимали. Около полуночи у большого костра произошло смятение из-за того, что несколько крупных антилоп ринулось на огонь. Животные прорвались через глиняную стену загона и, обезумев от страха, бросились на свет костра, как это делают ночью насекомые. Должно быть, саони не ожидали ничего подобного от этих, обычно робких, животных, ибо они сильно испугались; а когда, через минуту после первых, на них понеслось все пленное стадо, испуг перешел в панику. Охотники рассказали, что творилось нечто необычайное. Животные совершенно обезумели; по словам Грили (отнюдь не склонного к преувеличениям), их безудержный, стремительный бег сквозь пламя и через толпу испуганных дикарей представлял не только удивительное, но и жуткое зрелище. Они сметали все на своем пути; проскочив сквозь большой костер, они тут же ринулись на ма-

лый, расшвыривая горящие головешки; потом, ошеломленные, снова повернули к большому костру и так несколько раз, пока костры не стали гаснуть, а тогда они, одно за другим, вихрем умчались в лес.

В этой сумасшедшей свалке многие индейцы оказались повалены на землю, а некоторые наверняка тяжело, если не смертельно, ранены острыми копытами скачущих антилоп. Иные плашмя легли на землю и тем спаслись. Пророк и Грили, находившиеся далеко от огня, были в безопасности. Канадец сразу же свалился под ударами копыт, на несколько минут лишившими его сознания. Очнулся он почти в полной темноте, ибо луна скрылась за плотной грозовой тучей, а костры почти погасли, не считая разметанных там и сям головешек. Индейцев рядом с ними не было, и он, мгновенно решив бежать, добрался, как сумел, до дерева, под которым лежали его товарищи. Их пути были быстро разрезаны, и все трое, что было сил, побежали к реке, не думая о ружьях и о чем-либо ином, кроме спасения. Пробежав несколько миль и убедившись, что за ними никто не гонится, они замедлили бег и остановились у ручья напиться. Здесь-то они и обнаружили антилопу, которую, как я уже говорил, доставили к лодкам. Бедное животное лежало на берегу ручья, тяжело дыша и не в силах двинуться. У него была сломана нога и обгорело все тело. Это несомненно было одно из тех, кому они были обязаны своим спасением. Если бы имелась хоть какая-нибудь надежда на то, что оно может оправиться, охотники из благодарности пощадили бы его; но оно было тяжело покалечено, и они прикончили его и принесли нам, а мы отлично позавтракали на следующее утро его мясом.

12, 13, 14 и 15 апреля. Все эти четыре дня мы плыли без каких-либо происшествий. Днем стояла отличная погода, но ночи и утренние зори были очень холодные, с заморозками. Дичи было много. Торнтон все еще хворал, и его болезнь несказанно тревожила и огорчала меня. Мне очень недоставало его общества; я убедился, что он был почти единственным членом экспедиции, которому я мог вполне довериться. Этим я хочу сказать только, что он был почти единственным, с которым я мог или хотел де-

литься всеми своими дерзкими надеждами и фантастическими планами,— но это не значит, что среди нас был кто-либо, не заслуживавший доверия. Напротив, все мы стали точно братья, и у нас ни разу не было сколько-нибудь серьезных разногласий. Всех нас связывала общая цель, а вернее сказать, мы оказались путешественниками без особых целей — кроме удовольствия. Что думали канадцы, я не сумел бы сказать с уверенностью. Они, разумеется, много толковали о выгодах нашего предприятия и особенно о своей предполагаемой доле в добыче; и все же мне кажется, что они не слишком были ею озабочены, ибо это были самые простодушные и безусловно самые услужливые парни на свете. Что до остальных членов нашего экипажа, то я нисколько не сомневаюсь, что о денежной выгоде от экспедиции они помышляли меньше всего. За время пути не раз явственно обнаружилось чувство, которое, в той или иной степени, овладело каждым из нас. Вещи, которые в городах считались бы наиболее важными, здесь расценивались как нечто, не стоящее серьезного обсуждения, и достаточно было пустячного предлога, чтобы их отодвинули на задний план или вовсе забыли. Люди, проделавшие не одну тысячу миль по пустынной местности, где их подстерегали величайшие опасности, и терпевшие самые страшные лишения якобы для того, чтобы добыть пушнину, редко давали себе труд сохранить добытое и без сожаления готовы были покинуть целый тайник, полный отборных бобровых шкур, ради удовольствия проплыть по какой-нибудь романтической реке или проникнуть в опасную скалистую пещеру в поисках минералов, о ценности которых они ничего не знали и которые при первом же случае тоже бросали как ненужный балласт.

В этом я был сердцем с ними; и должен сказать, что, чем дальше мы плыли, тем меньше я интересовался главной задачей экспедиции и тем больше был готов свернуть с пути ради праздной забавы — если только это слово правильно выражает глубокое и сильное волнение, с каким я созерцал чудеса и величавую красоту этих первозданных мест. Не успевал я осмотреть одну местность, как меня охватывало непреодолимое желание идти даль-

ше и исследовать другую. Однако я пока еще чувствовал себя чересчур близко к человеческому жилью, чтобы это вполне удовлетворяло мою пламенную страсть к Природе и к неизведанному. Я не мог не знать, что какие-то цивилизованные люди, пусть немногие, успели опередить меня; что чьи-по глаза прежде моих зачарованно глядели на окружающий ландшафт. Если б не эта неотвязная мысль, я, конечно, чаще задерживался бы и уходил в сторону, чтобы осмотреть местность, прилегающую к реке, а то и проникнуть дальше в глубь края, лежавшего к северу и к югу от нашего пути. Но мне не терпелось плыть дальше — попасть, если возможно, за крайние пределы цивилизованного мира — взглянуть, если удастся, на исполинские горы, о существовании которых мы знали только из сбивчивых рассказов индейцев. Этих конечных целей и надежд я не поверял вполне никому, кроме Торнтона. Он поддерживал мои самые фантастические планы и полностью разделял владевшее мною романтическое настроение. Поэтому я так сокрушался о его болезни. А ему день ото дня становилось хуже, и мы не в силах были ему помочь.

16 апреля. Сегодня лил холодный дождь и дул сильный ветер, вынудивший нас простоять на якоре всю первую половину дня. В четыре часа пополудни мы тронулись в путь и к ночи прошли пять миль. Торнтону стало значительно хуже.

17 и 18 апреля. Оба дня стояла неприятная сырая погода, все с тем же холодным северным ветром. На реке нам часто встречались крупные льдины, а сама река сильно вздулась и помутнела. Нам приходилось трудно, и продвигались мы медленно. Торнтон, казалось, был при смерти, и я решил остановиться на первом же удобном месте, чтобы выждать исхода его болезни. Поэтому в полдень мы ввели лодки в широкий приток, впадавший в реку с юга, и расположились лагерем на его берегу.

25 апреля. Здесь мы оставались до сегодняшнего утра, когда, к общей нашей великой радости, Торнтону стало настолько лучше, что можно было продолжать путь. Наступила отличная погода, и мы весело шли красивейшими местами, не встречая ни одного индейца и никаких

особых приключений, вплоть до последнего дня апреля, когда мы достигли страны манданов, вернее, манданов, миннетари и анахауэев; ибо все эти три племени живут рядом, в пяти селениях. Еще не так давно у манданов было девять селений, примерно в восьмидесяти милях ниже по реке; развалины их мы миновали, не зная, что это такое — семь к западу и два к востоку от реки; но оспа и старые враги, сиу, сильно уменьшили их численность; оставшаяся горсточка поселилась на нынешнем месте. [Здесь мистер Родмен дает довольно подробное описание миннетари и анахауэев, называемых также вассатунами; но мы опускаем его, ибо оно мало чем отличается от других известных описаний этих племен.] Манданы встретили нас весьма дружелюбно, и мы пробыли вблизи них три дня, которые употребили на починку пироги и другого снаряжения. Мы достали у них изрядный запас сушеной кукурузы разных сортов, которую дикари хранят зимой в ямах возле своих вигвамов. Пока мы гостили у манданов, нас навел на вождь племени миннетари, по имени Ваукерасса, который был очень учтив и оказал нам немалые услуги. Сына этого вождя мы уговорили сопроводить нас до развилки в качестве переводчика. Мы преподнесли отцу несколько подарков, которыми он остался весьма доволен¹. Первого мая мы простились с манданами и двинулись дальше.

1 мая. Погода стояла теплая, и местность становилась все красивее, ибо все вокруг зеленело. Листья на канадском тополе уже достигли величины пятишиллинговой монеты, и многие цветы распустились. Здесь начинаются более обширные, чем прежде, низины, густо заросшие лесом. Много канадского тополя и обычной, а также красной ивы, и изобилие розовых кустов. За приречной низиной тянулась сплошная огромная безлесная равнина. Почва была необычайно плодородна. Дичи было больше, чем где-либо до тех пор. Впереди нас по обоим берегам шло по охотнику, и сегодня они принесли лося, козла, пять бобров и множество ржанок. Бобры совсем не пугливы и лег-

¹ Вождь Ваукерасса упоминается капитанами Льюисом и Кларком, которых он также навел на след.— *Примеч. автора.*

ко ловятся. В качестве пищи мясо этого животного — настоящее *bonne bouche*¹, в особенности хвост, несколько клейкий, наподобие плавников палтуса. Одного бобрового хвоста достаточно, чтобы сытно накормить трех человек. К ночи мы успели пройти двадцать миль.

2 мая. Утром дул отличный попутный ветер, так что до полудня мы шли под парусами, но затем он уж слишком усилился, и мы остановились до конца дня. Охотники вышли на промысел и вскоре вернулись с огромным лосем, которого Нептун свалил после долгой погони, ибо он был лишь слегка ранен крупной дробью. Он имел шесть футов в высоту. В сумерках добыли еще антилопу. Завидя наших людей, она помчалась, как стрела, но вскоре остановилась и вернулась, видимо, из любопытства, а потом снова поскакала. Это повторялось несколько раз, причем она подходила все ближе, пока не приблизилась на расстояние ружейного выстрела, и тут Пророк ее подстрелил. Она оказалась тощей и к тому же костной. При всей их необычайной быстроте эти животные плохо плавают и часто, пытаясь переправиться через реку, становятся добычей волков. За сегодняшний день мы прошли двенадцать миль.

3 мая. Утром шли очень быстро и к вечеру успели сделать не менее тридцати миль. Дичи по-прежнему много. Вдоль берега лежало множество трупов бизонов, которых пожирали волки. При нашем приближении они неизменно убегали. Мы не знали, чем объяснить гибель бизонов, но спустя несколько недель загадка разъяснилась. Добравшись до места, где берега обрывисты, а вода под ними глубока, мы увидели большое стадо плывущих бизонов и остановились, чтобы их наблюдать. Они спускались наискось по течению и, очевидно, вошли в реку из ущелья в полумиле выше, где берег отлого спускался к воде. Доплыв до западного берега, они не смогли взобраться по обрыву, а вода была там слишком глубока, чтобы они могли стоять. После тщетных попыток удержаться на кругом и скользком глинистом склоне они повернули и поплыли к другому берегу, где их встретила та же не-

¹ Лакомство (фр.).

приступная круча и где повторились те же напрасные попытки выбраться на сушу. Они повернули в другой раз, в третий, в четвертый и в пятый — подплывая к берегу почти в том же самом месте. Вместо того чтобы дать течению снести себя к более удобному берегу (всего на какую-нибудь четверть мили ниже), они старались удержаться на одном месте и для этого плыли под острым углом к течению, прилагая огромные усилия, чтобы их не снесло. После пятой попытки бедные животные были так измучены, что явно не могли дольше держаться. Они отчаянно бились, пытались выбраться на берег; одному или двум это почти удалось, как вдруг, к большому нашему огорчению (ибо мы не могли без сострадания наблюдать их мужественные усилия), земля над ними поползла и засыпала нескольких животных, а берег не стал от этого удобнее для подъема. Тут остальные издали жалобное мычание, вернее, стон, исполненный такой муки и отчаяния, какие невозможно себе вообразить; забыть его я никогда не смогу. Некоторые попытались еще раз переплыть реку, несколько минут бились в волнах и утонули, окрасив воду кровью, хлынувшей из их ноздрей в момент агонии. Большая же часть, испустив стон, апатично покорила своей участи, перевернулась на спину и пошла ко дну. Так утонуло все стадо; ни одно животное не спаслось. Спустя полчаса река выбросила их трупы неподалеку, на низкий берег, куда они так легко могли бы добраться, если б не их тупое упрямство.

4 мая. Погода стоит превосходная, и мы с помощью теплого южного ветра прошли до вечера двадцать пять миль. Торнтон настолько оправился, что помогал вести лодки. Под вечер он пошел со мной в прерию на западном берегу, где мы увидели множество ранних весенних цветов, какие не встречаются в населенных местах. Многие из них были удивительно красивы и ароматны. Попадались нам и разнообразная дичь, но мы по ней не стреляли, будучи уверены, что наши охотники и без того принесут больше, чем мы сможем съесть; а бесцельного истребления живых существ я не одобряю. На обратном пути нам повстречались два индейца из племени ассинибойн, которые шли за нами до самых лодок. Они не выка-

зывали никакого недоверия, напротив, шли с нами открыто и смело; поэтому мы очень удивились, когда они, дойдя до пироги на расстояние брошенного камня, неожиданно повернули и со всех ног побежали в прерию. Отбежав довольно далеко, они взошли на холмик, с которого виден берег реки. Здесь они легли на живот и, опершись подбородком на руки, уставились на нас с величайшим изумлением. В подзорную трубу я мог рассмотреть их лица, выражавшие изумление и испуг. Так они смотрели на нас долго. Потом, повинувшись какому-то внезапному побуждению, поспешно поднялись и бегом удалились в том направлении, откуда пришли.

5 мая. Когда мы рано утром собирались в путь, большая группа ассинибойнов внезапно бросилась к нашим лодкам и, прежде чем мы успели оказать сопротивление, захватила пирогу. В ней в то время находился только Жюль, который спасся, прыгнув в воду, а затем влез в большую лодку, уже готовую отплыть. Индейцев привели те двое, что посетили нас накануне; они, должно быть, подкрались совершенно неслышно, ибо у нас, как обычно, были выставлены часовые, но даже Непгун не дал знать о приближении чужих.

Мы готовились открыть по врагу огонь, когда Мискуош (наш новый переводчик — сын Ваукерассы) объяснил нам, что ассинибойны явились как друзья и сейчас выражают это знаками. Мы считали, что разбойничий захват лодки — отнюдь не наилучший способ выказывать дружбу, но готовы были выслушать этих людей и велели Мискуошу спросить их, почему они так поступили. Они ответили заверениями в уважении; и мы в конце концов выяснили, что у них нет никаких дурных намерений, а только жгучее любопытство, которое они просят нас удовлетворить. Оказывается, те два индейца, которые накануне так удивили нас своим странным поведением, были поражены чернотой нашего негра Тоби. Они никогда не видели и даже не слышали о чернокожих, и надо признать, что их изумление не было лишено оснований. К тому же Тоби был преуродливым старым джентльменом со всеми характерными чертами своей расы — толстыми губами, огромными выкаченными белками, приплюснутым

косом, большими ушами, огромной шапкой волос, выпяченным животом и кривыми ногами. Рассказав о нем своим соотечественникам, оба индейца не встретили доверия и рисковали навсегда прослыть лгунами и обманщиками; тогда, чтобы доказать правдивость своего рассказа, они взялись привести к лодкам все селение. Внезапное нападение, как видно, было просто следствием нетерпения ассинибойнов, все еще сомневавшихся, ибо они не проявили после этого ни малейшей враждебности и вернули нам пирогу, как только мы обещали дать им вволю рассмотреть старого Тоби. Последний всем этим очень забавлялся и тотчас сошел на берег, *in naturalibus*¹, дабы любознательные туземцы могли ознакомиться с ним во всех подробностях. Их удивление было велико, а удовлетворение — полное. Сперва они не верили своим глазам, плевали на палец и терли кожу негра, чтобы убедиться, что она не окрашена. Шерстистая голова вызвала одобрительные возгласы, особенное же восхищение возбудили кривые ноги. А когда наш безобразный приятель исполнил джигу, восторг достиг апогея, восхищению не было предела. Будь у Тоби хоть капля честолюбия, он мог бы немедленно сделать карьеру и взойти на трон ассинибойнов под именем короля Тоби Первого.

Это происшествие задержало нас почти до вечера. Обменявшись с туземцами приветствиями и подарками, мы приняли предложение шестерых из них помочь нам грести первые пять миль, что было весьма кстати и за что мы высказали признательность Тоби. Тем не менее за день мы прошли всего двенадцать миль и остановились на ночлег на красивейшем острове, который надолго нам запомнился благодаря добытой там вкусной рыбе и дичи. В этом прелестном местечке мы провели два дня, угощаясь, веселясь, не заботясь о завтрашнем дне и обращая очень мало внимания на резвившихся вокруг нас многочисленных бобров. На этом острове мы без труда добыли бы сотню и даже две шкур. А мы добыли их всего двадцать. Остров расположен в устье довольно большой реки, текущей с юга, там, где Миссури поворачивает на запад. Это примерно 48-я широта.

¹ В натуральном виде (*лат.*).

8 мая. Продолжали путь при благоприятном ветре и хорошей погоде и, сделав миль двадцать пять, достигли большой реки, впадающей в Миссури с севера. Однако при впадении она очень узка, не шире дюжины ярдов, и совершенно занесена илом. Немного выше она очень красива, имеет в ширину ярдов семьдесят — восемьдесят, очень глубока и течет по живописной долине, изобилующей дичью. Наш новый проводник сообщил нам ее название, но я его не записал¹. Здесь Роберт Грили подстрелил несколько гусей, которые строят гнезда на деревьях.

9 мая. Поодаль от берегов почва во многих местах покрыта белым налетом, оказавшимся солью. Мы прошли всего пятнадцать миль из-за различных мелких неполадок, а ночь провели на берегу, в зарослях канадского тополя и кроличьих ягод.

10 мая. Сегодня холодно и дует сильный ветер, правда попутный. Прошли немало. Холмы имеют здесь резкие зубчатые очертания с обнаженной скалистой породой; некоторые очень высоки и, по-видимому, размывты водой. Мы подобрали несколько окаменевших щепок и костей; повсюду разбросан уголь. Река становится очень извилистой.

11 мая. Почти весь день были задержки из-за дождя и порывистого ветра. К вечеру разъяснилось, и подул попутный ветер; пользуясь им, мы успели до ночлега пройти десять миль. Поймали несколько жирных бобров, а на берегу подстрелили волка. Он, как видно, отбился от большой стаи, которая рыскала вокруг нас.

12 мая. Пройдя десять миль, причалили к небольшому обрывистому островку, чтобы починить кое-что из нашего снаряжения. Когда мы уже готовились плыть дальше, один из канадцев, который шел впереди всех и опередил нас на несколько ярдов, внезапно с громким воплем исчез из виду. Мы немедленно подбежали туда и от души посмеялись, обнаружив, что он всего лишь упал в пустой *cache*²; откуда мы быстро его извлекли. Впрочем, если бы он был один, неизвестно, как бы он выбрался. Мы тща-

¹ Вероятно, Уайт-Эрс Ривер. (Редакторы «Джентлменз маэзин»).—
Примеч. автора.

² Тайник (фр.).

тельно осмотрели тайник, но нашли там только несколько пустых бутылок; не было ничего, что помогло бы определить, кто прятал там имущество: французы, англичане или американцы, — а нам хотелось это знать.

13 мая. Добрались до слияния Миссури с Йеллоустон, пройдя за день двадцать пять миль. Здесь Мискуош встретился с нами и отправился домой.

Глава VI

За последние два-три дня местность показалась нам унылой в сравнении с той, которая уже сделалась нам привычна. Она стала в общем более ровной; лес растет лишь вдоль самого берега, а вдали его почти или совсем нет. Когда появлялись холмы, мы замечали признаки угольных залежей, а в одном месте был мощный пласт битума, изменявший цвет воды на протяжении нескольких сот ярдов. Течение стало медленнее, а вода — прозрачнее; утесы и мели встречаются реже, хотя обходить их все так же трудно. Непрерывно лил дождь, и на берегах стало так скользко, что идти бечевой было почти невозможно. Воздух сделался неприятно холодным, а поднимаясь на невысокие прибрежные холмы, мы видели в расщелинах немало снегов. Справа вдалеке виднелось несколько индейских стойбищ, по-видимому, временных и недавно покинутых. В этих местах не видно постоянных поселений; это, должно быть, излюбленные охотничьи угодья соседних племен — что подтверждают и многочисленные встречавшиеся нам следы охоты. Племя миссурийских миннетари, как известно, добирается в поисках дичи до большой развилки на южном берегу; а ассинибойны поднимаются еще выше по течению. Мискуош сообщил нам, что дальше и до самых Скалистых Гор мы не встретим вигвамов, кроме вигвамов тех миннетари, которые живут на низком, то есть южном берегу Саскачевана.

Дичи здесь великое множество и самой разнообразной: лоси, бизоны, толстороги, мазамы, медведи, лисы, бобры и т. д. и т. д. и бесчисленное количество диких

птиц. Рыбы также очень много. Ширина реки часто меняется — от двухсот пятидесяти ярдов до таких мест, где течение бежит между утесов, разделенных всего какой-нибудь сотнею футов. Поверхность этих скал большею частью представляет собой желтоватую каменную породу с примесью обгорелой земли, пемзы и минеральных солей. В одном месте ландшафт разительно меняется; холмы по обе стороны отступают далеко от реки, а на ней появляется множество красивых мелких островков, заросших канадским тополем. Низина, видимо, очень плодородна; к северу она расширяется, образуя три большие долины. Здесь, как видно, находится крайняя северная оконечность горной цепи, через которую так долго течет Миссури и которую туземцы называют Черными Холмами. Переход от горной местности к равнинной заметен по воздуху, который здесь сух и чист; настолько, что это было заметно по швам наших лодок и немногим математическим инструментам.

На самом подходе к развилкам начался сильный дождь, а на реке то и дело попадались препятствия, отнимавшие много сил. Местами берег был такой скользкий, а глинистая почва так размякла, что приходилось идти босиком, ибо в мокалинах нельзя было удержаться. На берегу было много луж стоячей воды, которые мы переходили вброд, погружаясь иной раз по грудь. А потом приходилось пробираться среди огромных мелей и острой кремневой гальки, как видно, образовавшихся из обломков утесов, упавших *en masse*¹. Иногда попадался глубокий овраг или ущелье, которое мы одолевали с величайшим трудом; однажды, когда мы протискивали мимо такого ущелья большую лодку, веревка (старая и истертая) не выдержала, и лодку снесло течением на скалистый выступ посредине реки, где было так глубоко, что снять ее оттуда удалось лишь с помощью пироги, а это заняло целых шесть часов.

Как-то нам встретилась с южной стороны высокая черная стена, возвышавшаяся над всеми прочими утесами и тянувшаяся примерно на четверть мили; потом пошла

¹ Целиком (фр.).

открытая равнина, а мили через три — снова такая же стена, с той же стороны, но из светлой породы, вышиной не менее двухсот футов; дальше — снова равнина или долина и вновь причудливого вида стена, на этот раз с северной стороны, вышиною не менее двухсот пятидесяти футов, а толщиной примерно футов в двенадцать, весьма похожая на искусственное сооружение. Эти утесы, отвесно встающие из воды, выглядят весьма необычно. Последний состоит из очень мягкого белого песчаника, на котором вода легко оставляет следы. Вверху его проходит некое подобие фриза или карниза, образованного несколькими тонкими горизонтальными прослойками твердого белого камня, не поддающегося действию дождей. Над ними лежит слой темной, жирной почвы, отступающей от берега примерно на милю, а там вздымаются новые отвесные утесы, пятисот и более футов вышиной. Поверхность этих удивительных утесов естественно исчерчена множеством борозд, проделанных в мягкой породе дождями, так что богатое воображение легко может увидеть в них гигантские памятники, воздвигнутые человеком и исписанные иероглифами. Иногда встречаются ниши (подобные тем, куда ставят в храмах статуи), образованные выпадением больших кусков песчаника; местами виднеются как бы лестницы и длинные коридоры — там, где случайные трещины в твердом каменном карнизе позволили дождям равномерно вымывать более мягкую породу, лежащую ниже. Мыплыли мимо этих необыкновенных скал при ярком свете луны, и я никогда не забуду, как они возбуждали мое воображение. То были настоящие волшебные замки (такие я видел во сне), а щебетание бесчисленных ласточек, гнездившихся в отверстиях, которые изрешетили всю скалу, немало способствовало такой иллюзии. Рядом с этими стенами иногда тянутся более низкие, от двадцати до ста футов вышиною, а в толщину от одного до пятнадцати, тоже отвесные и очень правильной формы. Они образованы черноватыми камнями, по-видимому, из суглинка, песка и кварца, совершенно симметричной формы, хотя и разных размеров. Чаще всего квадратные, иногда удлинненные (но неизменно прямоугольные), они лежат один над

ругим так правильно, точно их клал смертный камен-ик; каждый верхний камень прикрывает и скрепляет гык двух нижних, совсем как кирпичная кладка. Иногда эти удивительные сооружения тянутся параллельно, бывает, что по четыре в ряд; иногда они отступают от реки и теряются среди холмов; иногда пересекаются под прямым углом, как бы огораживая большие искусственные сады, а растительность внутри этих стен такова, что часто усиливает это впечатление. Где стены всего тоньше, там кладка помельче и наоборот. Ландшафт этой части бассейна Миссури мы сочли самым удивительным, если не самым прекрасным из всего нами виденного. Он оставил у меня впечатление чего-то нового, своеобразного и незабываемого.

Прежде чем достичь развилки, мы добрались до крупного острова на северном берегу; в расстоянии мили с четвертью от него, на южном берегу, лежит низина, густо заросшая отличным лесом. Дальше пошли мелкие островки, и к каждому из них мы на несколько минут приставали. Затем мы миновали с северной стороны совершенно черный утес и два островка, где не было ничего примечательного. Еще через несколько миль встретился довольно большой остров у оконечности скалистого мыса и два другие, поменьше. Все они покрыты лесом. В ночь на 13 мая Мискуош указал нам устье большой реки, которая в европейских поселениях известна под названием Йеллоустон, а у индейцев зовется Аматеаза¹. Мы разбили лагерь на южном берегу, на красивой равнине, поросшей канадским тополем.

14 мая. Все рано проснулись и поднялись, ибо мы достигли весьма важного пункта, и прежде чем идти дальше, надо было убедиться, по которому из двух больших рукавов, находившихся перед нами, будет лучше плыть. Большинство хотело плыть вверх по одному из них, сколько будет возможно, чтобы достичь Скалистых Гор, где, быть может, удалось бы отыскать верховье большой реки

¹ Тут имеется некоторое несоответствие, которое мы не сочли нужным исправлять, ибо мистер Родмен, быть может, и прав. Согласно Льюису и Кларку, индейцы племени министари называют Аматеазой не Йеллоустон, но саму Миссури.— *Примеч. автора.*

Ареган, о которой все индейцы, с какими мы беседовали, говорили, что она течет в великий Тихий Океан. Я также стремился туда, ибо там моему воображению рисовался целый мир волнующих приключений; однако я предвидел множество трудностей, которые нам неминуемо встретятся, если мы попытаемся это сделать, располагая столь скудными сведениями о крае, который предстоит пройти, и о населяющих его туземцах; о них мы знали только, что это — наиболее свирепые из североамериканских индейцев. Я боялся также, что мы попадем не на тот рукав и окажемся в лабиринте затруднений, от которых люди могут пасть духом. Впрочем, эти мысли недолго меня тревожили, и я немедленно принялся исследовать близлежащую местность; нескольких человек я послал по берегу каждого из рукавов, чтобы выяснить, какой из них полноводнее, а сам, вместе с Торнтоном и Джоном Грили, начал восхождение на возвышенность, расположенную на развилке, откуда должен был открыться вид на всю окрестность. Мы увидели тянущуюся во всех направлениях огромную равнину, где волновалась под ветром густая трава и кишели бесчисленные стада бизонов и стаи волков, а порой попадались антилопы. На юге долину пересекала цепь высоких снежных гор, которая шла с юго-востока к северо-западу и там резко обрывалась. За нею виднелся еще более высокий хребет, на северо-западе уходящий за горизонт. Оба рукава реки представляли волшебное зрелище, убегая вдаль подобно двум длинным змеям и постепенно утончаясь, чтобы затеряться в туманной дали двумя серебряными нитями. Однако по их направлению мы не могли установить, куда они в конце концов текут, и сошли вниз в полной растерянности.

Осмотр обоих рукавов вблизи мало что прибавил. Северный оказался глубже, зато южный был шире, а по количеству воды они мало разнились. Первый был окрашен, как и вся Миссури, а русло второго было устлано гравием, что свойственно обычно рекам, которые текут с гор. Наконец мы избрали для продолжения нашего пути северный рукав, как более удобный, но он так быстро становился мельче, что через несколько дней мы не смог-

ли пользоваться большой лодкой. Мы сделали трехдневную остановку и за это время добыли много отличных шкур, а потом сложили их вместе со всеми запасами в хорошо устроенной саче на маленьком островке, в какой-нибудь миле ниже слияния рек¹. Мы запасли также много дичины, особенно оленины, и несколько ножек засолили и закоптили впрок. Поблизости оказалась в изобилии опунция, а в низинах и оврагах много аронии. Много было также белой и красной смородины (еще неспелой) и крыжовника. На шиповнике уже появились бесчисленные бутоны. Мы снялись с лагеря утром, в отличном настроении.

18 мая. День был погожий, и мы бодро двигались вперед, несмотря на постоянные препятствия в виде мелей и выступов, которыми изобиловала река. Люди все как один были полны веселой решимости идти дальше и только и говорили, что о Скалистых Горах. Оставив наши шкуры, мы значительно облегчили лодки, и нам стало гораздо легче вести их против быстрого течения. Река была усеяна островами, и мы причаливали почти к каждому. К ночи мы достигли покинутой индейской стоянки подле обрыва с темной глинистой почвой. Нас очень тревожили гремучие змеи, а перед рассветом пошел сильный дождь.

19 мая. Мы не успели еще далеко продвинуться, как рукав сильно изменился; его то и дело преграждали песчаные мели или валы мелкого гравия, так что мы с величайшим трудом вели мимо них большую лодку. Два человека, посланных в разведку, доложили, что дальше

¹ Caches — это ямы, которые часто выкапывают трапперы и торговцы пушниной, чтобы на время отлучки прятать меха или другое имущество. Для этого прежде всего выбирают укромное и сухое место. Очерчивают круг около двух футов диаметром, внутри которого тщательно срезают дерн. Затем роют яму глубиною в фут, которую затем расширяют, пока она не достигнет восьми — десяти футов в глубину и шести-семи в ширину. Вырытая земля аккуратно складывается на какую-нибудь шкуру, чтобы не оставалось ее следов на траве, а по окончании работы сбрасывается в ближайшую реку или прячется как-либо иначе. Cache вся выстилается сухими прутьями и сеном или шкурами, и внутри нее можно целыми годами надежно хранить почти любое имущество, каким владеет человек в лесной глуши. Когда оно сложено в яме и тщательно укрыто бизоньими шкурами, сверху все засыпают землей, а землю утрамбовывают. Потом укладывают на прежнее место дерн, а точное местонахождение тайника отмечают с помощью зарубок на соседних деревьях или как-либо еще. — *Примеч. автора.*

русло становится шире и глубже, и это вновь придало нам мужества. Мы проделали десять миль и заночевали на одном из островков. На юге показалась необычная гора конической формы, целиком покрытая снегом.

20 мая. Русло стало лучше, и мы почти без препятствий прошли шестнадцать миль мимо своеобразной глинистой равнины, почти лишенной растительности. Ночь мы провели на большом острове, поросшем высокими деревьями, из которых многие были нам неизвестны. Здесь мы провели пять дней, так как пирога нуждалась в починке.

В эти дни произошел важный эпизод. Берега Миссури в здешних местах круты и состоят из особой голубой глины, которая после дождя становится чрезвычайно скользкой. От самой воды и дальше, примерно на сотню ярдов, берега образуют отвесные уступы, пересеченные в разных направлениях глубокими и узкими щелями, промытыми в очень давние времена действием воды с такой правильностью, что они похожи на искусственные каналы. При впадении в реку эти узкие ущелья выглядят очень своеобразно и с противоположного берега при свете луны представляются гигантскими колоннами, возвышающимися на берегу. С верхнего уступа весь спуск к реке кажется нагромождением мрачных развалин. Растительности не видно нигде.

Джон Грили, Пророк, переводчик Жюль и я однажды утром после завтрака отправились на верхний уступ южного берега, чтобы обозреть окрестность, а точнее, попытаться что-то увидеть. С большим трудом и многими предосторожностями мы достигли плоскогорья напротив нашей стоянки. Здешняя прерия отличается от обычной тем, что на много миль вглубь заросла канадским тополем, кустами роз, красной ивой и ивой широколистной; а почва тут зыбкая, местами болотистая, как обычно на низменностях; она состоит из черноватого суглинка, на треть из песка, и, если пригоршню ее бросить в воду, она растворяется, точно сахар, с обильными пузырями. Кое-где мы заметили вкрапления соли, которую мы собрали и употребили в пищу.

Взобравшись на плоскогорье, мы сели отдохнуть, но тотчас же были потревожены громким рычанием, раздавшимся из густого подлеска прямо позади нас. Мы в ужасе вскочили, ибо оставили ружья на острове, чтобы без помех карабкаться на утесы, и имели при себе только пистолеты и ножи. Едва мы успели обменяться несколькими словами, как из-за розовых кустов на нас бросились с разинутой пастью два огромных бурых медведя (первые, какие повстречались нам за все время). Эти животные внушают сильный страх индейцам, и немудрено, ибо это в самом деле страшилища, наделенные огромной силой, неукротимой свирепостью и поразительной живучестью. Убить их пулей почти невозможно, разве лишь прямо в мозг, а он у них защищен двумя крупными мускулами по бокам лба и выступом толстой лобной кости. Известны случаи, когда они жили по нескольку дней с полдюжиною пуль в легких и даже с тяжкими повреждениями сердца. Нам бурый медведь до тех пор не встречался ни разу, хотя часто попадались его следы в иле и на песке, а они бывали длиною почти в фут, не считая когтей, и восьми дюймов в ширину.

Что же нам было делать? Вступать в бой с таким оружием, как у нас, было бы безумием; и глупо было надеяться убежать в прерию; ибо, во-первых, медведи шли на нас именно оттуда, а во-вторых, уже вблизи утесов подлесок из шиповника, карликовой ивы и других был так густ, что мы не смогли бы пробраться; а если бы мы побежали вдоль реки, между этими зарослями и подножием утеса, медведи мигом нас нагнали бы, ибо по болоту мы не смогли бы бежать, тогда как широкие, плоские лапы медведя ступали бы там легко. Как видно, эти мысли (которые дольше выразить словами) одновременно мелькнули у каждого из нас, ибо все мы сразу бросились к утесам, забыв об опасности, которая подстерегала нас и там.

Первый обрыв имел в вышину футов тридцать или сорок и был не слишком крут; глина была там смешана с верхним слоем почвы, так что мы без особого труда спустились на первую из террас, преследуемые разъяренными медведями. Когда мы туда добрались, для размышлений уже не было времени. Нам оставалось либо схва-

титься со злобными зверями тут же, на узком выступе, либо спускаться со следующего обрыва. Этот был почти отвесным, в глубину имел около семидесяти футов и почти весь был покрыт голубой глиной, намокшей от недавних дождей и скользкой, как стекло. Канадец, обезумев от страха, сразу кинулся к обрыву, соскользнул с него с огромной быстротой и, не удержавшись, покатился со следующего. Мы потеряли его из виду и, разумеется, решили, что он разбился, ибо не сомневались, что он будет скользить с откоса на откос, пока не упадет в реку с высоты более полутора фута.

Если бы не пример Жюля, мы в нашей крайности, вероятнее всего, попытались бы спуститься; но то, что произошло с ним, заставило нас поколебаться, а звери тем временем догнали нас. Впервые в жизни я столкнулся так близко со свирепым диким зверем и не стыжусь признаться, что нервы мои не выдержали. Я был близок к обмороку, но громкий крик Грили, которого схватил первый из медведей, побудил меня к действию, и тут я ощутил свирепую радость битвы.

Один из зверей, достигнув узкого выступа, где мы стояли, кинулся на Грили, свалил его на землю и вонзил свои огромные зубы в пальто, которое тот, к счастью, надел из-за холодной погоды. Второй, скорее катясь, чем сбегая, с обрыва, так разбежался, что, достигнув нас, не смог остановиться, и половина его туловища повисла над пропастью; он качнулся в сторону, обе правые лапы его оказались в пустоте, а левыми он неуклюже удерживался. Находясь в этом положении, он ухватил Уормли зубами за пятку, и я на мгновение испугался, ибо тот, в ужасе вырываясь, невольно помогал медведю утвердиться на краю обрыва. Пока я стоял, оцепенев от ужаса и не в состоянии чем-либо помочь, башмак и мокасин Уормли остались в зубах у зверя, который полетел вниз, на следующий выступ, но там удержался благодаря своим огромным когтям. Тут как раз позвал на помощь Грили, и мы с Пророком бросились к нему. Мы оба разрядили пистолеты в голову медведя; и я уверен, что мой наверняка ее прострелил, так как я приставил пистолет к самому его уху. Однако он казался скорее рассерженным, чем

раненым; и выстрел оказал лишь то действие, что он отпустил Грили (которому не успел причинить вреда) и пошел на нас. Теперь мы могли надеяться только на ножи, и даже отступление вниз, на следующий уступ, было для нас невозможно, ибо там находился второй зверь. Мы стали спиной к откосу и приготовились к смертельной схватке, не чая помощи от Грили (которого считали тяжело раненым), как вдруг раздался выстрел, и огромный зверь свалился у наших ног, когда мы уже ощущали у самого лица его горячее и зловонное дыхание. Наш избавитель, много раз за свою жизнь сражавшийся с медведем, выстрелил зверю в глаз и пробил мозг.

Взглянув вниз, мы увидели, что упавший туда второй медведь тщетно пытается добраться до нас — но мягкая глина оседала под его когтями, и он тяжело сползал вниз. Мы несколько раз выстрелили в него, не причинив, однако, вреда, и решили оставить его там в добычу воронам. Я не думаю, чтоб он сумел выбраться. А мы почти полмили медленно двигались вдоль выступа, на котором оказались, пока не нашли тропинку, выведшую нас наверх, в прерию, так что до лагеря мы добрались лишь поздней ночью. Жюль был уже там, живой, но весь в ушибах — настолько, что не сумел толком рассказать, что с ним случилось и где он оставил нас. При падении он задержался в одной из расселин третьего уступа и спустился по ней к берегу реки.



ИСТОРИЯ С ВОЗДУШНЫМ ШАРОМ

ПОРАЗИТЕЛЬНАЯ НОВОСТЬ, ПЕРЕДАННАЯ СРОЧНО ЧЕРЕЗ НОРФОЛК! ПЕРЕЛЕТ ЧЕРЕЗ АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН ЗА ТРИ ДНЯ! НЕБЫВАЛЫЙ УСПЕХ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА МИСТЕРА МОНКА МЕЙСОНА! ПОСЛЕ ПЕРЕЛЕТА, ДЛИВШЕГОСЯ СЕМЬДЕСЯТ ПЯТЬ ЧАСОВ, ОТ КОНТИНЕНТА ДО КОНТИНЕНТА, МИСТЕР МЕЙСОН, МИСТЕР РОБЕРТ ХОЛЛЕНД, МИСТЕР ХЕНСОН, МИСТЕР ХАРРИСОН ЭЙНСВОРТ И ЧЕТВЕРО ДРУГИХ ЛИЦ НА УПРАВЛЯЕМОМ ВОЗДУШНОМ ШАРЕ «ВИКТОРИЯ» ПРИБЫЛИ НА ОСТРОВ СЭЛЛИВАН, ОКОЛО ЧАРЛСТОНА, ШТАТ ЮЖНАЯ КАРОЛИНА! — ВСЕ ПОДРОБНОСТИ ПЕРЕЛЕТА!

[Приводимая ниже *jeu d'esprit*¹, снабженная вышеприведенным заголовком, набранным крупным шрифтом и щедро пересынанная восклицательными знаками, впервые появилась в качестве достоверного известия в ежедневной газете «Нью-Йорк сан» и отлично выполнила свою задачу: доставила любознательным неудобоваримую пипу на несколько часов, отделяющих в Чарлстоне одну почту от другой. Погоня за «единственной газетой, располагающей подробностями», превзошла всякое вероятие; да и в самом деле, если (как утверждают некоторые) «Виктория» и не совершила такого перелета, нет никаких причин, почему она не могла бы его совершить.]

Наконец-то великая задача разрешена! Отныне не только земля и океан, но и воздух покорен наукой и станет для человечества общедоступным и удобным путем сообщения. Совершен перелет через *Атлантический океан на воздушном шаре!* — причем совершен без затруднений, по-видимому, без серьезной опасности — при исправном действии всего устройства — и за невероятно короткий срок: семьдесят пять часов от берега до берега! Благодаря энергии одного из наших корреспондентов в

¹ Шутка (*фр.*).

Чарлстоне (штат Южная Каролина) мы первые имеем возможность сообщить читателям подробности этого необычайного путешествия, начатого в субботу 6-го числа текущего месяца, в 11 часов утра, и закончившегося в среду 9-го, в 2 часа пополудни. Участниками полета были: сэр Эверард Брингхерст; м-р Осборн, племянник лорда Бентинка; известные аэронавты мистер Монк Мейсон и м-р Роберт Холленд; м-р Харрисон Эйнсворт, автор «Джека Шеппарда» и других произведений; м-р Хенсон, изобретатель предыдущей, неудавшейся летательной машины, и два матроса из Вулвича — всего восемь человек. Точность приводимых ниже подробностей гарантируется, так как все они, за одним небольшим исключением, *verbatim*¹ списаны с путевого журнала, который вели м-р Монк Мейсон и м-р Харрисон Эйнсворт, любезно давшие нашему корреспонденту сверх этого множество устных объяснений относительно шара, его устройства и прочих предметов, представляющих интерес. Единственные изменения в полученной рукописи имели целью придать поспешным записям нашего корреспондента м-ра Форсита большую связность.

ВОЗДУШНЫЙ ШАР

Две явные неудачи — м-ра Хенсона и сэра Джорджа Кейли — значительно ослабили за последнее время интерес публики к воздухоплаванию. В основе проекта мистера Хенсона (который даже ученые вначале сочли вполне осуществимым) была наклонная плоскость, помещенная на известной высоте и получающая первоначальный толчок от внешнего двигателя, а затем приводимая в движение вращением ударяющихся лопастей, формой и числом подобных крыльям ветряной мельницы. Однако опыты с моделями, проведенные в Галерее Аделаиды, показали, что движение этих лопастей не только не толкает летательную машину вперед, но, напротив, мешает полету. Единственной движущей силой оказался *импульс*, создающийся снижением наклонной плоскости, причем при

¹ Дословно (лат.).

недвижных лопастях он уносил машину дальше, чем когда они находились в движении,— что достаточно доказывало их бесполезность; а при отсутствии движущей силы, которая одновременно *поддерживала* бы аппарат в воздухе, он, разумеется, опускался на землю. Это подало сэру Джорджу Кейли мысль приспособить пропеллер к чему-то такому, что может самостоятельно держаться в воздухе,— то есть к воздушному шару; новым, или оригинальным, здесь был' лишь способ осуществления. Свою модель сэр Джордж демонстрировал в Политехническом институте. И здесь движущая сила прилагалась к расчлененной поверхности, то есть к лопастям, которые приводились во вращение. Их было четыре, но они оказались неспособными двигать шар или содействовать его подъему. Словом, изобретение потерпело полную неудачу.

Вот тогда-то мистер Монк Мейсон (чей полет на воздушном шаре «Нассау» в 1837 году из Дувра в Вейльбург произвел такую сенсацию) решил применить для движения в воздухе принцип Архимедова винта, справедливо объясняя неудачу проектов мистера Хенсона и сэра Джорджа Кейли применением отдельных лопастей, расчленявших плоскость. Первый публичный опыт был им произведен в помещении Виллиса, но позднее он передал свою модель Галерее Аделаиды.

Как и у сэра Джорджа Кейли, его шар имел форму эллипсоида. Длина его составляла 13 футов 6 дюймов, высота — 6 футов 8 дюймов. Он вмещал около трехсот двадцати кубических футов газа и, при применении чистого водорода и тотчас по наполнении, пока газ не успевал частично разложиться или выйти,— обладал подъемной силой в двадцать один фунт. Общий вес его составлял семнадцать фунтов, так что около четырех фунтов оставалось в запасе. Под шаром помещалась легкая деревянная рама длиною около девяти футов, прикрепленная к нему с помощью обычной сетки. К раме была подвешена плетеная лодочка или корзина.

Винт модели состоит из оси, сделанной из полой латунной трубки длиною в восемнадцать дюймов, в которую под углом в пятнадцать градусов пропущено несколько двухфутовых спиц из стальной проволоки, выступающих

на один фут с каждого конца трубки. Наружные концы этих спиц соединены посредством скреп из сплющенной проволоки — и все это образует остов винта, обтянутый промасленным шелком с прорезями, натянутым так, чтобы представлять достаточно гладкую поверхность. Концы оси винта поддерживаются опорами из полой латунной трубки, прикрепленной к обручу. В нижних концах этих трубок имеются отверстия, в которых вращаются шкворни оси. Из конца оси, ближнего к пассажирской корзине, выходит стальной стержень, соединяющий винт с шестерней пружинного устройства, находящегося в корзине. С помощью этой пружины винту придают быстрое вращение, сообщающее поступательное движение всему воздушному шару. Руль позволяет легко поворачивать шар в любом направлении. Для своих размеров пружина обладает большой мощностью и за первый оборот может поднять сорокапятифунтовый груз на вал диаметром в четыре дюйма, причем по мере вращения мощность увеличивается. Вес пружины составляет восемь фунтов шесть унций. Руль представляет собой легкую тростниковую раму, обтянутую шелком, по форме напоминающую ракетку; в длину он имеет около трех футов, наибольшую ширину — один фут, а весит около двух унций. Его можно ставить *горизонтально*, поворачивать вверх или вниз, а также вправо и влево, что позволяет аэронавту использовать сопротивление воздуха, создаваемое при наклонном положении руля, в любом направлении; воздушный шар при этом поворачивается в направлении противоположном.

Эта модель (которую мы, за недостатком времени, описали лишь приблизительно) подверглась испытанию в Галерее Аделаиды, где развила скорость до пяти миль в час; но, как ни странно, вызвала очень мало интереса по сравнению со своим предшественником — сложным аппаратом мистера Хенсона; так привыкли люди пренебрегать всем, что им кажется простым. Все считали, что для решения великой задачи воздухоплавания необходимо особо сложное применение какого-либо из самых хитроумных законов динамики.

Однако м-р Мейсон был так уверен в конечном успехе своего изобретения, что решил немедленно соорудить, если возможно, воздушный шар достаточных размеров, чтобы испытать его в длительном путешествии — сперва он предполагал лететь через Ла-Манш, как это сделал ранее на шаре «Нассау». Для осуществления своего замысла он прибег к поддержке сэра Эверарда Брингхерста и м-ра Осборна, известных своими научными познаниями и в особенности интересом к воздухоплаванию. По желанию мистера Осборна работы держались в строгой тайне, в которую были посвящены только лица, непосредственно занятые сооружением шара (под наблюдением м-ра Мейсона, м-ра Холленда, сэра Эверарда Брингхерста и м-ра Осборна) в поместье этого последнего, возле Пенструталя, в Уэльсе. В прошлую субботу шар был показан м-ру Хенсону и его другу м-ру Эйнсворту, когда они были приняты в число участников полета. Нам неизвестна причина, по которой в состав экспедиции включили также двух матросов — но через день или два мы сообщим нашим читателям все подробности этого необычайного путешествия.

Оболочка шара сделана из шелка, покрытого лаком из растворенного каучука. Она очень велика и вмещает более 40 000 кубических футов газа; но, поскольку вместо более дорогого и неудобного водорода в нем применен светильный газ, подъемная сила азростата тотчас по наполнении не превышает 2500 фунтов. Светильный газ не только значительно дешевле, но легче добывается и хранится.

Его широким применением в воздухоплавании мы обязаны мистеру Чарлзу Грину. До его открытия заполнение оболочки шаров было не только крайне дорогим, но и ненадежным. Нередко два и даже три дня тратились на тщетные попытки достать нужное количество водорода, чтобы наполнить шар, из которого он стремился утечь вследствие своей крайней легкости и сродства с окружающей атмосферой. Даже достаточно совершенный шар, в котором светильный газ целиком сохраняется в течение шести месяцев, не изменяя при этом своего качества, не мог бы удержать такого же количества водорода в течение шести недель.

При подъемной силе в 2500 фунтов и общем весе около 1200 фунтов оставался запас в 1300; из них 1200 приходилось на балласт, размещенный в мешках различного размера, на которых был обозначен вес, а также на снасти, барометры, телескопы, запас провизии на две недели, бочонки с водой, плащи, саквояжи и другие необходимые предметы, в том числе кофейник для приготовления кофе с помощью гашеной извести, что позволяло обойтись без огня, если бы этого потребовали соображения безопасности. Все это, за исключением балласта и немногих других вещей, было подвешено к верхнему обручу. Пассажирская корзина относительно меньше и легче, чем в модели. Она сплетена из легких прутьев, но, несмотря на хрупкий вид, необыкновенно прочна. Глубина ее около четырех футов. Руль относительно гораздо больше, чем на модели, тогда как винт значительно меньше. Кроме того, шар снабжен малым якорем и гайдропом; последний имеет очень большое значение. Здесь необходимо дать некоторые объяснения тем из читателей, кто незнаком с воздухоплаванием.

Поднявшись в воздух, шар подвергается действию множества факторов, изменяющих его вес, а это увеличивает или уменьшает его подъемную силу. Так, например, на оболочке может осесть роса весом до нескольких сот фунтов; тогда приходится выбрасывать чуть балласта, чтобы шар не пошел вниз. Когда балласт сброшен, а солнце высушило росу и одновременно вызвало расширение газа внутри оболочки, шар вновь начинает быстро подниматься. Остановить подъем можно (вернее, приходилось до того, как м-р Грин применил гайдроп) только одним способом: выпуская через клапаны часть газа; однако при этом соответственно уменьшалась подъемная сила, так что даже самый лучший аэростат быстро истощал весь свой запас и должен был опуститься. Вот что являлось главной помехой для длительных полетов.

Гайдроп устраняет эту помеху безо всякого труда. Он представляет собой просто очень длинный канат, опущенный из корзины для удержания шара примерно на одной высоте. Если, скажем, на оболочке осела влага и аэростат в результате этого начинает снижаться, ему уже не надо

выбрасывать балласт, чтобы уменьшить общий вес, ибо вес можно уменьшить ровно на столько, на сколько нужно, опуская на землю соответствующий отрезок каната. Если, напротив, вес чрезмерно уменьшается и шар стремится подняться, этому может немедленно противодействовать вес отрезка каната, подбираемого с земли. Таким образом, шар может быть удержан почти на одной и той же высоте, а запас газа и балласта сохраняется почти неизменным. При полете над водным пространством применяются маленькие медные или деревянные бочонки, наполненные какой-либо жидкостью, более легкой, чем вода. Они плывут на поверхности воды, выполняя ту же роль, какую выполняет на суше волочащийся канат. Вторым важным назначением гайдропа является указывать направление полета шара. На суше, как и на воде, канат волочится, тогда как шар свободно летит; поэтому при движении последний всегда находится впереди; сравнивая с помощью компаса относительное положение их обоих, определяют курс. Точно так же угол, образуемый канатом и вертикальной осью шара, указывает скорость движения. Когда этого угла нет, то есть, когда канат опущен перпендикулярно земле, это значит, что шар недвижим; чем больше угол, иначе говоря, чем больше шар обгоняет конец каната, тем, значит, больше скорость; и наоборот.

Поскольку первоначальным намерением было перелететь Ла-Манш и опуститься возможно ближе к Парижу, путешественники, чтобы избавиться от лишних формальностей, заранее запаслись паспортами для всех частей Европейского континента с обозначением цели полета, как это было сделано и при полете «Нассау»; однако неожиданные события сделали эти паспорта излишними.

Шар был надут в субботу утром, шестого числа, во дворе Вил-Вор Хаус — поместье м-ра Осборна, находящегося примерно в одной миле от Пенстругалья, в Северном Уэльсе; в 11 ч. 7 мин., когда все было готово к полету, шар отвязали, и он медленно полетел в направлении на юг, причем в первые полчаса ни винт, ни руль не применялись. Далее мы приводим бортовой журнал, переписанный

санный мистером Форситом с рукописи м-ра Монка Мейсона и м-ра Эйнсворта. Журнал заполнен рукой м-ра Мейсона, а ежедневные приписки делались м-ром Эйнсвортом, который подготовил и вскоре опубликует более подробный и, несомненно, чрезвычайно увлекательный отчет о полете.

БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ

Суббота, 6 апреля. Все трудоемкие приготовления были сделаны еще с вечера, а сегодня на рассвете мы начали надувать шар; однако из-за густого тумана и сырости, которая пропитала складки шелка и затрудняла работу, мы закончили ее лишь к одиннадцати часам. После этого, в отличном настроении, отвязались и медленно поднялись при легком ветре с севера, понесшем нас в сторону Ла-Манша.

Подъемная сила оказалась больше ожидаемой; когда мы поднялись выше утесов и попали на солнце, подъем сильно ускорился. Я, однако, не хотел в самом начале полета выпускать газ и решил продолжать подъем. Скоро мы поднялись на всю длину нашего гайдропа; но даже когда он был совсем поднят с земли, мы продолжали быстро подниматься. Шар был необычайно устойчив и выглядел очень красиво. Спустя около 10 минут после взлета барометр показал высоту в 15 000 футов. Погода стояла на редкость хорошая, и вид на лежавшую под нами местность — весьма романтический с любой возвышенности — сейчас был особенно великолепен. Многочисленные ущелья из-за наполнявшего их густого тумана казались озерами, а беспорядочно громоздившиеся на юго-востоке острокопечные скалы и вершины очень походили на огромные города восточных сказок. Мы быстро приближались к горам Юга, но летели достаточно высоко, чтобы безопасно их миновать. Через несколько минут мы весьма эффектно пролетели над ними; м-р Эйнсворт и матросы удивились тому, что из нашей корзины они казались совсем невысокими, ибо при взгляде со столь большой высоты неровности земной поверхности почти совершенно сглаживаются.

В половине двенадцатого, продолжая лететь на юг, мы завидели Ла-Манш; а спустя четверть часа под нами уже виднелась полоса прибоя, и мы летели над морем. Теперь мы решили выпустить достаточно газа, чтобы можно было опустить на воду наш гайдроп с прикрепленными к нему буйками. Это было немедленно проделано, и мы стали понемногу опускаться. Через двадцать минут первый из буйков достиг поверхности воды, а после того как ее коснулся и второй, шар остался уже на одном уровне. Теперь нам было важно проверить работу руля и винта, и мы привели их в действие, чтобы больше повернуть на восток, к Парижу. С помощью руля мы тотчас же осуществили желаемое изменение направления и полетели почти под прямым углом к ветру; тогда мы привели в движение пружину винта и с радостью убедились, что он толкает нас в нужном направлении. Тут мы трижды три раза прокричали «ура» и сбросили в море бутылку с листом пергамента, где кратко описывался принцип нашего аппарата. Однако, едва лишь мы кончили радоваться, как произошло нечто непредвиденное и немало нас смутившее. Ближайший к корзине конец стального стержня, соединяющего пружину с пропеллером, внезапно соскочил со своего места (из-за нечаянного резкого движения одного из наших матросов, качнувшего корзину) и сразу же повис на шкворне оси винта, за пределами досягаемости. Пока мы пытались его поймать и были всецело этим заняты, восточный ветер, который все время крепчал, понес нас к Атлантическому океану. Мы вскоре оказались над океаном, летя со скоростью не менее пятидесяти или шестидесяти миль в час, и, прежде чем сумели закрепить стержень и сообразили, что происходит, были уже над мысом Клир, оставшимся примерно в сорока милях к северу от нас. Вот тут м-р Эйсворт высказал необычайное, но, на мой взгляд, ничуть не безрассудное или фантастическое предположение, немедленно поддержанное м-ром Холлендом, а именно: воспользоваться уносившим нас сильным ветром и вместо того, чтобы возвращаться в Париж, попытаться достичь побережья Северной Америки. После краткого раздумья я охотно согласился с этим смелым замыслом, против которого воз-

ражали (как ни странно) лишь оба матроса. Но мы были в большинстве, мы успокоили их опасения и решительно продолжали путь. Теперь мы правили прямо на запад, но, поскольку тянувшиеся по воде буи немало замедляли наше движение, а шар и без того легко нам повиновался как при подъеме, так и при спуске, мы сперва выбросили пятьдесят фунтов балласта, а затем (с помощью ворота) настолько подтянули гайдроп, чтобы он не находился в воде. Результатом этого было немедленное и значительное увеличение скорости; по мере того как ветер крепчал, она становилась почти невообразимой; гайдроп летел за корзиной, точно вымпел за кораблем. Излишне говорить, что берег очень скоро скрылся из глаз. Мы пролетели над множеством различных судов, из которых лишь немногие пытались идти против ветра, а большинство лежало в дрейфе. На каждом из них наше появление вызывало величайший восторг, что чрезвычайно нам нравилось, в особенности двум матросам, которые, хлебнув джина, как видно, отбросили всякие сомнения и страхи. Многие суда палили из пушек; всех нас приветствовали громкими «ура» (удивительно отчетливо слышными) и махали шляпами и платками. Так продолжалось весь день, без особых происшествий, а когда наступила темнота, мы приблизительно подсчитали проделанный путь. Он был равен не менее чем пятистам милям, а вероятнее всего — значительно больше. Пропеллер все время находился в действии и, несомненно, немало ускорял наш полет. После захода солнца ветер перешел в настоящий ураган; расстилавшийся под нами океан был ясно виден благодаря фосфорическому свечению воды. Ветер всю ночь дул с востока, суля нам успех. Мы немало страдали от холода и неприятной сырости, но просторная корзина позволяла нам улечься, и с помощью плащей и одеял мы кое-как согрелись.

P. S. [рукой м-ра Эйнсворта]. Минувшие девять часов, бесспорно, были самыми волнующими в моей жизни. Я не представляю себе ничего более возвышающего душу, чем неведомые опасности и новизна подобного предприятия. Дай Бог, чтобы оно удалось! Я молюсь об удаче не просто ради безопасности собственной незначительной особы, но

ради победы человеческого разума — и какой победы! Впрочем, возможность ее настолько очевидна, что остается лишь удивляться, отчего люди не попытались счастья раньше.

Достаточно, чтобы такой ветер, как нынешний, мчал шар пять-шесть дней (а эти ветры часто длятся и дольше), и путешественник легко преодолет за это время расстояние от побережья до побережья. При таком ветре просторы Атлантики — не более чем озеро. А сейчас меня более всего поражает глубокое безмолвие, царящее на море под нами, несмотря на волнение. Воды не возносят голоса к небесам. Огромный светящийся океан извивается и бьется, не издавая жалоб. Гигантские валы похожи на множество огромных немых демонов, мечущихся в бессильной ярости. В такую ночь, какова для меня нынешняя, человек *живет* — она равна целому столетию повседневности, — нет, я не променял бы этого восторга даже на столетие будничного существования.

Воскресенье, 7-го [рукой м-ра Мейсона]. Нынче утром ветер с десяти упал до восьми-девяти узлов и несет нас со скоростью тридцати морских миль в час или более. При этом направление его заметно переместилось к северу; сейчас, на закате солнца, мы держим на запад главным образом с помощью винта и руля, которые служат нам отлично. Конструкция представляется мне во всех отношениях удачной; задачу передвижения по воздуху в любом направлении (кроме разве прямо навстречу урагану) я считаю решенной. Против вчерашнего ураганного ветра мы не могли бы лететь; но могли бы, если нужно, подняться выше него. А против обычного свежего ветра мы несомненно можем двигаться с помощью винта. Сегодня в полдень, выбрасывая балласт, мы поднялись на высоту почти 25 000 футов. Это мы сделали в поисках более благоприятного воздушного течения, но не нашли ничего лучше того, в котором находимся сейчас. Чтобы перелететь этот маленький пруд, у нас достаточно газа, если бы даже полет затянулся недели на три. У меня нет ни малейшего сомнения в успехе нашего предприятия. Его трудности сильно преувеличивались из-за некоторых неверных представлений. Я могу выбирать попутное воз-

душное течение, а если даже они окажутся неблагоприятными, можно неплохо двигаться с помощью винта. Особых происшествий не было. Ночь обещает быть ясной.

P. S. [написано м-ром Эйнсвортом]. Отмечать почти нечего, кроме того факта (весьма меня удивившего), что на высоте, равной Котопахи, я не испытывал ни особого холода, ни головной боли, ни затруднений в дыхании; то же и м-р Мейсон, м-р Холланд и сэр Эверард. М-р Осборн пожаловался на стеснение в груди, но оно скоро прошло. Весь день мы летели с большой скоростью и сейчас, должно быть, проделали уже более половины пути. Мы обогнали не менее двадцати — тридцати различных судов и у всех вызывали радостное изумление. Оказывается, перелет через океан в аэростате вовсе уж не столь труден. *Omne ignotum pro magnifico*¹. Мем: на высоте 25 000 футов небо кажется почти черным, а звезды видны очень ясно; поверхность моря представляется не выпуклой (как можно было бы ожидать), но заметно вогнутой².

Понедельник, 8-го [рукою м-ра Мейсона]. Сегодня утром у нас снова были неполадки со стержнем винта, который придется полностью переделать во избежание серьезной аварии. Я имею в виду стальной стержень, а не лопасти. Последние сделаны как нельзя лучше. Весь день дует сильный и устойчивый ветер с северо-востока; до сих пор судьба нам явно благоприятствует. Перед рассветом мы были встревожены странными звуками и со-

¹ Все неизвестное кажется грандиозным (*лат.*).

² *Примечание.* М-р Эйнсворт не пытался объяснить это явление, вполне, однако, объяснимое. Линия, проведенная с высоты 25 000 футов перпендикулярно к поверхности земли или моря, образует один из катетов прямоугольного треугольника, основание которого идет от образованного прямого угла к горизонту, а гипотенуза — от горизонта к шару. Но высота в 25 000 футов — это почти ничто в сравнении с длиной линии, уходящей к горизонту. Другими словами, основание и гипотенуза этого воображаемого треугольника так длинны по сравнению с перпендикулярным катетом, что первое и вторую можно считать почти параллельными. Таким образом, горизонт представляется аэронавту на уровне его корзины. Но, поскольку лежащая под ним точка кажется, и действительно находится, на большом расстоянии от него, она тем самым кажется лежащей значительно ниже горизонта. Отсюда впечатление *вогнутости*; оно сохраняется, пока высота подъема не станет на столько значительной по сравнению с расстоянием до горизонта, что кажущаяся параллельность основания и гипотенузы исчезнет. Тогда земля представится выпуклой, как оно и есть. (*Примеч. автора.*)

трясением внутри шара, сопровождавшимся быстрым кажущимся снижением азростата. Причиной этого явились расширение газа вследствие повышения температуры воздуха и вызванное этим растрескивание ледяной корки, которая образовалась за ночь на поверхности сетки. Мы сбросили находившимся внизу судам несколько бутылок. Видели, что одна из них была подобрана крупным судном — очевидно, одним из пакетботов Нью-Йоркской линии. Попытались разобрать его название, но не уверены, что сумели. Мистер Осборн с помощью подзорной трубы прочел нечто вроде «Атланты». Сейчас 12 часов ночи, и мы продолжаем быстро лететь почти прямо на запад. Океан сильно фосфоресцирует.

P. S. [рукой м-ра Эйнсворта]. Два часа ночи, ветер почти стих, насколько я могу судить — однако судить трудно, поскольку мы движемся *по ветру*. Я не спал со времени вылета из Вил-Вора и больше не в силах бодрствовать, надо вздремнуть. Очевидно, мы уже находимся недалеко от американского побережья.

Вторник, 9-го [рукой м-ра Эйнсворта]. Час пополудни. Видны низкие берега Южной Каролины. Великое предприятие завершено. Мы перелетели Атлантический океан — легко перелетели его на воздушном шаре! Слава Богу! Кто после этого скажет, что на свете есть что-либо невозможное?

На этом бортовой журнал кончается. Некоторые подробности посадки были сообщены м-ру Форситу м-ром Эйнсвортом. Было почти полное безветрие, когда путешественники завидели берег, немедленно узанный обоими моряками и мистером Осборном. Так как у последнего имелись знакомые в форте Моултри, было решено опуститься вблизи него. Шар подвели к берегу (был отлив, и твердый, гладкий песок отлично подходил для высадки); опустили якорь, который сразу же хорошо зацепился. Обитатели острова и форта, разумеется, сбежались толпою посмотреть на шар, но долго отказывались поверить, что он действительно перелетел Атлантический океан. Якорь был брошен ровно в два часа пополудни; таким образом, все путешествие заняло семьдесят пять часов,

или даже меньше, считая от побережья до побережья. Оно прошло без серьезных происшествий и каких-либо опасностей. Шар легко удалось привязать и выпустить газ; и когда рукопись, по которой мы составили наше сообщение, была отправлена из Чарлстона, путешественники еще находились в форте Моултри. Дальнейшие их намерения пока неизвестны; но в понедельник, а самое позднее во вторник, мы с уверенностью обещаем нашим читателям дополнительные сведения.

Вот, бесспорно, самое поразительное, самое интересное и самое важное путешествие, когда-либо совершенное или хотя бы предпринятое человеком. Какие великие последствия оно может иметь, сейчас предсказать еще невозможно.



ДЕЛЕЦ

Система — душа всякого бизнеса.

Старая пословица

Я — делец. И приверженец системы. Система — это, в сущности, и есть самое главное. Но я от всего сердца презираю глупцов и чудаков, которые разглагольствуют насчет порядка и системы, ровным счетом ничего в них не смысла, строго придерживаются буквы, нарушая самый дух этих понятий. Такие люди совершают самые необычные поступки, но «методически», как они говорят. Это, на мой взгляд, просто парадокс; порядок и система приложимы только к вещам самым обыкновенным и очевидным, а экстравагантным совершенно несвойственны. Какой смысл может быть заключен в выражении «порядок шалопайства» или, например, «системы прихоти»?

Взгляды мои по этому вопросу, возможно, никогда не были бы столь определенны, если бы не счастливое происшествие, случившееся со мною совсем еще в юном возрасте. Однажды, когда я производил гораздо больше шума, нежели то диктовалось необходимостью, добрая старуха ирландка, моя нянюшка (которую я не забуду в моем завещании), подняла меня за пятки, покрутила в воздухе, пожелала мне как «визгуну проклятому» провалиться и ударом о спинку кровати промяла мне посередине голову, точно шапку. Этим была решена моя судьба и заложены начатки мое го благосостояния. На теменной кости у меня в тот же миг вскочила шишка, и она впоследствии оказалась самой что ни на есть настоящей *шишкой порядка*. Вот откуда у меня страсть к системе и упорядоченности, благодаря которой я стал таким выдающимся дельцом.

Больше всего на свете я ненавижу гениев. Все эти гении — просто ослы, чем больше гений, тем больше осел. Уж такое это правило, из него не бывает исключений. Из гения, например, никогда не получится делец, как из жиды не получится благодетель или из сосновой шишки — мускатный орех. Эти людишки вечно пускаются во всевозможные немыслимые и глупые предприятия, никак не соответствующие правильному порядку вещей, и нипочем не займутся настоящим делом. Так что гения сразу можно отличить по тому, чем он в жизни занимается. Если вам попадется человек, который тщится быть купцом или промышленником, который выбрал для себя табачное или хлопковое дело и тому подобную чертовщину, который хочет стать галантерейщиком, мыловаром или еще кем-нибудь в таком же роде, а то еще строит из себя ни много ни мало как адвоката, или кузнеца, или врача — словом, занимается чем-то необычным — можете не сомневаться: это — гений и, значит, согласно тройному правилу, осел.

Я вот, например, не гений. Я просто делец, бизнесмен. Мой гроссбух и приходо-расходная книга докажут вам это в одну минуту. Замечу без ложной скромности, они у меня всегда в образцовом порядке, поскольку я склонен к аккуратности и пунктуальности. Я вообще так аккуратен и пунктуален, что никакому часовому механизму со мной не сравниться. Более того, дела, которыми занимаюсь я, всегда находятся в согласии с обыденными людскими привычками моих ближних. Хотя за это мне приходится благодарить вовсе не моих весьма недалеких родителей — они-то уж постарались бы сделать из меня отъявленного гения, не вмешайся своевременно мой ангел-хранитель. В биографическом сочинении правда — это все, тем более в автобиографическом. И, однако, кто мне поверит, если я расскажу, — а ведь мне не до шуток, — что пятнадцати лет меня родной отец задумал определить в контору к одному почтенному торговцу скобяными товарами, у которого, как он говорил, было «превосходное дело». Превосходное дело, как бы не так! Итог был тот, что по прошествии двух или трех дней меня отослали назад, в лоно моей тупоумной семьи, с высокой температурой и с

резкими болями в теменной кости вокруг моего органа порядка. Я едва не отдал душу Богу, шесть недель провёл между жизнью и смертью, врачи потеряли всякую надежду — и так далее. Но хоть я и принял страдания, все же я был благодарен судьбе. Мне повезло — я не стал почтенным торговцем скобяными товарами, за что и возблагодарил помянутое возвышение у меня на темени, ставшее орудием моего спасения, равно как и ту добрую женщину, которая в свое время меня им наградила.

Обычные мальчишки убегают из дому в возрасте десяти — двенадцати лет. Я лично подождал, пока мне исполнится шестнадцать. Я, может быть, и тогда бы не сбежал, если бы не подслушал ненароком, как моя старушка мать вела разговор о том, что, мол, надобно меня пристроить по бакалейной части. «По бакалейной части» — подумать только! Я сразу же принял решение убраться подальше и приняться, по возможности, за какое-нибудь действительно приличное дело, чтобы не зависеть впредь от прихотей этих двух старых фантазеров, норовящих, того и гляди, не мытьем, так катаньем сделать из меня гения. Намерение мое с первой же попытки увенчалось успехом, и к тому времени, когда мне сравнялось восемнадцать лет, у меня уже было большое и доходное дело по линии *портновской ходлишй рекламы*.

И удостоился я этой почетной должности исключительно благодаря приверженности к системе, являющейся моей характерной чертою. Аккуратность и методичность неизменно отличали мою работу, равно как и мою отчетность. По своему опыту могу сказать, что не деньги, а система делает человека — за исключением той части его индивидуальности, которая изготавливается портным, — моим нанимателем. Ровно в девять часов каждое утро я являлся к нему за очередным одеянием. В десять часов я уже был на каком-нибудь модном променаде или в другом месте общественного увеселения. Точность и размеренность, с какой я поворачивал мою видную фигуру, выставляя напоказ одну за другой все детали облачавшего ее костюма, были предметом неизменного восхищения всех специалистов. Полдень еще не наступал, как я уже приводил в дом моих нанимателей, господ Крой, Шил

и К*, нового заказчика. Говорю это с гордостью, но и со слезами на глазах, ибо их фирма выказала низкую неблагодарность. Представленный мною небольшой счетец, из-за которого мы рассорились и в конце концов расстались, ни один джентльмен, понимающий тонкости нашего дела, не назовет дутым. Впрочем, об этом, смею с гордостью и удовлетворением заметить, читателю дается возможность судить самому.

Причитается
от господ Крой, Шил и К, портных,*
мистеру Питеру Профиту, ходячей рекламе Долл.

Июля 10	За прохаживание, как обычно, и привод одного заказчика	00,25
Июля 11	То же	25
Июля 12	За одну ложь второго сорта: всучил покупателю побуревший черный материал как якобы темно-зеленый	25
Июля 13	За одну ложь первого сорта экстра: выдал бумажный плис за драп-велюр	75
Июля 20	За покупку совершенно нового бумажного воротничка, чтобы лучше оттенить темно-серый сюртук	2
Августа 15	За пошение короткого фрака с двойными прокладками на груди (температура — 76° в тени)	25
Августа 16	За стояние в течение трех часов на одной ноге для демонстрации нового фасона штрипок к панталонам — из расчета по 12½ центов за одну ногу	37 ½
Августа 17	За прохаживание, как обычно, и привод крупного заказчика (толстый мужчина)	50
Августа 18	То же, то же (средней упитанности)	25
Августа 19	То же, то же (тщедушный и неприбыльный)	6

Итого: 2 долл. 96 ½ цента

Пункт, по которому разгорелись особенно жаркие споры, касался весьма умеренной суммы в два цента за бумажный воротничок. Но, клянусь честью, этот воротничок вполне стоил двух центов. В жизни я не видывал воротничка изящнее и чище. И у меня есть основания утверждать, что он помог реализации трех темно-серых сюртуков. Но старший партнер фирмы не соглашался положить за него больше одного цента и вздумал даже

показывать мне, как из двойного листа бумаги можно изготовить целых четыре таких воротничка. Едва ли стоит говорить, что я от своих *принципов* не отступился. Дело есть дело, и подходить к нему следует только по-деловому. Какой же это *порядок* — обсчитывать меня на целый цент? Чистое надувательство из пятидесяти процентов, вот как я это называю. Можно ли его принять за *систему*? Я немедленно покинул службу у господ Крой, Шил и К^о и завел собственное дело по *бельмовой* части — одно из самых прибыльных, благородных и независимых среди обычных человеческих занятий.

И здесь моя неподкупная честность, бережливость и строгие правила бизнесмена снова пришлись как нельзя более кстати. Предприятие процветало, и вскоре я уже был видной фигурой в своем деле. Ибо я не разменивался на всякие новомодные пустяки, не старался пускать пыль в глаза, а твердо придерживался добрых честных старых приемов этой почтенной профессии — профессии, которой, без сомнения, держался бы и по сей день, если бы не досадная случайность, происшедшая однажды со мною, когда я совершал кое-какие обычные операции. Известно, что когда какой-нибудь старый толстосум, или богатый наследник-вертопрах, или акционерное общество, которому на роду написано вылететь в трубу, — словом, когда кто-нибудь затевает возвести себе хоромы, ничего нет лучше, как воспрепятствовать такой затее, всякий дурак это знает. Приведенное соображение и лежит в основе *бельмового* бизнеса. Как только дело у наших предполагаемых строителей примет достаточно серьезный оборот, вы тихонько покупаете клочок земли на краю облюбованного ими участка, или же бок о бок с ним, или прямо напротив. Затем ждете, пока хоромы не будут уже наполовину возведены, а тогда нанимаете архитектора с тонким вкусом, и он строит вам у них под самым носом живописную мазанку, или азиатско-голландскую пагоду, или свинарник, или еще какое-нибудь замысловатое сооружение в эскимосском, кикапусском или готтентотском стиле. Ну и понятно, нам не по средствам снести его за премию всего из пятисот процентов от наших первоначальных затрат на участок и на штукатурку. *По средствам*

вам это, я спрашиваю? Пусть мне ответят другие дельцы. Самая мысль эта абсурдна. И тем не менее одно наглое акционерное общество сделало мне *именно такое* предложение — именно такое! Разумеется, я на эту глупость ничего не ответил и в ту же ночь вынужден был пойти и измазать сажей их строящиеся хоромы, я чувствовал, что это мой долг. Безмозглые же злодеи упекли меня в тюрьму; и, когда я оттуда вышел, собратья по бельмовой профессии поневоле должны были прекратить со мной знакомство.

Профессия *рукоприкладства*, которой мне пришлось заняться после того, чтобы заработать себе хлеб насущный, не вполне соответствовала моей нежной конституции,— и, однако же, я приступил к делу с открытой душой и убедился, что моя сила, как и прежде, в тех твердых навыках методичности и аккуратности, которые вбила в меня эта замечательная женщина, моя старая нянька,— право, я был бы низким подлецом, если бы не помянул ее в моем завещании. Так вот, соблюдая в делах строжайшую систему и аккуратно ведя прихода-расходные книги, я сумел преодолеть немало серьезных трудностей и в конце концов добиться вполне приличного положения в своей профессии. Думаю, что мало кто делал дела удачнее, чем я. Приведу здесь страницу или две из моего журнала — это избавит меня от необходимости трубить о самом себе, что, по-моему, недостойно человека с возвышенной душой. Другое дело журнал, он не даст солгать.

«1 янв. Новый год. Встретил на улице Скока, навеселе. Нотабене: подойдет. Чуть позднее встретил Груба, пьяного в стельку. Нотабене: тоже годится. Внес обоих джентльменов в мой гроссбух и завел на каждого открытый счет.

2 янв. Видел Скока на бирже, подошел к нему и наступил на ногу. Он размахнулся и кулаком сбил меня с ног. Отлично! Встал на ноги. Затруднения с моим поверенным Толстосуммом. Я хотел за ущерб тысячу, а он говорит, что за одну такую несерьезную затрещину больше пятисот нам с них не содрать. Нотабене: расстаться с Толстосуммом, у него нет совершенно никакой системы.

3 лив. Был в театре, искал Груба. Он сидел сбоку в ложе во втором ряду между толстой дамой и тощей дамой. Разглядывал их в театральный бинокль, пока толстая дама не покраснела и зашептала что-то на ухо Г. Тогда зашел в ложу и сунул нос прямо ему под руку. Ничего не вышло — не дернул. Высморкался, попробовал еще раз — бесполезно. Тогда уселся и подмигнул тощей, после чего, к моему величайшему удовлетворению, был поднят им за шиворот и вышвырнут в партер. Вывих шеи и первоклассный перелом ноги. Торжествуя, вернулся домой и записал на него пять тысяч. Толстосумм говорит, что выгорит.

15 фсвр. Пошел на компромисс в деле мистера Скока. Сумма в пятьдесят центов заприходована — о чем см.

16 фсвр. Сбит с ног этим хулиганом Грубом, каковой сделал мне подарок в пять долларов. (Судебные издержки — четыре доллара двадцать пять центов. Чистый доход — см. приходо-расходную книгу — семьдесят пять центов)».

Итого, за самый короткий срок чистой прибыли не менее одного доллара двадцати пяти центов — и это только от Скока и Груба. Притом, заверяю читателя, что вышеприведенные выписки из моего журнала взяты наудачу.

Одна старая — и мудрая — пословица говорит, что здоровье дороже денег. Эта профессия оказалась несколько слишком тяжелой для моего слабого организма, и потому, обнаружив в один прекрасный день, что я измордован до полной неузнаваемости, так что знакомые, встречаясь со мною на улице, даже и не догадывались, что проходят мимо Питера Профита, я подумал, что лучшее средство от этого — сменить профессию. По каковой причине я обратил мои взоры к пачкотне и занимался ею несколько лет.

Хуже всего в этом деле то, что слишком многие им увлекаются, и поэтому конкуренция слишком уж высока. Всякий дурак, у которого не хватает мозгов для того, чтобы преуспеть в качестве ходячей рекламы, или в бельмовом бизнесе, или в рукоприкладстве, конечно, считает, что пачкотня как раз по нему. Но думать, будто для пачкотни не требуется мозгов, величайшее заблуждение.

Наоборот. И в особенности тут необходима *система* — без нее как без рук. Я вел всего только розничное дело, но благодаря моей старой привычке к *порядку* неплохо в нем преуспел. Прежде всего я с большим тщанием подошел к выбору подходящего перекрестка и за все время ни разу не поднял метлу ни в каком другом месте. Позаботился я также и о том, чтобы под рукой у меня всегда была отличная, удобная лужа. Этим способом я приобрел твердую репутацию человека, на которого можно положиться, а это, поверьте мне, для всякого дельца добрая половина успеха. Не было случая, чтобы кто-нибудь, кто швырнул мне монетку, не перешел на моем перекрестке улицу в чистых панталонах. И поскольку мои положительные деловые привычки были каждому известны, никто не пытался поживиться за мой счет. Попробовал бы только! Я сам не из тех, кто занимается вымогательством, но уж и меня тоже не тронь. Конечно, против банков, этих обдирал, я был бессилен. Я от них копейки не видел, отчего и терпел большие лишения. Но ведь это не люди, а корпорации, а у корпораций, как известно, нет ни тела, которое можно поколотить, ни души, которую можно предать вечному проклятью.

Я с успехом вел свое прибыльное дело, пока в один злосчастный день не принужден был к слиянию с *сапого-собако-маратсельством*, каковое занятие в некотором роде подобно моему, однако далеко не столь почтенно. Правда, местоположение у меня было отличное, в самом центре, а щетки и вакса — высшего качества. И песик мой отличался упитанностью и был большой специалист по разного рода обнюхиваниям. У него уже имелся изрядный стаж, и дело свое он понимал, могу сказать, превосходно. Работали мы обычно так. Помпейчик, вывалявшись хорошенько в грязи, сидит, бывало, паинькой на пороге соседней лавки, пока не появится какой-нибудь франт в начищенных сапогах. Тогда он устремляется ему навстречу и трется о блестящие голенища. Франт отчаянно ругается и начинает озираться в поисках чистильщика.

А тут как раз я, сижу на самом виду, и в руках у меня вакса и щетки. Работы не больше чем на минуточку, и шесть пенсов в кармане. На первых порах этого вполне

хватало — я ведь не жадный. Зато пес мой оказался жадным. Я выделил ему третью долю доходов, а он счел уместным потребовать половину. На это я пойти не мог — мы поссорились и расстались.

Потом я какое-то время *крутил шарманку*, и могу сказать, дело у меня шло совсем недурно. Работа эта простая, немудреная, особых талантов не требует. За безделицу покупаете музыкальный ящик, и, чтобы привести его в порядок, открываете крышку, и раза три ударяете по его нутру молотком. От этого звук несравненно улучшается, что для дела особенно важно. После этого остается взвалить шарманку на плечо и идти куда глаза глядят, покуда не попадетесь вам дверь с обтянутым замшей висячим молотком, а перед нею насыпанная на мостовой солома. Под этой дверью надо остановиться и завести шарманку, всем своим видом показывая, что намерен так стоять и крутить хоть до второго пришествия. Рано или поздно над вами распахивается окно и вам бросают шестипенсовик, сопровождая подношение просьбой «заткнуться и проваливать». Мне известно, что некоторые шарманщики и в самом деле считают возможным «проваливать» за названную сумму, но я лично полагал, что вложенный капитал слишком велик и не позволяет «проваливать» меньше чем за шиллинг.

Это занятие приносило мне немалый доход, но как-то не давало полного удовлетворения, так что в конце концов я его бросил. Ведь я все же был поставлен в невыгодные условия, у меня не было обезьянки, — и потом улицы в Америке так грязны, а демократический сброд до того бесцеремонен и толпы злых мальчишек слишком уж надоедливы.

Несколько месяцев я был без работы, но потом сумел устроиться при *лжспочте*, ибо испытывал к этому делу пылкий интерес. Занятие это весьма простое и притом не вовсе бездоходное. К примеру, рано утром я подготавливал пачку лжеписем — на листке бумаги писал что-нибудь на любую тему, что ни придет в голову, лишь бы позагадочнее, и ставил какую-нибудь подпись, скажем, Том Добсон или Бобби Томпкинс. Потом складывал листки, запечатывал сургучом, лепил поддельные марки с

поддельными штемпелями якобы из Нового Орлеана, Бенгалии, Ботани-Бея и прочих удаленных мест и спешил вон из дому. Мой ежеутренний путь вел меня от дома к дому, которые посOLIDнее. Я стучался, вручал письма и взимал суммы, причитающиеся по наложенному платежу. Платили не раздумывая. Люди всегда с готовностью платят за письма — такие дураки, — и я без труда успевал скрыться за углом, прежде чем они прочитывали мое послание. Единственное, что плохо в этой профессии, это что нужно очень много и очень быстро ходить и беспрестанно менять маршруты. И, кроме того, я испытывал укоры совести. Признаться, я терпеть не могу, когда ругают ни в чем не повинного человека, а весь город так честил Тома Добсона и Бобби Томпкинса, что просто слушать было больно. И я в отвращении умыл от этого дела руки.

Восьмым и последним моим занятием было *кошководство*. Я нашел его в высшей степени приятным, доходным и совершенно необременительным. Страна наша, как известно, наводнена кошками. Бедствие это достигло в последнее время таких размеров, что на последней сессии Законодательного совета была внесена петиция о помощи, под которой стояло множество подписей, в том числе людей самых уважаемых. Совет выказал рассудительность необыкновенную и, приняв на той памятной сессии целый ряд здравых и мудрых постановлений, увенчал их Актом о кошках. Новый закон в своей первоначальной редакции предлагал премию (по четыре пенса) за кошачью голову, но сенату удалось протащить поправку к основному параграфу, с тем чтобы заменить слово «голову» на слово «хвост». Поправка эта была столь неоспоримо уместна, что сенат проголосовал за нее *nem. con.*¹

Лишь только новый закон был подписан губернатором, как я тут же вложил всю мою движимость в приобретение кисок. Вначале я ввиду ограниченности средств кормил их одними мышами, поскольку они дешевы, но мои питомцы с такой невероятной быстротой выполняли библейский завет, что я вскоре счел возможным быть с

¹ *Nemine contradicente* — единогласно (*lam*).

ними пощеднее и баловал их устрицами и черепаховым супом. Их хвосты по сенатской ставке приносят мне отличный доход, ибо я открыл способ с помощью макассарского масла снимать по три урожая в год. К тому же я с радостью обнаружил, что славные животные скоро привыкают к этой процедуре и сами предпочитают, чтобы хвосты им отрубали. Словом, теперь я состоятельный человек и сейчас занят тем, что торгую себе поместье на берегу Гудзона.



ГЕРЦОГ ДЕ Л'ОМЛЕТ

И вмиг попал он в климат попрохладней.

Каупер

Китс умер от рецензии. А кто это умер от «Андромахи»¹? Ничтожные душонки! Де л'Омлет погиб от ортолана. *L'histoire en est breve.*² Дух Апиция, помоги мне!

Из далекого родного Перу маленький крылатый путешественник, влюбленный и томный, был доставлен в золотой клетке на Шоссе д'Антен. Шесть пэров империи передавали счастливую птицу от ее царственной владелицы, Ла Беллисимы, герцогу де л'Омлет.

В тот вечер герцогу предстояло ужинать одному. Уединившись в своем кабинете, он полулежал на оттоманке — на той самой, ради которой он нарушил верность своему королю, отбив ее у него на аукционе, — на пресловутой оттоманке *Calet*.

Он погружает лицо в подушки. Часы бьют! Не в силах далее сдерживаться, его светлость проглатывает оливку. Под звуки пленительной музыки дверь тихо растворяется, и нежнейшая из птиц предстает перед влюбленнейшим из людей. Но отчего на лице герцога отражается такой ужас?

— *Horreur — chien! — Baptiste! — l'oiseau! ah, bon Dieu! Cet oiseau modeste que tu es deshabile de ses plumes et*

¹ Монфлери. Автор «*Parnasse Reformé*» [«Преображенного Парнаса»] заставляет его говорить в Гадесе: «*L'homme donc qui voudrait savoir ce dont je suis mort, qu'il ne demande pas s'il fut de fièvre ou de podagre ou d'autre chose, mais qu'il entende que ce fut de «L'Andromaque»* [Если кто пожелал бы узнать, отчего я умер, пусть не спрашивает, от лихорадки или от подагры, или еще чего-либо, но пусть знает, что от «Андромахи»]. — *Примеч. автора.*

² Повесть об этом короткая (фр.).

que tu as servi sans papier!¹. Надо ли говорить подробнее? Герцог умирает в пароксизме отвращения.

* * *

— Ха! ха! ха! — произнес его светлость на третий день после своей кончины.

— Хи, хи! хи! — негромко откликнулся Дьявол, выпрямляясь с надменным видом.

— Вы, разумеется, шугите, — сказал де л'Омлет. — Я грешил — *c'est vrai*² — но рассудите, дорогой сэр, — не станете же вы приводить в исполнение столь варварские угрозы!

• — Чего-й-то? — переспросил его величество. — А ну-ка, раздевайся, да поживее!

— Раздеться? Ну, признаюсь! Нет, сэр, я не сделаю ничего подобного. Кто вы такой, чтобы я, герцог де л'Омлет, князь де Паштет, совершеннолетний, автор «Мазуркиады» и член Академии, снял по вашему приказу лучшие панталоны работы Бурдона, самый элегантный *robe-de-chambre*³, когда-либо сшитый Ромбером, — не говоря уж о том, что придется еще снимать и папилютки и перчатки...

— Кто я такой? Изволь. Я — Вельзевул, повелитель мух. Я только что вынул тебя из гроба розового дерева, отделанного слоновой костью. Ты был как-то странно надушен, а поименован согласно накладной. Тебя прислал Белиал, мой смотритель кладбищ. Вместо панталон, сшитых Бурдоном, на тебе пара отличных полотняных кальсон, а твой *robe-de-chambre* просто саван изрядных размеров.

— Сэр! — ответил герцог, — меня нельзя оскорблять безнаказанно. Сэр! Я не премину рассчитаться с вами за эту обиду. О своих намерениях я вас извещу, а пока, *au revoir*⁴! — и герцог собирался уже откланяться его сатанинскому величеству, но один из придворных вернул его

¹ Ужас! — собака! — Батист! — птица, о Боже! Эта скромная птица, с которой ты снял перья и которую подаешь без бумажной обертки! (фр.)

² Это правда (фр.).

³ Халат (фр.).

⁴ До свидания (фр.).

назад. Тут его светлость протер глаза, зевнул, пожал плечами и задумался. Убедившись, что все это происходит именно с ним, он бросил взгляд вокруг.

Апартаменты были великолепны. Даже де л'Омлет признал их *bien comme il faut*¹. Они поражали не столько длиною и шириною, сколько высотой. Потолка не было — нет — вместо него клубилась плотная масса огненных облаков. При взгляде вверх у его светлости закружилась голова. Оттуда спускалась цепь из неведомого кроваво-красного металла; верхний конец ее, подобно городу Бостону, терялся *parmi les nues*². К нижнему был подвешен большой светильник. Герцог узнал в нем рубин; но он изливал такой яркий и страшный свет, какому никогда не поклонялась Персия, какому не воображал себе гебр, и ни один мусульманин, когда, опьяненный опиумом, склонялся на ложе из маков, оборотясь спиною к цветам, а лицом к Аполлону. Герцог пробормотал проклятие, выражавшее явное одобрение.

Углы зала закруглялись, образуя ниши. В трех из них помещались гигантские изваяния. Их красота была греческой, уродливость — египетской, их *tout ensemble*³ — чисто французским. Статуя, занимавшая четвертую нишу, была закрыта покрывалом; ее размеры были значительно *меньше*. Но видна была тонкая лодыжка и ступня, обутая в сандалию. Де л'Омлет прижал руку к сердцу, закрыл глаза, открыл их и увидел, что его сатанинское величество покраснел.

А картины! Киприда! Астарта! Ашторет! Их тысяча и все это — одно. И Рафаэль видел их! Да, Рафаэль побывал здесь; разве не он написал... и разве не тем погубил свою душу? Картины! Картины! О роскошь, о любовь! Кто, увидев эту запретную красоту, заметил бы изящные золотые рамы, сверкавшие, точно звезды, на стенах из гиацинта и порфира?

Но у герцога замирает сердце. Не подумайте, что он ошеломлен роскошью или одурманен сладострастным

¹ Очень приличными (*фр.*).

² В облаках (*фр.*).

³ Общий вид (*фр.*).

дыханием бесчисленных курильниц. C'est vrai que de toutes ces choses il a pense beaucoup — mais!¹. Герцог де л'Омлет поражен ужасом; ибо сквозь единственное неза-навешенное окно он видит пламя самого страшного из всех огней!

Le pauvre Duc!² Ему кажется, что звуки, которые непрерывно проникают в зал через эти волшебные окна, превращающие их в сладостную музыку, — не что иное, как стоны и завывания казнимых грешников. А там? — Вон там, на той оттоманке? — Кто он? Этот petit-maitre³ — нет, Божество — недвижимый, словно мраморная статуя, — и такой бледный — et qui sourit, si amerement⁴?

Mais il faut agir⁵ — то есть, француз никогда не падает сразу в обморок. К тому же его светлость ненавидит сцены; и де л'Омлет овладевает собой. На столе лежит несколько рапир, в том числе обнаженных. Герцог учился фехтованию у Б.— Il avait tue ses six hommes⁶. Значит, il peut s'echapper⁷. Он выбирает два обнаженных клинка равной длины и с неподражаемой грацией предлагает их его величеству на выбор. Horreur!⁸. Его величество не умеет фехтовать. Mais il joue!⁹ — Какая счастливая мысль! — Впрочем, его светлость всегда отличался превосходной памятью. Он заглядывал в «Diable»¹⁰, сочинение аббата Гуалтье. А там сказано, «que le Diable n'ose pas refuser un jeu d'ecarte»¹¹.

Но есть ли шансы выиграть? Да, положение отчаянное, но решимость герцога — тоже. К тому же, разве он не принадлежит к числу посвященных? Разве он не лис-

¹ Правда, обо всех этих венцах он много думал — но! (фр.)

² Бедный герцог! (фр.)

³ Щеголь (фр.).

⁴ Который улыбается так горько (фр.).

⁵ Но надо действовать (фр.).

⁶ Он убил шестерых противников (фр.).

⁷ Он может спастись (фр.).

⁸ Ужас! (фр.)

⁹ Но он играет! (фр.)

¹⁰ «Дьявола» (фр.).

¹¹ Дьявол не смеет отказаться от партии экарте (фр.).

тал отца Лебрена? Не состоял членом Клуба Vingt-Un!¹ «Si je perds,— говорит он,— je serai deux fois perdu², погибну дважды — voila tout!³ (Тут его светлость пожимает плечами). Si je gagne, je reviendrai a mes ortolans — que les cartes soient preparees!⁴»

Его светлость — весь настороженность и внимание. Его величество — воплощенная уверенность. При виде их зрителю вспомнились бы Франциск и Карл. Его светлость думал об игре. Его величество не думал; он тасовал карты. Герцог снял.

Карты сданы. Открывают козыря — это — да, это король! нет, дама! Его величество проклял ее мужеподобное одеяние. Де л'Омлет приложил руку к сердцу.

Они играют. Герцог подсчитывает. Талья окончилась. Его величество медленно считает, улыбается и отпивает глоток вина. Герцог сбрасывает одну карту.

— C'est a vous a faire⁵,— говорит его величество, снимая. Его светлость кланяется, сдает и подымается из-за стола, en presentant le Roi⁶.

Его величество огорчен.

Если бы Александр не был Александром, он хотел бы быть Диогеном; герцог же на прощание заверил своего партнера, «que s'il n'eut pas ete De L'Omelette, il n'aurait point d'objection d'etre le Diable»⁷.

¹ Двадцать одно (фр.).

² Если проиграю, я погибну дважды (фр.).

³ Вот и все! (фр.)

⁴ Если выиграю, вернусь к своим ортоланам.— Пусть приготовят карты! (фр.)

⁵ Вам сдавать (фр.).

⁶ Предъявляя короля (фр.).

⁷ Что, если бы он не был де л'Омлетом, он не возражал бы против того, чтобы быть Дьяволом (фр.).



КАК ПИСАТЬ РАССКАЗ ДЛЯ «БЛЭКВУДА»

«Во имя пророка — фиги!»

Крик продавцов фиг в Турции

Полагаю, что обо мне слышали все. Меня зовут синьора Психея Зенобия. Это достоверно мне известно. Никто, кроме моих врагов, не называет меня Сьюки Снобз. Мне говорили, что «Сьюки» является вульгарным искажением имени «Психея», а это — хорошее греческое имя, означающее «душа» (оно очень ко мне подходит, я — *сплошная* душа!), а также «бабочка»; ну, а это, несомненно, относится к моей внешности, когда я надеваю новое платье малинового атласа, с небесно-голубой арабской *мантильей*, с *отделкой из зеленых aggraffas*¹ и семью оборками из оранжевых *auriculas*². Что касается фамилии Снобз — то на меня достаточно взглянуть, чтобы убедиться, что я не Снобз. Мисс Табита Турнепс распространила этот слух просто из зависти. Табита Турнепс! Этакая негодзяка! Но чего можно ожидать от турнепса? Интересно, помнит ли она старинную поговорку насчет «крови из турнепса»? (Не забыть напомнить ей об этом при первом случае.) (Не забыть также показать ей нос.) На чем, бишь, я остановилась? Ах, да! Меня уверяют, что Снобз — это искаженное «Зенобия»; что Зенобия была царицей (я тоже. Доктор Денегрош всегда называет меня царицей сердец); что Зенобия, как и Психея, — слово греческое; что мой отец был «греком», и, следовательно, я имею право на нашу фамилию — Зенобия, но никоим образом не Снобз. Никто, кроме Табиты Турнепс, не зовет меня Сьюки Снобз. Я — синьора Психея Зенобия.

¹ Застежек (фр.).

² Здесь: розеток (лат.).

Как я уже сказала, обо мне слышали все. Я — та самая Психея Зенобия, пользующаяся заслуженной известностью в качестве корреспондента *Союза Исключительно Научных Изысканных Еженедельных Чаепитий, Успешно Ликвидирующих Отсталость Человечества Красноречивыми Излияниями*. Такое название придумал для нас доктор Денегрош и придумал, как он говорит, потому, что оно звучит громко, точно пустая бочка из-под рома. (Иногда он бывает грубоват, но какой это умный человек!) Все мы ставим эти буквы после наших фамилий, как это делают члены К.Х.О. — Королевского Художественного Общества; члены О.Р.П.З. — Общества по Распространению Полезных Знаний и т. п. Д-р Денегрош говорит, что «П» означает «протухший» и что все вместе должно читаться «Общество по Распознаванию Протухших Зайцев», а вовсе не общество лорда Брума — но доктор Денегрош такой чудак! — не знаешь, когда он говорит с вами серьезно. Во всяком случае мы всегда прибавляем к нашим фамилиям буквы С.И.Н.И.Е.Ч.У.Л.О.Ч.К.И. — то есть Союз Исключительно Научных Изысканных Еженедельных Чаепитий, Успешно Ликвидирующих Отсталость Человечества Красноречивыми Излияниями — по букве на каждое слово, гораздо лучше, чем у лорда Брума. Доктор Денегрош утверждает, будто эти буквы отлично нас описывают, но я, право, не понимаю, что он этим хочет сказать.

Несмотря на содействие доктора Денегроша и усиленные старания самого общества привлечь к себе внимание, оно не имело большого успеха, пока туда не вступила Я. По правде сказать, члены общества позволяли себе чересчур легкомысленный тон. Еженедельные субботние доклады отличались более буффонством, нежели глубокомыслием. Так — какой-то гоголь-моголь. Никакого исследования первопричин или первооснов. Да и вообще никакого исследования. Ни малейшего внимания величайшей из проблем — проблеме всеобщего соответствия. Словом, ничего похожего на то, как пишу я. Все было на низком — весьма низком! — уровне. Ни глубины, ни эрудиции, ни философии — ничего того, что ученые зовут духовностью, а невежды — жеманством.

Вступив в общество, я постаралась ввести там более высокие мысли и более изысканный слог, и всему свету известно, что это мне отлично удалось. Сейчас С.И.Н.И.Е.Ч.У.Л.О.Ч.К.И. сочиняют рассказы ничуть не хуже, чем даже в «Блэквуде». Я говорю о «Блэквуде» потому, что слышала, будто лучшие статьи на любую тему можно найти именно на страницах этого заслуженно знаменитого журнала. Мы теперь во всем берем его за образец и поэтому быстро приобретаем известность. Ведь если взяться за дело умеючи, не так уж трудно написать настоящий блэквудовский рассказ. Разумеется, я не говорю о статьях политических. Все знают, как они составляются, с тех пор, как это объяснил доктор Денегрош. Мистер Блэквуд берет портновские ножницы, а рядом стоят наготове трое учеников. Один подает ему «Таймс», другой — «Экзаминер», а третий — «Руководство по Динь-Бому» мистера Гальюна. Мистеру Блэквуду остается только вырезать и перемешивать. Делается это очень быстро. «Экзаминер», «Динь-Бом», «Таймс», потом «Таймс», «Динь-Бом» и «Экзаминер», — а затем «Таймс», «Экзаминер» и «Динь-Бом».

Но главным украшением журнала являются очерки и рассказы на различные темы; лучшие из них относятся к разряду *bizarerries*¹, по выражению доктора Денегроша (что бы это ни означало), тогда как все другие называют их *сенсационными*. Этот вид литературы я всегда высоко ценила, но о способах его создания узнала лишь после того, как недавно (по поручению общества) посетила мистера Блэквуда. Способ весьма прост, хотя и менее прост, чем для статей политических. Явившись к мистеру Блэквуду и изложив ему пожелания нашего общества, я была принята им с большой учтивостью и приглашена к нему в кабинет, где получила точные указания относительно всей процедуры.

— Сударыня, — сказал он, явно пораженный моим величественным видом, ибо на мне было малиновое атласное платье с зелеными *agraffas* и оранжевыми *aureiculas*, — сударыня, — сказал он, — прошу вас сесть. Дело обстоит

¹ Странностей (фр.).

следующим образом. Прежде всего автор сенсационных рассказов должен обзавестись очень черными чернилами и очень большим пером с очень тупым концом. И заметьте себе, мисс Психея Зенобия! — продолжал он после паузы весьма внушительным и торжественным тоном, — заметьте себе, — *это перо — никогда — не следует чинить!* Вот, мэм, в чем заключен весь секрет и самая душа сенсационного рассказа. Я берусь утверждать, что никто, даже величайший гений, никогда не писал — прошу меня понять — хороших рассказов хорошим пером. Можете не сомневаться; если рукопись легко разобрать, то ее не стоит и читать. Таков один из наших основных принципов, и если вы с ним не согласны, наша беседа окончена.

Он умолк. Не желая кончать беседу, я, разумеется, согласилась со столь очевидным положением, в котором, кстати, давно была убеждена. Он, видимо, остался доволен и продолжал меня наставлять:

— Быть может, мисс Психея Зенобия, с моей стороны было бы дерзостью указывать какой-либо наш рассказ или рассказы в качестве образца; и все же на некоторые из них я должен обратить ваше внимание. Позвольте припомнить. Был, например, «Живой мертвец» — отличная вещь! Там описаны ощущения одного джентльмена, которого похоронили, прежде чем он испустил дух, — бездна вкуса, ужаса, чувства, философии и эрудиции. Можно поклясться, что автор родился и вырос в гробу. Затем была у нас «Исповедь курильщика опиума» — великолепное сочинение! — богатство фантазии — глубокие мысли — острые замечания — много огня и пыла — и достаточная доза непонятного. Весьма увлекательный вздор, и читатель проглотил его с наслаждением. Говорили, что автором был Колридж, — ничего подобного. Это было сочинено моим ручным павианом Джунипером за стаканом голландского джина с водой, «горячего и без сахара». (Этому я, пожалуй, не поверила бы, если бы не услышала от самого мистера Блэквуда.) А то еще был «Экспериментатор поневоле» — о джентльмене, которого запекли в печи, но он оттуда вышел целый и невредимый, хотя и печеный. Или «Дневник покойного врача», где все дело было в громких фразах и плохом греческом языке —

и то и другое привлекает читателей. Или, наконец, «Человек в колоколе» — вот это произведение, мисс Зенобия, я особенно рекомендую вашему вниманию. Там рассказано о молодом человеке, который засыпает под языком церковного колокола и просыпается от погребального звона. Эти звуки сводят его с ума, и он, вынув записную книжку, записывает свои ощущения. Ощущения — вот, собственно, главное. Если вам случится утонуть или быть повешенной, непременно опишите ваши ощущения — вы заработаете на них по десять гиней за страницу. Если хотите писать сильные вещи, мисс Зенобия, уделяйте особое внимание ощущениям.

— Непременно, мистер Блэквуд, — сказала я.

— Отлично! — заметил он. — Такая ученица мне по душе. Надо, однако, ввести вас в курс некоторых подробностей сочинения настоящего блэквудовского рассказа с ощущениями — то есть такого, который я считаю во всех отношениях лучшим.

Первое, что требуется, — это попасть в такую передрягу, в какой не бывал еще никто и никогда. Вот, скажем, печь — это было отлично задумано. Но если у вас нет под рукой печи или большого колокола, и вы не можете упасть с воздушного шара, или погибнуть при землетрясении, или застрять в каминной трубе, вам придется удовольствоваться воображаемым переживанием чего-либо в этом роде. Однако я предпочел бы, чтобы ваше повествование подкреплялось фактами. Ничто так не помогает фантазии, как приобретенное опытом знание. «Правда, — как вы знаете, — всякой выдумки странней» и к тому же от нее больше толку.

Тут я заверила его, что у меня имеется пара отличных подвязок, на которых я намерена немедленно удаться.

— Неплохо! — сказал он, — действуйте, хотя это — прием, уже несколько избитый. Можно, пожалуй, сделать лучше. Примите дозу пилюль Брандрета, а затем опишите ваши ощущения. Впрочем, мои инструкции одинаково применимы к любой катастрофе, а ведь легко может случиться, что по дороге домой вам проломают голову, или вы попадете под омнибус, или вас укусит бешеная

собака, или вы утонете в сточной канаве. Однако продолжим.

Выбрав тему, вы должны будете затем подумать о тоне или манере изложения. Существует тон дидактический, тон восторженный, тон естественный — все они уже достаточно банальны. Есть также тон лаконический или отрывистый, который сейчас в большом ходу. Он состоит из коротких предложений. Вот так. Короче. Еще короче. То и дело точка. Никаких абзацев.

Есть еще тон возвышенный, многословный, восклицательный. Его придерживаются некоторые из лучших наших романистов. Все слова должны кружиться, как волчки, и жужжать точно так же — это отлично заменяет смысл. Такой слог — лучший из всех возможных, если автору недосуг подумать.

Хорош также тон философский. Если вы знаете какие-нибудь слова подлиннее, тут им как раз найдется место. Пишите об ионийской и элейской школах — об Архите, Горгии и Алкмеоне. Упомяните о субъективности и объективности. Не забудьте обругать человека по фамилии Локк. Высказывайте как можно больше пренебрежения ко всему на свете, а если случится написать что-нибудь уж *слишком* несуразное, не трудитесь вымарывать; просто сделайте сноску и скажите, что приведенной глубокой мыслью обязаны «Kritic der reinen Vernunft»¹ или «Metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaft»². Будет выглядеть и научно, и — ну, и честно.

Существуют и другие, не менее известные, манеры, но я назову еще только две — трансцендентальную и смешанную. Достоинство первой заключается в том, что она проникает в суть вещей гораздо глубже всякой иной. Подобное ясновидение, при некотором умении, бывает весьма эффектно. Многое можно почерпнуть из журнала «Дайел», даже при беглом чтении. В этом случае следует избегать длинных слов; выбирайте короткие и пишите их вверх ногами. Загляните в том стихотворений Чаннинга и

¹ «Критике чистого разума» (исм.).

² «Метафизическим начальным основаниям естествознания» (исм.).

процитируйте оттуда о «толстом человечке, будто бы что-то умеющем». Упомяните о Верховной Единосущности. Но ни слова о Греховной Двоесущности. А главное,— это постичь искусство намека. Намекайте на все — и не утверждайте ничего. Если вам хочется сказать «хлеб с маслом», ни в коем случае не говорите этого прямо. Можете говорить обо всем, что так или иначе *приближается* к «хлебу с маслом». Можете намекнуть на гречишную лепешку, даже больше того — на овсяную кашу, но если вы в действительности имеете в виду хлеб с маслом, остерегайтесь, дорогая мисс Психея, сказать «хлеб с маслом».

Я заверила его, что больше не сделаю этого ни разу, пока жива. Он поцеловал меня и продолжал:

— Что касается манеры смешанной, то это просто разумное соединение, в равных долях, всех других манер на свете, а потому она одновременно и глубока, и возвышенна, и причудлива, и пикантна, и уместна, и прелестна.

— Предположим, что вы выбрали и тему и манеру. Остается самое важное — я бы сказал, суть — я имею в виду *исполнисис*. Не может джентльмен — да, впрочем, и дама — вести жизнь книжного червя. А между тем совершенно необходимо, чтобы в вашем рассказе была видна эрудиция или, по крайней мере, большая общая начитанность. Сейчас я покажу вам, чем это достигается. Смотрите! (Тут он достал с полки три-четыре тома самого обыкновенного вида и принялся раскрывать их наугад.) Пробежав почти любую страницу любой книги, вы легко заметите множество клочков учености или *bel-esprit*¹, как раз того, чем следует приправлять рассказ для «Блэквуда». Советую записать некоторые из них — сейчас я их вам прочту. Я разделю их на две рубрики: во-первых: *Пикантные Факты для Сравнений*; а во-вторых, *Пикантные Фразы для употребления при случае*. Записывайте.— И я стала записывать под его диктовку.

ПИКАНТНЫЕ ФАКТЫ ДЛЯ СРАВНЕНИЙ. «Вначале было всего три музы — Мелета, Мнема, Аэда — музы размышления, памяти и пения». Из этого небольшого

¹ Остроумия (фр.).

факта при умелом пользовании можно извлечь очень много. Видите ли, он мало известен и выглядит *gesehenheit*¹. Надо только преподнести его небрежно и как бы случайно.

Или еще: «Река Алфей протекала под морским дном и выходила наружу, сохраняя свои воды чистыми». Это, пожалуй, немного старо, но если должным образом приправить и подать, может показаться вполне свежим.

А вот кое-что получше. «Некоторым кажется, что персидский ирис обладает сладким и очень сильным ароматом, тогда как для других он совершенно лишен запаха». Очень тонко! Стоит немного повернуть — и получится просто прелесть. Мы возьмем кое-что еще из ботаники. Ничто так хорошо не принимается публикой, особенно с помощью нескольких латинских слов. Пишите! «*Epidendrum Flos Aëris*» с острова Ява очень красиво цветет и продолжает жить, даже будучи вырван с корнями. Туземцы подвешивают его на веревке к потолку и наслаждаются его ароматом в течение нескольких лет». Великолепно! Но хватит сравнений. Перейдем к Пикантным Фразам.

ПИКАНТНЫЕ ФРАЗЫ. «Классический китайский роман Ю-Киао-Ли». Отлично! Умело вставив эти несколько слов, вы покажете основательное знакомство с языком и литературой Китая. Если воспользоваться ими, можно, пожалуй, обойтись без арабского, санскрита или чикасо. А вот испанский, итальянский, немецкий, латынь и греческий совершенно обязательны. Я подберу вам образцы каждого из них. Любой отрывок годится, потому что использование его в рассказе — это уж дело вашей изобретательности. А теперь пишите!

«*Aussi tendre que Zaïre*» — нежная, как Заира, — вот вам французская фраза. Имеется в виду частое повторение фразы «*la tendre Zaïre*» во французской трагедии того же названия. Приведя ее кстати, вы покажете не только ваши познания во французском языке, но и общую вашу начитанность и остроумие. Можно, например, сказать, что курица, которую вы ели (допустим, вы пи-

¹ Изысканно (*фр.*).

жете о том, как подавились куриной костью), что эта курица далеко не была «aussi tendre que Zaire». Пишите далее!

Ven muerte tan escondida,
Que no te sienta venir,
Porque el plazer del morir
No me torne a dar la vida.

Это по-испански — из Мигеля де Сервантеса: «Приди скорее, о смерть, но только не показывайся мне, чтобы радость, какую доставит мне твой вид, не возвратила меня к жизни». Это можно вставить весьма кстати, когда вы, подавившись куриной костью, корчитесь в предсмертной агонии. Пишите!

Il pover' huomo che non sen'era accorto,
Andava combattendo, ed era morto.

А это, как видите, по-итальянски — из Ариосто. Речь идет о славном герое, который в пылу битвы не замечает, что убит, и продолжает доблестно сражаться, хотя и мертв. Очевидно, что и это применимо к вашему случаю — ибо я уверен, мисс Психея, что вы будете дрыгать ножками еще часа полтора после того, как подавитесь до смерти этой самой куриной костью. Извольте записывать!

Und sterb' ich doch, so sterb' ich denn
Durch sie — durch sie!

А вот это по-немецки — из Шиллера: «Пусть это смерть — я смерть вкусил // У ног, у ног, у милых ног твоих». Здесь вы, понятно, обращаетесь к *причине* вашей гибели — к курице. В самом деле, какой разумный джентльмен (да и дама тоже) *откажется* умереть ради откормленного каплуна моллукской породы, начиненного каперсами и грибами и сервированного на блюде с гарниром из апельсинового желе en mosaïgues. — Записывайте! (Так их подают у Тортони.) Записывайте, прошу вас!

Вот отличная маленькая латинская фраза и притом редкая (латинские фразы надо выбирать возможно короче и изысканней — уж очень они становятся обиходны)

— *ignoratio elenchi*¹. Кто-то совершил *ignoratio elenchi* — то есть понял ваши слова, но не мысль. Он попросту дурак. Какой-нибудь бедняга, с которым вы заговорили, когда подавились куриной костью, и который поэтому не вполне понял, о чем вы говорите. Бросьте в него этим *ignoratio elenchi*, и вы его сразу уничтожите. Если он осмелится возражать, можете ответить ему словами Лукана (вот они), что речи — всего лишь *anemone verborum* — слова-анемоны. Анемона красива, но лишена запаха. А если он начнет шуметь, обрушьте на него с *insomnia Jovis* — грезами Юпитера — так Силий Италик (вот он!) называет напыщенные и высокопарные рассуждения. Это наверняка поразит его в самое сердце. Ему останется только опрокинуться на спину и умереть. Итак, записывайте, прошу вас.

По-гречески надо что-нибудь красивое — вот, например, из Демосфена. Ἄνερ ο φευγὼν καὶ παλιν μάχησεται [Aner o pheugon kai palin machesetai].

В «Гудибрасе» есть недурной перевод—

В бой может вновь пойти беглец—
Не тот, кого настиг конец.

В рассказе для «Блэквуда» ничем так не блеснешь, как греческим языком. Одни буквы и те уж смотрят умно. Обратите внимание, мэм, какой пронизательный вид у этого Ипсилона! А Фи, право, мог бы быть епископом! А до чего хорош Омикрон! А поглядите на Тау! Одним словом, для настоящего рассказа с ощущениями нет ничего лучше греческого языка. В нашем случае применить его чрезвычайно просто. Выпалите цитату тоном ультиматума, с добавлением громового проклятия, прямо в лицо тупоголовому ничтожеству, не сумевшему понять ваших простых английских слов о куриной кости. Будьте уверены, он поймет намек и удалится.

Вот и все указания, какие мистер Блэквуд дал мне на этот предмет, но я почувствовала, что их вполне достаточно. Теперь я могла наконец написать настоящий блэк-

¹ В виде мозаики (фр.).

вудовский рассказ, и я решила приступить к делу немедленно. Прощаясь со мной, мистер Блэквуд предложил приобрести мой рассказ, когда он будет написан; но так как он мог предложить всего пятьдесят гиней за страницу, я решила лучше отдать его нашему обществу, чем расстаться с ним за столь ничтожную сумму. Несмотря на такую скупость, этот джентльмен во всем прочем отнесся ко мне с большим уважением и был чрезвычайно учтив. Его прощальные слова глубоко запали мне в сердце; и я надеюсь, что всегда буду с признательностью их помнить.

— Дорогая мисс Зенобия, — сказал он со слезами на глазах, — не могу ли я *чем-либо еще* содействовать успеху вашего достохвального предприятия? Дайте подумать. Возможно, что вам не удастся в ближайшее время утонуть — или подавиться куриной костью — или быть повешенной — или укушенной — но постойте! Я вспомнил, что во дворе есть пара отличных бульдогов — превосходных, поверьте мне — свирепых и все такое прочее — самое для вас подходящее — они вас разорвут, вместе с *auriculas*, менее чем за пять минут (по часам!) — и подумайте только, что это будет за ощущения! Эй! Том! — Питер! — Дик, где ты там, негодяй? — выпусти их! — Но так как я страшно спешила и не имела ни минуты, пришлось, к сожалению, поторопиться, и я *тотчас* распрощалась — признаюсь, несколько поспешнее, чем предписано правилами вежливости.

Расставшись с мистером Блэквудом, я прежде всего хотела, согласно его советам, попасть в какую-нибудь беду и с этой именно целью провела большую часть дня на улицах Эдинбурга в поисках рискованных приключений, которые соответствовали бы силе моих чувств и размерам задуманного мною рассказа. Меня сопровождали при этом слуга-негр Помпей и собачка Диана, которых я привезла с собой из Филадельфии. Но только под вечер я сумела осуществить свою нелегкую задачу. Именно тогда произошло важное событие, послужившее темой ниже следующего рассказа в духе журнала «Блэквуд», написанного в смешанной манере.



ПОЧЕМУ ФРАНЦУЗИК НОСИТ РУКУ НА ПЕРЕВЯЗИ

Ежели кому из джентльменов интересно, то можете сами поглядеть — у меня на визитных карточках так прямо черным по розовой глянцевой бумаге значится: «Сэр Патрик О'Грандисон, баронет; приход Блумсбери, Рассел-Сквер, Саутгемптон-роуд, 39». И ежели кому хочется знать, кто у нас цвет галантности и вершина бонтона во всем Лондоне, то это как раз я самый и есть. И ничего удивительного (так что можете не воротить носы), ведь уже битые полтора месяца, что я джентльмен, с тех пор как я перестал быть ирландцем и пошел в баронеты, живу — что твой император, уже и образование получил и галантному обхождению обучился. Ох, вам небось охота хоть краем глаза взглянуть, как сэр Патрик О'Грандисон, баронет, выходит, разодетый в пух и прах, чтобы ехать в эту самую оперу, или же садится в бричку и едет кататься в Гайд-Парк! А какая у меня вальяжная фигура! Элегант! Из-за этой фигуры все дамы влюбляются в меня. Ведь во мне росту — любо-дорого посмотреть — добрых шесть футов да еще и три дюйма в придачу. А какая грация, какое сложение сверху донизу! Это вам не три фута с малостью, что росточку в нем — в этом паршивом иностранце-французике, который через дорогу живет и целый Божий день с утра до ночи — себе на горе — плянется и зырится на хорошенькую вдовушку миссис Джем, мою соседку (да благословит ее Бог!) и самую что ни на есть добрую знакомую. Вы только взгляните — видите? У паршивца рожа кислая и левая рука на перевязи. А почему — сейчас все как есть толком разобъясню.

Дело-то нехитрое вот в чем. В первый же день, как я приехал из славного Коннаута и красотка-вдовушка меня

молодца в окошко на улице увидела,— тут же сердце свое мне и отдала. Я это сразу заметил, понятно? Меня не проведешь — не таковский. Вижу: она окошко торопливо распахивает, глаза разинула, таращит, а потом подносит к одному этакое стеклышко в золотой оправе, и дьявол меня заграбастай, ежели взгляд ее сквозь стеклышко не сказал мне яснее слов: «Ах! Свет доброго утра вам, сэр Петрик О'Грандисон, баронет, и низкий поклон! Вы, как погляжу, воистину из джентльменов джентльмен, клянусь душой, и я, ей-же-ей! Ваша, мой дорогой, в любое время дня и ночи — только кликните». Ну, а уж я не из тех, кого можно переплюнуть в галантности. Я отвесил ей поклон, да такой — вы бы видели! А затем сдернул шляпу с головы одним широким рывком и обоими глазами ей подмигнул, словно бы говоря: «Верное слово, вы — премилая крошка, миссис Джем, моя красавица, и захлебнуться мне в ирландской топи болотной, ежели я, сэр Патрик О'Грандисон, баронет, собственной персоной, не готов сей же миг сдавить вас в жарких объятиях и показать вам, как любят у нас в Лондондерри!»

Ну, назавтра утром я как раз сидел и думал, не требует ли от меня галантность послать моей вдовушке любовную писульку, как вдруг входит лакей ливрейный и подает мне разрисованную эдакую визитную карточку, а на ней, он говорит, написано (я сам гравированные слова с завитками не разбираю по причине того, что левша): «мусью» там, «граф», «фу-ты ну-ты», «Мэтр дю-танц» и прочая галиматъя — имя и прозвания этого паршивого иностранца-французика, что через дорогу живет.

И тут как раз он сам входит, отвешивает мне поклон по высшему разряду и говорит, что, мол, только взял на себя смелость сделать мне честь нанести мне краткий визит, и как припустил, припустил, а я ни Боже мой не понимаю, чего он лопочет. Одно только слышу: «Пули-ву, вули-ву», — и среди прочего наговорил он мне с три короба разного вранья, что будто бы он, видите ли, без ума от любви к моей вдовушке миссис Джем и что она будто бы питает любовь к нему!

Услышав такое, я, сами понимаете, чуть не взбесился, но вспомнил, однако, что я — сэр Патрик О'Грандисон

сон, баронет, и что хороший тон не допускает, чтобы галантный джентльмен давал волю гневу, ну, я вида не подал, словно бы мне дела нет, балакаю с ним по-дружески, и немного погодя он вдруг — бац! предлагает, чтобы мы вместе пошли прямо к вдовушке и он представит меня мадаме со всеми онерами.

«Ты слышишь,— говорю я про себя.— Ну и везет же тебе, Патрик! Погоди, сейчас он увидит, в кого влюблена без памяти миссис Джем, в тебя, молодца, или же в этого мусью Мэтр дю-танца».

И пошли мы к вдовушке в соседний дом, и ежели вы скажете, что все там было бонтон и эlegant, то не ошибетесь. Ковер лежал во весь пол, в углу — фордыбьяно, и фисгармошка, и еще черт-те что, а в другом углу — диванчик, такой распрекрасный, что в мире не сыскать, а на нем — ангельчик прелестный, миссис Джем собственной персоной.

— Свет доброго утра вам, миссис Джем,— говорю я и отвешиваю ей такой изысканный, эlegantный поклон, что у вас бы голова кругом пошла.

А французик-иностранец лопочет:

— Вули-ву, пули-ву, ляп-тяп, и дорогая миссис Джем, вот этот джентльмен — не кто другой, как достопочтенный сэръ Патрик О'Грандисон, баронет, мой самый что ни на есть добрый друг и знакомый.

Вдовушка встает с дивана и делает мне изысканный реверанс, какого свет не видывал, и снова садится, ангелочек ангелочком. Смотрю, провалиться мне, если этот паршивый мусью Мэтр дю-танц в тот же миг не усаживается подле по правую ее ручку. Ух ты чёрт! Я думал, у меня глаза так прямо и выскочат, до того я разозлился. Но, однако, потом говорю про себя: «Ах так! Вот вы как, мусью Мэтр дю-танц?» И в тот же миг тоже усаживаюсь подле хозяйки по левую ручку — знай, мусью, наших! Ну, вы бы посмотрели, как изысканно и эlegantно я ей подмигнул при этом обоими глазами прямо в лицо!

Но французиска даже и не заподозрил меня ни в чем. Знай себе любезничает с хозяйкой, старается изо всей своей мочи. «Вули-ву,— говорит,— пули-ву. И тяп-ляп».

«Ничего не выйдет, мусью Лягушатник»,— думаю я про себя. И тоже стал разговаривать что было мочи. И так я ее заговорил моей изысканной, элегантною беседой про милые болота Коннаута, что она только меня одного и слушала. Под конец подарила она меня такой прелестной улыбкой от уха до уха, что я сразу осмелел и пожал ей кончик мизинца самым что ни на есть галантным манером, а сам знай гляжу на нее во все глаза.

И подумайте только, что за хитрая плутовка, лишь только она увидела, что я ей лапку пожимаю, она ее цап — и за спину. Мол, что вы, сэр Патрик О'Грандисон, вот теперь вам будет удобнее, а то, право же, хороший тон не допускает, чтобы вы мне ручкужимали прямо на глазах у этого иностранца-французика мусью Мэтр дю-танца.

Я ей в ответ подмигнул, словно говорю: «Ладно, что до хитростей, то можете на сэра Патрика положиться». И эдак не спеша приступаю к делу. Вы бы умерли, если б видели, как я помаленьку, остороженько просунул руку между спинкой дивана и спиной хозяйки. А там — ее лапка дожидается, словно говорит: «Свет доброго утра вам, сэр Патрик О'Грандисон, баронет». Ну, я ее пожал слегка, так только, для начала, самую малость, боясь, не дай Бог, показаться грубым. И, ах ты Боже мой! она мне отвечает самым легким и нечувствительным пожатием, какое мне в жизни доставалось. «Кровь и гром, сэр Патрик,— думаю я про себя,— ты один и не кто другой — самый красивый и самый счастливый ирландец из всех сыновей славного Коннаута». И тут уж я жму ей лапку ото всей души, и она, моя красавица, тоже жмет мне руку в ответ вполне чувствительно. Но вы бы лопнули от смеха, видя глупое зазнайство французика,— он так перед ней рассыпался, и ухмылялся, и лопотал, и бормотал, что в жизни я не слыхивал ничего подобного. И пусть дьявол меня заграбастает, ежели я вдруг своими глазами не увидел, как он возьми да подмигни ей. Ох, ну и разозлился же я, не дай вам Господи!

— Разрешите,— говорю,— уведомить вас, мусью Мэтр дю-танц,— эдак вежливо говорю, ничем меня не возьмешь,— что хороший тон не допускает пялиться и зы-

риться на благородную женщину, тем паче таким вот, как вы.

И с этими словами снова пожимаю ей лапку, словно хочу сказать: «Ни Боже мой, не сомневайтесь, мое сокровище, сэр Патрик — ваша надежная защита». И снова чувствую ответное пожатие, словно она мне отвечает: «Правда ваша, сэр Патрик,— а мне это понятнее всяких слов.— Правда ваша, клянусь душой, вы — джентльмен что надо, и это как Бог свят». Да еще открывает свои ясные буркалы во всю ширь, так что они у нее едва вовсе не выскочили, и смотрит сначала в сердцах на мусью Лягушатника, а потом на меня с улыбкой, что твой солнечный свет.

— Ах так! — говорит этот наглец.— Вот оно что! И вули-ву, пули-ву,— и вбирает голову в плечи все глубже и глубже, а рот изгибает дугой углами вниз — и ни гу-гу.

Сами понимаете, дальше — больше, сэр Патрик совсем рассвирепел, потому что французишка снова подмигивает моей вдовушке, а вдовушка снова мне руку жмет, словно говоря: «Ну-ка, покажите ему, сэр Патрик О'Грандисон, клянусь душой!»

Издали я могучее проклятье: «Ах, ты,— говорю,— паршивый лягушатник и такой-рассякой такой-то сын!» Но в эту минуту что бы вы думали она делает? Вскакивает с дивана, словно ужаленная, и бегом к дверям. А я гляжу ей вслед и совершенно ничегошеньки понять не могу. Видите ли, ведь я-то знал про себя, что далеко она не уйдет, не сбежит вот так вниз по лестнице за здорово живешь: я же ее за руку держу и ни на минуту не отпускаю. Вот я и говорю:

— Не кажется ли вам, мадам, что вы самую что ни на есть чуточку поторопились? Назад, назад, моя красавица, и тогда я отпущу вашу лапку.

Но она пулей сбежала вниз по лестнице, и тогда я обернулся и посмотрел на этого иностранца-французика. Вот тебе на! Провалиться мне, ежели я не его паршивую лапу держу в своей руке. Так, значит... да ведь тогда... словом, так.

Ну, я тут чуть не умер от смеха, до того потешно было смотреть на французишку, когда он сообразил, что вовсе

не вдовушку держал все это время за ручку, а сэра Патрика О'Грандисона. Сам дьявол никогда не видел такой вытянутой рожи! Ну, а достопочтенный сэр Патрик О'Грандисон, баронет, не таковский, чтобы из себя выходить из-за какой-то небольшой ошибки. В одном только можете поручиться (и не ошибетесь): перед тем как отпустить французишке руку — а сделал я это не раньше, чем лакеи миссис Джем вытолкали нас обоих взащей, — я так ему сжал ее на прощание, что из нее получился малиновый джем.

— Вули-ву, — говорит он, — пули-ву. И черт драл.

Вот в чем истинная причина, что он носит левую руку на перевязи.



НЕ ЗАКЛАДЫВАЙ ЧЕРТУ СВОЕЙ ГОЛОВЫ

Рассказ с моралью

«Con tal que las costumbres de un autor» — пишет дон Томас де Лас Торрес в предисловии к своим «Любовным стихам», — «sean puras y castas, importa muy poco que no sean igualmente severas sus obras», что в переводе на простой язык значит: если нравственность самого автора не вызывает сомнений, неважно, что за мораль содержится в его книгах. Мы полагаем, что дон Торрес за это утверждение находится сейчас в чистилище. Поэтической справедливости ради стоило бы продержат его там до тех пор, пока его «Любовные стихи» не будут распроданы или не покроются на полках пылью из-за отсутствия читателей. В каждой книге должна быть мораль; и, что гораздо важнее, критики давно уже обнаружили, что в каждой книге она есть. Не так давно Филипп Меланхтон написал комментарий к «Войне мышей и лягушек», где доказал, что целью поэта было возбудить отвращение к мятежу. Пьер Ла Сен пошел дальше, заявив, что поэт имел намерение внушить молодым людям, что в еде и питье следует соблюдать умеренность. Точно таким же образом Якобус Гюго утверждает, что в лице Эвнея Гомер изобразил Жана Кальвина, в Антиное — Мартина Лютера, в лотофагах — вообще протестантов, а в гарпиях — голландцев. Новейшие наши схоласты столь же проникательны. Эти молодцы находят скрытый смысл в «Допотопных», нравоучение в «Поухатане», новую философию в «Робине-Бобине» и трансцендентализм в «Мальчике с пальчике». Словом, они доказали, что если уж кто-нибудь берется за перо, то обязательно с самыми глубокими мыслями. Так что авторам теперь не о чем беспокоиться. Романист, к примеру,

может совершенно не думать о морали. Она в книге есть — где именно, неизвестно, но есть, — а в остальном пусть критики и мораль позаботятся о себе сами. А когда пробьет час, все, что хотел сказать этот господин (я имею в виду, конечно, романиста), и все, чего он не хотел сказать, все предстанет на суд в «Дайеле» или в «Даун-Истере», равно как и то, что он должен был хотеть, и то, что он явно собирался хотеть, — словом, в конце концов, все будет в порядке.

Итак, нет никаких причин для обвинений, взведенных на меня некоторыми неучами, — что я якобы не написал ни одного морального рассказа или, вернее, рассказа с моралью. Не этим критикам выводить меня на чистую воду, не им *читать* мне мораль, — впрочем, тут я умолкаю. Пройдет совсем немного времени, и «Североамериканское трехмесячное обозрение» заставит их устыдиться собственной глупости. Тем временем, чтоб избежать расправы — чтоб смягчить выставленные против меня обвинения, — я предлагаю вниманию публики нижеследующую печальную историю, историю, мораль которой совершенно ясна и несомненна, ибо всякий, кто только захочет, может узреть ее в заглавии, напечатанном крупными буквами. Прошу воздать мне должное за этот прием, гораздо более остроумный, чем у Лафонтена и всех прочих, что приберегают нравоучение до самой последней минуты, а потом подсовывают его вам в конце, словно изжеванный окурок.

*Defuncti in juria ne afficiantur*¹ — таков был закон двенадцати таблиц, а *De mortuis nil nisi bonum*² тоже прекрасное изречение, хоть покойный, о котором идет здесь речь, возможно, всего лишь покойный старый диван. Вот почему я далек от мысли поносить моего почившего друга, Тоби Накойчерта. Жизнь у него, правда, была собачья, да и умер он, как собака; но он не несет вины за свои грехи. Они были следствием некоторого врожденного недостатка его матери. Когда он был еще младенцем, она порола его на совесть: выполнять свой долг всегда

¹ Правонарушение мертвого неподсудно (лат.).

² О мертвых ничего, кроме хорошего (лат).^с

доставляло ей величайшее наслаждение — на то она и была натурой рационалистической, а дети — что твои свиные отбивные или нынешние оливы из Греции — чем больше их бьешь, тем лучше они становятся. Но — бедная женщина! на свое несчастье она была левшой, а детей лучше вовсе не пороть, чем пороть слева. Мир вертится справа налево, и если пороть дитя слева направо, ничего хорошего из этого не выйдет. Каждый удар в нужном направлении выколачивает из дитяти дурные наклонности, а отсюда следует, что порка в противоположном направлении, наоборот, вколачивает в него определенную порцию зла. Я часто присутствовал при этих экзекуциях и уже по тому, как Тоби при этом брыкался, понимал, что с каждым разом он становится все неисправимее. Наконец, сквозь слезы, стоявшие в моих глазах, я узрел, что он отпетый негодяй, и однажды, когда его отхлестали по щекам так, что он совсем почернел с лица и вполне сошел бы за маленького африканца, я не выдержал, пал тут же на колени и зычным голосом предрек ему скорую гибель.

Сказать по правде, он так рано вступил на стезю порока, что просто диву даешься. Пяти месяцев от роду он нередко приходил в такую ярость, что не мог выговорить ни слова. В шесть я поймал его на том, что он жует колоду карт. В семь он только и делал, что тискал младенцев женского пола. В восемь он наотрез отказался подписать обет трезвости. И так из месяца в месяц он все дальше продвигался по этой стезе; а когда ему исполнился год, он не только отрастил себе усы и ни за что не желал их сбрить, но и приобрел недостойную джентльмена привычку ругаться, божиться и биться об заклад.

Это его в конце концов и погубило, как, впрочем, я и предсказывал. Склонность эта «вросла и крепла вместе с ним», так что, возмужав, он, что ни слово, предлагал биться с ним об заклад. Нессти что-нибудь в заклад он и не думал — о нет! Не такой он был человек, надо отдать ему должное, — да он скорее стал бы нести яйца! Это была просто форма, фигура речи — не более. Подобные предложения в его устах не имели решительно никакого смысла. Это были простые, хоть и не всегда невинные, присказки —

риторические приемы для закругления фразы. Когда он говорил: «Готов прозакладывать тебе то-то и то-то», — никто никогда не принимал его всерьез, и все же я считал своим долгом вмешаться. Привычка эта безнравственна — так я ему и сказал. Вульгарна — в этом он может полагаться на меня. Общество ее порицает — это чистойшей правды Она запрещена специальным актом Конгресса — не стану же я ему лгать. Я уговаривал — бесполезно. Я выговаривал — тщетно. Я просил — он скалил зубы. Я умолял — он заливался смехом. Я проповедовал — он издевался. Я грозился — он осыпал меня бранью. Я дал ему пинка — он кликнул полицию. Я взял его за нос — он сморкнулся мне прямо в руку и заявил, что готов прозакладывать голову черту: больше я этого опыта не повторю.

Бедность была другим пороком, коим Тоби Накойчерт обязан был врожденному недостатку своей матери. Он был беден до отвращения, а потому, естественно, в риторических его фигурах никогда не слышался звон монет. Я не припомню, чтоб он хоть раз сказал «Бьюсь об заклад на доллар». Нет, обычно он говорил «Готов спорить на что угодно», или «Пари на что угодно», или «Пари на любую ерунду», или, наконец, что звучало, пожалуй, гораздо внушительнее, — *«Готов заложить черту голове!»*

Эта последняя формула, видно, нравилась ему больше других, возможно, потому, что риску тут было всего меньше, а Накойчерт в последнее время стал крайне бережлив. Поймай его даже кто-нибудь на слове, что ж — невелика потеря! Ведь голова-то у него тоже была невелика. Впрочем, все это просто мои догадки, и я отнюдь не уверен, что поступаю правильно, приписывая ему эти мысли. Как бы то ни было, выражение это с каждым днем нравилось ему все больше, несмотря на чудовищное неприличие ставить в заклад, словно банкноты, собственные мозги, но этого мой друг не понимал, — в силу своей испорченности, несомненно. Кончилось тем, что он отказался от всех других формул и предался этой с таким усердием и упорством, что я только диву давался. Впрочем, все это немало меня сердило, как сердят меня любые обстоятельства, которых я не понимаю. Тайна заставляет

человека думать — а это вредно для здоровья. Признаюсь, было нечто неуловимое в манере, с которой мистер Накойчерт выговаривал эту ужасную фразу, — нечто неуловимое в самом произношении — что поначалу меня занимало, но понемногу стало приводить в смущение — за неимением лучшего слова, позвольте назвать это чем-то *странным*, хоть мистер Колридж назвал бы это мистическим, мистер Кант — пантеистическим, мистер Карлейль — казуистическим, а мистер Эмерсон — сверхвопросическим. Мне это не нравилось. Душа мистера Накойчерта была в опасности. Я решил пустить в ход все свое красноречие и спасти его. Я поклялся послужить ему так же, как святой Патрик в ирландской хронике послужил жабе, то есть «пробудить в нем сознание собственного положения». Я тотчас приступил к этой задаче. Снова я прибегнул к уговорам. Опять я собрал все свои силы для последней попытки.

Как только я закончил свою проповедь, мистер Накойчерт повел себя самым непонятным образом. Несколько минут он молчал — только смотрел с любопытством мне в лицо. Потом склонил голову набок и вздернул брови. Потом развел руками и пожал плечами. Потом подмигнул правым глазом. Потом повторил эту операцию левым. Потом крепко зажмурил оба. Потом так широко раскрыл их, что я начал серьезно опасаться за последствия. Затем приложил большой палец к носу и произвел остальными неопишутельными движениями. Наконец подбоченился и благоволил ответить.

Мне припоминаются лишь основные пункты этой речи. Он будет мне очень признателен, если я буду держать язык за зубами. Ему мои советы не требуются. Он презирает все мои инсинуации. Он уже не мальчик и может позаботиться о себе сам. Я, видно, думал, что имею дело с младенцем? Мне что — не нравится его поведение? Я что — решил его оскорбить? Я что — совсем дурак? А моей родительнице известно, что я покинул домашний очаг? Он задает мне этот вопрос как человек чести и почтет своим долгом поверить мне на слово. Еще раз — он требует от меня ответа: знает ли моя матушка, что я убежал из дому? Мое смущение меня выдает — он черту голову готов прозакладать, что ей это неизвестно.

Мистер Накойчерт не стал дожидаться моего ответа. Он круто повернулся и без дальнейших околичностей покинул меня. Оно и к лучшему: чувства мои были задеты. Я даже рассердился. Я готов был, против обыкновения, поймать его на слове — и с удовольствием отплатил бы ему за оскорбление, выиграв для Врага Человеческого небольшую головку мистера Накойчерта,— конечно, маменька моя прекрасно *знала* о сугубо временном характере моей отлучки.

Но *Khoda shefa midehed* — Господь ниспошлет облегчение,— как говорят мусульмане, когда наступишь им на ногу. Я был оскорблен при исполнении долга, и я снес обиду, как мужчина. Однако мне все же казалось, что я сделал все возможное для этого несчастного, и я решил не докучать ему более своими советами, но предоставить его самому себе — и собственной совести. Впрочем, хоть я и решил воздерживаться от увещаний, все же я не мог вовсе оставить его на произвол судьбы. Мало того, я даже потакал некоторым из наименее предосудительных его склонностей, и подчас, со слезами на глазах, хвалил его злые шутки, как хвалит привереда-гурман злую горчицу,— до того сокрушали меня его нечестивые речи.

В один прекрасный день, взявшись под руки, мы отправились с ним прогуляться к реке. Через реку был переброшен мост, и мы решили пройти по нему. Мост, для защиты от непогоды, был крытый, в виде галереи, в стенах которой проделано было несколько окошек, так что внутри было жутковато и темно. Войдя с яркого солнечного света под сумрачные своды, я почувствовал, как у меня сжалось сердце. Однако несчастный Накойчерт был по-прежнему весел и тут же предложил заложить свою голову черту в знак того, что я просто нюня. По всей видимости, он находился в чрезвычайно приподнятом расположении духа. Он был необыкновенно говорлив — что невольно навело меня на самые мрачные подозрения. Не исключено, думал я, что у него припадок трансцендентализма. Впрочем, я недостаточно знаком со всеми признаками этой болезни для того, чтобы с уверенностью ставить диагноз; и, к несчастью, поблизости не было никого из моих друзей из «Дайела». Я упоминаю об этом

прежде всего потому, что у бедного моего приятеля появились, как мне показалось, некоторые симптомы шутовской горячки, заставившей его валять дурака. Ему зачем-то понадобилось перепрыгивать через все, что ни встречалось нам по пути, или подлезать вниз на четвереньках, то вопя во весь голос, а то шепча какие-то странные слова и словечки,— и все это с самым серьезным выражением лица. Я, право, не знал — жалеть мне его или надавать пинков. Наконец, пройдя почти весь мост до конца, мы увидели, что путь нам преграждает довольно высокая калитка в виде вертушки. Я спокойно толкнул перекладину и прошел, как это обычно и делается. Но для мистера Накойчерта это было, конечно, слишком просто. Он, разумеется, заявил, что должен через нее перепрыгнуть, да еще и сделать курбет в воздухе. По совести говоря, я был уверен, что он этого сделать не может. Лучшим прыгуном-курбетистом через всякого рода заборы был мой друг мистер Карлейль, но я-то твердо знал, что он так прыгнуть не может, куда уж там Тоби Накойчерту. А потому я прямо ему заявил, что он жалкий хвостун и сделать этого не сумеет. В чем я впоследствии раскаялся — ибо он тут же объявил, что сумеет, *пусть черт возьмет его голову.*

Несмотря на прежнее свое решение, я открыл было рот, чтобы пожурить его за божбу, как вдруг услышал у себя за спиной легкое покашливание, словно кто-то тихонько произнес: «*Кхе!*» Я вздрогнул и с удивлением огляделся. Наконец взгляд мой упал на небольшого хромого господина преклонных лет и почтенной наружности, стоявшего в укромном уголке у стены. Вид у него был самый достойный — он был облачен во все черное, рубашка блистала белизной, уголки воротничка были аккуратно подвернуты, высокий белый галстук подпирал подбородок, а волосы были расчесаны, как у девушки, на ровный пробор. Руки он в задумчивости сложил на животе, а глаза закатил под самый лоб.

Вглядевшись пристальнее, я заметил, что ноги у него прикрыты черным шелковым фартуком, и это показалось мне странным. Не успел я, впрочем, и слова сказать об этом удивительном обстоятельстве, как он остановил меня, снова промолвив: «*Кхе!*»

На это замечание я не тотчас нашелся что ответить. Дело в том, что на рассуждения такого лаконичного свойства отвечать вообще практически невозможно. Мне даже известен случай, когда одно трехмесячное обозрение *растерялось* от единого слова: «Вранье!» Вот почему я не стыжусь признать, что тут же обратился за помощью к мистеру Накойчерту.

— Накойчерт,— сказал я,— что с тобой? Ты разве не слышишь, этот господин сказал «Кхе!»? — С этими словами я строго взглянул на своего друга, ибо, признаюсь, я вконец растерялся, а когда растеряешься, приходится хмурить брови и принимать суровый вид, чтобы не выглядеть совсем дураком.

— Накойчерт,— заметил я (это прозвучало как ругательство, хоть смею вас заверить, у меня этого и в мыслях не было).— Накойчерт,— проговорил я,— этот господин говорит «Кхе!»

Я не собираюсь утверждать, что слова мои отличались глубоким смыслом, но впечатление от наших речей, как я замечаю, далеко не всегда пропорционально их смыслу в наших глазах. Швырни я в мистера Накойчерта пексановскую бомбу или обрушь я на его голову «Поэтов и поэзию Америки», он и тогда не был бы так огорошен, как услышав эти простые слова: «Накойчерт — что с тобой? — ты разве не слышишь — этот господин сказал «Кхе!».

— Не может быть,— прошептал он, меняясь в лице, словно пират, завидевший, что их настигает военный корабль.— Ты уверен, что он именно так и сказал? Что же, я, видно, попался — не праздновать же мне теперь труса. Остается одно — «Кхе!»

Услышав это, пожилой господин просветлел — Бог знает, почему. Он покинул свое укромное местечко у стены, подковылял, любезно улыбаясь, к Накойчерту, схватил его за руку и сердечно потряс ее,— глядя все это время ему прямо в лицо с выражением самой искренней и нелицеприятной благосклонности.

— Накойчерт, я совершенно уверен, что вы выиграете, Накойчерт,— проговорил он с самой открытой улыбкой,— но все же надо произвести опыт. Пустая проформа, знаете ли...

— Кхе,— отвечал мой приятель, снимая с глубоким вздохом свой сюртук, повязываясь по талии носовым платком, опуская концы губ и подымая очи к небесам, отчего лицо его приняло самое невероятное выражение,— кхе! — И, помолчав, он снова промолвил: «Кхе!» — другого слова я так от него больше и не услышал.— Ага,— подумал я, не высказывая, впрочем, своих мыслей вслух,— Тоби Накойчерт молчит — такого еще не бывало! Это, несомненно, следствие его прежней болтливости. Одна крайность влечет за собой другую. Интересно, помнит ли он, как ловко он меня допрашивал в тот день, когда я прочел ему свое последнее наставление? Во всяком случае, от трансцендентализма он теперь излечился.

— Кхе,— отвечал тут Тоби, словно читая мои мысли, с видом задумчивым и покорным.

Тут пожилой господин взял его под руку и отвел в глубь моста, подальше от калитки.

— Любезный друг,— сказал он,— для меня дело чести предоставить вам нужный разбег. Подождите здесь, пока я не займу своего места у калитки, откуда мне будет видно, насколько изящно и трансцендентально вы возьмете этот барьер,— и не забудьте про курбет в воздухе. Конечно, все это пустая проформа... Я сосчитаю «раз — два — три — пошли». При слове «пошли» бегите, но никак не раньше.— Затем он занял свою позицию у калитки, минутку помолчал, словно в глубоком раздумье, а затем взглянул вверх и, как мне показалось, легонько усмехнулся. Потом потуже затянул свой фартук, потом пристально посмотрел на Тоби Накойчерта и, наконец, произнес условный сигнал: — *Раз, два, три — пошли!*

На слове «пошли», не раньше и не позже, мой бедный друг сорвался в галоп. Калитка была не так высока, как стиль мистера Лорда, но и не так низка, как стиль его критиков. В целом я был совершенно уверен, что он без труда ее перепрыгнет. А если нет? — вот именно в том-то и дело,— что, если нет? — По какому праву,— сказал я про себя,— этот господин заставляет других прыгать? Да кто он такой, этот старикашка? Предложи он мне прыгнуть, я ни за что не стану — это уж точно, плевать мне

на этого старого черта. Как я уже сказал, мост был крытый, в виде такой нелепой галереи, и все слова отдавались в нем пренеприятнейшим эхом, — обстоятельство, которое я особо отметил, произнеся последние два слова.

Но что я сказал и что я подумал и что я услышал — все это заняло лишь миг. Не прошло и пяти секунд, как бедный мой Тоби прыгнул, выделывая ногами в воздухе всевозможные фигуры. Я видел, как он взлетел вверх и сделал курбет над самой калиткой, но по какой-то совершенно необъяснимой причине через нее он так и не перепрыгнул. Впрочем, весь прыжок был делом одного мгновения; предаваться глубоким размышлениям у меня попросту не было времени. Не успел я и глазом моргнуть, как мистер Накойчерт упал навзничь с той же стороны калитки, с какой прыгнул. В тот же миг я заметил, что пожилой господин со всех ног бежит, прихрамывая, прочь, поймав и завернув в свой фартук что-то, тяжело упавшее сверху, из-под темного свода прямо над калиткой. Всему этому я немало поразился; впрочем, времени размышлять не было, ибо Накойчерт лежал, как-то особенно притаясь, и я решил, что он обижен в лучших своих чувствах и нуждается в моей поддержке. Я поспешил к нему и обнаружил, что ему, как говорится, был нанесен серьезный урон. Сказать по правде, он попросту лишился своей головы, и как я ни искал, мне так и не удалось ее нигде найти. Тогда я решил отвести его домой и послать за гомеопатами. Меж тем в голове у меня мелькнула одна мысль — я распахнул ближайшее окошко в стене и тут же узрел печальную истину. Футах в пяти над самой калиткой шла поперек узкая железная полоса, укреплявшая, как и ряд других, перекрытие на всем его протяжении. С острым ее краем, как видно, и пришла в непосредственное соприкосновение шея моего несчастного друга.

Он ненадолго пережил эту ужасную потерю. Гомеопаты давали ему недостаточно малые дозы, да и то, что давали, он не решался принять. Вскоре ему стало хуже, и, наконец, он скончался (да послужит его кончина уроком любителям бурных развлечений). Я оросил его могилу

лу слезами, добавил диагональную полосу к его фамильному гербу, а весь скромный счет на расходы по погребению отправил трансценденталистам. Эти мерзавцы отказались его оплатить — тогда я вырыл тело мистера Накойчерта и продал его на мясо для собак.



ЛИТЕРАТУРНАЯ ЖИЗНЬ КАК ВАСА ТАМА, ЭСКВАЙРА

(Бывший редактор журнала «Абракадабра»)

НАПИСАНО ИМ САМИМ

Я уже в летах, и так как мне известно, что Шекспир и мистер Эммонс скончались, то не исключено, что даже я могу умереть. Мысль об этом побуждает меня оставить литературное поприще и почить на лаврах. Но я горю желанием ознаменовать мое отречение от литературного скипетра каким-нибудь ценным даром потомству, и, пожалуй, самое лучшее — это описать начало моей карьеры. Право же, имя мое так долго и часто мелькало перед глазами публики, что я не только считаю совершенно естественным вызванный им интерес, но и готов удовлетворить то крайнее любопытство, которое им возбуждено. Действительно, долг всякого, кто достигает величия, — оставлять на пути своего восхождения вежи, которые могут помочь другим стать великими. Поэтому в настоящем труде (у меня была мысль озаглавить его «Материалы к абрису литературной истории Америки») я предполагаю подробно рассказать о тех пусть еще слабых и робких, но знаменательных первых шагах, которые вывели меня на широкую дорогу, ведущую к вершине славы.

Об очень отдаленных предках распространяться излишне. Мой отец, Томас Там, эскв., в течение многих лет был самым известным в Фат-сити парикмахером — фирма «Томас Там и К°». Его заведение служило прибежищем для знатных людей города, особенно журнальной братии — сословия, которое всем внушает глубокое поч-

тение и страх. Что касается меня лично, я смотрел на представителей этого сословия как на богов и с жадностью впивал живительную влагу мудрости и остроумия, которая потоками лилась с их священных уст во время операции, именуемой «намыливанием». Появление у меня первой вспышки творческого вдохновения следует отнести к той достопамятной эпохе, когда знаменитый редактор «Слепня» в перерывах упомянутой выше ответственной операции прочел конклаву наших подмастерьев неподражаемую поэму в честь «Настоящего брильянтина Тама» (названного так по имени его талантливоего изобретателя, моего отца), за сочинение каковой был вознагражден с королевской щедростью фирмой «Томас Там и К', парикмахеры».

Гениальные строфы во славу «Брильянтина Тама» впервые, говорю я, заронили во мне искру Божию. Не долго думая, я решил стать великим человеком, а для начала — великим поэтом. В тот же вечер упал я перед отцом на колени.

— Отец,— сказал я,— прости меня! Но душа моя не приемлет мыльной пены. Я не хочу быть парикмахером. Я хочу стать редактором... хочу стать поэтом... хочу слагать стихи во славу «Брильянтина Тама». Прости меня и помоги стать великим!

— Дорогой мой Каквас,— отвечал отец (меня окрестили Каквасом в честь богатого родственника, носившего это прозвище), — мой дорогой Каквас,— сказал он, поднимая меня с пола за уши,— Каквас, дитя мое, ты славный малый и душой весь в отца. Голова у тебя огромная, и в ней должно быть много мозгов. Я давно это приметил и потому имел намерение сделать тебя адвокатом. Но адвокаты теперь не в моде, а профессия политика невыгодна. Словом, ты рассудил мудро, нет ничего лучше, чем ремесло редактора, а если ты станешь еще и поэтом,— ими, кстати, становится большинство редакторов,— ты сразу убьешь двух зайцев. Я поддержу тебя на первых порах. Я предоставлю в твое распоряжение чердак, дам перо, чернила, бумагу, словарь рифм и экземпляр «Слепня». Надеюсь, ты не станешь требовать большего?

— Я был бы неблагодарной свиньей, если б посмел, — с подъемом отвечал я. — Щедроты ваши беспредельны. Я отплачу вам тем, что сделаю вас отцом гения.

Так закончилась моя беседа с лучшим из людей, и сразу же по ее окончании я ревностно принялся сочинять стихи, так как на них главным образом основывал свои надежды воссесть со временем на редакторское кресло.

Первые пробы моего пера убедили меня, что строфы «Брильянтина Тама» служат мне скорее помехой, чем подспорьем. Их великолепие не столько просветляло, сколько ослепляло меня. Созерцание их совершенств и сопоставление с недоносками моего поэтического воображения повергало меня в уныние, и долгое время усилия мои оставались тщетными. Наконец меня осенила одна из тех неповторимо оригинальных идей, которые время от времени все же озаряют ум гения. Вот ее сущность, точнее — вот как она была осуществлена. Роясь в старой книжной лавчонке, на глухой окраине города, я откопал среди хлама несколько древних, никому не известных или совершенно забытых книг. Букинист уступил мне их за бесценок. Из одной, по-видимому, перевода «Ада» какого-то Данте, я с примерным усердием выписал большой отрывок о некоем Уголино, у которого была куча детей-сорванцов. Из другой, содержавшей множество старинных театральных пьес какого-то автора (фамилию не помню), я тем же способом и с таким же тщанием извлек множество стихов о «неба серафимах», «блаженном духе», «демоине проклятом» и тому подобном. Из третьей, сочинения слепца, не то грека, не то чоктоса, — не стану же я утруждать себя запоминанием всякого пустяка, — я заимствовал около пятидесяти стихов о «гневе Ахиллеса», «приношениях» и еще кое о чем. Из четвертой, написанной, помнится, тоже слепцом, я взял несколько страниц, где говорилось сплошь о «граде» и «свете небесном»; и, хотя не дело слепого писать о свете, стихи все же были недурны.

Сделав несколько тщательных копий, я под каждой поставил подпись «Оподельдок» (имя красивое и звучное) и послал, каждую в отдельном конверте, во все че-

тыре ведущих наших журнала с просьбой поместить немедленно и не тянуть с выплатой гонорара. Однако результат этого столь хорошо продуманного плана (успех которого избавил бы меня от многих забот в дальнейшем) убедил меня, что не всякого редактора можно одурачить, и нанес *coup de grace*¹ (как говорят во Франции) по моим зарождающимся упованиям (как говорят на родине трансценденталистов).

Словом, все журналы, все как один, учинили мистеру «Опodelьдоку» полный разгром в своих «Ежемесячных репликах корреспондентам». «Трамтарарам» отделал его таким манером:

«Опodelьдок (кто бы он ни был) прислал нам длинную тираду о сумасброде, названном Уголино, многодетном родителе, которому следовало драть своих сорванцов ремнем и отправлять их спать без ужина. Вся эта история не только банальна, но и скучна до зевоты. Опodelьдок (кто бы он ни был) лишен всякого воображения, а воображение, по нашему скромному мнению, не только душа ПОЭЗИИ, но и сердце ее. Опodelьдок (кто бы он ни был) имеет наглость требовать, чтобы мы немедленно напечатали его чепуху и «не тянули с выплатой гонорара». Мы не печатаем и не покупаем подобной галиматши. Впрочем, можно не сомневаться, что всю ту дрянь, которую он способен намарать своим пером, охотно возьмут в редакциях «Горлодера», «Сластены» или «Абракадабры».

Надо сказать, что с Опodelьдоком обошлись слишком немилосердно, но обиднее всего было слово ПОЭЗИЯ, напечатанное крупным шрифтом. Сколько желчи было вли-
то в эти шесть букв!

Не менее бесцеремонно отделали Опodelьдока в «Горлодере», который писал так:

«Мы получили крайне странное и возмутительное послание от субъекта (кто бы он ни был), подписавшегося «Опodelьдок» и оскорбившего тем самым величие прославленного римского императора, носившего это имя. К письму Опodelьдока приложены бессмысленные и

¹ Последний удар, которым добивают жертву, чтобы прекратить ее страдания (*фр.*).

омерзительные вирши о «неба серафимах» и «демоине проклятом», столь омерзительные, что их мог сочинить только сумасшедший вроде Оподельдока или Ната Ли. И вот нас скромно просят выплатить гонорар за этот архивздор. Нет, сэр, увольте! За такую чепуху мы не платим. Обратитесь в «Трамтарарам», «Сластену» или в «Абракадабру». Эти *повременные* издания охотно примут у вас всякую литературную дребедень и охотно пообещают заплатить за нее».

Бедному Оподельдоку крепко досталось; но в данном случае острое сатиры было обращено против «Трамтарарама», «Сластены» и «Абракадабры», которые язвительно — и к тому же курсивом — названы «повременными», что должно было поразить их в самое сердце.

Не менее взыскательным оказался «Сластена», который изъяснился так:

«Некий субъект, коему доставляет удовольствие называть себя «Оподельдоком» (в сколь низменных целях употребляются порой имена прославленных мертвецов!), препроводил нам свои стишонки (строк пятьдесят — шестьдесят), начинающиеся таким манером:

Гнев, богиня, воспой Ахиллеса, Пелсева сына,
Грозный, который ахениам тысячи бедствий соделал...

и т.д. и т.п.

Почтительно уведомляем Оподельдока (кто бы он ни был), что самый захудалый наборщик нашей типографии сочиняет куплетики получше этих. Оподельдок не в ладу с размером. Ему надо научиться подсчитывать слоги. И как ему пришло в голову, что мы (никто другой, а именно мы!) решимся осквернить страницы нашего журнала такой беспардонной чепухой,— уму непостижимо. По совети сказать, вся эта белиберда едва-едва подойдет для «Трамтарарама», «Горлодера», «Абракадабры» — органов печати, которые без зазрения совести публикуют «Напевы Матушки-Гусыни» как оригинальное лирическое произведение. И Оподельдок еще имеет наглость требовать гонорар за свою галиматью! Да понимает ли Оподельдок (кто бы он ни был), в состоянии ли он понять, что, озолоти он нас, мы не станем его печатать!»

Вчитываясь в эти строки, я чувствовал, как становлюсь все меньше и меньше; когда же я увидел, с каким презрением редактор называет мое произведение «стишонками», весу во мне осталось не более унции. И мне стало искренне жаль беднягу Оподельдока. Но «Абракадабра» оказалась, если это возможно, еще менее снисходительной, чем «Сластена». Именно «Абракадабра» писала:

«Жалкий стихоблуд, подписывающийся «Оподельдоком», настолько глуп, что вообразил, будто МЫ поместим и оплатим бессмысленную, безграмотную и выпренную белиберду, которую он прислал нам и представление о которой можно составить по следующим хоть сколько-нибудь вразумительным строкам:

О, свет небес, их отпрыск первородный,
Священный град..

«Хоть сколько-нибудь вразумительным», говорим МЫ. Не будет ли Оподельдок (кто бы он ни был) столь любезен разъяснить нам, каким это образом «град» может быть «священным»? До сих пор мы полагали, что град — это замерзший дождь. Не сообщит ли он вместе с тем, каким образом замерзший дождь может быть одновременно «священным градом» (оставим это выражение на совести автора) и «отпрыском», ибо последним термином (если мы хоть чуточку смыслим в английском языке) обозначают только грудных младенцев в пределах шестинедельного возраста. Не стоит и обсуждать подобную нелепость. А вот Оподельдок (кто бы он ни был) с беспримерным нахальством полагает, что мы не только поместим его напыщенный вздор, но и (он так и пишет, черным по белому) выплатим за него гонорар!

Прелестно, не правда ли? Бесподобно! Мы не прочь проучить этого новоиспеченного строчкогона за его сомнение, действительно опубликовав его поэтические излияния *verbatim et literatim*¹, так, как они вышли из-под его пера. Мы не знаем худшего наказания, и мы применили бы его, если б не боялись наскучить нашим читателям.

¹ Дословно (*лат.*).

Рекомендуем Оподельдоку (кто бы он ни был) посылать свои будущие произведения, написанные в том же духе, в «Трамтарарам», в «Сластену» или в «Горлодер». Эти напечатают. Эти ежемесячно печатают такую же дрянь. Посылайте им. МЫ же не позволим безнаказанно оскорблять себя».

Этот отзыв доконал меня; что до «Трамтарарама», «Горлодера» и «Сластены», то я не могу себе представить, как они это вынесли. Их тиснули мельчайшим миньоном (ядовитый намек: вот, мол, какие вы маленькие и подленькие), а «МЫ» взирали на них с высоты гигантских прописных!.. О, это убийственно!.. Им плевали в лицо, их втапывали в грязь! Будь я на месте любого из этих журналов, я бы не пожалел сил — уж я бы посадил «Абракадабру» на скамью подсудимых, я бы подвел ее под статью закона «Об охране животных от жестокого обращения!» Что до Оподельдока (кто бы он ни был), то этот субъект окончательно вывел меня из терпения и больше не вызывал у меня сочувствия. Он остался в дураках (кто бы он ни был) и получил пинков ровно столько, сколько заслуживал.

Результат моих опытов с древними книгами убедил меня, во-первых, в том, что «честность — лучшая политика» и, во-вторых, что если мне не удалось написать стихи удачнее мистера Данте, обоих слепцов и других представителей допотопной литературной братии, то хуже их писать невозможно. Я собрался с духом и решил сочинить нечто «совершенно оригинальное» (как пишут на обложках журналов), каких бы трудов мне это ни стоило. За образец я снова взял великолепные строфы редактора «Слепня», написанные в честь «Брильянтина Тама», и, восплавав духом соперничества, решился создать оду на ту же возвышенную тему.

Первая строка не вызвала серьезных затруднений. Вот она:

Писать стихи о «Брильянтине Тама»...

Однако, внимательно просмотрев в справочнике все общеупотребительные рифмы к «Там», я убедился в тщетности дальнейших попыток. Тогда я прибег к родитель-

кой помощи, и соединенными усилиями нашей мысли спустя несколько часов мы с отцом сочинили стихотворение:

Писать стихи о «Брильянтине Тама»... —
Нелегкий труд, скажу вам прямо.

Точка (стоп).

(Подпись) — Сноб.

Конечно, опус этот не был слишком пространным, но «пора понять», как сказано в «Эдинбургском обозрении», что достоинство литературного произведения не определяется его размером. Что касается требования «Ежеквартального обозрения» «много и упорно учиться», то смысл его туманен. В общем, я был доволен первой пробой пера, и возникал только вопрос о том, куда бы ее пристроить. Отец советовал послать стихи в «Слепень», но два обстоятельства побудили меня отклонить его предложение: я опасался вызвать у редактора зависть и к тому же мне было известно, что он не склонен платить за оригинальные произведения. Тщательно все взвесив, я предназначил мои стихи для страниц «Сластены», журнала более солидного, и стал с нетерпением, но покорный судьбе ждать дальнейшего развития событий.

В следующем же номере я с радостью увидел мое стихотворение на первой странице, оно было опубликовано полностью в сопровождении следующих примечательных слов, напечатанных курсивом и в скобках:

[Обращаем внимание наших читателей на публикуемые ниже восхитительные стансы «Брильянтин Тама». Нет нужды говорить об их великолепии и пафосе; их невозможно читать без слез. Тем, кто с отвращением вспоминает снотворные строки, написанные на ту же возвышенную тему грязной лапой редактора «Слепня», рекомендуем сравнить оба эти произведения.]

Р. С. Сгораем от нетерпения разгадать тайну, которую скрывает псевдоним «Сноб». Можем ли мы надеяться побеседовать с автором лично?]

Все это нисколько не расходилось с истиной, но, признаюсь, несколько превзошло мои ожидания,— пусть былое непонимание ляжет вечным позором на мою родину и человечество. Однако я, не теряя времени даром, отправился к редактору «Сластены» и, к великому моему счастью, застал этого джентльмена дома. Он приветствовал меня с искренней почтительностью, в которой сквозило отеческое и покровительственное восхищение, вызванное, конечно, моим крайне юным и беспомощным видом. Пригласив меня сесть, он сразу же заговорил о моем стихотворении, но скромность да не позволит мне повторить те тысячи комплиментов, которые он расточал. Впрочем, похвалы мистера Краба (такова была фамилия редактора) отнюдь не являлись набором льстивых фраз. Он разобрал мое произведение с полной непринужденностью и знанием дела, смело указав мне на ряд ничтожных погрешностей, что высоко подняло его в моих глазах. Разумеется, речь зашла о «Слепне», и, надеюсь, я никогда не навлеку на себя столь взыскательной критики и столь ядовитых насмешек, какими мистер Краб осыпал это злополучное издание. Я привык считать редактора «Слепня» чуть ли не сверхчеловеком, но мистер Краб рассеял мое заблуждение. Он обрисовал литературную и частную жизнь «Кровососной мухи» (так язвительно назвал мистер Краб редактора «Слепня», своего конкурента) в их истинном свете. Он, «Кровососная муха», дрянь, каких мало. Он прескверный сочинитель. Продажный писака и фигляр. Мерзавец. Он написал трагедию — и вся страна хохотала до упаду, написал фарс — и вселенная залилась слезами. А кроме того, он не погнушался настроичить на него (мистера Краба) пасквиль и обозвать его «ослом». Если же я пожелаю высказать свое мнение о мистере «Кровососной мухе», страницы «Сластены», заверил меня мистер Краб, всегда в полном моем распоряжении. Тем временем, поскольку «Слепень» не преминет обрушиться на меня за мою попытку соперничать с автором «Брильянтина Тама», он (мистер Краб) берет непосредственно на себя защиту моих личных и прочих интересов. И если я в два счета не выйду в люди, то не по его (мистера Краба) вине.

Мистер Краб прервал на секунду свою речь (последнюю ее часть я никак не мог понять), и я осмелился намекнуть на гонорар, который ожидал получить за свои стихи, согласно объявлению на обложке «Сластены», гласившему, что он («Сластена») «щедро оплачивает все принятые материалы, нередко тратя на одно маленькое стихотворение сумму, превышающую годовой расход «Трамтарарама», «Горлодера» и «Абракадабры», вместе взятых».

Едва я произнес слово «гонорар», мистер Краб широко раскрыл глаза, затем рот, напомнив своим видом испуганную старую утку, которая тщетно силится крикнуть. В таком виде он пребывал (то и дело хватаясь за голову, словно в крайней растерянности), пока я не выложил ему почти все, что хотел сказать.

Когда я умолк, он в изнеможении откинулся на спинку кресла, беспомощно опустив руки, но все так же поутинному разинув рот. Я молчал, озадаченный столь необычным поведением. Вдруг он вскочил и потянулся к звонку, но, коснувшись его, видимо, изменил свое намерение, каково бы оно ни было, нырнул под стол и тут же вылез, держа в руках дубинку. Поднял ее (затрудняюсь сказать, с какой целью), однако в тот же миг кроткая улыбка осветила его лицо, и он спокойно опустился в кресло.

— Мистер Там,— сказал он (я заранее послал ему визитную карточку), — мистер Там, вы ведь молоды, даже очень?

Я согласился, присовокупив, что еще не достиг совершеннолетия.

— Ах, вот как! — сказал он.— Очень хорошо! Все понятно без слов! Вас интересует вопрос о компенсации, это естественно... можно сказать, вполне и безусловно. Но гм... э... э... первое выступление в печати... первое, говорю я... и не в обычае нашего журнала платить за... понимаете, да? Дело в том, что в подобных обстоятельствах обыкновенно мы оказываемся получателями. (Мистер Краб ласково улыбнулся, сделав ударение на слове «получатели».) В большинстве случаев нам платят за то, что мы помещаем первую пробу пера... особенно если это стихи. Во-вторых, мистер Там, мы придерживаемся правила никогда

не платить тем, что во Франции называют *argent comptant*¹, — вы понимаете, конечно. Спустя три — шесть месяцев после публикации... или через годик-два... мы не против того, чтобы выдать обязательство сроком на девять месяцев, если твердо знаем, что «погорим» через полгода. Я уверен, мистер Там, что мои разъяснения вполне удовлетворят вас.

Мистер Краб умолк, и на его глазах выступили слезы.

Огорченный до глубины души тем, что явился, пусть невольно, причиной страданий столь замечательного и столь отзывчивого человека, я поспешил извиниться и успокоить его, заверив в полном совпадении наших взглядов и в моем полном понимании деликатности его положения. Изложив все это изящным слогом, я удалился.

В одно прекрасное утро, вскоре после этого, «я проснулся и узнал, что я знаменит». О степени моей славы лучше всего судить по отзывам печати того дня. Эти отзывы, как будет видно дальше, представляют собой критические заметки о номере «Сластены» с моими стихами и являются вполне убедительными, исчерпывающими и ясными, за исключением, пожалуй, иероглифической подписи «*Ser. 15 — It*»² — в конце каждой заметки.

«Олух», журнал необычайно разборчивый, известный трезвостью литературных оценок, «Олух», говорю я, высказался так:

«Сластена»! Октябрьский номер этого прелестного журнала превосходит все предшествующие и стоит вне конкурса. Великолепием печати и бумаги, количеством и совершенством иллюстраций, литературными достоинствами опубликованных в номере материалов «Сластена» так же похож на своих старомодных конкурентов, как Гиперион на сатира. Правда, «Трамтарарам», «Горлодер» и «Абракадабра» превосходят его своим бахвальством, но во всем остальном — подавайте нам «Сластену»! Как этот прославленный журнал выдерживает такие громадные расходы, остается для нас загадкой. Верно, его тираж равен 100 000 экземпляров и число его подписчи-

¹ Наличными (*фр.*).

² Сентября 15 текущего года (*лат.*).

ков за последний месяц увеличилось на одну четверть; но, с другой стороны, он выплачивает своим авторам баснословные гонорары. Говорят, что мистер Плутосел получил не менее тридцати семи с половиной центов за свою неподражаемую статью «О свиньях». С таким редактором, как мистер Краб, и с такими именами в списке сотрудников, как Сноб и Плутосел, успех «Сластены» обеспечен. Идите и подпишитесь. *Sep. 15 — It*».

Признаюсь, я был польщен этим восторженным отзывом со стороны столь почтенного органа, как «Олух». Поместив мое имя, то есть мой *nom de guerre*¹ перед великим Плутослом, он оказал мне любезность, весьма приятную и вполне заслуженную.

Затем мое внимание привлекли следующие строки в «Гадине» — журнале, знаменитом своей прямоотой и свободой... полной свободой лстить и раболепствовать перед теми, кто дает званые обеды:

«Октябрьская книжка «Сластены» появилась ранее всех других журналов и бесконечно превосходит их роскошью оформления и богатством содержания. Мы допускаем, что «Трамтарарам», «Горлодер» и «Абракадабра» выделяются своим бахвальством, но во всем остальном — подавайте нам «Сластену»! Как этот прославленный журнал выдерживает столь непомерные расходы, остается для нас загадкой. Правда, его тираж 200 000 экземпляров и за последние две недели число его подписчиков увеличилось на одну треть, ко, с другой стороны, он ежемесячно выплачивает своим авторам баснословные гонорары. Нам известно, что мистер Пустомеля получил не менее пятидесяти центов за свою последнюю «Монодию в грязной луже». Среди литераторов, поместивших в этом номере свои произведения, мы видим (кроме его выдающегося редактора) такие имена, как Сноб, Плутосел и Пустомеля. И все же, думается нам, наиболее значительным произведением в номере, не считая примечаний от редакции, является поэтическая жемчужина Сноба

¹ Псевдоним (*фр.*).

«Брильянтин Тама», — пусть наши читатели не судят по заглавию, будто этот несравненный *bijou*¹ имеет сходство с галиматъей, написанной на ту же тему презренным субъектом, самое имя которого невыносимо для слуха уважающего себя человека. Подлинные стихи о «Брильянтине Тама» возбудили всеобщее любопытство и страстное желание узнать, кто же скрывается под псевдонимом «Сноб», желание, которое мы в силах удовлетворить. «Сноб» — *nom de plume*² Какваса Тама, уроженца нашего города, родственника великого мистера Какваса (в честь которого он и назван), связанного различными нитями с самыми знатными семьями штата. Его отец Томас Там, эскв., богатый коммерсант в Фат-сити. *Scp. 15 — It*».

Эта великодушная оценка тронула меня до глубины души, особенно потому, что исходила от столь светлого, кристально чистого источника, как «Гадина». Слово «галиматъя» в применении к «Брильянтину Тама», опубликованному в «Кровососной мухе», я нашел как нельзя более уместным и выразительным. В то же время слова «жемчужина» и «*bijou*», примененные к моему произведению, показались мне несколько бесцветными. Им не хватало экспрессии. Они были недостаточно *pronoces*³ (как говорят во Франции).

Едва я кончил читать «Гадину», как мой друг сунул мне в руку экземпляр «Крота» — журнала, пользовавшегося высокой репутацией благодаря пронизательности своих суждений вообще и откровенному, честному и беспристрастному тону передовиц в особенности. «Крот» отзывался о «Сластене» так:

«Мы только что получили октябрьскую книжку «Сластены» и должны заявить, что никогда при чтении нами периодических изданий ни один номер не доставлял нам столь изысканного наслаждения. Мы не зря говорим об этом. «Трамтарараму», «Горлодеру» и «Абракадабре» не

¹ Сокровище, драгоценность (фр.).

² Псевдоним (фр.).

³ Здесь: точны (фр.).

мешает присматривать за своими лаврами. Спору нет, эти издания превосходят всех и вся крикливой заносчивостью, но в остальном — подавайте нам «Сластену»! Как удастся этому прославленному журналу выдерживать столь чудовищные расходы, остается для нас загадкой. Правда, его тираж 300 000 экземпляров и за последнюю неделю число его подписчиков возросло наполовину, но суммы, которые он ежемесячно выплачивает авторам, все же баснословно велики. Нам известно из достоверных источников, что мистер Пустомеля получил не менее шестидесяти двух с половиной центов за свою последнюю повесть из семейной жизни «Кухонное полотенце».

Лежащий перед нами номер украшают произведения мистера Краба (выдающегося редактора), Сноба, Плутосла, Пустомели и других; но после неподражаемых творений самого редактора мы особое предпочтение отдаем поэтическому алмазу, граненному пером восходящего таланта, подписывающегося «Сноб» — *nom de guerre*, — он вскоре, мы это предсказываем, затмит славу «Боза». Под «Снобом», как нам известно, скрывается мистер Каквас Там, единственный наследник богатого местного коммерсанта Томаса Тама, эскв., и близкий родственник знаменитого мистера Какваса. Прелестное стихотворение мистера Тама озаглавлено «Брильянтин Тама», — заглавие, кстати сказать, не совсем удачное, так как некий пройдоха, связанный с продажной прессой, уже вызвал к нему отвращение всего города, написав изрядную порцию белиберды на ту же тему. Впрочем, маловероятно, чтобы кто-нибудь спугал эти два произведения. *Scp. 15 — It*».

Благосклонное одобрение такого пронизательного журнала, как «Крот», наполнило мою душу восторгом. Единственное возникшее у меня возражение сводилось к тому, что лучше было бы написать не «пройдоха», а «гнусный и презренный злодей, мерзавец и пройдоха». Это, на мой взгляд, звучало бы более изысканно. Следует также признать, что выражение «поэтический алмаз» едва ли обладает достаточной силой, чтобы передать то, что «Крот» хотел сказать о великолепии «Брильянтина Тама».

Вечером того же дня, после того как я прочел отзывы «Олуха», «Гадины» и «Крота», мне попался экземпляр «Долгоножки», журнала, известного широтой своих взглядов. Именно «Долгоножка» написала:

«Сластена»! Читатель уже держит в руках октябрьскую книжку этого роскошного журнала. Спор о превосходстве решен окончательно, и отныне было бы абсурдом со стороны «Трамтарарама», «Горлодера» или «Абракадабры» делать судорожные попытки завоевать первенство. Эти журналы превосходят «Сластену» нахальством, но во всем остальном — подавайте нам «Сластену»! Как этот прославленный журнал выдерживает явно непомерные расходы, остается загадкой. Правда, его тираж достигает почти 500 000 экземпляров, и за последние два дня число его подписчиков возросло на семьдесят шесть процентов, но вместе с тем суммы, ежемесячно выплачиваемые журналом своим авторам, баснословно велики. Нам известно, что мадемуазель Плагитон получила не менее восьмидесяти семи с половиной центов за свой превосходный р-революционный рассказ «В Йорке бродит черный кот, в Нью-Йорке — наоборот».

В настоящем номере наиболее талантливые материалы принадлежат, разумеется, перу редактора (достопочтенному мистеру Крабу), но в нем немало великолепных произведений и таких авторов, как Сноб, мадемуазель Плагитон, Плутосел, миссис Фальшивочка, Пустомеля, миссис Пасквилянтка, наконец, последний в списке, но не из последних — Шарлатан. Мир еще не знал столь бесценной плеяды гениев.

Стихотворение за подписью «Сноб» справедливо вызывает всеобщий восторг и, по нашему мнению, заслуживает еще больших похвал.

«Брильянтин Тама» — так называется этот шедевр красноречия и мастерства. Кое у кого из наших читателей может возникнуть смутное, но достаточно неприятное воспоминание о стихотворении (?) с таким же названием, подлой стряпне продажного писаки, побирушки и головореза, находящего применение своей способности плодить мерзости и кровно связанного, как мы полагаем,

с одним из непристойных изданий, выпускаемых в черте нашего города; мы просим читателей, ради всего святого, не путать эти два произведения. Автором «Брильянтина Тама» является, насколько нам известно, Каквас Там, эскв., джентльмен, одаренный гением, и ученый. «Сноб» - всего лишь *nom de guerre*. *Sep. 15 - It*».

Я едва сдерживал негодование, читая заключительные сроки диатрибы. Для меня было ясно, что уклончивая, чтобы не сказать, уступчивая, манера выразиться... намеренная снисходительность, с какой «Долгоножка» разглагольствовала об этой свинье, редакторе «Слепня», - для меня, я подчеркиваю, было очевидно, что мягкость выражений вызвана не чем иным, как пристрастным отношением к «Слепню», явным стремлением «Долгоножки» поддержать за мой счет его репутацию. В самом деле, всякий легко может убедиться, что если бы «Долгоножка» действительно хотела сказать все, как есть, а не делала вид, то она («Долгоножка») могла подобрать выражения более решительные, резкие и гораздо более подходящие к случаю. Слова и выражения «продажный писака», «побирушка», «плодить мерзости», «головорез» столь (не без умысла) бесцветны и неопределенны, что лучше б вовсе ничего не говорить об авторе гнуснейших стихов, когда-либо написанных представителем рода человеческого. Все мы отлично знаем, как можно изругать, слегка похвалив, и, наоборот, кто усомнится в тайном намерении «Долгоножки» слегка поругать, чтобы прославить.

Мне, собственно, было наплевать на то, что «Долгоножка» болтает о «Слепне». Но тут речь шла обо мне. После возвышенного тона, в каком «Олух», «Гадина» и «Крот» высказались о моих способностях, слишком уж безучастно звучали слова захудалой «Долгоножки»: «джентльмен, одаренный гением, и ученый». Джентльмен - и это точно! И я тут же решил добиться от «Долгоножки» письменного извинения или вызвать ее на дуэль.

Поглощенный этой задачей, я стал думать, кого из друзей направить с поручением к «досточтимой» «Долгоножке», и, поскольку редактор «Сластены» выказывал мне

явные знаки расположения, я в конце концов решился прибегнуть к его помощи.

До сих пор не могу найти удовлетворительного объяснения весьма странному выражению лица и жестам, с которыми мистер Краб слушал меня, пока я излагал ему свой план. Он повторил сцену со звонком и дубинкой и не преминул по-утиному раскрыть рот. Был такой момент, когда мне казалось, что он вот-вот крикнет. Но припадок прошел, как и в тот раз, и он начал говорить и действовать, как разумное существо. Однако он отказался выполнить поручение и убедил меня вовсе не посылать вызов, хотя и признал, что ошибка «Долгоножки» возмутительна, особенно же неуместны слова «джентльмен» и «ученый».

В конце беседы мистер Краб, выказывая, по-видимому, чисто отеческую заботу о моем благополучии, заявил, что я могу хорошо подработать и в то же время упрочить свою репутацию, если соглашусь иногда исполнять для «Сластены» роль Томаса Гавка.

Я попросил мистера Краба объяснить мне, кто такой мистер Томас Гавк и что от меня требуется, чтобы исполнить его роль.

Тут мистер Краб снова «сделал большие глаза» (как говорят в Германии), но, оправившись в конце концов от приступа изумления, пояснил, что слова «Томас Гавк» он употребил, дабы избежать просторечного и вульгарного «Томми», а вообще-то следует говорить Томми Гавк или Томагавк, и что «исполнять роль томагавка» — значит разносить, запугивать, словом, всячески изничтожать свору неугодных нам авторов.

Я заверил моего патрона, что если в этом все дело, то я с готовностью возьму на себя роль Томаса Гавка. Тогда мистер Краб предложил мне не терять времени и для пробы сил разделить редактора «Слепня» со всей злостью, на какую я только способен. И я тут же, не покидая редакции, выполнил это поручение, написав рецензию на оригинальный текст «Брильянтина Тама», которая заняла тридцать шесть страниц «Сластены». Я убедился, что исполнять роль Томаса Гавка куда легче, чем писать стихи; я строго следовал определенной системе, поэтому мне

было нетрудно обстоятельно и со вкусом делать свое дело. Работал я так. Я приобрел на аукционе (по дешевке) «Речи» лорда Брума, Полное собрание сочинений Коббета, «Новый словарь вульгаризмов», «Искусство посрамлять» (полный курс), «Самоучитель площадной брани» (ин-фолио) и «Льюис Г. Кларк о языке». Эти труды я основательно изодрал скребницей, затем, бросив клочки в сито, тщательно отсеял все мало-мальски пристойное (сущий пустяк), а крепкие выражения запихнул в большую оловянную перечницу с продольными дырками, в них фразы проходили целиком и без задержки. Смесь была готова к употреблению. Когда требовалось исполнить роль Томаса Гавка, я смазывал лист писчей бумаги белком гусиного яйца, затем, изодрав предназначенное к разборке произведение тем же способом, каким я раздирал книги, только более осторожно, чтобы на каждом клочке осталось по слову, я бросал их в ту же перечницу, завинчивал крышку, встряхивал и высыпал всю смесь на смазанный белком лист, к которому она мгновенно прилипала. Эффект получался изумительный. Просто сердце радовалось! Прямо скажу, никому не удавалось создать что-либо, хотя бы близко напоминающее мои рецензии, которые я изготовлял таким простым способом на удивление всему миру. Правда, первое время меня несколько смущала — вследствие застенчивости, вызванной неопытностью, — некоторая бессвязность, какой-то оттенок *bi-zagge* (как говорят во Франции), присущий моим рецензиям в целом. Все фразы вставали не на свое место (как говорят англосаксы). Многие строились шиворот-навыворот, иные даже вверх ногами, и не было ни одной, которая от этой путаницы не утратила бы в какой-то степени своего смысла. Только изречения мистера Льюиса Кларка оказались столь категорическими и стойкими, что, по-видимому, не смущались самыми необычными положениями и выглядели одинаково довольными и веселыми, — стояли они вверх или вниз ногами.

Трудно сказать, какая судьба постигла редактора «Слепня» по напечатании моей рецензии на его «Брильянтин Тама». Вероятнее всего, он умер, изойдя слезами. Во всяком случае, он мгновенно исчез с лица земли, и с тех пор даже призрака его никто не видел.

С этим делом было покончено, фурии умиротворены, и я сразу завоевал особую благосклонность мистера Краба. Он доверил мне свои тайны, определил меня в «Сластене» на постоянную должность Томаса Гавка и, не имея пока возможности назначить мне содержание, разрешил широко пользоваться его советами.

— Дорогой мой Каквас,— сказал он мне однажды после обеда.— Я ценю ваши способности и люблю вас, как сына. Вы станете моим наследником. После смерти я откажу вам «Сластену». А пока я сделаю из вас человека... сделаю... только слушайте моих советов. Прежде всего надо избавиться от этого старого кабана.

— Кабана? — с любопытством спросил я.— Свиньи, да?.. арег¹ (как говорят по-латыни)?.. где свинья? — кто свинья?..

— Ваш отец,— отвечал он.

— Совершенно верно,— сказал я.— Свинья.

— Вам надо сделать карьеру, Каквас,— продолжил мистер Краб,— а этот ваш наставник висит у вас словно жернов на шее. Нам надо его отсечь. (Тут я вынул нож.) Нам надо отсечь его,— продолжал мистер Краб,— раз и навсегда. Он нам ни к чему... ни к чему. Дайте ему пинка или поколотите палкой — словом, сделайте что-нибудь в этом роде.

— А что вы скажете,— вкрадчиво вставил я,— если я сначала дам ему пинка, потом поколочу палкой и приведу в себя, дернув за нос?

Мистер Краб задумчиво посмотрел на меня и ответил:

— Я нахожу, мистер Там, то, что вы предлагаете, очень удачным... это замечательно, так сказать, само по себе... Но парикмахеры — народ бывалый, и, учитывая все «за» и «против», я полагаю, что после того, как вы проделаете над мистером Томасом Тамом намечаемые вами операции, неплохо бы подбить ему кулаком оба глаза, да так, чтобы он закаялся следить за вами на увеселительных прогулках. Вот тогда, мне кажется, с вашей стороны будет сделано все возможное. Впрочем, не мешало бы иску-

¹ Кабан (лат).

пать его разок-другой в сточной канаве и передать в руки полиции. На следующее утро вы в любой час можете явиться в полицейский участок и заявить под присягой, что на вас было совершено нападение.

Я был весьма тронут добрыми чувствами, побудившими мистера Краба дать мне такой превосходный совет, и не замедлил воспользоваться им. В итоге я избавился от старого кабана, почувствовал себя джентльменом и вздохнул свободно. Правда, нехватка денег служила некоторое время для меня источником неудобств, но в конце концов, посмотрев повнимательнее в оба и увидев, что творится у меня под самым носом, я понял, как уладить такую вещь.

Прошу учесть, я сказал «вещь», потому что по-латыни, насколько известно, «вещь» значит — гее. Кстати, относительно латыни: пусть-ка кто-нибудь скажет мне, что значит *quocumque*¹ или что такое *modo*?²

План мой был чрезвычайно прост. Я купил за бесценнок шестнадцатую долю «Зубастой черепахи» — вот и все. Дело было сделано, и я положил денежки в карман. Конечно, надо было уладить еще кое-какие пустяки, не предусмотренные планом. Но это уже явилось следствием... результатом. Например, я обзавелся пером, чернилами и бумагой и пустил их в оборот с бешеной энергией. Написав журнальную статью, я озаглавил ее «Чик-чирик» автора «Брильянтина Тама» и послал в «Абракадабру». Однако в «Ежемесячных репликах корреспондентам» мою статью называли «капустной болтовней»; тогда я переменял заглавие на «Ку-ка-ре-ку» Какваса Тама, эскв., автора оды в честь «Брильянтина Тама» и редактора «Зубастой черепахи». С этой поправкой я снова отправил статью в «Абракадабру», а в ожидании ответа ежедневно печатал в «Черепaxe» по шести столбцов философических, можно сказать, размышлений о литературных достоинствах журнала «Абракадабра» и личных качествах его редактора. Спустя несколько дней «Абракадабра» убедилась, что произошла досадная ошибка: она «спутала глупей-

¹ Куда бы ни (*лат.*).

² Только (*лат.*).

шую статью «Ку-ка-ре-ку», написанную каким-то безвестным невеждой, с драгоценной жемчужиной под тем же заглавием, творением Какваса Тама, эскв., знаменитого автора «Брильянтина Тама». «Абракадабра» выразила «глубокое сожаление по поводу вполне понятного недоразумения» и, кроме того, обещала поместить подлинник «Ку-ка-ре-ку» в очередном номере журнала.

Без сомнения, я так и думал... Я, право же, думал... думал в то время... думал потом... и не имею никаких оснований думать иначе теперь, что «Абракадабра» действительно ошиблась. Я не знаю никого, кто бы с наилучшими намерениями делал так много самых невероятных ошибок, как «Абракадабра». С этого дня я почувствовал симпатию к «Абракадабре», вследствие чего вскоре смог уяснить подлинное значение ее литературных достоинств и не терял случая поговорить о них в «Черепaxe». И, представьте, странное совпадение, одно из тех воистину поразительных совпадений, которые наводят человека на серьезное раздумье: точно такой же коренной переворот во мнениях, точно такое же решительное *bouleversement*¹ (как говорят французы), точно такой же всеобъемлющий шиворот-навыворот (позволю себе употребить это довольно сильное выражение, заимствованное у племени чоктосов), какой совершился *pro et contra*² между мной, с одной стороны, и «Абракадаброй» — с другой, снова имел место при таких же обстоятельствах немного спустя в моих отношениях с «Горлодером» и «Трамтарарамом».

Так, одним гениальным ходом, я одержал полную победу — «набил потуже кошелек» и, можно сказать, уверенно и честно начал блестящую и бурную карьеру, которая сделала меня знаменитым и сейчас позволяет мне сказать вместе с Шатобрианом: «Я делал историю» — «*J'ai fait l'histoire*».

Да, я делал историю. С того славного времени, о котором я повествую, мои дела, мои труды являются достоянием человечества. Они известны всему миру. Поэтому

¹ Потрясение, переворот (*фр.*).

² За и против (*лат.*).

нет необходимости подробно описывать, как, стремительно возвышаясь, я унаследовал «Сластену», как я слил этот журнал с «Трамтарарамом», как потом приобрел «Горлодера» и как, наконец, заключил сделку с последним из оставшихся конкурентов и объединил всю литературу страны в одном великолепном всемирно известном журнале:

«ГОРЛОДЕР, СЛАСТЕНА, ТРАМТАРАРАМ
И
АБРАКАДАБРА»

Да, я делал историю. Я достиг мировой славы. Нет такого уголка земли, где бы имя мое не было известно. Возьмите любую газету, и вы непременно столкнетесь с бессмертным Каквасом Тамом: мистер Каквас Там сказал то-то, мистер Каквас Там написал то-то, мистер Каквас Там сделал то-то. Но я скромн и покидаю мир со смирением. В конце концов, что такое то неизъяснимое, что люди называют «гением»? Я согласен с Бюффоном... с Хогартом... в сущности говоря, «гений» — это усердие.

Посмотрите на меня!.. Как я работал.. как я трудился.. как я писал! О боги, разве я не писал! Я не знал, что такое досуг. Днем я сидел за столом, наступала ночь, и я — несчастный труженик — зажигал полуночную лампаду. Надо было видеть меня. Я наклонялся вправо. Я наклонялся влево. Я сидел прямо. Я откидывался на спинку кресла. Я сидел *tele baissee* (как говорят на языке кикапу), склонив голову к белой, как алебастр, странице. И во всех положениях я... писал. И в горе и в радости я... писал. И в холоде и в голоде я... писал. И в солнечный день, и в дождливый день, и в лунную ночь, и в темную ночь я... писал. Что я писал — это не важно. Как я писал — стиль, — вот в чем соль. Я перенял его у Шарлатана.. бамм! дзинь! Тарараххх!!! — и предлагаю вам его образчик.



КАК БЫЛА НАБРАНА ОДНА ГАЗЕТНАЯ ЗАМЕТКА

Поскольку доподлинно известно, что «мудрецы пришли с Востока», а мистер Вабанк Напролом прибыл именно с востока, то из этого следует, что мистер Напролом был мудрецом; если же нужны дополнительные доказательства, они также имеются — мистер Напролом был Редактором. Единственной его слабостью являлась раздражительность; а упрямство, в котором его упрекали, было отнюдь не слабостью, ибо он справедливо считал его своей *сильной* стороной. Оно было его достоинством, его добродетелью, и понадобилась бы вся логика Браунсона, дабы убедить его, что это «нечто иное».

Я доказал, что Вабанк Напролом был мудрецом; мудрость изменила ему лишь однажды, когда он, покинув Восточные штаты — родину мудрецов — переселился на Запад, в город Александрвеликиополис или что-то в этом роде.

Надо, впрочем, отдать ему справедливость: когда он окончательно решил обосноваться в упомянутом городе, он полагал, что в той части страны не существует газет, а следовательно, и редакторов. Основывая «Чайник», он надеялся иметь в этой области монополию. Я убежден, что он ни за что не поселился бы в Александрвеликиополисе, когда бы знал, что в том же самом Александрвеликиополисе проживал джентльмен по имени (если не ошибаюсь) Джон Смит, который уже много лет нагуливал там жир, редактируя и издавая «Александрвеликиопольскую Газету». Не будь он введен в заблуждение, мистер Напролом не оказался бы в Алекс — будем для краткости называть его «Ополисом», — но раз уж он там оказался, то решил оправдать свою репутацию твердого человека

и остаться. Итак, он остался, более того — распаковал печатный станок, шрифты и т. д. и т. п., снял помещение как раз напротив редакции «Газеты» и на третий день по приезде выпустил первый номер «Александро — », то есть «Опольского Чайника»; если память мне не изменяет, именно так называлась новая газета.

Передовица, надо признать, была блестящая — чтобы не сказать сокрушительная. Она гневно обличала, в общих чертах, все; а редактора «Газеты» разносила в клочья уже во всех подробностях. Иные из сарказмов Напролома были столь жгучи, что Джон Смит, который здравствует и поныне, всегда с тех пор казался мне чем-то вроде саламандры. Не берусь приводить дословно всю статью «Чайника», но один из ее абзацев гласил:

«О, да! — О, мы понимаем.— О, разумеется! Наш сосед через улицу — гений.— О, Бог мой! — куда мы идем? О темпора! О Мориц!».

Столь едкая и, вместе с тем, классическая филиппика произвела на мирных доселе жителей Ополиса впечатление разорвавшейся бомбы. На улицах собирались группы возбужденных людей. Каждый с неподдельным волнением ждал ответа достойного Смита. На следующее утро ответ появился:

«Позволим себе привести следующую заметку из вчерашнего номера «Чайника»: «О да! — О, мы понимаем.— О, разумеется! — О, Бог мой! О темпора! О Мориц!» Одним словом, сплошные «О»! Поэтому мысль автора и ходит кругами, и ни ему, ни его рассуждениям не видно ни начала, ни конца. Мы убеждены, что этот бездельник не способен написать ни слова без «О». Что это у него за привычка? Кстати, уж слишком он поспешил сюда с Востока. Интересно, он и там не расставался со своим «О»? О, как же он жалок!»

Негодование мистера Напролома при этих лживых инсинуациях я не берусь описывать. Однако, вследствие привычки,— которая даже угря заставила освоиться со сдиранием шкуры,— нападки на его порядочность рассердили его меньше, чем можно было ожидать. Больше всего он был разъярен насмешками над его *стилем*! Как! Он, Вабанк Напролом, не способен написать ни слова без «О»?

Он докажет наглецу, что это не так. Да! Он докажет этому щенку, что это *далеко* не так! Он, Вабанк Напролом из Лягуштауна, покажет мистеру Джону Смигу, что может, если ему заблагорассудится, написать целый абзац — да что там абзац! — целую статью, где презренная гласная не будет употреблена ни разу — ни единого разу. Впрочем, нет; это было бы уступкой упомянутому Джону Смигу. Он, Напролом, *не намерен* менять свой слог в угоду капризам какого бы то ни было мистера Смита. Прочь, низкое подозрение! Да здравствует «О»! Он не отступит от «О». Будет О-кать сколько ему вздумается.

Исполненный решимости и отваги, великий Вабанк в ближайшем номере «Чайника» отозвался лишь следующей лаконичной, но решительной заметкой:

«Редактор «Чайника» имеет *честь* уведомить «Газету», что он («Чайник») в завтрашнем утреннем выпуске намерен доказать ей («Газете»), что он («Чайник») способен быть — и будет — *независим* в вопросах стиля; что он («Чайник») намерен выразить ей («Газете») уничтожающее презрение, с каким гордый и независимый «Чайник» относится к нападкам «Газеты», и для этого напишет специальную передовицу, где отнюдь *не намерен* избегать употребления великолепной гласной — эмблемы Вечности — оскорбившей не в меру чувствительную «Газету», о чем и доводит до общего сведения ее («Газеты») покорный слуга «Чайник». «На том и покончим с Букингом!»

Во исполнение сей зловещей угрозы, которую он скорее выразил туманным намеком, нежели ясно сформулировал, великий Напролом не внял молениям о «материале», послал к черту метранпажа, когда тот (метранпаж) попытался убеждать его («Чайник»), что давно пора сдавать номер; не стал ничего слушать и просидел до рассвета за сочинением следующей поистине беспримерной заметки:

«Вот, Джон, до чего дошло! Говорили ослу — получишь по холке. Не совался бы в воду, не спросив броду. Уходи скорей восвояси, подобру-поздорову! Каждому в Онополисе омерзело твое рыло. Осел, козел, обормот, кашалот из Конкордских болот — вот ты кто! Бог мой, Джон, что с тобой? Не вой, не ной, не мотай головой, пойдя домой, утопи свое горе в бочонке водки».

Изнуренный этим титаническим трудом, великий Ва-банк, разумеется, уже не мог в тот вечер заняться чем-либо еще. Твердо, спокойно, но с сознанием своей силы, он вручил рукопись ожидавшему мальчишке-наборщику и неспешно направился домой, где с большим достоинством лег в постель.

Мальчишка, которому была вверена рукопись, бегом поднялся по лестнице к наборной кассе и немедленно принялся набирать заметку.

Прежде всего — поскольку заметка начиналась со слова «Вот» — он запустил руку в отделение заглавных «В» и с торжеством вытащил оттуда одно из них. Окрыленный успехом, он стремительно кинулся за строчным «О» — но кто опишет его ужас, когда рука его вернулась из ящика без ожидаемой литеры? Кто изобразит его изумление и гнев, когда он убедился, что напрасно шарит по дну *пустого* ящика? В отделении для строчных «О» не было ни единой буковки; а заглянув с опаской в отделение заглавных «О», он, к великому своему ужасу, обнаружил и *там* ту же картину. Не помня себя, он прежде всего побежал к метранпажу. — Сэр! — крикнул он, не переводя духу. — Чего же тут наберешь, когда ни одного тебе «О»?

— То есть *как?* — проворчал метранпаж, очень злой из-за того, что задержался на работе так поздно.

— А так, что во всей кассе ни одного, хоть большого, хоть маленького.

— *Куда ж они к черту подевались?*

— Не знаю, сэр, — сказал мальчишка, — а только парень из «Газеты» что-то целый вечер здесь отирался, так, может, это он спер?

— Чтоб ему сдохнуть! Конечно, он, — ответил метранпаж, багровея от ярости, — а ты вот что, Боб, ты у нас молодец, стащи-ка и ты у них все «и». Кровь из носу, а пусть и у них так, разрази их гром.

— Есть! — откликнулся Боб, подмигивая. — Уж я им *задам*, я им *пропишу*. А только как же с заметкой? Ее надо в *завтрашний*, а то хозяин так всыпет, что...

— Да уж это как пить дать, — прервал метранпаж, тяжело вздыхая и упирая на слово «пить». — А *очень* она длинная, Боб?

— Не так чтобы *очень*,— сказал Боб.

— Ну ты уж как-нибудь постарайся, набери, ведь спешно,— сказал метранпаж, у которого работы было по горло; — сунь там что-нибудь вместо «О», все равно эту ерунду никто читать не станет.

— *Ладно*,— ответил Боб.— Заметано.— И поспешил к наборной кассе, бормоча по дороге: — Ничего себе выражается, а еще говорит, не ругаюсь. Поди, значит, и пусти им кровь из носу. *Ладно!* Это мы *можем*. — Дело в том, что Боб, в свои двенадцать лет и при четырех футах роста, готов был драться с кем угодно.

Упомянутая замена букв — отнюдь не редкий случай в типографиях; и почти всегда при этом, не знаю уж почему, недостающую букву заменяют буквой «х». Возможно, это объясняется тем, что эта буква всегда имеется в наборной кассе в избытке; так по крайней мере было в старину, и наборщики привыкли прибегать к ней при заменах. Боб также посчитал бы за ересь употребить для замены другую букву, а не привычную «х».

— Заменять, так заменять,— сказал он себе, с удивлением читая заметку,— но в жизни не видел, чтобы столько этих самых «О» зараз.

Он заменял решительно и твердо, и с этими заменами заметка вышла в свет.

Наутро население Онополиса было ошеломлено следующей удивительной передовицей «Чайника»:

«Вхт, Джхн, дх чегх дхшлх! Гхвхрили хслу — пхлучишь пх ххлке. Не схвался бы в вхду, не спрхсив брхду. Уххди скхрей вхсвхяси пх дхбру пх здхрхву! Каждхму в Хнхпхлисе хмерзелх твхе рылх. Хсел, кхзел, хбхрмхт, кашалхт из Кхнххрдских бхлхт — вхт ты ктх! Бхг мхй, Джхн, чтх с тхбхй? Не вхй, не нхй, не мхтай гхлхвхй, пхйди дхмхй, утхпи свхе гхре в бхчхнке вхдки».

Эта таинственная и кабалистическая заметка надела-ла невообразимого шуму. Первым впечатлением публики было, что в непонятных иероглифах кроется некий дьявольский заговор; и все бросились на квартиру Напролома, намереваясь вымазать его смолой, но его нигде не оказалось. Он исчез неизвестно куда, и с тех пор о нем не было ни слуху, ни духу.

За отсутствием законного объекта, народный гнев в конце концов улегся, оставив, в виде осадка, самые разнообразные мнения о злополучном событии.

Кто-то сказал, что Напролом просто хотел, чтоб поохотали.

Другой — что он храбрец.

Третий — что он хулиган и хам.

Четвертый — что это хула на все хорошее.

Пятый — что надо хранить заметку для потомства.

Что Напролом был доведен до крайности — это было ясно всем; ну, а раз *этого* редактора обнаружить не удалось, стали поговаривать, что следовало бы линчевать второго.

Большинство, однако, считало, что дело это — если хорошенько подумать — очень хитрое. Даже городской математик признался, что не в силах разобраться в столь сложной проблеме.

Мнение наборщика Боба (который ни словом не проговорился насчет «замен») не встретило, на мой взгляд, должного внимания, хотя он высказывал его открыто и безбоязненно. Он утверждал, что дело тут ясное: мистер Напролом хлестал спиртное с утра до вечера, ну, а во хмелю, конечно, хорохорился.



НА СТЕНАХ ИЕРУСАЛИМСКИХ

Intonsos rigidam in frontem ascendere canos
Passus erat...

*Lucan*¹.

Перевод: дикий кабан

— Поспешим на стены,— сказал Абель-Фиттим, обращаясь к Бузи бен Леви и Симону фарисею в десятый день месяца Таммуза, в лето от сотворения мира три тысячи девятьсот сорок первое.— Поспешим на крепостной вал, примыкающий к Вениаминовым воротам, в граде Давидовом, откуда виден лагерь необрезанных; ибо близится восход солнца, последний час четвертой стражи, и неверные, во исполнение обещания Помпея, приготовили нам жертвенных агнцев.

Симон, Абель-Фиттим и Бузи бен Леви были гизбаримами, то есть младшими сборщиками жертвований в священном граде Иерусалиме.

— Воистину, — отозвался фарисей, — поспешим, ибо подобная щедрость в язычниках весьма необычна, зато переменчивость всегда отличала этих поклонников Ваала.

— Что они изменчивы и коварны, это столь же истинно, как Пятикнижие,— сказал Бузи бен Леви,— но только по отношению к народу Адонаи. Слыхано ли, чтобы аммонитяне поступались собственной выгодой? Невелика щедрость поставлять нам жертвенных агнцев по тридцати серебряных сиклей с головы!

— Ты забываешь, бен Леви,— промолвил Абель-Фиттим, — что римлянин Помпей, святотатственно осаждаю-

¹ Стричь перестав, седины поднял на лоб непреклонный. *Лукаи (лат.)*.

щий град Всевышнего, может подозревать, что купленных жертвенных агнцев мы употребим на потребности нашего тела, а не духа.

— Клянусь пятью углами моей бороды! — воскликнул фарисей, принадлежавший к секте так называемых топальщиков (небольшой группе праведников, которые так усердно истязали себя, *ударяя* ногами о мостовую, что были живым упреком для менее ревностных верующих и камнем преткновения на пути менее талантливых пешеходов).— Клянусь пятью углами этой бороды, которую мне, как священнослужителю, не дозволено брить! Неужели мы дожили до того, что римский богохульник, язычник и выскочка осмелился заподозрить нас в присвоении священных предметов на потребу плоти? Неужели мы дожили?..

— Не станем допытываться о побуждениях филистимлянина, — прервал его Абель-Фитгим, — ибо сегодня впервые пользуемся его великодушием, а может быть, жаждой наживы. Поспешим лучше на городскую стену, дабы не пустовал жертвенник, чей огонь негасим под дождями небесными, а дымный столп неколеблем бурями.

Та часть города, куда поспешали наши почтенные гизбаримы и которая носила имя своего строителя царя Давида, почиталась наиболее укрепленной частью Иерусалима, ибо была расположена на крутом и высоком Сионском холме. Вдоль широкого и глубокого кругового рва, вырубленного в скалистом грунте, была воздвигнута крепкая стена. На стене, через равные промежутки, подымались четырехугольные башни белого мрамора, из которых самая низкая имела в высоту шестьдесят, а самая высокая — сто двадцать локтей. Но вблизи Вениаминовых ворот стена отступала от края рва. Между рвом и основанием стены возвышалась отвесная скала в двести пятьдесят локтей, составлявшая часть крутой горы Мория. Таким образом, взойдя на башню, носившую название Адони-Бзек, — самую высокую из всех башен вокруг Иерусалима, откуда обычно велись переговоры с осаждавшими, — Симон и его спутники могли видеть неприятельский лагерь с высоты, на много футов превышающей пирамиду Хеопса, а на несколько футов — даже храм Бела.

— Воистину, — вздохнул фарисей, опасливо взглянув с этой головокружительной высоты, — необрезанных — что песку в море или саранчи в пустыне! Долина Царя стала долиной Адоммина.

— А все же, — заметил бен Леви, — покажи мне хоть одного неверного — от алефа до тау — от пустыни до крепостных стен, который казался бы крупнее буквы «иод»!

— Спускайте корзину с серебряными сиклями, — крикнул римский солдат грубым и хриплым голосом, казалось, исходившим из подземных владений Плутона, — спускайте корзину с проклятыми монетами, названия которых благородному римлянину не выговорить — язык сломаешь! Так-то вы благодарны нашему господину Помпею, который снизошел до ваших языческих нужд? Колесница Феба — истинного Бога! — уже час, как катит по небу, а ведь вы должны были прийти на крепостную стену к восходу солнца. Эдепол! Или вы думаете, что нам, покорителям мира, только и дела, что дожидаться у каждой паршивой стены ради торга со всякими собаками? Спускайте, говорю! Да глядите, чтобы ваши дрянные монеты были новенькие и полновесные!

— Эль Элоим! — воскликнул фарисей, когда резкий голос центуриона прогремел среди скал и замер у стен храма. — Эль Элоим! *Что еще за бог Феб? Кого призывает этот богохульник? Ты, Бузи бен Леви, начитан в Писаниях необрезанных и жил среди тех, что имеют дело с терафимом; скажи, о ком толкует язычник? О Нергале? Об Ашиме? О Нибхазе? Тартаке? Адрамелехе? Анамелехе? О Суккот-Бенифе? О Дагоне? Белиале? Ваал-Перите? Ваал-Пеоре? Или Ваал-Зебубе?*

— Ни о ком из них. Но не отпускай веревку чересчур быстро; корзина может зацепиться за выступ вон той скалы и тогда горе нам! — ибо ценности святилища будут из нее извергнуты.

С помощью грубого приспособления тяжело нагруженную корзину спустили в толпу солдат; и сверху было смутно видно, как римляне собрались вокруг; но огромная высота и туман мешали разглядеть, что там делается.

Прошло полчаса.

— Мы опоздаем, — вздохнул по прошествии этого времени фарисей, заглядывая в пропасть, — мы опоздаем! Кафалим снимет нас с должности.

— Никогда больше не вкушать нам от тука земли! — подхватил Абель-Фиттим. — Не умащать бороды благовонным ладаном — не повивать чресел тонким храмовым полотном.

— Рака! — выругался бен Леви. — Рака! Уж не вздумали ли они украсть наши деньги? О, святой Моисей! Неужели они взвешивают священные сикли скинии?

— Вот наконец-то сигнал! — воскликнул фарисей. — Сигнал! Подымай, Абель-Фиттим! Тяни и ты, Бузи бен Леви! — Либо филистимляне еще не отпустили корзину, либо Господь смягчил их сердца, и они положили нам увесистое животное.

И гизбаримы из всех сил тянули за веревку, а корзина медленно поднималась среди сгустившегося тумана.

* * *

— Бошох хи! — вырвалось у бен Леви спустя час, когда на конце веревки обозначилось что-то неясное. — Бошох хи!

— Бошох хи! Вот тебе на! Это должно быть баран из энгедийских роц, косматый, как долина Иосафата!

— Это первенец стада, — сказал Абель-Фиттим. — Я узнаю его по бляению и по невинным очертаниям тела. Глаза его прекраснее самоцветов из священного нагрудника, а мясо подобно меду Хеврона.

— Это тучный телец с пастбищ Васана, — промолвил фарисей. — Язычники поступили великодушно. Воспоем же хвалу. Вознесем благодарность на гобоях и псалтерионах. — Заиграем на арфах и на кимвалах — на цитрах и саквебутах.

Только когда корзина была уже в нескольких футах от гизбаримов, глухое хрюканье возвестило им приближение огромной свиньи.

— Эль Эману! — воскликнули все трое, возводя глаза к небу и выпуская из рук веревку, отчего освобожденная свинья полетела на головы филистимлян. — Эль Эману! С нами Бог! Это *трэфнос мясо!*



НАДУВАТЕЛЬСТВО КАК ТОЧНАЯ НАУКА

Гули, гули, гули,
А тебя надули!

Дразнилка

С сотворения мира было два Иеремии. Один написал иеремиаду о ростовщичестве и звался Иеремия Бентам. Он пользовался особым признанием мистера Джона Нила и был, в узком смысле, великий человек. Имя другого связано с самой важной из точных наук, он был великим человеком в *широком* смысле слова — я бы сказал даже, величайшим.

Понятие «надувательства», — вернее, отвлеченная идея, заключающаяся в глаголе «надувать», — знакомо каждому. Но самый акт, *надувательство* как единичное действие, с трудом поддается определению. Впрочем, некоторой ясности в этом вопросе можно достичь, если дать определение не надувательству как таковому, но человеку как животному, которое надувает. Напади в свое время на эту мысль Платон, ему не пришлось бы проглатывать оскорблений из-за ощипанной курицы.

Ему был задан очень остроумный вопрос: «Не будет ли ощипанная курица, безусловно являющаяся «двуногим существом без перьев», согласно его же собственному определению, человеком?» Мне таких каверзных вопросов не зададут. Человек — это животное, которое надувает; и, кроме человека, ни одного животного, которое надувает, не существует. И с этим даже целый курятник ощипанных кур ничего не может сделать.

То, что составляет существо, основу, принцип надувательства, свойственно классу живых тварей, характери-

зующемуся ношением сюртуков и панталон. Ворона ворует; лиса плутует; хорек хитрит — человек надувает. Надувать — таков его жребий. «Человек рожден, чтобы плакать», — сказал поэт. Но это не так: он рожден, чтобы надувать. Такова цель его жизни — его жизненная задача — его *предназначение*. Поэтому про человека, совершившего надувательство, говорят, что он уже *отпетый*.

Надувательство, если рассмотреть его в правильном свете, есть понятие сложное, его составными частями являются: мелкий размах, корысть, упорство, выдумка, дерзость, невозмутимость, оригинальность, нахальство и *ухмылка*.

Мелкий размах. — Надувала работает с небольшим размахом. Его операции — операции малого масштаба, розничные, за наличный расчет или за чеки на предъявителя. Соблазнился он на крупную спекуляцию, и он сразу же утратит свои характерные особенности, и это уже будет не надувала, а так называемый «финансист», каковой термин передает все аспекты понятия «надувательства», за исключением его масштаба. Таким образом, надувала может быть рассмотрен как банкир *in petto*¹, а «финансовая операция» — как надувательство в Бробдингнеге. Они соотносятся одно с другим, как Гомер с «Флакком» — как мастодонт с мышью — как хвост кометы с хвостиком поросенка.

Корысть. — Надувалой руководит корысть. Он не станет надувать просто ради того, чтобы надуть. Он считает это недостойным. У него есть объект деятельности — свой карман. И ваш тоже. И он всегда выбирает наиболее благоприятный момент. Его занимает Номер Первый. А вы — Номер Второй и должны сами о себе позаботиться.

Упорство. — Надувала упорен. Он не отчаивается из-за пустяков. Его не так-то просто привести в отчаяние. Даже если все банки лопнут, ему мало дела. Он упорно добивается своей цели, и

Ut canis a corio nunquam absterrebitur uncto², —

так и он не выпускает свою добычу.

¹ В миниатюре, в уменьшенном виде (*лат.*).

² Ты не оттопишь се, как пса от засаленной шкуры (*лат.*).

Выдумка.— Надувала горазд на выдумки. Он обладает большой изобретательностью. Способен на хитрейшие замыслы. Умеет войти в доверие и выйти из любого положения. Если бы он не был Александром, то желал бы быть Диогеном. Не будь он надувалой, он мастерил бы патентованные крысоловки или ловил на удочку форель.

Дерзость.— Надувала дерзок. Он — бесстрашный человек. Он ведет войну на вражеской территории. Нападает и побеждает. Тайные убийцы со своими кинжалами его бы не испугали. Чуть побольше рассудительности, и неплохой надувала получился бы из Дика Терпина; чуть поменьше болтовни — из Даниела О'Коннела, а лишний фунт-другой мозгов — из Карла Двенадцатого.

Несвозмутимость. — Надувала невозмутим. Никогда не нервничает. У него вообще нет нервов и отродясь не было. Не поддается суете. Его никто не выведет из себя — даже если выведет за дверь. Он абсолютно хладнокровен и спокоен — «как светлая улыбка леди Бэри». Он держится свободно, как старая перчатка на руке или как девы древних Байи.

Оригинальность.— Надувала оригинален, иначе ему совесть не позволяет. Мысли у него — собственные. Чужих ему не надо. Устаревшие приемы он презирует. Я уверен, что он вернет вам кошелек, если только убедится, что раздобыл его неоригинальным надувательством.

Нахальство. — Надувала нахален. Он ходит вразвалку. Ставит руки в боки. Держит кулаки в карманах. Хочет вам в лицо. Наступает вам на мозоли. Он ест ваш обед, пьет ваше вино, занимает у вас деньги, оставляет вас с носом, пинает вашу собачку и целует вашу жену.

Ухмылка. — Настоящий надувала венчает все эти свойства ухмылкой. Но никто, кроме него самого, этого не видит. Он скалит зубы, когда закончен день трудов — когда дело сделано, поздно вечером у себя в каморке и исключительно для собственного удовольствия. Он приходит домой. Запирает дверь. Раздевается. Задувает свечу. Ложится в постель. Опускает голову на подушку. И по завершении всего этого надувала широко скалит зубы. Это — не гипотеза, а нечто само собой разумеющееся. Я

рассуждаю а priori¹, ибо надувательство без ухмылки — не надувательство.

Происхождение надувательства относится к эпохе детства человечества. Первым надувалой, я думаю, можно считать Адама. Во всяком случае, эта наука прослеживается в веках вплоть до самой глубокой древности. Однако современные люди довели ее до совершенства, о каком и мечтать не могли наши толстолобые праотцы. И потому, не отвлекаясь для пересказа «преданий старины», удовлетворюсь кратким обзором «примеров наших дней».

Отличным надувательством можно считать такое. Хозяйка дома, вознамерившись купить, скажем, диван, ходит из одного мебельного магазина в другой. Наконец, в десятом рекламируют как раз то, что ей надо. У дверей к ней обращается некий весьма вежливый и речистый индивидуум и с поклоном приглашает войти. Диван, как она и думала, вполне отвечает ее требованиям, а осведомившись о цене, она с удивлением и радостью слышит сумму процентов на двадцать ниже ее ожиданий. Она спешит произвести покупку, просит чек, платит, получает квитанцию, оставляет свой адрес с просьбой доставить диван как можно скорее и удаляется, провожаемая до самого порога любезно кланяющимся приказчиком. Наступает вечер — дивана нет. Проходит следующий день — все то же. Слугу посылают навести справки о причинах задержки. Никакой диван продан не был, и денег никто не получал — кроме надувалы, прикинувшегося для этого случая приказчиком.

У нас в мебельных магазинах обычно никто не сидит, благодаря чему и возникает возможность для подобного жульничества. Люди входят, разглядывают мебель и удаляются, и никто их не видит и не слышит. Захоти мы сделать покупку или осведомиться о цене, тут же висит звонок, и находят, что этого вполне достаточно.

Почтенным надувательством считается такое. В лавку входит хорошо одетый человек и делает покупки на сумму в один доллар; обнаруживает, раздосадованный,

¹ Исходя из общих соображений (лат.).

что оставил бумажник в кармане другого сюртука, и говорит приказчику так:

— Мой дорогой сэр, Бог с ним со всем. Сделайте мне одолжение, отошлите весь пакет ко мне домой, хорошо?.. Хотя постоит, кажется, у меня и там нет мелочи меньше пятидолларовой банкноты. Ну, да вы можете отослать и четыре доллара сдачи вместе с покупкой.

— Очень хорошо, сэр,— отвечает приказчик, сразу же проникнувшись уважением к возвышенному образу мыслей своего покупателя. «Я знаю молодчиков,— говорит он себе,— которые бы просто положили товар под мышку и пошли вон, посулившись зайти на обратном пути и принести доллар».

И он посылает мальчика с пакетом и сдачей. По дороге ему совершенно случайно встречается давешний господин и восклицает:

— А, это мои покупки, как я вижу! Я думал, они уже давно у меня дома. Ну, ну, беги. Моя жена, миссис Троттер, даст тебе пять долларов — я ей оставил указания на этот счет. А сдачу можешь отдать прямо мне, серебро мне как раз кстати: я должен зайти на почту. Прекрасно! Один, два... это не фальшивый четвертак? ...три, четыре — все верно! Скажешь миссис Троттер, что повстречался со мною, да смотри, не замешкайся по дороге.

Мальчишка не мешкает по дороге — и, однако, очень долго не возвращается в лавку, потому что дамы по имени миссис Троттер ему отыскать не удалось. Впрочем, он утешает себя сознанием, что не такой уж он дурак, чтобы оставить товар без денег, возвращается в лавку с самодовольным видом и чувствует обиду и возмущение, когда хозяин спрашивает его, а где же сдача.

Очень простое надувательство вот какое. К капитану судна, готового отвалить от пристани, является официального вида господин и вручает на редкость умеренный счет портовых пошлин. Радешенек отделаться так дешево, капитан, задуренный тысячей неотложных забот, спешит расплатиться. Минут через пятнадцать ему вручается другой, уже не столь умеренный, счет лицом, которое сразу же со всей очевидностью доказывает, что первый сборщик пошлин — надувала и ранее произведенный сбор — надувательство.

Или еще нечто в этом роде. От пристани с минуты на минуту отвалит пароход. К сходням со всех ног бежит пассажир с чемоданом в руке. Внезапно он останавливается как вкопанный, нагибается и в большом волнении подбирает что-то с земли. Это бумажник. «Кто из джентльменов потерял бумажник?» — кричит он. Никто с уверенностью не может утверждать, что именно он потерял бумажник, однако все взволнованы, когда господин обнаруживает, что находка его — ценная. Пароход, однако, задерживать нельзя.

— Время не ждет,— говорит капитан.

— Ради всего святого, повремените хоть несколько минут,— просит господин с бумажником.— Настоящий владелец должен объявиться с минуты на минуту.

— Нельзя! — отвечает корабельный вседержитель.— Эй, вы там! Отдать концы!

— Ах, ну что же мне делать? — восклицает нашедший в великом беспокойстве.— Я уезжаю за границу на несколько лет, и мне просто совесть не позволяет оставить у себя такую ценность. Прошу у вас прощения, сэр (здесь он обращается к господину, стоящему на пристани), вы выглядите честным человеком. Не окажете ли вы мне любезность, взяв на себя заботу об этом бумажнике? Я знаю, что могу вам доверять. Надо поместить объявление. Дело в том, что банкноты составляют немалую сумму. Владелец, без сомнения, пожелает отблагодарить вас за хлопоты...

— Меня? Нет, вас! Ведь это вы нашли бумажник.

— Ну, если вы *настаиваете*, я готов принять маленькое вознаграждение — только, чтобы удовлетворить вашу щепетильность. Позвольте, позвольте, да тут одни только сотенные! Вот незадача! Сотня — это слишком много, без сомнения, пятидесяти было бы вполне достаточно.

— Отдать концы! — командует капитан.

— Но у меня нечем разменять сотню, и все-таки лучше *вам*...

— Отдавай концы!

— Ничего! — кричит господин на берегу, порывшись в собственном бумажнике.— Сейчас все устроим! Вот вам пятьдесят долларов, обеспеченные Североамериканским банком. Бросайте мне бумажник!

Совестливый пассажир с видимой неохотой берет пятьдесят долларов и бросает господину на берегу бумажник, между тем как пароход отчаливает, пыхтя и пуская пары. Примерно через полчаса после его отплытия обнаруживается, что «банкноты на большую сумму» — не более как грубая подделка и вся эта история — первосортное надувательство.

А вот смелое надувательство. Где-то назначен загородный митинг. К месту, где он должен состояться, дорога ведет через мост. Надувала располагается на мосту и вежливо объясняет всем, кто хочет пройти или проехать, что в графстве принят новый закон, по которому взимается пошлина — один цент с пешехода, два — с лошади или осла, и так далее, и тому подобное. Кое-кто ворчит, но все подчиняется, и надувала возвращается домой, разбогатев на пятьдесят — шестьдесят тяжким трудом заработанных долларов. Обобрать большое количество народа — это работа совсем не из легких.

А вот тонкое надувательство. Друг надувалы владеет долговым обязательством последнего, написанным красными чернилами на обычном бланке и снабженным подписью. Надувала покупает дюжины две таких бланков и ежедневно окунает по одному бланку в суп, а затем заставляет свою собаку прыгать за ним и в конце концов отдает его ей на съедение. Когда наступает срок расплаты по долговому обязательству, надувала и надувалова собака являются в гости к другу, где речь тут же заходит о долге. Друг вынимает расписку из своего *escritoire*¹ и готов протянуть ее надувале, как вдруг собака надувалы подпрыгивает и пожирает бумагу без следа. Надувала не только удивлен, но даже раздосадован и возмущен подобным нелепым поведением своей собаки и выражает полную готовность расплатиться по своему обязательству, как только ему его предъявят.

Очень мелкое надувательство такое. Сообщник надувалы оскорбляет на улице даму. Сам надувала бросается ей на помощь и, любовно отколотив своего дружка, почитает своим долгом проводить пострадавшую до дверей ее

¹ Бювар (фр.).

дома. Прощаясь, низко кланяется, прижав руку к сердцу. Она умоляет своего спасителя войти с ней в дом и быть представленным ее старшему братцу и папаше. Он со вздохом отказывается.— Неужели же, сэр,— лепечет она,— нет никакого способа мне выразить мою благодарность?

— Почему же, мадам, конечно, есть. Не будете ли вы столь добры, чтобы ссудить меня двумя-тремя шиллингами?

В первом приступе душевного смятения дама решается немедленно упасть в обморок. Но затем, одумавшись, она развязывает кошелек и извлекает требуемую сумму. Это, как я уже сказал, очень мелкое надувательство, поскольку ровно половину приходится отдать джентльмену, взявшему на себя труд нанести оскорбление и быть за это поколоченным.

Небольшое, но вполне научное надувательство вот какое. Надувала подходит к прилавку в пивной и требует пачку табаку. Получив, некоторое время ее разглядывает и говорит:

— Нет, не нравится мне этот табак. Нате, возьмите обратно, а мне взамен налейте стакан бренди с водой.

Бренди подается и выпивается, и надувала направляется к дверям. Но голос буфетчика останавливает его:

— По-моему, сэр, вы забыли заплатить за стакан бренди с водой.

— Заплатить за бренди? Но разве я не отдал вам взамен табак? Что же вам еще надо?

— Но, сэр, прошу прощения, я не помню, чтобы вы заплатили за табак.

— Что это значит, негодяй? Разве я не вернул вам ваш табак? Разве это не ваш табак вон там лежит? Или вы хотите, чтобы я платил за то, чего не брал?

— Но, сэр, — бормочет буфетчик, совершенно растерявшись, — но, сэр...

— Никаких «но», сэр,— обрывает его надувала в величайшем негодовании.— Знаем мы ваши штучки.— И, ретируясь, хлопает дверью.

Или еще одно очень хитрое надувательство, самая простота которого служит ему рекомендацией. Кто-то

действительно теряет кошелек или бумажник и помещает подробное объявление в одной из многих газет большого города.

Надувала заимствует из этого объявления *факты*, изменив заглавие, общую фразеологию и *адрес*. Оригинал, скажем, длинный и многословный, дан под заголовком: «Утерян бумажник» и содержит просьбу о возвращении сокровища, буде оно найдется, по адресу: Том-стрит, номер 1. А копия лаконична, озаглавлена одним словом: «Потерян» и адрес указан: Дик-стрит, номер 2 или Гарри-стрит, номер 3. Кроме того, копия помещена одновременно в пяти или шести газетах, а во времени отстает со своим появлением от оригинала всего на несколько часов. Случись, что ее прочитает истинный пострадавший, едва ли он заподозрит, что это имеет какое-то отношение к его собственной пропаже. И, разумеется, пять или шесть шансов против одного, что нашедший принесет бумажник по адресу, указанному надувалой, а не в дом настоящего владельца. Надувала уплачивает вознаграждение, получает драгоценность и сматывает удочки.

Другое надувательство совсем в том же роде. Светская дама обронила что-то на улице, скажем, перстень с особо ценным бриллиантом. Тому, кто его найдет и возвратит, она предлагает вознаграждение в сорок — пятьдесят долларов, прилагая к объявлению подробнейшее описание самого камня и оправы, а также специально оговаривает, что доставившему драгоценность в дом номер такой-то по сямой-то улице вознаграждение будет выплачено на месте, безо всяких расспросов. Дня два спустя, в то время, как дама отлучилась из дому, у дверей такого-то номера по сямой-то улице раздастся звонок; слуга открывает; посетитель спрашивает хозяйку дома, слышит, что ее нет, и при этом потрясающем известии выражает глубочайшее разочарование. У него очень важное дело и именно к самой хозяйке. Видите ли, ему посчастливилось найти ее бриллиантовый перстень. Но, пожалуй, будет лучше, если он зайдет позже. «Ни в коем случае!» — восклицает слуга, и — «Ни в коем случае!» — восклицают хозяйкина сестра и хозяйкина невестка, немедленно призванные к месту переговоров. Перстень рас-

смастривают, шумно узнают, выплачивают вознаграждение и посетителя чуть ли не взащей выталкивают на улицу. Возвращается дама и выражает сестре и невестке неодобрение, ибо они заплатили сорок или пятьдесят долларов за *fac-simile*¹ ее бриллиантового перстня — *fac-simile*, сделанное из настоящей железки и неподдельного стекла.

Но как нет, в сущности, конца надувательствам, так не было бы конца и моему исследованию, вздумай я перечислить хотя бы половину тех разновидностей и вариантов, которые допускает эта наука. И потому я вынужден завершить мое сочинение, для какой-либо цели лучше всего послужит заключительное описание одного весьма пристойного, хотя и замысловатого надувательства, которое сравнительно недавно произошло у нас в городе, а впоследствии было не без успеха повторено и в некоторых других, не менее значных местностях Штатов. В город неведомо откуда приезжает пожилой джентльмен. По всему видно, что это человек положительный, аккуратный, уравновешенный и разумный. Одет безупречно, но скромно, просто — белый галстук, просторный жилет, покрой которого продиктован исключительно соображениями удобства; мягкие, широкие штиблеты на толстой подошве и панталоны без штрипок. Словом, с ног до головы зажиточный, респектабельный, трезвый делец *par excellence*² — один из тех суровых и по видимости жестких, а в душе мягких людей, вроде героев современных возвышенных мелодрам, каковые герои, как известно, одной рукой раздают гиней, а другой, просто из коммерческого принципа, вытрясут из человека все до сотовой доли последнего фартинга.

Господин этот с большой разборчивостью принимается за поиски квартиры. Он не любит детей. Привык к тишине. Образ жизни ведет весьма размеренный. И вообще предпочитает снять комнату и поселиться в почтенной семье, отличающейся религиозным направлением ума. При этом за ценой он не постоит, единственное его усло-

¹ Копию (*лат.*).

² Прежде всего (*фр.*).

вие — это что квартирную плату он будет отдавать точно по первым числам каждого месяца (сегодня второе); и он умоляет свою квартирную хозяйку, когда наконец находит таковую себе по вкусу, ни под каким видом не забывать этого его правила и присылать ему счет, а заодно и квитанцию, ровно в десять часов утра *первого* числа каждого месяцев и ни при каких обстоятельствах не откладывать на второе.

Устроившись с квартирой, наш господин снимает себе помещение под контору в квартале скорее солидном, чем фешенебельном. Ничего на свете он так не презирает, как пускание пыли в глаза. «За богатой вывеской, — провозглашает он, — редко бывает по-настоящему солидное дело», — замечание, столь глубоко поразившее воображение его квартирной хозяйки, что она спешит записать его для памяти карандашом в своей толстой семейной Библии, на широких полях Притчей Соломоновых.

Следующий шаг — объявление, наподобие нижеследующего, которое помещается в одной из главных деловых газет города, взимающих по шести пенсов за объявление. (До более дешевых газет он не снисходит: во-первых, они недостаточно солидны, а во-вторых, требуют платы вперед, а наш господин, как в святое Евангелие, верит в то, что ни за какую работу не следует платить до того, как она сделана.):

«Требуются. — Податели сего объявления намерены начать в этом городе широкие деловые операции, в связи с чем им потребуются услуги трех или четырех образованных и высококвалифицированных клерков, которым будет выплачиваться значительное жалованье. Рекомендации и свидетельства представлять только самые лучшие и не столько о деловых качествах, сколько о нравственной безупречности. Более того, поскольку будущие обязанности клерков связаны с большой ответственностью и поскольку через их руки будут проходить значительные суммы, сочтено желательным, чтобы каждый из нанимаемых клерков вносил залог в размере пятидесяти долларов. В силу этого лиц, не располагающих указанной суммой для внесения залога и не имеющих

убедительных свидетельств о строгих нравственных правилах, просят не беспокоиться. Предпочтение будет отдано молодым людям с религиозным направлением ума. Обращаться между десятью и одиннадцатью часами утра и четырьмя и пятью часами дня к господам

Кошкью, Вошкью, Мошкью, Печкью, Лавочкью и К'
в доме 110 по Сучкью-стрит».

К тридцать первому числу указанного месяца объявление привело в контору господ Кошкью, Вошкью, Мошкью, Печкью, Лавочкью и Компания человек пятнадцать — двадцать молодых людей с религиозным направлением ума. Но наш почтенный делец ни с одним из них не спешит заключить контракт — какой же делец в таких вопросах торопится? — так что каждый молодой человек подвергается весьма тщательному допросу касательно религиозности направления своего ума, прежде чем принимается на службу и получает квитанцию на свои пятьдесят долларов — просто для порядка — от respectable фирмы Кошкью, Вошкью, Мошкью, Печкью, Лавочкью и Компания. Утром первого числа следующего месяца хозяйка квартиры не вручает, как обещала, своего счета — упущение, за которое почтенный глава торгового дома, оканчивающегося на -кью, без сомнения, сурово выбранил бы ее, когда бы его удалось задержать для этой цели в городе еще на день или два.

Между тем полицейские с ног сбились, бегая по городу, и все, что им удалось, это объявить, что почтенный господин — *n. e. i.*, каковые буквы расшифровываются людьми знающими, как начальные классической латинской фразы: *non est inventus*¹. Между тем молодые люди, все как один, стали отличаться несколько менее религиозным направлением ума, а хозяйка квартиры покупает на шиллинг лучшей резинки и тщательно стирает карандашную надпись, которую какой-то дурак сделал в ее толстой семейной Библии, на широких полях Притчей Соломоновых.

¹ Не найден (*лат.*).



ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО ИЗРУБИЛИ В КУСКИ

Повесть о последней Бугабуско-кикапуской кампании

Pleures, pleurez, mes yeux, et fondez-vous en eau!
La moitié de ma vie a mis l'autre au tombeau
Corneille¹

Не могу припомнить, когда и где я впервые познакомился с этим красавцем-мужчиной — брвет-бригадным генералом Джоном А. Б. В. Смитом. Кто-то меня ему представил, в этом я совершенно уверен — в каком-то собрании, это я знаю точно, — посвященном, конечно, чему-то необычайно важному, — в каком-то доме, я ни минуты в том не усомнюсь, — только где именно, я почему-то никак не могу припомнить. Сказать по чести, при этом я испытывал некое смущение и тревогу, помешавшие мне составить хоть сколько-нибудь определенное впечатление о месте и времени нашего знакомства. По природе я очень нервен — у нас это в роду, и тут уже я ничего не могу поделывать. Малейший намек на таинственность, любой пустяк, не совсем мне понятный, мгновенно приводит меня в самое жалкое состояние.

Во всем облике упомянутого господина было что-то... как бы это сказать... замечательное, — да, *замечательное*, хотя слово это слишком невыразительно и не может передать всего, что я подразумеваю. Росту в нем было, должно быть, футов шесть, а вид чрезвычайно властный. Была во всей его манере некая *air distinguee*², выдающая

¹ Пролейтесь, токи слез, над злейшей из кончин!
Увы! Моей души одна из половин другою сражена.
Корнель (фр.)

² Изысканность (фр.).

высокое воспитание; а возможно, и происхождение. В этом вопросе — вопросе о внешности Смита — я хотел бы позволить себе горькое удовольствие быть точным. Его шевелюра сделала бы честь самому Бруту — по блеску и пышности ей не было равных. Цвет воронова крыла — и тот же цвет, или, вернее, отсутствие цвета в его божественных усах. Вы замечаете, конечно, что о последних я не могу говорить без восторга; я не побоюсь сказать, что под солнцем не было других таких усов. Они обрамляли, а кое-где и прикрывали несравненные уста. Зубы бесподобной формы блистали невероятной белизной, и в подходящих случаях из его горла лился голос сверхъестественной чистоты, мелодичности и силы. Что до глаз, то и тут мой новый знакомец был наделен совершенно исключительно. За каждый из них можно было, не дрогнув, отдать пару обычных окуляров. Огромные, карие, они поражали глубиной и сиянием, и слегка косили — чуть-чуть, совсем немного, как раз столько, сколько требуется, чтобы придать взору интересную загадочность.

Такой груди, как у генерала, я в своей жизни безусловно не встречал. При всем желании, в ней нельзя было найти ни единого дефекта. Она на редкость шла к плечам, которые вызвали бы краску стыда и неполноценности на лице мраморного Аполлона. У меня к хорошим плечам страсть — смею сказать, что никогда ранее не видел такого совершенства. Руки у него имели форму безукоризненную. Не менее выразительны были и нижние конечности. Это были прямо-таки не ноги, а *pes plus ultima*¹ прекрасных ног. Любой знаток нашел бы их безупречными. Они были не слишком толсты и не слишком тонки, без грубости, но и без излишней хрупкости. Более изящного изгиба, чем в его *os femoris*², я и представить не могу, а *fibula*³ его слегка выгибалась сзади как раз настолько, сколько необходимо для истинно пропорциональной икры. Мне очень жаль, что мой юный и талантливый друг, скульптор Дребеззино не видел ног бревет-бригадного генерала Джона А. Б. В. Смита.

¹ Здесь: идеал (*лат.*).

² Бедренной кости (*лат.*).

³ Малая берцовая кость (*лат.*).

Но хоть мужчин с такой великолепной внешностью на свете совсем не так много, как звезд в небе или грибов в лесу, все же я не мог заставить себя поверить, что то поразительное нечто, о котором я говорил, — тот странный аромат *je ne sais quoi*¹, который витал вокруг моего нового знакомого, — крылся, — нет, этого не может быть! — исключительно в телесном его совершенстве. Возможно, дело тут было в его манере, — впрочем, и тут я ничего не могу утверждать на верное. В осанке его была некая принужденность, хоть я и побоюсь назвать ее чопорностью; в каждом движении некая прямоугольная рассчитанность и точность, которая в фигуре более мелкой слегка отдавала бы высокомерием, позой или напыщенностью, но в господине масштабов столь внушительных вполне объяснялась сдержанностью или даже *hauteur*² весьма приятного свойства, короче, чувством достоинства, вполне естественным при таких колоссальных пропорциях.

Любезный приятель, представивший меня генералу Смигу, шепнул мне кое-что о нем на ухо. «Замечательный человек — человек *весьма* замечательный — о-о! один из *самых* замечательных людей нашего века! Любимец дам — немудрено — репутация героя».

— Тут у него нет соперников — отчаянная голова, настоящий лев, можете мне поверить, — шептал мой приятель, еще пуще понижая при этих словах голос и приводя меня в крайнее волнение своим таинственным тоном. — Настоящий лев, можете мне поверить. Да, он себя показал в последнем сражении с индейцами племени бугабу и кикапу — в болотах на крайнем юге. (Тут мой приятель широко открыл глаза). Господи Боже — гром и молния! — кровь *потоками* — чудеса храбрости! — конечно, слышали о нем? Знаете, он тот самый человек...

— Вот он, тот самый человек, который мне нужен. Как *поживаете*, мой друг? Что поделяваете? *Душевно рад* вас видеть, — перебил тут моего приятеля подошедший генерал, тряся ему руку и отвешивая мне, когда я был ему представлен, деревянный, но низкий поклон.

¹ Чего-то неопределенного (фр.).

² Гордостью (фр.).

Помню, я подумал (и мнение свое я не изменил), что никогда в жизни не слышал голоса звучнее и чище, не видел зубов такой белизны; впрочем, *должен* признаться, что пожалел о том, что нас прервали, ибо мой приятель своим шепотом и недомолвками возбудил во мне живейший интерес к герою бугабуско-кикапуской кампании.

Впрочем, блестящее остроумие брелет-бригадного генерала Джона А. Б. В. Смита вскоре полностью рассеяло эту досаду. Приятель нас тут же оставил, и мы имели долгий tête-à-tête, не только приятный, но и *весьма* поучительный. Мне не доводилось встречать человека, который так легко и в то же время с таким глубоким знанием говорил бы на самые разные темы. И все же он с достойной скромностью избегал касаться предмета, более всего меня волновавшего, — я говорю о таинственных обстоятельствах бугабуской войны; я же, со своей стороны, из вполне понятной деликатности не решался завести о них разговор первым, хотя, признаться, мне чрезвычайно этого хотелось. Я заметил также, что доблестный воин предпочитал философские темы и что с особым вдохновением говорил он о необычайных успехах механики. О чем бы я ни заводил речь, он неизменно возвращался.

— Нет, но вы только подумайте,— говорил он,— мы удивительный народ и живем в удивительный век. Парашюты и железные дороги, капканы на людей и скорострельные ружья! На всех морях наши суда, и с минуты на минуту откроется регулярное сообщение — на воздушных шарах Нассау — между Лондоном и Тимбукту — билет в один конец всего двадцать фунтов стерлингов! А кто измерит огромное влияние на жизнь общества — на искусство — торговлю — литературу — исследования — великих принципов электромагнетизма! И это далеко не все, позвольте мне вас заверить. Изобретениям поистине нет конца. Самое удивительное — самое хитроумное — и позвольте вам заметить, мистер... мистер... Томпсон,— если не ошибаюсь? — так вот, позвольте вам заметить, что самые полезные — действительно *полезные* механические приспособления что ни день появляются, как грибы после дождя, если можно так выразиться,— или, если употребить еще более свободное сравнение, плодятся... гм...

как кролики... как кролики, мистер Томпсон... вокруг нас... и гм... гм... гм... возле нас!

Разумеется, меня зовут совсем не Томпсон, но стоит ли говорить, что я попрощался с генералом Смитом, чувствуя, что мой интерес к нему возрос неизмеримо, преклоняясь перед его даром собеседника и гордясь тем, что мы живем в век удивительных открытий. Впрочем, любопытство мое не было удовлетворено, и я решил, не откладывая, расспросить своих знакомых о самом бривет-бригадном генерале и особенно о великих событиях *guogum pars magna fuit*¹ во время бугабуской и кикапуской кампании.

Случай мне вскоре представился — и я не замедлил (*horrresco referens*²) им воспользоваться — в церкви достопочтенного доктора Трамтарарамма, где однажды в воскресенье во время проповеди я очутился на скамье бок о бок с моей достойнейшей и обаятельнейшей приятельницей мисс Табитой Т. Увидев это, я поздравил себя — не без весьма серьезных оснований — с чрезвычайно удачным положением дел. Если кто-нибудь и знал что-нибудь о бривет-бригадном генерале Джоне А. Б. В. Смита, то — тут я ни на минуту не сомневался — то была мисс Табита Т. Мы переглянулись, а затем приступили *sotto voce*³ к быстрому тет-а-тет.

— Смит! — отвечала она в ответ на мою взволнованную просьбу. — Смит! Как, неужели генерал Джон А. Б. В.? Господи, я думала, вы о нем все знаете! Век открытий! Удивительный век! Ужасная история — кровожадная банда негодяев, эти кикапу — дрался, как герой, — чудеса храбрости — бессмертная слава! Смит! Бривет-бригадный генерал Джон А. Б. В.! Да, знаете, это тот самый человек...

— Человек, — загремел туг во весь голос доктор Трамтарарамм и так грохнул по кафедре, что у нас зазвенело в ушах, — человек, рожденный женою, краткодневен и пресыщен печальями. Как цветок, он выходит и опада-

¹ В коих сыграл он немалую роль (*лат.*).

² Страшно сказать (*лат.*).

³ Понижив голос (*ит.*).

ет...— Дрожа, я отпрянул от мисс Табиты, поняв по раскрасневшемуся лицу богослова, что гнев, едва не оказавшийся для кафедры роковым, был вызван нашим перешептыванием. Делать нечего — я покорился судьбе и со смирением мученика выслушал в благоговейном молчании эту прекрасную проповедь.

Следующий вечер застал меня в театре «Чепуха», куда я явился, правда, с некоторым опозданием, в уверенности, что стоит мне только зайти в ложу очаровательных Арабеллы и Миранды Познаванти, всегда поражавших меня своей добротой и всеведением, как любопытство мое будет удовлетворено. Зал был переполнен — в тот вечер Кульминант, этот превосходный трагик, играл Яго, и мне было нелегко объяснить, чего я хочу, ибо ложа наша была крайней и прямо-таки нависала над сценой.

— Смит! — сказала мисс Арабелла.— Как, неужели генерал Джон А. Б. В.?

— Смит! — прогнула задумчиво Миранда. — Боже! Видали вы когда-нибудь такую несравненную фигуру?

— Никогда, сударыня, но скажите, прошу вас...

— Такую несравненную грацию?

— Никогда, даю вам слово! Но, умоляю, скажите мне...

— Такое прекрасное чувство сцены?

— Сударыня!

— Такое тонкое понимание подлинных красот Шекспира? Вы только взгляните на эту ногу!

— Черт! — И я повернулся к ее сестре.

— Смит! — сказала она.— Как, неужели генерал Джон А. Б. В.? Ужасная история, не так ли? Страшные негодяи, эти бугабу! Дикари — и все такое — но мы живем в век изобретений! Удивительный век! — Смит! — Да! великий человек — отчаянная голова! — вечная слава! — чудеса храбрости! — Никогда о нем не слышала! (Вопль.) Господи, да это тот человек...

— Вы человек или нет! Где ваше сердце? — заорал тут Кульминант мне прямо в ухо, грозясь кулаком с такой наглостью, которой я не намерен был сносить. Я немедленно покинул мисс Познаванти, отправился за кулисы и задал этому жалкому негодяю такую трепку, какая, надеюсь, запомнилась ему на всю жизнь.

Я был уверен, что на *soirée*¹ у прелестной вдовушки миссис Кетлин О'Вист меня не ждет подобное разочарование. Не успел я усесться за карточный стол *vis-a-vis* с моей хорошенькой хозяйкой, как тут же завел речь о тайне, разрешение которой стало столь важным для спокойствия моей души.

— Смит! — сказала моя партнерша. — Как, неужели генерал Джон А. Б. В.? Ужасная история, не так ли? — невероятные негодяи эти кикапу! Это вист, мистер Глупп, — не забывайте, пожалуйста! Впрочем, в наш век изобретений, в этот, можно сказать, великий век — век *par excellence*² — вы говорите по-французски? — просто герой — отчаянная голова! — *нет червей*, мистер Глупп? Я этому не верю! — вечная слава и все такое — чудеса храбрости! Никогда не слышали?! Какая фигура! А какие ман...

— Манн! *Капитан Манн*! — завопила тут какая-то дамочка из дальнего угла. — Вы говорите о капитане Манне и его дуэли? О, пожалуйста, расскажите, я *должна* это услышать. — Прошу вас, миссис О'Вист, продолжайте, — о, пожалуйста, расскажите нам все! — И миссис О'Вист рассказала — бесконечную историю о каком-то Манне, которого не то застрелили, не то повесили, — а лучше б и застрелили, и повесили сразу! Да! Миссис О'Вист вошла в азарт, ну, а я — я вышел из комнаты. В тот вечер не было уже никакой надежды узнать что-либо о бривет-бригадном генерале Джоне А. Б. В. Смите.

Я утешал себя мыслью, что не вечно же судьба будет ко мне так неблагоприятна, и потому решил смело потребовать информации на рауте у этого ангела, этой чаровницы, изящнейшей миссис Пируэтт.

— Смит! — сказала миссис Пируэтт, кружась со мной в *pas-de-zephur*.

— Смит! Как, неужели генерал Джон А. Б. В.? Ужасная история с этими бугабу, не так ли? — ужасные создания эти индейцы! — *тяните носок*, тяните носок! Мне просто стыдно за вас! — человек необычайного мужест-

¹ Вечере (*фр.*).

² В истинном значении этого слова (*фр.*).

ва, бедняга! — но наш век — век удивительных изобретений! — о Боже, я совсѣм задохнулась — отчаянная голова — чудеса храбрости! — никогда не слышали?! — Я не могу этому поверить! — Придется мне сесть и все вам рассказать — Смит! да это тот самый человек...

— Век, век, а я вам говорю, Бронзовый век, — вскричала тут мисс Синье-Чулокк, когда я подвел миссис Пируэтт к креслу. — Говорят вам, «Бронзовый век», а вовсе не «Бронзовый внук». — Тут мисс Синье-Чулокк властным тоном подозвала меня; пришлось мне волей-неволей оставить миссис Пируэтт, чтобы сказать решающее слово в споре о какой-то поэме лорда Байрона. Без долгих размышлений я тут же заявил, что она, конечно, называется «Бронзовый внук» и ни в коем случае не «Бронзовый век», но, вернувшись к креслу миссис Пируэтт, обнаружил, что она исчезла, и тут же удалился, проклиная мисс Синье-Чулокк и всю ее фамилию.

Дело принимало нештучный оборот, и я решил, не тратя попусту времени, навестить моего ближайшего друга Теодора Клеветона, ибо я понимал, что у него-то я получу хоть какие-то сведения.

— Сми-ит! — сказал он, растягивая, по обыкновению, слога. — Сми-ит! Как, неужели генерал Джон А. Б. В.? Дикая история с этими ки-капу-у, не так ли? — нет, правда? — отчаянная голова-а, ужасно жаль, честное слово! — век удивительных изобретений! — чудеса-а хра-а-брос-ти! — кстати, слышали вы о капитане Манне?

— К черту капитана Манна! — отвечал я. — Продолжайте, прошу вас...

— Гм... ну, что ж... совершенно *la meme cho-o-ose*¹, как говорят у нас во Франции. Смит? Бригадный генерал Джон А. Б. В.? Ну, знаете ли (тут мистер Клеветон почему-то приставил палец к носу) — не хотите же вы сказать, что никогда не слышали об этой истории — нет, вы признайтесь честно, положила руку на сердце. — Смит? Джон А. Б. В.? Господи! да это же человек...

— Мистер Клеветон, — сказал я с мольбой, — неужто это человек в маске?

¹ То же самое (*фр.*).

— Не-ет! — протянул он лукаво.— Но и с лу-уны он тоже не свалился!

Ответ этот я счел за рассчитанное и прямое оскорбление, а потому тут же в глубоком возмущении покинул этот дом, решив призвать своего друга мистера Клеветона к ответу за его невоспитанность и недостойное джентльмена поведение.

Тем временем, однако, я не имел мысли отказаться от получения столь важных для меня сведений. Мне оставалось лишь одно. Направиться прямо к источнику. Явиться к самому генералу и потребовать, языком простым и понятным, ответа на эту проклятую тайну. Тут уж не ускользнешь. Я буду краток, властен, деловит, прост, как Писание, и лаконичен, как Тацит и Монтескье.

Было еще утро, когда я нанес свой визит, и генерал совершал туалет, но я объяснил, что у меня к нему срочное дело, и старый негр-камердинер провел меня в спальную, где и оставался во все время моего визита. Войдя в спальную, я оглянулся, ища глазами хозяина, но не тотчас увидел его. На полу, возле моих ног, лежал большой узел какой-то странной рухляди, и так как я был в тот день очень не в духе, я пнул его ногой.

— Гха! гха! не очень-то это любезно, я бы сказал,— проговорил узел каким-то необычайно тихим и тонким голосом, похожим не то на писк, не то на свист. Такого в своей жизни я еще не слышал.

— Гха! Не очень-то это любезно, я бы заметил..

Я чуть не вскрикнул от ужаса и отскочил в дальний конец комнаты.

— Господи Боже, мой милый друг! — просвистел узел.— В чем... в чем... нет, в чем же дело? Вы, видно, меня совсем не узнаете.

Что я мог на это ответить? *Что?!* Я повалился в кресло и — открыв рот и выпучив глаза — стал ждать объяснения этого чуда.

— Как все же странно, что вы меня не узнаете, правда? — проскрипело чудовище, производя на полу какие-то странные манипуляции,— похоже, что оно натягивало чулок. Впрочем, нога почему-то была одна и, сколько я ни смотрел, второй ноги я так и не обнаружил.

— Как все же странно, что вы меня не узнаете, правда? Помпей, дай сюда эту ногу! — Тут Помпей подал узлу прекрасную пробковую ногу, обутую и затянутую в лосину, которая и была мгновенно прикручена, после чего узел поднялся с пола прямо у меня на глазах.

— Ну, и кровавая была бойня! — продолжал он свой монолог.— Впрочем, когда воюешь с бугабу и кикапу, было бы глупо предполагать, что отделаешься простой царпиной. Помпей, где же рука? Давай ее сюда, да поскорее! (Поворачиваясь ко мне): — Томас набил себе руку на пробковых ногах, но если вам, мой дорогой друг, когда-нибудь понадобится рука, позвольте мне порекомендовать вам Бишопа.— Тут Помпей привинтил ему руку.

— Да, жаркое было дело! Надевай мне плечи и грудь, пес! Лучшие плечи делает Петитт, но за грудью лучше обратиться к Дюкрау.

— За грудью! — произнес я.

— Помпей, куда же ты запропастился с этим париком? Скальпирование — очень неприятная процедура, но зато у Де Л'Орма можно приобрести такой прекрасный скальп.

— Скальп!

— Эй, черномазый, мои зубы! Хорошие челюсти лучше сейчас же заказать у Пармли — цены высокие, но работа отличная, Я, правда, проглотил великолепную челюсть, когда этот огромный бугабу проломил мне голову прикладом.

— Прикладом! Проломил! Пресветлый Боже!

— А-а, кстати, где мой пресветлый глаз? Эй, Помпей, винти мне глаз, негодяй! Эти кикапу выдавливают глаза довольно быстро, но доктора Уильямса все же зря оклеветали, вы даже представить себе не можете, как хорошо я вижу его глазами.

Понемногу мне стало ясно, что этот предмет, который стоял передо мной, этот предмет был не что иное, как мой новый знакомец, бривет-бригадный генерал Джон А. Б. В. Смит. Усилиями Помпея в его внешности произведены были разительные перемены. Один только голос все еще немало меня тревожил, но даже явная эта тайна вскоре получила объяснение.

— Помпей, черномазый мерзавец,— пропищал генерал.— Ты, видно, хочешь, чтоб я ушел без неба?

На что негр, бормоча извинения, приблизился к своему хозяину, с видом бывалого жокея открыл ему рот и очень ловко вставил ему какую-то ни на что не похожую штуку, назначение которой было мне совсем непонятно. Однако в лице генерала немедленно произошла разительная перемена. А когда он опять заговорил, в голосе его вновь зазвучала вся та глубокая мелодичность и звучность, которая поразила меня при нашем первом знакомстве.

— Черт бы побрал этих мерзавцев! — сказал он таким зычным голосом, что я положительно вздрогнул.— Черт бы их побрал! Они не только вбили мне в глотку все небо, но еще и позаботились о том, чтобы отрезать семь восьмых — никак не меньше! — моего языка. Впрочем, в Америке есть Бонфанги,— равного ему не сыщешь! — все эти предметы он делает бесподобно. Я могу с уверенностью рекомендовать его вам (тут генерал поклонился) — поверьте, я это делаю с величайшим удовольствием.

Я, как полагается, ответил на его любезное предложение и тут же с ним распрощался, составив себе полное представление о том, в чем тут дело, и получив разъяснение тайны, которая мучила меня так долго. Все было ясно. Случай был прост. Бrevet-бригадный генерал Джон А. Б. В. Смит был тот самый человек — тот самый человек, которого *изрубили в куски*.



ТРИ ВОСКРЕСЕНЬЯ НА ОДНОЙ НЕДЕЛЕ

«У, бессердечный, бесчеловечный, жестоковыйный, тупоголовый, замшелый, заматерелый, закоснелый, старый дикарище!» — воскликнул я однажды (мысленно), обращаясь к моему дядюшке (собственно, он был мне двоюродным дедом) Скупердзю, и (мысленно же) погрозил ему кулаком.

Увы, только мысленно, ибо в то время существовало некоторое несоответствие между тем, что я говорил, и тем, чего не отваживался сказать, — между тем, как я поступал, и тем, как, право же, готов был поступить.

Когда я распахнул дверь в гостиную, старый морж сидел, задрав ноги на каминную полку и держа в руке стакан с портвейном, и, насколько ему это было по силам, пытался петь известную песенку:

Remplis ton verre vide!
Vide ton verre plein!¹

— Любезный дядюшка, — обратился я к нему, осторожно прикрыв дверь и изобразив на лице своем простодушнейшую из улыбок, — вы всегда столь добры и снисходительны и так много раз выказывали всячески свое благорасположение, что... что я не сомневаюсь, стоит мне только заговорить с вами опять об этом небольшом деле, и я получу ваше полное согласие.

— Гм, — отвечивал дядюшка. — Умник. Продолжай.

— Я убежден, любезнейший дядюшка (у-у, чтоб тебе провалиться, старый злыдень!), что вы, в сущности, во-

¹ Наполни опять свой пустой стакан!
Осуши свой полный стакан! (фр.)

все и не хотите воспрепятствовать моему союзу с Кейт. Это просто шутка, я знаю, ха-ха-ха! Какой же вы, однако, дядюшка, шутник!

— Ха-ха,— сказал он.— Черта с два. Ну, так что же?

— Вот видите! Конечно же! Я так и знал. Вы шутили. Так вот, милый дядюшка, мы с Кейт только просим вашего совета касательно того... касательно срока... ну, вы понимаете, дядюшка... срока, когда вам было бы удобнее всего... ну, покончить это дело со свадьбой?

— Покончить, ты говоришь, негодник? Что это значит? Чтобы покончить, надо прежде начать.

— Ха-ха-ха! Хе-хе-хе! Хи-хи-хи! Хо-хо-хо. Ну, не остроумно ли? Прелесть, ей-богу! Чудо! Но нам всего только нужно сейчас, чтобы вы точно назначили срок.

— Ах, точно?

— Да, дядюшка. Если, понятно, вам это нетрудно.

— А если, Бобби, я эдак приблизительно прикину — скажем, в нынешнем году или чуть позже,— это тебе не подходит?

— Нет, дядюшка, скажите точно, если вам нетрудно.

— Ну, ладно, Бобби, мой мальчик,— ты ведь славный мальчик, верно? — коли уж тебе так хочется, чтобы я назначил срок точно, я тебя на этот раз так и быть уважу.

— О, дядюшка!

— Молчите, сэр — (заглушая мой голос).— На этот раз я тебя уважу. Ты получишь мое согласие,— а заодно и приданое, не будем забывать о приданом — постойка, сейчас я тебе скажу, когда. Сегодня у нас воскресенье. Ну, так вот, ты сможешь сыграть свадьбу точно — *точнехонько, сэр!* — тогда, когда три воскресенья подряд придутся на одну неделю! Ты меня слышал? Ну, что уставился, разинув рот? Говорю тебе, ты получишь Кейт и ее деньги, когда на одну неделю придутся три воскресенья. И не раньше, понял, шалопай? Ни днем раньше, хоть умри. Ты меня знаешь: я — человек слова! А теперь ступай прочь.— И он одним глотком осушил свой стакан портвейна, а я в отчаянии выбежал из комнаты.

Как поется в балладе, «английский славный джентльмен» был мой двоюродный дед мистер Скупердэй, но со

своими слабостями — в отличие от героя баллады. Он был маленький, толстенный, кругленький, гневливый человек с красным носом, непрошибаемым черепом, туго набитым кошельком и преувеличенным чувством собственной значительности. Обладая, в сущности, самым добрым сердцем, он среди тех, кто знал его лишь поверхностно, из-за своей неискоренимой страсти дразнить и мучить ближних почитался жестоким и грубым. Подобно многим превосходным людям, он был одержим бесом противоречия, что по первому взгляду легко сходило за прямую злобу. На любую просьбу «Нет!» — бывало его неизменным ответом, и, однако же, почти не бывало таких просьб, которые бы он рано или поздно — порой очень поздно — не исполнил. Все посягательства на свой кошелек он встречал в штыки, но сумма, исторгнутая у него в конечном итоге, находилась, как правило, в прямо пропорциональном отношении к продолжительности предпринятой осады и к упорству самозащиты. И на благотворительность он жертвовал всех больше, хотя и ворчал и кряхтел при этом всех громче.

К искусствам, особенно к изящной словесности, питал он глубочайшее презрение, которому научился у Казимира Перье, чьи язвительные слова: «*A quoi un poete est-il bon?*»¹ — имел обыкновение цитировать с весьма забавным прононсом как *nes plus ultra*² логического остроумия. Потому и мою склонность к музам он воспринял крайне неодобрительно. Как-то, в ответ на мою просьбу о приобретении нового томика Горация, он вздумал даже уверять меня, будто изречение: «*Poeta nascitur non fit*»³ надо переводить как «Поэт у нас-то дурью набит», чем вызвал глубокое мое негодование. Его нерасположение к гуманитарным занятиям особенно возросло в последнее время в связи со вдруг вспыхнувшей у него страстью к тому, что он именовал «естественной наукой». Кто-то однажды на улице обратился к нему, по ошибке приняв его за самого доктора О'Болтуса, знаменитого шарлатана «ви-

¹ Что проку от поэта? (фр.).

² Предел (лат).

³ Поэтом рождаются, а не становятся (лат).

талиста». Отсюда все и пошло, и ко времени действия моего рассказа — а это все-таки будет рассказ — подъехать к моему двоюродному деду Скупердэю возможно было только на его собственном коньке. В остальном же он только хохотал да отмахивался руками и ногами. И вся его несложная политика сводилась к положению, высказанному Хорслеем, что «человеку нечего делать с законами, как только подчиняться им».

Я прожил со стариком всю жизнь. Родители мои, умирая, завещали ему меня, словно богатое наследство. Помоему, старый разбойник любил меня как родного сына — почти так же сильно, как он любил Кейт, — и все-таки это была собачья жизнь. С года и до пяти включительно он потчевал меня регулярными трепками. С пяти до пятнадцати, не скупясь, ежечасно грозил исправительным домом. С пятнадцати до двадцати каждый Божий день сулился оставить меня без гроша в кармане. Я, конечно, был не ангел, это приходится признать, — но такова уж моя натура и таковы, если угодно, мои убеждения. Кейт была мне надежным другом, и я это знал. Она была добрая девушка и прямо объявила мне со свойственной ей добротой, что я получу ее вместе со всем ее состоянием, как только уломаю дядюшку Скупердэя. Ведь бедняжке едва исполнилось пятнадцать лет, и без его согласия, сколько там ни было у нее денег, все оставалось недоступным еще в течение пяти бесконечных лет, «медлительно длинную свою влачащих». Что же в таком случае оставалось делать? Когда тебе пятнадцать, и даже когда тебе двадцать один (ибо я уже завершил мою пятую олимпиаду), пять лет — это почти так же долго, как и пятьсот. Напрасно наседали мы на старика с просьбами и мольбами. Этот «*piece de resistance*»¹ (в терминологии господ Юда и Карема) как раз пришелся ему по вкусу. Сам долготерпеливый Иов возмутился бы, наверное, при виде того, как он играл с нами, точно старый многоопытный кот с двумя мышатами. В глубине души он и не желал ничего иного, как нашего союза. Он сам уже давно решил нас поженить, и, наверное, дал бы десять тысяч фунтов из своего

¹ В кулинарии — самое главное блюдо в меню (*фр.*).

кармана (денежки Кейт были ее собственные), чтобы только изобрести законный предлог для удовлетворения нашего вполне естественного желания. Но мы имели неосторожность завести с ним об этом речь сами. И при таком положении вещей ясно, что он просто не мог не заупрямиться.

Выше я говорил, что у него были свои слабости: но при этом я вовсе не имел в виду его упрямство, которое считаю, наоборот, его сильной стороной — *assurement se n'etait pas sa faible*¹. Под его слабостью я подразумеваю его невероятную, чисто старушечью приверженность к суевериям. Он придавал серьезное значение снам, предзнаменованиям *et id genus omne*² ерунде. И, кроме того, был до мелочности щепетилен. По-своему, он, безусловно, был человек слова. Я бы даже сказал, что верность слову была его коньком. Дух данного им обещания он ставил ни во что, но букву соблюдал неукоснительно. И именно эта его особенность позволила моей выдумщице Кейт в один прекрасный день, вскоре после моего с ним объяснения в столовой, неожиданно обернуть все дело в нашу пользу. На сем, исчерпав по примеру современных бардов и ораторов на *prolegomena*³ имевшееся в моем распоряжении время и почти все место, я теперь в нескольких словах передам то, что составляет, собственно, суть моего рассказа.

Случилось так — по велению Судеб,— что среди знакомых моей нареченной были два моряка и что оба они только что вновь ступили на британскую землю, проведя каждый по целому году в дальнем плавании. И вот, сговорившись заранее, мы с моей милой кузиной взяли с собой этих джентльменов и вместе с ними нанесли визит дядюшке Скупердэю — было это в воскресенье десятого октября, ровно через три недели после того, как он произнес свое окончательное слово, чем сокрушил все наши надежды. Первые полчаса разговор шел на обычные темы,

¹ Это, безусловно, не было его слабостью (*фр.*).

² И всей такого рода (*лат.*).

³ Введение (*греч.*).

но под конец нам удалось как бы невзначай придать ему такое направление:

Капитан Пратт: М-да, я пробыл в отсутствии целый год. Как раз сегодня ровно год, по-моему. Ну да, погодите-ка, конечно! Сегодня ведь десятое октября. Помните, мистер Скупердэй, год назад я в этот же самый день приходил к вам прощаться? И, кстати сказать, надо же быть такому совпадению, что наш друг капитан Смизертон тоже отсутствовал как раз год — ровно год сегодня, не так ли?

Смизертон: Именно! Точнешенько год! Вы ведь помните, мистер Скупердэй, я вместе с капитаном Праттом навестил вас в этот день год назад и засвидетельствовал вам перед отплытием мое почтение.

Дядя: Да, да, да, я отлично помню. Как, однако же, странно. Оба вы пробыли в отсутствии ровнехонько год! Удивительное совпадение! То, что доктор О'Болтус назвал бы редкостным стечением обстоятельств. Доктор О'Бол...

Кейт (прерывая): И в самом деле, папочка, как странно. Правда, капитан Пратт и капитан Смизертон плыли разными рейсами, а это, вы сами знаете, совсем другое дело.

Дядя: Ничего я такого не знаю, проказница. Да и что тут знать? По-моему, тем удивительнее. Доктор О'Болтус...

Кейт: Но, папочка, ведь капитан Пратт плыл вокруг мыса Горн, а капитан Смизертон обогнул мыс Доброй Надежды.

Дядя: Вот именно! Один двигался на запад, а другой на восток. Понятно, стрекотунья? И оба совершили кругосветное путешествие. Между прочим, доктор О'Болтус...

Я (поспешно). Капитан Пратт, приходите к нам завтра вечером — и вы, Смизертон, — расскажете о своих приключениях, сыграем партию в вист...

Пратт: В вист? Что вы, молодой человек! Вы забыли: завтра воскресенье. Как-нибудь в другой раз...

Кейт: Ах, ну как можно? Роберт еще не совсем потерял рассудок. Воскресенье сегодня.

Дядя: Разумеется.

Пратт: Прошу у вас обоих прощения, но невозможно, чтобы я так ошибался. Я точно знаю, что завтра воскресенье, так как я...

Смизертон (с изумлением): Позвольте, что вы такое говорите? Разве не вчера было воскресенье?

Всс: Вчера? Да вы в своем ли уме!

Дядя: Говорю вам, воскресенье сегодня! Мне ли не знать?

Пратт: Да нет же! Завтра воскресенье.

Смизертон: Вы просто помешались, все четверо. Я так же твердо знаю, что воскресенье было вчера, как и то, что сейчас я сижу на этом стуле.

Кейт (вскакивая в возбуждении): Ах, я понимаю! Я все понимаю! Папочка, это вам перст судьбы — сами знаете в чем. Погодите, я сейчас все объясню. В действительности это очень просто. Капитан Смизертон говорит, что воскресенье было вчера. И он прав. Кузен Бобби и мы с папочкой утверждаем, что сегодня воскресенье. И это тоже верно; мы правы. А капитан Пратт убежден в том, что воскресенье будет завтра. Верно и это; он тоже прав. Мы все правы, и, стало быть, на одну неделю пришлось три воскресенья!

Смизертон (помолчав): А знаете, Пратт, Кейт ведь правду говорит. Какие же мы с вами глупцы. Мистер Скупердэй, все дело вот в чем. Земля, как вы знаете, имеет в окружности двадцать четыре тысячи миль. И этот шар земной вертится, поворачивается вокруг своей оси, совершая полный оборот протяженностью в двадцать четыре тысячи миль с запада на восток ровно за двадцать четыре часа. Вам понятно, мистер Скупердэй?

Дядя: Да, да, конечно. Доктор О'Бол...

Смизертон (заглушая его): То есть, сэр, скорость его вращения — тысяча миль в час. Теперь предположим, что я переместился отсюда на тысячу миль к востоку. Понятно, что для меня восход солнца произойдет ровно на час раньше, чем здесь, в Лондоне. Я обгоню ваше время на один час. Продвинувшись в том же направлении еще на тысячу миль, я опережу ваш восход уже на два часа; еще тысяча миль — на три часа, и так далее, пока я не возвращусь в эту же точку, проделав путь в

двадцать четыре тысячи миль к востоку и тем самым опередив лондонский восход солнца ровно на двадцать четыре часа. Иначе говоря, я на целые сутки обгону ваше время. Вы понимаете?

Дядя: Но О'Болтус...

Смизертон (очень громким голосом): Капитан же Пратт, напротив, отплыв на тысячу миль к западу, оказался на час позади, а проделав весь путь в двадцать четыре тысячи миль к западу, на сутки *отстал* от лондонского времени. Вот почему для меня воскресенье было вчера, для вас оно сегодня, а для Пратта наступит завтра. И главное, мистер Скупердэй, мы все трое совершенно правы, ибо нет никаких философских резонов, почему бы мнению одного из нас следовало отдать предпочтение.

Дядя: Ах ты, черт, действительно... Ну, Кейт, ну, Бобби, это в самом деле, как видно, перст судьбы. Я — человек слова, это каждому известно. И потому ты можешь назвать ее своею (со всем, что за ней дается), когда пожелаешь. Обошли меня, клянусь душою! Три воскресенья подряд, а? Интересно, что скажет О'Болтус на *это*?



СТРАНИЦЫ ИЗ ЖИЗНИ ЗНАМЕНИТОСТИ

...и весь народ
От изумления разинул рот.
Сатиры епископа Холла

Я знаменит, то есть был знаменит, но я ни автор «Писем Юниуса», ни Железная Маска, ибо зовут меня, насколько мне известно, Робертом Джонсом, а родился я где-то в городе Бели-Берде.

Первым действием, предпринятым мною в жизни, было то, что я обеими руками схватил себя за нос. Матушка моя, увидав это, назвала меня гением, а отец разрыдался от радости и подарил мне трактат о носологии. Его я изучил в совершенстве прежде, чем надел первые панталоны.

К тому времени я начал приобретать научный опыт и скоро постиг, что, когда у человека достаточно выдающийся нос, то он разнюхает дорогу к славе. Но я не обращал внимания ни на одну теорию. Каждое утро я дергал себя за нос разок-другой и пропускал рюмочек пять-шесть.

Когда я достиг совершеннолетия, отец мой как-то пригласил меня зайти к нему в кабинет.

— Сын мой,— спросил он, когда мы уселись,— какова главная цель твоего существования?

— Батюшка,— отвечал я,— она заключается в изучении носологии.

— Роберт,— осведомился он,— а что такое носология?

— Сэр,— пояснил я,— это наука о носгах.

— И можешь ли ты сказать мне,— спросил он,— что такое нос?

— Нос, батюшка,— начал я, весьма польщенный,— пыгались многообразно охарактеризовать около тысячи исследователей.— (Тут я выгащил часы.) — Сейчас полдень или около того, так что к полуночи мы успеем пройти по всем. Итак, начнем: — Нос, по Бартолину,— та выпуклость, тот нарост, та шишка, то...

— Полно, полно, Роберт! — перебил достойный старый джентльмен.— Я потрясен обширностью твоих познаний... Я прямо-таки... Ей-Богу...— (Тут он закрыл глаза и положил руку на сердце.) — Поди сюда! — (Тут он взял меня за плечо.) — Твое образование отныне можно считать законченным; пора тебе самому о себе позаботиться — и лучше всего тебе держать нос по ветру — вот так — так — так — (Тут он спустил меня с лестницы и вышвырнул на улицу.) — так что пошел вон из моего дома, и Бог да благословит тебя!

Чувствуя в себе божественный *afflatus*¹, я счел этот случай скорее счастливым. Я решил руководствоваться отчим советом. Я вознамерился держать нос по ветру. И я разок-другой дернул себя за нос и написал брошюру о носологии.

Брошюра произвела в Бели-Берде фурор.

— Чудесный гений! — сказали в «Ежеквартальном».

— Непревзойденный физиолог! — сказали в «Вестминстерском».

— Умный малый! — сказали в «Иностранном».

— Отличный писатель! — сказали в «Эдинбургском».

— Глубокий мыслитель! — сказали в «Дублинском».

— Великий человек! — сказал «Бентли».

— Высокий дух! — сказал «Фрейзер».

— Он наш! — сказал «Блэквуд».

— Кто он? — спросила миссис *Vas-Bleu*².

— Что он? — спросила старшая мисс *Vas-Bleu*.

— Где он? — спросила младшая мисс *Vas-Bleu*. Но я не обратил на них ни малейшего внимания, а взял и зашел в мастерскую некоего живописца.

¹ Вдохновение (лат.).

² Синый чулок (фр.).

Герцогиня Шут-Дери позировала для портрета; маркиз Имя-Рек держал герцогинина пуделя; граф Как-Бишь-Его вертел в руках ее нюхательный флакон; а его королевское высочество Эй-не-Трожь облакачивался о спинку ее кресла.

Я подошел к живописцу и задрал нос.

— Ах, какая красота! — вздохнула ее светлость.

— Ах, Боже мой! — прошепелявил маркиз.

— Ах, ужас! — простонал граф.

— Ах, мерзость! — буркнул его королевское высочество.

— Сколько вы за него возьмете? — спросил живописец.

— За его нос! — вскричала ее светлость.

— Тысячу фунтов, — сказал я, садясь.

— Тысячу фунтов? — задумчиво осведомился живописец.

— Тысячу фунтов, — сказал я.

— Какая красота! — зачарованно сказал он.

— Тысячу фунтов! — сказал я.

— И вы гарантируете? — спросил он, поворачивая мой нос к свету.

— Гарантирую, — сказал я и как следует высморкался.

— И он совершенно оригинален? — осведомился живописец, почтительно касаясь его.

— Пф! — сказал я и скривил его набок.

— И его ни разу не воспроизводили? — справился живописец, рассматривая его в микроскоп.

— Ни разу, — сказал я и задрал его.

— Восхитительно! — закричал живописец, потеряв всякую осторожность от красоты этого маневра.

— Тысячу фунтов, — сказал я.

— Тысячу фунтов? — спросил он.

— Именно, — сказал я.

— Тысячу фунтов? — спросил он.

— Совершенно верно, — сказал я.

— Вы их получите, — сказал он, — что за *virtu*¹! — И он немедленно выписал мне чек и зарисовал мой нос. Я

¹ Произведение искусства, редкость (*ит.*).

снял квартиру на Джермин-стрит и послал ее величеству девяносто девятое издание «Носологии» с портретом носа. Этот несчастный шалопай, принц Уэльский, пригласил меня на ужин.

Мы все знаменитости и *recherches*¹.

Присутствовал новейший исследователь Платона. Он цитировал Порфирия, Ямвлиха, Плотина, Прокла, Гие-рокла, Максима Тирского и Сириана.

Присутствовал сторонник самоусовершенствования. Он цитировал Тюрго, Прайса, Пристли, Кондорсе, де Сталь и «Честолюбивого ученого, страдающего недугом».

Присутствовал сэр Позитив Парадокс. Он отметил, что все дураки — философы, а все философы — дураки.

Присутствовал Эстетикус Этикс. Он говорил об огне, единстве и атомах; о раздвоении и прабытии души; о родстве и расхождении; о примитивном разуме и гомеометрии.

Присутствовал Теологос Теологи. Он говорил о Евсевии и Арии; о ереси и Никейском соборе; о пюзеизме и пресуществлении; о гомузии и гомуйозии.

Присутствовал мсье Фрикассе из Роше де Канкаля. Он упомянул мюритон с красным языком; цветную капусту с соусом *veloute*; телятину *a la St. Menehoult*; маринад *a la St. Florentin* и апельсиновое желе *en mosaïques*².

Присутствовал Бибулус О'Бражник. Он вспомнил латур и маркбруннен; муссо и шамбертен; рошбур и сен-жорж; обрион, леонвиль и медок; барак и преньяк; грав и сен-пере. Он качал головой при упоминании о клодвужо и мог с закрытыми глазами отличить херес от амонтильядо.

Присутствовал синьор Тинтонтинтино из Флоренции. Он трактовал о Чимабуэ, Арпино, Карпаччо и Агостино; о мрачности Караваджо, о приятности Альбано, о колорите Тициана, о женщинах Рубенса и об озорстве Яна Стеена.

Присутствовал президент Бели-Бердского Университета. Он держался того мнения, что луну во Фракии называли Бендидой, в Египте — Бубастидой, в Риме — Дианой, а в Греции — Артемидой.

¹ Изысканные люди (*фр.*).

² Французские названия различных блюд.

Присутствовал паша из Стамбула. Он не мог не думать, что у ангелов обличье лошадей, петухов и быков; что у кого-то в шестой небесной сфере семьдесят тысяч голов; и что земля покоится на голубой корове, у которой неисчислимое множество зеленых рогов.

Присутствовал Дельфинус Полиглот. Он сообщил нам, куда девались не дошедшие до нас восемьдесят три трагедии Эсхила; пятьдесят четыре ораторских опыта Исея; триста девяносто одна речь Лисия; сто восемьдесят трактатов Феофраста; восьмая книга Аполлония о сечениях конуса; гимны и дифирамбы Пиндара и тридцать пять трагедий Гомера Младшего.

Присутствовал Майкл Мак-Минерал. Он осведомил нас о внутренних огнях и третичных образованиях; о веществах газообразных, жидких и твердых; о кварцах и мергелях; о сланце и турмалине; о гипсе и траппе; о тальке и кальции; о цинковой обманке и роговой обманке; о слюде и шифере; о цианите и лепидолите; о гематите и тремолите; об антимонии и халцедоне; о марганце и о чем вам угодно.

Присутствовал я. Я говорил о себе, о себе, о себе, о себе; о носологии, о моей брошюре и о себе. Я задрал мой нос и я говорил о себе.

— Поразительно умен! — сказал принц.

— Великолепен! — сказали его гости; и на следующее утро ее светлость герцогиня Шут-Дери нанесла мне визит.

— Ты пойдешь к Элмаку, красавчик? — спросила она, похлопывая меня под подбородком.

— Даю честное слово, — сказал я.

— Вместе с носом? — спросила она.

— Клянусь честью, — отвечал я.

— Так вот тебе, жизненочек, моя визитная карточка. Могу я сказать, что ты хочешь туда пойти?

— Всем сердцем, дорогая герцогиня.

— Фи, нет! — но всем ли носом?

— Без остатка, любовь моя, — сказал я; после чего дернул носом раз-другой и очутился у Элмака.

Там была такая давка, что стояла невыносимая духота.

— Он идет! — сказал кто-то на лестнице.

— Он идет! — сказал кто-то выше.

— Он идет! — сказал кто-то еще выше.

— Он пришел! — воскликнула герцогиня. — Пришел, голубчик мой! — и, крепко схватив меня за обе руки, троекратно поцеловала в нос. Это произвело немедленную сенсацию.

— Diavolo!¹ — вскричал граф Козероугги.

— Dios guarda!² — пробормотал дон Стилетто.

— Mille tonnerres!³ — возопил принц де Ля Гуш.

— Tausend Teufel!⁴ — проворчал курфюрст Крофшатцкий.

Этого нельзя было снести. Я разгневался. Я резко повернулся к курфюрсту.

— Милсдарь,— сказал я ему,— вы скотина.

— Милсдарь,— ответил он после паузы.— Donner und Blitzen!⁵

Большого нельзя было и желать. Мы обменялись визитными карточками. На другое утро, под Чок-Фарм, я отстрелил ему нос — и поехал по друзьям.

— Bete!⁶ — сказал один.

— Дурак! — сказал второй.

— Болван! — сказал третий.

— Осел! — сказал четвертый.

— Кретин! — сказал пятый.

— Идиот! — сказал шестой.

— Убирайся! — сказал седьмой.

Я был убит подобным приемом и поехал к отцу.

— Батюшка,— спросил я,— какова главная цель моего существования?

— Сын мой,— отвечал он,— это все еще занятия носологией, но, попав в нос курфюрсту, ты перестарался и допустил перелет. У тебя превосходный нос, это так — но у курфюрста Крофшатцкого теперь вообще никакого нет. Ты проклят, а он стал героем дня. Согласен, что в Бели-Берде слава прямо пропорциональна величине носа, но — Боже! — никто не посмеет состязаться со знаменитостью, у которой носа вообще нет.

¹ Дьявол! (ит.)

² Боже сохрани! (ит.)

³ Тысяча громов! (фр.)

⁴ Тысяча чертей! (нем.)

⁵ Гром и молнии! (нем.)

⁶ Дурак! (фр.)



ГОРОД НА МОРЕ

Здесь Смерть себе воздвигла трон,
Здесь город, призрачный, как сон,
Стоит в уединеньи странном,
Вдали на Западе туманном,
Где добрый, злой, и лучший, и злодей
Прияли сон — забвение страстей.
Здесь храмы и дворцы и башни,
Изъеденные силой дней,
В своей неподвижности всегдашней,
В нагроможденности теней,
Ничем на наши не похожи.
Кругом, где ветер не дохнет,
В своем невозмутимом ложе,
Застыла гладь угрюмых вод.

Над этим городом печальным,
В ночь безысходную его,
Не вспыхнет луч на Небе дальном.
Лишь с моря, тускло и мертво,
Вдоль башен бледный свет струится,
Меж капищ, меж дворцов змеится.
Вдоль стен, пронзивших небосклон,
Бегущих в высь, как Вавилон,
Среди изваянных беседок,
Среди растений из камней,
Среди видений бывших дней,
Совсем забытых напоследок,
Средь полных смутной мглой беседок,
Где сетью мраморной горят
Фиалки, плющ и виноград.

Не отражая небосвод,
Застыла гладь угрюмых вод
И тени башен пали вниз,
И тени с башнями слились,
Как будто вдруг, и те, и те,
Они повисли в пустоте.
Меж тем как с башни — мрачный вид! —
Смерть исполинская глядит.

Зияет сумрак смутных снов
Разверстых капищ и гробов,
С горящей, в уровень, водой;
Но блеск убранства золотой
На опочивших мертвецах,
И бриллианты, что звездой
Горят у идолов в глазах,
Не могут выманить волны
Из этой водной тишины.
Хотя бы только зыбь прошла
По гладкой плоскости стекла,
Хотя бы ветер чуть дохнул
И дрожью влагу шевельнул.
Но нет намека, что вдали,
Там где-то дышат корабли,
Намека нет на зыбь морей,
Не страшных ясностью своей.

Но чу! Возникла дрожь в волне!
Пронесся ропот в вышине!
Как будто башни, вдруг осев,
Разъяли в море сонный зев,—
Как будто их верхи, впотьмах,
Пробел родили в Небесах.
Краснее зыбь морских валов,
Слабей дыхание Часов.
И в час, когда, стена в волне,
Сойдет тот город к глубине,
Прияв его в свою тюрьму,
Восстанет Ад, качая тьму,
И весь поклонится ему.

СПЯЩАЯ

В Июне, в полночь, в мгле сквозной,
Я был под странною луной.
Пар усыпительный, росистый,
Дышал от чаши золотистой,
За каплей капля, шел в простор,
На высоту спокойных гор,
Скользил, как музыка без слова,
В глубины дола мирового.

Спит на могиле розмарин,
Спит лилия речных глубин;
Ночной туман прильнул к руине;
И глянь! там озеро в ложбине,
Как бы сознательно дремля,
Заснуло, спит. Вся спит земля.
Спит Красота! — С дремотой слита
(Ее окно в простор открыто)
Ирэна, с нею Судеб свита.

О, неги дочь! тут как помочь?
Зачем окно открыто в ночь?
Здесь ветерки, с вершин древесных,
О чарах шепчут неизвестных —
Волшебный строй, бесплотный рой,
Скользит по комнате ночной,
Волнуя занавес красиво —
И страшно так — и прихотливо —
Над сжатой бахромой ресниц,
Что над душой склонились ниц,
А на стенах, как ряд видений,
Трепещут занавеса тени.

Тебя тревоги не гнетут?
О чем и как ты гредишь тут?
Побыв за дальними морями,
Ты здесь, среди дерев, с цветами.
Ты странной бледности полна.
Наряд твой странен. Ты одна.

Странней всего, превыше грез,
Длина твоих густых волос.
И все объято тишиною
Под той торжественной луною.

Спит красота! На долгий срок
Пусть будет сон ее глубок!
Молю я Бога, что над нами,
Да с нераскрытыми очами,
Она здесь вековечно спит,
Меж тем как рой теней скользит,
И духи в саванах из дыма
Идут, дрожа, проходят мимо.

Любовь моя, ты спишь. Усни
На долги дни, на вечны дни!
Пусть мягко червь мелькнет в тени!
В лесу, в той чаще темноокой,
Пусть свод раскроется высокий,
Он много раз здесь был открыт,
Принять родных ее меж плит —
Да дремлет там в глуши пустынной,
Да примет склеп ее старинный,
Чью столь узорчатую дверь
Не потревожит уж теперь —
Куда не раз, рукой ребенка,
Бросала камни — камень звонко,
Сбегая вниз, металл будил,
И долгий отклик находил,
Как будто там, в смертельной дали,
Скорбя, усопшие рыдали.

ДОЛИНА ТРЕВОГИ

Когда-то здесь был ясный дол,
Откуда весь народ ушел.
Он удалился на войну
И поручил свою страну
Вниманью звезд сторожевых,

Чтоб ночью, с башен голубых,
С своей лазурной высоты,
Они глядели на цветы,
Среди которых целый день
Сверкала, медля, светотень,
Теперь же кто бы ни пришел,
Увидит, как тревожен дол.
Нет без движенья ничего,
За исключением одного:
Лишь ветры дремлют пеленой
Над зачарованной страной.
Не ветром движутся стволы,
Что полны зыбью, как валы
Вокруг Гебридских островов.
И не движением ветров
Гонимы тучи здесь и там,
По беспокойным Небесам.
С утра до вечера, как дым,
Несутся с шорохом глухим,
Над тьмой фиалок роковых,
Что смотрят сонмом глаз людских,
Над снегом лилий, что, как сон,
Хранят могилы без имен,
Хранят, и взор свой не смежат,
И вечно плачут и дрожат.
С их ароматного цветка
Бежит роса, бежит века,
И слезы с тонких их стеблей —
Как дождь сверкающих камней.

К ОДНОЙ ИЗ ТЕХ, КОТОРАЯ В РАЮ

В тебе я видел счастье
Во всех моих скорбях,
Как луч среди ненастья,
Как остров на волнах,
Цветы, любовь, участие
Цвели в твоих глазах.

Тот сон был слишком нежен,
И я расстался с ним.
И черный мрак безбрежен.
Мне шепчут Дни: «Спешим!»
Но дух мой безнадежен,
Безмолвен, недвижим.

О, как туманна бездна
Навек погибших дней!
И дух мой бесполезно
Лежит, дрожит над ней,
Лазурь небес беззвездна,
И нет, и нет огней.

Сады надежд безмолвны,
Им больше не цвести,
Печально плещут волны
«Прости — прости — прости»,
Сады надежд безмолвны,
Мне некуда идти.

И дни мои — томленье,
И ночью все мечты
Из тьмы уединенья
Спешат туда, где — ты,
Воздушное виденье
Нездешней красоты!

* * *

Один прохожу я свой путь безутешный,
В душе нарастает печаль;
Бегу, убегаю, в тревоге поспешной,
И нет ни цветка на дороге, ведущей в угрюмую даль.
Повсюду мученья;
В суровой пустыне, где дико кругом,
Одно утешенье,
Мечта о тебе, мое счастье, мне светит нетленным лучом.

Мне снятся волшебные сны — о тебе.
Не так ли в пучине безвестной,
Над морем возносится остров чудесный,
Бушуют свирепые волны, кипят в неустанной борьбе.
Но остров не внемлет,
И будто не видит, что дико кругом,
И ласково дремлет,
И солнце его из-за тучи целует дрожащим лучом.

ЧЕРВЬ-ПОБЕДИТЕЛЬ

Во тьме безутешной — блистающий праздник,
Огнями волшебный театр озарен;
Сидят серафимы, в покровах, и плачут,
И каждый печалью глубокой смущен.
Трепещут крылами и смотрят на сцену,
Надежда и ужас проходят, как сон;
И звуки оркестра в тревоге вздыхают,
Заоблачной музыки слышится стон.

Имея подобие Господа Бога,
Снуют скоморохи туда и сюда;
Ничтожные куклы, приходят, уходят,
О чем-то бормочут, ворчат иногда.
Над ними нависли огромные тени,
Со сцены они не уйдут никуда,
И крыльями Кондора веют бесшумно,
С тех крыльев незримо слетает — Беда!

Мишурные лица! — Но знаешь, ты знаешь,
Причудливой пьесе забвения нет.
Безумцы за Призраком гонятся жадно,
Но Призрак скользит, как блуждающий свет.
Бежит он по кругу, чтоб снова вернуться
В исходную точку, в святилище бед;
И много Безумия в драме ужасной,
И Грех в ней завязка, и Счастья в ней нет.

Но что это там? Между гаэров пестрых
Какая-то красная форма ползет,
Оттуда, где сцена окутана мраком!
То червь, — скоморохам он гибель несет.
Он корчится! — корчится! — гнусною пастью
Испуганных гаэров алчно грызет,
И ангелы стонут, и червь искаженный
Багряную кровь ненасытно сосет.

Потухли огни, догорело сиянье!
Над каждой фигурой, дрожащей, немой,
Как саван зловещий, крутится завеса,
И падает вниз, как порыв грозовой —
И ангелы, с мест поднимаясь, бледнеют,
Они утверждают, объятые тьмой,
Что эта трагедия Жизнью зовется,
Что Червь-Победитель — той драмы герой!

ЗАКОЛДОВАННЫЙ ЗАМОК

В самой зеленой из наших долин,
Где обиталище духов добра,
Некогда замок стоял властелин,
Кажется, высился только вчера.
Там он вздымался, где Ум молодой
Был самодержцем своим.
Нет, никогда над такой красотой
Не раскрывал своих крыл Серафим!

Бились знамена, горя, как огни,
Как золотое сверкая руно.
(Все это было — в минувшие дни,
Все это было давно.)
Полный воздушных своих перемен,
В нежном сиянии дня,
Ветер душистый вдоль призрачных стен
Вился, крылатый, чуть слышно звеня.

Путники, странствуя в области той,
Видели в два огневые окна
Духов, идущих певучей четой,
Духов, которым звучала струна,
Вкруг того трона, где высился он,
Багрянородный герой,
Славой, достойной его, окружен,
Царь над волшебною этой страной.

Вся в жемчугах и рубинах была
Пышная дверь золотого дворца,
В дверь все плыла и плыла, и плыла,
Искрясь, горя без конца,
Армия Откликов, долг чей святой
Был только — славить его,
Петь, с поражающей слух красотой,
Мудрость и силу царя своего.

Но злые созданья, в одеждах печали,
Напали на дивную область царя.
(О, плачьте, о, плачьте! Над тем, кто в опале,
Ни завтра, ни после не вспыхнет заря!)
И вкруг его дома та слава, что прежде
Жила и цвела в обаяньи лучей,
Живет лишь как стон панихиды надежде,
Как память едва вспоминаемых дней.

И путники видят, в том крае туманном,
Сквозь окна, залитые красною мглой,
Огромные формы, в движении странном,
Диктуемом дико звучащей струной.
Меж тем как, противные, быстрой рекою,
Сквозь бледную дверь, за которой Беда,
Выносятся тени и шумной толпою,
Забывши улыбку, хохочут всегда.

СТРАНА СНОВ

Дорогой темной, нелюдимой,
Лишь злыми духами хранимой,
Где некий черный трон стоит,
Где некий Идол, Ночь царит,
До этих мест, в недавний миг,
Из крайней Фуле я достиг,

Из той страны, где вечно сны, где чар высоких постоянство,
Вне Времени — и вне Пространства.

Бездонные долины, безбрежные потоки,
Провалы и пещеры, Гигантские леса,
Их сумрачные формы — как смутные намеки,
Никто не различит их, на всем дрожит роса.
Возвышенные горы, стремящиеся вечно
Обрушиться, сквозь воздух, в моря без берегов,
Течения морские, что жаждут бесконечно
Взметнуться ввысь, к пожару горящих облаков.
Озера, беспредельность просторов полноводных,
Немая бесконечность пустынных мертвых вод,
Затишье вод пустынных, безмолвных и холодных,
Со снегом спящих лилий, сомкнутых в хоровод.
Близ озерных затонов, меж далей полноводных,
Близ этих одиноких печальных мертвых вод,
Близ этих вод пустынных, печальных и холодных,
Со снегом спящих лилий, сомкнутых в хоровод,—
Близ гор,— близ рек, что вьются, как водные аллеи,
И ропщут еле слышно, журчат — журчат всегда,—
Вблизи седого леса,— вблизи болот, где змеи,
Где только змеи, жабы, да ржавая вода,—
Вблизи прудков зловещих и темных ям с водою,
Где притаились Ведьмы, что возлюбили мглу,—
Вблизи всех мест проклятых, насыщенных бедою,
О, в самом нечестивом и горестном углу,—
Там путник, ужаснувшись, встречает пред собою
Закутанные в саван видения теней,
Встающие внезапно воздушною толпою,
Воспоминанья бывших невозвратимых Дней.
Все в белое одеты, они проходят мимо,

И вздрогнут и, вздохнувши, спешат к седым лесам,
Виденья отошедших, что стали тенью дыма,
И преданы, с рыданьем, Земле — и Небесам.

Для сердца, чьи страданья — столикая громада,
Для духа, что печалью и мглою окружен,
Здесь тихая обитель, — услада, — Эльдorado, —
Лишь здесь изнеможенный с собою примирен.
Но путник, проходящий по этим дивным странам,
Не может — и не смеет открыто видеть их,
Их таинства навеки окутаны туманом,
Они полусокрыты от слабых глаз людских.
Так хочет их Властитель, навеки возбранивший
Приоткрывать ресницы и поднимать чело,
И каждый дух печальный, в пределы их вступивший,
Их может только видеть сквозь дымное стекло.

Дорогой темной, нелюдимой,
Лишь злыми духами хранимой,
Где некий черный трон стоит,
Где некий Идол, Ночь царит,
Из крайних мест, в недавний миг,
Я дома своего достиг.

ВОРОН

Как-то в полночь, в час угрюмый, полный тягостною думой,
Над старинными томами я склонялся в полусне,
Грезам странным отдавался, вдруг неясный звук раздался,
Будто кто-то постучался — постучался в дверь ко мне.
«Это верно», прошептал я, «гость в полночной тишине,
Гость стучится в дверь ко мне».

Ясно помню... Ожиданья... Поздней осени рыданья...
И в камине очертанья тускло тлеющих углей....
О, как жаждал я рассвета! Как я тщетно ждал ответа
На страданье, без привета, на вопрос о ней, о ней,
О Леноре, что блистала ярче всех земных огней,
О светилах прежних дней.

И завес пурпурных трепет издавал как будто лепет,
Трепет, лепет, наполнявший темным чувством сердце мне.
Непонятный страх смиряя, встал я с места, повторяя:
«Это только гость, блуждая, постучался в дверь ко мне,
Поздний гость приюта просит в полуночной тишине,—
Гость стучится в дверь ко мне».

Подавив свои сомненья, победивши опасенья,
Я сказал: «Не осудите замедленья моего!
Этой полночью ненастной я вздремнул, и стук неясный
Слишком тих был, стук неясный,— и не слышал я его,
Я не слышал» — тут раскрыл я дверь жилища моего;—
Тьма, и больше ничего.

Взор застыл, во тьме стесненный, и стоял я изумленный,
Снам отдавшись, недоступным на земле ни для кого;
Но как прежде ночь молчала, тьма душе не отвечала,
Лишь — «Ленора!» — прозвучало имя солнца моего,—
Это я шепнул, и эхо повторило вновь его,
Эхо, больше ничего.

Вновь я в комнату вернулся — обернулся — содрогнулся,—
Стук раздался, но слышнее, чем звучал он до того.
«Верно, что-нибудь сломилось, что-нибудь пошевелилось,
Там за ставнями забилося у окошка моего,
Это ветер, усмирю я трепет сердца моего,—
Ветер, больше ничего».

Я толкнул окно с решеткой,— тотчас важною походкой
Из-за ставней вышел Ворон, гордый Ворон старых дней,
Не склонился он учтиво, но, как лорд, вошел спесиво,
И, взмахнув крылом лениво, в пышной важности своей,
Он взлетел на бюст Паллады, что над дверью был моей,
Он взлетел — и сел над ней.

От печали я очнулся и невольно усмехнулся,
Видя важность этой птицы, жившей долгие года.
«Твой хохол оципан славно, и глядишь ты презабавно»,—
Я промолвил,— «но скажи мне: в царстве тьмы, где Ночь всегда,
Как ты звался, гордый Ворон, там, где Ночь царит всегда?»
Молвил Ворон: «Никогда».

Птица ясно отвечала, и хоть смысла было мало,
Подивился я всем сердцем на ответ ее тогда.
Да и кто не подивится, кто с такой мечтой сроднится,
Кто поверить согласится, чтобы где-нибудь когда —
Сел над дверью — говорящий без запинки, без труда —
Ворон с кличкой: «Никогда».

И, взирая так сурово, лишь одно твердил он слово,
Точно всю он душу вылил в этом слове «Никогда»,
И крылами не взмахнул он, и пером не шевельнул он,
Я шепнул: «Друзья сокрылись вот уж многие года,
Завтра он меня покинет, как Надежды, навсегда».
Ворон молвил: «Никогда».

Услыхав ответ удачный, вздрогнул я в тревоге мрачной,
«Верно, был он», я подумал, «у того, чья жизнь — Беда,
У страдальца, чьи мученья возрастали, как теченье
Рек весной, чье отречение от Надежды навсегда
В песне вылилось — о счастье, что, погибнув навсегда,
Вновь не вспыхнет никогда» —

Но, от скорби отдыхая, улыбаясь и вздыхая,
Кресло я свое придвинул против Ворона тогда,
И, склонясь на бархат нежный, я фантазии безбрежной
Отдался душой мятежной: «Это — Ворон, Ворон, да.
Но о чем твердит зловецкий этим черным «Никогда»,
Страшным криком «Никогда».

Я сидел, догадок полный и задумчиво-безмолвный,
Взоры птицы жгли мне сердце, как огнистая звезда,
И с печалью запоздалой, головой своей усталой,
Я прильнул к подушке алой, и подумал я тогда:
Я один, на бархат алый та, кого любил всегда,
Не прильнет уж никогда.

Но, постой, вокруг темнеет, и как будто кто-то веет,
То с камильницей небесной Серафим пришел сюда?
В миг неясный упоенья я вскричал: «Прости, мученье!
Это Бог послал забвенье о Леноре навсегда,
Пей, о, пей скорей забвенье о Леноре навсегда!»
Каркнул Ворон: «Никогда».

И вскричал я в скорби страстной: «Птица ты, иль дух
ужасный,
Искусителем ли послан, иль грозой прибит сюда,—
Ты пророк неустрашимый! В край печальный, нелюдимый,
В край, Тоскою одержимый, ты пришел ко мне сюда!
О, скажи, найду ль забвенье, я молю, скажи, когда?»
Каркнул Ворон: «Никогда».

«Ты пророк», вскричал я, «вещий! Птица ты иль дух,
зловещий,
Этим Небом, что над нами — Богом, скрытым навсегда —
Заклинаю, умоляя, мне сказать,— в пределах Рая
Мне откроется ль святая, что средь ангелов всегда,
Та, которую Ленорой в небесах зовут всегда?»
Каркнул Ворон: «Никогда».

И воскликнул я, вставая: «Прочь отсюда, птица злая!
Ты из царства тьмы и бури,— уходи опять туда,
Не хочу я лжи позорной, лжи, как эти перья, черной,
Удались же, дух упорный! Быть хочу — один всегда!
Вынь свой жесткий клюв из сердца моего, где скорбь —
всегда!»
Каркнул Ворон: «Никогда».

И сидит, сидит зловещий, Ворон черный, Ворон вещий,
С бюста бледного Паллады не умчится никуда,
Он глядит, уединенный, точно Демон полусонный,
Свет струится, тень ложится, на полу дрожит всегда,
И душа моя из тени, что волнуется всегда,
Не восстанет — никогда!

* * *

Из всех, кому тебя увидеть — утро,
Из всех, кому тебя не видеть — ночь,
Полнейшее исчезновенье солнца,
Изъятого из высоты Небес,—
Из всех, кто ежечасно, со слезами,
Тебя благословляет за надежду,

За жизнь, за то, что более, чем жизнь,
За возрожденье веры схороненной,
Доверья к Правде, веры в Человечность,—
Из всех, что, умирая, прилегли
На жесткий одр Отчаянья немого
И вдруг вскочили, голос твой услышав,
Призывно-нежный зов: «Да будет свет!»,—
Призывно-нежный голос, воплощенный
В твоих глазах, о, светлый серафим,—
Из всех, кто пред тобою так обязан,
Что молятся они, благодаря,—
О, вспомяни того, кто всех вернее,
Кто полон самой пламенной мольбой,
Подумай сердцем, это он взывает
И, создавая беглость этих строк,
Трепещет, сознавая, что душою
Он с ангелом небесным говорит.

УЛЯЛИОМ

Небеса были серого цвета,
Были сухи и скорбны листы,
Были сжаты и смяты листы.
За огнем отгоревшего лета
Ночь пришла, сон глухой черноты,
Близь туманного озера Обер,
Там, где сходятся ведьмы на пир,
Где лесной заколдованный мир,
Возле дымного озера Обер,
В зачарованной области Вир.

Там однажды, в аллее Титанов,
Я с моею Душою блуждал,
Я с Психеей, с Душою блуждал.
В эти дни трепетанья вулканов
Я сердечным огнем побеждал,
Я спешил, я горел, я блистал; —
Точно серные токи на Яник,
Бороздящие горный оплот,

Возле полюса, токи, что Яник
Покидают, струясь от высот.

Мы менялися лаской привета,
Но в глазах затаилася мгла,
Наша память неверной была,
Мы забыли, что умерло лето,
Что Октябрьская полночь пришла,
Мы забыли, что осень пришла,
И не вспомнили озеро Обер,
Где открылся нам некогда мир,
Это дымное озеро Обер,
И излюбленный ведьмами Вир.

Но когда уже ночь постарела,
И на звездных небесных часах
Был намек на рассвет в небесах,—
Что-то облачным сном забелело
Перед нами, в неясных лучах,
И внезапно предстал серебристый
Полумесяц, двурогой чертой,
Полумесяц Астарты лучистый,
Очевидный двойной красотой.

Я промолвил: «Астарта нежнее
И теплей, чем Диана, она —
В царстве вздохов, и вздохов полна:
Увидав, что, в тоске не слабея,
Здесь душа затомила одна,—
Чрез созвездие Льва проникая,
Показала она в облаках
Путь к забвенной тиши в небесах,
И чело перед Львом не склоняя.
С нежной лаской в горящих глазах,
Над берлогою Льва возникая,
Засветилась для нас в небесах».

Но Психея, свой перст поднимая,
«Я не верю», промолвила. «в сны
Этой бледной богини Весны.

О, не медли, — в ней бледность больная!
О, бежим! Поспешим! Мы должны!»
И в испуге, в истоме бессилья,
Не хотела, чтоб дальше мы шли,
И ее ослабевшие крылья
Опускались до самой земли, —
И влачили — влачились в пыли.

Я ответил: «То страх лишь напрасный,
Устремимся на трепетный свет,
В нем кристальность, обмана в нем нет,
Сибиллически — ярко — прекрасный,
В нем Надежды манящий привет,
Он сквозь ночь нам роняет свой след.
О, уверуем в это сиянье,
Так зовет оно вкрадчиво к снам,
Так правдивы его обещанья
Быть звездой путеводною нам,
Быть призывом, сквозь ночь, к Небесам!»

Так ласкал, утешал я Психею
Толкованием звездных судеб,
Зоркий страх в ней утих и ослеп.
И прошли до конца мы аллею,
И внезапно увидели склеп,
С круговым начертанием склеп.
«Что гласит эта надпись?» — сказал я,
И, как ветра осеннего шум,
Этот вздох, этот стон услышал я:
«Ты не знал? Улялюм — Улялюм —
Здесь могила твоей Улялюм».

И сраженный словами ответа,
Задрожав, как на ветке листы,
Как сухие под ветром листы,
Я вскричал: «Значит, умерло лето,
Это осень и сон черноты,
Небеса потемневшего цвета.
Ровно — год, как на кладбище лета
Я здесь ночью Октябрьской блуждал,

Я здесь с ношею мертвой блуждал.
Эта ночь была ночь без просвета,
Самый год в эту ночь умирал,—
Что за демон сюда нас зазвал?
О, я знаю теперь, это — Обер,
О, я знаю теперь, это — Вир,
Это — дымное озеро Обер
И излюбленный ведьмами Вир».

К ЕЛЕНЕ

Тебя я видел раз, один лишь раз.
Ушли года с тех пор, не знаю, сколько,—
Мне чудится, прошло немного лет.
То было знойной полночью Июля;
Зажглась в лазури полная луна,
С твоей душою странно сочетаюсь,
Она хотела быть на высоте
И быстро шла своим путем небесным;
И вместе с негой сладостной дремоты
Упал на землю ласковый покров
Ее лучей серебристо-шелковистых,—
Прильнул к устам полураскрытых роз.
И замер сад. И ветер шаловливый,
Боясь движеньем чары возмутить,
На цыпочках чуть слышно пробирался.
Покров лучей серебристо-шелковистых
Прильнул к устам полураскрытых роз,
И умерли в изнеможеньи розы,
Их души отлетели к небесам,
Благоуханьем легким и воздушным;
В себя впивая лунный поцелуй,
С улыбкой счастья розы умирали,—
И очарован был цветущий сад —
Тобой, твоим присутствием чудесным.

Вся в белом, на скамью полусклонясь,
Сидела ты, задумчиво-печальна,
И на твое открытое лицо

Ложился лунный свет, больной и бледный.
Меня Судьба в ту ночь остановила,
(Судьба, чье имя также значит Скорбь),
Она внушила мне взглянуть, помедлить,
Вдохнуть в себя волнение спящих роз.
И не было ни звука, мир забылся,
Людской враждебный мир,— лишь я и ты,—
(Двух этих слов так сладко сочетанье!).
Не спали — я и ты. Я ждал — я медлил —
И в миг один исчезло все кругом.
(Не забудь, что сад был зачарован!).
И вот угас жемчужный свет луны,
И не было извилистых тропинок,
Ни дерна, ни деревьев, ни цветов,
И умер самый запах роз душистых
В объятиях любовных ветерка.
Все — все угасло — только ты осталась —
Не ты — но только блеск лучистых глаз,
Огонь души в твоих глазах блестящих.
Я видел только их — и в них свой мир —
Я видел только их — часы бежали —
Я видел блеск очей, смотревших ввысь.
О, сколько в них легенд запечатлелось,
В небесных сферах, полных дивных чар!
Какая скорбь! какое благородство!
Какой простор возвышенных надежд,
Какое море гордости отважной —
И глубина способности любить!

Но час настал — и бледная Диана,
Уйдя на запад, скрылась в облаках,
В себе таивших гром и сумрак бури;
И, призраком, ты скрылась в полутьме,
Среди дерев, казавшихся гробами,
Скользнула и растаяла. Ушла.
Но блеск твоих очей со мной остался.
Он не хотел уйти — и не уйдет.
И пусть меня покинули надежды,—
Твои глаза светили мне во мгле,
Когда в ту ночь домой я возвращался,

Твои глаза блистают мне с тех пор
Сквозь мрак тяжелых лет и зажигают
В моей душе светильник чистых дум,
Неугасимый светоч благородства,
И, наполняя дух мой Красотой,
Они горят на Небе недоступном;
Коленопреклоненный, я молюсь,
В безмолвии ночей моих печальных,
Им — только им — и в самом блеске дня
Я вижу их, они не угасают:
Две нежные лучистые денницы —
Две чистые вечерние звезды.

АННАБЕЛЬ-ЛИ

Это было давно, это было давно,
В королевстве приморской земли:
Там жила и цвела та, что звалась всегда,
Называлась Аннабель-Ли,
Я любил, был любим, мы любили вдвоем,
Только этим мы жить и могли.

И, любовью дыша, были оба детьми
В королевстве приморской земли.
Но любили мы больше, чем любят в любви,—
Я и нежная Аннабель-Ли,
И, взирая на нас, серафимы небес
Той любви нам простить не могли.

Оттого и случилось когда-то давно,
В королевстве приморской земли,—
С неба ветер повеял холодный из туч,
Он повеял на Аннабель-Ли;
И родные толпой многозатной сошлись
И ее от меня унесли,
Чтоб навеки ее положить в саркофаг,
В королевстве приморской земли.

Половины такого блаженства узнать
Серафимы в раю не могли,—
Оттого и случилось (как ведомо всем
В королевстве приморской земли),—
Ветер ночью повеял холодный из туч
И убил мою Аннабель-Ли.

Но, любя, мы любили сильнее и полней
Тех, что старости бремя несли,—
Тех, что мудростью нас превзошли,—
И ни ангелы неба, ни демоны тьмы
Разлучить никогда не могли,
Не могли разлучить мою душу с душой
Обольстительной Аннабель-Ли.

И всегда луч луны навевает мне сны
О пленительной Аннабель-Ли:
И зажжется ль звезда, вижу очи всегда
Обольстительной Аннабель-Ли;
И в мерцаньи ночей я все с ней, я все с ней,
С незабвенной — с невестой — с любовью моей —
Рядом с ней распростерт я вдали,
В саркофаге приморской земли.

КОЛОКОЛЬЧИКИ И КОЛОКОЛА

I

Слышишь, сани мчатся в ряд,
Мчатся в ряд!
Колокольчики звенят,
Серебристым легким звоном слух наш сладостно томят,
Этим пеньем и гуденьем о забвеньи говорят.
О, как звонко, звонко, звонко,
Точно звучный смех ребенка,
В неясном воздухе ночном
Говорят они о том,
Что за днями заблужденья
Наступает возрожденье,

Что волшебнo наслажденье — наслажденье нежным сном.
Сани мчатся, мчатся в ряд,
Колокольчики звенят,
Звезды слушают, как сани, убегая, говорят,
И, внимая им, горят,
И мечтая, и блистая, в небе духами парят;
И изменчивым сияньем
Молчаливым обаяньем,
Вместе с звоном, вместе с пеньем, о забвеньи говорят.

II

Слышишь к свадьбе звон святой,
Золотой!
Сколько нежного блаженства в этой песне молодой!
Сквозь спокойный воздух ночи
Словно смотрят чьи-то очи,
И блестят,
Из волны певучих звуков на луну они глядят.
Из призывных дивных келий,
Полны сказочных веселий,
Нарастая, упадая, брызги светлые летят.
Вновь потухнут, вновь блестят,
И роняют светлый взгляд
На грядущее, где дремлет безмятежность нежных снов,
Возвращаемых согласьем золотых колоколов!

III

Слышишь, воющий набат,
Точно стонет медный ад!
Эти звуки, в дикой муке, сказку ужасов твердят.
Точно молят им помочь,
Крик кидают прямо в ночь,
Прямо в уши темной ночи
Каждый звук,
То длиннее, то короче,
Выкликает свой испуг,—
И испуг их так велик,
Так безумен каждый крик,

Что разорванные звоны, неспособные звучать,
Могут только биться, виться, и кричать, кричать, кричать!

Только плакать о пощаде,
И к пылающей громаде
Вопли скорби обращать!
А меж тем огонь безумный,
И глухой и многошумный,
Все горит,
То из окон, то по крыше,
Мчится выше, выше, выше,
И как будто говорит:

Я хочу

Выше мчаться, разгораться, встречу лунному лучу,
Иль умру, иль тотчас-тотчас вплоть до месяца взлечу!

О, набат, набат, набат,
Если б ты вернул назад

Этот ужас, это пламя, эту искру, этот взгляд,
Этот первый взгляд огня,

О котором ты вещаешь, с плачем, с воплем, и звеня!

А теперь нам нет спасенья,
Всюду пламя и кипенье,
Всюду страх и возмущенье!

Твой призыв,

Диких звуков несогласность
Возвещает нам опасность,

То растет беда глухая, то спадает, как прилив!

Слух наш чутко ловит волны в перемене звуковой,

Вновь спадает, вновь рыдает медно-стонущий прибой!

IV

Похоронный слышен звон,

Долгий звон!

Горькой скорби слышны звуки, горькой жизни кончен сон.

Звук железный возвещает о печали похорон!

И невольно мы дрожим,

От забав своих спешим

И рыдаем, вспоминаем, что и мы глаза смежим.

Неизменно-монотонный,

Этот возглас отдаленный,

Похоронный тяжкий звон,
Точно стон,
Скорбный, гневный,
И плачевный,
Вырастает в долгий гул,
Возвещает, что страдалец непробудным сном уснул.
В колокольных кельях ржавых,
Он для правых и неправых
Грозно вторит об одном:
Что на сердце будет камень, что глаза сомкнутся сном.
Факел траурный горит,
С колокольни кто-то крикнул, кто-то громко говорит,
Кто-то черный там стоит,
И хохочет, и гремит.
И гудит, гудит, гудит,
К колокольне припадает,
Гулкий колокол качает,
Гулкий колокол рыдает,
Стонет в воздухе немом
И протяжно возвещает о покое гробовом.

СОН ВО СНЕ

Пусть останется с тобой
Поцелуй прощальный мой!
От тебя я ухожу,
И тебе теперь скажу:
Не ошиблась ты в одном,—
Жизнь моя была лишь сном.
Но мечта, что сном жила,
Днем ли, ночью ли ушла,
Как виденье ли, как свет,
Что мне в том,— ее уж нет.
Все, что зрится, мнится мне,
Все есть только сон во сне.

Я стою на берегу,
Бурю взором стерегу.
И держу в руках своих

Горсть песчинок золотых.
Как они ласкают взгляд!
Как их мало! Как скользят
Все — меж пальцев — вниз, к волне,
К глубине — на горе мне!
Как их бег мне задержать,
Как сильнее руки сжать?
Сохранится ль хоть одна,
Или все возьмет волна?
Или то, что зримо мне,
Все, есть только сон во сне?

ЭЛЬДОРАДО

Между гор и долин
Едет рыцарь, один,
Никого ему в мире не надо.
Он все едет вперед,
Он все песню поет,
Он замыслил найти Эльдорадо.

Но в скитаньях — один,
Дожил он до седин,
И погасла былая отрада.
Ездил рыцарь везде,
Но не встретил нигде,
Не нашел он нигде Эльдорадо.

И когда он устал,
Пред скитальцем предстал
Странный призрак — и шепчет: «Что надо?»
Тотчас рыцарь ему:
«Расскажи, не пойму,
Укажи, где страна Эльдорадо?»

И ответила Тень:
«Где рождается день,
Лунных Гор где чуть зрима громада.
Через ад, через рай,
Все вперед поезжай,
Если хочешь найти Эльдорадо!»

ПРЕЖНЯЯ ЖИЗНЬ ПРЕДО МНОЙ...

К ***

Прежняя жизнь предо мной
Предстает,— что и верно,— мечтой;
Уж я не грежу бессонно
О жребии Наполеона,
Не ищу, озираясь окрест,
Судьбы в сочетании звезд.

Но, мой друг, для тебя, на прощанье,
Одно я сберег признание:
Были и есть существа,
О ком сознаю я едва,
Во сне предо мной прошли ли
Тени неведомой были.
Все ж навек мной утрачен покой, —
Днем ли,— во тьме ль ночной,—
Наяву ль,— в бреду ль,— все равно ведь;
Мне душу к скорби готовить!

Стою у бурных вод,
Кругом гроза растет;
Хранит моя рука
Горсть зернышек песка;
Как мало! как спешат
Меж пальцев все назад!

Надежды? Нет их, нет!
Блистательно, как свет
Зарниц, погасли вдруг...
Так мне пройти, мой друг!

Столь юным? — О, не верь!
Я — юн, но не теперь.
Все скажут: я — гордец.
Кто скажет так, тот — лжец!
И сердце от стыда
Стучит во мне, когда

Все то, чем я томим,
Клеймят клеймом таким!
Я — стоик? Нет! Тебе
Клянусь: и в злой судьбе
Восторг «страдать» — смешон!
Он — бледен, скуден — он!
Не ученик Зенона —
Я. Нет! — Но — выше стона!

СТРАНА ФЕЙ

Сядь, Изабель, сядь близ меня,
Где лунный луч скользит играя,
Волшебней и прекрасней дня.
Вот — твой наряд достоин рая!
Двухзвездьем глаз твоих я пьян!
Душе твой вздох как небо дан!
Тебе взвил кудри отблеск лунный,
Как ветерок цветы в июне.
Сядь здесь! — Кто нас привел к луне?
Иль, дорогая, мы — во сне?

Огромный был цветок в саду
(Для вас он роза), — на звезду
В созвездьи Пса похож; колеблем
Полночным ветром, дерзко стеблем
Меня хлестнул он, что есть сил,
Живому существу подобен,
Так, что, невольно гневно-зlobен,
Цветок надменный я сломил, —
Неблагодарности отмстил, —
И лепестки взвил ветер бурный,
Но в небе вдруг, в просвет лазурный,
Взошла из облаков луна,
Всегда гармонии полна.

Есть волшебство в луче том
(Ты поклялась мне в этом!)
Как фантастичен он, —

Спирален, удлинен;
Дробясь в ковре зеленом,
Он травы полнит звоном.
У нас все знать должны,
Что бледный луч луны,
Пройдя в щель занавески,
Рисуя арабески,
И в сердце темноты
Горя в любой пылинке,
Как в мошке, как в росинке,—
Сон счастья с высоты!

Когда ж наступит день?
Ночь, Изабель, и тень
Страшны, полны чудес,
И тучевидный лес,
Чьи формы брезжут странно
В слепых слезах тумана.
Бессмертных лун череда,—
Всегда, — всегда, — всегда, —
Меня мутно вид,
Ущерб на диск,— бежит,
Бежит,— улыбкой бледной
Свет звезд гася победно.

Одна по небосклону
Нисходит — на корону
Горы, к ее престолу
Центр клонит,— долу,— долу,—
Как будто в этот срок
Наш сон глубок — глубок!
Туман огромной сферы,
Как некий плащ без меры,
Спадает в глубь долин,—
На выступы руин,—
На скалы,— водопады,—
(Безмолвные каскады!) —
На странность слов, — о горе! —
На море, ах! на море!

ТАМЕРЛАН

Отец! Дай встретить час мой судный
Без утешений, без помех!
Я не считаю безрассудно,
Что власть земная спишет грех
Гордыни той, что слаще всех;
Нет времени на детский смех;
А ты зовешь надеждой пламя!
Ты прав, но боль желаний — с нами;
Надеяться — о Боже — в том
Пророческий источник ярок! —
Я не сочту тебя шутом,
Но этот дар — не твой подарок.

Ты постигаешь тайну духа
И от гордыни путь к стыду.
Тоскующее сердце глухо
К наследству славы и суду.
Триумф в отрепьях ореола
Над бриллиантами престола,
Награда ада! Боль и прах...
Не ад в меня вселяет страх.
Боль в сердце из-за первоцвета
И солнечных мгновений лета.
Минут минувших вечный глас,
Как вечный колокол, сейчас
Звучит заклатьем похорон,
Отходную пророчит звон.

Когда-то я не ведал трона,
И раскаленная корона
В крови ковалась и мученьях.
Но разве Цезарю не Рим
Дал то, что вырвал я в сраженьях?
И разум царственный, и годы,
И гордый дух — и мы царим
Над кроткостью людского рода.
Я рос в краю суровых гор:
Таглей, росой туманы сея,

Кропил мне голову. Взрослея,
Я понял, что крылатый спор
И буйство бури — не смирились,
А в волосах моих укрывлись.

Росы полночный водопад
(Так в полусне мне мнилось это),
Как будто осязал я ад,
Тогда казался вспышкой света,
Небесным полымем знамен,
Пока глаза туманил сон
Прекрасным призраком державы,
И трубный голос величаво
Долбил мне темя, воспевал
Людские битвы, где мой крик,
Мой глупый детский крик! — звучал
(О, как мой дух парил, велик,
Бил изнутри меня, как бич),
В том крике был победный клич!

Дождь голову мою студил,
А ветер не щадил лица,
Он превращал меня в слепца.
Но, знаю, человек сулил
Мне лавры; и в броске воды
Поток холодный, призрак битвы
Нашептывал мне час беды
И час пленения молитвы,
И шло притворство на поклон,
И лесть поддерживала трон.

С того мгновенья стали страсти
Жестокими, но судит всяк
С тех пор, как я добился власти,
Что это суть моя; пусть так;
Но до того, как этот мрак,
Но до того, как этот пламень,
С тех пор не гаснувший никак,
Меня не обратили в камень,
Жила в железном сердце страсть
И слабость женщины — не власть.

Увы, нет слов, чтобы возник
В словах любви моей родник!
Я не желаю суеты
При описанье красоты.
Нет, не черты лица — лишь тень,
Тень ветра в незабвенный день:
Так прежде, помнится, без сна,
Страницы я листал святые,
Но расплывались письма, —
Мелела писем глубина,
На дне — фантазии пустые.

Она любви достойна всей!
Любовь, как детство, — над гордыней.
Завидовали боги ей,
Она была моей святыней,
Моя надежда, разум мой,
Божественное озаренье,
По-детски чистый и прямой,
Как юность, щедрый — дар прозренья;
Так почему я призван тьмой —
Обратной стороной горенья.

Любили вместе и росли мы,
Бродили вместе по лесам;
И вместе мы встречали зимы;
И солнце улыбалось нам.
Мне открывали небеса
Ее бездонные глаза.

Сердца — любви ученики;
Ведь средь улыбок тех,
Когда все трудности легки
И безмятежен смех,
Прильну я к трепетной груди
И душу обнажу.
И страхи будут позади,
И все без слов скажу...
Она не спросит ни о чем,
Лишь взором тронет, как лучом.

Любви достоин дух, он в бой
Упрямо шел с самим собой,
Когда на круче, горд и мал,
Тщету тщеславия познал,
Была моею жизнью ты;
Весь мир — моря и небеса,
Его пустыни и цветы,
Его улыбка и слеза,
Его восторг, его недуг,
И снов бесцветных немота,
И жизни немота вокруг.
(И свет и тьма — одна тщета!)
Туман разняв на два крыла —
На имя и на облик твой,
Я знал, что ты была, была
Вдали и все-таки со мной.

Я был честолюбив. Укор
Услышу ль от тебя, отец?
Свою державу я простер
На полземли, но до сих пор
Мне тесен был судьбы венец.
Но, как в любой другой мечте,
Роса засохла от тепла.
В своей текучей красоте
Моя любимая ушла.
Минута, час иль день — вдвойне
Испепеляли разум мне.

Мы вместе шли — в руке рука,
Гора взирала свысока
Из башен вековых вокруг,
Но башни эти обветшали!
Шум обезличенных лачуг
Ручьи стогласо заглушали.

Я говорил о власти ей,
Но так, что власть казалась вздором
Во всей ничтожности своей
В сравненье с нашим разговором.

И я читал в ее глазах,
Возможно, чуточку небрежно —
Свои мечты, а на щеках
Ее румянец, вспыхнув нежно,
Мне пурпур царственный в веках
Сулил светло и неизбежно.

И я пригрезил облаченье,
Легко вообразил корону;
Не удивляясь волшебству
Той мантии, я наяву
Увидел раболепство черни,
Когда коленопреклоненно
Льва держат в страхе на цепи;
Не так в безлюдии, в степи,
Где заговор существованья
Огонь рождает от дыханья.

Вот Самарканд. Он, как светило,
Среди созвездья городов.
Она в душе моей царила,
Он — царь земли, царь судеб, снов.
И славы, возвещенной миру.
Так царствен он и одиноч.
Подножье трона, дань кумиру,
Твердыня истины — у ног.
Единственного Тамерлана,
Властителя людских сердец,
Поправшего чужие страны...
Я — в царственном венце — беглец.

Любовь! Ты нам дана, земная,
Как посвященье в тайны рая.
Ты в душу падаешь, жалея,
Как ливень после засухи,
Или, слабея каждый час,
В пустыне оставляешь нас.
Мысль! Жизни ты скрепляешь узы
С обычаями чуждой музыки
И красотой безумных сил.
Прощай! Я землю победил.

Когда Надежда, как орлица,
Вверху не разглядела скал,
Когда поникли крылья птицы,
А взор смягченный дом искал,—
То был закат; с предсмертной думой
И солнце шлет нам свет угрюмый.
Все те, кто знал, каким сияньем
Лучится летний исполин,
Поймут, как ненавистна мгла,
Хоть все оттенки собрала,
И темноты не примут (знаньем
Богаты души), как один,
Они бы вырвались из ночи;
Но мгла им застилает очи.

И все-таки луна, луна
Сияньем царственным полна,
Пусть холодна, но все же так
Она улыбку шлет во мрак
(Как нужен этот скорбный свет).
Посмертный нами взят портрет.
Уходит детство солнца вдаль,
Чья бледность, как сама печаль.
Все знаем, что мечтали знать,
Уходит все — не удержать;
Пусть жизнь уносит темнота,
Ведь сущность жизни — красота.

Пришел домой. Но был мой дом
Чужим, он стал давно таким.
Забвенье дверь покрыло мхом,
Но вслед чужим шагам моим
С порога голос прозвучал,
Который я когда-то знал.
Что ж, Ад! Я брошу вызов сам
Огням могильным, небесам,
На скромном сердце скорбь, как шрам.

Отец, я твердо верю в то,
Что смерть, идущая за мной

Из благостного далека,
Оттуда, где не лжет никто,
Не заперла ворот пока,
И проблеск правды неземной —
Над вечностью, над вечной тьмой.

Я верую, Иблис не мог
Вдоль человеческих дорог
Забуть расставить западни...
Я странствовал в былые дни,
Искал Любовь... Была она
Благоуханна и нежна
И ладаном окружена.
Но кров ее давно исчез,
Сожженный пламенем небес.

Ведь даже муха не могла
Избегнуть зорких глаз орла.
Яд честолюбия, сочась,
В наш кубок праздничный проник.
И в пропасть прыгнул я, смеясь,
И к волосам любви приник.

МЕЧТЫ

О, будь вся юность долгим сном одним,
Чтоб пробуждался дух, объятый им,
Лишь на рассвете вечности холодной;
Будь этот сон печален безысходно, —
И все ж удел подобный предпочтет
Безрадостной и косной яви тот,
Чье сердце предназначено с рожденья
Страстей глубоких испытать смятенье.
Но будет сходен сон такой иль нет
С фантазиями отроческих лет,
Когда бывают грезы столь прекрасны,
Что лучших небо ниспослать не властно?
Как часто ярким полднем в летний зной

Я, мысленно покинув дом родной,
Скитался по далеким чуждым странам,
Плыл к существам неведомым и странным,
Плодам воображенья моего...
Что мог еще желать я сверх того?
Лишь раз пора мечтаний нам дается,
Тоска ж по ней до смерти остается.
Уж не под властью ль тайных чар я жил?
Не ветер ли ночной в меня вложил
Свой образ и порывы? Не луна ли
Меня манила в ледяные дали?
Не к звездам ли с земли меня влекло?
Не знаю. Все, как вихрем, унесло.
Но хоть в мечтах, а счастлив был тогда я
И к ним пристрастье ввек не обуздаю.
Мечты! Без них была бы жизнь бледна.
В них, радужных, олицетворена
Та схватка яви с видимостью ложной,
Благодаря которой и возможно
В бреду познать любовь и рай полней,
Чем в самом цвете юных сил и дней.

ВЕЧЕРНЯЯ ЗВЕЗДА

Нахлынуло лето,
И звезды бледны,
И тают в полуночном
Блеске луны.
Планеты-рабыни
Подвластны луне,
И луч ее стынет
На белой волне.
Улыбалась луна,
Но казалась луна
Такой ледяной, ледяной.
И ползли с вышины,
Словно саван бледны,
Облака под холодной луной.

Но взор мой влекли,
Мерцая вдали,
Вечерней звезды лучи.
Тонкий свет еле тлел,
Но душу согрел
В холодной, лунной ночи,
И ловил я глазами
Далекое пламя,
А не блеск ледяной над волнами!

ОЗЕРО

Я часто на рассвете дней
Любил, скрываясь от людей,
В глухой забраться уголок,
Где был блаженно одинок
У озера, среди черных скал,
Где сосен строй кругом стоял.

Но лишь стелила полог свой
Ночь надо мной и над землей
И ветер веял меж дерев,
Шепча таинственный напев,
Как в темной сонной тишине,
Рождался странный страх во мне;
И этот страх мне сладок был —
То чувство я б не объяснил
Ни за сокровища морей,
Ни за любовь, что всех сильнее,—
Будь даже та любовь твоей.

Таилась смерть в глухой волне,
Ждала могила в глубине
Того, кто здесь, томим тоской,
Мечтал найти душе покой
И мог бы, одинок и нем,
У мрачных вод обрести Эдем.

РОМАНС

О, пестрый мой Романс, нередко,
Вспорхнув у озера на ветку,
Глаза ты сонно закрывал,
Качался, головой кивал,
Тихонько что-то напевал,
И я, малыш, у попугая
Учился азбуке родной,
В зеленой чаще залегая
И наблюдая день-деньской
Недетским взглядом за тобой.

Но время, этот кондор вечный,
Мне громовым полетом лет
Несет такую бурю бед,
Что тешиться мечтой беспечной
Сил у меня сегодня нет.
Но от нее, коль на мгновенье
Дано и мне отдохновенье,
Не откажусь я все равно:
В ней тот не видит преступленья,
Чье сердце, в лад струне, должно
Всегда дрожать от напряженья.

КОЛИЗЕЙ

О, символ Рима! Гордое наследство,
Оставленное времени и мне
Столетиями пышных властолюбцев!
О, наконец-то, наконец я здесь!
Усталый странник, жаждавший припасть
К истоку мудрости веков минувших,
Смирненно я колени преклоняю
Среди твоих теней и жадно пью
Твой мрак, твое величие и славу.

Громада. Тень веков. Глухая память.
Безмолвие. Опустошенье. Ночь.

Я вижу эту мощь, перед которой
Все отступает: волшебство халдеев,
Добытое у неподвижных звезд,
И то, чему учил Царь Иудейский,
Когда вошел он в Гефсиманский сад.

Где падали герои — там теперь
Подрубленные временем колонны,
Где золотой орел сверкал кичливо —
Кружит в ночном дозоре нетопырь.

Где ветер трогал волосы матрон —
Теперь шумят кусты чертополоха,
Где, развалясь на троне золотом,
Сидел монарх — теперь по серым плитам
В холодном молчаливом лунном свете
Лишь ящерица быстрая скользит.

Так эти стены, выветренный цоколь,
Заросшие глухим плющом аркады
И эти почерневшие колонны,
Искрошенные фризы — эти камни,
Седые камни — это все, что Время,
Грызя обломки громкой, грозной славы,
Оставило судьбе и мне? А больше
И не осталось ничего? — Осталось!!!

Осталось!!! — эхо близкое гудит.
Несется вещий голос, гулкий голос
Из глубины руины к посвященным...
(Так стон Мемнона достигает солнца!)
«Мы властвуем над сердцем и умом
Властителей и гениев земли!
Мы не бессильные слепые камни:
Осталась наша власть, осталась слава,
Осталась долгая молва в веках,
Осталось удивленье поколений,
Остались тайны в толще стен безмолвных,
Остались громкие воспоминанья,
Нас облачившие волшебной тогой,
Которая великолепней славы!»

ОДИН

Иначе, чем другие дети,
Я чувствовал и все на свете,
Хотя совсем еще был мал,
По-своему воспринимал.
Мне даже душу омрачали
Иные думы и печали,
Ни чувств, ни мыслей дорогих
Не занимал я у других.
То, чем я жил, ценил не каждый.
Всегда один. И вот однажды
Из тайников добра и зла
Природа тайну извлекла,—
Из грядущих дней безумных,
Из камней на речках шумных,
Из сиянья над сквозной
Предосенней желтизной,
Из раскатов бури гневной,
Из лазури в час полдневный,
Где, тускла и тяжела,
Туча с запада плыла,
Набухала, приближалась —
В демона преображалась.

АЙЗЕКУ ЛИ

Добро свершилось или зло,
Бог весть, но это ремесло
Я посчитал своим уделом,
Служа ему душой и телом.

ВСТУПЛЕНИЕ

Покачивая головою,
Маша крылами надо мною,
В тени ветвей над озерцом,
Поросшим тихим тростником,
Как попугай, и день за днем,
Романс учил меня азам.
На мягких травах я лежал —
И немладенческим глазам,
Младенец верить начинал —
И вслед за ним залепетал.

Настало время — не для пенья.
Миров кровавое кипенье,
Тропически-кричащий свет
На небе исполинских бед
Взошел — и годы, как пустыни,
Объял крошечный мрак гордыни —
И только молнии зигзаг
Терзал порой всеобщий мрак.

Анакреоном упоен,
Я пил вино и пел, как он,—
И слышал Страсти холодок
В согласии холодных строк;
И — маг, алхимик, чародей —
Он счастье делал все больней,
Все невозможней, все желанней
В реторте пламенных мечтаний,—
И Меланхолию одну
Я возлюбил в мою весну,
Отверг Доступное и — вместо
Покоя — впал в безумье жеста,
Любовь — мой вечный идеал —
С дыханьем Смерти повенчал;
Рок, Время, Узы Гименея —
Все пропасть между мной и ею.

Но годы Кондорами в небе
Кружили — и грозил полет
Громами гулками невзгод,—

И мне глядеть не выпал жребий
На безмятежный небосвод:
И если на крылах Покоя
Парит мгновение иное
И рифмы с лирой перезвон
Порой овладевает мною,
Преступно было б — если б он
Проникся краткой тишиною!

Лишь ныне — для души простор:
Пропала страсть, погас костер;
Что было черным, стало серым;
Конец и славе, и химерам!
Бунтарь, я проклял тишину!
Теперь безропотно усну.
Я жаждал страсти понапрасну —
Я успокоюсь и погасну,
Избуду жизнь мою во сне;
Не пир — похмелье любо мне.

Но прокляты, обречены
И безысходны сами сны.
Лишь мимолетная пора
Прикосновения пера
К бумаге — в Завтра и Вчера
Разнообразье вносит. Но
И этого не суждено:
Рисунок строк давно исчез —
И лишь седобородый бес,
На миг раскрыв тетрадку снов,
Прочтет ее — и был таков.

СТАНСЫ

Звения пророческой строкой,
Мой стих небесной сини просит:
Здоровье, счастье и покой
Тебе на крыльях он приносит.

Перед тобою долгий век —
Высоких радостей свидетель —
Завидных дней забвенный бег,
Где незабвенна добродетель.

От скуки дольней охранит
Скала небес твой путь счастливый,—
Не разобьются о гранит
Седого Времени приливы.

Твой выбор будет прозорлив —
Живи мечтами дорогими! —
Чужую радость разделив,
Своею поделись с другими.

Столетиям мудрости живой
Внимая с тонким наслажденьем,
Смотри, чтоб ясный разум твой
Не омрачился Заблужденьем.

Лукавством тайным не греша,
Вобрав величье всей вселенной,
Скользит свободная душа
Под знаком Мудрости нетленной.

Веленьем неба и земли
Так призван жить мыслитель гордый—
От низменных страстей вдали,
В мечтах упорный, в целях твердый.

СТРОКИ В ЧЕСТЬ ЭЛЯ

Янтарем наполни взбитым
Запотелое стекло! —
По неведомым орбитам
Снова мысли повело.
Разобрать причуды хмеля
Я уже не в силах сам —
За веселой кружкой эля
Забываешь счет часам.

КОММЕНТАРИИ

ЗОЛОТОЙ ЖУК

С. 7. «*Все не правы*» — комедия английского драматурга Артура Мерфи (1727 — 1805), премьера которой состоялась в Дрюрилейнском театре (Лондон) 15 июня 1761 г. Согласно старому поверью укус тарантула вызывает болезнь тарантизм, характеризующуюся непрерывным и безумным танцем. Однако приведенные в эпиграфе слова отсутствуют в печатном тексте комедии А. Мерфи и, вероятно, записаны По по памяти на основе спектакля, который он видел в Нью-Йорке.

Форт Моултри — в этом форте По провел более года во время своей службы в армии США (с 18 ноября 1827 г. до 11 декабря 1828г.).

С. 8. *Сваммердам Ян* (1637 — 1680) — голландский естествоиспытатель, известный своими исследованиями насекомых. Его «Всеобщая история насекомых» (1663) была переведена с латинского на английский язык в 1758 г.

С. 11. *Жук — человеческая голова*.— Считается, что По придумал своего золотого жука, похожего на череп, рассматривая один из номеров журнала «Сэтерди Мэгезин» (25 августа 1832 г.), где был изображен жук, напоминающий череп. Американские энтомологи, специально занявшиеся этим вопросом, полагают, что По соединил в своем описании приметы двух различных видов жуков, обитающих на Юге США.

С. 31. *Цаффра* — голубой пигмент, используемый для рисунков на стекле и фарфоре.

С. 32. *Кидд Вильям* (ок. 1650 — 1701) — капитан британского флота, ставший пиратом. Арестован в Бостоне и повешен в Лондоне. По преданию, он зарыл в разных местах американского побережья, особенно в устье Гудзона, награбленные сокровища. Этой теме посвящены рассказы В. Ирвинга о кладоискателях в его книге «Рассказы путешественника» (1824).

С. 34. *Голконда* — город в Индии, вблизи Хайдарабада, знаменитый драгоценными камнями.

Испанские моря — район Карибского моря, место наибольшей активности морских пиратов.

УБИЙСТВА НА УЛИЦЕ МОРГ

С. 43. *Браун Томас* (1605 — 1682) — английский врач и писатель. Трактат «Захоронения в урнах» (1658), из пятой главы которого взят эпитафия, написан в связи с находкой в Норфолке нескольких древних могильных урн.

С. 45. *Хойл Эдмонд* (1672 — 1769) — автор книги «Краткий трактат об игре в вист» (1742). Правила Хойла при игре в вист применялись до 1864 г.

С. 46. *...потомок знатного и даже прославленного рода...* — В 1840 г. главой палаты депутатов во Франции был избран Андре Мари Жан Жак Дюпен (1783 — 1865), автор трудов по уголовному праву. Его брат Шарль Дюпен (1784 — 1873), математик и политический деятель, был морским министром (1833). Третий брат — Филипп Дюпен (1795 — 1846) был известным адвокатом.

С. 47. *Сен-Жерменское предместье* — аристократический район Парижа на южном берегу Сены.

С. 48. *...старинное учение о двойственности души...* — философское учение, считающее началом бытия две субстанции — материальную и идеальную.

Пале-Рояль — дворец с садом в Париже, построенный для кардинала Ришелье в 1629 — 1634 гг.

Театр «Варьете» — парижский театр водевиля, основанный в 1807г.

С. 49. *Кребийон Проспер Жюлио* (1674 — 1762) — французский драматург. Его трагедия «Ксеркс» (1714) памятна своим шумным провалом.

Никольс Томас Лоу (1815 — 1901) — американский врач, писатель и общественный деятель. В книге «Сорок лет американской жизни, 1821-1861» (1864) рассказывает о своих встречах с По.

С. 50. *Ламартин Альфонс де* (1791 — 1869) — французский поэт-романтик, историк и политический деятель.

С. 51. *Утратила былое звучание первая буква* — О в и д и й. «Фасты», V, 536.

С. 53. *Дюбур* — По нередко использовал фамилии известных ему лиц в своих рассказах. Так, для первой свидетельницы, прачки Дюбур, он

взял фамилию хозяйки лондонского пансиона, в котором учился с 1816 по 1817 г.

- С. 58. *Журден* — герой комедии Мольера (1622 — 1673) «Мещанин во дворянстве» (1670). Журден надевает халат, чтобы удобнее было слушать музыку (I, 2).
- Видок Франсуа Эжен* (1775 — 1857) — французский сыщик. Его «Мемуары» появились в 1829 г., а в 1838 г. (сентябрь — декабрь) журнал «Вертонс дженглменс мэгезин», который По редактировал в 1839 — 1840 гг., напечатал «Неопубликованные отрывки из жизни Видока, начальника парижской полиции».
- С. 70. *Кювье Жорж* (1769 — 1832) — французский ученый, известный трудами в области сравнительной анатомии, палеонтологии и систематики животных, описание которых содержится в его книге «Царство животных» (1817).
- С. 73. *Невшатель* — город на севере Франции.
- С. 77. *Лаверна* — римская богиня прибыли, покровительница воров и мошенников.
- «отрицать то, что есть, и распространяться о том, чего не существует»* — Ж.-Ж. Руссо о «Новой Элоиза», второе предисловие (1761).

ТАЙНА МАРИ РОЖЕ

Продолжение «Убийств на улице Морг»

- С. 80. *Нассау-стрит* — здесь и далее По дает в сносках реальные имена и названия, связанные с убийством в июле 1841 г. продавщицы одного из нью-йоркских табачных магазинов, Мэри Сесил Роджерс.
- С. 86. *Уэлд Хорацио Хастингс* — американский журналист, издавал в Нью-Йорке журнал «Бразер Джонатан» (1842 — 1843). В своей статье «Автографы», опубликованной в «Грэхемс мэгезин» в декабре 1841 г., По посвятил Уэлду раздел.
- С. 91. *Питерсон Чарлз Джекоб* (1819 — 1887) — американский журналист и писатель. Был влиятельной фигурой в литературной жизни Филадельфии, редактировал несколько журналов и газет, в том числе «Сэтерди ивнинг пост». Вместе с По в 1841 — 1842 гг. входил в редколлегию журнала «Грэхемс ледиз энд дженглменс мэгезин».
- С. 93. *Мирмидоняне* — так называлось племя, жившее во владениях Ахиллеса, во главе которого он отправился на Троянскую войну.
- С. 97. *Стоун Вильям Лит* (1792 — 1844) — американский журналист и писатель, с 1821 г. издавал журнал «Нью-Йорк коммершиел эдвертайзер». Известен также судебным процессом с Джеймсом Фени-

мором Купером, обвинившим Стоуна в клевете. В своей статье «Автографы» один из разделов По отвел Стоуну.

- С. 104. *Лендор Уолтер Севедж* (1775 — 1864) — английский писатель, автор книги «Воображаемые разговоры» (1824 — 1829). Источник цитаты не установлен.
- С. 111. *Лотарио* — неверный любовник в трагедии «Прекрасная грешница» (1703) английского драматурга Николаса Роу (1674 — 1718).
- С. 125. *Пирого и пиво* — В. Ш е к с п и р. «Двенадцатая ночь», II, 3.

ПОХИЩЕННОЕ ПИСЬМО

- С. 132. *Сенека Луций Анней* (6 — 3 до н. э.— 65 н. э.) — римский философ, политический деятель и писатель, автор философско-этических «Писем к Луцилию», откуда и взята приводимая По цитата.
- С. 140. *Абернети Джон* (1764 — 1831) — английский хирург. Был известен необычностью и резкостью в обращении с пациентами.
- С. 143. *Ларошфуко Франсуа* (1613 — 1680) — французский писатель-моралист.
- С. 145. *Шамфор Себастьян* (1741 — 1794) — французский писатель, секретарь Якобинского клуба, покончил самоубийством во время якобинского террора; автор посмертно опубликованных афоризмов («Максимы и мысли», 1795), откуда и взята цитата (Ш а м ф о р. Максимы и мысли. Характеры и анекдоты. М.— Л., «Наука», 1966, с. 28).
- С. 146. *Брайант Джейкоб* (1715 — 1804) — английский писатель, автор книги «Новая система, или Анализ античной мифологии» (1774 — 1776).
- С. 152. *Легок спуск в Аверн* — В е р г и л и й. «Энеида», VI, 126.
Отвратительное чудовище — В е р г и л и й. «Энеида», III, 658.
«Атрей и Фиест» (1707) — трагедия французского драматурга П.Кребийона-старшего (1674 — 1762). Герои пьесы — братья, жестоко мстящие один другому: микенский царь Атрей убивает детей Фиеста, Фиест соблазняет жену Атрея и проклинает его дом.

ЧЕЛОВЕК ТОЛПЫ

- С. 155. *Евпатриды* — родовая знать в древних Афинах, аристократы.
- С. 156. *Лукиан* (ок. 117 — ок. 190) — древнегреческий писатель-сатирик. Имеется в виду диалог Лукиана «Изображения», 11.

- С. 158. *Ретц Мориц* (1779 — 1857) — немецкий художник, автор иллюстраций к «Фаусту» Гете.
- С. 162. «*Садик души с прибавлением некоторых маленьких речей*» — книга, написанная в 1500 г. страсбургским типографом Иоганном Грюнингером (1450 — 1530). Книга не содержит ничего «гносного» и была известна По из вторых рук.

БОЧОПОК АМОНТИЛЬЯДО

- С. 166. *Никто не оскорбит меня безнаказанно!* — Девиз рыцарского ордена Чертополоха, основанного в 1687 г.
- С. 167. *Вольные каменщики, или масоны* — религиозно-мистическое движение, возникшее в странах Европы в XVIII в. и призывавшее к объединению людей на началах братской любви. В Италии масонская ложа была создана в 1763 г. В начале XIX в. к итальянскому масонству примкнули участники тайного революционно-демократического общества карбонариев. Одним из символов масонства служила лопатка.
- ...в обширных катакомбах, проходящих под Парижем.— Парижские катакомбы были римскими каменоломнями и имеют протяженность свыше 300 км. Со временем в них стали переносить кости с уничтожаемых кладбищ, а также сбрасывать тела убитых и казненных. При осмотре парижских катакомб показывают галерею с костями, что и имеет в виду По.
- С. 170. *Да почиет в мире!* — Формула католической погребальной службы, а также надписи на могильных камнях.

ЛЯГУШОНОК

- С. 171. *Король...* ← В основу рассказа лег случай при дворе французского короля Карла VI (1380 — 1422), о котором рассказывается в главе 138 «Хроник» Жана Фруассара (ок. 1337 — 1410).
- «*Задиг, или Судьба*» (1748) — философская восточная повесть Вольтера, полная тонкой извительной иронии.

ПОВЕСТЬ О ПРИКЛЮЧЕНИЯХ АРТУРА ГОРДОНА ПИМА

- С. 199. *Томас Уиллис Уайт* (1788 — 1843) — ричмондский печатник, в типографии которого с августа 1834 г. печатался журнал «Сатерн литерери мессенджер», редактировавшийся в 1835 — 1837 гг. Эдгаром По.

- С. 303. *Кергелен Тремирек Ив* (1745 — 1797) — французский мореплаватель.
- С. 305. *Кук Джеймс* (1728 — 1779) — английский мореплаватель, совершивший три кругосветных путешествия. Пытаясь найти Южный материк, Кук проплыл вокруг Южной полярной области.
- С. 311. *Пэттен, Колкхун, Джеффри, Глисс* — первые мореплаватели, посетившие острова Тристан-да-Кунья, сведения о которых почерпнуты Э. По из Британской энциклопедии.
- С. 313. *Джеймс Уэддел* (1787 — 1834) — английский мореплаватель, совершивший в 1819 — 1824 г. ряд путешествий в Южные моря, открывший несколько островов, автор книги «Путешествие к Южному полюсу в 1822 — 1824 г.».
- С. 314. *Моррел Бенджамин* (1795 — 1839) — американский мореплаватель, в 1822 — 1824 г. на шхуне «Оса» совершил плавание в Южные моря.
- С. 316. *Рейнольдс Джереми* (1799 — 1858) — американский полярный исследователь. По неоднократно писал о нем в своих критических статьях в связи с путешествиями в Южные моря.
- Крузенштерн Иван Федорович* (1770 — 1846) — русский мореплаватель, адмирал. Руководитель первого русского кругосветного плавания (1803 — 1806), во время которого были открыты многие острова. Экспедиция состояла из двух кораблей. Капитаном второго был Юрий Федорович Лисянский (1773 — 1837).
- С. 318. *Биско Джон* — английский мореплаватель, совершивший плавание в Южные моря в 1830 — 1831 г.
- С. 337. *Кювье Жорж* — см. прим. к с. 70. Имеется в виду его книга «Записки об истории и анатомии моллюсков» (1817).
- С. 367. ...разверзается бездна... — По следует здесь теории Джона Симмса.

ФОЛИО КЛУБ

- С. 371. *Батлер Самюэл* (1612 — 1680) — английский поэт-сатирик. Цитата взята из его героико-комической поэмы «Гудибрас» (1663 — 1678), часть I, песнь I.
- С. 372. *Леди Морган*, урожденная Сидни Оуэнсон (1783 — 1859) — английская писательница, вокруг имени которой в начале XIX в. возникли горячие литературные споры. Ей принадлежат романы из ирландской жизни.
- С. 373. *Блэквуд Блэквуд*. — В этом рассказе каждое из имен обыгрывает различные понятия. Например: Де Ферум Натура — название поэмы Лукреция «О природе вещей». Оррибиле Дикту — латинская

фраза: «Страшно произнести». Блэквуд Блэквуд — название популярного английского журнала того времени «Блэквудс мэгезин».

Смит Хорейс (1779 — 1849) — английский писатель, автор романов, в которых он подражает Вальтеру Скотту. В своем рассказе «На стенах иерусалимских» По пародирует один из эпизодов романа Х. Смита «Зилла. Повесть о священном граде» (1828).

ДНЕВНИК ДЖУЛИУСА РОДМЕНА

С. 375. ... *нашего журнала*... — то есть «Бертонс джентлменс мэгезин», где публиковалась настоящая повесть.

С. 376. *Мишо Андре* (1746 — 1802) — французский ботаник и путешественник. В 1785 — 1797 гг. путешествовал по Северной Америке, в результате чего появились его книги «Описание дубов Северной Америки» (1801) и «Флора Северной Америки» (1803).

Джефферсон Томас (1743 — 1826) — президент США в 1801 — 1809 гг., содействовал исследованию западных районов Северной Америки и расширению территории США за счет этих земель. Так, в 1803 г. к США была присоединена Луизиана.

Льюис Мериветер (1774 — 1809) — американский путешественник. В 1804 -1806 гг. вместе со своим другом Вильямом Кларком совершил путешествие по индейской территории, отчет о котором напечатан в 1814 году и был использован Э. По в работе над этой повестью.

С. 378. *Эппен Луи* (1640 — 1710) — французский миссионер-иезуит, первым из европейцев посетивший в конце XVII в. районы Миннесоты и Иллинойса.

«*Астория*» — книга Вашингтона Ирвинга (1783 — 1859) «Астория, или Анекдоты одного предприятия по ту сторону Скалистых гор» (1836), оказала определенное воздействие на «Дневник Джулиуса Родмена». В январе 1837 г. в журнале «Сатерн литерери мессенджер» По напечатал рецензию на «Асторию».

Карвер Джонатан (ок. 1725 — 1780) — американский путешественник. В 1778 г. в Лондоне под его именем вышла книга «Путешествия по индейской территории Северной Америки в 1766, 1767 и 1768 годах», авторство которой в дальнейшем оспаривалось.

Маккензи Александр (ок. 1755 — 1820) — канадский путешественник, автор книги «Путешествия по реке Св. Лаврентия и через Северную Америку к Ледовитому и Тихому Океанам» (1801), материалы которого По использовал в этой повести.

С. 379. *Хирн Самюэл* (1745 — 1792) — английский путешественник, исследователь Канады.

Уитворт Ричард — сведения о путешествии Уитворта с Карвером почерпнуты По из «Астории» Ирвинга (гл. 3).

Фробишер Джозеф (1740 — 1810) — английский путешественник и купец.

С. 380. *Ледьярд Джон* (1751 — 1789) — американский путешественник, принимал участие в 1776 г. в третьей экспедиции английского мореплавателя Джеймса Кука (1728 — 1779). В 1787 г. совершал путешествие по Сибири, но был арестован и выслан из России.

С. 381. *Пайк Зебулон Монгомери* (1779 — 1813) — американский путешественник, исследовавший течение Миссисипи и Арканзаса.

Томпсон Дэвид (1770 — 1857) — американский путешественник, исследовавший в 1797 — 1798 гг. район реки Миссури. В 1807 г. пересек Скалистые горы и в 1811 г. исследовал бассейн реки Колумбия.

С. 382. *Астор Джон Джейкоб* (1763 — 1848) — американский купец; в 1811 г. основал город Астория (штат Орегон), что описано в книге В. Ирвинга «Астория»

Хант Уилсон Прайс (1782 — 1842) — американский путешественник, возглавлявший в 1811 — 1812 гг. экспедицию в Канаду.

Лона Стивен Харриман (1784 — 1864) — американский путешественник, исследовавший районы Канзаса, Колорадо, Северной Дакоты.

Бонвилль Бенджамин (1795 — 1878) — американский военный инженер и путешественник. Отчет о его путешествии был выпущен

В.Ирвингом в 1837 г. под названием «Скалистые горы, или Сцены, происшествия и приключения на Дальнем Западе» (в позднейших переизданиях «Приключения капитана Бонвилля»).

С. 389. *Ватале* — так американские индейцы называют корни некоторых деревьев, которыми они сшивают березовую кору для пироги.

С. 390. *Перри Вильям Эдвард* (1790 — 1856) — английский контр-адмирал и полярный исследователь, автор «Дневника путешествия в поисках Северо-Западного прохода» (1821 и 1824), «Путешествия к Северному полюсу» (1827).

Росс Джон (1777 — 1856) — английский контр-адмирал и полярный исследователь, автор «Путешествия в Баффинов залив» (1819) и «Второго путешествия в поисках Северо-Западного прохода» (1835).

Бэж Джордж (1796 — 1878) — английский полярный исследователь, автор двух книг о путешествиях в Арктику, опубликованных в 1837 и 1838 гг.

С. 407. *Даркоты* — имеется в виду племя американских индейцев дакотов, или сиу. Во время войны за независимость США и англо-американской.

риканской войны 1812 г. выступали на стороне англичан. В 1837 г. дакоты были изгнаны со своих земель восточнее Миссисипи.

ИСТОРИЯ С ВОЗДУШНЫМ ШАРОМ

С. 439. *Мейсон Монк* (1803 — 1889) — английский воздухоплаватель, вместе с Ч. Грипом и Р. Холлендом совершил в 1836 г. перелет на воздушном шаре из Лондона в Нассау (Германия), отчет о котором был издан в Лондоне в 1836 г. и в следующем году переиздан в Нью-Йорке.

Хенсон Вильям Самюэл (1812 — 1888) — английский изобретатель-аэронавт, получивший в 1842 г. патент на «воздушный паровой экипаж». После ряда неудач эмигрировал в 1848 г. в США.

Эйнсворт Вильям Харрисон (1805 — 1882) — английский писатель, автор 39 романов, в том числе романа «Джек Шеппард» (1839) о знаменитом разбойнике. На исторические романы Эйнсворта «Лондонский Тауэр» (1840) и «Гай Фокс, или Пороховой заговор» (1841) По написал две рецензии в «Грэхемс мэгезин» в марте и ноябре 1841 г.

Благодаря эмеренги одного из наших корреспондентов в Чарлстоне... — По высмеивает газеты Чарлстона, которые хвастались тем, что благодаря специальному бригу, курсирующему между Нью-Йорком и Чарлстоном, они получают нью-йоркские газеты на три дня раньше, чем по почте.

Эверард Бригхтерст; м-р Осборн — стремясь придать рассказу правдоподобный вид, По вводит в него якобы реальные персонажи.

Бентинк Вильям Джордж Фредерик (1802 — 1848) — английский политический деятель.

С. 440. *Кейли Джордж* (1773 — 1857) — английский изобретатель-аэронавт, «отец британской аэронавтики». С 1815 г. занимался проблемами воздушных шаров, в 1837 г. получил патент на свой воздушный шар. В 1840 г. изобрел паровой геликоптер.

С. 447. *Мыс Клир* — юго-западная оконечность Ирландии.

С. 450. *Котонахи* — действующий вулкан в Южной Америке (Эквадор). Высота 5 896 метров.

Все неизвестное кажется грандиозным — Т а ц и т. «Агрикола», 30.

ДЕЛЕЦ

С. 463. *Макассарское масло* — растительное масло для волос, применявшееся в начале XIX века и вывозимое из Макассара, на острове Целебес.

ГЕРЦОГ ДЕ Л'ОМЛЕТ

С. 464. *И эмиг попал он в климат попрохладней.* — Строка 337 из первой книги поэмы «Задача» (1785) английского поэта Вильяма Каупера (1731 — 1800).

Китс Джон (1795 — 1821) — английский поэт, умер в Риме от туберкулеза. Считалось, что его смерть была ускорена резкой критикой его стихов в английском журнале «Ежеквартальное обозрение». Байрон писал Шелли 26 апреля 1821 г.: «Я очень огорчен тем, что вы сообщили мне о Китсе — неужели это правда? Я не думал, что критика способна убить».

«*Андромаха*» — трагедия Жана Расина (1639 — 1699), поставленная в ноябре 1667 г.

Монфлери — псевдоним французского актера Захари Жако (1595 — 1667), игравшего в первых постановках пьес Корнеля. Во время исполнения роли Ореста в «Андромахе» Монфлери заболел и через несколько дней умер.

«*Преображенный Парнас*» (1669) — сочинение французского писателя Габриеля Гере (1641 — 1688).

Гадес — в греческой мифологии бог подземного царства мертвых. Также наименование его царства, мрачной страны, где согласно Гомеру скитаются души умерших. Рассуждения, открывающие этот рассказ, были воспроизведены в «Маргиналиях» По, опубликованных в «Годиз ледиз бук» в сентябре 1845 г.

Ортоман — птица, известная нежным вкусом своего мяса.

Апиций Марк Габий (I в.) — знаменитый римский гурман, изобрел ряд изысканных кушаний.

С. 465. *Вельзевул* — библейское название божества филистимлян, защищавшего от укусов ядовитых мух. Позднее одно из имен властителя ада.

Белиал — в Библии название злого духа. В «Потерянном рае» (I, 490) Дж. Мильтона так назван один из падших ангелов.

С. 466. *Гебры* — последователи древнеперсидской религии. Почитание ими огня дало основание называть их огнепоклонниками.

Астарта, или Лиситорет — греческое название древнефиникийской богини плодородия и любви.

С. 467. *Аббат Гуалтье* (1745 — 1818) — французский писатель.

С. 468. *Лебрен Шарль Франсуа* (1739 — 1824) — французский политический деятель и литератор, отец наполеоновского генерала А. Лебрена (1775 — 1859).

Франциск и Карл — имеется в виду соперничество и вражда французского короля Франциска I (1494 — 1547) и испанского короля Карла I (1500 — 1558), претендовавших в 1519 г. на императорскую корону Священной Римской империи. Был избран Карл, ставший императором Карлом V.

Если бы Александр не был Александром, он хотел бы быть Диогеном. — слова Александра Великого при встрече с философом Диогеном, который попросил его отойти в сторону и не загроживать лучи солнца (П л у т а р х. Сравнительные жизнеописания. Александр, XIV).

КАК ПИСАТЬ РАССКАЗ ДЛЯ «БЛЭКВУДА»

- С. 469. *Зенобия* (III в.) — правительница Пальмиры, прославившаяся своей красотой, умом и энергией. В этом рассказе По сатирически изобразил американскую писательницу Маргарет Фуллер (1810 — 1850), которую он высоко ценил как критика, но осуждал ее стилистическую небрежность.

...мой отец был «греком». — жаргонное выражение, означающее «жулик».

- С. 470. *Брум Генри* (1778 — 1868) — английский политический деятель и журналист, один из основателей «Общества распространения полезных знаний» (1827).

...жеманством. — В английском оригинале далее следует каламбур со словами *sant* (лицемерие, жеманство) и *Kant* (немецкий философ И. Кант).

- С. 471. *...знаменитого журнала.* — Орган шотландских консерваторов журнал «Блэквудс мэгезин» был основан в 1817 г. шотландским издателем Вильямом Блэквудом (1776 — 1834) и собрал вокруг себя ряд известных в то время писателей; в нем печатался Вальтер Скотт. После смерти В. Блэквуда это издание продолжили его сыновья Александр и Роберт, которых, очевидно, и имеет в виду в своем рассказе Э. По.

- С. 472. *«Живой мертвец»* — анонимный рассказ, опубликованный в журнале «Фрейзерс мэгезин» в апреле 1834 г. Возможно, По также имеет в виду рассказ «Похороненный заживо», напечатанный в «Блэквудс мэгезин» в октябре 1821 г.

«Исповедь курильщика опиума» — имеется в виду автобиографическая книга писателя-романтика Томаса Де Квинси (1785 — 1859) «Исповедь английского курильщика опиума», печатавшаяся первоначально в журнале «Лондон мэгезин» в сентябре — октябре 1821 г. Указание на то, что это произведение печаталось в «Блэквудс мэгезин».

зин», возможно, вызвано тем, что в этом журнале часто публиковались другие сочинения Де Квинси.

...автором был Колридж... — одно из известных произведений английского поэта Самюэла Колриджа — неоконченный фрагмент «Кубла Хан» (1798) — представляет собой бредовое видение, вызванное, по свидетельству самого поэта, действием опиума, к которому он пристрастился.

«Экспериментатор поневоле» — напечатан в «Блэквудс мэгезин» за октябрь 1837 г.

«Дневник покойного врача» — печатался в «Блэквудс мэгезин» по частям с 1830 по 1837 г.

С. 473. «Человек в колоколе» — опубликовано в «Блэквудс мэгезин» за ноябрь 1821 г.

С. 474. *Ионийская школа* — самое раннее материалистическое направление в древнегреческой философии (VI в до н. э.).

Элейская школа — группа древнегреческих философов конца VI — начала V века до н. э., развивавшая учение о едином и неизменном бытии и выступавшая против стихийно-диалектических воззрений ионийской школы.

Архим (ок. 428 — 347 до н. э.) — древнегреческий философ и ученый, друг Платона.

Горгий (ок. 483 — 375 до н. э.) — древнегреческий философ и ритор, центральная фигура в диалоге Платона «Горгий».

Алкмеон, или Алкман — см. прим. к с. 11, Т. I.

«Критика чистого разума» (1781), «Метафизические начальные основания естествознания» (1786) — сочинения немецкого философа Иммануила Канта (1724 — 1804).

Чаннинг Вильям Элери (1818–1901) — американский поэт и публицист, член кружка трансценденталистов; его стихи и очерки печатались в журнале «Дайел». По цитирует строчку из его стихотворения «Мысли», анализ которого содержится в рецензии на сборник стихов Чаннинга, напечатанный По в журнале «Грэхемс ледиз энд джентлменс мэгезин» в августе 1843 г.

С. 475. ...три музы — *Мелета, Мнема, Лэда*... — древнегреческий писатель Павсаний (II в.) в своем «Описании Эллады» (кн. IX, гл. 29) говорит о трех старших музах (Мелета, Мнема и Лэда). Первоначальное число муз в греческой мифологии было затем увеличено до девяти муз — покровительниц разного рода искусств и наук.

С. 476. *Алфей* — река в Греции, считавшаяся в древности рекой-богом. Согласно легенде, ее воды протекали под морем и выходили источником Аретусы вблизи Сиракуз.

Ю-Киао-Ли — имеется в виду китайский роман XVII в. «Юй, Цяо, Ли».

Чикасо — одно из племен американских индейцев, живших вдоль Миссисипи, а позднее переселенных в Оклахому.

...во французской трагедии того же названия. — Имеется в виду трагедия Вольтера «Заира» (1732).

- С. 477. «...ме возвратила меня к жизни». — С е р в а н т е с. «Дон Кихот», часть II, гл. 38. Сервантес использовал здесь стихи испанского поэта Эскриба (конец XV — начало XVI в.).

...из Ариосто. — На самом деле это строки из пародийно-героической поэмы «Влюбленный Роланд» (LIII, 60) итальянского поэта Франческо Берни (1490 — 1536).

«Пусть это смерть — я смерть вкусил // У ног, у ног, у милых ног твоих». — Заключительные строки из стихотворения И.-В. Гете «Фиалка» (1775).

Тортони — парижский ресторатор, по имени которого называлось в XIX веке кафе на Итальянском бульваре в Париже.

- С. 478. *Ignoratio elenchi* — логическая ошибка в доказательстве, состоящая в том, что оставляется без внимания то, что следует доказать и, таким образом, доказывается совсем не то, что следует.

Слова-аимоны — это выражение принадлежит не римскому поэту Марку Лукану (39 — 65), а взято из произведения «Лексифан, или Краснобай» (гл. 23) древнегреческого писателя Лукиана (ок. 117 - ок. 190).

Силий Италик Тит Катий (26 — 101) — римский поэт. Цитата взята из его поэмы «Пуническая война».

Демосфен — цитируемые слова Демосфен произнес, как о том свидетельствует Тертуллиан (*De Fuga in Persecutione*, X), после своего бегства с поля сражения у Жеронеи (338 до н. э.).

«Гудибрас» (1663 — 1678) — поэма английского поэта-сатирика Самюэла Батлера (1612 — 1680). Цитируется с изменением множественного числа на единственное из III песни (строка 243) поэмы.

ПОЧЕМУ ФРАНЦУЗИК НОСИТ РУКУ НА ПЕРЕВЯЗИ

- С. 480. *Коннаут* — одна из четырех исторических провинций Ирландии.

НЕ ЗАКЛАДЫВАЙ ЧЕРТУ СВОЕЙ ГОЛОВЫ

Рассказ с моралью

- С. 486. *Торрес Томас де Лас* — испанский поэт, автор книги «Рассказы в стихах» (1828).

Меланхтон Филипп (1497 — 1560) — немецкий богослов-протестант, сподвижник Мартина Лютера.

«Война мышей и лягушек» («Батрахомиомахия») — древнегреческая героико-комическая поэма, одно время ошибочно приписывавшаяся Гомеру.

Ла Сен Пьер (1590 — 1636) — итальянский писатель и филолог.

Гюго Якобус (XVII в.) — французский теолог.

Эвней — царь Лемноса, привозивший, как рассказывает в «Илиаде» Гомер, для греков под Троию вино и припасы и скупавший у них военную добычу.

Кальвин Жан (1509 — 1594) — религиозный деятель Реформации, основатель кальвинизма.

Антиной — в «Одиссее» Гомера самый наглый из женихов Пенелопы; убит Одиссеем.

Лотофаги — согласно Гомеру, мифический народ, питающийся лотосами.

«Допотопные» — поэма американского писателя Джеймса Макгенри (1785 — 1845) «Допотопные, или Погибший мир» (1839), на которую По в феврале 1841 г. опубликовал рецензию в том же журнале, где появился этот рассказ.

Похитан (ок. 1550 — 1618) — вождь союза индейских племен, известный по имени своего племени. Его собственное имя было Вахунсонакоок.

«Робин-Бобин» — английская детская песенка.

- С. 487. *«Даун-Истер»* — в американской литературе прозвище глупого и неуклюжего янки. В 1833 г. американский писатель Джон Нил выпустил роман под таким названием.

«Североамериканское трехмесячное обозрение» — имеется в виду известный американский журнал консервативного толка «Североамериканское трехмесячное обозрение», издававшийся с 1815 по 1940 г.

Законы двенадцати таблиц — сборник древнейших римских законов, написанный в 451 — 450 гг. до н. э. на двенадцати таблицах специально избранными для того законодателями.

О мертвых ничего, кроме хорошего. — Диоген Лаэртский приписывает эти слова одному из семи древнегреческих мудрецов — Хилону (VI в. до н. э.).

..умер он, как собака... — По обыгрывает строчку из «Элегии на смерть бешеной собаки» в романе О. Голдсмита «Векфилдский священник» (1766), глава 17.

- С. 488. ...«росла и крепла вместе с ним» — слова из философской поэмы английского поэта А. Попа (1688 — 1744) «Опыт о человеке» (1732 — 1734), II, 135.
- С. 490. *Святой Патрик* (ок. 372 — ок. 460) — ирландский епископ, считающийся покровителем Ирландии.
- С. 493. *Пексановская бомба* — изобретение французского генерала Анри-Жозефа Пексана (1783 — 1854), участника русского похода 1812 г., усовершенствованного осадную и морскую артиллерию.
«*Поэты и поэзия Америки*» — антология американской поэзии, выпущенная под редакцией Руфуса Грисволда (1815 — 1857) в 1842 г. и затем неоднократно переиздававшаяся. В июне 1842 г. в том же журнале, где появился этот рассказ, По опубликовал рецензию на эту антологию.
- С. 494. *Лорд Вильям* (1819 — 1907) — американский поэт, выпустил в 1845 г. сборник своих стихов, вызвавших резкую критическую оценку По в журнале «Бродвей джернал» 24 мая 1845 г.
- С. 496. ...*диагональную полосу к его фамильному гербу*... — то есть геральдический знак незаконного происхождения.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ЖИЗНЬ КАК ВАСА ТАМА, ЭСКВАЙРА

(Бывший редактор журнала «Абракадабра»)

Написано им самим

- С. 497. *Эммонс Натаниел* (1745 — 1840) — американский священник и теолог. Собрание его проповедей, весьма популярных в 30-е годы, было издано в 6 томах в 1842 г.
- С. 499. *Уголино* — в XXXIII песни «Ада» Данте рассказывается, как Уголино делла Герардеска, стоявший во главе Пизанской республики, был обвинен в государственной измене и вместе с двумя сыновьями и двумя внуками заточен в башню, где их уморили голодом (май 1289 г.).
...старинных театральных пьес какого-то автора... — имеется в виду «Гамлет» В. Шекспира (I, 4)
...сочинения слепца... — речь идет об «Илиаде» Гомера.
Чоктосы — одно из племен американских индейцев, живших в низовьях Миссисипи.
Из четвертой, написанной, помнится, тоже слепцом... — имеется в виду поэма Джона Мильтона «Потерянный рай» (1667).
- С. 500. ...*на родине трансценденталистов* — то есть в Бостоне, главном городе штата Массачусетс, где родился глава кружка трансценден-

таллистов Р. У. Эмерсон. По считал фразеологию трансценденталистов вычурной.

...римского императора, носившего это имя. — Шутка По. Оподельдок — мазь, применяемая для втираний при ревматических болях. Существует предположение, что под именем Оподельдока По высмеял американского журналиста Льюиса Гейлорда Кларка, одного из редакторов «Никербокер мэгэзин», подписывавшегося псевдонимом Оллапод.

- С. 501. *Ли Натаниел* (1653? — 1692) — английский драматург. Сошел с ума и был посажен в сумасшедший дом, откуда сбежал и кончил жизнь на улице.

Гнев, богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сын!... — начальные строки из поэмы Гомера «Илиада» в переводе Н. Гнедича.

«Напевы Матушки-Гусыни» — сборник английских стихов для детей, опубликованных впервые издателем детских книг Джоном Ньюбери (1713 — 1767).

- С. 502. *О, свет небес, их отпрыск первородный // Священный град...* — начальные строки третьей книги «Потерянного рая» Дж. Мильтона.

- С. 504. «*Эдинбургское обозрение*» — журнал английских вигов, основанный в 1802 г. и выступавший с резкими нападками на молодую американскую литературу. Уже после смерти По «Эдинбургское обозрение» выступило со злостной клеветой на писателя (апрель 1858 г.).

«Ежеквартальное обозрение» — журнал английских тори, основанный в 1809 г. при непосредственном участии Вальтера Скотта.

- С. 507. «*Я проснулся и узнал, что я знаменит*» — слова Байрона, сказанные им по поводу небывалого успеха первых двух песен «Паломничества Чайльд Гарольда», появившихся в свет 10 марта 1812 г.

Гиперион — в греческой мифологии один из титанов, отец Гелиоса-солнца, Эос-зари и Селены-луны. Отождествляется также с Аполлоном.

- С. 510. «*Бозз*» — псевдоним Ч. Диккенса, под которым были опубликованы его ранние произведения («Очерки Боза», 1836 — 1837).

- С. 512. *Диатриба* — резкая, придирчивая речь с нападками личного характера.

- С. 514. *Брум* — см. прим. к с. 470. Брум приобрел известность своими речами в парламенте, которые были изданы в четырех томах в Эдинбурге в 1838 г.

Коббет Вильям (1762 — 1835) — английский публицист и политический деятель радикального направления. Его сочинения были изданы в Лондоне в 1835-1836 гг. в шести томах.

Кларк Льюис Гейлорд (1808 — 1873) — редактор американского журнала «Никербокер мэгезин» в 1834 — 1861 гг. В 1845 г. вышла его «Никербокеровская книга очерков», которую, очевидно, и имеет в виду По. В первой публикации этого рассказа вместо Кларка был назван американский писатель Джон Нил (1793 — 1876). Упоминание в этом рассказе фамилии Кларка сделало невозможным публикации произведений По в «Никербокер мэгезин», одном из крупнейших литературных журналов США в 40-е годы. Вражда По и Кларка, начавшаяся еще в 1836 г., вновь обострилась после этого рассказа и публицистических выступлений По против Кларка и его журнала в 1845 и 1846 гг.

- С. 517. «*Набил потуже кошелек*» — перефразировка из «Отелло» (I, 3). У Шекспира Яго говорит: «Набей потуже кошелек».
- С. 518. *Бюффон Жорж* (1707 — 1788) — французский естествоиспытатель. По свидетельству современников, в частности французского государственного деятеля Эро де Сешеля (1759 — 1794), Бюффону принадлежат слова: «Гений — это терпение». Это высказывание приведено в книге Сешеля о его посещении Бюффона в Монбаре в 1785 г. (издана в Париже в 1800 г.).
- Хогарт Вильям* (1697 — 1764) — английский художник. «Гений — это усердие» — слова из его книги «Исследование красоты» (1753).

КАК БЫЛА НАБРАНА. ОДНА ГАЗЕТНАЯ ЗАМЕТКА

- С. 519. «*Мудрецы пришли с Востока*» — популярный в начале XIX в. афоризм («Чем дальше мы движемся на Запад, тем больше убеждаемся, что мудрецы пришли с Востока»), приписываемый обычно английскому юристу Вильяму Дэви (ум. 1780).
- С. 520. *О темпора! О Мориц!* — искаженная латинская цитата: *O tempora! O mores!* (О времена! О нравы!) Это выражение часто употреблял в своих речах Марк Туллий Цицерон (106 — 43 г. до н. э.).
- С. 521. «...и покончим с *Букингемом!*» — цитата из «Ричарда III» (1700), IV, 3, английского драматурга Колли Сиббера (1671 — 1757), который переделал одноименную пьесу Шекспира.

НА СТЕПАХ ИЕРУСАЛИМСКИХ

- С. 525. *Стричь перестав, седины поднял на лоб непреклонный...* — Лукан. «Фарсалия, или О гражданской войне», II, 375 — 376. У Лукана вместо «поднял» — «спустил».
- ...*дикий кабан.* — В английском оригинале каламбур, основанный на созвучии слов «кабан» (boar) и «скука» (bore).

Таммуз — в вавилонской и шумерской религии бог растительности, ежегодно умирающий во время жатвы и оживающий весной. Ему поклонялись и иудеи. Именем Таммуза назван десятый месяц еврейского календаря.

...в лето от сотворения мира три тысячи девятьсот сорок первое. — То есть 63 год до нашей эры.

Град Давидов — район Иерусалима, названный по имени полубогородного царя Давида (конец XI — начало X в. до н. э.), основателя иудейской династии в Иерусалиме.

...последний час четвертой стражи... — Ночной караул в римском войске делился на четыре стражи (вигилии), продолжительность которых менялась в зависимости от времени года.

Помпей Гней (106 — 48 до н. э.) — римский полководец и политический деятель. В 63 г. до н. э. вторгся на территорию Палестины и после трехмесячной осады взял Иерусалим.

Ваал — языческое божество почв и плодородия у древних семитов.
Пятикнижие — первая часть Библии.

Адонай — древнееврейское обращение к богу, одно из имен бога Ягве в Библии. Народ Адонай — богоизбранный народ.

Аммонитяне — древний народ, живший в восточной части Палестины и считавший себя потомками библейского Лота; постоянно враждовал с иудеями.

Сикль — мелкая серебряная монета в Древней Иудее и Персии.

- C. 526. **Филистимляне** — древний народ, населявший восточное побережье Средиземного моря и давший название Палестине (страна филистимлян).

Храм Бела — вавилонский храм огромных размеров, отстроенный царем Навуходоносором в VI в. до н. э.

- C. 527. ...от алефи до тау.. — Первая и последняя буквы еврейского алфавита.

Иод — одна из букв еврейского алфавита. Здесь По пародирует выражение «больше, чем буква иод» из популярного в те годы романа Хорейса Смита «Зилла. Повесть о священном граде» (1828).

Эдепол — римское восклицание: «Право же!» (буквально: «Клянусь Поллуксом!»).

Эль Элоим — еврейское восклицание: «Боже!»

Терафим — так иудеи называли культ языческого идолопоклонства.

Нергал — бог солнца в вавилонской религии.

Ашима — один из сирийских богов, изображавшийся в виде оленя.

Нибхаз — упоминаемый в Библии идол племен аввийцев (Четвертая книга Царств, XVII, 31).

Тартак — согласно Библии (Четвертая книга Царств, XVII, 31) идол аввийцев имел образ осла и символизировал силы тьмы.

Адрамелет — в Библии имя ассирийского бога, которому приносили в жертву детей.

Анамелет — ассирийское божество, которому, как и Молоху, приносили человеческие жертвы. Изображался в виде лошади.

Суккот-Бениф — в вавилонской религии божество, о котором говорится в Библии (Четвертая книга Царств, XVII, 30).

Дагон — божество, которому поклонялись филистимляне. Культ Дагона близок культу бога Ваала.

Белиал — см. прим. к с. 465.

Ваал-Перит — согласно Библии (Числа, XXV, 1 — 9) моавитский бог.

Вцал-Пеор — божество, упоминаемое в Библии (буквально: «Господин горы Пеор», священной горы, расположенной к северо-востоку от Мертвого моря).

Ваал-Зебуб — Вельзевул.

С. 528. *Туж земли* — библейское выражение (Бытие, XLV, 18), означающее плоды земли.

Рака — библейское ругательство (Евангелие от Матфея, V, 22).

Скиния — священный храм у иудеев.

Энгеди — местность на берегу Мертвого моря.

Долина Иосафата — долина вблизи Иерусалима, носящая имя иудейского царя IX в. до н. э.

Нагрудник — имеется в виду драгоценная пластинка, которую носили на груди верховные священнослужители Иудеи.

Хеврон — древний город южнее Иерусалима.

Васан — область на юге Сирии.

Саксебут — древний духовой музыкальный инструмент.

Трефное мясо — иудейская религия запрещает употребление в пищу свиного мяса и считает его нечистым.

ПАДУВАТЕЛЬСТВО КАК ТОЧНАЯ НАУКА

С. 529. *Бентам Иеремия* (1748 — 1832) — английский философ-моралист, представитель утилитаризма. По высмеивает бентамовский утилитаризм также в рассказе «Делец» и в своих рецензиях («Питер Снук», 1836). В 1843 г., когда появился этот рассказ, в Англии было завершено издание 11-томного собрания сочинений Бентама.

Упомянутая По «исеремиада о ростовщичестве» — это трактат Бентама «Защита ростовщичества» (1737), написанный во время пребывания автора в России.

Нил Джон (1793 — 1876) — американский писатель. В издававшейся им еженедельной газете «Янки» популяризировалось учение Бентама.

Имя другого... — обычная для По шутовская мистификация; он обыгрывает имя Иеремии Бентама и библейского пророка Иеремии.

...ему не пришлось бы проглотить оскорблений из-за оцципанной курицы. Платон («Государство», 266) определил человека как «двуногое без перьев». Согласно легенде, Диоген принес на лекцию Платона оцципанного петуха и сказал: «Вот человек Платона» (Д и о г е н Л а э р т с к и й. «Жизнь и учения людей, прославившихся в философии», VI, 2).

- С. 530. «Человек рожден, чтобы плакать» — название стихотворения Роберта Бернса, написанного в 1784 г.

Бробдингнез — страна великанов в книге Джонатана Свифта «Путешествие Гулливера» (1726).

«Флакк» — псевдоним американского поэта Томаса Уорда (1807 — 1873). Первый сборник его стихов («Пассейик, стихи, посвященные этой реке», 1842) вызвал резкую рецензию По в журнале «Грэхемс ледиз энд джентлменс мэгезин» (март 1843 г.), в которой он называл его «второстепенным, или третьестепенным, или вернее девяностодевятистепенным рифмоплетом».

Ты не отгоняешь ее, как пса от засаленной шкуры — Г о р а ц и й. «Сатиры». II, 5, 83.

- С. 531. *Терпи Ричард (Дик)* (1706 — 1739) — знаменитый английский разбойник; был пойман и повешен.

О'Коннел Даниел (1775 — 1847) — лидер либерального крыла ирландского освободительного движения.

Бэри Шарлотта Съюзен Мария (1775 — 1861) — английская писательница, автор многочисленных романов. В молодости славилась красотой.

Байи — город вблизи Неаполя, известный в древности как место отдыха знатных римлян. Роскошь и легкость нравов в Байях часто отмечаются римскими писателями.

- С. 532. *...«преданий старины»... «примеров наших дней».* — В. Шекспир. «Как вам это понравится», II, 7.

ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО ИЗРУБИЛИ В КУСКИ

Повесть о последней Бугабуско-Кикапуской кампании

- С. 541. *Кикапу* — племя североамериканских индейцев, отличавшееся воинственностью и сражавшееся на стороне англичан во время войны за независимость США и в англо-американской войне 1812 — 1814 гг. В 1819 г. остатки этого племени, уничтоженного белыми, были переселены в резервации в Канзасе. Бугабу значит по-английски «пугало», «бука».

Пролейтесь, токи слез, над злейшей из кончин! // Увы! Моей души одна из половин другою сражена — слова Химены из трагедии Пьера Корнеля (1606 — 1684) «Сид» (1637), действие III, сцена 3.

Бревет — патент на следующий воинский чин с сохранением прежнего оклада.

- С. 544. *Тимбукту* — город на юге пустыни Сахара.

- С. 545. *В кои-х сыграл он немалую роль.* — В е р г и л и й. «Энеида», II, 6. *...человек, рожденный женою, краткодневен и пресыщен печальми. Как цветок, он выходит и опадает...* — Б и б л и я. Книга Иова, XIV, 1-2.

- С. 546. *Вы человек или нет? Где ваше сердце?* — Ш е к с п и р. «Отелло», III, 3.

- С. 547. *...о каком-то Манне, которого не то застрелили, не то повесили...* — имеется в виду капитан Даниел Манн, привлеченный к судебной ответственности по обвинению в заговоре. Судебный процесс над ним, начавшийся в марте 1839 г., еще продолжался, когда появился в печати этот рассказ По. Филадельфийская пресса, в которой был напечатан рассказ По, почти ежедневно освещала ход процесса.

- С. 548. *...о какой-то поэме лорда Байрона.* — Имеется в виду поэма Байрона «Бронзовый век» (1823). В английском тексте рассказа обыгрывается заглавие поэмы Байрона «Манфред» (1817).

- С. 549. *...с луны...* — фольклорный образ человека с луны встречается у В.Шекспира («Буря», II, 2) и у ряда других писателей. Выражение стало поговоркой для обозначения неведения земных дел.

Тацит Корнелий (ок. 55 — ок. 120) — римский историк, повествовательная манера которого отличается краткостью и сжатостью выражения.

Монтескье Шарль Луи (1689 — 1755) — французский писатель, публицист, философ, язык произведений которого отличается ясностью, точностью и выразительностью, что сделало его образцом французской прозы XVIII в.

- С. 550. *Томас Джон Ф.* — известный в то время в Филадельфии торговец протезами.

ТРИ ВОСКРЕСЕНЬЯ НА ОДНОЙ НЕДЕЛЕ

- С. 553. ...«английский славный джентльмен»... — слова английской народной песни того же названия.

- С. 554. *Перье Казимир Пьер* (1777 — 1832) — французский политический деятель. Сборник его речей был издан в 1838 г.

Поэтом рождаются, а не становятся. — Обычно эта пословица приписывается римскому поэту Публию Аннию Флору (II в.), у которого эта мысль развивается в стихотворном цикле «О том, какова жизнь», фрагмент 8. Однако этот афоризм встречается еще в речи Цицерона, произнесенной в 61 г. до н. э. в защиту греческого поэта Архия.

- С. 555. *Хорсли Самуэл* (1733 — 1806) — английский богослов, известный резкой полемикой, с английским философом-материалистом и естествоиспытателем Джозефом Пристли. Ту же мысль Хорсли По приводит в своих «Пятидесяти предположениях» (N 45), напечатанных в «Грэхемс мэгезин» в мае — июне 1845 года.

...«медлительно длину свою влачащих». — А. Поп, «Опыт о критике» (1711), часть I, строка 357.

Юд Луи — повар, работавший в Англии и приобретший известность своими сочинениями о кулинарном искусстве («Французский повар», 1813).

Карем Мари Антуан (1784 — 1833) — французский кулинар, автор книги «Парижский повар, или Искусство кулинарии в XIX веке» (1833), служил у Талейрана, английского короля Георга IV, Ротшильда и др.

СТРАНИЦЫ ИЗ ЖИЗНИ ЗНАМЕНОСТИ

- С. 560. *Холл Джозеф* (1574 — 1656) — английский епископ, автор «Сатир» (1597). Цитата взята из книги II, гл. 3.

«*Письма Юниуса*» — анонимные сатирические письма, печатавшиеся в лондонском журнале «Паблик адвертайзер» в 1769 — 1772 гг. и резко критиковавшие английское правительство. Авторство их окончательно не установлено.

Железная Маска — таинственный узник времен французского короля Людовика XIV, никогда не снимавший маски с лица и умер-

ший в Бастилии в 1703 г. Имя его было неизвестно. Согласно одной из версий, это был брат короля Людовика XIV.

Бели-Берда — в английском тексте *Fum-Fudge* — одно из сатирических названий Англии.

С. 561. *Бартолиа Томас* (1616 — 1680) — датский анатом.

«Ежеквартальном», «Вестминстерском», «Иностранном», «Эдинбургском», «Дублинском», «Бентли», «Фрейзер», «Блэквуд» — названия крупнейших британских журналов: «Ежеквартальное обозрение» (основано в 1809 г.), «Вестминстерское обозрение» (1824), «Иностранное ежеквартальное обозрение» (1827), «Эдинбургское обозрение» (1802), «Дублинское обозрение» (1836), «Бентли мислени» (1837), «Фрейзерс мэгезин» (1830), «Блэквудс мэгезин» (1817).

С. 563. *Порфирий Финикийский* (233 — ок. 304) — древнегреческий философ-неоплатоник, автор более 70 трактатов, из которых до нас дошла только часть.

Ямалих (ок. 280 — ок. 330) — сирийский философ-неоплатоник. До нас дошло пять трактатов из его «Свода пифагорейских учений».

Плотин (204 — 270) — древнегреческий философ, представитель неоплатонизма. Трактаты Плотина известны под общим названием «Эннеады».

Прокл (410 — 485) — древнегреческий философ-мистик, представитель позднего неоплатонизма (афинская школа), автор многих трактатов и комментариев к сочинениям Платона.

Герокл из Александрии (V в.) — философ-неоплатоник александрийской школы, известный своими комментариями к неопифагорейскому сочинению «Золотые стихи».

Максим Тирский (II в) — древнегреческий философ-неоплатоник. Английский перевод его сочинений появился в 1804 г.

Сириан из Александрии (ум. ок. 438) — древнегреческий философ-неоплатоник, учитель Прокла. До нас дошел его комментарий к «Метафизике» Аристотеля.

Прибытие души — теологическое учение о том, что душа Иисуса Христа существовала до сотворения мира. В расширительном смысле эта доктрина прилагается к людям вообще.

Гомеомерия — учение древнегреческого философа Анаксагора (ок. 500 — 428 до н. э.) о том, что тела образуются путем сочетания качественно определенных частиц — гомеомерий.

Арий (IV в.) — александрийский историк церкви, имя которого дало название одной из ранних ересей — арианству, отрицавшему догмат о единой сущности троицы.

Никейский собор — церковный собор, созданный римским императором Константином в г. Никее в 325 г. для борьбы с ересями. Осу-

дил арианство и выработал в целях укрепления единства империи и церкви официальный «символ веры».

Поэтизм — учение английского теолога Эдварда Бувери Поэи (1800 — 1882) и его последователей, известное также под названием «Оксфордское движение, или Католическое возрождение в английской церкви» и опиравшееся на трактаты английских священников XVII в.

Пресуществление — учение о триединстве бога. Утверждено официальной церковью на Никейском соборе.

Гомузия и гомуюзия — две точки зрения на Иисуса Христа среди теологов IV в. Согласно первой, Христа отождествляли с Богом-отцом, защитники второй считали, что Христос лишь подобен Богу-отцу.

...латур... клодеужо — сорта французских вин.

Арпино Джузеппе Чезари (ок. 1568 — 1640) — итальянский художник, прозаичный «кавалер д'Арпино».

Карпаччо Витторио (ок. 1465 — ок. 1522) — итальянский художник.

Агостино (XIV в.) — итальянский скульптор.

Альбано Франческо (1578 — 1660) — итальянский художник.

Стеен Ян (1626 — 1679) — голландский художник.

Бендида — фракийская богиня войны и охоты, культ которой сходен с культом древнегреческой богини-охотницы Артемиды, позже ставшей богиней луны (у римлян — Диана).

Бубастида — египетская богиня, изображавшаяся с головой кошки. Древние греки отождествляли ее со своей Артемидой.

С. 564. ...*восемьдесят три трагедии Эсхила*... — античные ученые насчитывали в наследии Эсхила 90 драматических произведений. До нас дошло семь его пьес.

Исей (ок. 420 — ок. 350 до н. э.) — древнегреческий оратор. До нас дошло 12 его речей и известны названия еще 42 речей.

Лисий (459 — ок. 380 до н. э.) — древнегреческий оратор. До нас дошло 34 речи. Всего Лисию приписывалось 425 речей.

Феофраст (372 — 287 до н. э.) — древнегреческий философ и естествоиспытатель. Ему приписывают 227 сочинений.

Аполлоний Пергамский (ок. 262 — ок. 205 до н. э.) — древнегреческий математик. Его главное сочинение о конических сечениях. До нас дошло семь его книг и восемь считаются утраченными.

Пиндар (522 — ок. 422 до н. э.) — древнегреческий поэт. Из многочисленных произведений Пиндара сохранилось 45 од и более 300 фрагментов разного содержания.

Гомер Младший (III в. до н. э.) — древнегреческий поэт и грамматик, автор большого числа произведений, которые до нас не дошли.
Элмак — лондонский аристократический клуб, существовавший с 1764 года.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Айзеку Ли	II, 605
Ангел Необъяснимого	I, 446
Аннабель-Ли	II, 585
Без дыхания. (Рассказ не для журнала «Блэквуд» и отнюдь не из него)	I, 514
Береника	I, 69
Беседа Моноса и Уны	I, 404
Бес противоречия	I, 464
Бон-Бон	I, 472
Бочонок Амонтильядо	II, 163
Вечерняя звезда	II, 601
Вильям Вильсон	I, 129
Ворон	II, 576
Вступление	II, 606
Герцог де л'Омлет	II, 464
Город на море	II, 566
Делец	II, 453
Дневник Джулиуса Родмена, представляющий собой описание первого путешествия через Скалистые Горы Северной Америки, совершенного цивилизованными людьми	II, 374
Долина тревоги	II, 569
Домик Лэндора. (Дополнение к «Поместью Арнгейм»)	I, 333

Заживо погребенные	I, 218
Заколдованный замок	II, 573
Золотой жук	II, 7
«Из всех, кому тебя увидеть — утра...»	II, 579
История с воздушным шаром	II, 439
Как была набрана одна газетная заметка	II, 519
Как писать рассказ для «Блэквуда»	II, 469
К Елене	II, 583
К одной из тех, которая в Раю	II, 570
Колизей	II, 603
Колодец и маятник	I, 114
Колокольчики и колокола	II, 586
Король Чума. Аллегорический рассказ	I, 492
Лигейя	I, 15
Литературная жизнь Какваса Тама, эсквайра	II, 497
Лось	I, 213
Лягушонок	II, 171
Маска Красной смерти	I, 107
Mellonta Tauta	I, 529
Месмерическое откровение	I, 56
Метценгерштейн	I, 151
Мечты	II, 600
Мистификация	I, 544
Морелла	I, 101
Надувательство как точная наука	II, 529
На стенах Иерусалимских	II, 525
Не закладывай черту своей головы	II, 486
Низвержение в Мальстрем	I, 161
Овальный портрет	I, 268
Один	II, 605
«Один прохожу я свой путь безутешный...»	II, 571
Озеро	II, 602
Остров Феи	I, 50
Очки	I, 243

Падение дома Ашеров	I, 82
Повесть Крутых гор	I, 299
Повесть о приключениях Артура Гордона Пима	II, 198
Поместье Арнгейм	I, 316
Похищенное письмо	II, 132
Почему французик носит руку на перевязи	II, 480
Правда о том, что случилось с мсье Вальдемаром	I, 289
Прежняя жизнь предо мной...	II, 591
Продолговатый ящик	I, 433
Разговор с мумией	I, 414
Разговор Эйрос и Хармионы	I, 44
Романс	II, 603
Рукопись, найденная в бутылке	I, 179
Свидание	I, 32
Сердце-обличитель	I, 237
Сила слов	I, 232
Сон во сне	II, 589
Спящая	II, 568
Стансы	II, 607
Страна снов	II, 575
Страна фей	II, 592
Строки в честь эля	II, 608
Сфинкс	I, 311
Тайна Мари Роже	II, 78
Тамерлан	II, 594
Тень. Парабола	I, 79
Тишина. Притча	I, 11
Трагическое положение. Коса времени	I, 553
«Ты еси муж, сотворивый сие...»	II, 181
Тысяча вторая сказка Шехерезады	I, 563
Убийства на улице Морг	II, 43
Улялюм	II, 580
Фолио Клуб	II, 371
Фон Кемпелен и его открытие	I, 505

Человек, которого изрубили в куски. Повесть о последней Бугабуско-Кикапуской кампании	II, 541
Человек толпы	II, 153
Червь-победитель	II, 572
Четыре зверя в одном. (Человеко-жираф)	I, 456
Черный кот	I, 279
Элеонора	I, 273
Эльдорадо	II, 590

СОДЕРЖАНИЕ

РАССКАЗЫ, ПОВЕСТИ, СТИХИ, ПОЭМЫ

ЗОЛОТОЙ ЖУК. Пер. А. Старцева	7
УБИЙСТВА НА УЛИЦЕ МОРГ. Пер. Р. Гальпериной	43
ТАЙНА МАРИ РОЖЕ. Пер. И. Гуровой	78
ПОХИЩЕННОЕ ПИСЬМО. Пер. И. Гуровой	132
ЧЕЛОВЕК ТОЛПЫ. Пер. М. Беккер	153
ВОЧОНОК АМОНТИЛЬЯДО. Пер. О. Холмской	163
ЛЯГУШОНОК. Пер. Р. Гальпериной	171
«ТЫ ЕСИ МУЖ, СОТВОРИВЫЙ СИЕ...» Пер. С. Маркиша.	181
ПОВЕСТЬ О ПРИКЛЮЧЕНИЯХ АРТУРА ГОРДОНА ПИМА. Пер. Г. Злобина	198
ФОЛИО КЛЮВ. Пер. З. Александровой	371
ДНЕВНИК ДЖУЛИУСА РОДМЕНА, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЙ СОБОЙ ОПИСАНИЕ ПЕРВОГО ПУТЕШЕСТВИЯ ЧЕРЕЗ СКАЛИСТЫЕ ГОРЫ СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ, СОВЕРШЕННОГО ЦИВИЛИЗОВАННЫМИ ЛЮДЬМИ. Пер. З. Александровой	374
ИСТОРИЯ С ВОЗДУШНЫМ ШАРОМ. Пер. З. Александровой	439
ДЕЛЕЦ. Пер. И. Бернштейн	453
ГЕРЦОГ ДЕ Л'ОМЛЕТ. Пер. З. Александровой	464
КАК ПИСАТЬ РАССКАЗ ДЛЯ «БЛЭКВУДА». Пер. З. Александровой	469
ПОЧЕМУ ФРАНЦУЗИК НОСИТ РУКУ НА ПЕРЕВЯЗИ. Пер. И. Бернштейн	480
НЕ ЗАКЛАДЫВАЙ ЧЕРТУ СВОЕЙ ГОЛОВЫ. Пер. Н. Демуровой	486
ЛИТЕРАТУРНАЯ ЖИЗНЬ КАКВАСА ТАМА, ЭСКВАЙРА. Пер. М. Урнова ..	497
КАК БЫЛА НАВРАНА ОДНА ГАЗЕТНАЯ ЗАМЕТКА. Пер. З. Александровой	519
НА СТЕНАХ ИЕРУСАЛИМСКИХ. Пер. З. Александровой	525
НАДУВАТЕЛЬСТВО КАК ТОЧНАЯ НАУКА. Пер. И. Бернштейн	529
ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО ИЗРУБИЛИ В КУСКИ. Повесть о последней Бугабуско-Кикапуской кампании. Пер. Н. Демуровой	541
ТРИ ВОСКРЕСЕНЬЯ НА ОДНОЙ НЕДЕЛЕ. Пер. И. Бернштейн	552
СТРАНИЦЫ ИЗ ЖИЗНИ ЗНАМЕНИТОСТИ. Пер. В. Рогова	560
ГОРОД НА МОРЕ. Пер. К. Бальмонта	566
СПЯЩАЯ. Пер. К. Бальмонта	568
ДОЛИНА ТРЕВОГИ. Пер. К. Бальмонта	569
К ОДНОЙ ИЗ ТЕХ, КОТОРАЯ В РАЮ. Пер. К. Бальмонта	570
«ОДИН ПРОХОЖУ Я СВОЙ ПУТЬ БЕЗУТЕШНЫЙ...» Пер. К. Бальмонта	571
ЧЕРВЬ-ПОБЕДИТЕЛЬ. Пер. К. Бальмонта	572
ЗАКОЛДОВАННЫЙ ЗАМОК. Пер. К. Бальмонта	573
СТРАНА СНОВ. Пер. К. Бальмонта	575
ВОРОН. Пер. К. Бальмонта	576
«ИЗ ВСЕХ, КОМУ ТЕБЯ УВИДЕТЬ — УТРО...» Пер. К. Бальмонта	579
УЛЯЛЮМ. Пер. К. Бальмонта	580
К ЕЛЕНЕ. Пер. К. Бальмонта	583

АННАБЕЛЬ-ЛИ. Пер. К. Бальмонта	585
КОЛОКОЛЬЧИКИ И КОЛОКОЛА. Пер. К. Бальмонта	586
СОН ВО СНЕ. Пер. К. Бальмонта	589
ЭЛЬДОРАДО. Пер. К. Бальмонта	590
ПРЕЖНЯЯ ЖИЗНЬ ПРЕДО МНОЙ... Пер. В. Брюсова	591
СТРАНА ФЕЙ. Пер. В. Брюсова	592
ТАМЕРЛАН. Пер. И. Озеровой	594
МЕЧТЫ. Пер. Ю. Корнеева	600
ВЕЧЕРНЯЯ ЗВЕЗДА. Пер. В. Бетяки	601
ОЗЕРО. Пер. Г. Бени	602
РОМАНС. Пер. Ю. Корнеева	603
КОЛИЗЕЙ. Пер. В. Бетяки	603
ОДИН. Пер. Р. Дубровкина	605
АЙЗЕКУ ЛИ. Пер. Р. Дубровкина	605
ВСТУПЛЕНИЕ. Пер. В. Гопорова	606
СТАНСЫ. Пер. Р. Дубровкина	607
СТРОКИ В ЧЕСТЬ ЭЛЯ. Пер. Р. Дубровкина	608
Комментарии	609
Алфавитный указатель	634
Содержание	638

По Эдгар Аллан

Собр.соч. в двух томах. Т.2. Рассказы, повести, стихи, поэмы. Перев. с англ. (Сост. В.Демитриенко; Оф. Ю.Поснова.)— Воронеж, АО «Полиграф», 1995.—640 с.

Второй том собрания сочинений классика американской литературы составили его лучшие рассказы в детективном жанре, родоначальником которого он по праву считается, а также романтическая проза, в которой затейливый вымысел и невероятные приключения служат основой для изображения душевных исканий героев.

Стихи и поэмы, представленные в томе, дают достаточно полное представление об Эдгаре По как о поэте, крупнейшем представителе символизма, во многом определившего дальнейшие пути развития этого литературного течения.

Здесь также помещены и сатирические рассказы, написанные Э.По в разное время.

Литературное-художественное издание
ПО ЭДГАР АЛЛАН
Собрание сочинений в двух томах
Том 2

Редактор В.Демитриенко
Художник Ю.Поснов

Подписано в печать 6.02.95 г. Формат 84x108_{1/32}. Гарнитура «Таймс». Печать офсетная. Усл.дечл. 33.6. Уч.-издл. 30.1. Тираж 15000 экз. Заказ 5085. Издательство АО «Полиграф», 394000, Воронеж, ул.Цюрупы, 18.
Отпечатано с готовых диапозитивов в ИПФ «Воронеж».
394000, г.Воронеж, пр.Революции, 39.

